К. Антарова «ДВЕ ЖИЗНИ»

Часть вторая

Глава 1

Бегство капитана Т. и Наль из К. в Лондон. Свадьба

Спешно покинув сад дома дяди Али Наль в сопровождении двух слуг, из которых один был ее двоюродным дядей, переодетым слугою, молодого Али и капитана Т. вошла в дом капитана Т., где она никогда не бывала и даже представить себе не могла такого момента своей жизни. Выросшая в двойственной обстановке, давимая всеми тяжелыми условностями гаремной жизни, Наль постоянно попадала в отдушины ума, образования и теоретического знания жизни цивилизованного и культурного общества, к которым подводил ее Али Махоммет, нарушая все утлые правила затворничества женщин всюду, где только была малейшая возможность.

У Наль было всегда европейское платье и обувь, к которым ее, как бы играя, приучал дядя Али, вызывая тем негодование старой тетки и синклита из муллы и его фанатиков-правоверных.

Девушке поэтому было просто переодеться в костюм, приготовленный ей дядей в этом доме. Смеясь, она закутала молодого Али Махмеда в свой розовый свадебный халат и драгоценные покрывала. Без слез она рассталась с братом, кинувшись ему на шею, хотя в глазах обоих блестели слезы.

— Мужайся, Наль. Все случилось не так, как я предполагал, но... будь счастлива, вспоминай иногда меня и верь: если дядя Али сказал — так оно и быть должно. Если он тебя отдал капитану Т. — значит, там твой путь. А счастье зависит от тебя. Не бойся ничего. Иди весело и старайся до конца понять, зачем дядя создает тебе другую жизнь и посылает тебя в нее. Одно только помни: нам с тобою общий дан завет — верность до конца. Будь верна капитану так же, как ты верна дяде Али. И ты везде победишь.

Голос молодого Али дрожал, лицо было вдохновенно и прекрасно. Оно сейчас жило. Ничто в нем не напоминало маски того полумертвого существа, которое с отчаянием смотрело, как Наль подает капитану цветок.

— Время. Прощай, сестра. Я всегда буду тебе верным другом, и нет между нами ни расстояния, ни разлуки.

Взяв пару крошечных туфелек Наль в руки, завернувшись в ее покрывало, Али выскользнул из дома и пропал во тьме.

Насколько просто было для Наль переодеться в европейское платье, настолько же трудно было ей побороть привычку к покрывалу и оставаться среди мужчин с открытым лицом. Когда капитан Т. постучал к ней и спросил, можно ли войти, готова ли она, ей было страшно и чуждо ответить согласием. Увидя ее в простом синем английском костюме и с распущенными до пола косами, перевитыми жемчугом, он пришел в ужас.

Поняв, как нелепо она оделась и какую улику дают ее косы, Наль не дала времени опомниться изумленному капитану и отхватила ножницами свои косы до пояса. Она уложила их вокруг головы и надвинула глубоко на лоб шляпу.

Закутав ее еще в легкий шелковый плащ сверху, капитан сказал:

— Унося отсюда дивный образ Али, мы пред ним — муж и жена, Наль. Мы оба повинуемся ему, и оба будем до конца дней верны ему. Мы уходим без него, но он с нами. Если вы идете без страха, мы победим и выполним поставленную нам задачу.

— Я не знаю страха, капитан Т. Я его не знала никогда. Я ваша жена перед дядей и Богом. И верность моя Богу — это верность дяде и вам, — спокойно ответила Наль.

Слуги вынесли их небольшие чемоданы в коляску. Лошади сразу пошли быстрой рысью, и Наль стала привыкать к темноте.

— Я ни разу не была ночью на улице, даже за воротами сада, — шепнула Наль сидевшему рядом с ней капитану, которого еле узнавала в непривычном штатском платье.

— Перейдем на английский язык, Наль. Теперь вы — жена лорда Т. Старайтесь держаться высокомерно до глупости, как вы читали в английских книгах. Вот вам густой вуаль, — и капитан помог Наль обвязать вокруг шляпы и спустить на лицо довольно плотный синий вуаль.

— Как мне это приятно, — засмеялась Наль. — Разыгрывая из себя гордую даму, я избавлюсь от назойливых разговоров.

— Не забудьте опереться на мою руку и до самого момента отхода поезда изображайте из себя великую даму-икону, для которой существует на свете три рода рабов разных социальных ступеней: я — муж и первый раб — удостаиваюсь разговора. Ваш дядя — нечто вроде секретаря — второй раб, к которому снисходят до признания его человеком. А слуга — третий раб, кому только кивают или делают жесты. Так живут всю жизнь важные дамы. Так постарайтесь прожить одну-две недели, пока не выберемся на свежий воздух и не кончится наиболее скучная часть нашей жизни.

Наль не успела ответить, экипаж подкатил к освещенному вокзалу. Лорд Т. вышел первым, подал руку своей закутанной супруге и послал секретаря взять заранее заказанные билеты. Через несколько минут подошел поезд, секретарь и слуга устроили своих господ в разных купе и прошли в другой вагон, где ехали сами.

Когда поезд тронулся, лорд осведомился и лично убедился, что его супруга устроена удобно, любезно с ней простился и сказал, что утром придет ее проведать. Все было так чуждо Наль, так незнакомо и так неудобно. Личико ее было такое растерянное, что лорд-муж спросил, уже выйдя в коридор, не нуждается ли его супруга в секретаре. Обрадовавшись возможности побыть с дядей, Наль просила его прислать немедленно. Лорд послал за ним проводника и оставался в коридоре, перекидываясь со своей супругой малозначительными фразами до тех пор, пока не явился секретарь.

— Графиня желает написать несколько писем, у нее бессонница, — сказал лорд секретарю, который низко поклонился и вошел в купе графини. Поцеловав руку жене, лорд, закрывая двери, шепнул мнимому секретарю:

— Оставайтесь до шести часов. Я займу ваше место утром, а вы отдохнете у меня в купе. Дайте Наль спать, сами дежурьте.

Вернувшись к себе, капитан Т. лег на диван и, приказав себе — как это делал уже много лет — проснуться в шесть часов, мгновенно заснул.

Наль спать не могла. Все ее поражало. Дядя должен был объяснить ей все устройство вагона. Он рассказал ей также про весь их путь до Петербурга и описал, как выглядит гостиница, если они остановятся в Москве.

— Не знаю, будем ли мы останавливаться там. Думаю, что нам надо мчаться во весь дух, чтобы как можно скорее быть в Лондоне, — говорил дядя-слуга.

— А как туда доедем?

— Сядем на пароход на Неве. Теперь установлено прямое водное сообщение. Через семь дней будем в Лондоне.

— Как? Семь дней будем ехать морем? — с удивлением сказала Наль.

— Да, морем. Я, к сожалению, плохо переношу море. Придется капитану Т. самому караулить на пароходе свою важную жену, — смеялся дядя. — Но мы с тобой выходим из рамок барыни и раба. А чтобы тебе свыкнуться с этой ролью, важная дама, начните свой ночной туалет. В чемодане ты найдешь легкое платье. Я посижу у окна, ты переоденься и ложись спать.

— Нет, дядя, спать немыслимо. Я могу лечь, если ты желаешь. Но ведь от мыслей лопнет голова, если я хоть половины их не додумаю до конца.

Когда через час дядя окликнул племянницу, ответа он не получил. Старик улыбнулся и принялся за чтение. На его безмятежно спокойном лице старого философа не было заметно ни малейшего волнения. Ничто, казалось, не нарушало его равновесия. Он точно таким же спокойным и трудоспособным был сейчас, как в привычной мирной обстановке своего окруженного виноградником дома, где он оставил многочисленную семью. Книга и делаемые им при шатком свете свечи заметки помогли ему не только не замечать мелькавших станций, но он с удивлением приветствовал капитана, тихо вошедшего в купе.

— Говорила, что спать не сможет, — шепотом, лукаво улыбаясь, сказал лорду Т. секретарь. — А вот и непривычная тряска, и стук колес — все молодости нипочем.

Секретарь отправился в отделение своего господина, а последний устроился на соседнем с Наль диване.

Наль все спала, по-детски подложив ручку под щеку. Капитан заботливо закрыл щелку в занавеске окна, через которую подбирался солнечный луч к волнистой головке, и снова сел на свое место. Он впервые видел Наль с закрытыми глазами. Черные длинные ресницы бросали тень на розовые щеки, прелестные губы улыбались. Эта почти детская жизнь принадлежала ему. Еще вчера он считал невозможным не только быть соединенным с Наль, но даже пройти жизнь вблизи от нее. А сегодня он едет с нею, получив ее из рук Али. Едет, чтобы жить и трудиться, свободно любя ее перед всем миром.

«Счастлив ли человек, если несет ответ за две жизни?» — думал капитан.

Отдавая ему Наль, Али сказал, что ответ капитан будет давать за две жизни, ибо Наль дитя, а он не только муж, но и первый друг-воспитатель.

«О, да, — продолжал свои мысли капитан, — выше той любви, где человек согласен дать ответ за жизнь любимого, и быть не может. Али доверил мне часть самого себя. Я должен продолжать его дело и помочь Наль раскрыть в себе все силы жизни».

— Дядя, знаешь, даже лень глаза открыть. А я хвалилась, что половину мыслей додумаю, — медленно проснувшись, сказала вдруг Наль. — И знаешь, очень странный мне снился сон. Я все время видела во сне капитана Т., а вовсе не дядю Али, как полагала. Мне казалось, что это он сидит, а не ты. И что я его жена, и что нас венчают по-европейски. Правда, смешно?

— Не очень, Наль.

Наль вскочила с дивана в полной растерянности.

— Как же это случилось, что вы здесь, а я сплю? — огорченно сказала девушка.

— Мне не хотелось будить вас, а дяде надо было отдохнуть. Не огорчайтесь. Надо привыкнуть играть роль моей жены. Не забывайте, что мы беглецы и от нашего самообладания зависит талантливо разыграть роли и спасти наши жизни. И не только наши, но и всех тех, кто помогает нам в целом ряде мест одновременно в эти минуты. Трудно вам, Наль, путешествовать в первый раз в жизни, и особенно без женской помощи. Будем вместе стараться вести себя так, чтобы нас принимали за важных и влюбленных супругов. Сейчас постарайтесь причесаться. В парикмахеры я не гожусь, хотя гример я хороший. Но критиковать вашу прическу — берусь.

— Если вы будете тихо сидеть у окна, капитан Т., я постараюсь причесать голову, как видела на модной картинке у дяди Али. Только не смотрите на меня, пока я не скажу.

— Не смотреть на ваши парикмахерские таланты до сигнала согласен. Но на модную картинку — совершенно не согласен. Вы выньте из волос все украшения и положите косы вокруг головы, как вчера.

— Как? Все, все украшения вынуть? Разве европейские женщины не носят украшений? Это очень скучно.

— Носят, Наль. Но в волосах они их носят только на балах, обедах, очень изысканно и умеренно украшаясь ими. Украшения, как шляпы и меха, имеют свое законодательство в женских модах. Иная шляпа одевается только утром, другая — после обеда, а есть шляпы, скрашивающие только коляски.

— Как же это все постичь, чтобы не сделать бестактности и не осрамить дядю Али или вас, капитан Т., — с уморительной детской серьезностью спрашивала Наль.

— Я думаю, вам, постигшей такие духовные большие задачи и не менее трудные математические истины, Наль, не будет трудно понять внешние правила условной цивилизации того нового народа, среди которого мы будем жить. Для начала снимите весь жемчуг с кос и ваши драгоценности с шеи и ушей. Они чрезмерно драгоценны для вагона. Вы, наверное, найдете, среди уложенного вам, какие-нибудь маленькие, не свешивающиеся серьги. А волосы в дороге не украшаются ничем.

— Как странно. У нас именно в дорогу и надевается все самое драгоценное.

Довольно долго капитан сидел, отвернувшись к окну, думая, как трудно будет Наль привыкать к новой жизни, на каждом шагу натыкаясь на затруднения.

— Ну, вот я готова, — услышал он за собой.

Наль стояла перед ним в белой блузке и синей юбке. Волосы ее были гладко причесаны на пробор и уложены вокруг головы. Казалось, этой прелестной головке было тяжело от кос, а непривычка к шпилькам заставляла Наль все время пробовать рукой, на месте ли ее косы. Сквозь тончайший батист просвечивало розовое тело рук и груди. Выражение огромных глаз было радостное, доверчивое. Ни одного облачка сомнений или сожалений о покинутом доме и любимых в нем. Ни малейшей тревоги о неизвестном будущем — ничего не было на лице Наль, кроме желания сейчас получить одобрение капитана своему внешнему виду.

Уверив ее, что все в ней не оставляет желать лучшего, капитан проводил свою жену в умывальную комнату и остался ждать ее в коридоре.

Мысли о Левушке — до сих пор его единственном близком спутнике жизни и путешествий — пробежали облаком в сердце капитана. Левушка, возвратившийся с пира. Левушка, распечатавший письмо. Левушка, впервые пускающийся в жизнь без него...

«И здесь мой ответ за две жизни», — снова подумалось капитану.

Проводив Наль из умывальной комнаты обратно в ее купе, лорд приказал проводнику позвать из своего отделения секретаря. Секретарь, человек опытный и немало путешествовавший в жизни, устроил все дела по части завтраков и обедов на весь путь. Наль не знала никакого беспокойства об этой стороне дела, все подавалось мужу и жене в их купе.

Первый день путешествия приходил к концу. Наль освоилась со своим новым бытом, и все окружающее перестало ее удивлять. Она больше не поражалась свободе обращения не закрытых покрывалами женщин с мужчинами, но выходить до полной тишины и тьмы ночи из купе она отказывалась. Без всяких приключений, сменяясь на дежурстве при ней, доехали наши путники до Москвы. Ни слова не спросила Наль, как минуют Москву, а, очутившись в новом поезде на Петербург, чувствовала себя свободно.

Часто замечал капитан напряженные мысли на ее лице, но не мешал ей решать свои вопросы одной.

В переполненном петербургском поезде им пришлось ехать всем в одном купе, чему Наль, уже успевшая несколько привыкнуть к своему открытому лицу, очень радовалась.

Она, казалось, не замечала встревоженного вида дяди в Москве, когда тот шепотом что-то говорил капитану. Она была ровна и спокойна и в Петербурге, где их встретили двое незнакомых людей и очень торопили на пароход. Пораженная великим городом, она с сожалением сказала:

— Проехать мимо всех этих красот, не заглянув даже ни в один дом. Ведь это жалость, капитан Т.

— Не зная хорошо языка народа, посмотреть бегло на его дома и галереи — это тоже жалость, Наль. Будет время, вы еще увидите так много народов и их красот, узнаете быт и сможете, если захотите, сами вплести от себя труд и красоту в их жизнь. Не спешите узнать все сразу. Сейчас помните только, что вы важная дама, моя жена. Жизнь на пароходе, с его табльдотом, вам будет труднее поезда.

Наши пассажиры вошли на пароход со вторым гудком. И только когда пароход тронулся, Наль заметила, как разошлись суровые морщины на лице капитана и как легко вздохнул дядя.

— Если бы здесь был дядя Али, — прошептала Наль капитану, — он говорил бы мне все и видел бы во мне усердного слугу-помощника своим заботам. А ему я только племянница, а не жена.

— Упрек ваш мне тяжел, Наль. Особенно тяжел потому, что и я, как Али, вижу в вас друга и помощника. Но пока мы не встретимся с Флорентийцем и не будем обвенчаны, я ничего не могу вам сказать. Даже того, куда и зачем мы едем.

— Если вы не говорите мне ничего только потому, что вы связаны словом дяде Али, — я совершенно спокойна. Я думала, что вы уже не любите своей маленькой жены, которая ничего не знает, даже не понимает, как ей вести себя на пароходе.

— Простите, граф, что я прерываю вашу беседу с женой, — подошел к капитану Т. капитан парохода, обращаясь к нему на английском языке и считая в порядке вещей, чтобы русский граф знал его язык. — Ваши места оказались врозь с вашей очаровательной женой, — кидая восхищенный взгляд на Наль и кланяясь ей, продолжал капитан парохода. — Но так как вы едете от места и до места, я могу предоставить вам самую лучшую каюту, в которую не явились пассажиры. Если вам угодно, я велю отыскать вашего секретаря и укажу ему каюту.

— Я чрезвычайно тронут вашей любезностью. Если вас не затруднит устроить нас вместе, а мое место передать моему секретарю, мы будем вам очень благодарны.

— Помилуйте, я сам предложил вам. Я буду очень счастлив служить вашей супруге и вам чем только могу во весь наш путь, — ответил, изысканно кланяясь снова Наль, капитан парохода.

— Как же мы с вами поедем вместе в одной комнате, капитан Т.? — подавляя волнение, сказала Наль.

— Ничего, друг, не беспокойтесь. Вы еще не знаете, как будете выносить качку, ваш дядя ее переносит плохо. Лучше, если качка вам будет тяжела, что братом милосердия при вас буду я, чем кто-либо чужой.

— Мне очень здесь страшно. Это гораздо хуже, чем поезд. И почему все так смотрят на меня? — тихо спрашивала Наль, стараясь скрыть смущение.

— Нельзя, немыслимо быть такой прекрасной, Наль. И я даже не могу сердиться на этих людей, которые — от матросов до капитана и от юношей до стариков — как ошалелые смотрят на вас. Если бы я был на их месте и имел бы право только исподтишка смотреть на вас, а не откровенно вами любоваться, как я это делаю сейчас, я бы вел себя точно так же. А потому не могу на них сердиться.

Наль вспыхнула, улыбнулась мужу и сказала:

— Это услышать от вас сейчас — мне большая помощь. Мне так много пришлось передумать за эти дни. У нас не такие обычаи, как ваши. У нас все иначе между мужем и женой. Я думала, что вы уже недовольны, что уехали со мной.

— Когда мы очутимся в каюте, а не здесь на ветру, вы мне все расскажете, что вы надумали. А пока укройтесь, пожалуйста, Наль, плащом да, кстати, опустите и вуаль, чтобы непривычный ветер не испортил вам кожи.

— Или непривычная ревность не испортила сердца вашему мужу, — низко кланяясь графине, сказал подошедший секретарь. — Ваши каюты готовы, лорд, и даже украшены

цветами, по приказанию капитана. Кроме того, ваши друзья из К. успели прислать графине два сундука с бельем и платьем, которые тоже уже стоят в каюте.

Капитан парохода, человек лет сорока, хороших манер и, очевидно, доброго характера, сам шел уже навстречу обратившей на себя всеобщее внимание чете и проводил их до каюты.

— Вот так красавец мужчина, — сказала своей подруге разряженная дама.

— Всю жизнь прожил — подобной живой красавицы-женщины и представить себе не мог, — говорил приятелю ловелас с моноклем в глазу и тросточкой в руках.

— Ну вот, придумали, — возразила дама. — Муж — это да! Это мужчина! И где только мог вырасти такой красавец. А жена — смазливенькая, каких много.

— Это возмутительно, что вы говорите. Рост, пропорциональность, крошечные ручки и ножки, белизна — ну а уж глаза — это небо, — продолжал франт.

Тем временем, как только пароход вышел в открытое море, Наль почувствовала себя плохо.

— Немедленно ложитесь в постель, — сказал граф, на руках внося Наль в каюту. Он позвонил горничной. — Вам сейчас помогут лечь. Примите эти пилюли. Не волнуйтесь. До больших неприятностей дело не дойдет. Но вряд ли вам придется побеждать сердца за табльдотом. Думаю, самое большее, вы доконаете капитана, сидя в кресле на палубе в тихие дни.

— Не смейтесь надо мной, капитан Т. Мне так горько, что вы не посмотрели еще на меня ни разу.

— Напротив, Наль, я все ловил себя на том, что только и делал, что смотрел и думал о вас. А, видит Бог, было еще много, о чем думать.

— Неужели вы уйдете в этот ужасный табльдот и оставите меня одну?

— Нет, конечно. Я сейчас поищу в вашем сундуке, там, наверное, найдется какой-либо очаровательный халат. Вы снимете свое платье и будете лежать, изображая загадочную принцессу, скрываемую в каюте Синей бороды. Но прежде всего я велю принести апельсинов, а вот вам в помощь идет девушка.

— О, только девушку не надо. Апельсин я очень хочу. Ванну и постель очень хочу. Но раздеваться и одеваться я дала себе слово всегда сама. Я вижу, как это плохо — быть приученной иметь семь нянек.

Капитан отправил девушку за фруктами, открыл сундук и, к восхищению Наль, достал ей прелестный теплый халат. Бедняжка страдала от северного лета и ветра. Как ни помогали ей лекарства, но все же ей пришлось пролежать все путешествие, изредка сидя в кресле на палубе в солнечные дни.

— Если бы вас не было со мною, я бы умерла от этих дождей и туманов. Это хуже тюрьмы. Но так как вы здесь, то все мне кажется уютным, даже этот шум ливня, — говорила Наль графу.

Капитан сидел возле Наль, держа ее ручки в своих и стараясь помочь ей переносить тяжелую качку.

— Мы встретим в Лондоне одного друга дяди Али, Флорентийца, — сказал однажды капитан.

— Флорентийца? Это что? Его имя?

— Так его все зовут, а имени его ни я и никто не знает. Когда вы увидите его, Наль, вы поймете, что такое красота.

— Это очень странно. Дядя Али — красавец. Али Махмед — красавец, еще лучше. Вы, — зарделась Наль, — всех лучше. Разве можно быть красивее вас?

— Я спрошу вас об этом в Лондоне, — засмеялся граф, — после свидания с Флорентийцем.

Наконец мучениям Наль настал конец. В одно прохладное, туманное утро пароход подходил к пристани, доставив в Лондон совсем больную Наль, измученных секретаря и слугу и совершенно здорового графа Т. Загар на его лице от постоянного сидения в каюте с больной, болезнь которой выражалась в такой слабости, что к концу путешествия она уже не могла вставать, почти сошел. Отчего лицо его, блондина с вьющимися светлыми волосами и темными, очень красивыми дугами бровей, много выиграло.

Поручив вещи носильщикам и уговорив секретаря побыть со слугою на пароходе, пока он за ними не вернется вторично, граф подошел к самому парапету, пристально вглядываясь в ожидавшую на берегу толпу. Сначала на его лице, кроме напряжения и разочарования, ничего не выражалось. Но когда половина пассажиров уже сошла, внезапно лицо его просияло и, обменявшись с кем-то приветственным жестом, он быстро прошел в свою каюту.

Поместив в ней своих секретаря и слугу, граф пошел проститься с капитаном и попросил разрешения оставить на четверть часа в своей каюте больного секретаря со слугой, пока он не посадит в кеб жену и не вернется вторично за своими спутниками, столь ослабевшими, что без его помощи они не смогут добраться до гостиницы.

Получив не только разрешение, но и полное сочувствие и предложение всякой помощи, граф укутал жену в плащ и понес ее на руках на берег.

— Привет тебе, Николай. Я очень рад, что вовремя поспел. Но, как ни спешил, тебе все же пришлось ждать меня, — услышала Наль английскую речь очень приятного, нежного по тембру, довольно низкого голоса.

— Поверьте, я ждал бы до самого конца разгрузки парохода, раз вы приказали мне ждать вас здесь.

— Это по-твоему! Во всем, всегда и везде можно быть уверенным, что ты выполнишь точно, раз приняв приказ, — снова сказал тот же голос. — Не тревожься о Наль, дай мне ее на руки и веди своих инвалидов. Видишь у сквера зеленую карету? Веди их прямо к ней.

Наль почувствовала, как другие сильные руки приподняли ее. Ей показалось, что фигура взявшего ее много выше Николая, как назвал незнакомец ее мужа. Ей хотелось сначала протестовать, сказать, что она вовсе уж не так слаба, чтобы переходить с одних рук на другие. Но, едва коснулись ее руки незнакомца, неизъяснимое счастье, почти блаженство охватило ее.

— Отец, — невольно прошептала Наль. И — точно подслушал незнакомец шепот ее уст и сердца — еще нежнее охватили ее сильные руки. Точно как в детстве, спасаясь от глупых

строгостей тетки на руках дяди Али, Наль почувствовала себя в верной защите. Ей теперь даже не надо было видеть того, к чьему сердцу она так доверчиво приникла, — она чувствовала себя слитой с ним еще крепче, чем с дядей Али.

Николай вернулся со своими спутниками, все разместились в экипаже и тронулись по серым и однообразным улицам, заполненным дымом и туманом. Ехали довольно долго, пока не выбрались на красивую, широкую улицу и остановились у подъезда двухэтажного особняка, окруженного садом с цветниками.

— Доверь мне донести твое сокровище до комнат, назначенных тебе и ей, — обратился Флорентиец к Николаю. — А ты проводи своих друзей в две комнаты внизу, с левой стороны. И дай им немедленно лекарство, ты знаешь, какое и как. Часа три-четыре они проспят и тогда смогут кушать. Сам же, уложив их, приходи наверх. Услышишь наши голоса — на них и иди.

Легко, как будто бы Наль была куклой, вышел Флорентиец из экипажа, сказав что-то на непонятном ей языке кому-то, очевидно, слуге, и пошел вверх по лестнице.

Наль было стыдно, что ее несут как дитя. Ей было неловко обременять кого-то собой, и вместе с тем чувство необычайного счастья, радости и впервые познанной любви к отцу заставляло ее сожалеть, что лестница не бесконечна, что уже пройдена одна площадка и скоро будет комната, где ее поставят на ноги.

Положив ее на диван, Флорентиец, смеясь, снял с ее головы часть плаща и ласково сказал:

— Теперь посмотри на того, кого ты в мыслях уже признала отцом. Быть может, взглянув, ты не захочешь выговорить это слово? Или сердце твое угадало раньше уст?

— О, как вы прекрасны, отец. Аллах, Аллах, как вы сияете! — прикрывая глаза рукой, сказала Наль. — О, отец, теперь я не смогу больше жить без вас! Позвольте мне поцеловать ваши руки. Мне кажется, первый раз в жизни я понимаю, что такое счастье. Здесь, подле вас, ничего не надо. Только бы исполнять вашу волю.

Наль соскользнула с дивана на ковер и приникла к рукам Флорентийца, сидевшего на низкой табуретке у ее изголовья.

— Встань, дитя, мы с тобой будем долго вместе. И я рад ответить полною любовью на твой зов. Будь моею дочерью, как твой муж, Николай, уже давно мой сын. И, называя меня отцом, ты только берешь то, на что имеешь право. Вот съешь эту конфетку, и через час ты будешь бегать не хуже, чем в саду дяди Али. Можешь ли объяснить мне и себе ясно: почему, будучи воспитана Али, обожая его, любимая им, ты назвала меня отцом и заявила свое право на это, прикоснувшись ко мне? Его же ты ни разу не назвала отцом.

— Это очень странно, отец. Действительно, все, что до сих пор я имела в жизни, — все от дяди Али. Все через него. Все — его заботами и даже борьбой и подвигом. Все, все, — зардевшись, говорила Наль, — и... капитан Т., которого ты зовешь Николай, и даже встреча с тобой, отец, — все только от него, дяди Али.

Но выразить вряд ли смогу, почему к дяде Али моя любовь была не то что со страхом смешана... Но он так силен. Так для меня недосягаемо высок, что почувствовать себя с ним так просто, как с тобой, я никогда не могла. Я все чувствовала, что между мною и им стоит огромная гора света, и проникнуть за нее я не могла. А увидела тебя, отец, и, даже еще не видя, уже почувствовала, как мне просто, как легко с тобой. Если теперь ты меня оставишь — я жить уже не смогу. Даже любовь Николая, если бы он любил меня, — горько вздохнула Наль, — меня не удержала бы на земле без тебя.

— Если бы Николай любил тебя, дочь? Что это значит? В чем ты сомневаешься?

— Нет, отец, я ни в чем не сомневаюсь. Если дядя Али послал меня сюда — значит, здесь и есть моя жизнь и судьба. Я встретила тебя и теперь понимаю, что дядя послал меня к тебе. Он только сказал, что мы с Николаем — муж и жена. Но, видно, иначе он отослать меня к тебе не мог.

— Но кто сказал тебе, что брак ваш не состоится? Что Николай тебя не любит?

— Никто не говорил. Только видишь, как я стала невестой, и перед брачным пиром тетка все время объясняла мне, как муж обращается с женой, если он ее любит. Но...

— Смейся, дитя, над всеми предрассудками мира, а особенно над теми утлыми понятиями, что вынесла ты из гаремной жизни. Немного времени пройдет, и ты поймешь всю силу любви и преданности Николая к тебе. Целую вереницу жертв Николай тебе принес, и ты их узнаешь. Будь с ним так же проста и честна, как сейчас со мной. И ты поможешь и мне, и дяде Али. А помощь твоя и Николая нам, прежде всего, заключается в той новой, освобожденной семье, которую вы оба должны создать. Ну, вот и муж твой. Сюда, Николай.

Приподняв портьеру, на пороге показался Николай.

— Ну конечно, я не сомневался, что Наль будет сразу поднята на ноги вашим волшебным присутствием, Флорентиец. Она так сияет, что мне не о чем спрашивать.

— Отец приказал мне звать вас Николаем. Мне хотелось бы назвать вас как-то иначе, как зовет вас Левушка. Но я буду звать вас так, как зовет отец, в честь его, в постоянную память о нем. У меня в ушах будут звенеть два голоса — его и мой собственный — каждый раз, когда я буду произносить: «Николай».

Флорентиец засмеялся, а на лице Николая выразилось удивление.

— Все это хорошо, дочь моя, у нас времени впереди много, мы еще обо всем поговорим. А сейчас тебе надо идти в ванную. Надо одеться к лицу и сойти вниз завтракать. Я приготовил тебе девушку-горничную. Она этой профессией никогда раньше не занималась, но жизнь ее затрепала. У нее старушка мать и мальчик брат, которого надо учить. Найти же в Лондоне кусок хлеба, чтобы содержать двух человек одной женщине, — почти немыслимо. Я взял ее к себе, имея в виду куда-либо пристроить. Теперь, я думаю, лучше, чем к тебе, ее и не пристроишь. Она знает языки, знает обычаи этикета, у нее много вкуса. Она будет тебе полезна. Я ее сейчас приведу.

Флорентиец скрылся так быстро, что Наль ничего ответить не успела. Тут вошел к Николаю один из слуг хозяина дома, прося указаний, как разместить привезенные с пристани вещи.

Спустившись с лестницы, Флорентиец вошел в чудесную комнату с балконом, обитую зелеными шелковыми обоями и обставленную немногими старинными вещами. Шкафы с книгами и письменный стол были из светлого, золотистого дерева с инкрустацией из черепахи. Пройдя комнату, он вышел на балкон и позвал:

— Дория, пройди ко мне сейчас же.

В саду послышались поспешные шаги, и на дорожке к дому показалась высокая женская фигура. Женщина прошла через балкон в комнату Флорентийца.

— Садись, Дория. Ты просила меня помочь тебе. Ты сама знаешь, как радостно, как много Ананда для тебя сделал и как ты, дав обет беспристрастия и отказа от зависти, увязла в чувстве горечи. Знаешь, как тяжела теперь для тебя жизнь, ставящая тебя все время в положение существа зависимого, второстепенного. На каждом шагу жизнь выбивает из тебя все крючки зависти и ревности.

— Да, жизнь была мне тяжела, когда я лишилась моего руководителя Ананды. Я страдала и до сих пор страдаю от сознания, как я ударила его своими стрелами страсти и зависти, моего милосердного поручителя. Но в вашем доме жизнь — более чем счастье. Мое сердце чисто. В нем теперь нет ни зависти, ни пристрастия, ни осуждения людям, я жду только, когда поверите вы до конца моей верности и укажете труд, который дать обещали. Я должна доказать в нем вам свое новое понимание счастья жить, служа вам и этим снять с Ананды ответ за себя.

— Уверена ли ты, что всякий труд, который я укажу тебе, понесешь радостно? В тебе не проснутся вновь гордость и унижение? Или еще раз зависть и ревность к чужой блестящей жизни?

— Я уверена. Уверена не в себе, не в своих качествах. Я уверена в истинной любви к человеку, проснувшейся во мне.

— Если бы я сказал тебе стать слугой у юной, прекрасной как мечта женщины? Служить ей горничной, нянькой, потому что она неопытна, как дитя. Быть ей незаметно наставницей в манерах и одежде, потому что она азиатка и не знает не только света, но и не видела вовсе европейской жизни. Как отнеслась бы ты к такому труду?

— Служа ей, я служила бы вам. Служа вам, я искупила бы грех перед Анандой и вернулась бы к нему.

Долго, долго смотрел на Дорию Флорентиец. Так долго, что у женщины участилось дыхание. Точно до самого дна проникал его взгляд и читал в ней не только ее теперешнее состояние, но и всю будущую ее жизнь и возможности. Наконец он встал, улыбнулся и сказал ей:

— Слово твое сейчас — твоя подпись в веках. Я даю тебе свою подпись под твоим новым обещанием. Дитя, за которым я поручаю тебе уход, — не только моя, но и многих надежда. Я не знаю, как великодушна будет она вначале к тебе и будет ли вообще.

— Я буду великодушна к ней. Благословите меня, Флорентиец, я думаю, что больше не поскользнусь, под какой бы личиной ни стремилось проникнуть ко мне зло.

Дория опустилась на колени, прижала к губам дивную руку Флорентийца, который положил ей на голову свою вторую руку.

— Пойдем, она ждет, — сказал Флорентиец, поднимая Дорию.

Дория отерла влажные глаза и казалась удивленной.

— Да, это здесь, в моем доме, и тебе никуда уезжать не надо.

— Какое счастье — радостно воскликнула Дория.

Флорентиец направился к выходу и, оглянувшись в дверях, сказал ей улыбаясь:

— Привыкай к роли слуги-горничной и учись ходить позади своих госпожи и господина.

Войдя к Наль, он подвел к ней Дорию и сказал:

— Вот горничная, что я тебе обещал, дочь. Ее зовут Дория.

— О, какое красивое имя, не менее красивое, чем вы сами, — подымаясь с дивана и положив руку на плечо Дории, сказала Наль.

Дория поднесла к губам руку своей новой хозяйки и сказала, что будет стараться служить ей всей верностью как только сумеет.

— О, Дория, как огорчили вы меня. Зачем вы поцеловали мне руку? Я возвращаю вам поцелуй, — и, раньше чем кто-либо успел опомниться, Наль поцеловала руку сконфуженной Дории.

— Я не знаю света, Дория. Но дядя Али научил меня понимать, что нет в жизни слуг и господ, а есть люди, цвет крови которых одинаково красен. Не слугой вы будете мне, но другом, наставницей в тысяче новых для меня вещей, которых я не знаю. Отец, я уже успела осмотреть комнаты, что вы назначили мне. Куда мне столько комнат? Можно Дории жить в прелестной угловой комнате, выходящей в сад? Я бы так хотела, чтобы ей было легко и весело со мною.

— Ты маленькая хозяйка и своих комнат и Дории. Поступай как хочешь. Боюсь, что своим восточным очарованием ты не только меня с Николаем, но и весь дом скоро заберешь в плен, — шутил Флорентиец. — Но времени теперь не теряй. Украшайся и сходи завтракать по звуку гонга. Он дается за четверть часа до каждой еды.

С этими словами хозяин дома ушел, уводя с собой Николая.

— Дория, друг. Я совсем ничего не умею делать и не знаю, что в этих сундуках. Они открыты, но что выбрать, чтобы нарядно и подходяще к случаю одеться по вашим требованиям, я не понимаю.

— Не беспокойтесь, графиня, ванна уже готова, я усажу вас в нее и вернусь выбрать подходящие туалеты. Вы наденете тот из них, что вам понравится больше. Если же не понравится ни один, вы примиритесь с ним пока, а потом мы поедем в город и купим все, что будет нужно.

— Дория, у нас не принято, чтобы девушки звали свою хозяйку иначе как по имени. Прошу вас, когда мы одни, зовите меня Наль, как делается в нашей стране. Если же по требованию здешних приличий надо меня величать, то величайте только на людях.

По выходе из ванны, освеженная, прекрасная, точно весенний цветок, Наль с восторгом ребенка рассматривала приготовленные ей Дорией три платья.

— Эти все годны для завтрака, — сказала горничная, усаживая свою госпожу перед большим зеркалом. — Господи, как вы прекрасны, — сказала она, распуская ее роскошные волосы.

Кто-то постучал в дверь, и подошедшей Дории восточный слуга сунул в руки узелок, завязанный в чудесный персидский шелковый платок.

— Для Наль, — сказал он и ушел.

Наль развернула узелок, и оттуда выпали две косы, перевитые жемчугом, с драгоценными накосниками на концах, отрезанные ею в комнате капитана Т. в день бегства из К. Там же было и роскошное покрывало.

— Что это? Это точь-в-точь ваши вьющиеся волосы.

— Они самые и есть. На них не лезла шляпа, да и уличили бы меня своей длиной. Даже у нас, где много хороших волос, мои косы до полу всех удивляли. Вот я их и отрезала, — спокойно беря косы, ответила Наль.

— И вам не жаль было лишить себя такой исключительной красоты?

— Ах, Дория. Красота — это так растяжимо. До сегодняшнего дня я думала, что мой муж красивее всех на свете. А сегодня поняла, что красота может быть еще и божественно прекрасна.

— Да, — засмеялась Дория, — я согласна, что вы божественно прекрасны и никакая богиня Олимпа вам не страшна. Но разрешите мне причесать вас по моде, а то мы все гонги пропустим.

Уложив волосы большим узлом на затылке, спустив по бокам небольшие локоны вьющихся волос Наль, Дория укрепила в волосах большой гребень из желтой черепахи, отысканный в вещах, и такие же шпильки, отделанные мелкими бриллиантами. Наль стала выбирать платья.

— У нас надевают много халатов один на другой. По вашему обычаю, нельзя надеть их все три вместе? Они так прекрасны.

— Нет, никак нельзя, — смеясь, разводила руками Дория. — Надо решиться на какое-нибудь одно.

— Как жаль, — так серьезно сказала Наль, что Дория снова покатилась со смеху. Наль вторила ей и наконец надела золотистого мягкого шелка платье, отделанное у шеи и рукавов кружевом. Тонкая, высокая шея, выходящая из едва открытого ворота, короткие рукава — все изменяло Наль до неузнаваемости.

— Я вижу, вернее, слышу, что вы превесело одеваетесь. Можно войти?

— Ах, нет, никак! — закрывая обнаженную шею руками и ища, чем бы прикрыть голые руки и фигуру в обтянутом платье, вскрикнула Наль, узнав голос Николая.

— Как нельзя? Да ведь вы совершенно готовы, — входя, удивился Николай, видя свою жену в полном туалете.

Наль, закрывая все так же шею, с полными слез глазами стояла перед ним.

— Что случилось, Наль? Кто вас обидел? В чем дело? Я только что хотел сказать вам, как вы необычайно хороши в этом платье, но ваши слезы расстроили меня, я даже забыл, с чем пришел.

— Ну, уж я понял, что без меня здесь не обойдется. И чтобы первый завтрак прошел весело, явился сам вести тебя в столовую, дочь моя, — появляясь во фраке и открытом белом жилете, блистая красою, сказал Флорентиец. — Тебе неудобно и неловко в доме отца, каким ты меня признала, в обществе мужа, которого любишь, быть с открытой шеей и руками? Это предрассудок, дитя. Брось его. К чистой женщине, к ее чистым мыслям не могут прилипнуть ничьи грязные взгляды и мысли. Тебе придется бывать в большой толпе с открытыми плечами. Привыкай и помни одно: атмосфера чистоты несносна злу. Оно бежит от нее. Надо в себе иметь что-либо злое, чтобы зло могло тебя коснуться.

Он взял из рук Николая футляр, открыл его и вынул два крупных камня грушевидной формы, зеленый и бриллиант на тонкой цепочке из этих же мелких камней.

— Позволь мне надеть тебе на шею эти камни. Белый дарит тебе твой дядя Али — камень силы. Зеленый даю тебе я — камень такта и обаяния, камень чистоты и умения приспособиться ко всем обстоятельствам жизни.

Он надел на шею Наль цепочку, и камни заиграли на белых кружевах. Наль подняла свои огромные глаза и головку со слезами в глазах и улыбкой на устах. Рядом с величественной, громадной фигурой Флорентийца, на прекрасном лице которого лежал безмятежный мир, она была похожа на ребенка.

— Возьми мою руку, как тебя обучил этому Николай, и пойдем в мою комнату. Там ты встретишь двух моих друзей. Не растеряйся, если они поцелуют тебе руку. Если количество блюд будет тебя смущать за завтраком или ты не будешь знать, как их есть, посмотри, что делаю я или Николай — мы постараемся оба показывать тебе все фокусы моды и этикета, называемые воспитанием, так, чтобы кроме тебя одной этого никто не замечал. Пользуясь правом хозяина дома, я буду тебе накладывать первые блюда сам. А затем, когда ты поймешь, как это делается по здешним требованиям, ты сама захочешь рискнуть и сделаешь это для меня и мужа.

Сойдя с лестницы, Флорентиец ввел Наль в свою зеленую комнату.

— Как прекрасно здесь! Какой балкон! Сколько книг, почти столько, как у Николая.

— Гораздо больше. Здесь, подальше, есть одна из лучших библиотек, какую можно встретить в частном доме, Наль, — сказал Николай жене.

Раздался стук в дверь, и один за другим вошли в комнату двое мужчин, которых хозяин приветствовал очень сердечно и, взяв их обоих под руки, подвел к Наль.

— Позволь тебе представить, Наль, моих двух друзей. Это — лорд Мильдрей, а это просто индус, студент оксфордского университета, Сандра Сатананда. Для тебя — просто Сандра. Он еще мальчишка и, наверное, будет играть с тобой в куклы. Моя дочь, — закончил Флорентиец.

Лорд Мильдрей, человек на вид лет под тридцать, плотный, серьезный, с большими, добрыми и проницательными глазами, приветливо улыбался. Низко кланяясь, он почтительно поцеловал руку Наль, подал ей две розы и молча отошел. Он был, видимо, поражен и красотой Наль, и тем, что у Флорентийца оказалась дочь, о чем он раньше не знал.

Сандра, смуглый, с живыми, блестящими, черными как уголь глазами, напомнившими Наль об Али, не мог сдержать смеха при упоминании о куклах. И зубы его, белые на смуглом лице, сверкали, точно мраморные.

— Простите, графиня, но ваш отец заставил меня сразу выскочить из всех рамок установленных приличий, которым меня так долго и терпеливо обучает мой друг, лорд Мильдрей. Будьте великодушны к оксфордскому отшельнику, не так давно приехавшему из Индии, и для первого раза — простите. — И Сандра поцеловал протянутую руку так сердечно, что Наль почувствовала себя с ним очень просто.

Гонг ударил вторично, Флорентиец подошел к Наль и повел ее к столу. Стараясь как можно увереннее идти, Наль не могла скрыть удивления, когда вошли в столовую, где высокие стены и потолок были из резного, темного дерева. Флорентиец подвел Наль к длинному столу, где стояли приборы только на одном конце стола, и посадил ее на место хозяйки, на узкой стороне стола. Поклонившись Наль, он занял место по правую ее руку, по левую руку сел Николай, рядом с ним лорд Мильдрей, а Сандра возле Флорентийца.

В первый раз в жизни не только без покрывала в обществе мужчин, но еще с открытой шеей и руками, Наль чувствовала себя совсем расстроенной. И только сознание, что рядом с ней ее верные защитники, которым она вручила добровольно свою судьбу, помогло ей наблюдать, что и как они делали, и учиться жить по-европейски. Она старалась забыть о себе и думать только о них, как бы скорее перенять все и облегчить их заботы о ней.

— Ну, Сандра, как идут твои уроки воспитания? — услышала она голос Флорентийца.

— Из рук вон плохо, — сверкая снова всеми зубами, весело смеясь ответил индус.

— Неужели все еще бегаешь по улицам, шагаешь через три ступеньки по лестницам и не помнишь, из какой рюмки надо пить какое вино?

— О, много хуже, лорд Бенедикт, — ответил Сандра, удивив немало Наль таким обращением к Флорентийцу.

Она с удивлением взглянула на Николая, говорившего ей так недавно, что у Флорентийца иного имени нет. В глазах Николая засветился юмор, но ответа на ее немой вопрос он никакого не дал.

— Мои таланты к усвоению внешней галантности приводят в отчаяние моего доброго наставника. Куда бы он меня ни ввел, в том доме я непременно оскандалюсь и уже вторично не рискую и являться, что немало печалит меня, — со вздохом признался Сандра.

— Зато таланты моего молодого друга в науке настолько поразительны, — вмешался лорд Мильдрей, — что он сразу перепрыгнул через два курса и сдал недавно работу, которую весь профессорский синклит счел гениальным произведением.

— Я вам многим обязан, граф, — сказал Сандра, обращаясь к Николаю. — Обе ваши книги, изданные вами под именем капитана Т., как и последняя ваша брошюра о технике и математике, в связи с движением механики по неизбежным законам математики, дали моей теме такой основательный фундамент, что мне стыдно принимать одному похвалы за свою работу. В предисловии я упоминаю об источнике моего вдохновения, то есть о вас.

Удивление Наль возрастало непомерно. Легкое прикосновение руки Флорентийца вернуло ее на землю.

— После завтрака я расскажу тебе, Наль, об одном моем молодом друге, имя которого Левушка. И объясню, чем ты мне сейчас его напомнила, — тихо сказал Флорентиец Наль, пока между Николаем и Сандрой шел ученый разговор.

Воспользовавшись минутным молчанием, Флорентиец спросил Сандру:

— Все же ты мне не объяснил, за что тебя не впускают вторично в приличные дома.

— Ах, лорд Бенедикт, это целая трагедия. Только что лорд Мильдрей толковал мне, как надо кланяться дамам издали. Идти за ними надо осторожно, чтобы не оборвать оборок на их шлейфах и т. д. Я все это учел как следует, довел свою даму до места и подал ей чашку чая. Начал я с нею, по моему суждению, самый светский разговор, как тетка нашла его мало приличным, подсела к нам, чтобы направить нас на самые модные темы, и ввернула под мои ноги свой несносный шлейф. Ну, конечно, когда я встал с места, ее юбка отскочила от пояса, это было так смешно, что я и многие другие рассмеялись. Виноват ли я, что вся техника ее платья заключалась в булавках у пояса?

— Он, видите ли, лорд Бенедикт, завел с дочерью разговор о курицах и телятах, — снова вмешался лорд Мильдрей. — Ну, сами понимаете...

Звонкий смех Наль утонул в общем смехе.

Вставая из-за стола, Наль несколько раз попробовала, крепко ли сидит на месте ее юбка, чем насмешила все подмечавшего Николая. Перейдя в гостиную, которой Наль еще не видала, она удивилась тому, что золотистые обои, мебель и портьеры с коричневыми кистями и мелким бордюром из белых лилий были почти одного тона с ее платьем.

Флорентиец предложил Наль самой подать всем гостям маленькие чашечки кофе. Наль сделала это с такой особенной грацией и изяществом, что Сандра воскликнул:

— Клянусь всеми богами Востока, что, если бы лорд Бенедикт не поразил меня сегодня, познакомив с вами как с его дочерью, я готов был бы присягнуть, что вы приехали с Востока.

— Я тебя еще больше удивлю сейчас, — поглядев серьезно на Наль, сказал Флорентиец. — Завтра моя дочь выходит замуж. Обряд венчания должен совершиться без всяких пышностей, толпы и оповещения. Ты говорил мне, что у тебя завелся поклонник твоей мудрости — пастор. Не может ли он совершить обряд, ни о чем нас не расспрашивая, не требуя оглашения?

— Помилосердствуйте, лорд Бенедикт, когда же я вам говорил, что он поклонник моей мудрости? Он просто мой большой приятель, прощающий мне мои погрешности в этикете. Человек он исключительно честный и добрый и рад всем услужить. Я немедленно к нему отправлюсь и сообщу вам его ответ.

Проглотив кофе, Сандра встал, чтобы исполнить желание хозяина.

— Для ускорения дела садись в мой экипаж и, если сможешь, привези пастора сюда. Здесь он увидит сам жениха и невесту...

— И не устоит против чар невесты, — смеясь, перебил Флорентийца Сандра. — Еду, ручаюсь, что привезу пастора.

Отдав общий поклон, Сандра вышел.

— Вы не откажетесь, лорд Мильдрей, быть свидетелем на свадьбе моей дочери? — спросил второго гостя Флорентиец.

— Сочту большим счастьем присутствовать при соединении двух людей такой красоты. Я думаю, что, если бы я мог прожить еще десять жизней, второй такой свадьбы я уж не увидал бы, — ответил лорд Мильдрей.

— Вы совсем переконфузили Наль, — рассмеялся хозяин.

Лицо Наль было задумчиво, даже немного печально. Казалось, она даже не слышала, о чем говорили вокруг.

— Отец, я хотела бы написать дяде Али. Письмо мое, конечно, не поспеет до завтра к нему. Но все же я хотела бы ему написать.

— Другими словами, ты желаешь нас покинуть до приезда пастора. Ну что же, как нам ни приятно твое очаровательное общество, уж так и быть, мы перенесем часа два-три разлуки. Ты можешь не торопиться, пастор живет в другом конце Лондона, и одной езды к нему минут сорок.

С этими словами Флорентиец проводил Наль до двери, открыл ее перед ней, кланяясь и улыбаясь ей.

Вернувшись к себе и застав Дорию за разборкой сундуков, Наль была удивлена количеством помещавшихся там вещей. Но на этот раз, едва взглянув на ряд красивых платьев, она перешла в свой будуар и, плотно закрыв дверь, села за письмо Али.

«Мой дорогой дядя Али. Сейчас я живу в Лондоне, в доме человека, которого никогда не знала и не видела, и в моей жизни совершаются чудеса одно за другим.

Сейчас я расскажу тебе, мой любимый дядя, о первом и самом великом чуде, совершившемся сегодня. Я знаю, что не найду точных слов, чтобы его выразить. Но также знаю, с раннего детства знаю, что, если только я всем сердцем тебя зову, ты тотчас же отвечаешь мне. Ах, вот и сейчас так ясно вижу твои черные глаза, добрые, благословляющие. Их лучи точно проникают в меня, согревают. И теперь я знаю, что найду нужные слова, — ты поймешь все, что мне необходимо тебе сказать.

Дядя, как могло случиться, что, выращенная, воспитанная, скажу прямо — созданная тобой, я ни разу не назвала тебя отцом? Ты и я — это для меня как бы одна плоть, один дух. Я всегда, везде, во всем точно где-то сбоку возле тебя. Я — часть тебя. Меня немыслимо оторвать, потому что сердце мое вросло в твое, а образ твой — он как бы сверкает у меня между глаз, я как бы ощущаю его вросшим в мой лоб.

Отец ли ты мне после этого? Отец. А между тем, имея все в жизни от тебя, через тебя, все — от детства и защиты в нем до любви и мужа, — я никогда не сказала тебе этого слова. А здесь, сегодня, неведомый мне доселе твой друг Флорентиец взял меня на руки — и сердце мое утонуло в блаженстве и сказало: “Отец”.

Когда я увидела его, мои уста повторили это слово и выдали еще одну тайну, скрытую в сердце: что жить без него, того, кому я сказала “отец”, я уже больше не смогу.

Тебя нет со мной, но как я ясно сейчас вижу тебя в твоем саду, точно я рядом с тобою, и я живу. Я уехала от тебя, дядя, не без скорби и тревог, хотя сила твоя — я ее чувствую — трепещет во мне так же, как жила и трепетала при тебе и с первых минут разлуки с тобой. Я уехала за мужем, которого ты мне дал. Я все это время дышала, жила, любила. Но теперь, если бы жизнь повернулась так, что из нее для меня исчез бы тот, кому я сказала “отец”, — я бы уже жить не могла. Разве только подле тебя, дядя, тою силой, что лилась и льется сейчас в меня от тебя. У меня такое чувство, точно я тебя обокрала. Точно я взяла у тебя кусок жизни, врезалась в нее, а возвращаю тебе часть любви, а не всю любовь до конца.

Но ведь на самом деле это не так, дядя Али. Ты для меня — все, вся суть жизни. Если бы ушел из жизни Ты, я ушла бы не от тоски, а как часть тебя, хотела бы или не хотела бы я этого, выбирала бы или не выбирала бы я себе такую долю.

Главное в моей теперешней жизни — это он. Тот, кому я сказала “отец”. Не знаю, поймешь ли ты меня, я так путано выражаюсь. В нем, в отце, светит такое обаяние, такой радостью веет от него, точно какой-то путь из света тянется за ним и перед ним. И мне не надо закрывать глаза рукой и говорить, как тебе: “Дядя Али, убери свой свет, он меня слепит”. Его свет я не только выношу — он мне несет блаженство. От твоей силы я падала, точно разбитая, а его сила — мне уверенность в защите. Но и это еще не все, мой друг, мой обожаемый дядя Али. Ты дал мне мужа, того, кого я после тебя любила всего больше. Я ехала легко, я думала, что им тоже любима. Если и не так любима, как любят женщин у нас, то все же любима. Но этого, дядя, нет. Отец сказал сейчас, что завтра будет

наша свадьба. А я не плачу только потому, что помню, как, расставаясь со мною, ты мне сказал: “Там твой путь”.

Сила твоя — о, как я ясно вижу тебя сейчас, как ласково ты улыбаешься мне, — вошла в меня. Я маленькая женщина, я ничего еще не знаю, но сила твоя, верность твоя живут во мне и будут жить до смерти. Ты пойми, дядя Али, мой дядя-создатель. Я не протестую, но я чувствую себя навязанной мужу.

Отец сказал, что помощь моя тебе, ему и многим будет заключаться в той новой, освобожденной семье, что я и Николай должны создать. Я знаю, что такое закрепощение в предрассудках. Знаю уродливую семью, где выросла сама. Думаю, что знаю, как должны создаваться радостные, гармоничные семьи. Но для этого нужны двое. Для этого нужна любовь обоюдная. А Николай меня не любит. Он не только не прижал меня к сердцу ни разу, он даже не поцеловал меня, не обнял, не приласкал. Он точно боится меня и говорит мне: “Вы”. О, дядя, вдохни в меня уверенность. Моя верность тебе и данному тобой завету поколебаться не может: она живет в тебе, я ее там беру, я часть тебя. Но что толку держать верность в сердце и не уметь действовать каждый день именно так, как надо...

Я знаю теперь, я поняла все, что ты сейчас мне говоришь, дядя, дядя, я услышала все, что ты сказал! Какое счастье, что я теперь понимаю, что ты послал меня к отцу сюда! Да, да, теперь я буду знать, как мне завоевать любовь мужа, как мне создать семью. Он — отец — научит меня, и ты об этом знал. О, это снимает бремя с моей души. Я не могу вообще выносить ни в чем компромисса или двойственности. Меня так мучило, что ты можешь подумать, будто где-то, краешком сердца, я изменила тебе.

Я ношу в своем сердце скорбь о горе Али Махмеда. Но, видит Аллах, я ему ничем и никогда не подала надежды. Напротив, я ему доверила тайну моей любви к капитану Т. Он ей не верил и шутил, называя его принцем из сказки. До свидания, дядя. Я снова твоя счастливая Наль. Я уже не буду горевать, я буду стараться действовать просто. Теперь, когда я вдруг увидела тебя, услышала твои слова, я знаю, как, где и у кого спрашивать совета, если отец не сможет мне его дать. И мне легко, я знаю, как тебя позвать. Я буду садиться за письмо к тебе — и увижу тебя в твоем саду, а потому буду всегда твоей счастливой Наль».

В дверь постучали, и Николай вошел звать Наль знакомиться с пастором.

— Бог мой, что с вами, Наль? Вас точно подменили. Вы уходили такая печальная, а сейчас, право, вы точно пропитались светом и миром в саду Али.

— Это верно. Мои детские горести рассеял дядя Али. Его сад, где были мои мысли, развеял этот противный туман. А если бы вы разрешили мне надеть еще какой-либо шарф, мне было бы и удобнее и теплее. Здесь мне все холодно.

Николай позвонил и приказал Дории подать графине какой-нибудь теплый шарф. Через минуту он свел свою закутанную в белую шаль супругу обратно в гостиную.

— Ну вот, вы видите перед собой теперь обоих моих детей, — сказал Флорентиец, подводя к пастору Николая и Наль.

— О да, ваши дети подходят друг другу. Признаться, когда мой оксфордский приятель рассказывал мне о красоте невесты, я ему не очень верил, потому что о женихе он мне сказал: «Такого ученого, красавца, мудреца и воспитанного человека мог найти своей дочери только лорд Бенедикт. Это надо выдумать в романе такую пару, и то в романе восточном, а не английском». Но так как Сандра бредит Востоком — я не особенно ему поверил. Теперь же я рад соединить ваших детей хоть сейчас.

Пастор был высокого роста, седой, но с розовым и молодым лицом. Необыкновенная доброта сквозила на его умном лице и в синих глубоких глазах. Он сел напротив молодых людей и, соединив их руки, сказал:

— Я уверен, что через двадцать лет, стоя во главе большой семьи, вы будете примером своим соседям и будете все так же влюблены друг в друга.

На лице Наль появилось такое явное замешательство, что добрый старик, устремив на нее пристальный взор, тихо спросил:

— Вы любите своего жениха?

— О да, очень, и давно, — не колеблясь, ответила Наль.

— Давно, значит с детства. Вам не может быть более шестнадцати лет, хотя ваш туалет и делает вас солиднее. А вы, вы любите вашу невесту?

— О да, очень, и давно, — повторяя в точности ответ Наль, сказал, улыбаясь, Николай.

Быстрый как молния взгляд, брошенный на Николая, вспыхнувший на лице Наль румянец, сменившийся бледностью, заставили на мгновение задуматься пастора. На его добром лице выразилось огорчение. Он еще раз взглянул на прекрасное, дышавшее честью лицо Николая, и внезапно его собственное лицо просветлело.

— У вашей дочери, лорд, вероятно, нет матери? Не разрешите ли вы мне переговорить с нею несколько минут без свидетелей?

— Я буду вам очень благодарен. Если вы заметили в сердце Наль какое-то замешательство, вам будет легче венчать ее, если вы уверитесь в ее любви к будущему мужу, — ответил Флорентиец.

— Нет, у меня нет сомнений, лорд. Но женщина, вступая в брак по любви, должна быть спокойна и уверена и в себе, и в муже. Я думаю, тут есть маленький детский страх, который я сумею рассеять.

Флорентиец открыл дверь в соседнюю комнату и, пропустив туда Наль и пастора, закрыл за ними дверь. Как только они переступили порог комнаты, оба замерли от удивления и какого-то особого чувства мира и благоговения. Комната была вся белая, обтянутая белой материей, блестящей, как шелк, и похожей на замшу. Пол из белых и золотых плит, походная кровать, обтянутая такой же материей, как стены, и на ней две звериные шкуры. На белом столе высилась зеленая высокая ваза с букетом лилий.

— Как здесь дивно. Здесь все как сам отец, — прошептала Наль.

— Надо и вам быть всегда таким вот храмом для вашего мужа и детей. Ваш муж сейчас относится к вам как к святыне. А вы думаете, что он вас не любит. Идите, дитя, ваш жизненный путь — как эти лилии, на которые вы похожи чистотой и красотой. Здесь, в эту минуту, я венчаю вашу душу с душой вашего мужа. Берегите его. Ему много предстоит испытаний. Охраняйте его. Неся по жизни бремя красавицы-жены, не каждый смог бы пронести сердце без ревности и подозрений. Ваш муж не мог бы перенести ни мгновения вашей неверности. Будьте честны до конца, бдительны и добры. Остальное придет.

— Я поняла вас. Я буду думать о муже, а не о себе. Отец и он помогут мне создать семью. Я благодарна вам. Теперь я знаю, я спокойна.

Точно чувствуя, что пора открыть дверь, Флорентиец встретил на пороге Наль и пастора. Если лицо Наль Николай назвал преображенным, когда пришел за ней наверх, то теперь оно сияло так, что у экспансивного Сандры вырвался не то стон, не то крик. Наль бросилась на шею Флорентийцу, который поднял ее и прижал к себе. Опустив ее на землю, улыбаясь и указывая на Николая, он сказал:

— А его разве не обнимешь?

— Завтра, — по-детски прижимаясь к Флорентийцу, закрываясь шарфом, сказала Наль.

Лицо Николая вдруг стало смертельно бледно и напряженно. Он обрадовался родственнику Наль, которого Флорентиец тут же представил гостям.

— Наконец-то я пришел в себя. Море меня уложило, а этот холод заставляет кровь стынуть в жилах.

— Это легко поправимо, — любезно ответил хоязин и приказал развести в камине огонь, чем обрадовал Наль и Сандру, к удивлению северян, которым было жарко.

Пастор подошел к Флорентийцу и, условившись о часе венчания, дав точный адрес церкви, пожал руки влюбленным и вышел, провожаемый хозяином.

Как ни хотелось Наль поговорить с Николаем и рассказать о дивной комнате Флорентийца, она инстинктивно почувствовала, что обязана занять гостей до возвращения отца. Поблагодарив Сандру за его хлопоты, она выразила удивление, как у него, такого юного, может быть такой пожилой друг, как пастор.

— Все мои попытки найти себе друзей в университете не приводят ни к чему. Я не увлекаюсь ни спортом, ни боксом, вижу в них только необходимое закаливание тела. А мои товарищи видят в них одну из осей жизни. Попытки лорда Мильдрея ввести меня в семейные дома также неудачны. Что же мне делать? Я ищу друзей среди людей науки.

— Но ведь вы не думаете, что с девушками можно говорить только о курицах и телятах. Я, правда, не знаю тоже, какие темы полагается выбирать в гостиных, — смеялась Наль, — но я представляю себе, что вы могли бы обогатить каждого своим разговором, задев в человеке мысль по-новому, если вы так потрясающе умны, как говорил нам лорд Мильдрей.

— Вот то-то и оно, графиня, что есть такое маленькое словечко «такт», которое помогает жить людям и с малым умом, — добродушно сказал лорд Мильдрей. — Оно же мешает выбраться из постоянных ошибок умнику.

Возвратившийся Флорентиец сердечно поблагодарил Сандру, сказав, что он у него в долгу. Условившись, что оба свидетеля заедут к двенадцати часам следующего дня к нему, Флорентиец просил их не беспокоиться об экипаже, который будет их ждать здесь. Из церкви все проедут к нотариусу для ввода во владение новым имуществом мужа и жены, а затем к раннему обеду вновь сюда. Удивлению двоюродного дяди Наль не было границ.

— Я получил поручение Али, моего друга и брата, доставить вам, Флорентиец, Наль, которая должна стать женой капитана Т. Но чтобы вручить ее вам как дочь, об этом я не имел никаких указаний.

— Но зато я их имел, — перебил его Николай. — Так же, как имею и еще одно указание Али, чтобы вы присутствовали на нашем бракосочетании, а затем возвращались домой вместе со своим слугой.

— Слава Аллаху, значит, мне не надо сопровождать вас ни в Америку и никуда больше?

— Нет, — смеясь ответил Николай. — Вы даже можете ехать обратно домой через Париж, и вам придется только пересечь пролив на ненавистном вам пароходе.

Флорентиец предложил Наль и Николаю проехаться с ним по городу до обеда, а дрожащему южанину дал книгу, которой он обрадовался больше, чем ребенок кукле. Укутав старика у камина в плед, трое друзей, переодевшись в подходящее погоде платье и пальто, покатили по шумным улицам Лондона. Наль, никогда не видевшая такого большого города, да и в К. знавшая только его часть, через которую проезжала в загородный дом дяди Али, была так поражена, что только молча поворачивала из стороны в сторону свою прелестную головку.

Флорентиец называл ей выдающиеся музеи, говоря, что она их вскоре посетит. Обещал свезти ее в театр, о котором она имела понятие только из книг. Изредка он упоминал, кому принадлежит тот или иной роскошный особняк или выдающийся по архитектуре дом.

Повернув в одну из улиц, экипаж внезапно остановился у небольшого одноэтажного дома. Дом был красив по архитектуре, хотя старинного и немодного образца, с небольшим, прекрасно ухоженным садом, окружавшим весь дом.

— Здесь живет милый пастор, так доброжелательно отнесшийся к нам и особенно к тебе, Наль. Не хочешь ли отдать ему визит и, кстати, посмотреть церковь, где ты будешь завтра венчаться? — спросил Флорентиец.

— Ах, очень хочу. Но не могу скрыть, отец, что стесняюсь войти первый раз в чужой дом. Я не знаю, как себя в нем вести.

— Очень просто. Так, как если бы ты пришла к друзьям. Если будешь нести доброту в сердце, не сделаешь бестактности. Кланяйся не по-восточному, а протягивай только руку, что ты, плутовка, умеешь делать теперь очень красиво.

Говоря с Наль, Флорентиец помог ей выйти из экипажа и ввел на довольно высокое крыльцо с двумя сходами. Николай ударил молотком в дверь, отчего раздался мелодичный звон, что тоже немало удивило Наль. Послышались поспешные шаги за дверью, и старый слуга впустил их в просторный холл, по стенам которого стояли высокие деревянные вешалки и стулья готического стиля, и на двух окнах стояло много цветущих цветов. Спокойствием веяло в доме. Всюду были разостланы ковровые дорожки и царили такая чистота и порядок, что удивили не только Наль, но и чрезвычайно следившего за порядком Николая.

Взяв визитные карточки гостей, слуга ввел их в гостиную, тоже старинную, с огромным камином, большими диванами и креслами, обитыми синим шелком, с белыми, безукоризненной чистоты, кружевными занавесками на трех широких окнах.

— Удивительно, как красиво внутри в западных домах. И так тихо в них, мирно, не то что у нас на Востоке в семьях, отец.

— Ты судишь по моему и этому дому, по единственным западным домам, которые ты видела. Но когда-нибудь ты увидишь и будешь различать дома так, что их внешняя роскошь не скроет от твоих глаз внутренних язв разложения, дочь моя.

Дверь соседней комнаты открылась, и вошел пастор, приветствуя своих неожиданных гостей и благодаря их за честь посещения дома.

— Я хотел сделать невесте маленький сюрприз к завтрашнему дню, — приветливо сказал пастор. — Печально должно быть всякой девушке венчаться в окружении одних мужчин. Я так много наговорил о юной невесте моей жене и дочерям, что они решили немедленно обновить свои белые платья и быть вам завтра подружками. А жена будет посаженной матерью, как полагается по здешним обычаям. Но сейчас, узнав о вашей любезности, свойственной только истинно высокой культуре, лорд Бенедикт, мои дочери и жена не желают пропустить случая познакомиться заранее с вами и вашей дочерью. Слышите, какое там нетерпеливое ожидание? Если вы ничего не имеете против, я их позову, — глядя на Наль, сказал пастор.

— О, как вы добры, вы точно поняли маленькую, детскую мою печаль, что ни одной женщины не будет на моей свадьбе. Если можно, разрешите нам познакомиться скорее.

Пастор открыл дверь, и за нею стояли три женские фигуры с цветами в руках. Одна, лет сорока, слегка полная, изящная, ярко-рыжая женщина, с большими черными глазами и резкими черными бровями, очень характерно вырезанными на белой коже высокого лба. Разделенные на пробор волнистые волосы, свитые у шеи в тугие косы, были огромны. Женщина была еще молода и очень красива.

— Моя жена, леди Катарина Уодсворд, — сказал пастор, подводя ее к Наль. — Моя жена венецианка, — прибавил он, обращаясь ко всем. — А это вот — первый номер, мисс Дженни Уодсворд, как видите, не только вся в мамашу, но даже точная ее копия. Это — номер второй, мисс Алиса Уодсворд, вся в папашу, не имеющая никакой возможности претендовать на венецианское происхождение, судя по цвету своих волос.

Девушки и мать смеялись и отшучивались от юмористических слов отца, который продолжал докладывать гостям о их нетерпении. О младшей он сказал, что она решила — тайно от всех — побежать сегодня посмотреть хоть дом невесты и оставить ей букет цветов из своего сада.

— О, папа, — засмеялась заразительно девушка, — ты приехал таким влюбленным в заморскую красавицу, что поневоле всех нас взбудоражил. Но я согласна, что причина твоего восторга очаровательнее того, что можно было бы себе представить по твоим словам.

Если Наль была восточной красавицей, бросавшейся в глаза, которую нельзя было увидеть и не изумиться; если рыжую Дженни нельзя было не заметить по яркой, медной голове, темным бровям и глазам, где поражал контраст алебастровой кожи, алых губ и черных блестящих глаз, — то Алису нужно было рассмотреть, чтобы оценить ее красоту. Пепельные, слегка с золотом, красиво вьющиеся волосы, не такие обильные, как у матери и сестры, но зато легкие, игравшие как ореол вокруг ее лица и выбивавшиеся у висков и шеи. Темно-синие, как южное небо, чуть выпуклые глаза, как у отца. И какая-то искренность, чистота во всем облике, живость манер и грация делали ее обаятельной. От нее веяло любовью и миром. Она казалась остовом, склеивавшим всю семью. Доброта Алисы покоряла каждого. Атмосфера какой-то радостности помогала устанавливаться везде простым отношениям с нею. И сейчас пасторша и ее старшая дочь, сердечно приветствуя Наль и ее спутников, все же походили на дам света, радушно принимающих приятных, но чужих людей. Алиса же сразу обняла Наль, восхищенная ее красотой, стояла перед ней, совершенно не сознавая своей собственной красоты и, по-детски всплеснув руками, говорила:

— Папа был прав. Он сказал, что Сандра не нашел красок описать вас.

— Но Сандра, кажется, что-то говорил и о нас, — раздался голос Флорентийца за спиной у Алисы. — А вы на нас и поглядеть не хотите, мисс Алиса, — с неподражаемым юмором глядя на девушку, кланялся ей и представлял ей Николая лорд Бенедикт.

Девушка, как Наль, почти ребенок, смутилась, вся покраснела и, взглянув на Флорентийца, низко присела обоим мужчинам.

— Я не могу понять, кто же из вас отец, а кто жених. Вы оба женихи, по-моему, — робко сказала она.

— Не знаю, кому из нас ваши слова комплимент, но благодарим мы за него оба, — под общий смех ответил Флорентиец.

— Не откажите выпить с нами чашку чая, — предложила хозяйка. — У нас, по старинному обычаю дедов, чай не подается в гостиную, но пьют его в столовой.

Алиса снова подошла к Наль, прося ее снять шляпу, что та охотно сделала и стала еще красивее. Флорентиец сел рядом с Алисой и спросил ее, не ей ли принадлежит инициатива быть подружками его дочери на завтрашней свадьбе.

— Нет. Папе, как, впрочем, и все самое высокое и благородное, что выходит из нашего дома, всегда принадлежит ему.

— У вас как бы две партии в доме: вы и папа, ваша сестра и мама?

— Это до некоторой степени верно, потому что мы все очень дружны. Каждый живет как ему хочется, и никогда мы не расходились во мнениях так, чтобы быть недовольными друг другом. Я думаю, вы очень хорошо понимаете меня. Вы тоже с вашей дочерью ни в чем не схожи. Но представить себе, что вы могли бы быть друг другом недовольны, невозможно.

Общий разговор как-то внезапно смолк, и все услышали, как Дженни говорила о последних книгах капитана Т., которые ей с восторгом дал Сандра. Хваля автора, девушка и не предполагала, что видит его перед собой, а желала только блеснуть своей образованностью. Николай подшучивал над дифирамбами девушки ему, указывал на недостатки книги, уверял, что автор мог бы лучше разработать свои тезисы, чем привел в негодование наследницу Венеции, горячая кровь которой вспыхнула розами на ее щеках и огнем в глазах.

— Она, граф, у нас ученая, — засмеялся пастор. — А главное, обе сестры такие поклонницы Сандры, что его авторитет в этом доме стал вроде закона. Когда-нибудь сестры поссорятся с критиками, которым Сандра не нравится. Раз книга капитана Т. признана сим ученым совершенством — кончено, граф, и не критикуйте. Но, признаться, книга и меня расшевелила. Много бы я дал, чтобы увидеть русского мудреца, написавшего ее. Это, вероятно, уже глубокий старик.

— Капитан Т. — старик? — Наль неудержимо расхохоталась, не будучи в силах представить себе Николая стариком. — Да ведь он перед вами. И ваша дочь, Алиса, несколько минут тому назад не могла решить вопроса, кто же из двух мужчин мой жених.

Пастор и вся его семья с удивлением смотрели на Наль, не улавливая соли шутки.

— Моя дочь не шутит. Капитан Т. — это псевдоним графа Т., жениха моей дочери, сидящего перед вами.

Дженни была поражена больше всех. Ей было теперь стеснительно перед Николаем, которого она только что расхваливала, а Алиса, во всем ухватывавшая юмор, сказала Флорентийцу:

— Я предполагаю, что вы нарочно, лорд Бенедикт, не сказали нам, что граф — писатель. Потому что вы сами — я уверена — не только писатель, но... вот как бы это сказать, — задумалась она, — не колдун, нет, но все же что-то в этом роде. Вы все можете.

— Всемогущий Боже! — в притворном ужасе воскликнул пастор под веселый смех гостей. — Алиса, дочь моя, ты меня угробила. Неужели же это результат нашего воспитания, мать? — громче всех смеясь, говорил пастор.

— Сэр Уодсворд, ваша дочь очаровательный ребенок, и я понял вполне ее мысль. Уверяю вас, мы будем с нею отличными друзьями, — пожимая ручку Алисе, ответил Флорентиец.

— Дай-то Бог, — покачивая головой, серьезно сказал пастор.

Весело и непринужденно простились гости с хозяевами, и Флорентиец пригласил всю семью к себе на ранний обед завтра, после бракосочетания, сказав, что его экипажи будут ждать всех гостей у церкви.

Осмотрев церковь, поразившую Наль размерами, Флорентиец и его дети возвратились домой. Наль была задумчива весь обратный путь и на вопрос Флорентийца призналась, что по обычаю Востока надо каждому что-то подарить, а у нее нет ничего, и она не знает, что и кому подарить.

— Об этом не думай. Предоставь всю внешнюю сторону и заботы о ней мне. А вот подумай об Али и Николае. Пойди в свою комнату, я приказал Дории приготовить тебе белый восточный костюм. Надень его, укрась голову по-восточному, как к свадьбе, и надень драгоценное покрывало. Думай, что не завтра совершится твоя свадьба, где будет только внешний ее обряд, а сегодня, в святая святых твоего сердца. Через час сойди ко мне, так одетая для свадьбы, и постучись в ту комнату, куда я впустил тебя для разговора с пастором.

Пройдя к себе, Флорентиец дал лекарство старику дяде, велел ему немедленно лечь в постель, обедать лежа и встать только завтра утром. Затем он вошел в свою тайную комнату, проведя в нее Николая.

— Мой друг, мой сын. Ты провел пять лет подле Али и так далеко двинулся в своих знаниях, что он взял тебя сразу в число своих близких учеников. Ты считал, что для тебя ученичество — это целомудрие и безбрачие прежде всего. Теперь, когда Али указал тебе путь семьи и брака, ты не протестовал, ты принял. Но продолжаешь думать, что чем-то провинился, сходишь с тропы ученичества, которого не достоин. И все это только потому, что женишься на женщине, которую преданно и страстно любишь много лет.

Ты выполняешь приказание Али. Ты повинуешься беспрекословно ему. Но в сердце твоем боль. Тебе кажется, что ты сворачиваешь в сторону. Ты забыл, что ученик идет так, как ведет его Учитель. Ты забыл, что те широчайшие планы, где все охватывает взор Учителя, не может охватить взор ученика, как бы мудр он ни был. Посвящения ученика идут по ступеням не только его личного роста. Но в нем учитывается и та сила помощи планам Учителя, до которой он созрел. Ты можешь служить сейчас не только великому плану Али, но и моим планам, и многих других, отдающих свою жизнь и труд на благо светлого человечества.

Падение общей культуры тесно связано с падением и разложением семьи. Люди, закрепощенные в страстях, в тысячах мелких предрассудков, не могут помочь обновлению общества. И потому на целый ряд очень высоких учеников возлагается задача создания новой, радостной, раскрепощенной семьи. Только люди, дошедшие до мудрости, прожившие до часа свадьбы в полном целомудрии, могут стать истинными воспитателями новому поколению нужных Учителю людей.

В твоей будущей семье среди пятерых талантливых детей должны воплотиться двое гениальных людей. Не огорчаться надо тебе, что ты изменяешь ту форму пути, которую сам выбрал, но быть счастливым и усердным учеником. Счастливым вдвое, ибо можешь выполнить задачу, что Учитель тебе выбрал. Создай мир под своим кровом. Создай честную семью, где будут царить правдивость и верность. Создай атмосферу доброты, чтобы Учитель мог всегда прийти к тебе и звать тебя за собою дальше.

— Я не от того страдал, что Али приказал мне изменить форму пути. Я приму всякую беспрекословно. Мне показалось, что Али, увидав мою любовь к Наль, снизошел к моей слабости. Но, Бог мне свидетель, я ни разу и ничем не подал девушке повода думать о той беспредельной силе любви, что завладела мной.

— Чем немало и огорчил бедняжку, — улыбнулся Флорентиец. — Повторяю: оставь мысль о снисхождении к твоей несуществующей слабости. Только сильные, бестрепетные сердца нужны для дел Учителя, и только им он может посылать свои зовы. Тебе его зов — семья. Войди, — на раздавшийся в дверь стук закончил Флорентиец.

Вошла вся закутанная по-восточному в драгоценное покрывало, покрывало брачное, Наль. Ее белая фигура так гармонировала с этой белой комнатой, что казалась ее неотъемлемой частью.

— Сядь здесь, дочь моя, — усадил Флорентиец Наль на маленьком диване рядом с собой. — А ты, друг Николай, найдешь в моей туалетной комнате белый халат, точно такой же, как прислал тебе в день пира Али. Найдешь длинную белую одежду ученика. Надень их и вернись сюда.

Оставшись наедине с Наль, Флорентиец притянул ее к себе и сказал:

— Когда Бог зовет человека — Он дает ему два пути: или путь радости, или путь великой скорби. Середины нет. И ты, и твой муж — вы оба счастливые избранники, ибо обоим вам Он назначил путь радости. Ты была с детства подготовлена к высокой духовной жизни дядей Али. Это редкое счастье. Обычно много скитается человек по жизни, пока подойдет к источнику мудрости. Не горюй, что тебе сейчас предстоит оставить все и всех, к чему привыкла, уйти от Али и перейти ко мне. Через много лет, закаленная, ты вернешься к Али, к его пути силы, которая сейчас подавляет тебя, и ты не можешь в этом пути развернуть всех своих дарований. Ты пойдешь сейчас путем обаяния и такта. Пленяя людей красотой, ты будешь привлекать их и своей чистотой в высокий духовный путь. Помни: зло никогда тебя не коснется, пока страх, неверность и ложь не коснутся тебя. Злу несносна атмосфера чистоты, и оно бежит ее. И только тогда, когда мелькнет тончайшая трещинка сомнений в твоем сердце, — только тогда зло сможет коснуться тебя. Все — в самом человеке. И не внешняя жизнь подавляет или обновляет его, но сам человек создает свою жизнь. Он сам носит в себе все свои чудеса.

Наль сидела, по-восточному закрывшись покрывалом, приникнув к отцу, и в этой позе нашел ее вошедший Николай.

Флорентиец откинул покрывало с лица Наль и помог ей, сверх ее белого восточного наряда, надеть халат из такой же материи, как белая одежда Николая, тонкой, как бумага, мягкой, как шелк, и матовой, как замша.

— Побудьте здесь немного вдвоем. Подайте друг другу руки и подумайте, в какой серьезный шаг вы вступаете. На всю жизнь вы отдаете свою верность друг другу. И в этой верности вы должны следовать за верностью Учителя, творя свой простой, обычный день в доброте. И так свершая закон жизни.

Оставив их одних, Флорентиец вышел. Наль подала руки Николаю.

— Прости, Наль, что я огорчил тебя и дал тебе возможность думать, что я мало люблю тебя. Я не смел говорить тебе до сих пор о любви. Я считал невозможным для себя счастье прижать тебя к себе и прожить с тобой всю жизнь. Я думал, что мне назначено одиночество, а не радости семьи. Теперь я понял, какое великое и незаслуженное счастье пришло ко мне. Я отдаю тебе всю жизнь, как я отдал ее всему, что указал мне Али. Но тебе я отдаю ее в таком счастье, о каком никогда не мог мечтать.

— Николай, я никого не любила с детства, кроме дяди Али, в котором была вся жизнь. Едва я выросла, я увидела тебя. И... уже никогда больше не была свободной. Я была всюду с тобой, ты был неразлучен со мной. И если теперь меня дают тебе — то я сама отдала себя тебе лет пять назад. Ты врезан в мое тело, в мое сердце, в мой дух точно так же, как дядя Али. И если я думала до этой минуты, что я навязана тебе, то сейчас я уже совсем счастлива: я знаю, что ты тоже хотел меня в жены. Я же не могу принять жизни иной, как только твоя жена.

Дверь открылась, и вошел Флорентиец. Он был в белой одежде с широкой вышивкой внизу и на рукавах. Талию его высокой фигуры охватывал пояс из выпуклых изумрудов, а на его прекрасной голове была повязка из таких же камней. В руках он держал маленькую светящуюся палочку. Он поднял в восточном углу комнаты белую крышку, как думали Наль и Николай, у стола, и под ней открылся небольшой мраморный престол, где горел огонь. Он поставил молодых людей перед престолом на колени и сказал:

— Здесь, перед лицом того Бога, что каждый из вас носит в себе, перед лицом вашей совести, чести и красоты, внутри вас живущих, я венчаю вас, соединяя вас на век. Сохраните вечную память об этой минуте. Не для похоти и чувственных наслаждений горит в вас любовь. Но горит в вас огонь вечной чистоты, в которой оба вы отдаете себя друг другу для великой цели: вы будете не слепыми родителями, животно, безумно и лично привязанными к детям. Вы будете хранителями тех душ, что придут через вас в тела. Вы создадите им мир. Чистый ваш дом будет им пристанищем, где им суждено будет родиться, погостить и уйти так, тогда и туда, как позовет их Жизнь.

Храните связь друг с другом, со мною и с Али. И несите не бремя жизни, не иго ученичества, но радость труда, разделенного с нами.

Он поднял обе руки над их головами. Прикоснулся палочкой к огню, горевшему на престоле, и затем, что-то говоря на языке, которого Наль не понимала, коснулся палочкой ее головы. Ей показалось, что по ней пробежал огонь, проник до самого ее сердца и что сейчас все на ней вспыхнет. Но Флорентиец уже отвернулся к престолу, снова коснулся палочкой огня на нем и прикоснулся ею к голове Николая.

Он — так же, как и она мгновение назад, — весь содрогнулся, но тоже не загорелся. А Флорентиец уже вновь повернулся к престолу и коснулся попеременно огня обоими концами палочки. Когда оба конца палочки как бы загорелись, он снова обернулся к ним лицом и положил палочку одновременно на обе головы. Глубочайшее содрогание, точно

удар электричества, испытали оба сразу, Наль и Николай. Теплые струи какой-то новой силы пробежали у каждого из них с самого низа спинного хребта к голове. Флорентиец положил палочку у горящего на престоле огня. Он взял оттуда два одинаковых перстня, с изумрудом и бриллиантом каждый, и надел на палец жениху и невесте.

— Встаньте, — сказал он им. — Вы — муж и жена. Будьте всегда такими чистыми и, где бы вы ни жили, всегда ощущайте, что я подле вас. Ваши жизни — сочетав их браком перед этим огнем Вечности — я взял на себя. Перед Вечностью нет отцов, матерей и детей по плоти и крови. В Ней есть отцы и дети по духу и огню. Пойдемте, я проведу вас в вашу спальню.

Он опустил покрывало на лицо Наль, соединил их руки, обнял их обоих, крепко прижал к себе и пошел впереди их наверх. Проведя их через комнату Наль в другую дверь, которой она раньше не заметила в обоях, он ввел их в большую комнату, где посредине стояла широкая белая постель. И все в этой комнате было белое, вплоть до ковра и шкур белых медведей, брошенных у каждой стороны постели. Подведя их к кровати, Флорентиец сказал Наль:

— Твой муж так же чист, как ты. Он отдает тебе такую же девственность, как ты отдаешь ему. Прими его не только как мужа, но как воспитателя и друга, мудрого руководителя, который много больше тебя знает. До завтра, дети мои. Ровно в двенадцать часов я за вами приду. Будьте совершенно готовы к этому времени и ждите меня. Дории сказано, как завтра одеть тебя, Наль.

Опустив полог над кроватью, Флорентиец вышел, закрыв за собой дверь...

Когда Наль проснулась утром, мужа рядом с ней не было, но она слышала плескание воды в ванной комнате рядом. Через несколько минут вошел в купальном халате Николай и, думая, что Наль спит, положил возле нее стеганый шелковый халатик и мягкие туфли, стараясь не делать шума. Наль рассмеялась, натянув на себя одеяло поверх головы.

— Наль, дорогая, вставай, ванна готова. Беги туда. Я боюсь, как бы ты не опоздала, уже около десяти часов. — С этими словами он быстро вышел из комнаты, а Наль скользнула в ванную, где ее уже ждала Дория.

— Сегодня во что вы меня оденете, Дория? Отец сказал, что дал вам все указания. Ведь сегодня будет много чужих людей. Надо, чтобы мы с вами не ударили лицом в грязь, — плескаясь в ванне, быстро говорила Наль.

— Не беспокойтесь, во что бы я вас ни одела — затмите всех.

— Ну вот и ошиблись. У пастора такие дочери, что даже в сказках не найти. Одна рыжая.

— Рыжая? Что же тут хорошего?

— Я не сумею вам сказать, что именно. Но только она необыкновенная. Знаете, как-то ее не посадишь просто ни к какому делу. Она — дама. А вторая — ну та простая, вроде меня.

— Значит, красавица? И косы, как ваши?

— Нет, она вся в кудрях. Глаза синие. Волосы пепельные с золотом. А доброта — вроде ангела. Так хороша! Лучше нигде не найти.

Так беззаботно болтая вовне, Наль хранила глубоко внутри, в сердце, какое-то новое сокровище жизни. Ни за что и ни с кем она не поделилась бы тем счастьем, что наполняло всю ее душу. Она точно несла обеими руками чашу любви, полную до краев, которую

боялась расплескать. В ее сердце сияли ярко три образа: дяди Али, отца-Флорентийца и мужа. Усевшись за туалетный стол, Наль отдалась в умелые руки Дории. Сама же унеслась в сад дяди Али, где снова так ясно увидела его улыбающимся, что рванулась вперед, почти разрушив старания Дории.

— Что случилось? Я причинила вам боль? — с отчаянием спросила Дория, у которой и гребень и шпильки выскочили из рук.

— Нет, Дория, простите. Господи, теперь вам надо все снова делать, я опоздаю, — огорченно сказала Наль.

— Ничего, минута спокойствия — и голова будет убрана, а это самое трудное.

— Наль, одиннадцать часов. Вы готовы? — раздался голос Николая. Я жду вас завтракать. Выходите в халате, оденете платье потом.

Но Наль так боялась опоздать, что просила прислать ей кофе в комнату, говоря, что покажется мужу только в самом исходе двенадцатого часа, в полном параде.

Когда Дория вынесла из своей комнаты платье, над которым трудилась весь вечер и все утро, пригоняя его точно к размерам фигуры своей хозяйки, Наль даже руками всплеснула от великолепия этого туалета. Платье из белой парчи, с широким венецианским кружевом около ворота и рукавов, заставило ее сказать:

— Отец, отец, как можно так баловать дочь?

Когда платье было надето, Дория подала туфельки из такой же парчи, а на открытой шее Наль застегнула изумрудный фермуар жемчужного ожерелья.

— Это все, верно, так надо. Но как бы я хотела самое скромное платье, самый бедный уголок — только бы не быть сегодня на людях и не слушать, как все будут говорить о моей красоте, — вздохнула Наль.

— Наль, если вы сейчас не выйдете, вы заставите нас обоих покраснеть перед отцом. Остается десять минут, — снова раздался голос Николая.

— Иду, я готова.

И, взяв сунутый ей маленький ридикюль с новым платком из точно такой же парчи, как платье, Наль вошла в свою комнату, где ее ждал Николай. Он был поражен ее видом. В платье со шлейфом, в туфлях на высоких каблуках, Наль казалась гораздо выше и тоньше обычного. Взгляд, которым обменялись супруги, сказал им обоим, что желание избавиться от людей в них было общим. Николай обнял свою жену, нежно и горячо поцеловал ее и тихо сказал:

— Наша жизнь принадлежит не нам, Наль. Мы должны жить на земле, для земли, для людей. Не тяготись сегодня суетой и теми, кто будет вокруг нас. Думай не о себе, а о каждом из тех, с кем будешь говорить.

Наль ласково возвратила поцелуй и ответила:

— Я постараюсь, мой муж, думать о каждом, когда буду с ним говорить. Но каждый раз, когда я пристально вглядываюсь в человека, я всегда чувствую, что в каждом из них живет беспокойство и страдание.

— Вот и неси, любимая, счастливая, благословляемая, успокоение и отдых тому, кто тебе встретился.

Раздались легкие шаги Флорентийца, и Наль поспешила раскрыть дверь, приветствуя отца.

— Я не хотела бы начать этот день, отец, с упрека. Но мыслимо ли приказать мне одеть это платье? Дория говорит, что у королевы нет ни такой парчи, ни таких кружев, ни такого жемчуга.

— Их дает тебе Али, как и все вещи, что ты нашла в своих сундуках. Он собирал их не один год, — обнимая обоих супругов, говорил Флорентиец. — Сохрани это платье, кружева и драгоценности, и, когда поведешь к венцу свою первую дочь, передай их ей. А теперь пойдемте, наши свидетели ждут.

Спустившись в зеленую комнату, Наль была немало изумлена видом Сандры и лорда Мильдрея, во фраках, с блестящими цилиндрами в руках. Сандра был серьезен и, даже кланяясь и целуя руку Наль, не улыбался. Можно было подумать, что его смешливость пропала за ночь. Лорд Мильдрей подал Наль букет белых лилий и, смущаясь, сказал:

— Лилии дарит вам Сандра, уверяя, что вам немыслимо подать иной цветок. Это — его дело. Я же прошу вас принять этот браслет, который мне дал, умирая, мой дед. Он был большой оригинал, жил отшельником, хотя был человеком богатым. Он велел мне передать эту вещь той, которая будет мне женой. Или же той, чище, прекраснее которой я в жизни не встречал. Так как все сроки для моей женитьбы прошли — мне скоро тридцать лет, — я прошу вас принять эту вещь. Она, как я слышал, была дана моему деду одним восточным мудрецом. — И он подал Наль браслет из топазов и бриллиантов какой-то удивительной древней работы, красоты и игры камней необычайной. — Говорят, что на этом браслете камни сложены так, что образуют слова. Но скольким языковедам я их ни показывал — ни один не мог мне прочесть надписи.

— Не разрешите ли вы мне взглянуть на браслет, графиня? Я лингвист и знаю около сорока языков и наречий, — сказал Сандра. — А не так давно, по заданию вашего отца, изучил древний язык пали, умерший уже теперь. Быть может, я и разберу.

— Пожалуйста, — протянула ему драгоценность Наль.

— О, конечно, это он — язык пали. Здесь написано: «Любя побеждай». И читается очень легко и ясно.

— Значит, ты выполнил мое задание раньше срока, Сандра?

— Неужели вы могли сомневаться в том, лорд Бенедикт, что я найду возможность — из-под земли выкопаю, а найду, — способ выполнить ваше приказание раньше срока? Мне пастор дал на этот раз свою собственную, им составленную грамматику и свой ключ, а сам он купил у одного странного человека несколько записей на этом языке.

— Я вас еще не поблагодарила, лорд Мильдрей, но... это очень странно, но мне кажется, что вы еще женитесь, женитесь любя и будете очень счастливы. И вам понадобится этот браслет.

— Примите подарок, Наль. Если вы угадали, мы сумеем прислать лорду Мильдрею точно такой же браслет, — сказал жене Николай, принося сердечную благодарность лорду за его внимание.

Впервые получала Наль приказ своего мужа, и что-то сказало ей, что браслет надо немедленно надеть на руку и не огорчать подарившего его человека.

Коляски были поданы. В закрытую карету сели молодые с отцом, в открытую — Сандра и лорд Мильдрей, а следом за ними двинулись еще два двухместных пустых экипажа.

Церковь была залита огнями, пастор ждал молодых у входа, а обе дочери и мать усыпали путь Наль и Николая цветами. Музыка органа приветствовала их еще на паперти. Вскоре в церковь стала проникать толпа любопытных, привлекаемая разговорами о необычайной красоте венчавшихся. Наль ничего не видела. Музыка потрясла ее до слез. Она крепко сжала руку мужа, точно прося его поддержки. Николай слегка наклонился к ней, и такая сила блеснула из его глаз, таким огнем уверенности и любви дохнуло на нее от его бледного, вдохновленного лица, что волнение ее утихло, слезы высохли и улыбка блеснула на полудетском прелестном лице.

Окончился обряд венчания. Расписались в ризнице в церковной книге и подождали несколько минут, давая пастору время переодеться. Выйдя из церкви, Флорентиец разместил по каретам Дженни, Сандру, Алису и лорда Мильдрея, пастора с женой, а сам сел снова с молодыми. Все отправились к нотариусу.

Крупное пожертвование церковному причту и бедным прихода вызвало немало радостных толков у оставшейся на паперти толпы. Тем временем, выполнив у нотариуса все официально необходимые акты ввода во владение новым имуществом, приняв поздравления и восторги всей конторы, молодые и весь свадебный кортеж направились в дом лорда Бенедикта.

— А дядя? — войдя в дом, с ужасом спросила Наль.

Николай тоже было всполошился, но Флорентиец тихо сказал им обоим:

— У него снова был приступ малярии. Завтра мы его отправим с копиями документов и так ярко расскажем ему о пышном венчании, что он представит себе, будто и сам там был. Сейчас думай, Наль, только о гостях и учись быть обворожительной хозяйкой.

— Ты не находишь, что это немного трудно, отец?

— Нет, дочь моя, имея такого мужа, можно и не то победить.

Николай повел свою жену в большой зал, который Наль еще не видела, а Флорентиец, предложив руку пасторше, пригласил всех гостей следовать за молодыми. В зале было приготовлено шампанское. Николай шепнул Наль, чтобы она не пила, а только чокалась со всеми поздравляющими и подносила бокал к губам, делая вид, что пьет. Поздравив молодых, все прошли в столовую. Место хозяина занял Флорентиец. По правую руку сели молодые, рядом с ними Сандра и Дженни, по левую руку — Алиса и лорд Мильдрей, а рядом с ними пасторская чета.

Обед проходил оживленно. Сандра, Николай, пастор и Дженни говорили о последних достижениях науки. Пасторша и лорд Мильдрей оказались любителями живописи и театра. Только Алиса и Наль молча смотрели друг на друга.

— Что вы так смотрите на меня, графиня? Я вижу в ваших глазах такое сострадание и сочувствие, точно вы читаете что-то печальное в моей душе, — сказала наконец Алиса, ласково улыбаясь Наль.

— Я очень бы хотела стать для вас не графиней, а просто Наль. И в вашем сердце, кроме ангельской доброты, я ничего не читаю. Но мне кажется, что вы не так счастливы, как это выказываете.

Флорентиец посмотрел на обеих молодых женщин и сказал:

— Зачем загадывать, что будет завтра? Ты, Наль, стараешься угадать будущее Алисы. А тебе надо жить только радостным сегодня. Разве у вас есть печаль, Алиса, как утверждает моя бедовая дочь?

— Нет, лорд Бенедикт. Все, что я люблю, все живет радостно вокруг меня. А если бы и была у меня печаль, то она непоправима, она врезана в мою жизнь. Поэтому ее нельзя считать печалью, это просто одно из неизбежных слагаемых моей жизни.

— Вы, Алиса, решили это слагаемое принять и с ним не бороться?

— Может быть, я и не имею права, лорд Бенедикт. Но, мне кажется, что же, например, за польза бороться со смертью? Ее не избежишь. Так и с теми неизбежными свойствами, которые живут в человеке. Какой же смысл с ними бороться? Если они составляют самый остов жизни и не могут быть выброшены — как рак или порок сердца — иначе как со смертью? Надо принять жизнь такой, какая она есть для меня, в какую я пришла, если изменить ничего невозможно. Какое бы количество горечи ни было в жизни, все же это жизнь моих любимых. А без них — жизнь цены не имеет для меня.

— Все количества сил природы, Алиса, переходят в качества. Это неизбежный закон мира, в котором мы живем. Если сегодня одно качество в сердце человека дошло до данного предела, то завтра количество его может повыситься. И оно как качество, заливавшее вчера только одно сердце человека, разольется озером, а быть может, и морем вокруг него, захватывая в свою атмосферу все встречное. Так случается и со злыми, и с добрыми качествами людей. Если сегодня любовь в сердце однобока и может понимать счастье только в любви к «своим», то завтра — по тем или иным причинам — сознание человека может расшириться, и он охватит своею любовью «чужих». Двигаясь дальше по пути совершенствования и знания, человек осознает, что нет вообще чужих и своих. Что есть везде и всюду такие же люди, как он сам. Этот человек мог продвинуться дальше и выше. Другой мог много отстать и остаться еще в стадии двуногого животного. А третий мог так далеко шагнуть вперед, что приходится зажмуриться, чтобы иметь возможность на него посмотреть.

— Никогда мне не приходилось слышать евангельских истин, изложенных так легко и просто, лорд Бенедикт. У меня в душе не то что посветлело, но я как будто увидела сейчас в собственном сердце трещину, через которую из него может просочиться избыток любви во мне. Он грозит перескочить внутри и перерасти в спертый воздух, — засмеялась Алиса, радостно, неотрывно глядя на Флорентийца.

— Возьмите, пожалуйста, это мороженое и посмотрите, какой художник мой повар. Он каждому человеку положил на блюдце шарики семи цветов. И вы видите здесь все цвета мудрости, как их окрашивала древность в своих знаниях. Вот белый — цвет силы. Вот синий — самообладания, науки. Вот зеленый — цвет обаяния, такта, приспособления. Вот золотисто-желтый — цвет гармонии и искусств. Вот оранжево-дымчатый — цвет науки, техники и медицины. Вот красный — цвет любви и наконец фиолетовый — цвет пути религиозной и обрядовой мудрости, а также науки и механики во всем движении жизни вселенной.

Попробуйте выбрать в себе какое-либо из этих качеств в чистом виде. Это невозможно. Все эти качества без исключения живут в каждом человеке. Но все они — будучи основным светом в его жизненном пути — засорены эгоизмом, страстями ревности, зависти и страха. Они превращены человеком в страсти из качеств и свойств божественных, какими их человек в зародыше принес на землю.

И задачи культуры человека — очистить все свои страсти. Сделать их не только радостью и миром сердца, но атмосферой всего своего труда в простом дне, всей своей жизни. Тогда и единение с теми, кого в дне встречаешь, становится не условностью быта, но красотой, бодрой помощью и энергией. Той энергией, что пробуждает к творчеству всех рядом трудящихся.

Уже давно веселый смех и разговоры за столом стали постепенно смолкать и гости внимательно прислушивались к речам Флорентийца.

— Какое для меня счастье, лорд Бенедикт, — сказал пастор, — что я познакомился с вами. Помимо того что я с восторгом и упованием смотрю на две соединенные мною сегодня жизни, я благословляю Создателя, давшего мне возможность приблизиться к вам. Если вы сочтете возможным, чтобы вся моя семья осталась в числе ваших знакомых, мы постараемся заслужить себе и другое имя, имя ваших друзей.

— Я не только буду этому рад, сэр Уодсворд, но и очень благодарен вам за встречу. Поверьте, если моя мудрость кажется вам столь высокой, то я тоже нашел в мудрости вашей, чему поучиться. В Индии говорят: «Никто тебе не друг, никто тебе не враг, но всякий человек тебе учитель».

Обед кончен. Дорогие гости, прошу в зал, там сервирован кофе.

С этими словами Флорентиец встал, подал Алисе руку. Алиса смотрела на него сияющими глазами, как на божество; он пригласил всех следовать за ними. Оставшись в последней паре, молодые муж и жена, тесно прижавшись друг к другу, обменялись несколькими взволнованными словами.

— Нет, Наль, для нас не может быть пустых дней. Мы здесь недолго будем жить и поедем учиться, где ты будешь вести жизнь студентки. Здесь отец задержит нас ровно столько, чтобы мы были внешне воспитаны в совершенстве, чтобы к этому вопросу нам уже не возвращаться больше, когда мы попадем в широкие слои общества. Кроме того, в твоем образовании есть немало провалов. Ты совсем не знаешь музыки, хотя прелестно поешь свои родные песни. Ты знаешь Шекспира, Шиллера, Мольера, но никогда не видала театра. Готовясь быть — насколько для нас возможно — настоящими родителями-воспитателями, мы оба должны помогать друг другу взаимно совершенствоваться. Мы должны знать здешнюю жизнь, чтобы понять в ней, чего не надо вносить в нашу будущую жизнь.

Они присоединились ко всему обществу, когда все уже сидели за кофе. Что-то царственное было в этой паре, когда они вошли в зал. Если бы художник делал иллюстрации к сказке «Королевская чета», он не мог бы найти в своей фантазии лучшего образца. Шепот удивления и восторга пронесся им навстречу.

— Положительно, граф и графиня, вы в моем воображении не втискиваетесь в рамки земли! — с южным темпераментом воскликнул Сандра. — Если бы я был художником, я изобразил бы не только вас обоих рядом, но заставил бы землю покрываться цветами там, где вы идете.

— Мой новый друг, мне кажется слишком много чести уже в том, что вы произвели меня в принцессу-лилию. И мой муж, будучи мужем цветка, и я, произведенная в цветы, и так уже получаем обязательство благоухать. Но чтобы еще и цветы росли вокруг нас — это требование немыслимое, — смеялась Наль.

— А я думаю, что именно вокруг вас, Наль, и вашего мужа будут расти цветы. Самые высокие и драгоценные цветы земли — дети, из-за которых и для которых стоит жить на свете, — очень серьезно, с большим волнением на прекрасном лице, сказала Алиса.

— О, Алиса! — укоризненно воскликнула пасторша.

— Что, дорогая мама? Я опять шокировала вас? Ну, на этот раз простите уж меня великодушно. Здесь мы среди таких добрых друзей, что, я ручаюсь, никто из них меня не осудит.

— У меня лично очень большое желание чрезвычайно низко поклониться вам, мисс Уодсворд, — сказал, вставая и действительно низко кланяясь ей, лорд Мильдрей, — но никак не осудить вас.

— А у меня такое страстное желание вас поцеловать, Алиса, что не исполнить его я не могу, — и, оставив руку мужа, Наль подбежала к Алисе, обхватила ее шею руками и прильнула к ее губам.

Две женские фигуры, одна в царственной парче и жемчугах, другая в простом белом платье, одна темноволосая и темноглазая, высокая, другая синеглазая, в ореоле светящихся золотыми блестками кудрей, гораздо ниже, обе тоненькие, чистые, прелестные в своей семнадцатой весне, составляли такой контраст, что даже Сандра умолк. Наль посадила Алису рядом с собой и мужем и пододвинула ей чашечку с кофе.

— Жаль, что здесь нет некоторых из моих друзей, одаренных музыкальностью, — сказал Николай. — Так просит сердце сейчас звуков.

— О, это легко поправимо, — несколько снисходительно и презрительно сказала Дженни. — У нашей Алисы род музыкального помешательства. Не знаю, насколько она может доставить удовольствие людям понимающим. Но знаю, что нам с мамой она достаточно часов жизни испортила, — смеясь и хитро посматривая вокруг, продолжала Дженни.

— Это было очень давно, сестра, когда тебе надоедала моя музыка. Теперь моя комната и мой рояль, сэр Бенедикт, в самом конце дома, где папа сделал специально для меня пристройку. Не верьте, что я такая несносная. Во всяком случае, сейчас я не решусь никого огорчать своим искусством, — умоляюще глядя на Флорентийца, сказала Алиса.

— Моя жена и старшая дочь не любят музыки, лорд Бенедикт. А мы с Алисой отдаем ей все досуги нашей жизни. У меня в молодости была большая драма с отцом, так как мне хотелось уйти в искусство, а ему хотелось, чтобы я шел по пути духовному. Алиса унаследовала не только мою любовь к искусству. У нее такой большой музыкальный талант, который надо бы было обработать в высокой школе.

— Пока я жива — этого не будет, — четко, жестко и зло сказала пасторша. — От твоего и ее пения — окна дрожат. И вообще, я не желаю, чтобы Алиса срамилась сама и оскандалила нас в семье лорда Бенедикта.

Пасторша вдруг стала походить на какую-то хищную лисицу. Ничего от добродушия в нем не осталось. А пастор, печально глядя на дочь, медленно подошел к ней, положил руку на ее светящуюся головку и тихо сказал:

— Храни мир, дитя. Есть у Бога много путей, какими Он призывает людей. Лорд Бенедикт говорил, что идут люди также и путем гармонии и искусств. Если Богу угодно будет дать тебе такой зов, ты найдешь этот путь. И не могут люди противостоять Богу.

— А я очень бы просил вас, леди Уодсворд, разрешить вашей дочери поиграть нам сегодня, — обратился хозяин дома к пасторше. — Если же вы и ваша старшая дочь не любите музыки, то в моих гостиных вы найдете много альбомов с видами всего мира. А также много интересных вещей, привезенных из путешествий. В саду же моем немало редких цветов. Есть и оранжерея, где сейчас цветут не знакомые вам экземпляры. Судя по вашему прекрасному саду и цветникам, думаю, что вы любите цветы.

— Вы в заблуждении, лорд Бенедикт, — прервала Дженни. — Это опять область одержимости папы и Алисы. Но Алиса — идол нашей семьи, мы ее обожаем, а потому выносим, конечно, все ее фантазии.

— Я бы очень не хотела, чтобы Алиса сегодня играла. Но если вы уж так хотите услышать ее любительскую игру, — криво усмехнулась пасторша, — то пусть Сандра проводит нас в оранжерею. Там я, по крайней мере, не услышу ни ее игры, ни ее невозможного пения.

На лице Сандры выразилось такое явное разочарование, что Флорентиец, поблескивая юмором в глазах, как-то особенно улыбнулся ему и что-то ему тихо сказал, чего даже Николай, обладавший тончайшим слухом и стоявший рядом с Сандрой, не расслышал. Сандра незаметно вздохнул, крепко пожал Флорентийцу руку и сказал дамам, что постарается увести их так далеко в сад, чтобы ни бас пастора, ни сопрано дочери, ни тенор хозяина дома до них не долетели. Услышав о теноре хозяина дома, дамы, казалось, несколько поколебались в своем желании уйти, но было уже поздно. Флорентиец указал Сандре путь в оранжерею и объяснил, чтобы обратно он провел дам через левое крыльцо дома. Чтобы он ввел их прямо в желтую гостиную, там занял бы их альбомами или картинами. Хозяин сам проводил дам через балкон в сад, закрыл обе двери балкона и задернул плотную портьеру.

— Я очень смущаюсь, папа, — прильнув к отцу, сказала Алиса.

— Полно, дитя. Ты ведь знаешь, что стоит тебе прикоснуться к клавишам — и Бог в тебе просыпается, и, кроме Него, ты забываешь все. Играй и пой как всегда. Не думай о похвале или награде. Думай, какое выпало тебе счастье сегодня — воспеть перед Богом вновь соединенных двух красавцев. Воспеть их всем сердцем, их любя и желая для них усеять землю цветами, как сказал Сандра. Пой и играй им песнь торжествующей любви. Не всем дано петь свою песнь любви. Кто-то должен петь ее для других людей, неся в сердце великий путь милосердного самоотвержения.

На чудесных глазах пастора сверкала влага слез — и все поняли, почему у него седые волосы при таком молодом лице. Трагедия этих двух сердец вдруг ясно пронеслась перед духовными глазами присутствующих. На лице Наль мелькнула боль, лорд Мильдрей незаметно, отвернувшись, смахнул слезу. И только на лицах Флорентийца и Николая лежала твердость полного спокойствия, мира и огромной доброты. Точно ленты света метнулись от Флорентийца к Алисе и пастору. Девушка робко подошла к роялю, открыла крышку и сказала:

— Я, конечно, не ученая музыкантша. Не ждите многого. Но я и не невежда, так как у меня было два замечательных учителя. Один из них — мой отец, второй — его недавно умерший друг, который был известен во всей Европе как пианист и композитор. Я сыграю Шопена.

Все ждали много от девушки. Но того что произошло, не ждал никто. Хрупкая фигурка, детская головка — все исчезло, лишь только Алиса коснулась клавиш. Все перестали и смотреть на Алису, всех унес вихрь звуков. И разве это были звуки рояля? Пастор был прав. Бог проснулся в Алисе. И не руки ее несли музыкальную пьесу, но сердце ее

творило жизнь, чарующую, захватывающую, раскрывающую что-то новое в душе каждого из слушателей.

Наль плакала. Лорд Мильдрей не дыша следил за музыкантшей, вытянувшись в струну. Пастор сиял счастьем, точно молился. Николай, устремив взор на Алису, как зачарованный, игрой своего лица отвечал на все краски ее звуков, а в фигуре Флорентийца, в его серьезном лице было что-то, напоминавшее жреца.

— Еще, еще, — молила Наль, когда Алиса остановилась.

Алиса стала играть Бетховена, Генделя, Шумана. И все кричали свое ненасытное: «Еще».

Алиса рассмеялась и вдруг запела старую английскую песню. И снова поразила всех. Высокое сопрано, теплое, мягкое, прелестного тембра, нежное, летело с такой силой, о какой и думать было немыслимо, глядя на это хрупкое дитя. Увлекши всех за собой в иной мир, девушка сказала:

— Теперь, папа, дуэт. Или я прекращаю.

Под общим напором просьб пастор подошел к роялю. Дочь начала дуэт, но когда вступил отец, то невольное «ах» вырвалось у всех. Тихий, спокойный пастор внес такой бурный темперамент, такое виртуозное артистическое исполнение в свою партию, которых от него никто не ждал. Его исключительной мощи и красоты бас не глушил, а служил основой голосу дочери.

— Я никогда, ни в одной опере не слышал такого исполнения, — тихо сказал лорд Мильдрей, — а я был во всех театрах Европы.

— Отец, — бросилась Наль на шею Флорентийцу, — неужели ты не споешь мне и моему мужу сегодня, чтобы напутствовать твоей песней и завершить ею наш венчальный обряд?

Флорентиец встал, поговорил с Алисой и пастором, и полился старинный итальянский дуэт. Что было особенного в голосе и пении Флорентийца? Ведь только что слышалась музыка мастера высокой марки. Только что казалось, что музыка выше всех философий и знаний лилась в песнях двух людей, отца и дочери. Сейчас же звенела мощь баритонального тенора, для которого не было ни пределов высоты, ни предела власти и силы слова. Он подавлял все человеческое, земное и открывал какое-то небо, звал в иные пути и миры, рвал все телесные преграды, точно касался самого сердца.

Опомнившись от изумления, во внезапно наступившем молчании присутствующие увидели Алису на коленях перед Флорентийцем, рыдающую, уткнув лицо в его чудесные руки. Подняв девушку, отерев нежно своим платком ее глаза, он обнял вместе отца и дочь и сказал обоим:

— Хотите ли вы оба, чтобы я стал вам теперь же Учителем?

— О, Господи, я отвечаю за себя и за дочь. О таком счастье, как быть руководимыми вами, мы и не мечтали.

— Алисе надо самой за себя ответить.

— Лорд Бенедикт, я хочу учиться жить, идя за вами, не только учиться у вас музыке.

— Отец, — бросилась и Наль к Флорентийцу, — я должна подарить Алисе что-то, я не могу не признать ее сестрой, потому что она подготовила меня к твоему пению. Иначе во время его я бы умерла.

— Прошу всех за мною, — сказал хозяин. Он взял под руки Алису и Наль и провел всех в свой зеленый кабинет. Там он подвел гостей к небольшому столу, где лежало несколько футляров.

Он взял один из них, вынул оттуда золотой пояс, где были вправлены крупные изумруды, и надел его на талию Алисы.

— Это дарит вам, своей подружке, Наль. А это мой вам подарок. — И на шее Алисы засверкал изумрудный крест, осыпанный мелкими бриллиантами.

— Это, дорогой сэр Уодсворд, прошу вас принять от моей дочери, — и он подал пастору золотые часы на такой же цепочке, — а этот перстень примите от меня, — надевая ему крупный изумруд с бриллиантом на пятый палец левой руки.

— Вас, лорд Мильдрей, я прошу принять этот браслет лично от меня, в обмен на тот, что вы дали моей дочери. Разница та, что здесь зеленые камни, там же топазы. Я не сомневаюсь, вы уже поняли, что самое чудесное в вашей жизни еще впереди. А это кольцо просит вас принять моя дочь. — И на мизинце лорда Мильдрей засверкало такое же кольцо, как у пастора.

— Это еще не все, Алиса. Мой зять просит вас принять в память сегодняшней музыки это жемчужное ожерелье, и он сам наденет его вам.

К смущенной Алисе подошел Николай и ловко застегнул на ней точно такой же жемчуг, как был на Наль.

— Теперь надо звать наших дам, — сказал Флорентиец, — не переносящих музыки, а также их кавалера, лишившегося ее. Но я надеюсь, Алиса, вы не откажетесь его, беднягу, вознаградить в дальнейшем и споете и сыграете ему?

— Я ваша ученица, лорд Бенедикт, как прикажете, так я и поступлю. Только... — она замялась, взглянула на опустившего глаза отца и много тише, печально продолжала. — Это всегда вызывает ревность Дженни и раздражает маму, когда я играю Сандре.

— Мы постараемся избежать этих несносных слагаемых, — рассмеялся Флорентиец и вышел из комнаты за своими отсутствующими гостями.

Лица дам, когда они вошли в комнату, были довольно кислы и стали еще кислее, когда они увидали разукрашенных Алису и пастора. Флорентиец, взяв со стола самый большой футляр и открыв его, подошел к пасторше и подал ей чудесное ожерелье из опалов и бриллиантов, такие же серьги и брошь.

— Примите этот дар от моей дочери, — кланяясь ей, сказал хозяин.

— Но это царский подарок. Как мне вас благодарить, лорд Бенедикт?

— Я здесь ни при чем. Это дарит вам моя дочь, — чрезвычайно любезно, но холодно ответил хозяин.

Пасторша подошла к Наль, рассыпаясь в благодарности и уверяя, что опалы ее любимые камни. Наль любезно помогла ей надеть драгоценности. Флорентиец тем временем подал Дженни такой же золотой пояс, как у Алисы, только из сапфиров, от лица дочери, и от себя брошь из жемчуга и бриллиантов. Дженни сияла не меньше матери, но огонь зависти блеснул в ее глазах, когда она увидела на шее сестры драгоценный жемчуг.

— Ну, Сандра, остался ты один. Вот тебе часы от Наль, о которых ты мечтал.

— Неужели с боем? — по-детски наивно и радостно вскрикнул Сандра, чем всех насмешил.

Флорентиец нажал пружину, и часы пробили восемь ударов таким приятным звоном, что Сандра не выдержал, подпрыгнул, перевернулся и поцеловал часы. Наль хохотала, Алиса аплодировала Сандре за его гимнастические курбеты, пастор сел в кресло от смеха — только Дженни и мамаша чувствовали себя шокированными вторично в течение вечера.

— Это еще не все, Сандра. Вот тебе кольцо от меня. А это, — он взял точно такой же крест, как уже надел Алисе, — это тебе за усердие во всех заданиях, что я тебе давал. И специально за язык пали, — и он собственноручно надел ему крест с цепочкой на шею.

Сандра, казалось, все забыл. Лицо его совершенно изменилось. Он стал серьезным, тихим, точно сразу старше. Он прильнул к Флорентийцу, горячо целовал его руки и говорил:

— Я буду стараться стать достойным вашего доверия.

— Не волнуйся, сын мой. Только никогда не спеши давать повод людям к неверным заключениям. Будь осторожен в поведении с женщинами. Ты прост и дружелюбен, но твои товарищеские отношения могут быть истолкованы иначе и могут принести тебе и другим осложняющую, очень несносную драму.

— Ваши слова, лорд Бенедикт, как всегда, будут мне законом.

— Ваши часы, лорд Уодсворд, с таким же боем, как у Сандры. Позвольте, я укажу вам, как нажимать в них пружину.

Флорентиец нажал пружину часов пастора, и они пробили восемь ударов и затем — совсем иным звуком — ударили еще один раз.

— Ой, и четверти выбивают! — не удержался от восторженного восклицания Сандра, снова по-детски радуясь, чем опять вызвал смех.

В лицах пасторши и Дженни, стоявших друг против друга, рыжих, черноглазых и чернобровых, сейчас мелькало что-то неприятное, отталкивающее. На лице пасторши проступили багровые пятна, лишив ее моложавости. А Дженни, казавшаяся такой красивой за обедом, стояла хмурая, злая, надменная, презирая все и всех в этой комнате, где ее, бедную девушку, сейчас так по-царски наградили.

— Дружок, Алиса, — раздался голос Флорентийца. — Сегодня мой зять поднес тебе жемчуг за восторг и отдых, которыми ты дарила его и всех нас музыкой. С согласия твоего отца я взял тебя в ученицы. Ежедневно, в двенадцать часов, я буду посылать за тобой экипаж. И здесь, у меня, ты будешь проводить время до вечера. Вечером твой отец будет приезжать за тобой, и после обеда вместе с ним ты будешь возвращаться домой. В память нашей первой встречи в музыке прими этот браслет и кольцо лично от меня. Завтра жди лошадей в двенадцать часов. — И он подал Алисе браслет и кольцо из таких же изумрудов, как ее пояс.

— Как будто бы, лорд Бенедикт, у Алисы есть мать, которая тоже имеет голос в решении судьбы дочери, — резко сказала пасторша. — Алиса нужна мне дома. Учиться ей довольно.

— Нет, леди Уодсворд. По английским законам, дочь зависит только от отца, если у матери нет ее личного капитала. Это законы юридические, у вас нет прав решения судьбы дочери. Есть еще и иные, божеские законы, нигде, кроме сердца человеческого, не писанные. Это — любовь матери. Но ваша любовь заключалась в том, что вы изгнали

дочь с ее искусством в бывший сарай, где и сейчас холодно и сыро. Вы заставляете Алису обшивать себя и старшую дочь, печь вам кексы и убирать ваши комоды и шкафы, а сами лежите весь день с романом на диване или разъезжаете со старшей дочерью по гостям и театрам.

— Я всегда знала, что этот змееныш осрамит меня. Эта лживая, избалованная отцом девчонка ввела вас своими жалобами в заблуждение, лорд Бенедикт.

— О, мама, как могли вы подумать, что я кому-нибудь могла бы сказать хоть часть того, что сказал вам сейчас лорд Бенедикт, — и слезы ручьем потекли из печальных глаз Алисы.

— Ну, значит, твой идеальный отец, обожаемый пастор, оказался на самом деле лицемером и сплетником, — шипя от бешенства, продолжала пасторша.

Взгляд Флорентийца, брошенный на нее, сразу ее укротил, точно взбесившуюся львицу. Она, видно, потеряла всякое понимание границ приличия и желала вылить не один ушат своего бешенства на невинную голову пастора, но не смела или не могла больше выговорить ни слова. Изменяющаяся ежеминутно игра камней на ее шее была ничто в сравнении с ее горящими глазами, которые буквально сыпали вокруг себя искры. Наль, никогда не видавшая такой силы злобы в женщине, боязливо прижималась к мужу, как бы ища себе буфер между изливавшимся злом и собой.

Пастор подошел к Алисе, стараясь ее успокоить своей любовной лаской, и подвел ее к Флорентийцу попрощаться.

— Простите нас, добрый лорд Бенедикт, за тот безобразный вечер или, вернее, его окончание, который мы заставили вас пережить. Я был, есть и буду, вероятно, неисправимым мечтателем. Я ведь еще и сегодня надеялся, что мои жена и старшая дочь в общении с вами поймут свои ошибки, которые я тщетно старался победить своей любовью в течение всей жизни. Я не победил, лорд Бенедикт. Но, венчая сегодня вашу дочь, я смотрел на ваше необычайное лицо. Ваши обаяние и сила, перед которыми никто не может устоять, я думал, победят Катарину и Дженни. Я надеялся, что они встретили наконец ту великую силу, перед которой склонятся.

Дерзкий смешок Дженни вдруг оборвался. Она поперхнулась собственной слюной и сильно закашлялась.

— Не беспокойтесь ни о чем, сэр Уодсворд, — ответил Флорентиец. — Завтра, когда вы приедете за Алисой, я буду иметь возможность поговорить с вами о дальнейшей вашей жизни. У подъезда вы найдете двухместный экипаж, и в нем вы уедете с Алисой. В большой карете Сандра и лорд Мильдрей проводят вашу жену и Дженни. До свиданья, леди Катарина и мисс Дженни. Вы ни одним словом не огорчите Сандру по дороге. Кроме того, я приказываю вам... — он поднял руку, протянул ее по направлению к обеим женщинам и как бы опустил ее на их головы, что при огромном росте Флорентийца, когда все казались маленькими и мелкими рядом с ним, при величии и обаянии его манер произвело на всех впечатление непреложного приказа, а леди Катарина и Дженни точно присели под магическим действием этой руки. — Я приказываю вам не мешать жить Алисе и пастору дома. Вы превратили их собственный дом в тюрьму, зная, что дед оставил дом, где вы живете, по завещанию, Алисе. Зная, что в нем она госпожа, вы превратили ее в прислужницу. Теперь вы обе будете трудиться для отца и для Алисы, как они до сих пор трудились для вас. И ни одной ссоры до самой смерти пастора чтобы не было в вашем доме. Идите и помните о том, что я вам сейчас сказал, или в вашей жизни

случится непоправимое, вами же самими сотканное зло, в котором ни я и никто другой уже не сможет вам помочь. Помните, вы должны трудиться или зло завладеет вами.

В сопровождении двух своих спутников, ни с кем не простившись, но крепко прижимая к себе футляры, точно они боялись, что хозяин передумает и отнимет у них подаренные драгоценности, обе женщины вышли из комнаты. Глаза их горели ненавистью, когда они увидели Наль, желавшую им доброй ночи. На Флорентийца и Николая они смотреть боялись. Но еще раз почувствовали на себе взгляд Флорентийца и еще раз точно присели перед самым порогом комнаты.

Пастор и Алиса, вернувшиеся раньше матери и сестры, прошли в свои комнаты, обменявшись горячим поцелуем.

— Мы нашли, Алиса, то, что всю жизнь искали. Теперь я умру спокойно.

— О нет, я гораздо больше эгоистка, чем ты думаешь, папа. Я хочу не только сама быть счастливой на новом пути, но и наслаждаться еще долго и твоим счастьем на нем.

Утомленные тяжелыми и многообразными переживаниями, но счастливые своей новой встречей, оба скоро и легко заснули, даже не слыхав, как вернулись их родные.

Глава 2

О чем молился пастор. О чем думала Дженни. С чем боролась леди Катарина

Дни для Наль и Николая текли легко, разнообразно и радостно. К завтраку, в двенадцать с половиной часов, до которого юная пара успевала осмотреть в Лондоне то, что с вечера назначал им отец, приезжала Алиса. Обычно только здесь в первый раз встречались

молодожены с Флорентийцем, все более и более привязываясь и подпадая очарованию этого великого друга.

После завтрака Алиса, Наль и Николай проводили регулярно час-два с Флорентийцем, который руководил образованием каждого из них. Затем Алиса давала Наль уроки музыки, в чем последняя выказывала немалые способности. Расставшись после урока, каждая из них шла своим путем труда. И до самого пятичасового чая в доме царила полная тишина. Только в большом зале время от времени раздавались звуки рояля, перемежаясь с полной тишиной. Там училась и обдумывала свои музыкальные вещи Алиса. Николай, если не занимался в библиотеке или не выезжал куда-нибудь с Флорентийцем, работал подле него. К чаю все снова соединялись вместе, и молодые люди — от чая до обеда — гуляли, ездили верхом или отдыхали по своему вкусу. К обеду приезжал пастор и, посидев часок в кабинете Флорентийца, увозил дочь домой.

Среди кажущегося внешнего однообразия жизни, целый новый мир открывался молодым и пожилым гостям Флорентийца. По настойчивому приглашению хозяина Сандра и лорд Мильдрей стали обычными гостями за обедом, сплачиваясь в одну крепкую и дружную семью со всеми обитателями дома.

Пастор, скрывая под внешней скромностью кроме недюжинного музыкального таланта большой ум и огромную образованность ученого, часто поражал экспансивного индуса своими знаниями и памятью настолько, что он вскакивал, потрясал руками и топал ногами от восторга. Под укоризненным взором лорда Мильдрея, насмешив в достаточной степени всех друзей своими курбетами, Сандра утихал, конфузливо взглядывал на Флорентийца и, сложив руки, уморительно, с детским отчаянием говорил:

— Не буду, лорд Мильдрей, вот уж, наверное, в последний раз я проштрафился. Никогда не буду, — чем заставлял Наль и Алису смеяться.

— Если бы я мог завидовать, граф Николай, я бы всему завидовал в вас. В вашем спокойствии, изящной, какой-то чуть военной манере ходить и держаться есть особая черточка аристократизма, которой я не замечал в других людях. Но что такое еще отличает вас от других — я не знаю. Если бы я хотел рассказать об этом образно, то все же смог бы только сказать, что вы принадлежите не той среде, где живем мы все, а той, где живет лорд Бенедикт.

— Долго ли ты, оксфордский мудрец, будешь величать Николая графом? Я нахожу, что вам всем пора уже бросить сиятельные прибавки и звать друг друга по именам. Все вы — мои дети.

— И все же это правда, лорд Бенедикт, что Николай — как вы приказываете его звать — имеет какие-то особые качества, — вмешался пастор. — И если все мы ваши дети, то он из нас старший и всего больше походит на отца.

— Благодарю, друзья, за высокое мнение. Но, право, это ваша детская фантазия. Я просто более выдержан и спокоен. Но расстояние между мною и отцом ровно такое же, как между им и вами. Нам лучше бы сегодня раньше разойтись. Я вижу следы большого утомления на лице нашего дорогого пастора, — закончил Николай.

На побледневшем лице Алисы мелькнула тревога:

— Я вообще замечаю последние дни, что папа худеет. Он болен, но не хочет в этом признаться. Я пожалуюсь вам, лорд Бенедикт, на папу. Если мне случается невзначай застать его — он так погружен в свои мысли, что даже не сразу видит меня и не сразу понимает, о чем я ему говорю. И вид у него какой-то неземной. Если бы мама увидела его

в таком состоянии, она, наверное бы, решила, что папа беседует с ангелами, как она не раз в жизни его укоряла, уверяя нас всех, что папа впадает в пароксизмы безумия. С некоторых пор отец пугает меня чем-то новым, какой-то оторванностью, отчужденностью от земли, — говорила девушка, вставая со своего места и опускаясь на колени перед своим отцом.

Пастор ласково обнял дочь, заставил ее сесть с ним рядом. На его добром лице сейчас была сияющая улыбка, и глаза его точно передавали дочери все благословение его сердца.

— Нам с тобой не надо беспокоить лорда Бенедикта, дитя. Люди не могут жить вечно. В первый же вечер нашего знакомства с великодушным хозяином этого дома я сказал тебе: «Мы с тобой нашли наконец верный путь, и я могу умереть спокойно».

— Папа, папа, не разрывайте мне сердца. На кого же вы покинете меня? Зачем вы меня пугаете?

— Я старался воспитать в тебе сильную душу. В тебе одной я не ошибся. Ты знаешь мою верность Богу, ты знаешь, что нет смерти. Я уйду в вечную жизнь, и страшного нет в этом. Если бы я в последний миг земной жизни не встретил счастья в лице лорда Бенедикта и не мог бы быть спокойным, что зло не окружит тебя, — я бы действительно не сумел уйти, как должно верному сыну Отца. Теперь же я знаю, что ты останешься в высокой защите и зло не коснется тебя.

— О, папа, папа, не покидайте меня, — рыдала Алиса. — Я еще ничем не отплатила вам за ваши заботы, радость, любовь. За чудесную жизнь, что вы создали мне. Я не вынесу разлуки с вами, я уйду за вами.

По знаку хозяина все гости вышли из его комнаты. Лорд Мильдрей увез расстроенного Сандру к себе, а Николай увел рыдающую Наль. Оставшись наедине с отцом и дочерью, Флорентиец подал им обоим рюмки с лекарством. Вскоре страдание сошло с лица пастора, оно стало бодрым и свежим. Рыданья Алисы тоже стихли, хотя глаза-сапфиры сохраняли скорбное выражение. Когда оба гостя совершенно успокоились, Флорентиец взял их под руки и сказал:

— Жизнь дает людям зов в самой разной форме. Нередко ее призыв выражается в преждевременной смерти. Чаще — в Голгофе страданий. Иногда человек, перенеся свою Голгофу, умирает всеми прежними качествами и силами и продолжает жить новой жизнью, жизнью как бы после смерти, так как все личное, что его держало в плену, все его страсти и желания — все в нем умерло, освободило его дух. И сохранилась только его прежняя внешняя форма, наполненная новым, очищенным духом, чтобы через нее могла проходить в мир суеты и греха высшая любовь. Есть такие места на земле — тяжелые, плотные и зловонные по своей атмосфере страстей, скорби, зла, — куда люди, высоко и далеко прошедшие, очищенные от страстей, уже проникать не могут. Но там нужны самоотверженные, умершие личностью, проводники, через которые они могли бы вливать и вносить помощь людям, гибнущим в этой тьме зла.

Флорентиец ввел отца и дочь в свою тайную комнату.

— Господи, второй раз я здесь, и второй раз я точно перед престолом Божиим, — прошептал пастор.

— И вы не ошиблись, друг. Вы точно перед престолом Божиим.

С этими словами он откинул крышку белого стола, и глазам обоих представился мраморный жертвенник, на котором стояла высокая зеленая чаша, выдолбленная как бы

из одного цельного изумруда. Подведя своих изумленных друзей к жертвеннику, Флорентиец стал за ними, положил им руки на головы и сказал:

— Вы видите перед собой Огонь нетленной Жизни. В Нем — все силы земли. Им земная жизнь держится. Им все на ней живое вдохновляется к творчеству. Это огонь сферы земли, вложенный в каждого человека. Он и свет солнца — два Начала всей человеческой жизни земли, плоти, духа, неразрывно связанных. С окончанием земной жизни человека этот огонь меняет свою форму. И меняет ее в каждом человеке так, как Свет солнца был вплетен в его путь самим человеком.

Нет ни одного животного, которое имело бы два Начала в себе. Каждое из них имеет только этот огонь сфер. Но есть миллионы людей, имеющих в себе развитым этот огонь земли до высоких и даже высочайших пределов и в которых Свет солнца или не развивался вовсе, или тлеет едва заметной искрой. Такие люди владеют большим знанием сил природы. Могут ими даже управлять, но в них не горит Свет солнца, свет Любви и доброты. Они преданы тьме эгоизма, в них горят только страсти и желания, только сила и упорство воли. Их темная сила несет всему дисгармонию и раздражение. Их девиз: «Властвуя побеждай», тогда как девиз детей Света: «Любя побеждай».

Упорство их воли — меч того зла, в путаные сети которого они затягивают каждого, в ком встречают возможность пробудить жажду славы и богатства. На эти два жалких крючка условных и временных благ попадаются те бедные люди, из которых они делают себе слуг и рабов. Сначала их балуют, предлагают им мнимую свободу, а затем закрепощают, соблазнив собственностью, ценностями, и так окружают разнузданностью страстей, что несчастные и хотели бы иной раз вырваться, но не имеют уже сил уйти из их цепких лап. Если сердца ваши готовы служить светлому человечеству, если вы хотите принять девизом жизни: «Любя побеждай», если в вас горит желание проносить любовь и помощь высших братьев в скорбящие сердца, не безнадежно утонувшие во зле, — я буду давать вам указания, как и где вам действовать в ваших простых, трудовых днях. Не о смерти думайте, но о жизни, протекающей вокруг вас сейчас. Ищите не молитв о будущем, но любви радостной, чтобы в каждое данное мгновение в нем отражалось ваше просто творящее доброту сердце.

— Я хочу жить так, как зовете вы, — сказала Алиса.

— Я хочу все остающиеся еще мне моменты жизни на земле служить Отцу моему, как я, очень несовершенно, пытался делать это до сих пор в весь сознательный период моей жизни. Теперь я признаю в вас ту великую встречу, того наставника на земле, о котором я всегда мечтал, и благодарю моего Создателя, пославшего мне ее.

Отец и за ним дочь склонились перед жертвенником, вознося свои молчаливые молитвы. Их лица были так спокойны, как будто на них никогда не отражалось страдание. Флорентиец их поднял, благословил и обнял каждого из них. Он простился с ними до завтра, наказав им сохранять в полной тайне свой новый путь любви и труда.

Возвратившись домой и, по обыкновению, не встретив никого из домашних, проводивших свои вечера в театрах или в гостях, отец и дочь, немного посидев вместе, разошлись по своим комнатам. Переполненное сердце каждого из них, несмотря на теснейшую взаимную дружбу, жаждало одиночества.

Алиса, углубившись в книгу, данную ей Флорентийцем, скоро забыла обо всем. Душа ее нашла новый мир, и она легла спать, найдя в первый раз в своей юной жизни полное спокойствие, примирение и радость, не омраченные повседневной скорбью о разладе в семье.

Пастор, открыв окно своей комнаты, выходившее в благоухающий сад, долго смотрел на звездное небо, но спокойствия не было на его лице. Казалось, он вновь передумывал всю свою жизнь. Он вспоминал о первой встрече со своей женой в Венеции. Леди Катарине было тогда восемнадцать лет, а ему двадцать один. Он и в мыслях не имел, что уедет из Венеции женатым человеком, бросив карьеру певца, которую начал блестяще. И даже все первые встречи с будущей женой не производили на него большого впечатления. Леди Катарина была тогда очень красива, жила у своей подруги, дочери важного и знатного синьора. Происходя из родовитой, но обедневшей семьи, жившей в глухой провинции, леди Катарина потерпела фиаско в тяжелой романтической истории, должна была спешить с замужеством и дала себе слово выйти за первого же подходящего иностранца, с которым встретится, чтобы уехать с ним из Италии. И этим для себя подходящим она сочла лорда Уодсворда.

Выведав у простодушного англичанина всю его подноготную, поняв, что его можно взять только добротой и любовью, леди Катарина играла роль так безнадежно в него влюбленной, что бедный лорд попался на крючочек и — незаметно для себя, — соболезнуя ей, полюбил бедную девушку сам, навек отдав ей сердце.

Много хлопот и настойчивости стоило ему уломать отца и получить согласие на женитьбу. Упрямый старик дал свое согласие на брак на том условии, что младший сын его будет пастором. За это он обещал ему дом в Лондоне, тот самый, где прожила семья пастора свою лондонскую жизнь, со всей обстановкой и садом. Но с условием, что этот дом будет принадлежать его младшей дочери. Фамильные драгоценности, которые принадлежали бабушке пастора, предназначались ему, ее любимцу. Но бабушка умерла внезапно, не оставив завещания. Устно она успела передать сыну свою волю о младшем внуке, велев передать ему и небольшую сумму денег и все бриллианты. Отец же распределил это наследство по своему усмотрению. Старшей дочери деньги, младшей — дом и камни.

Молодой лорд, неоднократно высказывавший девушке свои мечты об артистической карьере и свою любовь к музыке, был страшно удивлен, когда она принялась уговаривать его послушаться отца, сделаться пастором и немедленно жениться на ней. Никакие доводы логики молодого лорда не действовали. Девушка не верила его артистическим талантам, столь одобряемым его профессорами. Не верила его способностям к науке и боялась стать женой ничем не обеспеченного певца или еще менее обеспеченного ученого. Дом же в Лондоне, предоставляемый немедленно за согласие стать пастором, казался ей кое-чем, а деньги и бриллианты были надежнее восторгов толпы или лавров ученого.

Ее настойчивые уговоры перешли в бурные мольбы о спа-сении и такие сцены, что бедный юноша, принеся в жертву свои личные мечты, повел к алтарю девушку, которую — как ему она говорила теперь — он шокировал и компрометировал своим поведением.

«Чем была вся моя семейная жизнь?» — думал в ночном безмолвии пастор. Лично для него каждый день нес ряд внутренних катастроф. Плохо воспитанная, неряшливая и жадная итальянка трудно поддавалась элементарному внутреннему и внешнему воспитанию пастора. И только окончательное его решение, твердое как скала, стоившее немалочисленных истерик и сцен, заставило леди Катарину образумиться и усвоить внешние требования, предъявляемые английским обществом к женщине ее круга. Пастор ей объяснил категорически, что до тех пор, пока она не научится вести дом и хозяйство и держать себя среди людей, как подобает английской леди, она не будет представлена ни его отцу, ни старшему брату, не будет введена в их семью, а следовательно, лишится того высшего общества, которого она так жаждет.

Целый год прошел в напряженной борьбе. Дочь родилась преждевременно у пасторши, в волосах пастора мелькнуло два-три седых волоска, пока наконец налет богемы, неизвестно как и где приобретенный, под огромными усилиями воли и доброты мужа, сошел с леди Катарины. Постепенно вводимая мужем в общество, она усвоила внешний аристократизм, оставаясь внутри мелкой и жадной мещанкой.

Пользуясь своей красотой, пасторша легко овладевала сердцами людей, но в прочной дружбе никто с нею долго не оставался. Какие горькие минуты переживал пастор, возвращаясь в свой тихий дом из богатых дворцов отца и брата. Леди Катарина, ослепленная блеском роскоши, только и говорила, что о слабом здоровье его брата, об отсутствии у него наследников и о блестящем будущем после смерти этого брата, когда ее муж останется единственным владельцем всех богатств.

Вспомнилось пастору и рождение его младшей дочери. Огорчения и насмешки матери сыпались на голову бедного младенца, синие отцовские глаза которого и его курчавые белокурые волосы раздражали мать. Так и росла бедная Алиса, видя от матери всегда и во всем предпочтение своей старшей сестре. Но кроткий ребенок, восхищавшийся и матерью и сестрой, не только принимал как должное свое положение Золушки. Доброе, не знавшее зависти сердце искало всех случаев и возможности служить им обеим. И было всегда эксплуатируемо обеими, часто в ущерб здоровью. И здесь пришлось пастору поставить свое вето, с которым уже была хорошо знакома его жена. Все передумывал сейчас пастор и старался отдать себе отчет, насколько он виновен перед Богом и собой в нескладной жизни. Он поднялся, закрыл окно и опустился на колени перед аналоем, где лежало Евангелие.

— Господи, виновен сам человек во всей своей жизни, и только он один виновен. Знаю — скоро отойду. И молитва моя к Тебе: «Ныне отпущаеши раба Твоего, Владыко, по глаголу Твоему с миром». Я понял слишком поздно, что первое звено всей жизни всюду, не только в семье, — мир сердца. Я старался нести его всем. Но в семье своей поселить его не сумел. Я, проходя мой день, стремился принести встречному бодрость. Я стремился каждого ободрить и утешить. Я хотел, чтобы вошедший ко мне одиноким — ушел радостным, ибо понял, что у него есть друг.

Но в семье своей всей энергией доброты я не достигал не только гармонии, но даже чистоты. Господи, я понял все страдание земли в своем разбитом сердце. И я его принял и благословил. Защити дитя мое Ты величием Твоей благой любви. Ибо мое сердце не выдерживает уже двойственности и не может больше биться в компромиссе.

Я знаю единый путь человека на земле — путь самоотверженной преданности Тебе. Но радость этого пути, отравляемая ежедневной ложью и лицемерием в семье, не ввела меня в число слуг Твоих, на которых лежит отражение Тебя. Ныне, у божественного огня, я понял, увидел новый путь любви. Я знаю, что сейчас уже поздно, что я ухожу с земли, — прими меня с миром и не оставь дитя мое беззащитным.

Лицо пастора просветлело. Перед ним ярко и ясно вставал образ Флорентийца, и уверенность в помощи приходила к нему, на сердце стало легко и мирно. Вся его нечисто прожитая семейная жизнь перестала тревожить его. Она как бы составляла теперь для него что-то прошлое, далекое и чуждое. Точно не он, теперешний пастор, прожил ее. Не его мечты и грезы, схороненные и заколоченные где-то в больном сердце, стоили смертной борьбы. Не он боролся, чтобы понять и выполнить свой путь как утешителя каждому встречному на земле, а иной человек, о котором он сам теперь сохранил только воспоминание.

Вся окружающая жизнь мелькнувших молодости, науки, музыки, любимая дочь, цветущая природа — все показалось ему одним мгновением. Отрешенность, жившая в сердце так долго, как мучительное страдание, стала вдруг радостью раскрепощения. Дух его ничто больше не тяготило. Он понял, что вся жизнь — одно мгновение Вечности. Что земная жизнь человека кончается тогда, когда его творческая сила кончена, и земля ему больше не нужна как место труда и борьбы, место духовного роста. Можно умереть и молодым, и все же только потому, что в данных земных условиях ни сердце человека, ни его сознание больше не могут сделать ничего. Нужны иное окружение и иная форма, чтобы подняться выше духу человека и его творческим способностям.

Пастор встал с коленей и подошел к окну. Уже рассветало. Он открыл окно и сел в кресло. Его мысли вернулись к Алисе. Но теперь в сердце его тревоги за дочь уже не было. Он знал, что каждый может прожить только свою жизнь. И сколько бы ни стараться протоптать тропинку в жизнь для своих детей, жизнь повернет ее так и туда, как сам человек, и только он один, ее себе протопчет. Ни пяди чужой жизни не проживешь.

Когда Алиса утром вышла в сад поливать цветы и увидела отца уже готовым и сидящим у окна, она радостно подбежала к нему. Но тот же час радость ее померкла и сменилась тревогой.

— О, папа, вы больны? Что с вами? Вы так изменились, осунулись, так бледны, что я вызову доктора сейчас же.

— Успокойся, дитя, у меня была бессонница. Старые люди не могут быть всегда здоровы. Я уже говорил вам не раз: молодые могут умереть, старым — умереть неизбежно. О чем тревожиться? Люби меня, но люби спокойно, во всякой форме, в какой бы я ни был, ощущай всегда близость со мной, где бы я ни жил, далеко или близко. Верность любви не знает разлуки.

Слезы готовы были брызнуть из глаз Алисы, но доброе сердце мужественно победило свою скорбь, чтобы не тревожить ею отца.

— Вам, папа, не хочется выйти в сад?

— Нет, дитя, мне так хорошо здесь сидеть.

— Я сейчас принесу вам шоколад. Отдыхайте и ждите меня очень скоро. Уж я заставлю вас кушать сегодня, — стараясь казаться веселой, говорила Алиса. Но как только она завернула за угол дома, где ее не мог видеть отец, она села на скамью, положила руку на ее спинку и, уткнувшись лицом, горько зарыдала.

— О чем ты плачешь, Алиса? — резко спросила Дженни сестру через балкон своей комнаты. — Разбила куклу? Или тебе хочется иметь томный вид страдающей жертвы сегодня у своих новых друзей?

Алиса хотела сказать Дженни о болезни отца, о своей тревоге за него, но, взглянув во враждебные глаза сестры, сказала только:

— Ты все шутишь, Дженни. А мне кажется, что над нами висит горе, которого ты не хочешь видеть.

Дженни рассмеялась все так же резко и насмешливо продолжала:

— Давно ли ты в мудрецы записалась? Шестнадцать лет слыла дурочкой и вдруг попала в умницы у лорда Бенедикта. Кому это делает честь? Его прозорливости или твоей хитрости?

— Меня, Дженни, ты можешь называть как угодно. Но, если ты хоть один раз еще позволишь себе сказать что-либо неуважительное о лорде Бенедикте, ты уйдешь из этого дома, чтобы никогда не вернуться в него. Помни, что я тебе сейчас сказала, — это дом мой. И чтобы ни единого непочтительного слова о лорде Бенедикте не было произнесено в этом доме.

Что-то отцовское, когда он говорил свое редкое, но неумолимое «нет», сверкало в глазах Алисы. Необыкновенная решительность и железная твердость в ее голосе — все это было так неожиданно в кроткой и нежной сестре. Дженни сразу почувствовала, что не угроза от Алисы к ней пришла, но что она действительно останется без крова, если нарушит этот запрет Алисы.

Дженни знала, что кроткий отец обладал колоссальной силой характера и ничто не могло изменить его решения, если он это продумал и высказал. В Алисе она сейчас узнала эту черту отца так же просто, как в себе давно узнавала черты матери. Пока как громом пораженная Дженни приходила в себя от изумления, Алиса приготовляла завтрак пастору в доме. Не один пастор провел сегодня бессонную ночь в своем просыпающемся доме. Дженни возвратилась вчера домой в полной размолвке с матерью. И обе, недовольные друг другом, разошлись по своим комнатам, не примирившись перед сном.

Не в первый раз за последнее время мать и дочь были недовольны друг другом, что поражало их обеих, проживших всю жизнь в большой любви и дружбе и не ссорившихся никогда до сих пор. Обе ленивые, самолюбивые и вспышливые, они искали в Алисе предмет для своих дурных настроений. Им всегда казалось, что они недовольны ею, а не друг другом. Бессознательно ища ее общества в минуты раздражения, обе они, покоряемые кротостью и любовью ребенка, его всегдашним желанием успокоить и развлечь их, поддавались обаянию этой чистоты и самоотвержения, хотя считали ее дурочкой.

Теперь Алисы, как и пастора, целыми днями не бывало дома. Вся работа, которую делала для них Алиса, падала на них самих. Целые дни Алиса шила, гладила, стирала, перешивала, чтобы Дженни и мать могли быть нарядными. А рояль Алисы ждал ее неделями, потому что и уходя из дома, обе давали ей приказы, во что их надо одеть завтра, что вычистить, что пришить, никогда не думая о чрезмерности ее труда и скрывая от пастора свое поведение. Раздражаясь, обе налаживали кое-как свои туалеты теперь, проклиная в душе день и час, когда лорд Бенедикт переступил порог их дома.

Запершись в своей комнате вечером, Дженни рвала и метала. Неоднократные размолвки с матерью, ее полная невыдержанность, не сходившие с уст проклятия пастору и Алисе докучали Дженни. Только теперь она увидела глубокую некультурность матери и оценила благородство отца, никогда, ни одним словом не выражавшего перед детьми недовольства матерью. Пастор за всю сознательную жизнь Дженни не сказал ни одного слова в повышенном тоне матери и не позволил себе ни единого неджентльменского поступка по отношению к ней. Он был справедлив к обеим дочерям и не делал ни в чем разницы, балуя одинаково обеих. Мать же всегда баловала только Дженни. И Дженни теперь со стыдом вспоминала, как часто сладости Алисы съедались ею, подарки, отнятые для нее матерью у сестры, снашивались ею. И как та, всегда радостно улыбаясь, отдавала все лучшее, что имела, Дженни, за всю жизнь не сказав слова протеста.

Вспомнила Дженни и свой первый бал у деда. Мать приказала Алисе попросить у деда свои бриллианты, чтобы Дженни могла их надеть. Дед ласково — для своей суровости он всегда необычайно ласков был с Алисой — отказал. Подняв ее личико своей красивой рукой, он сказал ей:

— Не Дженни и не мать, а ты наденешь бриллианты моей матери. Они назначены тебе и будут присланы тебе к твоему первому балу.

— Тогда уж, наверное, дедушка, их никому не придется надеть. Ведь моего первого бала никогда не будет.

— Почему же так, внучка? — рассмеялся дед, обнимая девочку, чего тоже почти никто не удостаивался.

— На балы не возят дурнушек. Да и я предпочла бы послушать чудную, а не бальную музыку. Ах, дедушка, как ты меня огорчил. Дженни ведь такая красавица. Ну как же ей приехать на бал с голой шеей?

— Если ей ее шеи мало, может ее закрыть или совсем не приезжать.

— Так ей и сказать?

— Так и скажи.

Личико ребенка опечалилось. Алиса долго еще пыталась объяснить деду, что нельзя так огорчать людей. Это так смешило деда, что он несколько раз громко хохотал, но все же отвез ее домой в своем экипаже с коробкой конфет, но без камней. И Дженни вспомнила и этот день, и ясно видела перед собой маленькую фигурку сестры, огорченную и расстроенную. Под градом упреков матери Алиса только горестно твердила, что просила деда так усердно, как самого Бога, но, видно, по ее грехам, ни тот, ни другой не вняли. Картины жизни мелькали в памяти Дженни одна за другой, и вот в доме появился молодой ученый, друг отца, Сандра.

Дженни в первый же вечер уловила восхищенный взгляд гостя, когда Алиса играла и пела. Дженни старалась не допускать Алису к роялю при Сандре. Но тот умел действовать через отца, и Алиса иногда играла и пела, что выводило из себя немузыкальную и ревнивую Дженни. Дженни, способная, с хорошей памятью, легко ухватывала суть каждой книги. Она была довольно образованна, хотя и не желала следовать той программе, которую ей предлагал отец. Знакомство с Сандрой, желание обратить на себя его внимание заставило ее серьезно учиться и даже — не без пользы для индуса — она могла иногда припереть его к стене в споре. Но, поразмыслив на свободе, индус являлся в следующий раз с новыми книгами и доказывал Дженни, что она орудовала фактами по-дамски. И Дженни должна была прочитывать целые тома серьезных книг, чтобы разобраться, права ли она. Это ее злило и утомляло, тем более раздражая потому, что, как она ни старалась привлечь умом Сандру, он поддавался ее очарованию только до тех пор, пока Алиса была далеко. Стоило той войти — и вся ученость Сандры летела кувырком, он становился ребенком и забавлялся с ее сестрой, так весело и радостно смеясь, как этого никогда не могла добиться Дженни никакими чарами своего кокетства. Ревность жгла сердце Дженни. Но она ни в чем не могла упрекнуть сестру. Алиса всегда незаметно скрывалась, когда являлся Сандра, и ни разу его имя не слетало с ее губ иначе, как в числе поклонников сестры.

Сейчас Дженни стало душно в атмосфере зла и раздражения. Она поняла, что любит отца, любит и сестру и хочет быть с ними. Она оценила их культуру и не знала, как к ним подойти, как выпутаться из той двойственности, в которой очутилась. Казалось бы, так просто: попросить Алису взять ее с собой к лорду Бенедикту. Там она могла бы получить совет, как ей найти выход и приблизиться к отцу и сестре, не вызывая ревности матери. Но... как просить сестру? Как сказать ей? Лорд Бенедикт? Обратиться к нему? Невозможно, и стыдно, и страшно. Дженни решила обратиться к Николаю и просить его совета и помощи.

«Граф, — писала она. — Мне впервые приходится обращаться за советом и помощью к чужому и малознакомому человеку. Но Вы не просто человек. Вы ученый и философ, и вот к этому последнему я решаюсь обратиться. До сих пор я очень уверенно и самонадеянно вела линию своей жизни и была убеждаема постоянным в ней успехом, что веду ее правильно и именно так, как следует. Некоторый разлад в моей семье казался мне следствием детского, не жизненного простодушия папы и сестры. Теперь же в душе моей ад. Туда закрались сомнения. Там я вижу многое, ах, как многое, не таким, как это мне казалось до сих пор. И выхода найти, обрести хоть каплю мира я не могу. Я все больше раздражаюсь и чем яснее понимаю, что мое злобное настроение доказывает только мою же неправоту, тем больше злюсь. И сама вижу, как змеи в моем сердце шипят и поднимают головы.

К чему и почему я все это говорю Вам, граф? Потому, что образы лорда Бенедикта и Ваш стоят передо мной неотступно. Только в Вашем доме я впервые поняла, что жизнь может двигаться вперед добротой. И странно, там, в доме лорда Бенедикта, я не ощущала особенно сильно его и Вашего влияния. Даже — почти изгнанная лордом из его дома — я зло смеялась первые дни, усердно отравляя жизнь Алисе и папе. Но чем дальше, тем яснее я начинаю видеть ваши лица, и в моем сердце становится все печальнее.

Я прошу Вас, разрешите мне поговорить с Вами. Вспоминая строгое и какое-то особенное лицо лорда Бенедикта в последний миг расставания, я не смею обратиться к нему с просьбой о свидании. Его величавость — не поймите меня дурно, я уверена, что она — отражение его души, а вовсе не внешний фасон, — меня сковывает. Я не смею обратиться к нему и не могу себе представить, как обнажить перед ним язвы сердца.

Я попрошу Алису передать Вам это письмо, но я никогда не решусь переступить порог того дома, где сейчас живете Вы, потому что это дом лорда Бенедикта, и не смею просить Вас приехать ко мне. Не откажите выйти завтра в три часа в Т-рсо-сквер и поговорить со мною.

Примите самые искренние уверения в полном уважении к Вам.

Дженни Уодсворд».

Много скорби и размышлений стоило Дженни ее письмо. Гордая девушка никак не хотела поддаваться слабости, как ей казалось, и только настоящий большой ум помог ей признать свои ошибки и сказать в письме о них.

Окончив письмо, Дженни вздохнула с облегчением. Она, по крайней мере, оставила теперь за собой какой-то рубикон. Ей казалось, что она захлопнула дверь какого-то чулана своей души, темного и неприятного, куда хоть на несколько часов может не заглядывать. Оставалось еще одно неприятное: просить сестру передать письмо. И это оказалось на деле гораздо труднее, чем в мыслях. В своем сердце, каком-то размягченном во время письма, она точно раскрыла объятия Алисе. Там как-то ожила любовь к Алисе. Но... как только Дженни услыхала разговор сестры с отцом, услыхала ее голос, полный беспредельной доброты и ласки, так все, что выбросило на поверхность ее сознание, — была сцена у балкона, ожившая до боли четко и ясно. Потрясенная в этом воспоминании словами Алисы, Дженни бросилась первым делом к письму, чтобы его разорвать на клочки. Но вместо этого она закрыла лицо руками и горько, детски зарыдала.

Дженни, гордая Дженни, думавшая так много о своей красоте! Дженни, оберегавшая свое лицо от малейшего дуновения, никогда не уронившая слезинки, чтобы не испортить кожи, — Дженни рыдала, забыв обо всем, кроме глубокой горечи на сердце. Чья-то нежная рука

обняла ее. Чьи-то горячие губы целовали ей руки. Чье-то дыхание согревало ее, проникая теплом в глубину сердца, точно вытаскивая оттуда занозу.

— Дженни, сестра, любимая моя, дорогая. Прости меня, я ведь такая глупая, ты это знаешь, прости, родная. Я не сумела так сказать тебе своей мысли, чтобы ты, такая умная, поняла бы меня.

Слезы сестры, такие необычные, впервые виденные и вызванные ею, совсем уничтожили бедную Алису. Она готова была отдать самую жизнь, чтобы утешить сестру. И все же сознавала, что оскорбить лорда Бенедикта в своем доме не допустит. Все, что шло от него, было дороже жизни. Алиса могла умереть за сестру, но не могла изменить ему, ибо он-то и был сейчас центром ее жизни. Дженни ничего не отвечала сестре, но под ее добротой затихла и вдруг почувствовала себя маленькой девочкой, приникая к сестре, точно к доброй няне. Она молча, все еще чуть-чуть хмурясь и чуть улыбаясь, подала письмо Алисе. Та взглянула на адрес, ласково поцеловала еще раз Дженни и, спрятав письмо за корсаж, вышла из комнаты.

Впервые Дженни почувствовала благодарность к сестре, сожаление о той внутренней отдаленности, в которой жила с нею. Пасторша, избалованная раньше тем, что к ее выходу в столовую к двенадцати часам Алиса встречала ее обильным завтраком, непременно с несколькими горячими итальянскими блюдами, теперь каждый день раздражалась и оглашала дом громким спором с кухаркой, не умевшей ей угодить. Ее всю передергивало каждый раз, когда в одиннадцать с половиной часов Алиса садилась в элегантный экипаж и уезжала из дома, часто увозя с собой отца. Она всю жизнь пилила пастора, доказывая ему необходимость иметь свой экипаж, но, получив однажды и здесь вето, поняла, что должна покориться. Она, конечно, не покорилась, но принялась изыскивать способы выпросить экипаж у тестя. Тот ей ответил, что охотно бы подарил ей лошадь, но сын запретил ему делать это, а ссориться с ним он не хочет. Брат мужа, к которому обратилась пасторша с той же просьбой, дал ей точно такой же ответ.

Несчастная женщина стала бороться. Но боролась не со своими желаниями, а с пастором, с каждым его распоряжением, с каждым его приказанием в доме, с каждым его желанием. Не желая признаться себе, но поняв это давно и очень хорошо, что сгубила карьеру мужа и сама собственными руками создала и выбрала себе жизнь скромной пасторши вместо блестящей и рассеянной жизни жены знаменитого певца, она вымещала на муже свою ошибку и злобу, ища всех способов разбивать его сердце. Не зная законов Англии, она думала получить развод, потребовать у пастора половину состояния и уехать за границу. И здесь все было против нее, а стать вне общества она не решилась. Так и шла ее жизнь в совершенном отдалении от мужа, который перешел окончательно жить в свой кабинет и после рождения Алисы не переступал порога супружеской спальни.

Пасторша, ища развлечений на стороне, все же вела внешне безукоризненную жизнь, и репутация ее была незапятнанной. Пастор соблюдал весь внешний декорум счастливой семейной жизни и не пропускал ни одного случая быть где-либо вместе с женой, где этого требовали обычай или этикет. Его доброта и джентльменская вежливость с женой вводили всех в заблуждение об истинном счастье. Да и кому могло прийти в голову, что, имея мужем одного из известнейших ученых, человека большого музыкального дарования и честнейшей души, можно быть недовольной своей семейной жизнью.

Непостоянная в своих увлечениях, пасторша часто искала новой влюбленности, но тщательно скрывала свои порывы от домашних. И Дженни, убежденная, что мать — жертва самодурства отца, обожала мать вдвойне, стараясь вознаградить ее за холодность мужа. Но не так давно зоркие глаза Дженни стали подмечать кое-что, чего пасторше вовсе не хотелось ей открывать, хотя она и старалась воспитать Дженни на свой лад, уверяя, что

в Италии в смысле чувств живут иначе. Однажды у Дженни в глазах появился ужас, когда она нечаянно столкнулась с матерью на улице, когда та выходила под густым вуалем из подъезда чужого дома, где в дверях она заметила фигуру малознакомого мужчины. Между матерью и дочерью не было произнесено ни слова во всю совместную дорогу домой. Дженни и дома молча прошла прямо к себе, хотя пасторша, войдя домой, предложила ей какой-то вопрос. За обедом, где отсутствовали пастор и Алиса, Дженни овладела собой и старалась отвечать матери обычным тоном. Но в сердце ее уже не было алтаря, на котором стояла до сих пор мать. Поверженный кумир перестал держать ее в своей власти. Дженни не плакала, не стонала. Она охладела сразу. И пасторша поняла, что самое любимое дитя она теряет. Но и здесь она не боролась с собой, со своими ошибками. Она хотела, чтобы Дженни принимала ее манеру жить как единственно правильную и возможную в обществе.

Бешенство матери, когда она поняла молчаливое презрение дочери, не имело границ. Она закатывала ей чисто итальянские сцены, ревновала к отцу и Алисе. То умоляла, то угрожала и довела Дженни до того, что та пригрозила пожаловаться отцу на невыносимость подобной жизни.

Разъяренная, не привыкшая к противоречиям со стороны дочерей, избалованная привязанностью Дженни, пасторша не могла примириться со своим одиночеством в семье и решила соблазнить Дженни проектом блестящего замужества.

Не одну бессонную ночь она провела в обдумывании создавшегося положения. Она легкомысленно перебирала всех молодых людей и пожилых лордов столицы, знакомых и незнакомых. Она успокаивалась к утру на том, что найдет Дженни жениха с состоянием, именем и блестящим положением и тем вернет себе дочь.

Так встречали и провожали члены семьи пастора свои дни, и ни один из них не сознавал ясно, кроме самого отца, что смерть уже нашла свой путь в их дом.

Глава 3

Письма Дженни, ее разочарование и борьба

Алиса опоздала к завтраку, опоздала на целых двадцать минут. Лорд Бенедикт, Наль и Николай собрались в кабинете хозяина и ждали свою гостью, которая за эти пролетевшие как один день два месяца успела стать дорогим и любимым членом семьи.

Наль, приученная дядей Али, Флорентийцем и Николаем к совершенной аккуратности и пунктуальности, тревожилась сильнее других, уверяя отца и мужа, что Алиса, наверное, заболела.

— Сомневаюсь, чтобы ее задержала болезнь. Я думаю, что она скоро будет здесь и тревожиться тебе нет причин, дочь моя. Но если ты удвоишь свои заботы об Алисе и постараешься выказать ей еще больше любви и внимания, ты поступишь правильно.

Бедной девочке предстоит вскоре большое испытание. И кроме нас троих — как ей будет казаться, — у нее во всем мире не останется ни одного близкого сердца.

— Для Алисы, отец, мне так легко сделать все, что только я в силах сделать. Я люблю ее как самую близкую сестру. Да и возможно ли не любить ее, однажды с ней встретившись? Но я потрясена тем, что ты сказал. Неужели ее отец так болен?

— Он мог бы еще жить по состоянию своего здоровья. Но энергия его для борьбы с тем злом, что окружает его, иссякает. А в его жене она нарастает. Он уйдет из жизни, спасаемый Светлой силой любви, которой он служил всю жизнь. Потому что та сеть зла, что пробирается к его дому, требует энергии и знаний гораздо больше, чем их мог достичь пастор.

Только что закончил свои слова Флорентиец, как раздался легкий стук в дверь и слуга доложил, что мисс Алиса Уодсворд приехала. Наль побежала навстречу своей подружке, а мужчины прошли прямо в столовую, войдя в которую, уже застали обеих женщин.

Извиняясь и обвиняя себя всецело в опоздании, Алиса ни одним словом не намекнула на болезнь отца, ни на тревоги и разлад в доме. Но ее заплаканные глаза, бледное и расстроенное личико говорили сами обо всем, о чем она молчала. Она так незаметно положила письмо Дженни рядом с прибором Николая, что даже Наль не знала, откуда пришло письмо. Увидев не по почте пришедшее письмо, Николай взглянул на Алису, положил его в карман, и, казалось, инцидент был исчерпан.

— Почему Дженни избрала тебя почтальоном? — внезапно спросил лорд Бенедикт Алису. — Если бы она еще раз попросила тебя передать письмо кому-либо из нас, откажись. Скажи, что лично ей пути ко мне никто не закрывал. А если бы мать попросила тебя куда-либо отвезти ее по дороге к нам, или кому-либо передать письмо или вещь, или устно что-то передать — категорически откажись, теперь и впредь. Вся твоя жизнь этих месяцев — это отец, заботы о нем и мы. Принимаешь ли ты это условие, Алиса?

— Принимаю ли, лорд Бенедикт? Да разве я могу выбирать: принимать или не принимать чего-либо из ваших приказаний? Мое сердце не живет больше одно. В нем появилось новое лицо и, не спрашивая, можно ли там поселиться, поселилось. Все, кто жил там раньше, в нем остались. Но новый владыка внес в него и новую жизнь. Уйдут все любимые, — голос Алисы задрожал, она с трудом, но победила слезы, — и я знаю, что останусь жить. В тяжелой скорби, быть может, в ужасе, но жить буду. Но если бы ушел из сердца ваш образ, лорд Бенедикт, если бы погас там свет, что зажжен вами, жизнь ушла бы из него. Вы ведь сами видите все. Зачем об этом и говорить. Я взяла письмо Дженни, не зная, что в нем. Но я знаю — только здесь может найти Дженни свое спасение.

— Не огорчайся, друг. Ты узнаешь, как трудно, а иногда и невозможно помочь людям, если они ленивы, разнузданны, не хотят трудиться и видят все счастье жизни только в своем богатстве и наслаждении. При твоих слабых силах и малых знаниях все, что ты можешь сделать, чтобы не соткать еще большего зла, это избегать всяких сношений с сестрой и матерью. Живи те немногие часы, на которые уезжаешь домой, только подле отца. И если бы завтра мать твоя захотела сесть в твой экипаж, чтобы проехать с тобой куда-либо, — помни мой запрет. Впрочем, я скажу об этом твоему отцу.

Лорд Бенедикт встал, завтрак кончился, и каждый пошел по своим обычным делам.

Алиса была выбита из колеи словами Флорентийца. Она не понимала, о каком зле он говорил ей. Почему нельзя повезти мать, которая уже не раз просила об этом, в какое-либо место по дороге? Почему нельзя взять письма от бедной Дженни, которая так страдает, что даже плакала первый раз в жизни? Алиса не понимала смысла приказания, но ей и в

голову не пришло ослушаться. Ничто на свете не заставило бы ее поступить наперекор воле Флорентийца. Девушка видела измену и неверность своему другу в нарушении, хотя бы на йоту, его решений. Не понимая в данную минуту, почему она должна вести себя именно так, она интуитивно сознавала, что в требовании Флорентийца лежит глубокий смысл и, может быть, и спасение близких. Страдая за них, еще больше страдая за отца, она подошла к своему роялю, своему первому другу и помощнику во все тяжелые минуты жизни, и нашла забвение в музыке.

Прочтя письмо Дженни, Николай пошел к лорду Бенедикту. Прочтя его, последний несколько минут помолчал и спросил:

— Как же ты думаешь поступить?

— Мне кажется, девушку можно было бы еще спасти. У нее большие способности, она могла бы заинтересоваться глубокой и чистой наукой и победить страсть к внешним благам.

— Для этого ей надо начать по-настоящему трудиться: выбрать себе отрасль науки и посвятить ей полжизни. К чему-либо большому, крупному она не способна. Прожить хотя бы год в тесном кругу, в строгой программе дня, понять, что ей надо стать госпожой самое себя и уметь управлять своими страстями, — она не способна. Ты сейчас дошел до той ступени, где люди идут, уже самостоятельно разбираясь в делах и встречах дня. Ты можешь поступить так, как сам найдешь нужным.

— Нет, отец. Этот случай рисуется мне из ряда вон выходящим по своей сложности. Я не понимаю еще как, но знаю определенно, что нити зла тянутся от Дженни и, главным образом, от пасторши к Левушке. Когда я читал ее письмо, я ясно видел Левушку ускользающим от каких-то опасностей, связанных с пасторшей и Дженни, и Алису, спасаемую вами от их плена. Я пришел просить вас указать мне точные рамки поведения, так как чувствую себя не в силах здесь ясно распознать путь.

— Если ты хочешь, сын мой, поступить так, как видят мои глаза, — не выходи к Дженни в сквер и не пиши ей. А продиктуй Наль маленькое письмо, в котором сообщи Дженни, что ты говорил с лордом Бенедиктом и что он будет рад видеть ее в своем доме в одиннадцать часов утра в воскресенье, если она желает переговорить с ним о чем-либо для нее важном.

— Так я и поступлю, отец. Но не забыли ли вы, что вы пригласили пастора и Алису на четверг, пятницу, субботу и воскресенье в ваше имение? Вы предполагали, что мы все вместе возвратимся в Лондон в понедельник к завтраку.

— Совершенно верно. Мы уедем, как и вернемся, все вместе. Но ведь езды в деревню час с небольшим. Я пробуду в Лондоне, не только из-за одной Дженни, часов до пяти в воскресенье. И к обеду буду снова с вами. Надо постараться в деревне подкрепить силы пастора и чтобы на щеках Наль и Алисы снова расцвели розы. Да и тебе надо отдохнуть. Кстати, съезди к лорду Мильдрею. Там, наверное, найдешь Сандру в роли сиделки. Лорду отвези вот это лекарство, оно его поставит на ноги в два дня. И пригласи их обоих на весь конец недели с нами в деревню. Индус, конечно, не замедлит наградить тебя философски-спортсменским курбетом, а лорд просияет и не будет в состоянии найти слов для выражения своей радости. Письмо Дженни отправь с кем-нибудь из слуг сейчас же.

Николай ушел диктовать Наль письмо и затем уехал к лорду Мильдрею. А Флорентиец сел за свой письменный стол и в глубокой сосредоточенности написал несколько писем.

Отправив свое письмо с Алисой, Дженни не сомневалась в том, что вечером сестра привезет ей ответ и что в этом ответе будет самое любезное согласие Николая немедленно

явиться на свидание с ней. Она все еще была в домашнем платье и стала мысленно готовить речь для Николая, обдумывая каждое слово. Ей хотелось показать графу, философу, как ум ее тонок, как чувства ее изощрены, как ей нужна иная жизнь, в которую только нужно указать путь, чтобы она успешно достигла цели. Затем она стала обдумывать, в каком туалете ей завтра появиться перед графом в сквере. Она подошла к шкафу и стала выбрасывать на диван, один за другим, свои костюмы. Синий она отбросила как слишком будничный. Зеленый, который так прекрасно оттенял ее кожу и волосы, как чересчур яркий для серьезной цели свидания. Вскоре целая куча платьев лежала уже горой на диване, а Дженни все еще не знала, на чем ей остановиться. Если бы здесь была «дурочка» — как всегда мысленно звала Дженни сестру, — вопрос был бы решен в две минуты. У дурочки был такой изысканный вкус и такое чувство такта, что Дженни стала покоряться ее выбору туалетов. Жизнь научила ее оценить вкус Алисы, так как только тогда она вызывала общее одобрение, когда следовала ее указаниям в своих костюмах.

И снова чувство досады и зависти, что Алиса сидит теперь в аристократическом доме, а она, Дженни, здесь одна должна трудиться над туалетами, привело ее в раздражение, а время шло, и нерешительность Дженни чередовалась с возмущением. Почему Алиса, а не она попала в любимицы лорда Бенедикта? Не она — блестящая красавица? Дженни дала себе слово обворожить теперь Николая. Она уже не раз пробовала свои чары на мужчинах и — ни разу сама не любя, но лишь увлекаясь флиртом — была глубоко любима несколько раз.

Наконец Дженни отобрала костюм темно-серого шелка, с темно-зелеными пуговицами, и призадумалась над шляпой. Все казались ей или недостаточно хороши или слишком ярки. Она была очень комична в легком домашнем халате зеленого цвета и шляпе на голове, со шляпами в руках, на коленях, на стульях, на полу.

Внезапно не вошла, а влетела в ее комнату пасторша, тоже еще в халате и даже непричесанная. Она стала сыпать сто слов в минуту, из чего Дженни поняла, что к ней пришел слуга от лорда Бенедикта с письмом. И на все требования пасторши передать письмо ей слуга отвечал отказом, заявляя, что отдаст письмо лично в руки мисс Уодсворд. Любопытство пасторши было доведено до предела. Понося слугу и хозяина, отдающего такие идиотские приказания, чтобы мать не могла распечатать письма дочери, пасторша торопила Дженни выйти скорее к обруганному ею слуге.

— Прежде всего, мама, скажите, пожалуйста, вы посмотрели на себя в зеркало? На кого вы похожи! Сколько времени не стирался ваш халат? Вам десятки, сотни раз говорил папа, что выскакивать в прихожую на стук посторонних людей леди не должна, без особой надобности. Вы же не только выскочили к лакею лорда Бенедикта, тогда как у вас трое слуг. Вы еще и оскандалили меня перед ним. В каком виде этот лакей изложит отчет свой лорду Бенедикту? И — что еще нелепее — перед своими кухарками и товарищами, рассказывая о вашем грязном халате и крике?

— Это еще что за разговоры, Дженни! Ты с некоторых пор набралась от папеньки стремлений к хорошему тону, как я замечаю. Я тебе не советую переходить на сторону отца и Алисы, у меня есть для тебя такие блестящие планы...

— У вас, мама, всю жизнь были блестящие планы, только рушились они легче карточных домиков. Но, прошу вас, пройдите к себе и дайте мне возможность одеться. Я не могу, по вашему примеру, выйти к слуге лорда в халате.

— Давно ли тебе стала мешать мать?

— Нет, не так давно, к моему сожалению и огорчению, я стала во многом расходиться во мнениях с моей матерью.

Видя, что мать все не уходит, она накинула черный плащ, который, вместе со шляпой, придавал вид дамы, готовящейся выйти из дома. Запретив категорически пасторше следовать за собой, Дженни вышла в переднюю. По дороге она соображала, как должна вести себя леди, выходящая к лакею из аристократического дома. Точного представления у нее об этом не было, времени же оказалось так мало, что она вышла в переднюю, не додумав своего вопроса. Раньше чем Дженни успела что-либо сообразить, она увидела отлично одетого человека, которого на улице приняла бы за настоящего джентльмена. Вежливо поклонившись ей, он подал ей письмо, еще раз поклонился и сейчас же вышел, не обмолвившись ни словом.

Дженни была озадачена. Она уже приготовилась улыбнуться и попросить подождать, пока она напишет ответ, как осталась одна, точно здесь никогда и не было постороннего человека. Дженни инстинктивно почувствовала какое-то пренебрежение к себе со стороны этого человека. Хоть он был и лакей, но все же молодой мужчина мог бы заметить, что перед ним стояла красавица, красотой которой он имел благовидную возможность полюбоваться. А он даже не взглянул на нее.

Пасторша, нетерпеливо подглядывавшая в щелку, выскочила в переднюю, удивляясь, почему Дженни не читает письма. Дженни же ощущала в себе ярость. Она ясно видела, что на конверте четкий, красивый, но даже еще не совсем оформившийся женский почерк. Гнев Дженни обрушился на пасторшу, обвиненную в том, что она была груба и вульгарна с лакеем, почему тот и вылетел как пуля из их дома. Тут же ей присчитались ее вины подслушивания и подглядывания у дверей. И чем больше Дженни сознавала, что причина ее ярости не в матери, а в ней самой, тем все больше она злилась. Впервые она почувствовала в себе материнскую черту: доходить до бешенства, на что никогда раньше не считала себя способной. Увидев ужас на лице матери, Дженни сразу поняла, как была она сию минуту безобразна. Она, закрыв лицо руками, убежала в свою комнату, захлопнув за собой дверь и повернув ключ в замке.

Бросившись в кресло, она просидела несколько минут без движения, без сил, без способности что-либо соображать, не только прочесть письмо. Наконец, сбросив с себя плащ и шляпу, она натерла виски и шею одеколоном и взяла письмо в руки. Несколько удивили ее какая-то особенность в бумаге, должно быть, не английской, и вензель с графской короной, темно-зеленой с золотом. Разорвав конверт небрежно и торопливо, Дженни прежде всего посмотрела подпись. «Наль, графиня Т.», — стояло там.

«Милая мисс Уодсворд, пишу Вам по поручению моего мужа, который просит передать Вам, что лорд Бенедикт будет ждать Вас в воскресенье в одиннадцать часов утра в своем доме. Отец же просит сообщить Вам, что время его очень точно распределено. И Вам он отдает его с большой любовью и радостью, но, к сожалению, только от одиннадцати до двенадцати часов.

Примите уверение в совершенном к Вам уважении.

Наль, графиня Т.».

Обида, унижение и негодование захватили Дженни. Насмешка над собой за выбор туалета и желание обворожить Николая — и вот письмо Наль. Это раздражало девушку, смешалось в какой-то сумбур и вызвало снова пароксизм бешенства. Теперь уже не на мать обрушилось ее раздражение и разочарование, но на дурочку-сестру, не сумевшую, очевидно, передать письмо так, чтобы Наль об этом не узнала. По всей вероятности,

прелестная графиня закатила мужу сцену ревности и пожелала ответить лично, опасаясь соперничества с красивой Дженни.

Эта последняя мысль порадовала и привела мисс Уодсворд в себя. Но письма она решила все же матери не показывать. Зная ее любопытство, Дженни вырвала все письмо, кроме обращения и подписи, которые и бросила рядом с конвертом на столе, а самое письмо сожгла. Постепенно Дженни овладела собой, решила одеться и покушать и вышла в ванную, не закрыв дверь своей комнаты. Как она и предполагала, пасторша немедленно шмыгнула в ее комнату. Дженни дала ей достаточно времени полюбоваться короной и подписью и вернулась к себе уже совершенно остывшая от припадка своего гнева. Теперь ей самой казалось невероятным, что она могла так распуститься несколько времени назад. Ей было противно сознавать, что она сама впала в ту вульгарность, которая коробила ее в матери. Антиэстетическая сторона всей сцены и новое, впервые замеченное ею в себе бешенство сейчас были ей отвратительны до непереносимости, до невозможности оставаться одной. Она обрадовалась, когда мать, тоже одевшаяся, вошла к ней как ни в чем не бывало и предложила дома позавтракать и поехать в театр за билетами на заезжую знаменитость.

За завтраком мать и дочь, не касаясь утренних происшествий, обсуждали вопрос, что надо Алису на весь конец недели оставить дома, точно распределив ей работу по туалетам для предстоящих скачек. Ежедневные отлучки Алисы из дома все раньше и раньше и возвращения домой все позже грозят катастрофой всему их домашнему обиходу. Примирившись на этой мысли, мать и дочь решили выехать в город. Но пасторша посоветовала написать Алисе письмо теперь же и оставить его на видном месте, так как они могут поздно возвратиться из театра и не увидеться до утра с Алисой. Дженни, позабыв, что Алиса уже давно не та девочка на побегушках, которой она всегда отдавала распоряжения, как своей горничной-рабе, написала ей ряд приказаний, начинавшихся с приказа убрать как следует все в ее комнате, особенно шляпы. Выгладить блузы и костюмы, которые могли смяться от долгого лежания сваленными на диван. Далее шли точные указания, что надо приготовить к воскресным скачкам из туалетов матери и самой Дженни, и, в результате, Алиса не должна ездить эти дни к лорду Бенедикту, где она вообще изображает из себя приживалку молодой графини, чем позорит мать и сестру. «Пора кончить все эти глупости» — так заканчивала Дженни письмо сестре.

Запечатав письмо, Дженни оставила его в передней на столе, где его нельзя было не заметить. Наконец обе дамы вышли из дома, очень довольные собой. По дороге Дженни как бы вскользь бросила матери замечание о странности графини Наль, приглашающей завтракать в воскресенье, тогда, когда весь уважающий себя Лондон будет на скачках. Обменявшись мнениями вообще о доме лорда Бенедикта, мать и дочь встретили знакомых и незаметно провели время до обеда. Там встретились еще знакомые, с которыми они весело пообедали и отправились в театр. Но в душе Дженни все время ходили волны зависти к Алисе и злобного возмущения, каким образом дурочка и дурнушка сумела пленить лорда Бенедикта, тогда как всю жизнь, раз присутствовала Дженни, никто не обращал никакого внимания на Алису. Вдруг ей вспомнились слезы Алисы в саду и безобразная сцена сестер у окна ее комнаты. Дженни была рассеянна, чем удивляла своих кавалеров, не привыкших видеть ее задумчивой.

И чем дальше шел вечер, тем Дженни все больше становилось не по себе. Она вспомнила, что выразилась в письме о роли Алисы в доме лорда не особенно тактично и почтительно. Она даже вспыхнула от страха, припоминая сверкающие глаза Алисы, запрещавшие ей, под угрозой лишиться крова, всякую непочтительность к лорду Бенедикту. Улыбаясь внешне, Дженни чувствовала себя как уж на сковородке.

Тем временем день в доме лорда Бенедикта начался и шел для Алисы как всегда, радостно, легко, просто и весело. Добрая, нежная девушка была обожаема всеми, начиная от Наль и Дории и кончая последним ребенком повара, который тянулся к ней, если случалось встретиться в саду или во дворе.

В этот день пастор приехал в дом лорда несколько раньше обычного и прошел с дочерью в сад, где их увидел Флорентиец и сейчас же сошел к ним. Пригласив их обоих на весь конец недели в свою деревню, он сказал, что сегодня не отпускает их ночевать домой. За вещами пастора решено было послать лошадь к его старому слуге Артуру, а Алисе Наль уже приготовила весь туалет полностью заранее. Восторгу Наль, что Алиса проведет сегодня весь вечер у них и рано утром все уедут вместе в деревню, не было границ. Вечером один из экипажей лорда Бенедикта отвез Дорию в пасторский дом с письмом к слуге за вещами пастора.

Старый слуга сам открыл ей дверь и был несказанно удивлен, увидев чужую леди вместо поджидаемых Алисы и пастора. Когда он прочел ласковое письмо с указанием, что прислать, которое заканчивалось дружескими словами пастора лично к нему, «старому другу и верному спутнику всей жизни», как называл его пастор в письме, Артур весь просиял и поцеловал письмо своего обожаемого хозяина. Пастор сожалел, что не мог на этот раз взять его с собой, но надеялся не расстаться с ним в следующую поездку к лорду Бенедикту. А сейчас он просит его не скучать и в эти дни навестить своих родных, живущих близ Лондона. Он, пастор, дает ему на это свое разрешение. Если Артур выедет сегодня же вечером и вернется рано утром в понедельник, то доставит своим родным огромную радость, о которой те так долго мечтали, и сам пастор будет не меньше их доволен. «Я не буду счастлив, если буду отдыхать один, а ты будешь сидеть в городе», — заканчивал пастор письмо. Прочтя письмо, слуга отер слезы.

— Неужели лорд Уодсворд написал вам что-либо печальное? — с беспокойством спросила Дория.

— О, нет, миледи, разве мой дорогой господин может кого-нибудь огорчить? Он ангел во плоти, как и мисс Алиса. А плачу я только потому, что пастор не мог уехать на отдых один, не подумав и обо мне. Он много раз настаивал, чтобы я поехал к родным. Но разве я мог его оставить одного здесь в доме, в этом аду? Он остался бы некормленным и непоенным; раз мисс Алисы нет, ему даже и прилечь не дадут. Верите ли, миледи, я сажусь вот здесь на стул, запираю дверь в коридор на половину лорда и не пропускаю ни леди Катарину, ни мисс Дженни. Выношу каждый раз их дерзости и брань, но только этим путем сохраняю час спокойствия и тишины господину, если хозяйка дома. Уважения к его трудам и болезни нет.

— Не называйте меня «миледи», я такая же слуга, как вы, только служу молодой графине. Вот этот конверт просил вам передать молодой хозяин, граф Николай, очевидно, пастор сказал ему, что отпускает вас в гости к родным. И граф — тоже душа редкостная по доброте — посылает вам этот привет для передачи вашим родным. А мне приказал забрать не только вещи вашего хозяина, но и вас доставить до вокзала.

Слуга, не чуя ног под собой от радости, мигом собрал вещи пастора и свои, сказал кухарке, что хозяин и Алиса вернутся только в понедельник вечером от лорда Бенедикта из деревни, а лично он уезжает из Лондона по приказанию пастора и будет обратно рано утром в понедельник.

Толстая и равнодушная ирландка завистливо покачала головой, но так как доброго Артура она любила, то пожелала ему приятного пути и снабдила провизией на дорогу. Раздраженная придирками, она злорадно подумала о пилюле пасторше и старшей мисс,

которые будут сидеть в городе и грызться друг с другом. А хозяин и Алиса насладятся отдыхом в деревне без их чудесного общества. Заперев наружную дверь, кухарка передала горничной холодный ужин для хозяек и ушла к себе наверх в маленькую, уютную и солнечную комнатку. Сколько леди Катарина ни спорила с пастором, что он балует и распускает прислугу, отдавая ей барские комнаты, сколько ни доказывала, что горничная и кухарка могут жить в одной комнате, а ей нужно помещение для домашней швеи, — она наткнулась на вето пастора. Каждый из живших у него прислуги жил в отдельной, безукоризненно чистой комнате, за комфортом и ремонтом которых следил сам пастор.

Возвращение домой матери и дочери из театра прошло скучновато, так как Дженни была неразговорчива. Все ее мысли сосредоточились на Алисе, на путях и возможностях, как вести себя с сестрой, чтобы вырвать ее из сферы влияния лорда Бенедикта. Первое ядро, самое действенное, как полагала Дженни, уже пущено в Наль, приревновавшую мужа к Дженни. Судя по себе, Дженни полагала, что Наль будет стараться удалить Алису из дома, возненавидев сестру. Дженни предвидела борьбу не только с Алисой. Дурочку она надеялась уломать, прикинувшись тоскующей от любви в постоянной разлуке с нею. Она страшилась встретить вето пастора, перед которым ей надо было так ловко играть роль, будто бы все исходило от самой Алисы. Первое, что поразило обеих по возвращении домой, — мертвая тишина в доме. Обычно, как бы поздно они ни возвращались, пастор ждал их под музыку Алисы, которая прекращалась с их приездом. И оба остававшиеся дома всегда старались приготовить им что-либо вкусное к ужину. Правда, за последнее время много изменилось в их домашних привычках. Но все же основной порядок их жизни не нарушался. Дженни, приготовившая уже улыбку и нежное объятие для сестры, решившаяся сказать, что музыка ее лучше театра, где они сегодня проскучали, Дженни, хитро нашедшая, как ей казалось, подход и к отцу в том, чтобы просить его посвятить ей два ближайшие вечера для совместной работы, где без его руководства она не может разобраться, в уме которой так хорошо сложился план: отец будет счастлив, что старшая дочь последовала в конце концов его советам в науке, с радостью останется дома, а Алиса, растаяв от комплимента ее музыке и нежности сестры, останется дома и успеет все, что нужно, сшить для скачек, — Дженни получила первый удар, когда увидела свое письмо в передней нераспечатанным.

— Как, Алисы еще нет дома? Как вам это понравится, мама?

— Просто из рук вон! Девчонка избалуется окончательно, если не положить этому конец. Придется принять экстренные меры.

Обе прошли в столовую. Горничная спросила у пасторши разрешения и ушла к себе спать. Ужин показался обеим невкусным. Подогревать самим кушанья им не хотелось, каждая молчала, обдумывая про себя планы на завтра. Дженни решила твердо начать приводить в исполнение свой план немедленно, как только вернутся домой отец и сестра.

— Не понимаю, — внезапно сказала пасторша, — куда девался этот идиот Артур. То сидит в передней как статуя, пока домой не явится «их светлость, лорд пастор», а сейчас исчез к себе наверх именно тогда, когда пастор совершенно необыкновенно запоздал.

Она встала, подошла к лестнице, ведущей наверх, и стала кричать:

— Артур, сойдите сейчас же вниз.

Подождав немного, не получая никакого ответа на свой зов и не слыша никакого движения, она поднялась на несколько ступеней и повторила свой оклик в более повышенном тоне, уже раздражаясь почти до бешенства. Не получив и на этот раз никакого ответа, разъяренная пасторша вбежала наверх и, не имея понятия, которая из

трех комнат принадлежит старому слуге, стала стучать и ломиться со свойственной ей любезностью в ближайшую комнату, оказавшуюся кухаркиной. Ирландка вообще была характера спокойного и довольно невозмутимо выносила обычную брань своей госпожи. Но спать она любила в спокойствии и комфорте и ненавидела, если ее сон тревожили. Сейчас, разбуженная стуком и криками хозяйки, требовавшей, чтобы она немедленно спустилась вниз, пришла в ярость. Открыв дверь, уперев руки в бока, в длинной ночной сорочке и чепце, она так заорала на весь дом, что Дженни мгновенно прибежала на крик обеих женщин, оравших одновременно. Дженни боялась, как бы ночной скандал не привлек внимания ночного сторожа или полисмена, а еще того хуже, как бы отец не возвратился в разгар этой сцены. Тогда все ее планы пойдут прахом. Перепуганная горничная вышла из своей комнаты и пыталась несколько раз что-то сказать, но ее никто не слушал. С трудом наконец она объяснила Дженни, что пастор и Алиса не вернутся до вечера понедельника, а Артур уехал, так как отпущен пастором к родным до утра понедельника. И теперь хитроумная Дженни получила второй удар — удар, едва не свалivший ее с ног. Нравственно она была так разбита, что стояла молча.

Ирландка тем временем перекричала свою госпожу и едко отчеканила:

— Пастор с мисс Алисой сбежали от такой жены и матери. Теперь они на даче лорда Бенедикта, где их вам не достать. А вот как только пастор вернется, я все ему о вас доложу и попрошу расчета. В таком позорном доме я жить больше не желаю. Вам пастор запретил тревожить слуг, раз они ушли спать. А вы нарушили его приказание. Да, впрочем, что вам стоит нарушить все его приказания, если вы на свидания потихоньку от него ходите. О, я все, все знаю. Мой знакомый служит у мистера Б. и рассказал мне, как вы себя ведете с его хозяином. Я молчала. Плевать мне на ваше поведение. Но теперь, когда вы осмелились мой сон тревожить, нет, тут я вас не пощажу.

Дженни почувствовала головокружение, тошноту, пошатнулась и, наверное, упала бы, если бы сильные руки матери ее не поддержали. Но как только материнские руки ее коснулись, Дженни вздрогнула, выпрямилась и оттолкнула леди Катарину.

— Спасибо, мама, я уже хорошо себя чувствую. Спускайтесь, пожалуйста, вниз. Я иду за вами.

Что-то особенное было в голосе Дженни и во всей ее фигуре, что заставило всех трех женщин замолчать. Ирландка злобно фыркнула и захлопнула свою дверь, а пасторша молча пошла вниз. Ни словом не обменявшись, мать и дочь разошлись по своим комнатам. Дженни чувствовала боль, физическую боль в сердце. Она вошла в свою комнату, где все валялось неприбранным в том виде, как она оставила комнату с утра. Ей было не под силу оставаться в этом хаосе, она решила переночевать в комнате сестры. К ее удивлению, не только в комнату к ней нельзя было войти, но даже небольшой коридор, соединявший комнату отца и Алисы и отделявший их от всей квартиры, был заперт на ключ. Дженни решила, что глупый старый Артур, запиравший коридор, когда отдыхал отец, забыл его открыть. Она вышла снова в переднюю, чтобы пройти через зал-столовую и кабинет отца в этот же коридор. Кабинет отца оказался также запертым.

Как ни была разбита сейчас Дженни, она все же пришла опять в ярость, проклиная старого Артура, позволявшего себе уж слишком много. Бедной Дженни в голову не пришло, что старый Артур действовал по приказу в письме пастора: закрыть все двери и до его и Алисы возвращения ни по чьему требованию этих дверей не открывать. Самому пастору этот приказ был дан лордом Бенедиктом, вот почему и старому слуге он был передан с точностью и строгостью.

Дженни поняла полную невозможность провести ночь в комнате сестры и воспользоваться чистотой и уютом этой, из сарая переделанной, комнаты. Невольно Дженни вспомнила, как она допекала Алису за ее музыку, пока наконец девочку не убрали из дома, присоединив к нему каменный сарай и отгородив звуконепроницаемой стеной новую комнату Алисы. И кротость Алисы, ее огорчение, что страдают нервы сестры, точно шило кольнули сердце Дженни. Проходя снова через переднюю, Дженни схватила свое письмо, комкала и мяла его до тех пор, пока оно превратилось в жалкий комок. И чем больше она мяла несчастное письмо, тем все больше росло ее раздражение. Взяв в своей комнате халат и подушку, мисс Уодсворд отправилась в зал, решив переночевать на одном из диванов. Проходя мимо комнаты матери, она услышала храп, что вызвало на ее лице гримасу презрения.

Войдя в зал, Дженни сбросила с себя нарядное платье и принялась ходить по комнате. В первый раз в жизни у нее была бессонница. Она мысленно пробежала по всей своей жизни и дала себе отчет, что все пережитые до сих пор волнения ни разу не помешали ей заснуть так же сладко, как спала сейчас ее мать. Но сегодня ей казалось, что ее жизнь начиналась как-то по-новому и все было поставлено на карту. Отчего ей так казалось — она сама не понимала. Случайно взгляд ее упал на вазу, в которой Сандра однажды принес Алисе цветы, сказав, что их дарит ей его душа за музыку.

«За музыку, за музыку», — застучало в голове Дженни. И в доме лорда Бенедикта Алису наградили тоже за музыку. Неужели дар Алисы так велик? Почему же она, Дженни, не оценила его по достоинству? Ах, как много мешала Дженни ее сестра за последнее время. Только теперь она поняла, какая сила обаяния в Алисе и какая сила характера, цельного и непоколебимого, таилась в этом существе. Для Дженни становилось непереносимым, когда она представляла себе отца и Алису, наслаждающихся аристократическим обществом, общением с умными и талантливыми людьми, в то время как она будет сидеть эти дни в одиночестве и тоске. Она не сомневалась, что и Сандра будет в деревне, и ревность еще больше разжигала ее завистливое сердце. Сколько Дженни ни ходила из угла в угол по большому залу, сон все так же бежал от нее, как и в начале ночи. Но пойти к себе, прибрать комнату — ей и в голову не пришло. Постепенно ее мысли собрались вокруг центральной фигуры всех ее бедствий, как она полагала, — лорда Бенедикта. Пойдет ли она к нему в воскресенье? Скачки начинаются в час дня. Она успела бы вернуться домой, и, раз отца не будет дома, можно нанять экипаж на весь день, и все устроится просто. Но... о чем говорить ему? Лгать или даже думать лицемерно перед ним — она это ощущала всеми нервами — она не сможет. Жаловаться на судьбу, раз отец и Алиса там в таком почете, невозможно. Просить его помощи, чтобы выбиться в самостоятельную жизнь? Лорд Бенедикт снова скажет, что жизнь земли есть труд, а счастье человека в радости любимого труда. А Дженни хочет жить в роскоши, и труд ей несносен.

Чем больше она думала о своем настоящем и будущем, тем яснее видела для себя один выход: блестяще выйти замуж. Увидев Наль, она видела, что настоящей красавицей сама она не была. Ни правильности черт, ни той необычайной гармонии линии тела, ни безукоризненной красоты рук и ног, какие были у Наль, у Дженни не было. В ней все было кричаще, как в матери. И много усилий воли потратила дочь, чтобы стереть с себя тот налет вульгарности, который коробил ее в матери.

Снова мысли Дженни вернулись к лорду Бенедикту. Еще и еще раз охватывали ее зависть и бешенство. Наступило утро. Дженни с ужасом увидала свое желтое лицо, но решение ее созрело: к лорду она не пойдет. И как ни хотелось ей для себя отыскать возвышенно гордые предлоги, она сознавала, что лорд Бенедикт, разгадав ее в первый же раз, точно так же прочтет всю ее ложь, которую она принесет. Утомленная и решившая не только

сама не идти к лорду, но сделать все, чтобы отравить сестре каждую поездку в этот ненавистный дом и заставить ее отказаться от него, Дженни легла на диван. Но, как только легла, подумала о шатком здоровье отца и о том, что дом перейдет к Алисе, еще несовершеннолетней, и что сумасшедший отец способен выбрать ей опекуном лорда Бенедикта... и Дженни почувствовала самую жгучую ненависть к своей сестре, видя теперь в ней одной, злосчастной дурочке, причину всех своих несчастий.

Дженни кипела весь этот день и вечер в кольце своих страстей и в их бунте, а дом лорда Бенедикта горел огнями. Впервые лорд представлял в своем доме графа и графиню Т. избранным членам высшего общества и давал вечер в своем прекрасном особняке. У подъезда уже скопилось несколько экипажей, и подъезжали все новые, откуда выходили нарядные кавалеры и дамы.

Наль и Алиса давно были предупреждены об этом событии, и обе умоляли лорда Бенедикта освободить их от этой пытки. Смеясь и потешаясь над их застенчивостью, лорд не только не освободил их, но заставил обеих и Николая брать уроки танцев, сам же обучал их тем внешним условностям этикета, в которых им придется некоторое время жить.

— Независимость и полная освобожденность должны жить в ваших сердцах. Ничто внешнее не может задавить человека, если сердце его свободно от страха и зависти. Те же или эти внешние рамки, те или эти условно тяготящие обстоятельства — все это только иллюзии. Внутри пустой, ни в чем не уверенный человек, не имеющий понятия, что он все в себе носит и сам своими внутренними, ни от чего и ни от кого, кроме самого себя, не зависящими силами творит свой день, — только такой невежественный человек может жаловаться на свои обстоятельства, стесняться людей или обычаев. Вам надо не только понять, что ничто давить вас не может, но надо научиться так владеть собой, чтобы во всех обстоятельствах не терять внутренней силы спокойствия и свободы, уверенности и мира. Тебе, Наль, надо забыть гарем и осознать себя не женщиной Востока или Запада, а человеком. Смотри на всех одинаково, сознавай каждого тем встречным, которому ты должна быть примером мира и света. О страхе забудь. Навсегда научись сегодня быть среди людей, внешне нося условное твоей современности, а внутренне подавая каждому каплю вечной красоты. А ты, крошка Алиса, играй сегодня, тоже внешне соблюдая этикет воспитанной леди, а внутренне тащи каждого в великое раскрепощение, выливая море звуков. Сопровождающая звуки великая красота твоей артистичности будет стирать с сердец людей их несносный налет уныния, зависти и страстей. Забудь и ты навсегда о страхе, особенно о страхе перед игрой и пением. Наоборот, зови в музыке каждого к духовному напряжению, к действию, к героизму, к борьбе.

Поцеловав своих обеих дочерей — он шутя говорил пастору, что отбил у него вторую дочь, — Флорентиец расстался с ними до вечера, сказав, что Дории известно все, во что и как их одеть. И вот наступил этот вечер и час появления хозяев в зале. Флорентиец сам зашел за Наль, надевшей снова свое парчовое платье и жемчуг. На этот раз она была так прекрасна, стоя рядом с Николаем, что даже отец улыбнулся ей, объявив ее заранее притчей во языцех лондонского сезона. Вбежавшая Алиса, увидев их троих рядом, всплеснула руками, сказав, что не отказывается от своего первого впечатления в доме пастора и не знает, кому из мужчин отдать пальму первенства красоты и юности. Но что Наль сегодня слетела с Олимпа — это уже вне всяких сомнений. Сама Алиса абсолютно не сознавала своего очарования: в легком белом платье, с сияющими синими громадными глазами и золотым ореолом волос на голове, она была похожа на музу.

Все вместе сошли вниз, где их ждали пастор, Сандра и лорд Мильдрей, сразу обомлевшие от красоты спустившихся двух пар. Едва успели хозяева войти в зал, как стали входить гости.

Вечер сошел для молодых хозяев и для Алисы как нельзя удачнее. Алиса играла исключительно хорошо, обе женщины пожинали лавры, комплименты и приглашения сыпались на них как из рога изобилия. И обе одновременно по отъезде гостей бросились на шею каждая своему отцу с возгласом:

— Слава Богу, наконец-то кончилось, — чем насмешили не только отцов, но и оставшихся ночевать Сандру и лорда Мильдрея.

Утомленные, но счастливые завтрашним отъездом в деревню, все разошлись по своим комнатам.

Глава 4

Важное событие в семье графа Т. На балконе у Наль. Завещание пастора

Прелестное августовское утро, теплое и солнечное, обрадовало обитателей дома лорда Бенедикта. Не теряя лишнего времени, после раннего завтрака все уселись в экипажи, быстро добрались до вокзала, сели в поезд и покатили в имение лорда. Станции мелькали под восторги Наль и Алисы, которых восхищало все: и поля, где шли работы, и цветущие палисадники, и домики, обвитые плющом и цветущими розами, и стада, и в домах встречавшиеся дети. Обе, казалось, забыли о своих спутниках, только и слышалось: «Смотри, Наль», «Смотри, Алиса».

Наль, знакомившаяся впервые с Англией, удивлялась решительно всему. Все было так не похоже на ее страну. Все ей казалось, что сейчас мелькнут силуэты осликов и верблюдов, без которых жизнь не представлялась ей возможной. Алиса, хотя и знала английскую деревню, но бывала за городом очень редко. Природу видела только из вагона, так как пасторша природы не выносила. Если пастору удавалось заставить ее вывезти детей из города, она увозила их к морю, где всеми силами стремилась завести какие-либо

знакомства в высшем свете. Поэтому Алиса, любившая и ценившая природу, воспринимала свой отъезд на дачу как кругосветное путешествие. Час двадцать минут езды в поезде показались ей одной минутой. И когда лорд Бенедикт сказал, что на следующей остановке им сходить, она была очень разочарована.

— Тебе бы хотелось, Алиса, ехать несколько суток в поезде или на пароходе? — спросил пастор.

— О, да, папа, с вами и со всеми, с кем еду сейчас, очень бы хотелось, хотя на пароходе, наверное, очень страшно.

— Страшного-то ничего нет, — сказала Наль. — Но так противно, так тошно, что даже одно воспоминание вызывает во мне и сейчас тошноту. Ой, только представила себе пароход — и так себя ужасно почувствовала.

Наль побледнела и пошатнулась. Николай поддержал ее и пошутил над ее слишком горячим восточным воображением, а лорд Бенедикт быстро подал ей коробочку с маленькими конфетами.

— Возьми и поскорей проглоти. Это заставит тебя забыть о пароходе.

Наль с трудом исполнила его желание и снова опустила головку на плечо мужа. Обеспокоенная Алиса с удивлением увидела, что лицо ее отца, всегда так трогательно расстраивавшегося болезнью каждого человека, совершенно спокойно. Посмотрев на лорда Бенедикта, она и в его лице не нашла ни малейшего волнения. Только один Николай выказывал Наль все признаки внимания и сочувствия, но, опять-таки, беспокойства она не видела и в нем. Сама же Алиса глубоко переживала дурноту Наль, с большой досадой пожала плечами и пробормотала, вздыхая:

— Ох уж эти мужчины, — что было для нее так непривычно и неожиданно и так комично, что вызвало общий смех. Веселее всех смеялась сама внезапно заболевшая, а сейчас чувствовавшая себя совсем хорошо Наль. Так под общий смех все сошли на станции, где их ждали экипажи.

Совершив сорокаминутное путешествие на лошадях полями и лесом, наши путники добрались до имения Флорентийца. Въехав в ворота, экипажи двинулись по длинной и широкой дубовой аллее, в конце которой виднелся дом. Подъехав к дому, все гости и молодые хозяева, никогда здесь не бывавшие, высказали Флорентийцу свой бурный восторг. Дом стоял на высокой горе, по которой, террасами, спускался вниз, к большому пруду, старый, тенистый парк с вековыми липами, ясенями, дубами и каштанами. Кое-где оазисы елок и лужаек, цветочные клумбы и кусты роз — все было так художественно и полно гармонии.

— О, отец, — бросилась на шею Флорентийца Наль, — я думала, что лучше сада дяди Али и быть не может. А оказывается, что вот какие сады бывают на свете. Ой, отец, опять, опять кружится голова и тошно.

Флорентиец снова подал ей маленькую конфету и велел Николаю отнести жену наверх, где им отведены комнаты. Там дать ей полежать спокойно не меньше часа, а через час он сам зайдет к ним.

— Ну, так как молодая хозяйка у нас нездорова, то придется тебе, Алиса, выполнить все ее обязанности и занять ее место за столом, — остановил Флорентиец Алису, которая хотела пойти за Наль.

— Но я могу быть нужна сейчас Наль, лорд Бенедикт. Разрешите мне посидеть возле нее. Ведь вы видели, как она осунулась сразу.

— Это ее укачало, через час все пройдет. А вид с балкона Наль — один из лучших в мире. Как полежит на нем — забудет о болезни. Пока для ухода за ней довольно одного мужа. Быть может, настанет момент нужды и в тебе.

— Быть полезной Наль — это большое для меня счастье. Мне так бы хотелось, чтобы Наль была здорова.

— Вот тебя встречает Дория. Она проводит тебя в твои комнаты. Переоденься в легкое платье и через четверть часа приходи на террасу, где уже накрыт стол к завтраку. До завтрака, пока все будут разбирать свои вещи, мы с тобой успеем пройтись по парку.

Алиса, беспокоившаяся за подругу, но утешенная полнейшим отсутствием тревоги в лорде Бенедикте, быстро пошла за Дорией наверх, где нашла отца своим соседом, чему была очень рада. Быстро поцеловала его, шепнув ему, как она счастлива провести с ним несколько дней в таком волшебном месте, она просила его отдохнуть до завтрака, сказав, что сама пойдет гулять с Флорентийцем в парк. Умоляя Дорию дать ей платье полегче, как ей сказал Флорентиец, она даже не посмотрела, что ей накинула на плечи Дория.

— Ну можно ли так мало интересоваться собой, мисс Уодсворд, — говорила Дория, застегивая на Алисе прелестное сиреневое платье с белыми кружевами. — Ведь вы красавица. Неужели вы этого не понимаете?

— Дория, друг, дорогая сестра, и Наль, и я, мы уже устали просить вас не называть нас наедине иначе как по имени. Если вы еще раз не исполните моей просьбы, вы огорчите меня до слез. Разве вы этого хотите?

— Нет, Алиса, вас я меньше всего хотела бы огорчить. Вы настолько же поселились в моем сердце, насколько там могла бы жить родная дочь. Но когда-нибудь я расскажу вам печальную историю моей жизни, мою большую вину перед людьми — и вы сами поможете мне нести смиренно мою роль.

Алиса поцеловала Дорию, огорчаясь, что должна спешить сейчас и не может выслушать немедленно горе Дории, которая завязывала на ней фиолетовую ленту белой кружевной шляпы.

— Если бы я была мужчиной, я бы женилась на вас сегодня же, — говорила Дория уходившей Алисе.

Весело смеясь, Алиса выпорхнула на террасу, где ее ждал Флорентиец. Он тоже успел переодеться в легкий серый костюм и белую шляпу. Увидев смеющуюся девушку, совершенно очаровательную в легком платье, с открытой шеей и руками, он элегантно снял шляпу и, улыбаясь, сказал:

— Будь мы во Флоренции, десяток твоих обожателей устроили бы мне капкан, откуда я вряд ли выбрался бы целым, Алиса.

— К счастью, мы в Англии, лорд Бенедикт, обожателей у меня нет, и никому не грозит капкан.

— Так ли, Алиса? Точно ли у тебя нет обожателей? И никто тебе не шептал о твоей красоте? — преуморительно состроил постное лицо Флорентиец.

— Нет, лорд Бенедикт, — неудержимо рассмеялась Алиса. — Мужчины пленяются такими женщинами, как Наль и Дженни. У них всегда много обожателей, потому что они красивы. А вот Дория только что сказала мне, что если бы она была мужчиной, то женилась бы на мне сейчас.

И, продолжая смеяться, Алиса оперлась на предложенную ей Флорентийцем руку. Уходя в глубину парка, где чирикали на все лады птички, прыгали белки и ложились пятнами лучи солнца на дорожки, Алиса была совершенно очарована впервые понятой тишиной и величием природы.

— Боже мой, как прекрасна жизнь, — воскликнула девушка, когда Флорентиец вывел ее на верхушку горы, откуда открывался горизонт на несколько верст. — И какая тишина! Так бы отсюда никогда и не ушла.

— К сожалению, жить нельзя так, как нам хочется. А только так, как ведет великая Матерь Жизнь. Мы приходим на землю и уходим с нее, уже связанные всеми теми нитями, которые сплела нам наша же любовь или ненависть, Алиса. Зло не живет в мире само по себе. Если оно сваливается на нас, то только потому, что мы сами, творчеством своего сердца, призвали его к себе. Если же мы чисты — оно не подойдет к нам. Часто мы не знаем, почему оно сейчас на нас свалилось, но мы сами его соткали когда-то. И не умеем в данное мгновение растворить его в огне своей любви. Ты беспокоишься о Наль. Но тревожиться о ней нечего. Можно только радоваться. У нее будет ребенок, и начало ее беременности будет несколько трудно. Твоя помощь подруге будет очень нужна, если ты сама не захочешь выйти замуж вскоре.

— Я? Замуж? Господи, что только вы можете сказать, лорд Бенедикт.

— Если ты хочешь последовать моему указанию — не выходи сейчас замуж. Не оставляй нашей семьи, а, наоборот, переселись к нам совсем. Твое влияние на Наль, твоя доброта и чистота помогут сложиться в ней ее материнскому чувству и помогут ребенку ее выйти в мир, имея в твоем лице добрую волшебницу — тетю Алису.

— Я понимаю все значение, огромную важность каждой приходящей в мир новой жизни, лорд Бенедикт. И видит Бог, я не имею иного счастья, как служить Наль, вам. Но... — сияющие, полные слез глаза Алисы поднялись на Флорентийца, — молодая приходящая жизнь будет иметь любящих отца и мать и такого необыкновенного деда, как вы. А уходящая жизнь моего отца не имеет, кроме меня, никого. Но я поступлю так, как вы мне укажете. Я только хочу, чтобы вы учли, как был и есть одинок и несчастлив мой обожаемый отец. Встреча с вами — его первое счастье в жизни. А я — его единственное утешение.

— Я слышу голоса, Алиса. Сюда идут твои обожатели и твой отец. Мы с тобой продлим наш разговор потом. Знай только, что до смерти твоего отца ни ты, ни я его не покинем. Вытри глаза и съешь эту пилюлю. Найди полное самообладание, Алиса, и волей-любовью победи свое личное страдание. Дело не в тебе, а в жизни твоего отца, проводить которого ты должна легко, ни разу не показав ему своего страдания разлуки. Думай только о каждой текущей минуте его жизни и старайся быть ему светом и радостью.

Из-за поворота дорожки показались три мужские фигуры. Флорентиец прижал к себе девушку, пристально, ласково и с такой мощью посмотрел ей в глаза, что Алиса сразу нашла спокойствие и самообладание. Вся ее фигура, залитая солнцем, громадные синие глаза, по-особому сейчас засветившиеся новым спокойствием, были совсем другие, чем в Лондоне. От трех приближавшихся фигур отделилась одна в светлом костюме и побежала к Флорентийцу и Алисе, сняв шляпу, размахивая ею и крича:

— Ура, это я вас нашел, лорд Бенедикт. Мои солидные спутники уверяли, что надо искать вас у оранжерей. Мисс Алиса, вы хорошеете не по дням, а по часам. И до чего это дойдет, я уж и не знаю, — говорил Сандра, присоединяясь к своим друзьям.

— Ты, Сандра, неисправим, — улыбнулся Флорентиец. — Лорд Мильдрей снова придет в отчаяние от твоей манеры говорить девушкам комплименты.

— А я готов подписаться под его комплиментом, — обнимая дочь и беря ее под руку, тихо сказал пастор. — С тех пор как моя Золушка проводит время в вашем доме, она превратилась в принцессу. И действительно, чем дальше, тем она милей. Сегодня, Алиса, ты даже старика отца обворожила.

— Предоставьте ей, лорд Уодсворд, очаровывать этих милейших молодых людей. А мне хотелось бы поговорить с вами. Не хотите ли присесть на той скамье? Вид с нее обворожительный, да и вам отдохнуть невредно. А молодежь погуляет по парку до завтрака.

И Флорентиец увел пастора в боковую дорожку, к обрыву.

— Я так рад каждому проведенному подле вас мгновению, лорд Бенедикт. Тем более что совершенно определенно чувствую, как мало земных мгновений мне осталось жить. Мысль, что ждет мою семью, что ждет Алису, когда я закрою глаза, — одна из самых тягостных.

— Неужели для вас не ясно, мой дорогой лорд Уодсворд, что Алиса в моей семье нашла второй родительский кров. Мысль о ней не должна вас тревожить. Сегодня сюда приедут два юриста по делам Николая и Наль. Вы можете составить завещание и назначить меня опекуном вашей дочери на случай вашей смерти. Но эта сторона, сторона юридическая, мало затруднительна. Я хотел предложить вам — если вы действительно чувствуете себя плохо — взять отпуск и переехать сюда в деревню, где мы проведем август и сентябрь. Вы с Алисой доставите нам всем величайшую радость, если проживете здесь это время. Мои планы были несколько иными. Но Наль, как, я думаю, заметили и вы, ждет ребенка. Ей необходимо побыть в тишине не только для здоровья, но и для глубокого понимания того события, к которому она готовится.

— Если бы не счастье моей встречи с вами, лорд Бенедикт, мне нечем было бы помянуть своей жизни. Алиса — с детства и до сегодняшнего дня — да мой старый слуга, верный друг с первых дней детства и тоже до этого мгновения, — вот все, что было и есть светлого в моем доме. Изведав на себе все страдание земли, я нашел смысл и свет жизни в служении Богу и ближним. Только первые годы меня терзала личная трагедия. Но вскоре я забыл о себе, когда окунулся в океан человеческих страстей и горя. Отходя теперь к Отцу моему, переживая вновь всю свою жизнь, я сознаю себя не верным Ему слугою, ибо оставляю на земле такую безобразную семью. Наставляя всю жизнь свою паству, утешая и облагораживая семьи вокруг себя, я ничего не смог сделать в своей личной семье. Не смог вырвать семян зла и разврата, что сеяла Катарина.

Бледное, удрученное лицо пастора, его глаза, точно уже простившиеся с миром, поникшая фигура — все говорило о такой скорби сердца, которой действительно уже нельзя вынести человеку, от которой должны порваться струны его сердца.

— Лорд Уодсворд, человек, отдавший свою жизнь служению людям и служивший им так, как это делали вы, — не просто обыватель, создавший одну из миллионов уродливых семей. Вы — арфа того Бога, которому служили, любя людей. Не вините себя, что доброта ваша была бичом, что из-за нее вы женились неудачно и, спасая, как вы думали, чистое существо, вы попали в сеть зла. Вы оправдали свою жизнь своею деятельностью. Вы были

слугой чистым Бога в ней. Вы несли свет и оставляете его на земле в лице Алисы. Вы ослабили сеть зла, которую плела и плетет ваша жена. На много лет вы задержали ее темные силы, которые стремились к ней и к которым стремилась она. А что будет после вашей смерти — о том предоставьте позаботиться мне и верьте, что я защищу Алису. Чтобы облегчить бедной девочке борьбу с матерью и сестрой, перевезите ее совсем в мой дом теперь же, при своей жизни. Переезжайте сами сюда, в деревню, со своим слугой, если мое общество вам радостно. Мне же еще многое надо передать вам, раньше чем мы расстанемся.

Флорентиец обнял пастора за плечи и подал ему небольшую зеленую коробочку, на дне которой лежало несколько розовых конфет.

— Скушайте, дорогой друг, одну из этих конфет, она вас воскресит. Не предавайтесь отчаянию. Если вы думаете, что покидаете землю, то ее надо покинуть мужественно и мудро, в мысли о Вечном и с полным сознанием великого счастья: жизни Единого в себе и во всем. Но вот и гонг к завтраку. Я проведу вас ближайшим путем.

Пастору стало лучше. Он уже не имел вида старика, сердце которого сейчас разорвется. На бледных щеках появился легкий румянец, он как будто помолодел и шел легко.

— Если бы были слова — я выразил бы вам, какое облегчение вы подали мне, лорд Бенедикт. Но слов подходящих я не нахожу. Одно могу сказать: я думал, что не смогу удержать в руках лампады мира и предстану перед Отцом с мигающей лампой. Сейчас я знаю, что вы примирили меня с жизнью и я отойду с миром, благословляя и принимая все мои обстоятельства. Как святыню я понесу до конца всю эту жизнь, эту временную мою форму, через которую мне необходимо было пройти, чтобы очиститься и раскрепоститься.

— О, папа, как вы хорошо выглядите. Вы напоминаете мне моего прежнего папу, который мог со мной так долго гулять.

— Да, дитя, прибавь только, что общество лорда Бенедикта делает меня таким счастливым, каким я никогда не был.

Флорентиец просил своих гостей подождать его несколько минут, пока он навестит Наль и узнает, может ли она спуститься к завтраку. Сандра передавал пастору новости о последнем научном американском журнале, пока отсутствовал хозяин, а лорд Мильдрей рассказывал Алисе, как весь Лондон помешался на этот раз на скачках, на которых будут соревноваться какие-то замечательные лошади королевского дома. И все особы королевской семьи собираются присутствовать, почему все билеты в ложи нарасхват.

— Но я все же достал одну из лучших лож. Ни графиня, ни вы, леди Уодсворд, никогда не видели скачек, как мне говорили. Я был бы очень рад, если бы вы их посмотрели. Если лорд Бенедикт согласится, мы могли бы в воскресенье утром выехать в город и после скачек, к обеду быть уже снова здесь.

Флорентиец вернулся вниз один, сказав, что Наль чувствует себя хорошо, но он посоветовал ей еще полежать, а после завтрака пойти всем гулять. За завтраком лорд Мильдрей передал хозяину билет в ложу на скачки, прося его разрешить всему обществу поехать на них в воскресенье. Флорентиец охотно согласился, сказал, что у него будет даже дело в Лондоне в воскресенье утром, а для Наль и Алисы полезно посмотреть еще один род спорта, где истязание лошадей и страсти людей безобразны. Сандра, тоже не видавший скачек, решил, что ему надо обидеться, почему лорд Бенедикт не причисляет его к тем, о чьем воспитании считает нужным заботиться.

— Я только потому тебя, Сандра, не назвал, что боюсь, как бы у тебя во время скачек не выросли еще две пары ног и со свойственным тебе темпераментом ты не понесся бы сам по скаковой дорожке. Поэтому всю дорогу и на самых скачках изволь сидеть пришитым ко мне.

Под общий смех завтрак кончился, и все общество, не дождавшись Наль и Николая, приславших отказ от прогулки, отправилось к пруду. Наль физически чувствовала себя хорошо. Но ее духовное равновесие было так сильно нарушено, что не только видеть кого-либо из друзей, но даже показать свое расстроенное лицо Алисе она не хотела. Как только Николай внес ее наверх и уложил на балконе, дав ей каких-то капель, Наль почувствовала себя довольно скоро хорошо и сказала севшему с ней рядом мужу:

— Удивительное создание женщина. Ехали мы с тобой на пароходе в одинаково плохих условиях — ты уже давно забыл о качке, а в моем организме она все взбудоражила до дна. Только о ней вспомню, как меня начинает так мутить, что становлюсь больной.

— Мне думается, моя дорогая, что здесь вопрос не в качке. А нас с тобой ожидает нечто другое, очень значительное. И твоя тошнота, и твои головокружения — все просходит оттого, что в тебе зародилась новая, наша общая жизнь.

Наль покраснела до корней волос и спросила, опуская глаза:

— Как мог ты догадаться? Я хотела все от всех скрыть и сделать так, чтобы все узнали только тогда, когда родится ребенок.

— Наль, дружочек мой, моя любимая детка. Тебе сейчас предстоит целый ряд испытаний. Как ни готовил тебя дядя

Али к той жизни, которую ты сейчас начала, сколько наш дорогой друг, которого ты сама выбрала в отцы, ни развивает твой дух, переливая в тебя свои доброту и мудрость, укрепляя тебя для новой семьи, — есть еще тысяча дел и вещей, где ты можешь и должна побеждать свои предрассудки только сама. Все мы от них не свободны. И часто, воображая, что выполняем самые священные долги перед жизнью, так себя закрепощаем в этих долгах и обязательствах, что не имеем, в действительности, даже времени поразмыслить в полном внимании, в полной освобожденности о величии и истинной мудрости той минуты, которую сейчас изживаем. Видишь ли, на земле, пока мы на ней живем, мы можем жить только по законам земли и ни по каким другим. И если

сегодня ты поняла, что тебе предстоит стать матерью здесь, на земле, ты уже обязана — обязана и перед грядущей жизнью, и перед дядей Али, и перед отцом Флорентийцем — найти в себе те великие силы любви, в которых утонут вся мелочь, все предрассудки, ведущие только в тупик духа, а не в творчество его. Если действительно ты любишь меня, любишь своих отцов, хочешь служить им и людям, хочешь создать новую, легкую, раскрепощенную семью, то все стесняющие тебя мелкие обстоятельства должны утонуть в твоей любви. Ты легко перейдешь через грань условной стыдливости и поедешь к доктору, чтобы знать о безопасном и правильном начале новой младенческой жизни в тебе. Ты не будешь стесняться своего внешнего вида. Ты будешь исполнять все предписания врача, все требования гигиены, потому что ты забудешь о себе и будешь думать о будущем ребенке, о его здоровье. Ты, любя, победишь все препятствия условностей и создашь ему гармоничное жилище в себе. Будущий ребенок — это не тиран, который завладевает всею твоей жизнью. Не идол, для которого ты отрежешь себя от всего мира и весь мир от себя, чтобы создать замкнутую, тесную ячейку семьи, связанной одними личными интересами: любовью к «своим». Ребенок — это новая связь любви со всем миром, со всей вселенной. Это раскрепощенная любовь матери и отца, где

будет расти не «наш», «свой» ребенок, но душа, данная нам на хранение. И это сокровище мы будем с тобой хранить со всем бескорыстием любви. Со всей честью и благородством, на какие только мы способны, помогая ему развиться и зреть в гармонии. Я знаю, Наль, моя дорогая детка, как много тебе будет сейчас трудного. Я знаю и то, как много сил в тебе, какая бездна преданности

живет в тебе и какая непоколебимая верность, не имеющая даже понятия: «измена», горит в моей дорогой жене.

Николай приник к губам Наль и, казалось, отдал ей все свое сердце в этом поцелуе чистой, глубокой любви.

— О, Николай, как далека я была от действительности, когда рисовала себе на Востоке картины счастья, мечтая, что «вот я — твоя жена», — как это было по-детски. Многое, всосанное мною, разумеется, из гаремных предрассудков, разлетелось, как глиняные кувшины для воды на моей родине, не годные для условий цивилизации того народа, где мы сейчас живем. Но вместе с кувшинами полетели и многие мои боги, которым я всерьез поклонялась. Теперь я увидела и в них тоже только глиняных идолов. И ты угадал — я представляла себе ребенка идолом семьи, тесной ячейкой, где только «свои» могут быть любимы, чтимы и допустимы. Жизнь последнего времени, где Алиса, пастор, Сандра и лорд Мильдрей так легко проникли в мое сердце — а так недавно там жили только очень «свои», — мне уже показала, как, не нарушая верности дяде Али и тебе, можно чужих сделать своими и признать их членами своей семьи.

Наль забралась на колени к своему мужу, обвила его шею руками и по-детски продолжала:

— Самое для меня трудное — это, конечно, доктор. Чего бы я только не дала, чтобы не иметь с ним дела.

— Вот для того чтобы многим женщинам облегчить в будущем их моменты материнства, сама ты и будешь доктором. Ты сейчас уже так подготовлена мною, что я надеюсь на прием тебя сразу на второй курс медицинского факультета, но это мы с тобой еще сверим по программе. Это наиболее легкая сторона дела, так как твоя память и способности помогают тебе преодолевать легко все препятствия в науке. Сейчас же нам с тобой — в смысле духовного роста и совершенствования — нельзя терять ни мгновения в пустоте. Посмотри на этот дивный вид, что расстилается перед нами. Отец, видавший весь мир, говорит, что это один из лучших видов в мире. Как счастлив тот человек, что приходит в мир через тебя, дорогая. Твои глаза могут видеть величайшую красоту земли в первые моменты его жизни. Твое сердце ощущает гармонию природы и гармонию такого великого человека, как отец Флорентиец. Неужели ты не ощущаешь себя сейчас единицей всей вселенной? Разве можешь ты отъединить себя от меня? От этих кедров и кленов? От солнца и блестящего озера? О, Наль, жизнь и смерть — все едино. Наша жизнь сейчас — только мгновенная форма вечной жизни. И все, что мы знаем твердо, неизменно — это то, что мы — хранители жизни. Ты станешь матерью. Ты передашь наши две жизни новой форме, которую будешь хранить до тех пор, пока жизнь не пошлет ей зова к тому или другому роду самостоятельного труда и творчества. Мы должны создать новым, через нас приходящим, единицам вселенной такие условия раскрепощения существования в семье, чтобы ничто не давило на них, не всасывалось в них ядом от наших предрассудков и страстей.

— Меня страшила бы ответственность, Николай, если бы я не была рядом с тобой и не строила бы семьи под твоим руководством. Знаешь ли, однажды пастор поразил меня своей прозорливостью о тебе. В тот день, когда отец впустил меня и его в свою тайную

комнату, пастор сказал: «Ваш муж не вынес бы ни мгновения вашей неверности». И я поняла, что связана с тобой до смерти, что между нами не может встать не только образ какого-либо человека, но даже мысль измены. А теперь я стала понимать, что наша семья необходима и дяде Али и отцу Флорентийцу, чтобы жизнь преданных им учеников и радостных слуг не прерывалась.

Помолчав, Наль тихо прибавила:

— Пастор и Алиса тревожат меня. Пастор так слаб, а Алиса этого не видит.

— Нет, Наль, Алиса не только видит, но и часто плачет об отце. Но это ангельское создание улыбается всем, забывая о себе. Она боится потревожить кого-либо своим расстроенным видом и скрывает горе, отлично понимая предстоящую ей жизнь и вечную разлуку с отцом, как она пока называет смерть.

— Но ведь это трагедия, Николай. Во мне идет новая жизнь на землю, а он, венчавший нас, уходит с земли. Неужели нельзя ему побыть с нами? Пожить в радости, отдохнуть?

— Нам еще не понять до конца путей человеческих, Наль. Но пока человек может идти к совершенствованию — он живет. Он борется, терпит поражения, разочаровывается, но не теряет мужества, не теряет цельности в своих исканиях и вере, живет и побеждает. Его сердце все растет, его сознание ширится. Он еще может нести в день свое творчество. Еще может отдавать просто свою доброту — и поэтому живет.

Бывает так, что человек десятки лет ведет жизнь, бесполезную вовне. Живет эгоистом и обывателем. Становится никому не нужным стариком — и все живет. Жизнь, великая и мудрая, видит в нем еще какую-то возможность духовного пробуждения. И Она ждет. Она дает человеку сотни испытаний, чтобы он мог духовно возродиться. И наоборот, бывают люди, так щедро излившие в своих простых, серых днях доброту и творчество своего сердца, что вся мощь их сердца разрослась в огромный свет. И их прежняя физическая форма уже не может нести в себе этого нового света. Она рушится и сгорает под вихрем тех новых вибраций мудрости, куда проникло их сознание. И такие люди уходят с земли, чтобы вернуться на нее еще более радостными, чистыми и высокими. Ты найди в своем обаянии и такую нежность любви, и такую дружбу, чтобы утешить Алису не состраданием-слезами, а состраданием мужества и силы. Обними ее и старайся видеть дядю Али перед собой, чтобы его сила через тебя поддерживала Алису в спокойном подчинении воле жизни.

И всегда сознавай, что все месяцы твоего материнства, а потом, вероятно, и годы нашей общей жизни в семье — это счастье служить человечеству. Счастье трудиться для него, не выбирая, что себе полегче и приятнее, а трудиться так и там, как нам укажут дядя Али и отец Флорентиец. День, проводимый в сотрудничестве с ними, — о каком еще высшем счастье можно мечтать? Нет разлуки, Наль, с дядей Али для тебя. Что бы ты ни делала, куда бы ты ни шла, все мысленно держи его руку.

Оба друга, муж и жена, не замечали времени. Они умолкли и наблюдали начинавшийся закат солнца, возвращавшиеся издали стада, двигавшиеся повозки и появляющиеся дымки над крышами. Видя, как постепенно оживала вся долина, они чувствовали себя слитыми с этой жизнью, со всей природой. Сердца их бились ровно и спокойно, неся в себе, каждое по-своему, свою особую звучащую ноту общей жизни.

Внизу послышались голоса, и вскоре на лестнице, ведущей к ним, супруги услышали легкие шаги Флорентийца и Алисы. Наль еще раз поцеловала мужа, пошла к двери и распахнула ее раньше, чем согнутый пальчик Алисы успел ее коснуться. Вытянутая рука

девушка по инерции коснулась Наль, что заставило их обеих и Флорентийца весело рассмеяться.

— Наль, я так соскучилась без тебя.

— И не вздумай верить этой ветренице, дочь моя. Теперь поет жаворонком, а можешь ли себе представить эту козочку, бегающую взапуски с Сандрой? Я чуть не умер от смеха, когда лорд Мильдрей, осанистый и величественный, тоже пустился было помогать ей обогнать Сандру.

Лорд Бенедикт сделал какое-то движение всей фигурой, приподнял ногу, чуть-чуть повел плечом и головой — и все покатились со смеху, узнав мгновенно милого, доброго лорда Мильдрея.

— Ну, я вижу, доченька, что ты смеешься громче всех. Значит, здорова, а потому одевайся и сходи к обеду. Алиса уже предъявила мне счет за исполнение хозяйских обязанностей за завтраком. Если это повторится за обедом — я, пожалуй, стану банкротом.

— Что только вы можете сказать, лорд Бенедикт, — всплеснула руками Алиса.

— Вот видишь, Наль, второй раз она говорит мне сегодня эту фразу. Ну, давай мириться, Алиса. — И Флорентиец, подойдя к девушке, снял с нее шляпку, поправил кудри и сказал: — Ну разве она не красотка, наша Алиса?

— Конечно, отец, не только красотка, но настоящая чудо-красавица. И если вы будете ее обижать...

— То, пожалуй, ее поклонники меня обидят. Очень рад, дети мои, что у обеих вас такие мирные и благородные поклонники, что не собираются обижать меня. Могу вам сообщить радостные новости о Левушке. После страшнейшей бури на Черном море, в которой твой брат не осрамил тебя, Николай, а стяжал себе репутацию храбреца, он познакомился в Б. с сэром Уоми и там узнал, что ты писатель. Сэр Уоми подарил ему обе твои книги и просит теперь выслать ему их отсюда. Я надеюсь, ты исполнишь это сам.

— Кто это — сэр Уоми, лорд Бенедикт? — спросила Алиса.

— Это, козочка, один мой друг, большой мудрец, у которого глаза почти такого же цвета, как твои. Но пойдем отсюда, тебе и мне пора приводить себя в порядок, а Наль, я думаю, уже не терпится, хочет пройтись до обеда.

Флорентиец спустился к себе, а Алиса зашла в комнату отца, который показался ей вновь усталым, когда они возвращались с прогулки. Пастор сидел на балконе в глубоком кресле. Лицо его действительно было усталым, но выражение безмятежного покоя и радостности — такое редкое за последнее время — отражалось в его больших, добрых глазах.

— Как я счастлив, дочурка, что ты зашла ко мне. В этих покоях, в этом просторе и тишине, к которым мы с тобой так не привыкли, ты мне кажешься совсем другой. Я только здесь и в доме лорда Бенедикта в Лондоне сумел и продумать и оценить, чем ты была для меня всю мою жизнь и в каком я долгу перед тобой.

Алиса села на скамеечку у ног отца, прижалась к нему и взяла обе его руки в свои.

— И вот, дорогая, скоро опустится занавес пятого акта моей жизни. Многое, многое сделано в этой жизни не так, как я того хотел. Еще больше совсем не выполнено. И перед тобой у меня вина в том, что я не сумел дать тебе счастья и беззаботного детства. Я не смог отстоять твоей самостоятельности и теперь ухожу, оставляя тебя чужой в родной

семье. И ты без законченного общего образования, без законченного и музыкального образования. Алиса, Алиса, ты будешь права, если назовешь меня нерадивым отцом.

— Папа, зачем вы говорите против всякой очевидности? Вы знаете, что были лучшим отцом, о каком можно мечтать. Лично мне вы украсили жизнь и показали своим примером, что такое божественная часть в людях. Для Дженни вы тоже были лучшим отцом, какого она могла иметь. А если Дженни, развиваясь, пленялась только внешним блеском жизни и отбрасывала все ее духовные ценности, на которые вы ей указывали, — в этом нет вашей вины. Вы ясно указывали нам, не словами и проповедями, но вашей жизнью каждый день, что у человека два пути, что пути духа и тела неразделимы. А если Дженни хотела только блестящего быта и отбрасывала все духовное как ненужное и бесплатное приложение к нему — в этом нет вашей вины. Зачем нам говорить о том, что будет, когда опустится занавес вашей земной жизни? Сейчас он поднят, папа. Мы живем. Живем в обществе человека, знакомство с которым сделало нашу жизнь сказкой.

— И этот человек послал тебя, дитя, одеваться, стоял под дверью, трижды стучал и ожидал разрешения войти, — услышали отец и дочь чудесный голос лорда Бенедикта, стоявшего подле них на пороге балкона.

Алиса, смущенная, вскочила на ноги, а пастор хотел встать, чтобы пододвинуть стул своему хозяину, но Флорентиец удержал его в кресле, взял стул и, садясь возле него, продолжал:

— Вот вам еще конфета, лорд Уодсворд. Как вы себя чувствуете? Если вы себя хорошо чувствовали после первой моей конфеты, то так же будете себя чувствовать и после второй, думаю, даже лучше. Но, леди Уодсворд, вас я не хвалю. Вы, очевидно, большая кокетка и желаете сохранить этот туалет к обеду. Вот уже и гонг. Все же попросите Дорию хотя бы причесать вас.

Алиса убежала к себе, а лорд Бенедикт и пастор медленно сошли вниз на террасу, куда вскоре собралось все общество, перед тем как войти в столовую. Весело и оживленно проходил обед. Вызвал большой спор вопрос скачек. Наль и Алисе, не испытывавшим никакого любопытства к выставке нарядов высшего общества и к самому этому обществу и опасавшимся, что бедных лошадей будут бить, ехать не особенно хотелось. Пастор говорил, что предпочел бы почитать в тишине. Сандра пылал желанием ехать. Мильдрей и Николай молчали. Хозяин не соглашался разбить общество и предложил ехать всем вместе.

— Вам, девочки, необходимо побывать на скачках. Вам надо понять тот народ, среди которого вы живете. А чтобы понять народ — мало видеть дворцы и музеи народа и понимать его язык. Надо еще наблюдать нравы и обычаи, проникнуться темпераментом народа. Скаковой спорт — это не условная выдумка одного класса английского народа. Это одно из проявлений темперамента всего этого народа. И вы, друзья, будете наблюдать не только великосветские ложи, но и огромное море простого народа на трибунах. И как в ложах, так и на трибунах вы увидите кольца пылающих страстей, в которые заковали себя сами люди, думая, что они представляют из себя высшую цивилизацию всего культурного мира. Кроме того, лично вам, лорд Уодсворд, и Алисе на скачках предстоит прочесть еще один урок жизни. Вы поймете, что зло тащит за собой человека не потому, что окружает его извне, а только потому, что внутри сердца человека уже готов бурлящий кратер, куда зло только выливает свое масло, подбавляя силы его злобным страстям.

Сердце доброго — кратер любви, и маслом ему служит радость. Оно свободно от зависти, и потому день доброго легок. Тяжело раздраженному. Потому что кипение страстей в его сердце не дает ему отдыха. Он всегда в раздражении, всегда открыт к его сердцу путь

всему злому. Такой человек не знает легкости. Не знает своей независимости от внешних обстоятельств. Они его давят во всем и становятся постепенно его господином. Поедемте все вместе. Дамам нашим милая и умная Дория соорудит по туалетной части все, что для скачек надо. Мы ее отправим завтра в Лондон, а утром в воскресенье к десяти с половиной часам поедем туда сами. Но я слышу, подъехал экипаж. Это, несомненно, мои юристы. Алиса, поиграй для всей молодой компании, а мы с твоим отцом должны поработать часа два с несносными, но неизбежными законниками.

Молодежь отправилась в зал, откуда вскоре понеслись звуки музыки, а Флорентиец с пастором пошли в кабинет, где и занялись делами.

Выполнив с юристами очень быстро все свои личные дела, лорд Бенедикт предложил пастору составить завещание. Лорд Уодсворд подтвердил в новом завещании волю деда, оставившего дом и драгоценности Алисе, а деньги Дженни. Жене пастор оставлял проценты от неприкосновенного капитала, который после ее смерти переходил пополам к обеим дочерям. Алисе, как несовершеннолетней, отец

назначал опекуном лорда Бенедикта. Затем в завещании было сказано, что Алиса до дня своего совершеннолетия должна жить в доме лорда-опекуна и если бы последний уехал куда-либо из Лондона, Алиса должна следовать за ним. Своим домом, как и драгоценностями, после совершеннолетия она вольна распорядиться как желает. До совершеннолетия все ее состояние должно находиться в руках опекуна, лорда Бенедикта, и ни мать, ни старшая сестра не имеют никаких прав ни на самое Алису, ни на ее состояние. Особый пункт завещания гласил, что часть капитала, лежащая в определенном банке, принадлежит сестре пастора Цецилии Оберсвоуд, ушедшей из дома деда в юности под этим именем и точно канувшей в воду. Всю жизнь пастор ее разыскивал. Если спустя девять лет после его смерти ни-

кто — ни она, ни ее наследник — не явится на вызов, капитал поступает на благотворительные дела по усмотрению лорда Бенедикта. Но до этого момента проценты с капитала, составляющие сами по себе крупную сумму, идут его жене, леди Катарине Уодсворд.

Свое завещание, подписанное также свидетелями и лордом Бенедиктом, пастор просил юристов хранить в полной тайне до его смерти. А затем отвезти завещание к его жене и старшей дочери на третий день после смерти пастора. Отвезти должен юрист лично на квартиру пастора, где и вскрыть в присутствии жены и Дженни. Алиса же узнает волю отца раньше, из письма, которое сам пастор ей оставит.

Окончив все дела и проводив деловых гостей, оба друга присоединились к молодому обществу, где музыку сменил научный спор между Сандрой и Николаем. Всегда кипевший индус кипел на этот раз особенно восторженно, так как Николай доказал ему две его ошибки, и умный юноша был несказанно рад, что еще не обнародовал своего труда и мог внести в него поправки.

Пастор был особенно добр и нежен с Наль, которая тоже льнула к нему, точно желая воздать ему вдвое лаской и любовью за каждую проживаемую им минуту. Алиса, все подмечавшая, заметила и особенное внимание Наль к ее отцу, и что-то еще новое в самом отце. Точно он снял с себя какую-то заботу и ему стало свободнее и легче жить. Но какую именно заботу сбросил с себя отец, она угадать не могла.

Как сон пролетели ближайшие дни для всех, и, когда в субботу вечером Флорентиец предупредил, что завтра надо рано встать, чтобы поспеть к скачкам, у всех вырвались возгласы удивления и разочарования. Всем казалось, что воскресенье подкралось

слишком быстро. Тем не менее в восемь с половиной утра все сидели в экипажах, чтобы двинуться на станцию к лондонскому поезду.

Глава 5

Скачки

По дороге в Лондон лорд Бенедикт просил всех своих друзей отнестись серьезно к предстоящим скачкам и ехать на них не как на развлечение или выставку, где ищут развлечений. Каждому он напомнил о собранности внимания, о том, что всегда надо быть готовым внести с собой наибольшее благородство в те встречи, какие могут произойти, раз человек идет в толпу.

У Алисы, знавшей страсть к скачкам своей матери и сестры, все время мелькали мысли о них, о их лени и неспособности приготовить себе, без ее помощи, элегантные туалеты. Сердце девушки не помнило об обидах, о всех тех скачках, на которые ее никогда не брали под предлогом, что она дурнушка, но перед которыми она целые недели мало спала, приготовляя им туалеты. Дженни или леди Катарина никогда не брали в руки иглы, чтобы помочь девушке, но неудовольствия их не имели границ, если возмущенный пастор приказывал Алисе бросить работу и выйти в сад отдохнуть. Сцена за сценой мелькали в памяти Алисы. И внезапно, каким-то новым озарением, она поняла, что у нее никогда не было родной семьи, что у нее был отец, вместе с которым она жила с чужими ей и ему, временными спутниками, холодными к ним обоим.

— Если бы я и не наблюдал за тобой так пристально, дочурка, — сказал ей пастор, становясь рядом с ней у окна, — то все равно прочел бы на твоем лице все, о чем ты думаешь. Ведь ты думаешь, как мать и Дженни устроятся со скачками без тебя. Ну, а как вообще ты представляешь себе их состояние в дальнейшей жизни? Можешь ли ты одна вывезти воз с непосильной поклажей двух человеческих жизней в мир? Осознай глубже, Алиса, величайшую мудрость жизни: каждый может прожить только свою собственную жизнь. И сколько бы ты ни любила людей — ни мгновения их жизни ты не проживешь. Не набирай на свои плечи долгов и обязанностей, которых на тебя никто не взваливал. Иди радостно. Просыпаясь утром, благословляй свой новый расцветающий день и обещай себе принять *до конца* все, что в нем к тебе придет. Творчество сердца человека — в его

простом дне. Оно в том и заключается, чтобы принять в дне все обстоятельства как неизбежные, единственно свои, и их очистить любовью, милосердием, пощадой. Но это не значит согнуть спину и позволить злу кататься на тебе. Это значит и бороться, и учиться владеть собой, и падать, и снова вставать, и овладевать препятствиями, и побеждать их. Быть может, внешне не всегда удается их побеждать. Но внутренне их надо всегда победить любя. Старайся переносить свои отношения с людьми из мусора мелкого и условного в огонь Вечного. Ищи всюду Бога и законов Его.

Ломай вырастающие перегородки условного между собой и людьми. И ищи в наибольшем такте всех возможностей войти своим сознанием в положение того, с кем общаешься. И ты всегда найдешь, как тебе разбить препятствия предрассудков, нелепо встающих между людьми, открыть все лучшее в себе и пройти в храм сердца другого. В себе найди цветок любви и брось его под ноги тому, с кем говоришь. И только в редких случаях встречи с абсолютно злыми людьми останутся без победы твоей любви. Таково мое тебе духовное завещание, Алиса. Но если увидишь потемневшее сознание — страшно сказать, как Дженни и мать, — иди мимо. Благословляй и прощай, но никогда не прикасайся к ним. Не старайся обратить их на путь истины. Это невозможно. Всю жизнь я стремился это сделать — и только отяжелил жизнь твою и свою, не принеся им пользы.

В тот день, что меня не станет, ты не вернешься больше домой. Ты останешься у лорда Бенедикта, где и есть твоя истинная семья. И это тоже прими как мою предсмертную волю.

— О, папа, папа. Каждое ваше желание было, есть и будет мне законом. Но для чего говорить снова о смерти? Вы так поправились за эти дни. Лорд Бенедикт говорил мне, что вы проживете в его деревне еще два месяца, вместе со всеми нами. Представляете ли вы себе это счастье? Мы с вами будем гулять, кататься, читать, и никто не выразит нам своего неудовольствия за наше безделье. И если уж сейчас, за три дня, вы так поправились, что же будет через два месяца?

Лицо Алисы, полное любви, загорелось румянцем. Глаза ее сверкали энергией, вся она светилась радостью и была так прекрасна, что пастор ласково шепнул ей:

— Я никогда не отдавал себе отчета, что ты так прекрасна, моя дорогая детка. Боюсь, что надежды твои не оправдаются на мое выздоровление, моя любимая. Как бы вместо прогулок и удовольствий я не причинил тебе забот и горя. И вместо отдыха как бы не сделаться тебе сиделкой возле отходящего отца.

— Тогда я выполню, отец, вашу волю: приму в твердости и спокойствии все то, что жизнь мне пошлет. Но я прошу вас, не терзайте своего сердца мыслями о прошлом или будущем. Я так счастлива, что сейчас вы со мною, вы здоровы, бодры, вид ваш прекрасен. Быть может, вы угадали мое беспокойство о Дженни и маме в связи со скачками. Но ваши слова сняли с меня огромную тяжесть. Мне стало легко. Будь что будет — Божья воля свершится, не разбив мне сердца, если нам придется расстаться. Я даю вам в этом слово. Не думайте обо мне и, если так суждено, уходите легко, не печалясь обо мне.

Поезд подошел к перрону вокзала, Флорентиец подал руку Алисе, как-то особенно внимательно поглядел на нее и сказал:

— Ты поедешь со мною, дружочек. Я хочу с тобой поговорить. О папе не беспокойся. Наль и Николай довезут его очень бережно.

Как только Флорентиец и Алиса сели в экипаж, он взял ее руки в свои и, нежно их пожимая, сказал притихшей девушке:

— У каждого, Алиса, своя Голгофа. Мы уже говорили с тобой об этом. Теперь настал твой момент собрать все свои силы и выразить активным действием, в простых днях, твою верность любви. Отец сказал тебе свою волю, он бросил тебе мысль о своей смерти. Я подтверждаю: смерть его близка, ближе, чем ты предполагаешь. Собери всю силу верности и любви и проводи отца в далекий путь в полном мире. Ты — единственное, что он создал в своей жизни истинно прекрасное. Одна ты вошла в мир той действенной силой, которая будет продолжать его вековой труд на общее благо людей. Сейчас ты своим спокойствием и самообладанием можешь вознаградить отца за всю жизнь страданий и борьбы. Видя тебя существом полного самообладания и мира, он уйдет в спокойствии, поняв, что прожил жизнь не впустую. Это одна сторона дела, где ты и отец можете слиться в гармонии и где твоя роль священна. Проводить человека, осветив его последние дни радостью, а не слезами уныния — это установить с ним новую связь для дальнейшей вековой жизни. Вторая часть твоей Голгофы труднее. Но здесь тебе я помощник. Возьми мою руку, обопрись на нее и не разлучайся со мною ни в мыслях, ни в делах. Ты не возвратишься больше к себе домой. Связь твоя с сестрой и матерью — внешне еще существенная — окончится в духе твоем сегодня. По завещанию отца, ты не покинешь моего дома до совершеннолетия. Но мать и сестра будут делать все, чтобы заставить тебя покинуть мой дом. Сегодня ты увидишь их на скачках. Увидишь и удивишься их униженному в сравнении с тобой положению. Тебя даже не интересует, ни где ты будешь сидеть, ни во что ты будешь одета. Они же обе изныли от раздражения, что их туалеты не умопомрачительны, хотя залезли в долги, из которых не будут знать, как выбраться. Они увидят тебя и отца твоего с нами раньше, чем ты увидишь их. И сердца их наполнятся злой завистью и местью, из которых ни ты, ни я, ни все мы вместе взятые их вытащить не сможем. Есть ли в сердце твоем сомнение в том пути, что тебе указываем твой отец и я?

— Нет, лорд Бенедикт. Сомнение и не подходило ко мне. Единственно, в чем я могу себя винить, это мое упоение новым счастьем подле вас, в котором я живу. И я не просила вас о Дженни, не молила вас помочь ей.

— И здесь ты можешь успокоиться. Дженни сама позаботилась о себе на свой лад, но с просьбой она обратилась не ко мне, а к Николаю. Тебе и не сообразить всех сложных махинаций этой души. Но, помнишь, я говорил тебе, что у человека, признавшего кого-то своим руководителем, должно быть полное, добровольное подчинение требованиям Учителя в некоторых вопросах, которые не понятны самому руководимому в данный момент, о которых ученик не может знать столько, сколько знает Учитель. Если ты хочешь идти за мной, стать членом моей семьи, как Наль и Николай, вот тебе мое назидание на сегодня и далее: не принимай ни писем, ни посылок от сестры и матери. Ни на одно свидание с ними не ходи. Ты можешь передавать мне все свои желания и мысли, как бы тебе хотелось помочь им. Но можешь и не сомневаться, что все — и гораздо больше, чем ты предполагаешь, — будет сделано им в помощь. К несчастью, можно вытащить утопающего из воды, но нельзя вытянуть человека из сетей зла, потому что он сам их себе кует. Но вот мы и приехали. Проглоти эту розовую пилюлю, и, я уверен, у тебя хватит сил на все.

Было без пяти минут одиннадцать, когда все обитатели дома лорда Бенедикта кончили завтракать и разошлись по своим комнатам, чтобы отдохнуть и одеться к скачкам. Хозяин дома вошел в свой кабинет и принялся разбирать скопившуюся почту. Несмотря на огромное количество писем, требовавших ответа, Флорентиец сам вел всю свою корреспонденцию и все дела, обходясь без секретаря. За последнее время он стал привлекать к своей работе Наль, Николая и Алису. Больше других работал с ним Николай, что вызывало шутливые упреки обеих женщин Флорентийцу за то, что он создал себе любимчика.

В это утро на лице Флорентийца несколько раз мелькало сосредоточенное выражение. Он как бы звал кого-то издалека или посылал куда-то свои мысли. Затем снова работал дальше.

Алиса и Наль отправились к Дории узнать о своих туалетах. У каждой из них на сердце лежала мысль о пасторе, но ни словом обе не обмолвились о своей печали. Дория на этот раз удивила обеих своих госпож-подруг. Для Наль она приготовила платье апельсинного цвета с накидкой из белых кружев и с прелестной белой шляпой. Для Алисы — платье цвета подснежника, с черной шелковой пелериной и черной кружевной шляпой. Когда Николай в легком сером костюме свел вниз своих элегантных дам, то общий восторг и одобрение рассмешили их.

— Ну вот, — сказала Наль, действительно поражавшая сочетанием нежной кожи, зеленых глаз и темных волос с апельсинным платьем и белым тончайшим кружевом, — сегодня мы с Алисой ждали осуждения своим туалетам. Алиса уверяла, что мы слишком ярки и что все вы сочтете нас за прилетевших какаду. А вы вдруг в восторге от нас. Будьте же справедливы и поднесите цветов и конфет нашей милой, самоотверженной Дории. Мы с сестренкой Алисой палец о палец не ударили, все сделано одной Дорией.

— И за всю свою самоотверженность, — вмешалась Алиса, — это чудное создание, нарядившее нас, как принцесс, остается дома убирать весь беспорядок, тоже не видав никогда скачек. Как все в этой жизни шатко, как все ничего не стоит, если не иметь в себе иного счастья и иной ценности. Мне бы так хотелось иметь Дорию сестрой и сидеть с нею рядом на скачках, лорд Бенедикт. Как могло случиться, что Дория, с ее воспитанностью, образованием, вкусом и красотой, — наша слуга по положению.

— Об этом ты однажды узнаешь от нее самой, быть может. А теперь пора в экипажи. Николай с женой. Ты, Алиса, и Сандра со мною. А лорд Мильдрей и наш дорогой пастор поедут вместе в карете.

Сандра, тоже очень элегантный и старавшийся до этой минуты держаться солидно, тут не преминул выкинуть от удовольствия одно из своих антраша, чем заставил смеяться даже солидных слуг лорда Бенедикта. Усевшись в экипажи, как приказал Флорентиец, все общество покатило на скачки.

Задолго до этой минуты Дженни, не спавшая почти всю ночь, никак не могла решить вопрос, пойдет ли она к лорду или нет. То ей казалось бессмысленным идти, потому что ничего нового, кроме ходульных наставлений, она от лорда не получит. То ей хотелось покорить этого человека и заставить его служить себе в гораздо большей степени, чем он это делал для Алисы. Мелькали мысли, что он не женат и какая бы это была победа для нее — вдруг стать его женой и иметь в подчинении его и весь его дом, не только Наль и Алису. Но как только она вспоминала его взгляд, под тяжестью которого она выходила из его кабинета, чуть не приседая к земле, — фантазии ее разлетались прахом, ей становилось страшно встретить этот взгляд, который сразу прочтет ее насквозь. Снова Дженни думала об Алисе и ее жизни. Быть труженицей, вроде сестры, сидеть за роялем или книгами часами — Дженни приходила в ужас от перспективы всякого регулярного труда. Она окончательно решила не ходить к лорду Бенедикту. Раздражение, вызванное завистью к сестре, поднималось теперь в Дженни все с большей силой. В душе ее уже не было раскаяния и сожалений об обидах, нанесенных ею сестре с самого детства. Так ей, дуре, и надо — юродивые папенька с сестрицей, — думала Дженни. Она не сомневалась, что дура сейчас сидит в деревне и шьет Наль туалеты. Горькое чувство в ее сердце относилось не к положению сестры, приживалки юной графини, как она полагала. А к тому, что у нее отняли способную швею и усердную горничную. Дженни подошла к

зеркалу и осталась недовольна своим видом. Кожа была сегодня какая-то сухая, на лице следы утомления, глаза менее блестящи и даже губы не так ярки.

Она открыла окно и посмотрела при свете дня на свой туалет, присланный вчера портнихой. Он показался ей слишком ярким, даже кричащим. Ярко фиолетовый костюм с серебряным кружевом у ворота и такая же шляпа. Когда луч солнца упал на материю, глазам было больно смотреть. Портниха предлагала ей совсем иное сочетание красок, уверяя, что сама Дженни так ярка, что нужна только элегантная рамка ее красоте. Но Дженни, боясь затеряться в костюме топ с фиолетовой отделкой, не уступила уговорам портнихи. Теперь она раскаивалась, но было поздно. Пасторша тоже не приняла советов портнихи одеться в черный костюм, а пожелала платье зеленого цвета. И сколько ее ни уговаривала Дженни, она заказала себе ярко-зеленое платье и даже шляпу не пожелала черную, а тоже зеленую. Ко всему отчаянию Дженни, когда она увидела мать в полном туалете, та еще надела ожерелье, подаренное ей на свадьбе Наль. Только категорическое заявление Дженни, что она сейчас же разденется и останется дома, заставило пасторшу снять бриллианты и закрыть жирную белую шею.

— Неужели, мама, вы столько лет ездили на скачки и не заметили, что там никто ожерелий не носит и шеи не открывает?

Плотная фигура пасторши производила впечатление еле втиснутой в облегающий зеленый футляр. Когда-то красивые формы давно утеряли свою упругость и прелесть, но владелица их, привыкшая слыть красивой женщиной, все еще считала себя таковой, в чем ее убеждали ее легкие и мимолетные победы. Дженни боялась, что их две чересчур яркие фигуры, никак не сливавшиеся по краскам и вредившие одна другой, вызывающий вид леди Катарины и головы обеих в рыжих волосах могут привлечь малоприятное внимание толпы, особенно потому, что сидеть они будут не в ложе, а на трибунах, и довольно высоко. Теперь Дженни понимала, что обе они плохо, вульгарно и несоответственно своим местам одеты. Но, еще раз, было поздно. Друзья ее матери уже подъехали в коляске за ними. Дженни с тоской посмотрела на жалкий наемный экипаж, в который были впряжены две клячи. Мысленно она представила себе элегантную коляску, ежедневно приезжавшую за Алисой. И еще раз она вспомнила, что Алиса и пастор в деревне, и на этот раз подумала об этом с облегчением.

Экипаж двинулся, и пасторша казалась самой себе очаровательнее дочери, хотя она ее горячо, до обожания любила. Но сейчас Дженни казалась ей хмурой и неинтересной, как и все последние дни. Мать с дочерью, с самого того вечера, когда ни Алиса, ни пастор не вернулись домой, ни словом не обмолвились о них. Но каждая знала, что мысль об Алисе гвоздем сидит в сердце и голове другой. Щебеча пташечкой, пасторша считала, что украшает собой путь к скачкам, а Дженни сгорала со стыда и досады за бестактность и бестолковость матери. Она была рада, когда въехали наконец на территорию скачек. Попав в длинную вереницу экипажей, подкатили к зданию. Трибуны и ложи имели разные подъезды, и Дженни почувствовала большой укол в сердце, очутившись сразу разделенной от высшего света, занимавшего ложи. На этот раз судьба была милостива к Дженни: она не видела, как ее сестра и отец входили в подъезд лож, раскланиваясь с тем изысканным обществом, в которое ввел их Флорентиец. Дженни, сделав над собой усилие, постаралась улыбнуться своему кавалеру, предложившему ей руку. Она сразу же убедилась, что опасения ее были верны: несмотря на многотысячную толпу и яркость летних туалетов вообще, их рыжие головы и кричащий цвет платьев вызывали фривольные замечания в публике, среди которой они проходили.

Отыскав с трудом свои места в восьмом ряду, Дженни и пасторша стали рассматривать публику. Их кавалеры обратили их внимание на то, что места их приходились почти напротив королевской ложи. Высший свет еще не спешил занимать свои места, и только в

некоторых ложах виднелись фигуры, очевидно, самых заинтересованных в скачках спортсменов.

Кавалер Дженни, которого она едва знала, оказался человеком очень сведущим по части лошадей. Он объяснил ей, какими из скакунов интересовался его величество король и которые из лошадей вызывали наибольшие споры и надежды. Сам он не играл, но предлагал Дженни поставить на какую-либо лошадь, уверяя, что ей сегодня повезет. Дженни категорически отказалась, но пасторшу удержать было невозможно. Она последовала совету своего кавалера и сделала ставку на нескольких лошадей.

Наконец ложи стали наполняться публикой высшего света. Только еще три из них пустовали. Королевская и ложи по обеим сторонам от нее еще не открывали своих дверей. Но вот раздался гул в толпе, какое-то возбуждение пробежало по ней, все передавали друг другу, что король приехал. Двери королевской ложи и одновременно двери соседних с ней лож распахнулись — и все взоры устремились на королевскую чету, приветствуемую бурной овацией толпы.

Раскланявшись с публикой, король подал знак к началу скачек. Дженни и пасторша, рассмотрев туалеты королевы и ее дам, еще раз поняли, как были правильны советы портнихи. Даже среди сидящей пестрой толпы их туалеты были кричащи. Переводя свой бинокль по ложам, Дженни вдруг слегка вскрикнула, побледнела и опустила свой бинокль.

— Что с тобой, Дженни? — с беспокойством спросила пасторша.

— Я уколола палец о свою брошь, — небрежно ответила Дженни, — но теперь уже все прошло.

Скачки шли своим чередом, но Дженни ничего не слышала и не видела, кроме одной ложи. Она даже не замечала, что ее кавалер пристально наблюдает за ней. По ее взорам он понял, которая из лож занимала Дженни. Он тоже направил свой бинокль на ложу, соседнюю с королевской, от которой не могла отвести взгляда Дженни. Рассмотрев в ней двух изысканно одетых, необычайно красивых женщин, мистер Тендль, как звали кавалера Дженни, увидел за ними мощную и величественную фигуру прекрасного лорда Бенедикта, о котором столько говорил Лондон в этом сезоне. Рядом с лордом он увидел своего приятеля Сандру, чему немало удивился. Ему казалось, что Сандра много болтает о своем знакомстве с лордом, а вот оно оказалось истиной. Дальше в ложе Тендль увидел Николая и пастора, о котором он ничего не знал и лорда Мильдрея, которого видел много раз с Сандрой и знал как его большого друга.

— Кто именно занимает ваше внимание в ложе лорда Бенедикта? Знаете вы Сандру, мисс Уодсворд? — спросил он свою даму, выказывавшую все признаки большого расстройства.

Дорого бы дала Дженни, чтобы вернуть себе самообладание и не выдать разрывавшей ей сердце тайны посторонним людям. Мысль, что мать увидит Алису и пастора и со свойственной ей бестактностью и невоспитанностью начнет сейчас же выкладывать всю подноготную, была для Дженни невыносима. И раздражение ее усиливалось от сознания, что она сама привлекла внимание соседа к ложе лорда Бенедикта. В эту минуту ей даже показалось, что взгляд лорда упал на нее. Но от этого ощущения на себе его взгляда, к ее удивлению, ей не стало тяжелее. Напротив, что-то чистое, как прохладная струя воздуха, вдруг ее освежило. Пасторша, услышавшая произнесенное мистером Тендлем имя Сандры, спросила:

— Разве Сандра здесь? Вы его видите, мистер Тендль?

— Да нет, мама, мистер Тендль просто рассказывает мне о Сандре, — выразительно глядя на Тендля, ответила Дженни.

В это время, как назло, индус встал с места и, перегнувшись вперед, подал Алисе коробку конфет. В его внешности, всегда выделявшейся среди северян, сейчас, в светлом костюме, было особенно много экзотического. В сочетании с двумя женскими фигурами, уже давно начавшими привлекать общее внимание, на Сандру направились сотни биноклей, между прочим и бинокль леди Уодсворд старшей.

— А, так вот какие штучки откалывают наши тихони! Вот как! Мы здесь сидим на трибуне, а они в лучшей из лож! Ну, милейшая Алиса, это вам даром не пройдет!

Пасторша была в бешенстве. Шляпа ее съехала набок, на щеках выступили красные пятна, глаза метали молнии. Она стала безобразна. Бедная Дженни, знавшая по опыту, что теперь уже ничто не удержит в границах приличия ее мать, ломала себе голову, как бы уехать со скачек и увезти пасторшу домой, не дав ей совершить какого-либо скандала. Пасторша уже готова была вскочить со своего места и бежать к ложе лорда Бенедикта, чтобы изругать дочь и мужа, как почувствовала, что ее точно пригвоздила чья-то рука к месту, она была не в силах произнести ни слова. Она поняла, чей взгляд настиг ее и кто удержал ее в границах приличия.

Скакуны и жокеи сменяли друг друга. Страсти людей, их алчность и жадность то стихали, то разгорались снова. А сердца Дженни и пасторши ни на минуту не отдыхали от сжигавшего их огня злобы, ревности и зависти.

— Посмотри, Алиса, мы считали наши туалеты крикливыми. Вот там два платья, фиолетовое и зеленое. Вот это краски. В Испании — и то было бы ярко. Даже у нас в Азии таких халатов не найдешь, — смеясь, говорила Наль.

Алиса, а вслед за ней пастор, Сандра и лорд Мильдрей подняли свои бинокли по указанию Наль. Всеобщее: «Ах!» вырвалось одновременно у всех. В лице Алисы, таком спокойном за мгновение, не осталось ни кровинки.

— Что случилось? Что с тобой, дорогая? — спрашивала Наль, не узнав ни Дженни, ни пасторши в этих туалетах на далеком расстоянии.

Алиса, мгновенно подумавшая не о себе, а о здоровье своей подруги, овладела собой, улыбнулась Наль и сказала, что, действительно, туалеты дам кричащи и есть чему поучиться на их примере. И тут же перевела разговор на Николая, спрашивая, отчего он так сосредоточенно молчит.

— Этот день учит меня многому. В частности, Алиса, я учусь и у вас. И если бы когда-нибудь у меня была дочь, я назвал бы ее Алисой, в память этого дня. Чтобы самому навеки запомнить, как надо нести свои страдания, — прибавил он тихо, нагнувшись к девушке.

Настал перерыв в скачках. Двери ложи лорда Бенедикта то и дело открывались, впуская кого-либо из великосветских знакомых лорда, не забывавших подать его дамам цветы или конфеты, так что Наль и Алиса решили, что их кавалеры будут в роли грузчиков на обратном пути. Перерыв кончился, скачки возобновились. Пробежали и знаменитые скакуны, а королевская чета все еще не покидала своих мест, почему и вся знать не считала себя вправе оставить скачки. Но лорд Бенедикт, еще раз пристально поглядев на два ярких пятна на трибунах, шепнул своим спутникам, чтобы они выходили из ложи.

Алиса, для которой пытка становилась невыносимой, вышла сразу же за лордом Бенедиктом и вместе с Сандрой поспешила к выходу. Легко и быстро подкатили вызванные швейцаром коляски, так как разъезд — что особенно любили дамы, показывая свои туалеты главным образом при разъезде, якобы ожидая своих колясок, — еще не начался.

Силы Алисы истощились. Но чудное лицо Флорентийца, доброе, нежное, полное любви и ласки, склонилось к ней — и волна радости и мира охватила ее. Сандра был совсем необычно молчалив. Лицо его потеряло свое детски добродушное выражение. Он казался старше от каких-то новых, внезапно появившихся на его лице суровых складок. Алиса, впервые увидевшая таким Сандру, была поражена, как может меняться человек, почти внезапно перескочив из одного возраста в другой. Ей казалось, что Сандра таким, как она его видела сейчас, мог бы быть через двадцать лет.

— Ну что призадумался, мудрец? — внезапно раздался голос Флорентийца.

— Я не могу оторвать своих мыслей от пастора. Мне кажется, мисс Алиса, что ваше поведение, ваша кротость и доброта невозможны на земле. И вы посланы на нее для утешения грешных. Я думаю о том счастье, какое нашел ваш отец в вас, о той уверенности, какую он должен ощущать, уходя и оставляя земле такой перл, как вы, — все с тем же суровым лицом говорил Сандра, не глядя на своих спутников, точно врубаясь в каждое произносимое слово.

— Другими словами, ты не можешь разделить в своем сердце отца и дочь, — улыбаясь ответил Флорентиец. — И оба заполонили тебя своими чарами. Теперь жизнь без пастора и без Алисы уже теряет для тебя что-то в своей привлекательности.

— Да, лорд Бенедикт. Завтрашний день, когда я не услышу голоса моего дорогого друга и не увижу его добрейших глаз, не смогу принести этому честнейшему сердцу всех своих маленьких скорбей, будет горек мне не на один час. И пример его дочери, юной женщины, несущей эти дни величайших страданий так, как их мог бы нести только мудрец, убеленный сединами, — это пример, не раз устыдивший меня. Должен сознаться, я слаб сейчас, и каждое свидание с пастором, который тает на глазах, меня разрывает на части. А на сегодняшних скачках вся жизнь этого подвижника мне открылась. И я понял, как часто я бывал глуп, груб и бестактен в его доме.

Сандра смотрел в окно, но ничего перед собой не видел. Его черные глаза точно потухли и смотрели в глубь себя, слезы текли по его щекам.

— Сын мой, мой друг. Ты страдаешь в эту минуту. Ты думаешь об уходящей жизни и о себе, как будешь страдать, лишившись верного друга. Но ты забыл, что перед тобой — хоть ты и сопричислил ее к ангелам небес — сидит дочь оплакиваемого тобою пастора. Дочь — юная женщина из плоти и крови, — чье сердце много мучительнее бьется, чем твое. В ее страданиях лежат еще тысячи игл, о которых ты и не предполагаешь. Считаешь ли ты, что сейчас, по отношению к ней, ты полон такта?

— Нет, лорд Бенедикт, я понимаю, что я не только бестактен, я еще и жесток. Но если бы я не высказался сейчас, я умер бы от той боли, что лежит на моем сердце. Я еще не научился мудрости жить так, чтобы сила любви несла меня легко по всем препятствиям дня.

— Возьми мою руку, Сандра. Пройдут годы, ты будешь сам главой семьи, главой университета, большим ученым. Но этого момента, когда ты был слабее женщины, — ты никогда не забудешь. И больше в твоей жизни не повторится та буря протеста против смерти, в какой ты живешь сейчас. Ты узнаешь, что нет смерти. Что есть вечная сила

обновляющей вселенную Любви. Что есть только мудрая красота, раскрывающая каждому врата новой радости жить и трудиться. Не плакать о пасторе ты должен, но отдавать ему силу и мужество, чтобы он мог уйти отсюда, взяв у каждого из нас последний дар нашей любви. Плоха любовь, напутствующая друга слезами.

Коляска подкатила к подъезду, и вскоре все общество сидело за обедом. С необычайным тактом хозяин направлял разговор за столом и так развлек своих гостей, что все тяжелые впечатления скачек стерлись из их памяти. Тотчас же после обеда дом лорда опустел, так как все его обитатели вновь уехали в деревню.

Как только Дженни и пасторша увидели, что ложа лорда Бенедикта опустела, всякий интерес к скачкам у них пропал. Теперь, к удивлению самой Дженни, она почувствовала одиночество и печаль. Казалось бы, к ней должно было прийти облегчение с отъездом отца и особенно сестры. А у Дженни было такое чувство, точно она внезапно осиротела. Ей хотелось поскорее вырваться отсюда, и вместе с тем, представляя себе свой молчаливый дом, она готова была ехать куда угодно, только бы не оставаться вдвоем с матерью. Как много отдала бы сейчас Дженни, чтобы застать дома отца и играющую Алису. Теперь ей казалось, что в звуках Алисы была жизнь. Ушли звуки, воцарилось молчание, ничем не заполненное, тоскливое, от которого хочется бежать... Дженни с ужасом думала о возвращении в это гнетущее молчание.

— Не желаете ли, мисс Уодсворд, пробираться к выходу? — услышала Дженни вопрос мистера Тендля.

— О да, я очень хотела бы выбраться отсюда, но, кажется, это довольно трудно.

— Если вам хочется выйти к главному залу, где сейчас начнется выставка туалетов, то это очень трудно и заставит нас долго пробираться к своему подъезду. Но если вы не заинтересованы в туалетном тщеславии, то мы очень легко можем пройти вот этим запасным ходом прямо к нашему подъезду.

Пасторша не хотела лишать себя удовольствия на людей посмотреть и себя показать, но дочь так на нее поглядела, что она умолкла на полуслове и двинулась к скромному запасному выходу, по которому еще никто сейчас не спускался. Мистер Тендль быстро отыскал их экипаж, и раньше чем скачки кончились, они выехали из запруженной вереницами колясок аллеи.

Кавалеры предложили дамам пообедать в каком-либо ресторане, на что пасторша охотно согласилась. А Дженни — при всей рисовавшейся ей тоске одинокого дома — все же предпочла его обществу матери и ее очень не нравившегося ей кавалера. Категорический отказ Дженни взорвал мать, и она, едва держась в границах приличия, высмеивала жажду одиночества дочери. Она сошла у первого приличного ресторана вместе со своим вульгарным кавалером. Мистер Тендль, оставшись один с девушкой, причин страданий которой он не понимал, но силу страдания отлично видел, старался всячески рассеять ее угрюмость, в чем отчасти и успел. Доброта этого человека и большой такт его невольно подкупили Дженни. Разговор его раскрывал перед ней человека недюжинного ума, большого образования и эрудиции много выше обычного.

Дженни пристально поглядела на своего собеседника и встретилась взглядом с двумя большими серыми глазами, вдумчиво и пытливо смотревшими на нее. Рыжеватый блондин, с довольно сильно загоревшим лицом и вьющимися волосами, высокого роста, отлично сложенный, мистер Тендль был незаурядно интересным мужчиной.

Когда коляска остановилась перед домом пастора, он помог Дженни сойти и поднял свою шляпу, чтобы с ней проститься. У девушки сжалось сердце. Сейчас она останется одна в

молчащем доме. Одна со своими мыслями, от которых хочется бежать, и, должно быть, лицо ее отразило такую тоску и сомнения, что передались доброму человеку, желавшему помочь ее печали.

— Не желаете ли, леди Уодсворд, — сказал он голосом, полным уважения, — превратиться на сегодняшний день в студентку? Мы могли бы с вами отпустить коляску, вы бы переоделись, как подобает вольнослушательнице университета, и на омнибусе мы бы отправились обедать в парк, где интересно сейчас наблюдать нравы.

— Я очень хотела бы принять ваше предложение, но...

— Но не знаете, как это согласуется с этикетом. С этим не стоит считаться. Во-первых, вы уже немало вещей сделали не по этикету, а во-вторых, парк, где мы будем, так велик, что вряд ли вы рискуете встретить там знакомых. А в-третьих, надо всегда выбирать не условное и внешнее, ничего не стоящее, а те глубокие, в себе скрытые ценности, которые требуют забот и внимания человека вообще. А иногда заставляют нас прислушиваться к их требованиям особенно бдительно, принуждают пренебречь всем внешним и отдать себе точный отчет, что творится в нашем сознании. И в этих случаях обстановка, в которой мы никогда не бывали, может внезапно осветить нам самим неясные порывы.

— Я согласна, — тихо ответила Дженни. — Сейчас этот молчащий дом мне кажется гробом.

Отпустив коляску, молодые люди вошли в переднюю. Дженни проводила своего гостя в зал, предложив ему посмотреть несколько последних научных журналов. На удивленный взгляд гостя она, снисходительно улыбаясь, объяснила, что отец ее всю жизнь думал, что он большой певец и еще больший ученый. Но на самом деле был и есть только скромный пастор.

— Как? — весь изменившись в лице, вскричал мистер Тендль. — Так я в доме знаменитого ученого, философа, чья книга выйдет не сегодня-завтра из печати и о которой сейчас говорят все ученые мира? Боже мой, как я мечтал с ним познакомиться. Мне говорили, что помимо учености он еще и человек совершенно изумительных качеств. Так это именно он ваш отец?

— Отец ничего не рассказывал мне о своей книге, — холодно и высокомерно ответила Дженни. — Вы не путаете ли его с кем-нибудь из Уодсвордов? Их ведь много, — в тайной досаде говорила Дженни.

— Пастор Уодсворд, автор выдающейся книги, может быть только один, леди Уодсворд. Имя вашего отца ведь Эндрью?

— Да, но в нашей семье до сих пор никто не знал, что глава ее такое светило, как вы говорите. Отец очень скрытен и не любит рассказывать о своих делах. Впрочем, с Сандрой они постоянно погружались в умности.

— Счастливец Сандра! И как только ему удалось познакомиться с вашим отцом. К лорду Бенедикту он, конечно, проник через своего друга, лорда Мильдрея.

— Очень ошибаетесь. Сандра был близок с лордом Бенедиктом давно. Он индус, познакомился с лордом еще в Индии, и связь их идет с детских лет Сандры. И Сандра ввел лорда Мильдрея в дом Бенедикта. Что же касается моего отца, то он всю жизнь искал молодых талантов и всюду им протежировал. Я вас покину, мистер Тендль, с вашего разрешения, чтобы явиться к вам в образе скромной студентки.

Войдя в свою комнату и быстро сбросив с себя яркое платье, которое стало ей ненавистно, Дженни надела простой черный костюм и такую же шляпу. Она сама себе показалась гораздо милее, чем в кричащем фиолетовом платье. В мыслях ее был сумбур. Чужой человек называет отца светилом, великим ученым, а она и мать расценивали его как странного, склонного к юродству человека. В чем же здесь дело? Почему отец ни слова не говорил о своей книге? Правда, он всю жизнь над чем-то работал, что-то постоянно переписывала ему Алиса. Но ей, Дженни, все это казалось забавой оригинальничающего человека, которому не удалась его жизнь и от нечего делать он занялся утешением себя в науке. Неудачники вечно носятся со всякими идеями, и вдруг... книга и слава отца — а она вдали от него и даже не знает, вернется ли он домой завтра.

Возвратившись в зал, Дженни застала своего гостя погруженным в какую-то статью. Мистер Тендль так углубился в чтение, что даже не сразу пришел в себя и понял, где он, кто перед ним. Опомнившись, он весело смеялся, очень вежливо извинился перед Дженни за свою рассеянность.

— Очевидно, — сказал он, — все люди, в ком живет страсть к науке, одинаково рассеянны. Простите великодушно, мисс Уодсворд. Я бы так и застыл у этой книги, забыв все на свете.

Молодые люди вышли, но Дженни, привыкшая всегда быть отмеченной как красавица-женщина, сейчас почувствовала себя оскорбленной тем, что мистер Тендль, увлекшись статьей, и не посмотрел на нее. И не только не оценил, как выгодно выделялась ее красота в черном шелке, после яркой фиолетовой рамы, но она уловила его взгляд сожаления, украдкой брошенный на книгу, от которой ему уже не хотелось отрываться.

Ассоциация идей привела ее снова к мыслям об отце и Алисе, и в сердце ожила ревность. От мысли, как бы вел себя новый знакомый в присутствии сестры, Дженни почувствовала новый припадок раздражения и впала в мрачность. Ее спутнику пришлось потратить немало усилий, чтобы вызвать улыбку на ее лице. Обед в парке отвлек несколько внимание Дженни от пережитых за день волнений. Многое, что говорил ей мистер Тендль, ее удивляло. Многое было ново и неожиданно. И все же ни разу Дженни не подумала об этом милом человеке, кто он. Не спросила о его судьбе и жизни.

Она думала не о нем, а только о средстве для себя избежать одиночества, и принимала его общество как необходимый для нее на сегодня рецепт, который можно выбросить завтра, ибо в нем больше нет нужды.

Вернувшись домой раньше матери, Дженни заперлась у себя в комнате и легла спать, лишь бы ни о чем не думать.

Так завершился этот тревожный и печальный для всех наших героев день.

Глава 6

Болезнь и смерть пастора и его завещание

Благополучно добравшись до деревни, проехав путь на лошадях по залитой лунным светом дороге, слегка утомленные, спутники лорда Бенедикта разошлись по своим комнатам. Только пастор остался внизу, в кабинете хозяина, где оба они сели в кресла на террасе.

— Вероятно, это одна из последних моих лунных ночей, когда я еще на ногах и могу еще ценить красоту земли, которую я так любил всегда. Как много раз я напутствовал людей к престолу Отца. И как редко видел истинное знание и истинную веру людей. Как часто я старался победить страх людей в их последний час. Теперь, когда я сам иду к Отцу моему, я понимаю, что не страх давит человека, но сознание бесполезно и бесплодно прожитой жизни. Сознание недостаточной верности заветам любви, недостаточной чистоты в прожитой жизни.

— Нет смерти, дорогой друг. В тот час, когда уходит последнее физическое дыхание, дух уже оставил форму, в которой жил человек на земле. И те, кто подходит к смерти, как и те, кто рождается на земле, — идут свой путь только для того, чтобы двигаться к совершенству. В современном воспитании человек всасывает столько предрассудков, что даже не понимает, как жизнь — вся великая Жизнь — движется вокруг него и в нем самом. Если бы в вашем сердце не жил тот Свет, который сейчас окружает обоих нас и все вокруг нас, — вы не могли бы дойти до такой высокой чести, в какой жили и живете. В сердце человека, сообразно его поднимающемуся развитию, оживают одно за другим качества той единой Жизни, что он носит в себе. Качество человека, доходя до своего полного развития, переходит в силу, живую, всегда активную. Оно перестает быть только свойством человека. Оно льется, как кровь, по его жилам, как светоносная материя любви, раскрывается наконец как оживший аспект Жизни вечной в нем. Все, в чем человек смог дойти в своем развитии до конца, стало аспектом его божественного духа, его внутренним творческим огнем. Когда физическая форма стала мала такому ожившему духу человека, когда он вырос из нее, как юноша из детского платья, — человек меняет ее, а мы называем это смертью.

Ваша жизнь, как ни строго вы судите ее сами, — безупречна. И наша встреча — это не случайность, но великая радость, посланная обоим нам. Я был до сих пор в долгу у вас, мой верный, преданный друг.

— Я вас не понимаю, лорд Бенедикт. Это верно, что какое-то чувство большой близости я испытываю к вам, какого-то будто бы давнишнего знакомства. Но... кто раз узнает вас, тот иначе и не может чувствовать себя подле вас. Ваша доброта и высота обаяния подчиняют себе всех.

— Вы никогда не думали о жизни людей на земле как о жизни вечной, а не только как о жизни, как отрезке от рождения и до смерти. А между тем это ряд жизней земли на протяжении веков. Нет в небесах мест, где отдыхают. Живое небо трудится так же, как и живая земля. Мы уходим отсюда, трудимся, учимся, живем в облегченных формах, по иным законам, точно так же, как на земле мы можем жить только по законам земли.

И на этой земле вы бывали уже не раз, и не раз встречались со мной. Но то были встречи мимолетные, и в каждую из них я был чем-нибудь обязан вам и оставался вашим должником. В последнюю же нашу встречу вы спасли мне жизнь. Я искал вас теперь долго, чтобы отплатить вам за все ваши благодеяния мне. Только несколько месяцев тому назад, в Москве, я узнал, что вы в Лондоне, что вы пастор. Узнал все о вашей жизни от моих друзей, которые потеряли ваш след в Венеции и шли неверным путем, ища вас в артистических кругах.

Как только я получил известие о вас, я переменил мой план и приехал сюда, где немедленно же вас отыскал. Примите теперь все мои услуги вам и Алисе как возвращение вам моего векового долга. И не будем больше говорить об этой стороне жизни. Здесь все светло, все сияет. Что же касается второй половины вашей семьи, то одно могу сказать: все, что будет возможно, я сделаю для Дженни и вашей жены. Боюсь, что все это будет бесполезно, но все же сделаю.

— Как странно я себя сейчас чувствую, лорд Бенедикт. Точно я становлюсь легким, легким и действительно вспоминаю свое давнишнее знакомство с вами. Удивительное спокойствие и мир сходят в мою душу. И не столько от ваших слов, сколько от вашего присутствия, от какой-то особенной вашей доброты, от какого-то мужества и силы почти не человеческих, которыми веет от вас. Примите благоговейную благодарность уходящей души за ту ясность и спокойствие, которые вы влили в нее в этот последний период земной жизни. Благодаря вам мое прощание с землей полно величия. Что касается моей жены и Дженни — Боже мой, как много сил я потратил, чтобы охранить их от зла. И здесь вы меня сейчас утешили, и их я оставляю в вашей защите. Я видел ясно, как их постоянное раздражение и жажда роскоши и праздной жизни все больше и больше вводят в общение с людьми лживыми, неустойчивыми и даже бесчестными. Я видел, как они тонут в мелочных мыслях и чувствах. Как их вечное бурление сталкивает их со всех возвышенных, благородных сил человеческой любви и бросает в постоянную эгоистическую сосредоточенность на самих себе. Но я не мог найти никаких крючочков доброты в их сердцах, чтобы вытащить их из тупости обывательщины.

— Теперь перестаньте думать о них, мой милый лорд Уодсворд. Ваше данное вам еще сейчас время на земле принадлежит вам одному. В эти ваши последние дни текущего

воплощения я пришел к вам, чтобы дать вам все то знание, которого вы искали всю жизнь и для которого вы вытоптали себе дорожку ногами тех людей, кто приходил к вам за утешением и уходил не только утешенным, но и с сознанием, что у него есть друг. К вам приходили за миром, а уходили не только в мире, но и в радости понимания своего права на жизнь, на счастье, на труд. Сбросьте с себя все путы условностей, что встают в вашем понимании и мешают вашему общению в огне и духе. Все слезы, скорби, страсти, что собрало ваше сердце, как в чашу, уже горят не в одном вашем сердце, но и в моем, и в сердцах целого ряда светлых людей, поставивших себе целью общее благо. На вас нет уже ни

оков условной любви, ни оков предрассудков. Живите все эти дни, пока не выйдете из этой земной формы, как живут после смерти всего личного. Живите, благословляя каждый день в мужестве и мудрости, в любви неугасимой Великой Матери Жизни. Не только дочери вашей Алисе, но и юному обожателю вашему Сандре, а также тайно и очень глубоко страдающему Мильдрею, и моим детям, Наль и Николаю, всем дайте великий урок мудреца, прощающегося с жизнью земли радостно и спокойно, чтобы начать, вернее, продолжать труд вечной жизни. Свет, который шел от вас на путь земли, в ее серых днях, Свет, который теперь открывается вам как вечная память об единой жизни, не раз сходивший с вами в человеческую форму, пусть он останется им всем, в память вечную всех их жизней как простое знание: заснуть в Мудрости, в мысли о Вечном, с сознанием

счастья и понимания всей единой Жизни в себе и во всем. Рассматривайте все эти дни как дни заслуженного беззаботного отдыха и пожинайте плоды разбросанной вами, как горсть драгоценных камней, любви по земле.

Флорентиец проводил пастора наверх, ввел его в его прекрасную комнату, где была открыта дверь на залитый луною парк и открывавшиеся за ним дали.

— Я незаслуженно счастлив, лорд Бенедикт. Я даже и мечтать не мог о той красоте, в какой живу сейчас. И если вы говорите, что вы в долгу у меня, то что же мне сказать? Я молился Отцу, чтобы отойти в мире, и я не находил его. Вы помогли раскрыться сердцу моему не только в мире, но и в полной радости. Как прекрасна жизнь! Как могуч и велик росток этой жизни в человеке, если он веками сменяет форму и вновь живет! И только сейчас мне это до конца ясно. Зачем же церковь учит оплакивать смерть друг друга? Зачем учит: «упокой со отцы», если каждый только в себе может найти покой? И найти его — я понял — можно только живя в Свете. Нужно учить, как жить в Свете, пока человек трудится на земле, а не как упокоиться с отцами.

— Покойной ночи, лорд Уодсворд, до завтра. Вот вам еще пилюля, она принесет вам сон.

Флорентиец подал пастору лекарственную конфету, крепко пожал ему руку и, еще раз пожелав покойной ночи, спустился к себе вниз. Пастор, посидев еще немного в тишине ночи, почувствовал такое сильное желание спать, что едва успел раздеться, как мгновенно заснул.

Казалось, весь дом спал, погруженный в тишину. Но сам хозяин сидел за письменным столом и писал письмо, иногда пристально вглядываясь во что-то вдали. Дверь на террасу была открыта, аромат ночных цветов проникал в комнату. Изредка порыв ветерка колебал пламя свеч на его столе и заставлял огонь переливаться и играть в золоте волос писавшего. Внезапно Флорентиец поднял голову, прислушался к чему-то и, покачав головой, тихо сказал:

— Алиса, Алиса, я надеялся, что у тебя будет больше сил сегодня. Сойди сюда, если тебе так трудно и тяжело. Я думал, что ты поняла, как ты должна поддержать отца и превратить в земной рай его последние дни, а ты предаешься печали лично о себе. Перестань плакать и прийди сюда.

Алиса, вернувшись после поездки в свою комнату, опустилась в кресло у самой двери и застыла в горьком сознании неизбежной разлуки с обожаемым отцом. В ее воспоминаниях потянулись картины ее жизни с отцом с самого детства. Ни разу она не видела отца раздраженным. Ни разу он не вошел в дом без улыбки. Какой бы скорбью ни болело его сердце, он входил в дом, внося с собой ласковое слово каждому. Многое, чего не понимала Алиса в детстве, стало ясно ей теперь. Ее детское сердце разгадало драму отца. И каждое ее движение, каждое дело дня — все было одним стремлением: защитить отца от неприятности, не дать ему заметить чего-либо тяжелого, отвести от него тот или иной удар.

Два сердца, две жизни, отца и дочери, слились в одно целое. И теперь... отрывалась часть ее сердца. Не отец уходил, но из ее собственного сердца вырезалась половина. День без отца... И Алиса изнемогала от муки. Вся тонула в той крови, что, казалось ей, сочилась из ее сердца. Она сидела пригвожденная, без мыслей, без надежд: подавленная страданием, точно слыша, как из сердца ее каплет кровь, собираясь вокруг нее целым озером.

Внезапно, точно удар электрического тока, пробежала по ней какая-то сила. Девушка вспомнила слова Флорентийца по дороге домой. Вспомнила его разговор с Сандрой, и все, что лорд Бенедикт говорил ей за последние дни. Так ярко вспомнила, точно услышала его

голос сейчас в ночной тишине, зовущий ее к себе. Она — мгновение назад такая бессильная — встала и отерла глаза. Впечатление от образного представления своих страданий как текущей из сердца крови было так сильно, так ярко, что ей казалось, что и сейчас из сердца ее каплет кровь. Она зажала сердце руками и посмотрела себе под ноги, желая убедиться, не стоит ли она в луже крови.

Бросив взгляд вниз, в сад, она увидела лорда Бенедикта, который звал ее жестом руки. Она сошла с лестницы и увидела его стоящим на пороге своего кабинета.

— Войди, дитя, — сказал он, закрывая за нею дверь. — Мы с тобою, да еще один человек в доме не спим в эту ночь. Остальные нашли сил быть мудрыми и принять жизнь так, как она идет. Ты думаешь, что не спит Сандра. Нет, индусу я дал успокоительных капель, он спит, как и твой отец. Не спит тот, кто ни словом не обмолвился о твоих и своих страданиях. Не спит лорд Мильдрей, сердце которого разрывается от твоей драмы, от твоей тоски. Чтобы остановить одну каплю крови, текущей сейчас из твоего сердца, он рад был бы лечь на плаху. И сейчас, внешне спокойный, мечется, как тигр в клетке, не находя решения своим вопросам. Не плакать, не истекать кровью надо тебе, дочь моя. Но вспомнить, как у вечного огня ты обещала нести утешение и помощь людям. Что толку сидеть и плакать? Разве неизбежное не свершится потому, что ты плачешь? В ком может найти отец твой силу и отдых сейчас? Сейчас, когда ему предстоит переменить форму своей жизни. Ты привыкла называть эту перемену смертью. Но смерти нет, есть твой предрассудок. Я уже говорил тебе: пока живешь — не теряй ни мгновения в пустоте. Ищи творить сердцем. А в слезах нет места творящей силе. О чем бы ни плакал человек, он плачет о себе. Высшая же форма человеческой любви — это действие, энергия. Тот, кто мужается, только тот проходит в высокий путь благородства и самоотвержения. И только в таком бесстрашном сердце нуждается жизнь.

В жизни нет мгновений остановки. Она — вечное движение, вечное стремление вперед. И только мужественный движется в ногу с нею. Если и дальше ты будешь оплакивать каждый неожиданный — неожиданный только по твоей невежественности — удар судьбы, то тебе нет надобности жить подле меня. Ты хочешь разделить мою жизнь. Это жизнь самоотверженного труда. В этой жизни идут, чередуясь, победы, разочарования, скорби и радости. Но унынию в ней нет места.

Смерть — предрассудок человека, остаток его варварского отношения к жизни. Смотри на эту дивную природу: на небе уже начинается рассвет, а луна еще светит. И с каждым мгновением ты видишь, как день сменяет ночь, и все это форма той же Единой Жизни, что живет в тебе, во мне, в солнце, в облаке, в траве. Дальше, много учась, ты дойдешь до больших знаний, и тебя перестанет выбивать из колеи закон жизни и смерти. Сегодня пойми крепко и ясно: если хочешь опять встретиться с отцом в труде жизни, готовь из себя то священное и высокое место, где он мог бы с тобой встретиться и трудиться. Знай только одно: Ты *можешь* создать ту семью, где отец твой будет вновь воплощен. Ты *можешь* стать ему матерью и воздать материнской любовью и заботой за все его заботы о тебе, за всю его любовь. Но «может» еще не значит «будет». В тебе вся сила, в тебе вся любовь, в тебе все возможности повернуть руль судьбы так или иначе. И все зависит от того, как ты проводишь сейчас отца и какое ему подашь уже теперь благословение в вечный путь.

Девушка, преображенная, сияющая, приникла к руке своего великого друга и прошептала:

— Я все поняла. От вас перелилась в меня сила. Мне больше не о чем плакать... Но лорд Мильдрей? Как я могу его утешить?

— Предоставь мне заботу о нем.

Погладив успокоенную Алису по голове, дав ей капель и велев сейчас же лечь спать, так как отцу понадобятся ее заботы, Флорентиец проводил Алису до лестницы и снова сел к столу, где и закончил последнее письмо.

Рассвет переходил в раннее утро. Лорд Бенедикт потушил свечи, перешел в свою спальню, откуда вышел через четверть часа в пижаме, с мохнатым полотенцем на плече. Собрав письма, он положил их в ящик письменного стола, закрыл его, написал на бумажке несколько слов, положил ее в карман и вышел в парк. Подойдя к другой стороне дома, он поднял камушек, завернул его в ту бумажку, что положил себе в карман, и, остановившись перед одним из открытых окон второго этажа, ловко бросил в него свой камушек.

К ногам погруженного в невеселые думы, всю ночь не спавшего лорда Мильдрея вдруг упало что-то белое, стукнувшее об пол. Вздрогнув от неожиданности, он наклонился и поднял бумажку, из которой выпал камушек.

«Надевайте пижаму, берите мохнатое полотенце и сходите ко мне вниз, на террасу. Пойдемте к озеру купаться в водопаде», — прочел Мильдрей. Записка была без подписи, но Мильдрей сейчас же узнал крупный, прекрасный почерк хозяина. Он выглянул в окно, но, кроме пения птиц и чудесно расцветающего утра, ничего не услыхал и не увидел. Обрадованный неожиданной возможностью совершить дальнюю прогулку с лордом Бенедиктом, Амедей поспешил переодеться и спустился на указанную ему террасу, не додумав своих мыслей, терзавших его всю ночь.

— Ну, мученик, — встретил его веселым смехом лорд Бенедикт, — на кого вы похожи? Еще две-три так прелестно проведенные ночи, и меня обвинят, по крайней мере, в истязании своих гостей. Можете ли, лорд Мильдрей, образцовый воспитатель моего приятеля индуса, объяснить мне причину вашей скорби, которая в одну ночь съела половину вашего веса?

— Объяснить это легче легкого, лорд Бенедикт. Полное бессилие помочь страданиям людей довело меня до отчаяния. Но вот что я хотел бы знать: каким образом вы угадали, что я не спал и что я сидел именно в этой из трех отведенных мне вами комнат. Чтобы бросить камень именно в то окно, где я сидел, вы должны были точно знать не только то, что я не спал, но и то, что вы даете призыв человеку, который прочтет немедленно вашу записку. И до чего же вы молоды и прекрасны, лорд Бенедикт, я понимаю, почему вам дали прозвище Флорентиец.

— Знаете ли вы, мой дорогой гость, что если мы с вами будем останавливаться на каждом шагу, как это делаем сейчас, то мы вернемся обратно только тогда, когда дамы будут уже завтракать. Двинемся поэнергичнее, и, пожалуй, я расскажу вам чудо, как я узнал о вашей бессоннице. Посмотрите вокруг себя и вглядитесь в разнообразие окружающей вас жизни. Каких чудесных форм и красок цветочки окружают вас! Листья, травы, бабочки, птицы, мухи, пчелы — все живет самой напряженной жизнью, творит, отдает свой аромат, плоды и красоту... и умирает. Вы так характеризуете конец расцвета каждой из этих жизней.

Вы срываете цветок, вкалываете его в свою петлицу или украшаете им свой стол. Вы не думаете, что цветок умирает, отдавая вам свою красоту. Вас не тревожит эта смерть. Вы ее благословляете, принимаете совсем спокойно, как нечто неизбежное, обычное. Почему? Только потому, что здесь нет ничего личного. Ничего от вас лично, как вашей привязанности, как ваших привычных желаний, как вашей любви, в которую вы каждый день вплетали нити своего сердца, своей крови, плоти и духа. И вы спокойны. Вы знаете неизбежность закона целесообразности, закона, заставляющего все живое менять свои формы.

Как только дело касается людей — сразу все в сознании человека меняется. Тут все разделяется на своих и чужих. Свои — это те, с кем вы сжились, сроднились по крови. И каждая такая разлука — неизбежные слезы, отчаяние и вот такой вид, как у моего доброго друга, лорда Мильдрея. Вы сражались в двух войнах, будучи юношей семнадцати — девятнадцати лет; о вашей храбрости солдаты складывали песенки и легенды, а вашему самообладанию удивлялись старые офицеры. Теперь вам двадцать восемь лет. Почему перед лицом предстоящей смерти пастора вы потеряли не только полное самообладание, но и равновесие? Ваша любовь к Алисе для меня не тайна. Но она вашему поведению не оправдание. Чему служит та любовь, которая не несет героизма любимому человеку? Неужели вы думаете, что подобным поведением сострадаете Алисе? То сострадание деятельно и истинно, которое не слезу, а мужество несет человеку.

Думаете вы, что можно таить внутри полный разлад, страдать и разрываться, а вовне показывать полное, якобы, спокойствие и этим лицемерным самообладанием помочь человеку переносить его горькие минуты? Только истинно мудрое поведение, то есть внутри убежденно-спокойное состояние может помочь ближнему. И оно как живой пример мудрости может прервать тысячи драм людей только одним своим появлением, одной встречей. Таков живой пример мудреца. И в каком бы образе он ни встречался человеку, он может поднять его силы к героическому напряжению. Может помочь ему перейти из маленького, о личном горюющего человека одной улицы в одухотворенное понимание себя единицей всей вселенной. Вселенной, неизбежно подчиненной одному и тому же закону целесообразности, который ведет все живое на земле — от букашки до человека — к совершенству. Вы можете мне ответить, что все это вы знаете и понимаете. Но я скажу вам, что вы ничего не знаете и не понимаете. Потому что на языке мудрости знать — это значит уметь. А понимать — это значит действовать. Тот, кто говорит, что он знает и понимает, а не умеет действовать в своем трудовом дне, — на самом деле ничего не знает. Он по своей невежественности ничем не отличается от цирковых собак и лошадей, которые просто усвоили ряд привычных ассоциаций, воспринятых в той или иной последовательности.

Подумайте обо всем этом, лорд Мильдрей. От вашего поведения сейчас многое будет зависеть не только в вашей жизни, но и в жизни Алисы и еще многих людей, которых сейчас вы встречаете и в обществе которых вращаетесь. К сожалению, по причинам, от меня не зависящим, я ничего не могу сказать вам больше. Могу только прибавить, что сейчас вы стоите у перекрестка дорог. И в зависимости от вашей энергии и вашего мужественного поведения, от мужественно поданной доброты, от силы вашего благородства в этот момент вы услышите тот или иной зов жизни. Вы можете создать или нет ту или иную семью, где дадите возможность великой душе сойти на землю, и под охраной вашей любви и доброты поможете ей пройти свой новый человеческий путь.

Флорентиец привел лорда Мильдрея к водопаду. Красота природы, чудное утро и слова хозяина развеяли не только чувства гостя, но расширили его кругозор и окрылили его. Выйдя из водоема, выдолбленного падением воды с высокой скалы, пожимаясь от холода, лорд Мильдрей сказал:

— Если бы я даже не входил в эту купель, которая меня укрепила, — я все равно чувствовал бы себя уже воскресшим от одного вашего общества и ваших слов, лорд Бенедикт. Самое великое, что я понял сейчас из ваших слов, — это то, что сила любви не имеет предрассудка разлуки. Но здесь для меня в моем теперешнем развитии, действительно, знать и уметь — две различные вещи. Я не теряю надежды, что в вашем благом присутствии оба эти понятия когда-то сольются для меня в одно самоотверженное и радостное действие, то есть в простое умение быть истинно добрым к людям и, думая о них, забывать о себе.

Оба спутника вернулись домой как раз вовремя, чтобы переодеться и встретиться со всем обществом за завтраком. В этот день пастор чувствовал себя слабым и усталым, но все же прошелся по парку. Под руку с дочерью, в сопровождении Сандры, дошел он до обрыва, где вид на открытые дали ему особенно нравился. Но после обеда он сейчас же поднялся к себе. Алиса не оставляла отца ни на минуту. Она, казалось, совершенно не замечала его слабости, ни его особенной ласковости, в которой сквозила нежность прощания. Она вела себя так, как всегда, как будто бы отец был здоров, но не покидала его.

— Алиса, дитя мое, пошла бы ты погулять. Вон все идут на ферму с лордом Бенедиктом.

— Нет, папа, мне так хочется побыть в тишине с вами.

Раздался стук в дверь, и вошел лорд Мильдрей.

— Лорд Уодсворд, не разрешите ли вы мне посидеть подле вас? Мне так захотелось побыть в вашем обществе, что я не мог устоять и решился побеспокоить вас. Вы не сердитесь на меня за это беспокойство?

— Не только не сержусь, но очень счастлив, что вы зашли ко мне. Моя Алиса не покидает меня, как я ни прошу ее отдохнуть немного от моего стариковского общества. Не скрою от вас, мой друг, что радость быть так любимым моею дочерью и вами — большое вознаграждение за прожитую жизнь.

— Знаете ли, папа, вы у меня, положительно, феномен. Другой человек на вашем месте чрезвычайно много думал бы о себе. А вы хоть немного ценили бы себя и все то, что вы сделали для людей, для науки. Лорд Бенедикт говорил мне, что к вам сюда собирается приехать целая делегация от Академии наук, чтобы передать вам какую-то исключительную награду за вашу книгу, которая завтра должна выйти в свет. В Академии узнали от лорда Бенедикта, что вы нездоровы, не можете сами быть в Лондоне на торжественном заседании, когда вас будут венчать всевозможными лаврами. Поэтому важнейшие представители науки приедут к вам сюда. А вы, мой дорогой отец, одно смирение.

— Дочурка, я бы очень хотел избежать этой пышности, она мне тяжела, я даже разволновался. Лорд Мильдрей, не откажите сходить к нашему дорогому хозяину, когда он вернется с прогулки, и попросите его зайти ко мне.

— Я непременно это сделаю, лорд Уодсворд, я уверен, что лорд Бенедикт сумеет сохранить ваше спокойствие. Да ведь он пошел на ферму по хозяйственным делам, там он долго не пробудет, и я сейчас же передам ему ваше желание, как только он вернется. Кстати, в газетах сегодня есть отзыв и статья капитана Т. о вашей книге. Я думаю, что половина авторов мира завидует подобному отзыву.

— Папа, вы знаете, что у капитана Т., то есть, попросту говоря, у графа Николая, есть брат, начинающий писатель. Лорд Бенедикт как-то сказал, что Левушка написал вещь гениальную, не по летам глубокую. А Наль говорила мне, что она видела его один раз в жизни, переряженным в восточный костюм, с седой бородой. Так что если бы она столкнулась с ним лицом к лицу, то не могла бы узнать брата своего мужа.

— Это почему же? Неужели они познакомились в маскараде? И не видали друг друга без масок? Это что-то во вкусе французских романов, — смеялся весело пастор.

— Надо полагать, что дело здесь в чем-то другом, лорд Уодсворд. Вряд ли на Востоке возможны были маскарады, а графиня очень молода и приехала прямо оттуда.

Дальше разговор перешел на чудеса жизни, как пастор называл свою и Алисы встречу с Флорентийцем.

Между тем, вторая половина общества уже возвращалась с фермы, разбившись на две группы. Наль с Николаем пошли дальней дорожкой, где виды были еще прекраснее, а Флорентиец с Сандрой возвратились ближайшим путем.

— Мы с тобой уже несколько раз поднимали вопрос о твоей постной физиономии, Сандра. Сегодня я хочу с тобой поговорить уже окончательно. От твоего решения и дальнейшего поведения будет зависеть и жизнь твоих ближайших дней, то есть останешься ли ты сейчас при мне

или уедешь в Лондон. Видишь ли, решившись следовать чьим-то указаниям, избрав себе в другом человеке путь, к которому наиболее тянется сердце, надо быть в гармонии с тем, кого хочешь назвать своим Учителем. Чтобы воспринять указания Учителя и нести их как творящую силу по дню, надо быть в радости. Только одна радость открывает возможность слиться двум сознаниям, стоящим на разных ступенях развития. И чем радостнее и чище низшее сознание ученика, тем легче, проще и дальше оно может влиться в сознание, превосходящее его силы, — Учителя. Тем больше может унести радостный из открывающегося ему высшего сознания. Это одна сторона дела. Жить подле меня и хмуриться, вступая в спор с Богом и судьбой, — это тратить попусту время и не иметь сил заметить, как льется тебе свет в твое текущее сейчас. Второе: ты брал на себя обет беспрекословного послушания, который казался тебе счастьем, как и жизнь подле меня рисовалась тебе заманчивой мечтой. А когда сбылась, неожиданно для тебя, эта мечта — ты оказался слабее женщины и продолжаешь быть таковым. В твоих философских изысканиях, в твоих новых открытиях в астрономии и механике ты оказываешься законченной силой, на которую можно полагаться. В твоем же отношении к жизни людей ты оказался ребенком, не выдерживающим обычных испытаний движущегося колеса жизни. А между тем, ты — индус, тебе известен закон перевоплоще-

ния, ты в нем рос и воспитан. И казалось бы, твое отношение к жизни и смерти должно было бы разниться от европейцев. В чем разлад в твоей душе? Теряешь доброго и нежного друга, стремившегося всячески тебе помогать в твоей жизни. Чем же ты благодаришь его? Тревожишь его последние дни, оплакиваешь свое одиночество после его смерти. Чем поддержал ты дочь? Жалобами своей скорби. Стыдно и недостойно, Сандра. Если я не отправил тебя сразу же из моего дома как человека, недостойного быть принятым в ряды моих учеников, то только потому, что я у тебя в старинном долгу. И моей беседой сейчас я возвращаю тебе

мой вековой долг. Пастор отходит от земли очень ненадолго. Если Алиса сумеет во всем героизме и мужестве сердца проводить его как отца, чтобы принять его же для новой земной жизни как сына, — он вернется скоро в земную жизнь. Если женская сила доброты и любви сумеет возвыситься так, чтобы не о себе думать, а из себя приготовить самоотверженное место, где снова воплотится ее отец, он вернется счастливым на землю и выполнит тот труд, который сейчас сделать не успел. И целый круг жизней, затянутый сейчас тяжелой петлей злых предрассудков, освободится и развяжется, перейдет в счастье и свет. Если же Алиса не победит эгоистической любви к отцу, будет плакать и цепляться за него, как это делаешь ты, — целая вереница жизней будет обречена ждать новых возможностей, чтобы сочетание кармических связей вновь пришло в гармонию. Я говорю тебе все это единственный раз и навсегда. Чтобы понять навсегда смысл закона беспрекословного повиновения, я дал тебе сейчас возможность провидеть судьбу многих людей. Но, если ты нарушишь этот закон когда-либо, ничто не сможет оправдать в веках твоего поступка. Цепь любви, которою я связал тебя с собою и которую ты разорвешь своим непослушанием, я буду хранить, и она только сильнее завьется вокруг нас. Но

сколько бы я ни хотел принять на себя твои испытания, я этого сделать не смогу. Я приму на себя, любя и побеждая, обратный удар, который ты нанесешь мне. Но цепь жизней, спутанную тобою, ты сможешь развязать только сам.

— О, Боже, как я глуп! Как я непростительно, позорно глуп, дорогой, обожаемый лорд Бенедикт. И я плакал, стонал, бунтовал и чуть ли не обвинял вас в холодности, потому что знал, что вы можете поддержать силы пастора и не

делаете этого. Простите меня, хотя мне и нет прощения. Как тупоумен человек! Какое счастье должно прийти пастору и Алисе, а я оплакивал их обоих. Да будет мне это уроком вовек! Вот здесь, глядя на это заходящее солнце, я обещаю вам, мой ласковый, милосердный Учитель, всегда хранить радость послушания, как бы ни казалось печальным вовне то событие, к которому так или иначе я должен быть причастен своей волей и трудом. Я обещаю, проходя день, не искать вовне каких-то благ и наград. Я понимаю, что день человека — это не то, что к нему приходит, а то, как он это принимает и что сам в него выливает из сердца. Я обещаю, проходя день, воплощать в дела и встречи те понимания, что уношу и вбираю в себя через вас. Я обещаю, проходя день, идти его в бесстрашии, мужестве и мире, потому что я понял сейчас, что все эти качества — не что иное, как моя верность вам.

— Аминь, сын мой. Не давай слишком много обещаний и не разочаровывайся в своих силах. Не глупость твоя заставила тебя сомневаться во всем, а привычка скептически принимать все обстоятельства жизни. Привычка думать об одной жизни земли в постоянном компромиссе, в отрыве от всей жизни вселенной. Усвой основное правило каждого живого человека — научись диалектически мыслить. Не разрывай больше связи со всеми радостными силами природы. И когда настанет твой час постичь знание всех элементов стихий природы — принеси к этому моменту в самом себе полный самообладания и гармонии сосуд. Мудрость не в учености и уме. И вся ценность их только в той культуре духа, к которой они могут привести. Если приведут — из человека выковывается интуитивно творящий, входящий в равновесие всей мировой жизни, светящийся шар. Его энергия действенна и мчится огнем по всем встречам. Если же ученость не привела через сознательное к подсознательному — человек остался одним из тысяч и тысяч тупоумных умников, ищущих объяснений и доказательств предельного ума там, где живет и творит только беспредельная Мудрость в человеке. Никогда в своих бытовых отношениях с людьми не ищи объяснений с ними. Ищи обрадовать человека, начать и кончить встречу с каждым в радости. Но избегай тех, кто, хмурясь сам, старается искать в тебе причин своей хмурости. Беги тех семей, где живут, ссорясь. Тот, кто рассказывает о своей любви к семье, а на самом деле является ее тираном и ворчуном, — не меньше преступник, чем любые воры, уносящие ценности людей.

Навстречу лорду Бенедикту и Сандре шел добряк Мильдрей, улыбаясь издали обоим.

— Что скажете, лорд Мильдрей? Вы, наверное, послом от Алисы?

— Вот и не угадали, лорд Бенедикт. Меня просил пастор обратиться к вам с просьбой навестить его.

Все трое прошли на балкон к пастору, который был укутан пледом, несмотря на теплый вечер. Узнав о причине беспокойства пастора, лорд Бенедикт обещал ему все устроить.

— Кстати, я хотел предложить вам привезти сюда вашего слугу. Он так привязан к вам, что, наверное, скучает без вас, а вы привыкли к его уходу. Сандра поедет завтра рано утром в Лондон, отвезет письма ваше и мое в Академию и будет за вас представительствовать на торжественном, в вашу честь, заседании. Затем заедет за вашим

слугой и вечером оба будут уже здесь ко всеобщему удовольствию. И еще у меня к вам вопрос. Ваша жена и Дженни любят морские купания и шумное общество. Не пошлете ли вы им с Сандрой письма и денег на этот предмет? Вы ведь скоро будете Крезом, так как тираж вашей книги колоссальный. Я мог бы пока вам одолжить денег, и они бы уехали из Лондона, очень довольные вами и предстоящей курортной жизнью.

— Лорд Бенедикт, это был бы наилучший и наиболее спокойный выход для всех нас, особенно для меня и Алисы. Я был бы вам премного благодарен.

— Вот и прекрасно, дорогой друг. Скушайте конфету и пойдемте вниз ужинать.

Внизу в столовой уже ждали Наль и Николай, обрадовавшиеся пастору и Алисе, точно век с ними не видались.

— Мы совершенно не согласны, лорд Уодсворд, находиться в изгнании, без вас и Алисы. Если вам не хочется гулять, мы будем сажать вас у теннисной площадки, в тени, с целой кучей книг. Но, пожалуйста, не лишайте нас вашего общества, — обнимая поочередно отца и дочь, говорила Наль.

Быстро пролетел вечер, который Алиса украсила музыкой, и пастор чудесно спел несколько арий. Любовь к искусству победила слабость, и вдохновенная песнь пастора захватила слушателей.

— Ведь вот как странно создан человек. Я и умирая, верно, буду петь.

— Не знаю, будут ли у меня силы, умирая, играть, но умереть под музыку — это, наверное, большое счастье.

— Не знаю, какое будет вам счастье, мисс Алиса, — утирая глаза, сказал Сандра. — Знаю одно, что сегодня в вашей музыке и песнях вашего отца сердце мое тонуло несколько раз в полном блаженстве. Слеза нелегко приходит к моим глазам от музыки. А сейчас она лилась точно прямо из сердца, которое ваша музыка раскрыла.

— Я тоже как-то особенно прониклась твоей музыкой сегодня, дорогая сестренка. — Приникнув к Алисе, Наль шепнула: — Я за двоих тебя благодарю. Тот, кто начал жить во мне, как счастлив он, благодаря тебе. Он сразу готовится понимать и природу, и красоту ее, и людей, и чудо звуков. Алиса, друг, я вместе с тобой несу и радость, и горе. И кроме всего, в тебе для меня опора и помощь. Ты единственная женщина-друг мой. Хотя ты такая молоденькая, но в тебе так много доброты, серьезности и любви, что я чту тебя как подругу и мать. Не покидай меня, Алиса, я без тебя, несмотря на всю любовь мужа и отца, буду одинока.

— Откуда ты взяла, что я собираюсь уехать, Наль? Напротив, лорд Бенедикт оставляет нас с папой здесь на два месяца. Но и дальше я тебя не покину, я все время буду с тобой.

Полюбовавшись еще немного красотой ночи, все обитатели дома разошлись по своим комнатам, и в эту ночь все они мирно спали. На следующее утро Сандра уехал в Лондон, выполнил поручение в академии и отправился в дом пастора. Его встретил старый слуга, которому Сандра передал письмо его господина с приказанием собрать его вещи, захватить несколько книг из кабинета и ехать немедленно, вместе с подателем письма, в деревню лорда Бенедикта. Дженни была дома и вышла в переднюю, услышав голос Сандры.

— Здравствуйте, мисс Дженни. Я привез вам и вашей матушке письма от вашего отца. Быть может, вы захотите ответить ему. Я могу подождать, пока вы напишете ответ.

Дженни взяла письма, провела Сандру в зал и спросила его о здоровье отца очень официальным тоном.

— Лорд Уодсворд очень и очень болен.

— Ох, всю жизнь, скоро двадцать три года, все слышу только о болезни отца. Но, слава Богу, он все живет благополучно, — все так же холодно продолжала Дженни. — Мамы нет дома, что очень жаль. Она бы, наверное, тоже пожелала ответить на письмо. Вы простите меня, я вас покину на несколько минут и напишу ответ у себя.

Дженни вышла, а Сандра сел на покрытое белым чехлом запыленное кресло. Как мало прошло времени с тех пор, как он был здесь у пастора в последний раз! Всего несколько месяцев. Но от души этого дома сейчас не оставалось ничего. Где мир, царивший здесь, которым наполнял дом хозяин? Где безукоризненная чистота этой комнаты, которую, очевидно, поддерживала Алиса? Где веселый смех и музыка? В томящем молчании дома невеселые думы бродили в голове юноши. Он думал о Дженни, как она казалась ему раньше обворожительна, умна и содержательна, а оказалось все мыльным сверкающим пузырем. Думал о долголетних страданиях пастора, о которых никогда прежде и не догадывался. И в сердце его вставали вопрос за вопросом: Где же истинный здравый смысл вещей? Зачем должен был пастор нести такой груз внутреннего разлада? И как мог он быть всегда таким ровным, добрым, нести всем улыбку? Где, в чем был источник его сил самообладания, чтобы так скрывать свои раны и утешать всех? А он, Сандра, бессилен, вспышлив, не выдержан и даже эгоистичен.

Дженни вернулась без письма, сказав, что письмо отца несколько сбило ее с толку, что она сейчас ничего не ответит, но напишет ему завтра по почте.

— Отец тоже говорит, что здоровье его плохо. Но, признаться, в первый раз он не только не протестует, но сам желает, чтобы мы с мамой ехали на морские купания. Мне это очень улыбается. Я не терплю деревни с ее скучищей. Это для Алисы самое подходящее место. Неужели вам еще не надоели красоты природы? — иронизировала Дженни.

— Я еще и рассмотреть их не успел, мисс Дженни.

— Но что же вы все там делаете? Алиса, та, конечно, перешивает туалеты графини, и времени ей всегда мало. Но что же делает сама графиня? Вы все так же восхищаетесь ею?

— Графиня и мисс Алиса почти неразлучны, как и мы все, с вашим отцом и лордом Бенедиктом. Обе дамы учатся верховой езде и другому спорту, который считает полезным и необходимым для здоровья наш хозяин. Кроме того, у лорда Бенедикта прекрасная библиотека. Обе наши дамы учатся и со мной, и с графом Николаем, и с самим лордом Бенедиктом.

— Ну, меня можете уверять сколько угодно, что Алиса не шьет, — я вам не поверю. Туалеты для скачек, несомненно, были сшиты ею...

И вдруг Дженни осеклась под взглядом Сандры. Что было в этом взгляде, что ее, за минуту сравнительно спокойную, привело вдруг в бешенство? Точно какой-то огонь пролетел по ней — так она почувствовала себя раздраженной.

Сандра смотрел на нее печально, точно жалея ее. Это не был тот юноша-поклонник, которого она, смеясь и сознавая власть своей красоты над ним, припирала к стенке своим остроумием, которое он не умел парировать. Это не мужчина, восторгавшийся ее умом и видевший в ней всегда женщину, стоял перед ней. Это был какой-то новый, вглядывавшийся в ее душу человек, искавший какого-то ответа на свой вопрос. А Дженни

хотела только легко скользить по жизни. Быть женщиной, пленять и нравиться, а не интересоваться чужой душой. Гнев заставил ее резко спросить Сандру, почему он смотрит на нее, как милосердный самаритянин, в сострадании которого она не нуждается.

— Да, я знаю, что милосердию нет места ни в вас, ни подле вас. Но я все же думал, что вы лучше защищены от зла. А вижу сейчас, что вы раскрыты настежь для всего злого. Кто может так легко приходить в раздражение, тот зовет к себе и в себя все худшие страдания от страстей.

— Это вы в доме вашего лорда Бенедикта научились проповедовать? Или у моего отца заразились его манией исправлять людей? Я ненавижу проповедников, — топнула ногой Дженни. — Милейший папаша-проповедник, напутствуя меня чуть ли не на вечную разлуку, предлагая отправиться в любой курорт, забыл о самом главном: о деньгах. Он, конечно, по рассеянности забыл о такой мелочи, — почти кричала Дженни.

— Ах, простите, это я, болван, забыл о них, а не он. Вот пакет для вас, а это для вашей матери.

И Сандра подал ей два объемистых пакета, надписанных рукой пастора, которые она жадно схватила. Дженни сконфузилась, но через минуту еще больше озлилась. Ей хотелось как-либо замаскировать свое поведение, она отвернулась к окну. Сандра воспользовался моментом и быстро вышел из комнаты.

В передней его ждал совершенно готовый Артур. Оба они тихо вышли из дома, сели в экипаж лорда Бенедикта и через некоторое время уже ехали в поезде. Впервые Сандра вгляделся в лицо старого слуги. Большие годы не согнули этого человека. Он был прям, широкоплеч, не очень большого роста, но отлично сложенный, с красивым, благородным и добрым лицом. Этот старик скорее походил на друга, чем на слугу пастора.

— Вы давно живете в семье пастора?

— Я всю жизнь не разлучался с сэром Уодсвордом. Ему было семь лет, а мне четырнадцать, когда покойный лорд Уодсворд, дядя пастора, у которого он тогда жил, приставил меня к нему, сразу отняв его у всех нянек и гувернеров. Лорд Эндрью уже тогда был святым ребенком, как потом был святым юношей, святым мужем и отцом и святым пастором. — Он закрыл лицо руками, чтобы скрыть полившиеся из глаз слезы. — Святые долго не живут. Что им здесь делать? Мой господин молод еще, но сердце его уже не может вынести больше мук. Оно сгорело. Его спалило страдание, а с ним и меня. Я знаю очень хорошо, что уже не привезу в Лондон моего господина, а привезу только его гроб. Если вырос вместе с человеком — врос в его сердце. Слов не надо — все знаешь. Так и я это знаю, хотя никто мне ничего не говорил. — Он смахнул еще раз слезу, и лицо его озарилось мужеством. — Мой господин тоже, наверное, знает, что он не вернется больше в свой дом. И велико же милосердие Божье, что он умрет не в этом доме его ежедневной Голгофы.

Сандра с восторгом и уважением смотрел на этого человека, язык которого, его манера выражать свои мысли обличали в нем вполне культурного человека.

— Неужели вы так и прожили всю жизнь возле лорда Уодсворда, не имея своей семьи?

— Ни на один день, до этого года, не разлучался я с моим господином. Если бы он был счастлив, я бы, вероятно, имел время создать себе семью. Но пастор был так несчастлив, так страдал сердцем и так скрывал от всех свою болезнь и свое горе, что я ему был всегда нужен. Только года три, как мисс Алиса разгадала вполне его болезнь. А то и от ее любящих глаз удавалось скрывать истину.

Глубокая верность слуги своему господину пронзила сердце Сандры. Невольно он сравнил свое поведение по отношению к лорду Бенедикту, и в сердце его проник стыд и горечь сознания, что он, философ и изобретатель, ниже по своей духовной культуре, чем этот полный деликатности и любви простой слуга.

В молчаливо установившейся между ними дружбе оба добрались до дома только к ужину. Свидание пастора со своим слугой послужило Сандре еще один раз уроком. Слуга, знавший, что ехал ухаживать за своим господином в его смертельной болезни, вошел к нему в комнату так, как будто он был все время здесь в соседней комнате и выходил за каким-либо пустяком. Его лицо было спокойно, он сейчас же привел комнату и вещи в привычный порядок, подал пастору последние номера журналов, сегодняшнюю газету и стал рассказывать, как он навещал своих родных. Сандра переглянулся с Алисой, обменялся с ней улыбкой и вышел из комнаты.

И снова потекли мирные дни жизни обитателей дома лорда Бенедикта, такие мирные и однообразные вовне и такие глубоко различные, напряженные в духовной структуре каждого, между двумя гранями земной человеческой жизни: уходящего пастора и развивающейся новой жизни в Наль.

Алиса расцветала на глазах. Ее духовный рост сказывался во всех ее поступках. Глядя на нее, казалось, что так легко быть сиделкой при больном отце, когда Алиса тысячу раз в день вставала, кормила, давала лекарства, мерила температуру, меняла компрессы и грелки, с улыбкой шутливо выговаривая больному за его чрезмерное терпение и нетребовательность. Лорд Уодсворд слабел и худел, на глазах превращаясь в аскета, а лицо его и взгляд все светлели. Он получил сухие письма от Дженни и леди Катарины и сказал однажды Флорентийцу, сидя, по обыкновению, в кресле под наблюдением дочери:

— Как мне странно, что Дженни моя дочь, с которой я прожил неразлучно двадцать три года, которой я отдавал и времени и забот много больше, чем Алисе. Она даже не поняла, что письмо мое к ней — мое последнее, прощальное письмо, полное любви и мольбы к ней, было моей последней надеждой пробиться к ее сердцу. Из всех интенсивных и многочисленных попыток разорвать и разломать перегородки между собою и ею мое последнее письмо было самым активным криком сердца. Но и в этой попытке я не успел. И ухожу с большой тяжестью невыполненного долга по отношению к дочери.

— Если бы все отцы так защищали своих детей от зла, как это делали всю жизнь вы, мой друг, на свете было бы легче жить и люди страдали бы меньше. В вашей семье не было места несправедливости к Дженни. Она была поставлена матерью незаслуженно на пьедестал, а вы снимали ее оттуда каждый раз, когда только могли. Вы внушали ей человеческие чувства и интерес к общей жизни не словами, а собственным примером. Ваша борьба не давала ей окончательно утонуть в пошлости. Но я уже говорил вам не раз: детям в жизнь дорожку ни отец, ни мать не протопчут. Что за смысл сейчас разрывать вам свое сердце скорбью о той

жизни, что выбрала себе сама Дженни? Вы отдайте себе отчет: все ли сделали вы, чтобы показать ей, что у человека два пути и что путь духовный равноценен пути физическому? Все, что вы сделали, чтобы указать ей, что жизнь — это не порыв страстей, не взлеты в красоту и падения в бездну. Вы доказали ей, что на земле труд обычного серого дня — это и есть жизнь и смысл ее. Следовательно, вы подали ей все костыли, все подпорки, все средства, чтобы она постигла, что жизнь — в самом человеке, в его доброте и простом процессе творчества. Вы сделали все для той души, что вы приняли на хранение от Единой Жизни. А как эта душа, в сочетании своих кармических путей и сил, идет по дню, примет она или нет ваши руководящие нити — это не от вас зависит. У каждого человека наступают в жизни периоды, когда дух его сбрасывает с себя оковы накопившихся

условностей. Внезапно его глаза раскрываются, и мы говорим: человек изменился. Но это не человек изменился, а в нем освободилось какое-то количество светоносной энергии, которую он затрачивал раньше на борьбу с самим собою. Как ветхое тряпье, падают сразу страсти человека, давившие мысль и сердце, и освобожденная материя его духа льется Светом на его пути. Среди множества проходимых нами таких поворотных пунктов есть в каждое воплощение у всех людей общий и неизменный кульминационный пункт. Это смерть. В этот момент раскрепощается дух человека совсем от законов земли. И нет ни одного человека, который мог бы остаться жить на земле хотя бы еще одно мгновение,

если он уже вышел из тех скорлуп иссохших страстей, которые не годны больше для творческой, созидающей жизни. Неисчислимые примеры всегда индивидуально неповторимой жизни человека сводятся все к этому одному закону вселенной: вечному движению вперед в творчестве к совершенству. Есть случаи для данного воплощения безнадежные, где иссохшие страсти так срослись с материей духа, что стряхнуть их невозможно. И тогда погибло все воплощение человека. И все же ему предоставлялось большое число случаев для освобождения, которыми он не сумел воспользоваться, и человек уходит с земли, чтобы долго учиться в своей новой облегченной форме, как надо жить на земле в следующий раз. Или, наоборот, человек уже перерос свое окружение. Отдал в труде все творческие силы и поднялся в своем духе так, что ему нужно новое тело и высшие условия внешние, чтобы иметь возможность вынести вновь свое творчество в жизнь земли. Тогда он оставляет землю, чтобы прийти на нее снова очень скоро. И в этих случаях — особо оберегаемых светлыми силами — человек возвращается не только скоро, но и условия его новой жизни на земле сливаются в ту любовь, что он сам на ней посеял в предыдущую жизнь. Не тревожьтесь, друг. Ваш случай как раз из последних. Вами отдано на земле так много любви, что она выросла уже сейчас в мощную силу и притянет ваше новое воплощение к себе. Я уже просил вас отдать все свои последние дни радости свободного понимания всего великого пути человека. Открытой дверью вашего сердца была каждая ваша встреча с людьми до сих пор. Теперь же эта дверь уже не может закрыться: в нее вступила Вечность и слилась с живущею в вас Любовью. Идите, сознательно видя весь свой путь. Идите без страха, скорби и сомнений. Гармония ваша уже не может быть поколеблена ничем земным.

Флорентиец оставил пастора и Алису, ставших почти неразлучными. Сандра и Мильдрей, часто ездившие в Лондон по поручениям всех обитателей деревни, проводили почти все свое свободное время тоже возле больного. Наль и Николай, по требованию хозяина дома, утром ходили вместе с ним в поля и леса, принимая участие в управлении имением и обучаясь сельскому хозяйству. Но каждую свободную минуту и они старались проводить с пастором.

Почти каждый вечер Флорентиец уводил Алису с собой на прогулку, оставляя Наль вместо нее с больным. И эти часы для обеих женщин были часами большого счастья. Наль, видевшая пастора редко, но любившая его как второго отца, но отца из той же плоти и крови, как она сама, тогда как Флорентийца она причисляла к людям высшего порядка, как и дядю Али, чувствовала себя с пастором гораздо проще. И все ее жизненные, бытовые недоумения и вопросы, с которыми она не решалась обращаться ни к отцу Флорентийцу, ни к мужу, находили полное разрешение у пастора. Он вперед угадывал все вопросы будущей молодой матери и умел ввести в ее сознание понимание великих законов природы, где нет места в чистой душе предрассудку стыдливости. Он умел показать ей, как в самом зачатке новой жизни мать должна думать не только о физическом здоровье, но и характере своего будущего ребенка. Он не забывал ей напоминать, каким миром она должна окружить жизнь ребенка уже теперь. От первых часов колыбели и вплоть до его семи лет стараться ничем не разбивать окружающей его гармонии в семье.

Указывая на обязанности материнства, больше всего предупреждал ее самое от безделья умственного и физического.

Алиса же в своих часах отдыха с Флорентийцем крепла не только силой духа, но и, как ей казалось, возвращалась каждый раз обновленной. Теперь вся ее психика изменилась. Она не тосковала больше о разлуке с отцом. Она легко говорила ему и себе: «До свидания». Девушка не задумывалась над тем, как произойдет это дивное чудо нового воплощения ее отца в ее собственной семье. Ей было ясно, что только ее внутренний мир, ее духовная высота и благородство важны для их будущей общей жизни. Она больше не думала о внешних факторах жизни, поняв однажды и навсегда, что внешняя жизнь приходит как результат внутренней, а не наоборот.

Однажды, поднявшись после ужина к себе в комнату, Алиса услышала легкий стук в дверь. На разрешение войти в дверях показалась Дория, принесшая ей платье к следующему дню.

— Простите, Алиса, я знала, что вы еще не спите, и решилась принести вам платье, с которым опоздала.

— Что вы запоздали, Дория, — вставая с места и усаживая Дорию рядом с собой, сказала Алиса, — это пустяки. Я отлично могла бы и совсем обойтись без этого платья. Но что вы так поздно стали засиживаться за работой, это уже не пустяки. Мы с Наль уже несколько раз вас просили больше отдыхать и ложиться раньше спать. У вас вид последние дни очень плохой. Но о чем же вы плачете, Дория?

— Я плачу, потому что только теперь увидела и до конца поняла, что я в жизни наделала. Вся моя жизнь, которую встреча с вами заставила меня переоценить, колет меня. Узнав вас, я поняла, что я никогда не любила никого до конца. Я не была верна по-истинному никому и ничему до конца и даже не была добра до конца, хотя жила только для того, чтобы делать добро, как я думала. Когда я теперь смотрю, как живете вы, я понимаю, о чем мне говорил Ананда, говоря, что я живу от ума и все ищу логических колец, которыми стараюсь окружить людей, как кольцами моей любви. И что я хочу, чтобы все ясно видели, что это кольца моей любви и доброты, которые я им усердно несу. Передо мной была раскрыта светлая дорога. Мне было

предоставлено самой выбрать и решить свой путь. Мой руководитель, дорогой Ананда, развив во мне все силы понимания вечных законов жизни, дал мне полную свободу складываться не по его указанию, а по радости того знания, которое он мне открыл. А я думала, что он мало занимается мною, предпочитая мне других. Я сердилась, ревновала, внесла целый ураган личного бунта в свои отношения с ним и с другими, кто шел за ним. Только теперь, встретив вас и узнав вашу жизнь, я поняла, что такое значат слова: «Оставь твой дом и иди за Мною». Поняла, что такое простая доброта. «Дом» не в том смысле, есть ли он у человека, как термин обывательской жизни, как таковой. Но дом в смысле мира в себе, когда человек не требует лично себе ничего от людей, с которыми живет. Дом не в условностях внешней жизни, а в великой тишине сердца, которую человек умеет хранить в себе во всяком доме, во всех столкновениях и встречах с людьми, где бы они ни происходили. Алиса, не потому вы стали сами любовью и добротой, что Флорентиец встретил вас. Но вы встретили его, потому что жили в аду вашей семьи, служа вашей сестре и матери, как простая слуга-раба, никогда не подумав потребовать от них награды за свою любовь. Теперь вы служите умирающему отцу так, точно вы провожаете его в высшую радость.

— Это действительно, Дория, так и есть. Я провожаю отца в высшую радость, радость нашу обоюдную с ним, хотя и не могу вам ничего сказать об этом. Но вы не правы, назы-

вая меня любовью и добротой. Я просто возвращаю часть того долга любви, в котором я до сих пор живу перед моим отцом. Тот же, кого вы зовете Флорентийцем, — вот он действительно только любовь и доброта. И для меня это недосягаемый идеал, к которому и приблизиться невозможно.

— Вот видите, вы причисляете вашего Учителя к людям чуть ли не другого мира. А я все хотела от Ананды равенства, не понимая, не ценя всех облегчений, которые он делал для меня, стараясь вытолкнуть меня из шор условностей, в которых я жила. Однажды я стала просить Ананду послать меня на одно из трудных дел, на которое он посылал других. Он мне доказывал, что я еще не готова. Что мои кольца от ума, где написано: «Я люблю», «Я верю», «Я не лгу», «Я иду без костылей и предрассудков», — и есть самые живые мои предрассудки. Что надо ждать, пока под радостью истинной любви упадет цепь моих колец, тогда я буду готова к урокам и поручениям. Иначе выйдет двойное горе и для меня, и для людей, с которыми я буду иметь дело. И, улыбаясь своей чарующей улыбкой, Ананда прибавил: «Мне же придется принять весь неудачный опыт вашей жизни на себя, а вам, бедное дитя, проходить все сначала. Поймите, в вас горят желания выше ваших возможностей. А победить их человек может только там, где труд его ниже его духовных сил. Там, где труд равен его духовным силам, — человек побеждает любовью и миром. В вас их нет, вы вспыхнете и... погаснете, если возьметесь за дело раньше, чем созреет ваше полное самообладание и установится гармония». Я настаивала, добивалась — и беспредельно добрый Ананда, дав мне двух помощников, не мешал мне действовать. Вероятно, вы сейчас уже угадали, как сумбурно шла моя работа, как я была требовательна к людям. Я тогда много думала о том, как я «устаю», и мало думала, что не умею дать ни отдыха, ни помощи тем людям, с которыми встречалась. Они уставали от меня, не двигаясь вперед, и я этого не понимала. Финал взятого мною на себя дела был печальный. Я вносила с собой столько личного мусора, что не могла помочь глазам людей подняться к величию реальных ценностей. Ананда, по требованию Тех, кто стоял выше него, отозвал меня. И Флорентиец, бесконечно милосердный, взял меня к себе, разделив с Анандой мой удар ему. Я слышала, как он говорил Ананде: «Ты все стараешься, чтобы люди могли идти в полной свободе так, как шел ты сам и И. Таких чудес для всех не бывает. Не ставь, от своей беспредельной доброты и смирения, слабых людей в соблазн свободного выбора, судя о них по своей колоссальной силе. Лучше давай им созревать в рамках строгого послушания. Так им легче дойти до самообладания». Не знаю, было ли бы мне так легче. Знаю только, что сейчас я пришла благодарить вас за встречу, за тот пример женской жизни, где я увидела ум, талант и благородство в полном сочетании с добротой. Радость быть подле вас помогает мне не оплакивать в пустоте свои неудачи, но заставляет мужаться, как я это вижу каждый день в вашем поведении. Какое счастье было бы для меня быть вам сейчас полезной, Алиса! Я знаю, что вы не нуждаетесь в поддержке, как я в ней нуждаюсь. С тех пор, как я увидела, что каждую минуту вы кому-нибудь нужны, все идут к вам со своими маленькими и большими делами, — мне захотелось стать вам верной слугой, как старый Артур вашему отцу.

— Дория, голубушка, вы меня уморите. Я не выдержу и расхохочусь вовсю, пожалуй весь дом перебужу. Вы есть и будете и мне, и Наль лучшей подругой, лучшей наставницей и чудесной теткой первенцу Наль. Довольно вам быть смиренной слугой. Лучше, вернее, честнее и скромнее вас в сказке о рыцаре-слуге выдумать нельзя. Пока вы не выйдете замуж...

— Нет, Алиса, я дала обет полного целомудрия, и эта сторона жизни не существует уже для меня.

— Быть может, это очень эгоистично с моей стороны, Дория, но тогда ничто уже не разлучит нас с вами, и у каждого из моих детей будет по две матери, чему я не могу не радоваться.

Девушки расстались не скоро. Дория рассказывала Алисе об Ананде, о его голосе, красоте, о его игре на виолончели.

— Представляю себе, что бы это была за музыка, если бы вы играли и пели вместе с ним. Когда он поет — точно мечом разрезает ваше сердце, и падает в нем все мелкое. Что-то не от земли, как и в голосе Флорентийца, есть в пении Ананды... И вот, Алиса, я была подле такого человека. И там я искала пятен на платьях людей, вместо того чтобы нести им радость. Я жила подле Ананды, у моря, в такой

неописуемой красоте природы. И вместо наслаждения его обществом, вместо старания передать всем его мудрую помощь, я все сравнивала свою судьбу с жизнями всех окружающих, считая, что Ананда мало внимателен ко мне.

— Все это в прошлом, моя дорогая, — обнимая плачущую Дорию, сказала Алиса. — Теперь ваш опыт дал вам знание своих сил. Теперь вы, подле лорда Бенедикта, нашли новую, необходимую вам энергию и, конечно, рано или поздно, снова встретитесь с Анандой.

— Вы думаете, Алиса, это возможно?

— Не представляю себе, как было бы возможно иначе, Дория. Ведь люди такой высоты, как Ананда, Флорентиец и, вероятно, многие другие, о ком я не знаю, живут только для того, чтобы помогать людям, всем без исключения. Как же могут они, видя ваши усилия, оставить вас без помощи? Нельзя быть наполовину преданной, потому что это не преданность сердца, а просто компромисс. Но сейчас вы уже не можете никого любить наполовину. Вы даже Наль и меня принимаете целиком, какие мы есть, со всеми нашими качествами. Я уверена, что для вас наступает новая жизнь, в которой вы убережете многих от страданий и ошибок, так как сами прошли через бездну человеческого горя.

Девушки вышли на балкон, где, к их удивлению, уже сияло утро.

— Что же я снова наделала! Для вас, Алиса, каждая капля сил важна, а я отняла у вас ночь.

— И поэтому потрудитесь немедленно сварить мне и Алисе шоколад и принести его сюда под дуб, — раздался голос Флорентийца, сидевшего на скамье против балкона Алисы. — А ты, Алиса, сходи сюда, теперь спать уже поздно.

Сконфуженные девушки разошлись, и через минуту Алиса была подле Флорентийца.

— Дитя мое, дни пробегают быстро, скоро конец и теплу. Не сегодня-завтра надо ждать, что отец твой покинет нас. Мужайся, дочь моя, — необычайно ласково говорил Флорентиец. — Помни, как мы с тобой говорили не раз, что иметь какие-то понимания и не уметь воплотить их в жизнь — это значит не иметь никаких истинных пониманий, а только темнить свой трудовой день сумбуром суеты и страстей. Еще одна страдающая душа открыла тебе свои раны. И еще раз ты убеждаешься, что везде своя Голгофа.

— Лорд Бенедикт, благословен день, когда я встретила вас. Я, как и мой отец, могу сказать: жизнь стала иною, стала сказкой и радостью со встречи с вами. Я буду стараться

быть достойной того, кто мне сейчас говорит: «Дочь моя», — и заменяет мне уходящего отца. Не осудите слабую дочь свою, если глаза ее все же прольют слезу. То будет только слеза благоговения и полного принятия жизни именно такою, какой она мне дается.

Дория подала шоколад, сконфуженно не поднимая глаза.

— Сядь, Дория, с нами. Почему же ты себе не принесла шоколада? Или ты еще не чувствуешь, что твой урок слуги кончен? Благодарю тебя за усердие, за ту ласку и доброту, с которыми ты несла свой урок слуги и которые ты проявила ко всем моим делам. Спасибо тебе, друг Дория. После смерти и похорон пастора мы все скоро уедем в Америку. Планы мои были несколько иными, но за короткое время они уже второй раз меняются. Каждый из нас должен гибко приспособляться к зову жизни и внимательно прислушиваться к нему. Ты, дорогая дочь моя Дория, осознала все свои ошибки и главнейшую из них: требовательность к людям. Ты уже поняла свое место во вселенной, смирение твое помогло тебе окончить урок скорее и легче, теперь ты будешь жить здесь общим другом, дочерью моею, членом нашей семьи. Не раздумывай, как, каким путем доберешься ты снова до Ананды. Делай каждое дело текущего дня до конца. Делай все любя, как делаешь сейчас. И сама жизнь развяжет и свяжет тебе новые нити, о каких ты не предполагаешь сейчас.

Флорентиец обнял Дорию, посадил ее между собой и Алисой, отер слезы с ее глаз своим чистым, свежим платком и пододвинул ей свою чашку шоколада.

— Пей, дружок, — сказал он, поглаживая ее по голове, как ребенка. Дория приникла к нему, а к ней прильнула Алиса, радуясь счастью подруги больше, чем могла бы радоваться за себя.

— Я все могла бы вынести спокойно и без слез, — почти шепотом сказала Дория. — Но то, что вы сказали мне: «Спасибо», — это меня совсем выбило из самообладания. Ваше милосердие уже однажды спасло меня. Теперь я увидела, что и предела ему нет. Одно это слово обрубило все канаты личных моих желаний навеки. Оно точно выстроило мост любви из моего сердца навстречу каждому человеку. Я больше не смогу думать о себе. Но только о тех, кого, где и как пошлет мне жизнь, чтобы утешить и обласкать каждого.

— Хорошо, дитя. Пей же свой шоколад и пойди помоги Артуру. Смени его при больном. А ты, Алиса, прими эти капли и пойди спать. Дория разбудит тебя через три часа, и ты сменишь ее тогда у постели отца.

Через несколько минут Дория вошла в комнату пастора. Больной тихо спал, проведя тревожную ночь. Артур сидел в кресле, подперев голову руками. Теперь, когда никто на него не смотрел, старый слуга предавался своему отчаянию. Скорбные глаза его были полны слез. Бледное лицо осунулось. Он был строг и печален. Обычной ласковой улыбки, с которой он говорил с пастором и Алисой, не выдавая им своего горя, не было и в помине. Увидя Дорию, Артур встал, смахнул слезу с лица. Он хотел пододвинуть ей кресло, но Дория, приложив палец к губам, указала ему на балконную дверь и тихо вышла вон из комнаты. Через несколько минут она вернулась, неся завтрак на подносе, который поставила на стол на балконе, и жестом вызвала Артура из комнаты. Она усадила его и заставила кушать.

— Леди, я не могу есть. Я совсем потерял не только аппетит, но весь смысл жизни для меня кончен.

— Я уже много раз вам говорила, чтобы вы не называли меня леди, что я такая же слуга, как вы.

— Быть может, леди Дория, вы сейчас и находитесь в положении слуги. Но я хорошо знаю, что такое леди и как ведут себя не леди в жизни. Вы поступаете как истая леди, и манеры ваши — тоже манеры леди. Поэтому я звал, зову и буду звать вас леди, хотя бы для всех остальных вы были простой слугой. Мой дорогой пастор всю жизнь учил меня своим поведением, как надо всматриваться в сердце человека и уметь уважать его за его страдания и доброту, а не за занимаемое им положение в свете. Вы все улыбаетесь, леди Дория, как и моя дорогая барышня, леди Алиса. Но вряд ли ваша улыбка пришла из меньшего страдания, чем ее. Только она кротка всегда была, и ее милосердие ей ангелы в колыбели дали. А вы, леди Дория, вы горды очень, и для вашего милосердия семь злых фей победить было надо. Вы простите меня за мой разговор. Я ведь неученый. Добрый пастор много сделал для меня и помог кое-какому образованию. Вообще, я не посмел бы так говорить с вами, но перед лицом наступающей смерти всего самого дорогого для меня — все мне кажется несущественным, кроме одной только любви к человеку. Сейчас конец не только жизни пастора, конец и мой. У меня больше нет ничего, для чего бы я желал жить.

— А разве Алиса и ее жизнь для вас безразличны, Артур?

— Нет, конечно, мисс Алиса любима и уважаема мною очень глубоко. И не только за ее любовь к отцу, но и за ее душу, чистую и честную. Но у нее будет своя жизнь, и мне там не может быть места. Даже сейчас, когда я мог бы ей быть хоть до некоторой степени утешением, — она настолько сильна, что и этого ей не надо.

— Вы очень ошибаетесь, Артур. Вы не только теперь ей нужны, но будете нужны чрезвычайно и дальше. Вы только не можете сейчас понять, где и в чем Алиса находит свои силы для ровности и выдержки и отчего ее сердце не рвется так от боли, как ваше.

— Мисс Алиса еще очень молода, леди Дория. Молодость легче идет вперед, а нам, старикам, хода вперед уже нет. У нас одна могила.

— Вот в том-то вся разница между вами, Артур, и Алисой. Алиса знает, что человек всегда идет вперед, что смерть временного тела не нарушает вечной жизни его духа. А вы считаете, что жил человек, о чем-то думал, что-то вынашивал и создавал, а потом умер — и сразу все в нем изменилось. Или он попал в рай, или в ад, вдруг стал сразу святым или остановился в грехах. Но в жизни нет скачков. Все идет вперед, ни на минуту не останавливаясь. И если сегодня пастор закроет глаза — это не значит, что связь ваша с ним разорвалась. Это значит только, что ваша жизнь еще должна служить ему на земле. Он ушел и будет невидим для вас. Но он оставил вам свой завет, в котором скажет вам не только свою волю, но и ту часть истинной жизни, что он сам понял не так давно. Не надо горевать, Артур, надо радостно провожать друга, потому что ему будет трудно собирать свое мужество, уходя с земли, если он будет видеть вашу скорбь. Верьте, я знаю, что он оставит вам заветное письмо, из которого вы поймете свое счастье жить после него. Но, по некоторым условиям, он может передать вам его через лорда Бенедикта только после своей смерти. Бодритесь же сейчас, верьте и ждите без сомнений. Лорд Бенедикт велел вам скушать эти две конфеты и идти спать. Я посижу здесь и разбужу Алису, когда вы оба отдохнете.

Артур, неотрывно глядевший в лицо Дории, молча проглотил конфеты, поцеловал протянутую ею руку и, захватив поднос с недоеденным завтраком, молча вышел из комнаты.

Дория села у кровати и посмотрела на лицо пастора. Бледное лицо, преждевременно состарившееся, прорезанное глубокими морщинами. Лицо, носившее следы огромного утомления и страдания. Дория вспомнила, как Артур и Алиса рассказывали ей раз, что

пастор был очень красив и строен, что он, смеясь, сжигал женские письма целыми пачками, приходившие к нему с каждой почтой. Теперь лицо еще было красиво, а когда пастор думал или о чем-либо вдохновенно говорил — оно бывало прекрасно. Но это лицо говорило уже всему земному: «Прощай». Дория думала обо всей жизни пастора, о всех его желаниях, борьбе, неудачах и слезах. Как мало было у этого человека личного счастья! И все же он вносил всюду с собой мир, всем дышалось легче от его присутствия и доброго слова. Только в его собственной семье его не уважали, не принимали его указаний, не желали его мира. Теперь кончается эта жизнь труда и трудностей, не доведенных до конца дел, потерянных возможностей что-либо исправить. «И всегда люди, — думалось Дории, — проходя по земле, теряют половину ее ценности в слепых предрассудках. А когда наступает последний час — человек не готов к этому последнему зову».

Пастор проснулся и улыбнулся Дории.

— Как это странно, я не знал, что вы сидите здесь. Я видел вас во сне, и мне снилось, что я читаю цепи ваших мыслей. Вы думали сначала о всей моей жизни, а потом о людях вообще, о том, что они никогда не готовы к смерти. Было ли это так на самом деле? Вы именно об этом думали?

— Да, сэр Уодсворд, я об этом думала, и меня очень удивляет, что вы отгадали мои мысли.

— О, нет, Дория. Я плохой отгадчик. Я просто читал слова, как бы окружавшие вашу голову. Но как я долго спал. А где моя Алиса? Мне не хотелось бы расставаться с ней сегодня.

Раздался стук в дверь, и вошел лорд Бенедикт. Он отпустил Дорию, сам дал пастору лекарство и сел в опустевшее кресло подле его постели.

— Вы просили меня, дорогой друг, помочь вам утешить Артура. Я пришел теперь исполнить вашу просьбу. Вот вам бумага и конверт, вот вам доска, чтобы вы могли писать ему ваше последнее письмо лежа. Я счастлив, что могу выполнить не только вашу просьбу, но и передать вам огромную радость: ваша следующая жизнь снова пройдет вместе с Артуром. Вы оба будете братьями, оба родитесь в семье Алисы. И Артуру будет двойное счастье, так как он будет жить до тех пор, пока вы не сойдете снова на землю. Его руки примут ваше новое тело, он доведет вас до семилетнего возраста, а затем уйдет, чтобы стать вашим самым младшим братом, которому вы, в свою очередь, вернете все его заботы и услуги этого воплощения. В письме к Артуру напишите ему обо всем этом, а я и Дория объясним ему все, чего он не сможет понять.

Пастор, уже наполовину отошедший от земли, писал свой последний завет Артуру с большим трудом. Флорентиец помогал ему. Часто он поддерживал его руку, давал ему подкрепляющие капли — и все же пастор так устал к концу письма, что даже капли холодного пота покрыли его лоб. В этом же письме он извещал Артура, что оставляет ему денежный вклад, который ему передаст также лорд Бенедикт.

— Поистине, это уже мое последнее письмо, лорд Бенедикт. Я предчувствую, что и день мой — тоже мой последний земной день сегодня. Мне хотелось бы провести его с Алисой и Артуром. Если бы я смел, я прибавил бы: «И с вами».

— Я уже пришел, мой друг, чтобы не отойти от вас до последнего мгновения. А Алиса и Артур оба придут вскоре. Теперь вы уже настолько отошли от физического плана, что стоит вам глубоко сосредоточиться на человеке — и вы будете в силах читать его мысли. И в то же время, сосредоточиваясь на Любви, которую вы зовете Отцом, вы сможете выйти из своей физической скорлупы, безболезненно оставив этот мир и пройдя прямо в

план духовный. Каждый человек идет с земли туда, где он привык трудиться, откуда он привык переносить свой труд духа и огня в плотные формы и покровы земли. Вы привыкли жить и трудиться в духовном плане. Теперь эта привычка создала вам рельсы для прямого путешествия туда. Проститесь с Алисой и Артуром, благословите их как будущих сына и мать. Проститесь с Сандрой и Мильдреем и... прочтите, кто из них будет Алисе мужем, и сами соедините руки будущих мужа и жены, в семью которых вы придете старшим сыном.

Лорд Бенедикт подал пастору пилюлю и спустился вниз, велев разбудить Алису и Артура. Он отнес письмо пастора в свой кабинет, где запер его в секретный ящик письменного стола и возвратился в комнату пастора. Через некоторое время туда вошел Артур, вслед за ним Алиса. Казалось, оба поняли совершавшуюся в пасторе перемену. Пастор попросил приподнять его на подушках, взял руки Артура и тихо сказал ему:

— Ты никогда не был мне слугою. Ты был мне другом, братом, нянькой, матерью ты заменял мне всех родных. Не тоскуй и не плачь, что я ухожу раньше тебя. Подумай, как бы я жил без тебя, если бы ты ушел раньше меня. Ведь я и выжил-то на земле так долго только благодаря твоим заботам и вниманию подраставшей Алисы. Сейчас я не могу тебе сказать всего того, что хотел бы. Но когда я умру, лорд Бенедикт даст тебе мое письмо. Из него ты окончательно поймешь то, что я говорю тебе сейчас, поймешь свое новое счастье. Теперь мой завет тебе: не плачь, будь добр, как был всю жизнь, и жди меня в ее доме.

Пастор вложил ручку Алисы в руку Артура, и обе их руки покрыл обеими руками лорд Бенедикт.

— Служи лорду Бенедикту, как служил мне. И навеки внеси его имя в свое сознание, врежь в свое сердце.

В комнату вошел Сандра. Как ни был он подготовлен Флорентийцем и шел сейчас сознательно проститься с пастором, его лицо передернула судорога, когда он увидел, как сильно изменился умирающий. Сандра опустился на колени и закрыл лицо руками. Пастор положил ему на голову руку и сказал:

— Мы с вами часто говорили, мой друг, о ценностях земной жизни. И вы разделяли мое мнение, что вся красота человеческого существования в гармонии сил самого человека. Нет одиночества для тех, кто носит в себе сердце и мысль свободными от предрассудков. О чем сейчас плачете? Ведь если ничто из моих мыслей и моей любви не осталось в вас, как способы ваших действий в обычном дне, то дружбе нашей конец и мы разлучены. Если же я сумел так любить вас, что моя любовь раскрыла в вашем сознании возможность двинуться выше к совершенству, мы непременно встретимся еще, потому что ваша живая деятельность притянет вновь мою энергию любви. Не забывайте, что самые важные встречи человека — это его встречи с детьми. Обращайте больше внимания на них — мы никогда не можем знать, кого мы встречаем в ребенке. Идите, друг, мужайтесь. Не оставляйте дома лорда Бенедикта и бойтесь рыжих женщин. Вам они могут принести слишком много зла.

Лорд Бенедикт поднял Сандру, довел его до дверей и велел ему послать лорда Мильдрея проститься с пастором. Алиса стояла на коленях возле отца, когда вошел лорд Мильдрей.

— Сюда, друг, скорее, я уже плохо вижу земное, — сказал пастор. — В ваших мыслях я читаю, как вы желаете мне проходить дальше и выше, забыть о земле и относиться к ней только как к очагу любви, которая льется для меня из нескольких сердец. Вы стараетесь всем напряжением сердца перелить в меня мужество и мир. Спасибо. Я понял сейчас, как глубока и чиста ваша любовь ко мне и Алисе. Мне будет хорошо вновь жить в той мирной

семье, которую вы создадите с Алисой. Будьте благословенны. Отдаю вам дочь мою как жену и мать вашим будущим детям. Не покидайте дома лорда Бенедикта и живите с Алисой так и там, как он вам укажет.

Пастор соединил руки Алисы и Мильдрея. И лорд Бенедикт снова покрыл и эти соединенные руки своими руками.

— Еще раз будьте благословенны, живите в мире и идите по дню радостные, любимые и любящие.

Пастор уронил голову, тело его дрогнуло, вытянулось — он умер мгновенно. Лорд Мильдрей встал с колен, поднял Алису и посмотрел на Флорентийца, все еще державшего их руки в своих.

— Я принял волю умершего друга всю до конца, — сказал он. — Для меня есть один путь, лорд Бенедикт: следовать за вами. Когда вы найдете час и место подходящими для нашего брака — вы скажете о том мне и моей будущей жене. Теперь я понял, почему вы дали мне браслет с зелеными камнями. Если леди Алиса принимает волю отца и вашу — вот он, ваш браслет, я с ним не расставался с той минуты, как его получил. Пусть ваша рука наденет ей браслет.

Алиса протянула лорду Бенедикту свою руку, говоря:

— Единая и светлая Жизнь пусть будет светлым счастьем в той семье, что нам суждено создать. Я с благоговением принимаю волю отца моего, и ваш браслет поможет мне охранить жизнь моих будущих детей. Я постараюсь быть любящей женой и матерью, вы же не оставьте нас и будьте и дальше нам отцом.

Флорентиец надел браслет ей на руку, обнял ее и Мильдрея и сказал последнему:

— Отведите Алису к Наль, передайте обеих женщин Николаю и возвращайтесь сюда.

Всю хлопотливую сторону дела официальных похорон пастора, перевоз тела в Лондон и извещение Дженни и леди Катарины взял на себя Мильдрей. У Сандры поднялась так сильно температура, что к нему пришлось выписать доктора. Наль и Николай не отходили от Алисы, Дория же не покидала Артура, который напоминал автоматически двигающуюся фигуру.

Трудные моменты встречи Алисы с сестрой и матерью были значительно ослаблены, так как происходили все время на большой толпе народа, все время в ближайшем обществе Наль и Николая. Пасторша попробовала было высокомерно заявить лорду Бенедикту, что она требует, чтобы дочь ее Алиса переехала в ее, леди Катарины, дом. Но под острым взглядом собеседника, напомнившего ей, что дом есть только у леди Алисы Уодсворд, сразу остыла. Лорд Бенедикт сказал ей, что есть завещание пастора, приказавшего Алисе жить не у матери, а у него.

— Вам прочтут завещание завтра, в двенадцать часов дня, в доме Алисы и вручат копию с него. Что же касается совместной жизни вашей с Алисой — об этом и думать нечего. Вы сами знаете, как третировали дочь и были безобразно несправедливы к ней. Я все сделал, чтобы обеспечить вам безбедное существование до старости. Но если вы пойдете путями зла и низости — жизнь ваша и вашей дочери Дженни будет ужасна по силе своих несчастий. Подумайте об этом еще раз, раньше чем начинать те адские проекты, о которых теперь мечтаете. Еще есть время. Еще можете остановиться. Поищите в своем сердце истинной материнской любви, а не суррогата купли-продажи, который считаете любовью.

Так завершился целый период жизни людей, разошедшихся или сошедшихся на сцене земли у могилы пастора.

Глава 7

Болезнь Алисы. Письмо Флорентийца к Дженни. Николай

Леди Катарина и Дженни, получив срочное известие о смерти пастора, были поражены не самим фактом этой смерти, которой обе ждали, отлично зная, что болезнь его смертельна, но быстротой наступившего конца, которого они ждали года через два-три.

В первые минуты Дженни требовала немедленного возврата в Лондон. Но леди Катарина отговаривала дочь сначала под разными предлогами, говоря, что дневной дилижанс уже ушел, а с вечерним ехать почти всю ночь небезопасно. Да и с каким помятым видом они появятся на глаза толпы людей, которая, конечно, притащится провожать своего любимого пастора.

Казалось бы, теперь, после расставания навек с человеком, вытащившим ее из клещей бедности и подневольной жизни, создавшим ей уют и обеспеченное существование, могло бы раскрыться и самое черствое сердце для простой благодарности человеку. Но слова пасторши о муже звучали ядом и ненавистью. Вся зависть к его доброте, вызывавшей ответную любовь людей, теперь вырывалась желанием отомстить и поиздеваться над всем, что касалось его. Когда Дженни продолжала настаивать, пасторша ей сказала:

— Пойми же, если мы явимся сейчас — на нас лягут все хлопоты. Если приедем к похоронам, все будет сделано без наших забот. Алиса наслаждалась обществом папеньки в роскоши у лорда Бенедикта — пусть теперь и позаботится обо всем. Мы же с тобой посвятим день хлопотам о траурных туалетах. Здесь это будет дешевле и скорее. Кстати, извещение сделано от лица Бенедикта, но подписано: Амедей Мильдрей. Не могу понять этой подписи. Секретарем он быть не может, так как Мильдрей остался только один из всего их рода. И теперь он самый богатый и знатный жених Лондона. Что ему там делать в деревне? Уж не графиня ли магнит?

Обменявшись еще несколькими приятными замечаниями такого же рода, обе дамы вышли в город с целью заказать траурные туалеты. На следующее утро, облаченные, как полагается, по строжайшему этикету траура, мать и дочь с первым же дилижансом выехали в Лондон, оставив известие своим поклонникам и новым знакомым о скорбном событии в их семье, вызвавшем их экстренно и сломавшем их приятную жизнь у моря.

Как и рассчитывала пасторша, они подоспели к выносу гроба на кладбище и к бесконечному количеству речей. Море бедняков, из которых многие горько оплакивали потерю своего друга и всегдашнего заступника, сопровождало пастора в его последнем земном пути. Хотя и Дженни и леди Катарина видели всю жизнь любовь народа к пастору, но только сейчас они поняли размеры этой любви и популярности пастора. А когда стали подавать свои венки, цветы и говорить речи всевозможные ученые и благотворительные общества, когда богадельни и детские дома стали называть суммы, которыми ссужал их пастор, — у леди Катарины чуть не сделался тут же удар. Она простить не могла, что пастор жил и содержал семью так скромно, а благотворил, точно миллиардер.

Среди венков выделялся серебряный венок Артура, на который старый слуга затратил большую часть своих сбережений, а также венки Алисы и семьи лорда Бенедикта, и надпись на всех этих венках была одинакова: «До скорого свидания». Дженни была удивлена этой надписью. Если Артур собирался вскоре последовать за пастором, то цветущим представителям семьи лорда Бенедикта, как и ему самому и Алисе, какой был смысл писать «До свидания», да еще до скорого?

Все время длинной церемонии речей Дженни не могла глаз оторвать от Алисы, которая очень изменилась за этот сезон, и особенно за лето и осень. Она точно выросла, покрупнела и не производила больше впечатления заморенной девочки-подростка. Стоя рядом с Наль, она не уступала ей ни в росте, ни в стройности, ни... в красоте. Так должно бы было сказать сердце Дженни, если бы оно было справедливым.

Ни разу мысль Дженни не сосредоточилась на отце, на том прощании, при котором она присутствует. Она смотрела на сестру, поражалась всем ее видом, и зависть еще больше росла в ней. Возвратившись домой без Алисы, хотя у них было решено, что они привезут Алису домой прямо с кладбища, утолив свой аппетит и не имея возможности куда-либо пойти в первый день траура, мать и дочь принялись обсуждать проекты будущей жизни. Они решили прежде всего переместиться из своих комнат. В кабинете пастора и его спальне будет жить Дженни, в зале будет комната матери, в комнате Алисы будет уборная и шкафная, а Алиса, если удастся ее вернуть, будет жить в комнате Дженни. До следующего дня, до двенадцати часов, когда им приедут читать завещание пастора, оставалось ждать целый вечер и утро. Если бы комнаты пастора и Алисы были открыты, можно было бы сейчас же начать переустройство дома. Но идиотически глупый Артур не только запер их двойным замком, но еще наложил и железные болты, снимавшиеся с большим трудом и тоже запертые на замок. Нетерпение Дженни и пасторши было так велико, что они решили известить Алису письмом о своем решении. Дженни пошла к себе писать сестре, а пасторша отправилась поспать, что она могла делать во все часы суток.

«Милая Алиса, — трафаретно начала Дженни свое письмо, — по всей вероятности, завтра, когда нам прочтут завещание отца, или же на днях ты переедешь домой. Чтобы не особенно удивить тебя изменениями, которые ты найдешь дома, я пишу тебе о них.

Самой лучшей частью дома я считаю комнаты отца. Теперь они освободились, и туда перееду я. Моя комната несколько темновата, но так как ты проводишь свои дни за шитьем или в саду, то тебе это все равно, а потому ты займешь мою комнату. В твоей мы устроим туалетную и шкафную, а мама переедет в зал. Наша жизнь, как ты, я думаю, не

сомневаешься, пойдет теперь совершенно иначе. Мы с мамой откроем журфиксы и вообще будем принимать наконец тех людей, общество которых соответствует нашему положению. Ну, изредка можно будет устраивать и музыкальные вечера, так как всюду находятся одержимые музыкальной манией люди. Тогда можно будет позволять и тебе немного побарабанить.

Кстати, скажи, пожалуйста, где ты взяла фасон твоего и графини траурных костюмов? Он так увеличивает рост и делает всю фигуру крупнее и стройнее, что я тебе заказываю, в первую голову, сшить мне точно такой же костюм. Что именно ты шила костюмы и сделала обе шляпы, в этом ты можешь обмануть кого угодно, но не мой глаз знатока этих вещей. Даже такая бедненькая дурнушка, как ты, выглядела неплохо на кладбище. Вот видишь, как я справедлива. Всеми признаваемая красавица, я все же признаю, что шляпка помогла тебе быть интересной.

Я надеюсь, что твоя графиня подыщет себе наконец швею вместо тебя. Ты нужна нам с мамой дома. И если отец потакал твоим капризам, то теперь его нет и все это должно кончиться. Ты несовершеннолетняя, помни об этом. Я тебе передаю мамину волю. Завтра ты приедешь на чтение завещания и больше не покинешь нашего дома. Остается не так много часов до этого знаменитого момента. Надеюсь, наш чудак отец не натворил каких-либо бед. Довольно мы вытерпели от его чудачества при его жизни, чтобы он преследовал нас ими еще с того света.

Вели старому дурню Артуру привезти ключи от комнат отца и твоей. Из-за его глупости наше общее переселение не может совершиться немедленно, так как он запер их на болты. Обычно письма заканчивают передачей приветов хозяйской семье, но уж лучше я обойдусь без этой церемонии.

Твоя сестра Дженни».

Алиса, лорд Бенедикт, Артур и Мильдрей оставались дольше всех у могилы, отправив остальных спутников с более ранним поездом обратно в деревню. Только посадив собственноручно цветы на могиле, Алиса и ее друзья ушли с кладбища и возвратились в деревню. Попав в свою комнату, Алиса почувствовала такое физическое утомление, что должна была лечь в постель, так как все кружилось у нее перед глазами. Дория сказала Наль о болезни Алисы, та прибежала сейчас же к подруге и, испуганная ее бледностью и слабостью, бросилась к лорду Бенедикту.

Через несколько минут Флорентиец был уже в комнате Алисы. Внимательно осмотрев заболевшую, находившуюся как бы в полусознательном состоянии, Флорентиец сказал Наль:

— Тебе и Николаю надо будет провести сегодня ночь здесь, так как Дория очень утомлена. Ничего опасного нет, но неделю или дней десять Алисе придется полежать. У бедняжки очень много сил духовных, но пока еще очень мало физических. Нам с тобой, Николай, придется много и длительно заниматься восстановлением физической стороны этого надорванного в детстве организма. Чтобы довести до полной гармонии сил этот проводник, надо будет прибегнуть ко всем способам физических методов лечения и к некоторым видам спорта. Сейчас идите вниз, обедайте без меня, я побуду с Алисой. А затем вернитесь сюда, устройтесь поудобнее на ночь и разделите дежурство пополам. Каждому из вас я дам точные указания. Не бойся, Наль. Никакого воспаления мозга или нервной горячки здесь нет. Алиса только дошла до изнеможения в уходе за отцом, но это неопасно.

Успокоенные, Наль и Николай сошли вниз, где был первый невеселый обед в доме лорда Бенедикта, без него самого, без пастора и без Алисы. Наль передала слова Флорентийца об Алисе Сандре и Мильдрею, а также его просьбу подождать его в столовой; как только Наль и Николай сменят его, он сойдет к ним. Быстро покончив с обедом, за которым все делали вид, что едят и пьют, молодожены поднялись снова к Алисе, где застали ее в жару и бреду, а Флорентийца за приготовлением маленьких доз лекарств и питья. Договорившись, что Наль будет дежурить первую часть ночи, а Николай — вторую, Флорентиец подробно объяснил каждому их долю работы. Затем, строго приказав Дории и Артуру, рвавшимся разделить труд ухода за Алисой, идти спать, он объяснил им, что их очередь будет завтра. Бессонных ночей у постели Алисы будет немало, и надо всем соблюдать строгий режим, если хотят и больную выходить, и приготовить все к переезду в Лондон без осложнений и лишних замедлений.

Возвратившись в столовую, лорд Бенедикт от обеда отказался, но выпил с Сандрой и Мильдреем черный кофе, чашки которого дымились перед ними. Пригласив их к себе в кабинет, он сказал:

— У меня к вам обоим, друзья, большая просьба. Завтра, в двенадцать часов, в квартире пастора будет оглашено его завещание. Я думал сам с Алисой присутствовать при этом юридическом акте. Но болезнь Алисы помешала моему пла-

ну. Мне нужны два свидетеля, которые могли бы заменить меня и Алису. Если вы согласны, я напишу обоим вам доверенности, в юридической конторе вам их заверят, и вы привезете подлинное завещание пастора мне, а копию отдадите его жене. Кроме того, вот здесь письмо Алисы — владелицы дома, — которое вы тоже огласите завтра после прочтения завещания. Оно также в двух экземплярах. Подлинное вы привезете мне, а заверенную копию отдадите сестре Алисы. Вас не затруднит исполнение моей просьбы? В частности, ты, Сандра, ведь только что выздоровел.

— Как только вы можете спрашивать нас об этом, лорд Бенедикт? — со свойственной ему горячностью сказал индус, отвечая за обоих. — Я совсем здоров.

Дав им указания о юристах, сказав, что экипаж будет их ждать на вокзале в Лондоне, лорд Бенедикт отпустил своих друзей, попросив Сандру прислать к нему Артура. Когда старый слуга вошел к Флорентийцу, он стоял и держал в руке письмо и портрет.

— Пастор просил меня, Артур, передать вам его детский портрет, принадлежавший его матери. А в этом письме он передает вам свой последний завет.

Флорентиец подошел к Артуру, положил ему руки на плечи и, глядя ему в глаза, ласково продолжал:

— Если что-либо будет вам неясно, спрашивайте меня обо всем. Чудес в жизни нет, Артур. Есть только знание. И тот, кто знает, что жизнь вечна, не боится смерти. Нет смерти — есть только труд, великий труд вечного совершенствования. Каждый человек живет много раз, и каждая его жизнь — труд, из века в век переходящий.

Исключительные качества верности и любви людей создают им и исключительную жизнь. Так, ваши безмерные и бесстрашные верность и любовь к пастору создали вам и дальше неразрывную жизнь с ним. Вы будете его братом. Будете снова жить в одной семье, и не вы будете опекать его, а он вас. Будьте сейчас спокойны, живите при Алисе и при мне, и постепенно мы объясним вам все, что будет казаться вам странным и непонятным. Будьте счастливы, Артур, берегите силы. Вам надо прожить еще много лет.

Флорентиец обнял плакавшего Артура и проводил его до дверей. Оставшись один в своем кабинете, лорд Бенедикт сел за письменный стол и взял лист бумаги для письма. Глаза его сделались огромны, сила взгляда, казалось, прожигала пространство, куда он смотрел. Вся его фигура, точно скульптурная форма, замерла в выражении напряженного внимания и сосредоточенности. Весь окружающий мир как бы перестал для него существовать. Вся его воля перелилась в какую-то одну мысль. Он не двигался и все же был действием, активнейшим духовным единением с кем-то, кому посылал свою мысль. Наконец он взял перо и написал:

«Дженни, я обещал Вашему отцу, что после его смерти постараюсь сделать для Вас все, что будет в моих силах. Но для того чтобы иметь возможность сделать что-либо для человека, надо не только самому иметь для этого силы. Надо, чтобы и тот человек желал принять подаваемую ему помощь и умел владеть собой, своим сердцем и мыслями, умел хранить их в чистоте и проводить весь свой день так, чтобы приводить организм в гармонию. Нельзя и думать принести помощь тем людям, которые не знают радости, не понимают ценности всей своей жизни как смысла духовного творчества, а принимают за жизнь те бытовые удобства и величие среди себе подобных, которые приносят деньги.

Нет людей абсолютно плохих. Никто не рождается разбойником, предателем, убийцей. Но те, в ком язвы зависти и ревности, жадности и скупости разъедают их светлые мысли и чистые сердца, катятся в яму зла сами, куда их привлекают их собственные страсти. Разложение духа совершается медленно и малозаметно. Вначале — ревность и зависть, как ржавчина, покрывают отношения с людьми. Потом, где-то в одном месте сердца, она проедает дыру. Начинается над ней скопление зловонных отбросов разлагающегося духа — а там начинается и капель гноя. Дальше потечет его струя. И все, что прикасается к человеку, так живо разлагающемуся в своих мыслях, все понижается в своей ценности, если не сумеет охранить себя от заразы. Если же сердце само по себе уже носит зловоние зависти, страха и ревности — оно, встречаясь с более сильной ступенькой зла, подпадает всецело под его власть.

Подпав под власть зла однажды, человек уже не может освободиться от него. Сегодня, в первый день, который Вы прожили в доме отца без него, — чем занимались Вы, Дженни? В честь его, так много любившего, так много ласкавшего Вас, так усердно учившего Вас всему прекрасному, — какой прекрасный памятник вашего духа Вы создали и поставили для счастья людей? Какой дар красоты Вашего сердца Вы подали людям сегодня? Кому, в память отца, стало сегодня легче и проще жить именно потому, что он получил от Вас утешение? Быть может, хотя бы для единственной сестры у Вас нашлось ласковое слово и Вы послали ей его как старшая, как более сильная, желая утешить и ободрить маленькую сестренку, с таким трудолюбием служившую Вам всю жизнь?

Быть может, из того капитала, что завещал Вам дед получить после смерти отца, Вы решили наградить пенсией старого слугу Артура, как ближайшего друга и слугу почившего отца? Быть может, Вы решили трудиться и привести в систему рукописи Вашего отца, значение которого в науке Вы поняли из произнесенных у гроба речей? Быть может, теперь не только эпитет чудака дает Ваше сердце ушедшему отцу? И Вы хотите провести в жизнь его идеи творчества и отдать их миру, влив в них и свой труд? Оглянитесь на себя, Дженни, есть еще много возможностей начать новую жизнь. Где у Вас живут сейчас одни страсти, там могут засиять творческие силы. Но если Вы остановитесь, если дух Ваш не будет двигаться вперед, освобождаясь от мелочи предрассудков, если лень и безделье, вечная праздность и поиски развлечений войдут систематически в Вашу жизнь — зло не только подкрадется к Вам, оно охватит Вас таким кольцом шипящих змей, что уже никто не будет в силах подать Вам руку помощи, если бы Вы даже сами просили об этом.

Перевернуть страницу жизни и легкомысленно сказать: «Баста», — это самое простое из всех ленивых возможностей существования. А перевернуть ее так, чтобы сказать: «Твори», — для этого надо всего себя привести прежде всего в полное самообладание. Человек, не умеющий быть господином самого себя и все время переживающий пароксизмы раздражения, приступы бешенства и мук зависти, — это не человек. Это еще только преддверие человеческой стадии, двуногое животное.

Вы желали поговорить со мной, а когда к этому представился случай, Вы поняли, что это не было истинным желанием сердца, а только лицемерием перед самой собой. В данную минуту в Ваше сердце стучатся сердечные порывы. Вам хочется пересилить жестокое и эгоистическое окружение, в котором Вы живете сейчас. Но упрямая и завистливая струйка яда мешает этим благородным порывам выйти в жизнь.

Нет большей скорби в мире, как страдания раскаявшегося человека. Не теряйте драгоценных дней, Дженни, в той пустоте, куда Вас сейчас увлекают. Все тщеславие, вся жажда блеска, которыми Вас соблазняют, — не стоят ни одной из тех внешних наград, за которые Вы заплатите раздвоением сердца, разложением основы всего чистого в человеке: его верности и чести.

До сих пор Вы не прожили ни одного дня Вашей сознательной жизни цельно. Постоянный, и во всем, компромисс, с которым так боролся в Вас Ваш великий и мудрый отец, сделал из Вас легко достижимую добычу для каждого злого, упорного существа. Вы не научились добиваться ничего до конца. А вместе с тем легко отдаете частички воли и сил, которыми могут завладевать настойчивые злые. Перенеситесь мыслью из своих комнат. Представьте себе, что стен не существует, что Вы стоите одна среди всей вселенной, сознавая себя ее частицей, ее дочерью, ее мгновением вечности, заключенными в Вашем образе.

Что же из теперешних ценностей — домов, стен, улиц — Вы хотели бы удержать среди моря звезд, эфира, стихий? Если в собственном сердце, в мыслях, во всем сознании Вы не унесете гармонии любви — с чем Вы войдете в общую мировую жизнь вселенной? Мне ясен Ваш путь. Я повторяю, с чего начал: у меня нет надежды пробиться к лучшему в Вас, ибо оно не чисто и не имеет цельности. Все порывы, как куча сломанных карандашей и перьев, валяются у Ваших ног. Но я обещал моему другу, Вашему отцу, сделать все от меня зависящее для Вашего спасения, и я делаю. Я зову Вас приехать сюда, в деревню, пожить здесь несколько дней, побыть в атмосфере чести и мира. И быть может хоть некоторое изменение может произойти в Вас, а следовательно, и в Вашей внешней и внутренней судьбе.

Я не надеюсь, что лучшее в Вас пробудится сейчас и Вы повернете по моему зову весь курс вашей жизни. Но я — старинный должник Вашего отца. Долг же платежом красен. А потому я даю Вам право обратиться ко мне в самую тяжелую минуту Вашей жизни. Дай Бог, чтобы я был в силах служить Вам тогда и уберечь Вас от окончательного падения».

На конверте и бумаге была графская корона, и письмо было подписано полным именем лорда Бенедикта. Окончив письмо, лорд Бенедикт надписал конверт и отнес его в почтовый ящик комнаты Мильдрея, присовокупив в маленькой записке просьбу передать письмо Дженни после прочтения завещания пастора и письма Алисы.

Затем он прошел к Алисе, где Наль, уже отдежурившая полночи, спала, а Николай переменял припарки и компрессы, как ему было указано. Больная дышала все еще порывисто, но бред был меньше, как и жар. Лицо все так же горело, и легкая судорога пробегала иногда по телу.

— Сейчас ты можешь менять компрессы реже, Николай. А припарки к ногам и вовсе не нужны. Все острое миновало, но это не значит, что болезнь ушла. Полежать Алисе придется немало, и это отчасти сохранит ее надорванный организм.

Кстати, пока нам никто не мешает, поговорим о тебе. Все испытания, которые ставил тебе Али, ты проходил или так легко, что, казалось, ты их даже не замечаешь, или же так сурово, точно, сосредоточенно, в таком беспрекословном повиновении, так ни разу не задав суетного или любопытного вопроса, что сейчас все затруднения, которые себе в пути создают ученики, растаяли перед тобой. Теперь настала пора тебе не только выполнять поручения. Наиболее трудное, — Флорентиец указал на Наль, — где каждый задал бы не один, а несколько вопросов, ты выполнил, не возразив ни слова. Но ни Али, ни я не обманывались в тех муках, какие ты пережил, приняв беспрекословно этот урок.

Тебе казалось, что ты сворачиваешь с прямого пути ученичества. Тебе казалось, что только в строгом целомудрии истинный путь человека-ученика. Но ты был верен Али до конца, ты ни разу не допустил мгновения протеста даже в мысли.

Мой дорогой друг и сын, в той семье, что ты и Наль создадите, воплотится великий человек. Он долго ждал абсолютно чистых людей, в общении с которыми и их помощи он мог бы вырасти, где он мог бы усвоить условия своей новой современности, чтобы снова пройти путь служения людям в новом воплощении.

Он придет к вам третьим ребенком, когда и ты, и Наль уже совсем созреете как воспитатели и мощные духовные единицы. Перед ним придут в вашу семью сын и дочь, связанные с каждым из вас крепкой, радостной кармой. Получив приказ Али, ты сказал себе: «Я забуду о своем желании быть учеником Учителя. Очевидно, я еще не вырос в ту духовную силу, которая Ему нужна. Буду трудиться в полном смирении, простым семьянином. Быть может, настанет время моего освобождения от тесных обязанностей быта, и я найду когда-нибудь свой путь и стану достойным жизни подле Учителя. Понесу теперь ношу, что Он мне дал. Понесу радостно, и как бы она ни тяжела была сама по себе, легко мне нести ее, раз Учитель так хочет. Я буду силен и добр в моих простых делах серого дня. Я буду оберегать всех, кто мне будет встречаться в этой жизни. Я буду стремиться внести как можно больше радости и мира в мою семью и в сердца окружающих». Так ты сам сказал себе и пошел, как велел тебе Али, стараясь скрыть ото всех свою печаль разлуки с Ним. Ты не знал, что будешь жить подле меня, что сейчас зовешь счастьем. Ты шел, даже ни разу не повернув головы назад. Назад, где ты оставил не только все духовное сокровище и достижения, как думал, но и единственное близкое существо — брата-сына, отдав его на попечение Али, мое и Ананды.

Тот, кто имел силу верности, бесстрашия и любви поступить так, — тот прошел свою огненную стену и стал рядом с Учителем навсегда. Настал твой час самостоятельных действий. Ты будешь еще несколько лет жить со мной, и я буду помогать тебе и Алисе создавать вокруг семей своих семьи новых пониманий воспитания, дружбы, единения с детьми и людьми. Но ты уже вышел из руководимых и станешь руководящим.

Твой брат тоже проходит свои духовные крепости, и в его жизни все не так, как ты предполагал. Но встреча ваша произойдет тогда, когда и он выйдет из руководимых, так как его верность равна твоей. Он мчится, как ураган, по своему пути и ломает себе ребра и ноги. А ты шел, как тяжелое орудие, и всегда смотрел, какова дорога. Пути ваши разны, но дойдете вы оба до полного освобождения. Только не думай, что освобожденный всегда должен быть свободным от внешней суеты, от ее кажущихся пут, от забот быта и его условностей.

Лучше всего служит своему народу тот, кто не замечает тягостей суеты, потому что понял основу смысла своей жизни: нести силу Света именно в эту суету. Умирая личностью как конгломератом страстей, желаний, тщеславия, можно быть идеальным мужем и отцом. Видеть свою миссию в помощи Учителю своим самоотвержением...

Скоро тебя здесь сменит Дория, а ты — хотя и мало устал — все же возьми жену, и отдохните оба как следует. Старайся закалить Наль так же, как закалил себя. Она — твой первый ученик, которого поведешь самостоятельно. Вскоре я передам тебе еще и Сандру.

Флорентиец обнял Николая, тронутого его лаской и добротой. Не ожидавший, что мысли его были так точно прочтены великим его другом, Николай не мог произнести ни одного слова. Его смирение, которого никто не мог бы угадать по его независимому и горделивому внешнему виду, даже не подводило его в мыслях к такой высоте, на какую ставил его сейчас Флорентиец. Оставшись один, он вспомнил всю свою жизнь. Рано став круглым сиротой, с трехлетним братом на руках, он не мог отдаться своему призванию к науке. Он кончил университет, сдавая экзамены за два курса. Ему пришлось поступить в полк, в провинциальный угол Кавказа, куда через друга отца было легко определиться, получить подъемные и жалованье, на которое можно было прокормить себя и малютку брата. Набив ящики книгами и убогим приданым брата да кое-какой своей одеждой, Николай двинулся в неведомый путь, далекий, одинокий, по отвратительным дорогам.

С большим трудом, не раз укрывая и согревая малютку собственным телом, несколько раз рискуя жизнью, чтобы защитить его, добрался наконец юный офицер до своего полка. Был он встречен не особенно радушно, как «ученый». Во всей губернии не было ни одного офицера с высшим университетским образованием, а такого случая, чтобы человек сдал экзамен сразу за весь курс юнкерского училища и мгновенно был произведен в офицеры, — и не слыхивали. Но с первых же шагов, в первых же стычках с горцами, беззаветно храбрый, всегда хладнокровный и находчивый, Николай стал привлекать к себе внимание и сердца товарищей и солдат. Постепенно к его домику протопталась дорожка. «Ученый» становился общим другом. И то, чего не прощали обычно каждому новичку — неумение играть в карты и пить, — не ставили в вину Николаю и говорили, махнув рукой: «Чудак, ученый». Но выпить чайку, выкурить трубку и чем-либо побаловать ребенка каждый считал своим приятным долгом.

Если в полку бывали недоразумения — судьей чести выбирали Николая. Если надо было составить план набега, несмотря на молодость, приглашался Николай, все доверяли его таланту, и слово его нередко бывало решающим. Если надо было представительствовать от полка, единогласно выбирался Николай. Постепенно слава о его неустрашимости и чести проникла за пределы тесного полкового круга. Не было дня, чтобы мирные горцы не привязывали своих лошадей у скромного домика молодого офицера, сияя улыбающимися глазами и зубами и подбрасывая малыша, который совершенно перестал бояться чужих людей, постоянно толпившихся в их маленьких, чистеньких комнатках.

Несмотря на всю внешнюю суету, Николай находил время и много читать, и учиться, и следить за малюткой братом, стараясь заменить ему своими ласками и заботами всю семью.

Картины прожитой жизни мелькали перед глазами Николая. Годы шли. Он прожил уже пять лет в своем глухом горном углу, и, казалось, жизнь забыла о нем, как и он забыл, что где-то существуют шумные города, толпы народа и блеск столиц. Но связь с книжными магазинами у Николая не порывалась, а крепла. Часто ему, сверх выписанного, посылали новинки, прося об отзывах.

Среди чудесной природы шла огромная работа духа Николая. Но среди окружавших его людей не было ни одного человека, кто превосходил бы его умом и талантом, кто мог бы дать ответ его думам, совет его порывам. Замкнутый внутри, открытый вовне, Николай был всем утешением и советчиком. Но жаждал сам встретить друга, с которым мог бы поделиться своими запросами. И настал день случайной встречи. Однажды он был застигнут в горах налетевшим ураганом и, не зная, куда укрыться с лошадью, свернул к развалинам дома. К его удивлению, дом только издали казался развалившимся. На самом же деле он был крепким, чистым и довольно комфортабельным, когда он въехал в ворота. На стук подков лошади вышел высокий человек в одежде горца и, ни слова не говоря, провел лошадь в конюшню, а Николаю указал на дверь в дом. Войдя в сени, Николай увидел открытую дверь в просторную горницу, обставленную по-восточному, с большими, низкими диванами по стенам. На одном из диванов сидел человек в белой чалме, по-восточному скрестив ноги. Диван был низок, но, очевидно, сидевший был необычайно высок, так как и сидя этот человек был немногим ниже Николая. Но поразил его даже не рост, а глаза и весь облик незнакомца. Глаза его точно насквозь прожигали, и, хотя он мирно держал чашку с молоком в своих руках, прекрасных и больших, ему, казалось, больше подошел бы меч. Не знавшее страха сердце Николая дрогнуло. Впервые в жизни он ощутил, что такое страх. «Как бы я не угодил к разбойникам», — подумал Николай, ощупывая свое оружие.

— Нет, я не разбойник, — вдруг сказал незнакомец на местном наречии. — И ты можешь спокойно отдохнуть с нами, так как буря будет долгая. А гость для нас священен.

— Как же вы могли прочесть мою неумную мысль? — смеясь ответил Николай. — Я знаю, что по обычаям горцев гость священен. Но встречал здесь и такие места, где разбой не разбирает ни гостя, ни друга, где нет вообще ничего священного.

— Такие места не привлекут тебя. Ты ждешь давно встречи и хочешь идти к Тем, Кто знает тайны природы и стихий, Кто знает тайны духа. Что касается природы и стихий, то у них есть, конечно, свои тайны. Но расшифровываются они знанием. Чудес нет в жизни, есть только знания. А что касается духовной области, то и здесь нет никаких тайн, никакой мистики. Есть рост, совершенно такой же, как растет все в человеческом сознании. Чтобы войти в ворота моего сердца, которое я открыл тебе в привет и встречу, ты должен стоять на одной со мною ступени любви и привета, и тогда ты увидишь, как широко я тебе их открыл. Я видел, как ты ехал по большой дороге, и просил тебя свернуть непременно сюда. Вот как я тебе открыл ворота сердца, — говорил улыбаясь незнакомец, — а ты решил, что я разбойник.

— Как это странно. Только сегодня я усиленно думал о ступенях любви, о том, что совершенная любовь должна открывать глаза.

— Ну, я не могу сказать, чтобы я был совершенством, — засмеялся незнакомец. — Но все же я могу сказать, что в твоей жизни скоро произойдут большие перемены. Но они произойдут не потому, что кто-то пошлет их тебе из рога изобилия. А потому, что ты сам их вызвал к жизни работой твоего духа.

— Еще страннее. Я ведь только что решал вопрос, что создает жизнь человека и как она разворачивается: творчеством ли самого человека или предопределением Провидения.

— Суеверие — дело и участь малоумных, а тебе, многоумному, ни с предрассудками, ни с суевериями знаться не приходится. Переходя с места на место, ты вносишь всюду тот пожар, от которого сгорают все грязные привычки людей. Вне твоего дома люди суетны, пьяны, мелки. А придут к тебе — трезвы. Хотят быть лучше. Ищут у тебя, в твоем духе, сжечь свои лохмотья сухой грязи и высушить в твоем пожаре сердца свою мокрую грязь.

А почему твоя жизнь отшельника зовет их? Потому же, почему я звал тебя сюда. Любовь признает один закон: закон творческой отдачи. И все то, что ты отдаешь людям, любя их, снисходя к ним, все это, как ручьи с гор, посылает тебе жизнь. Вот, возьми мою руку и сядь подле меня.

Чувство удивления от встречи в глухих горах с философом, глаза которого казались двумя черными факелами, давно прошло. Николай испытывал какую-то необычайную радость. Когда же он взял протянутую ему прекрасную узкую, с длинными тонкими пальцами артистическую руку незнакомца — по всему его существу точно пробежала струя электрического тока. Как будто и воздух стал чище. И в сердце проникла новая уверенность. И глаза стали видеть яснее. И звуки воющей бури слышались не оторванными от стихий всей вселенной, а только говорили о простом движении, неотделимом от его собственного существа.

— Ты настойчиво отодвигал в своей жизни все мелкое, все условное, что приносил и налагал на тебя быт. Ты изучал законы физики и механики, математики и химии, стремясь установить роль человека в жизни и его зависимость от окружающей природы. Ничто не открывало тебе глаз. Ты не можешь и сейчас примириться с разъединенностью человека от всей мировой жизни. Ты не можешь принять его вырванного существования, короткого периода — с рождения и до смерти — оторванным от общей закономерной и целесообразной жизни вселенной.

Разумеется, ни одно живое существо не может выпасть из подчинения мировому закону причин и следствий. Точно так же, как кодекс нравственных законов людей подчинен силе не внешней, условной справедливости, но закону целесообразности, по которому движутся и звезды, и солнце, и волны эфира. Та кора лицемерия, что покрывает людей с головы до ног, сковывает их мысль и не позволяет проникать в сердце и мозг вибрациям более сильных и чистых существ, владеющих тем знанием, к которому ты стремишься. Нужна была вся твоя преданность науке, вся чистота любви к ней, любви до конца, чтобы стал возможен час моего свидания с тобой. Если ты выполнишь три условия, которые я тебе поставлю, то будешь призван в такое место, где сможешь начать новый путь жизни:

1. Вся твоя жизнь должна быть служением на общее благо народа, без всякого разъединения людей на своих и чужих, без всякого выбора себе друзей по вкусу и врагов по отвращению к их личным качествам.

2. Все проблемы *новых* пониманий человека и единения с ним ты должен решать и проводить в жизнь не как личные, видимые конгломераты качеств, а как вековые нити сплетающихся в веках жизней. Ибо каждый человек живет не один, а тысячи и тысячи раз.

3. В свой текущий день ты должен принять все входящие в него обстоятельства. Признать их своими, всецело и единственно тебе необходимыми. Не в теориях и обетах должна выражаться твоя любовь к брату-человеку и родине, а в постоянном действии простого дня. И только это действие *доброты* в простом дне и есть тот нелицемерный путь к знанию, которого ты ищешь. К нам приходят через любовь к людям.

Если ты согласен прожить три года в полном целомудрии и действовать по тем установкам, что я тебе даю и еще дам, мы с тобой встретимся и пройдем ряд лет в совместном сотрудничестве.

Незнакомец взял обе руки Николая в свои и притянул его к своей груди. Храброму офицеру, давно забывшему о ласке матери, показалось, что он снова стал маленьким мальчиком, что мать гладит его по голове.

— Возьми вот этот перстень на память о нашей встрече. Когда проснешься и буря пройдет, меня уже не будет подле тебя. Но чтобы ты не сомневался, что вел беседу не с призраком, а с человеком из такой же плоти и крови, как ты сам, — носи кольцо, а я возьму твое. При новой встрече мы снова переменимся с тобой перстнями.

Незнакомец снял с мизинца Николая материнское кольцо и надел на него прекрасный алмаз в старинной платиновой оправе. Жгучие глаза его смотрели в глаза Николая, он положил ему руку на голову и что-то тихо сказал, чего Николай не понял. Необычайное чувство мира, радости, непередаваемой легкости и спокойствия сошло в его душу. Он забыл обо всем и заснул в каком-то счастье.

Когда он проснулся, раннее утро, светлое и теплое, смотрело в открытые окна горницы. В комнате никого не было, но на столе стоял кипящий самовар, масло, сыр, молоко и белый хлеб. Ничего не мог сообразить Николай, ни где он, ни почему он в чужой комнате. Постепенно память стала возвращаться, а с ней и воспоминание о чудесном незнакомце, его глазах и странном разговоре. Николай уже склонен был счесть всю встречу сном. Но случайный взгляд на перстень незнакомца убедил его в действительности происшествия. Он встал, и ему показалось, что еще никогда он не был так силен, здоров. Он подошел к столу и увидел записку, написанную крупным, четким почерком:

«Не ищите меня, это будет напрасно. Но помните, что зов дважды не повторяется. Зов бывает разный, как и люди разны. Если хотите принять мои условия и встретиться для совместной работы через три года — все это время не ешьте ни мяса, ни рыбы. Я буду очень близок к Вам, и мое присутствие Вы будете ощущать. Если Вам будет тяжело, зовите имя мое: «Али», и я откликнусь.

Слуга, взявший вчера Вашего коня, — немой. Покушайте плотно, так как Вы дальше от Вашего дома, чем думаете. И тот же слуга проводит Вас ближайшей дорогой до знакомых Вам мест. Мой камень да сохранит Вас в верности и силе. И если верность Ваша будет следовать за верностью моею — мы встретимся.

Али».

Николаю и в голову не пришло попытаться заговорить со слугой, вошедшим в комнату и приветливо ему кивнувшим головой. Это был высокий седой человек, с загорелым лицом, молодым, добрым и очень красивым. Вся его внешность, стройная фигура с тонкой талией горца, легкая походка, манеры культурного человека, умный проницательный взгляд говорили Николаю, что этот слуга так же необычен, как и его господин. Что он немой — это тоже казалось Николаю невозможным. Слуга ответил на пристальный взгляд Николая радостной и дружелюбной улыбкой, протянул ему руку и усадил за стол. Заметив, что гость ни к чему не притрагивается, он налил ему чаю, пододвинул молоко и указал рукой на все остальное, стоявшее на столе.

Николаю не хотелось есть одному. Слуга точно понял его мысль, снова улыбнулся своей озаряющей улыбкой и сел за стол, поощряя гостя к еде. После завтрака он снова поклонился гостю и подал ему бурку и мешок с едой. На удивленный взгляд Николая он кивнул головой и пошел из комнаты, приглашая гостя следовать за ним во двор. Здесь он вывел из конюшни оседланных лошадей, причем лошадь Николая была чисто вычищена. Заперев дверь хижины, он сел на свою лошадь с такой легкостью и изяществом, что Николай залюбовался. Не успев рассмотреть как следует домик, гость поспешил нагнать уже выезжавшего из ворот слугу.

Теперь Николай не мог понять, каким образом удалось ему пробраться в хижину. Тропа была узка и так закрыта сдвинувшимся ущельем гор, что найти ее казалось совершенно

немыслимым, не зная тайн местности. Ехали по этой узкой тропе так долго, что Николая стало уже утомлять холодное, сырое ущелье, и он был благодарен своему проводнику за данную бурку, без которой он продрог бы до костей. Внезапно и совсем не там, где ждал Николай, тропа вывела их на дорогу. Солнце стояло уже довольно высоко, был, очевидно, час десятый. Но Николай часов с вечера не завел и не мог точно определить время. Угадав его мысли, слуга посмотрел на солнце и показал на пальцах десять часов. Он снова улыбнулся, тронул повод и двинулся вперед крупной рысью на своем прекрасном коне. Лошадь Николая еле поспевала за своим вожаком. Так ехали они еще больше часа. Конь офицера стал утомляться, когда слуга свернул с дороги и сделал привал в тени группы деревьев. Все больше удивлялся Николай. Место было ему совсем незнакомо, а между тем местность он довольно хорошо знал. Слуга расседлал и привязал лошадей, задал им корму и предложил гостю поесть.

Дав отдохнуть лошадям, двинулись дальше и вскоре выбрались на шоссе, которое Николай сразу узнал, как и окрестные горы. Но до его аула отсюда было не менее десяти верст, что уже совсем поразило Николая, не понимавшего, как он мог забраться в такую даль, как мог его так загнать буран. Но поразмышлять ему не удалось. Слуга остановил своего чудесного коня, черного, с белой звездой на лбу, сошел на землю и жестом предлагал Николаю тоже сойти.

Видя, что его не понимают, слуга расстегнул один из карманов своей черкески, вынул оттуда записку и передал ее Николаю. Тем же крупным, четким почерком, которым было написано письмо Николаю, была написана и записка.

«Друг мой и брат! Если ты решил принять мои условия, прими от меня того коня, которого даст тебе мой слуга, а ему отдай своего. Слуга мой человек опытный и добрый. Твоему коню будет у него хорошо. Тебе же очень скоро пригодятся и мой быстроногий конь, и моя толстая бурка. До свидания, спасибо, я не ошибся ни в твоей чести, ни в выдержке.

Али».

Прочтя записку, Николай сошел с лошади, передал повод слуге и потрепал по шее своего захудалого конька, служившего ему верой и правдой. Конь знал хозяина, сам шел ему навстречу и радостно ржал, еще издали почуяв его. Не однажды конь выносил его с поля смерти и тяжко было Николаю расстаться с боевым другом. У него сжалось сердце, точно завершалась какая-то полоса жизни...

Казалось, и это понял слуга. Он подошел к офицеру, поклонился ему, потрепал его коня по шее, поцеловал его в лоб и положил руку на сердце. Затем передал повод своего горячего коня Николаю. Конь грыз удила, стоял неспокойно, глазищи его метали искры. Но слуга взял в свою руку обе руки Николая и положил их на голову коня, давая ему понять, что теперь он стал собственностью другого хозяина. За мгновение бунтовавший конь склонил голову и стал как вкопанный, ожидая нового седока. Слуга перевернул записку Али, и Николай прочел: «Конь мой горяч. Никто, кроме тебя, не сможет ни сесть на него, ни чистить его. Но тебе он будет повиноваться всегда и во всем. Зовут его Вихрь, и он оправдает свое название на службе тебе».

Не дожидаясь больше, слуга сел на коня Николая и, повернув обратно, скрылся за поворотом. Проводив его глазами, Николай сел на нового коня и сразу оценил, какое сокровище подарил ему Али.

И дважды вскоре вынес его Вихрь с поля битвы, в третий же раз спасся на нем Николай от стаи волков.

Дальше вспомнил Николай, как ужасно был болен Левушка в конце третьего года, назначенного ему Али. Почти потеряв всякую надежду спасти метавшегося в бреду братишку-сына, глухой осенней ночью сидел Николай у его постельки. «Вот теперь я отдаю “свое” все, что имел в жизни. Если я правильно понимаю долг человека в жизни, — думал Николай, — то брат мой должен бы был жить, так как я не вижу в нем лично своей ниточки жизни, а вижу только помощь и охрану для него в себе. Многого могу я не понимать, но любовь к человеку как путь к совершенству я понял. Если высшая целесообразность находит нужным увести тебя — иди, Левушка. Ни единой слезы я не пролью о тебе, но всегда буду благодарен за радость, что ты мне приносил».

Раздался стук подков, и чья-то рука постучала в окно. Нередко к Николаю приезжали обогреться и отдохнуть застигнутые стужей и непогодой люди, и он привык к ночным визитам. Он встал, прошел в сени и открыл дверь. В темноте он не видел вошедшего и только в комнате узнал в высокой фигуре слугу Али из хижины в далеком ущелье. Слуга снял бурку, вынул из карманов бутылку, коробочку и письмо и подал их Николаю.

«Как только получишь пилюли и микстуру, сейчас же дай больному пилюлю. Микстуру хорошо взболтай и вливай через два часа по чайной ложке. Порошок разведи в рюмке воды и по одной капле пусти в ноздри и глаза. К утру больному будет лучше, а дня через два все пройдет бесследно. Оставь при себе моего слугу до полного выздоровления брата. Я дам тебе знать, когда приехать на свидание со мною. Будь тверд и спокоен. И что бы ни случилось в эти дни, все прими в полном самообладании.

Али».

Слуга помог Николаю в уходе за братом, а когда мальчик выздоровел, то не сходил с рук слуги, ухитряясь хорошо понимать свою немую няньку. Прошел целый месяц очень тяжелой военной жизни, с постоянными тревогами и набегами, много влилось и внутриполковых неприятностей, задевавших отчасти и Николая, но у него была только одна цель, одна мысль, для которых он жил: свидание с Али. Все остальное скользило по поверхности, не задевая глубин. И наконец желанный час настал. Однажды слуга подал Николаю письмо Али, с просьбой быть через месяц в ближайшем городе Р. и остановиться в его доме, который старый слуга хорошо знает. Можно взять и брата, так как Николаю все равно придется прожить в этом городе несколько лет. Удивлению офицера не было границ. Но в тот же день он был вызван командиром полка, который объявил ему о его повышении, награде за храбрость и переводе в город Р., куда он должен отправиться немедленно.

Сдав свои многочисленные дела, провожаемый опечаленными товарищами, оплакиваемый хозяйкой и ее детьми, нагрузив телегу книгами, двинулся Николай с Левушкой и слугой в Р. Снова отвратительные дороги и постоялые дворы, но какая разница с первым путешествием. Как полон был сейчас Николай сил и уверенности, что идет в новый и ведомый путь к знанию жизни. Везя теперь Левушку в теплом пальто и со всем возможным комфортом, Николай вспомнил первое путешествие, как этап ада. Он весело улыбнулся слуге и брату, морщившимся от духоты и плохих постелей в заезжих дворах. К концу месяца добрались до Р., где Николай еще раз был поражен, и на этот раз сильнее, чем в первый. Не успел он войти в переднюю, как увидел, что все стены следующей комнаты уставлены полками с книгами. Забыв все на свете, Николай остановился у полок. Слуга, увидев офицера в дорожном платье, погруженным в книги, распоряжался сам, как умел, всем багажом и распределением комнат, юмористически улыбаясь и поблескивая глазами каждый раз, как проходил мимо забывшего обо всем Николая.

И дальше текли мысли Николая. Счастливая встреча с Али, прожившим почти год в Р., под предлогом всяких дел и торговли, а на самом деле посвятившим Николаю и еще трем другим людям все свое время, ежедневно занимаясь с ними. Уезжая, Али дал Николаю целый ряд задач, наполнивших счастьем его жизнь, и сказал, что только от него самого будет зависеть, как скоро они вновь увидятся и как часты будут к нему вести от Али.

Прошло еще четыре года в свиданиях изредка, и наконец пришло письмо Али с призывом приехать в К. и жить подле него. Ни мгновения не раздумывал Николай, устроил наскоро свои дела и уехал в К.

Глядя сейчас на похудевшее лицо Алисы, Николай думал, какими разными путями идут люди. Как много страдает и ищет каждый, как находит только то, что в силах вместить его собственное сознание. Сколько жизней сейчас соединено вокруг Флорентийца, скольких ведут Ананда и И., сколько приходит и уходит к Али, и о скольких он, Николай, еще ничего не знает. И пути всех разны, а ступени лестницы для всех одинаковы.

Вот здесь живут две женщины, две будущие матери, полные любви и самоотвержения, и как разны их дороги прошлого, настоящего и будущего. И как точно одинаковы цель и смысл их жизни...

Дория вошла сменить Николая, и он передал ей все указания Флорентийца, взял на руки спавшую Наль и тихо вышел из комнаты.

Глава 8

Чтение завещания в доме пастора

Получив указания Флорентийца, Сандра и Мильдрей, захватив с собой юристов, отправились в дом пастора для вскрытия и чтения его завещания. Находивший всегда для всех время, лорд Бенедикт нашел его и для Сандры, чтобы помочь юноше собрать все мысли и провести дела пастора не рассеявшись, не выпав ни разу из круга полного внимания.

— Твой умерший друг, Сандра, разыскал тебя только для того, чтобы указать тебе на некоторые ошибки в твоей работе. Благодаря его бескорыстному труду и вниманию к твоей работе, ты избег многих затруднений. Отплати ему теперь и постарайся, чтобы люди, близкие ему, приняли, по возможности, без затруднений его волю. Наши обязанности к ушедшим с земли не кончаются с разлукой с ними. Думай все время, что пастор стоит рядом с тобой и бессилен выразить свою волю или повлиять на своих жену и

дочь иначе, как через твою физическую помощь. И думай, что я тоже стою рядом с тобой и держу тебя под руку.

Выучи еще один урок, как надо внимательно смотреть не на внешность человека, а заглядывать в душу того, кто нас начинает привлекать. Вспомни, как нравилась тебе Дженни и как ты наивно доверял всему, что она считала нужным тебе показать из своего внутреннего облика. А у тебя самого не было острой бдительности, чтобы проверить хоть часть того, что тебе выдавали за глубину сердца и мыслей. Теперь, рассмотрев портрет ее души, ты начинаешь терять мужество и не знаешь, как себя держать в ее присутствии. А между тем, вся твоя жизнь посвящена любви к человеку и служению ему. Ты ищи в Дженни не лично тебе нравящееся или не нравящееся существо, которым ты очарован или в котором разочарован. Думай не об ее личных качествах, а о радости служить ей мощным проводом любви, чтобы помочь ей понять отца, принять его волю и добровольно подчиниться ей. Ты, конечно, не будешь ответствен за все ее бредовые поступки, если она и мать вздумают оспаривать судом волю пастора. Но ты будешь ему верным другом, если придешь в его дом, свободным от личных чувств. И принесешь все милосердие, честь и любовь, полное самообладание и усердие, когда явишься вместо меня выполнять его волю.

— Если бы я мог на одну минуту, лорд Бенедикт, подняться к сотой доле вашего сознания и вместить ее в себя, я был бы счастлив, потому что я не мог бы тогда выйти из круга внимания. Тот круг публичного одиночества, который вы учили меня создавать, удается мне только в моей работе. Когда же я действую на людях, общаясь с ними, я все время рассеиваюсь и забываю о самом главном и великом смысле текущей минуты: о том, что именно *эта* минута и есть неповторимое, летящее мгновение Вечности. Что именно *это* сейчас и составляет все самое главное, самое важное и самое ценное в жизни. Поэтому, сплошь и рядом, мои мгновения бегут в пустоте. Но завтра я постараюсь начать свой день по-новому, постараюсь уже сегодня приготовиться к нему.

Во время пути в поезде у Сандры мелькали в уме отдельные фразы и слова Флорентийца, и он заметил, что как бы ощущает присутствие возле себя лорда Бенедикта и пастора. «Как четко может работать мысль, — думал Сандра, — достаточно было лорду Бенедикту сказать мне, чтобы я представлял себе его и пастора, стоящими рядом со мной, и я чувствую себя в их обществе все время. Если бы мне не потерять этого ощущения, когда я буду с Дженни. Я бы ни в одном слове не ошибся и ни разу не растерялся бы и, наверное, достиг бы максимального успеха».

Мильдрей не прерывал мыслей Сандры. Он понял, что юноша собирает все силы, как и он сам. В его сердце и мыслях шла такая усиленная работа за последние месяцы. И вместе с тем он так устал за дни похорон, хлопоты о которых легли на него почти всецело. В его сознании совершался огромный перелом. Его беспокоила болезнь Алисы, ставшей для него с первого свидания предметом любви и восхищения. Теперь же девушка стала его священной мечтой, достигнуть которой он считал себя недостойным и видел в ней незаслуженное милосердие к нему жизни. Отправляясь сейчас в семью пастора, лорд Мильдрей хотя и не знал содержания завещания, но предвидел, что не все может быть гладко в этот день. Ему достаточно было видеть Дженни с матерью у Флорентийца за обедом и вечером, а также на скачках, чтобы оценить вполне их вкусы и склонности. Привычка пристально наблюдать все окружающее и отдавать себе отчет в нем, а также привычка быть деятельным в общении с людьми и уметь всегда принести какую-то помощь создали молчаливому Мильдрею репутацию добряка и защитника бедноты, над чем не раз издевались его клубные приятели, спрашивая, кого и куда он сейчас перевез, кого спасает от голодной смерти, кому ищет место.

Мягкое сердце Мильдрея страдало за пастора. Теперь он сосредоточенно думал, как бы помочь Дженни миновать подводные камни зависти к Алисе, которую он сразу угадал в сердце Дженни. Мысли его были прерваны остановкой на вокзале, где все уселись в коляску и отправились в дом пастора. Здесь их уже ждали. Мать и дочь, в изысканных траурных туалетах, сидели в зале и приняли Сандру — единственно, кого они знали из четырех вошедших мужчин, — чрезвычайно высокомерно.

— А разве лорд Бенедикт и Алиса не вместе с вами ехали? — спросила холодно Сандру Дженни, даже не взглянув на представляемых ей мужчин и не потрудившись выслушать их имена. — Мы не начнем, пока они не явятся. Ах, вот и они, я слышу звонок.

— Я думаю, мисс Уодсворд, что вы ошибаетесь, — ответил ей Мильдрей. — Лорд Бенедикт уполномочил меня быть его заместителем при чтении завещания вашего отца. Что же касается вашей сестры, то она очень больна и быть сегодня здесь не может. Но это дела не меняет. У меня есть полная доверенность от лорда Бенедикта. Если бы вас интересовали какие-либо подробности, я уполномочен дать вам разъяснения и принять от вас вопросы.

В комнату вошел мистер Тендль, поздоровался поклоном со своими юристами и подошел к Дженни.

— Как не вовремя вы сейчас к нам попали, мистер Тендль, — недовольно произнесла пасторша. — Вы, очевидно, приехали пригласить Дженни прокатиться или позавтракать, но, к сожалению, мы заняты хотя и несносным, но неотложным делом.

— Простите, сударыня, — вмешался старый адвокат, давно уже взбешенный высокомерием обеих дам, к которому он — светило Лондона, богач и баловень клиентуры — не привык. — Мой клерк имеет полное право вести свой частный образ жизни, как ему нравится. Но в данную минуту он явился по тому же делу завещания, по какому и мы имеем удовольствие лицезреть вас.

— То есть как, — вскричала Дженни, — вы хотите сказать, что мистер Тендль не более, чем ваш простой клерк?

— Именно так, мисс Уодсворд. Он вызван мною для чтения акта и как лишний свидетель. Я надеюсь, у вас нет возражений против моего клерка?

— Час от часу не легче, — бросаясь в кресло, процедила сквозь зубы Дженни. — Ну, начинайте, мистер адвокатский клерк, выдающий себя за члена порядочного общества.

— Дженни! — громко вскрикнул Сандра и хотел броситься к девушке. Но Мильдрей, выпрямившись во весь рост, точно внезапно выросший, удержал его руку.

— Простите, мистер Тендль, за нанесенное вам оскорбление в деле лорда Бенедикта. Я являюсь здесь его заместителем и от его лица прошу у вас извинения. Я не сомневаюсь, что лорд Бенедикт сам пожелает видеть вас и принести вам лично свое извинение. Я считаю нужным извиниться и перед вами, сэр, — обратился Мильдрей к старому адвокату, — за нанесенное вашему сотруднику и племяннику оскорбление. — Обратившись к Тендлю и старику, он прибавил: — Если вы удовлетворены моим извинением, мы можем приступить к делу.

— Только глубоко уважая лорда Бенедикта и вас, лорд Амедей, я подчиняюсь. Прошу вас, мистер Тендль, начните чтение документа. Но предварительно подайте его наследницам, чтобы они могли убедиться в неприкосновенности печатей на конверте, — обратился старый адвокат к бледному как мел Тендлю.

Ни слова не ответив, молодой человек взял из рук дяди большой конверт, запечатанный пятью красными печатями с инициалами пастора и надписанный его рукой, и подал пасторше. Леди Катарина внимательно осмотрела все печати и надпись, и лицо ее при этом осмотре как бы говорило: «Кто мне поручится, что вы чего-либо здесь не смошенничали?» Дженни бросила взгляд на конверт и всех присутствующих, явно желая показать, что вся процедура ей скучна, что только ее кротость способна вынести подобную муку. С видом жертвы она встала с кресла и пересела так, чтобы лица ее, за светом, не было видно.

— Не разрешите ли вы и нам присесть — спросил старый адвокат таким саркастическим тоном, что ту передернуло.

— Вы здесь не в гостях, а по делу. Можете вести себя так, как ваш деловой визит вам предписывает, — огрызнулась пасторша. В ее голосе, взгляде, жесте, которым она сопровождала свой ответ, было столько ненависти и раздражения, как будто она хотела стереть в порошок всех этих людей, принесших ей последнюю весть от мужа.

Старый адвокат сел, остальные остались стоять, и Тендль, разорвав конверт, стал читать завещание. Когда дело дошло до пункта о доме, пасторша привскочила.

— Да это грабеж! Он ограбил меня и Дженни в пользу этой подлой девчонки. Мы будем судиться. Почем мы знаем, чем околдовали моего мужа в доме вашего лорда Бенедикта.

— Будьте осторожны в словах, сударыня, — обратился старый адвокат к пасторше. — Когда ваша дочь оскорбила моего племянника, скрывшего от нее свою профессию, а также не доложившего ей, что он один из очень крупных помещиков Л-ского графства, — мы еще не приступили к официальной части дела. Поэтому я мог извинить вам вашу грубость. Если же вы позволите себе теперь какое-либо оскорбление, я должен буду прекратить чтение документа и привлечь вас к суду. О каждом пункте, в частности о доме, есть юридические, засвидетельствованные документы. Вы потом можете просмотреть завещание деда, по которому дом, где вы живете, вам фактически никогда не принадлежал. Он всегда принадлежал вашей младшей дочери. Продолжайте, Тендль.

Мать и дочь чувствовали себя все хуже по мере чтения завещания, а когда дело дошло до капитала, с которого леди Катарина могла пользоваться только процентами, — она готова была закатить истерику. Но лорд Мильдрей предупредил это проявление темперамента пасторши, сказав, что есть еще письмо Алисы, которое тоже должно быть оглашено официально, так как оно засвидетельствовано юридически и является документом, необходимым при завещании.

— С каких это пор грудные младенцы пишут в Англии официальные письма? — фыркнула пасторша.

— С тех пор, как они имеют право наследства и собственности, — ответил адвокат.

Мильдрей подал Тендлю письмо Алисы, также запечатанное печатью с инициалами пастора.

«Мои дорогие мама и Дженни. Я пишу вам это письмо, сидя возле папы, по его настоянию, и в присутствии лордов Бенедикта и Мильдрея.

Мне очень горько, что в эти часы, когда папа так хорошо себя чувствует, здоров, прекрасно выглядит, он желает, чтобы я писала его волю о том времени, когда его не будет с нами. Сердце мое разрывается от одной мысли об этом. И представить себе, что можно пережить такую потерю и остаться жить, — я просто не в силах. Но я повинуюсь

его воле и пишу те пункты, которые он считает необходимым для моей и вашей дальнейшей жизни.

1. Дом, как вам давно известно, завещан дедом мне. Папа требует, чтобы ни одна стена в нем не была разрушена, ни одна дверь не была сломана. Все, вплоть до самых простых вещей обихода, должно оставаться на месте. Никто не должен переезжать из одной комнаты в другую. Все должно быть сохраняемо в полном порядке, как будто бы папа вернется в свой дом. Моя комната, как и его кабинет, должны сохраняться неприкосновенными.

2. В доме вы обе можете жить еще два года, если раньше этого времени вы не приищете себе новой квартиры. Если же по миновении двух лет вы будете все еще в этом доме, то опекунский совет выселит вас, так как дом должен быть к этому сроку свободен.

3. В продолжение года я буду высылать вам деньги на содержание и ремонт дома и сада. Наймите специальную прислугу и садовника.

4. Перед началом зимнего сезона я пришлю мастера заделать наглухо ход в мою и папину комнаты.

5. Ответственность за целостность всего имущества в доме вы возьмете на себя перед лицом тех юристов, что будут читать вам завещание папы и мое письмо.

Такова воля папы относительно моего дома. Лорд Бенедикт, которого папа назначает моим опекуном, скрепляет своею подписью, равно как и сам папа, мои распоряжения несовершеннолетней. Из завещания папы вы узнаете, что я домой не вернусь после его похорон по его воле. Как мне ни грустно в этом сознаваться, но... я знаю теперь, что разлука со мною не опечалит вас. Всю мою жизнь я так любила вас обеих. Я так старалась заслужить хоть каплю ответной нежности, но увы, я не успела в этом. Горестно мне и сейчас сознаваться, что нас с папой пригрели чужие люди. Что здесь, среди чужих, мы нашли нежность и заботу, ласку и внимание, о которых не смели думать дома. Это не упрек, конечно, это только горе, потому что я сейчас только понимаю, как ценна дружба между людьми, какое счастье не только самой любить людей, но и быть любимой ими. Я очень хотела бы вспомнить хоть один день моей жизни дома таким, где бы я была нужна не только как портниха или повариха, но как сестра, друг, дочь...

Но что же мечтать о несбыточном счастье? Все, что я хотела бы тебе пожелать, дорогая Дженни, это радостной семьи, где бы ты могла одинаково любить своих детей. Я крепко обнимаю вас обеих, и у меня такое странное чувство, точно я больше не увижу вас никогда. Как будто у меня нет больше родного дома, кончилась какая-то одна жизнь и начинается совсем другая. За последнее время я так состарилась, что сразу перепрыгнула из детства в зрелость, забыв, что есть еще юность. Здесь я живу в такой красоте, о которой и мечтать не могла. Благодаря лорду Бенедикту все здесь полно гармонии, а папа положительно ожил. Мне кажется, что за всю его жизнь это первые его счастливые дни».

— Нельзя ли прекратить этот наглый лирический бред, — возмущенно закричала пасторша, вся покрывшись красными пятнами.

— Прочитать до конца я обязан, — ответил Тендль, к которому непосредственно обратила свой выкрик пасторша, — но конец очень близок.

«В эту минуту я вдруг нарисовала себе картину, что папы уже нет с нами. И сердце мое застонало от боли. Если бы действительно выпала нам несчастная доля пережить папу, я молю Провидение помочь нашим трем сердцам найти дорогу любви друг к другу. Пусть навеки память о папе будет цементом между нами, и его чистая жизнь да послужит нам

примером подражания. Крепко обнимаю вас обеих и еще раз молю, не выбрасывайте из сердца и жизни любящую вас маленькую Алису».

Прочтя письмо, Тендль сложил его и положил на стол, рядом с завещанием. Пасторша встала, подошла к столу и, брезгливо отбросив письмо Алисы, взяла в руки завещание.

— Если я не ошибаюсь, завещание должно быть подписано не менее чем двумя свидетелями.

— Так точно, здесь стоят подписи даже трех свидетелей. Но что вы хотите этим сказать? — спросил старый адвокат.

— Хочу проверить, те ли самые люди привезли документ, которые его подписывали.

— На первом месте стоит подпись лорда Бенедикта, — сказал адвокат. — Его здесь нет. Вместо него — уполномоченный им лорд Амедей Мильдрей. Вот документ, удостоверяющий его права.

Он протянул бумагу пасторше.

— Я думаю, мама, что здесь все в порядке. И чем скорее мы кончим это тоскливое испытание, тем приятнее будет и нам, и нашим гостям. Это так необычайно любезно с вашей стороны, лорд Мильдрей, что вы приехали к нам, — сказала Дженни, совершенно изменив свой тон. — Садитесь сюда, мне хочется поговорить с вами кое о чем. Как вы, вероятно, соскучились в деревне, без общества, без развлечений. Нельзя же считать обществом нашу маленькую дурнушку Алису. Она там одна и составляет весь фрейлинский штат графини Т., — смеясь закончила Дженни, принимая самые обворожительные из своих поз кошечки.

Молча, внимательно смотрел на нее Мильдрей.

— Вы не так представляете себе, что такое общество, мисс Уодсворд, — наконец сказал он, опускаясь в кресло. — Общество лорда Бенедикта, собранное им у себя в деревне, в том числе, конечно, и ваша сестра, — это самое изысканное ядро людей. И вращаться в нем — это не только счастье для меня, но и очень большая честь. А женщины вроде графини Т. и вашей сестры могут заставить забыть, что вообще есть еще женщины на свете.

Дженни, точно упавшая с облаков, смотрела во все глаза на Мильдрея. В первый раз в жизни она почувствовала себя не только растерянной, но и сраженной.

— У меня есть лично для вас еще одно письмо от лорда Бенедикта, — продолжал Мильдрей, подавая девушке конверт уже знакомого письма Флорентийца. — Если желаете прочесть его сейчас, быть может, написать ответ, мы с Сандрой подождем. И если обе наследницы ничего не имеют против, я попрощаюсь с юристами и не буду больше отнимать их драгоценного времени.

— Мы не возражаем. Можете отправить всю эту юридическую челядь! — резко выкрикнула пасторша. Но, вспомнив, что Тендль также принадлежит к этой челяди, Тендль, оказавшийся богачом и завидным женихом и уже однажды сегодня здесь оскорбленный, осеклась, сконфузилась и по обыкновению взбесилась.

— Что же вы все стоите, Сандра? Неужели еще вас упрашивать о милости сесть, — сорвала она всю злобу на Сандре, печально на нее глядевшем.

— Благодарю, леди Катарина. Я так поражен приемом, который сегодня мы встретили в этом всегда радушном при жизни лорда Уодсворда доме, что не могу еще прийти в себя от глубокой сердечной боли. Сегодня, мне кажется, я вижу здесь витающую тень хозяина. Я еще слышу его чудесный голос. В песнях, в словах, в поступках и действиях он звал как живой пример к любви.

— К любви, к любви! — уже истерически выкрикнула пасторша. — Он ограбил нас, гонит на улицу — и это все, по вашему, любовь!

— Пастор отдал каждой из вас с такой справедливостью все, что имел, леди Катарина, что никакой судья не мог бы придумать лучше...

— Что вы можете понимать в справедливости! Вы будете таким же книжным червем, каким был ваш покойный друг. Чтобы я не могла распоряжаться капиталом! Чтобы после моей смерти обе девчонки стали богатыми женщинами, а я должна едва прилично жить! И это справедливость! — и, хлопнув дверью, она вышла из комнаты.

Оставшись с Мильдреем и Сандрой, Дженни никак не могла овладеть собой. Наконец, взяв письмо в руки, она сказала Мильдрею:

— Письмо, кажется, объемистое. Видно, пословица: «Рыбак рыбака видит издалека» оправдалась на дружбе моего отца и лорда Бенедикта. Многоречие моего папаши, должно быть, отвечало таковому же лорда Бенедикта, — взвешивая на руке письмо, саркастически улыбалась Дженни.

— О, бедняжка, бедняжка Дженни! — почти с отчаянием воскликнул Сандра. — Как можете вы быть так слепы! Ведь получить письмо от лорда Бенедикта такое счастье, за которое многие и многие отдали бы полжизни. А вы издеваетесь.

— Быть может, для кого-то это и счастье. Что же касается меня — я глубоко равнодушна ко всяким мистическим счастьям и предпочитаю иметь его в своем кармане, — все тем же тоном продолжала Дженни.

— Вот на этот-то крючок и попадаются люди. Их засасывает сатанинская жажда богатства, а потом... все вопросы чести и света гаснут под давлением этой страсти. Я видел немало печальных примеров, где начиналось от погони за богатыми женихами, а кончалось выпадением из общества, — тихо говорил Мильдрей.

Лицо Дженни было бледно, глаза метали злые огни, руки ее судорожно разорвали конверт, как будто вместе с ним она хотела разорвать самое письмо.

Пока Дженни занялась письмом, Мильдрей подошел к Сандре и отвел горестно глядевшего юношу к окну. Здесь оба они, глядя на прекрасный, но уже запущенный сад, думали об отсутствующих сейчас отце и дочери, ухаживавших за цветами и бывших душою осиротевших теперь дома и сада. Как ясно было им обоим, что вся красота, весь мир и уют ушли от этих красивых женщин, понимавших только внешнее, ценивших только то, что можно было ощупать руками.

— Я не в силах сейчас прочесть всю эту галиматью! — вдруг резко закричала Дженни. — Вы можете, сэр уполномоченный, передать вашему лорду, что он напрасно ломится в открытую дверь. Я не Алиса, мне его покровительство не нужно. А что касается его опекунства над Алисой, то об этом мы еще поспорим. При живой матери и совершеннолетней сестре шестнадцатилетний подросток не нуждается в постороннем опекунстве. Мы подадим в суд, у нас есть достаточное количество фактов, чтобы доказать, что уже больше двух лет пастор был не совсем нормален.

— О, Господи, Дженни, не срамите себя перед всем миром, — всплеснул руками Сандра. — Ведь величайший труд пастора, которым он приобрел мировую известность, окончен именно в эти два года. Ну в какое положение вы себя поставите перед судом? И неужели в вас нет ни капли милосердия к памяти отца? Вы способны вытащить его имя, такое чистое и славное, на помойную яму сплетен и пересудов?

— Я не сомневаюсь, что расчет именно на так называемое наше благородство — а на самом деле на глупость — и был у лорда Бенедикта, когда он смастерил эту игру с завещанием. Но мы на этот крючок не поймаемся, нет. Мы выведем весь этот заговор на чистую воду! — все больше приходя в ярость и крича, вне себя кончила Дженни.

— Будет лучше для вас и для нас, мисс Уодсворд, если мы покинем этот дом, — с полнейшим самообладанием и спокойствием сказал Мильдрей. Но тон его голоса, властный, решительный, не терпящий возражений, так поразил Сандру, что он растерянно смотрел на своего всегда такого кроткого друга. Обычно мягкий, слегка сутуловатый Мильдрей стоял выпрямившись во весь свой высокий рост. Глаза его приняли стальной оттенок, и лицо носило выражение непреклонной воли. Если бы Сандре кто-либо рассказал о таком Мильдрее, он бы весело смеялся такой шутке.

— Воспитанность в женщине, которая хочет быть дамой общества, вещь совершенно необходимая, мисс Уодсворд. Но простая честь, помимо всякой воспитанности, могла бы удержать вас от ряда оскорблений, которые вы нанесли сегодня людям. Те, кого вы считаете выгодными женихами, но которых вы не рассмотрели сразу по своей близорукости и эгоизму и потому оскорбили их, — не будут мстить вам. Но они отдадут ваше имя такой же трепке общественной сплетни, как сделаете это вы, если только решитесь оскорбить публично память вашего отца. Никогда жизнь не простит вам вашего бессердечного поведения сегодня. Что же касается всех оскорблений, нанесенных вами сегодня лорду Бенедикту, то величие и великодушие его вас, разумеется, прощают, в чем вы будете иметь случай, несомненно, убедиться.

Поклонившись Дженни, мужчины вышли в переднюю и покинули дом пастора. Но добраться до деревни им было суждено не так скоро и просто, так как Сандра почувствовал острую боль в сердце и им пришлось остановиться у аптеки, где они просидели больше часа и опоздали на поезд. Когда наконец коляска подвезла их к деревенскому дому, Флорентиец ждал их на крыльце и сейчас же велел Сандре лечь в постель, предварительно приняв лекарство.

— Теперь ты на себе испытываешь, мой друг Сандра, как иллюзии крепко держат в цепях человека. Ты болен, потому что все последнее время ты засорял свой организм страхом, слезами и раздражением. Твой сердечный припадок надо бы назвать не сердечным, а припадком скорби и ужаса. Учись побеждать все, что давит твой дух. Независимость и свобода духа человека — вот основа его истинного здоровья. Надо бы говорить, что у человека не припадок печени, а припадок корыстолюбия. Не припадок болей под ложечкой, а припадок страха и уныния. Иди ложись, отдыхай. Вынеси на своих плечах все пороки Дженни, которые ты сегодня увидел, со всем мужеством, понимая их как ее злейших врагов. Вынеси, точно корзину с грузом, и развей по ветру. Но развей только после того, как найдешь в себе доброту принять в свое сердце ее образ и думать о ней, ища всех путей ей помочь.

Простившись с Сандрой, которого он поручил попечениям Артура, лорд Бенедикт прошел в свой кабинет, куда пригласил и Мильдрея. Подкрепив проголодавшегося гостя легким ужином, Флорентиец рассказал ему, что состояние Алисы, при которой неотлучно дежурят Николай, Наль и Дория, гораздо лучше, но сознание к ней еще не вернулось.

— Надо благодарить жизнь за ее болезнь, Мильдрей. От скольких мучительных минут она избавила Алису.

— Да, если бы ей пришлось присутствовать при тяжелейшей сцене сегодня и увидеть всю бездну жестокости и холодности ее родных — она, наверное, заболела бы, если бы и была здорова. — Лорд Мильдрей передал Флорентийцу все подробности происшествий в доме пастора, вплоть до угрозы судом и отношения Дженни к его письму.

— Я в этом не сомневался. Но все же обязан был сдержать слово, данное пастору, и выполнить все до конца. Бедная Дженни, как будет печальна ее жизнь и как ужасна старость. Ей будет еще один раз предоставлена возможность отойти от зла, и она снова ее отвергнет. А когда жизнь покажется ей адом и она сама обратится ко мне — я уже мало буду в состоянии сделать для нее. Спасибо, друг, за оказанное мне вами содействие. Вы очень устали за последнее время, разъезжая по моим поручениям. Я оценил вашу твердость и усердие, на которые можно положиться, и не забуду о них. И все же это не конец моим поручениям. Завтра утром я буду просить вас поехать в контору к мистеру Тендль и отвезти ему мое письмо. Если найдете возможным, постарайтесь привезти его с собой ко мне сюда. А теперь еще раз спасибо, идите отдыхайте и не беспокойтесь об Алисе.

— Когда я подле вас, лорд Бенедикт, я никогда не знаю ни страха, ни волнения. Только тогда, когда я чувствую себя отъединенным от вас — как в ту ужасную ночь, когда вы бросили мне записку в окно, — я страдаю и сознаю себя беспомощным и несчастным.

— Кто раз мог встретиться со мной или хоть узнать обо мне, тот уже никогда не может почувствовать себя одиноким. Кому же, как вам, протянута моя рука, тот не может знать ни страха, ни отчаяния. Тот, кто живет в полном самообладании, тот всегда держится за мою руку. И все его дела — от самых простых до самых сложных — я разделяю с ним. Если же раздражение вклеивается в его дела — значит, он выпустил мою руку, нарушил в себе гармонию и *сам* не может удержать моей руки в своей, хотя я ее и не отнимал. Помните об этом, мой друг, и старайтесь даже в такие тяжкие дни, как сегодня, хранить в сердце не только равновесие, но и радость.

Простившись с Мильдреем, Флорентиец поднялся к Алисе, побеседовал с Наль и возвратился к себе, когда весь дом уже погрузился в сон.

Долго сидела Дженни после ухода Сандры и Мильдрея и никак не могла прийти в себя. Мысли ее бегали по всей ее жизни, от самого детства и до этой последней минуты. Но ни на чем она не могла сосредоточиться. То ей удавалось несколько успокоиться на мысли, что сумма денег, оставленная лично ей, и проценты с капитала матери обеспечивают им безбедное существование. То она начинала сравнивать себя с Алисой — и снова в ней закипало бешенство. То ей казалось совершенно необходимым, точно кому-то назло, выйти немедленно замуж. Но и тут ее охватывало раздражение. За последнее время она нередко проводила время с мистером Тендлем. Она принимала его как кавалера своих прогулок. Ездила с ним кататься, в театр, обедать и ужинать в рестораны. Но ни разу она не спросила его о его жизни, профессии и занятиях. Она просто видела в нем сносного, развлекающего поклонника, считая, что он достаточно вознагражден за все свои траты, имея право любоваться ее красотой. Когда же оказалось, что Дженни проворонила удобный случай, что Тендль был богатым помещиком, человеком с положением и связями, что его занятия адвокатурой были фантазией от безделия и женихом он был завидным, — у Дженни сдавливало горло от ярости, что она сама его оскорбила и оттолкнула.

Измученная, не умеющая владеть собой, девушка чувствовала себя первый раз в жизни совершенно одинокой. Только сейчас, под раздававшийся в мертвом доме храп пасторши, она оценила тяжесть потери отца. Как ни протестовала она при его жизни против его правил, против огромной чести, которой он требовал от всех в доме и которая стесняла Дженни, она знала, что в отце она всегда найдет друга, поддержку и утешение. Даже в тех случаях, когда Дженни бывала кругом виновата, пастор никогда не возвышал голоса. Он только так страдал за нее сам, что дочь уходила умиротворенная. И при его жизни Дженни ничего не боялась. А теперь в ее душе был такой страх завтрашнего дня, что ей хотелось приникнуть хотя бы к чьему-либо плечу, чтобы почувствовать опору. Вспомнив о письме Флорентийца, она начала его читать. И чем дальше она читала, тем становилась спокойнее. Казалось, каждое слово раскрывало ей ее ошибки. Ей захотелось увидеть лорда Бенедикта, говорить с ним, примириться с сестрой...

Внезапно пасторша вошла в зал.

— Что ты сидишь в потемках, Дженни? Нам с тобой надо переговорить о тысяче вещей и принять какое-то решение. И чем скорее мы это сделаем, тем легче будет нам выпутаться из всех трудностей.

Пасторша опустила шторы и зажгла лампу. И все обаяние письма, которое Дженни успела спрятать от матери, улетело. Вместе с матерью в комнату ворвался вихрь страстей. И снова в Дженни запылали бунт и протест.

— Будем ли мы с тобой судиться с Бенедиктом? Ведь Алису вырвать у него без суда будет невозможно. А нам девчонка необходима в доме.

— Я думаю, мама, подождем до завтра с обсуждением этого вопроса. Надо спросить кого-либо опытного в юридических делах. Мы с вами ничего в этом не понимаем.

— Кроме Тендля, Дженни, у нас нет сейчас никого, кто бы мог растолковать нам юридическую сторону дела. Тебе надо написать ему письмо с извинениями и пригласить к себе. Он так влюблен, что, конечно, все извинит и будет радехонек прискакать.

— Ах, мама, с самой смерти папы вы не даете мне ни мгновения побыть одной и подумать о чем-нибудь, кроме материальной стороны жизни. Но я могу не желать...

— Дженни, ты знаешь, как я тебя люблю, — перебила дочь пасторша. — Я охотно увезла бы тебя в самое шумное место, где бы ты могла развлечься. Но именно сейчас мы с тобой должны, не теряя ни минуты, все сообразить и принять определенное решение, как нам строить дальше нашу жизнь. У нас может быть только два плана, каждый из которых упирается или, вернее, начинается с одного и того же: Алиса должна быть возвращена домой. Возвратив ее, ты можешь выбирать: или немедленно выйдешь замуж за Тендля, или поедем путешествовать и искать подходящих тебе встреч. Замужество с Тендлем имеет, конечно, много преимуществ. Но закон английский строг о разводе в такой степени, что было бы немыслимо от него освободиться, если бы он оказался неподходящим мужем.

— Да погодите, мама, решать этот вопрос о шкуре медведя, которого вы еще не убили. Я согласна написать Тендлю записочку и обещаю вам, что постараюсь повлиять на Алису, не доводя дела до суда. Она девчонка упрямая, но все же можно попытаться. Я ей напишу и буду звать ее приехать сюда повидаться с нами. Ну, а там мы постараемся ее не выпустить больше. Пусть ее опекун судится сам тогда с нами.

— Нет, Алиса не упряма, Дженни. Если с ней обращаться ласково — чего нам с тобой никогда не хотелось делать, — из нее можно веревки вить. Покойный папенька не столько

любил ее, сколько отлично понимал эту черту характера ее и пользовался ею. Девчонка воображала, что он души не чает в ней, и отвечала ему настоящей преданностью. Если хочешь, чтобы Алиса приехала, притворись тоскующей по ней, напиши побольше ласковых слов. Она размечтается, что ты заменишь ей дружбу отца, и приедет.

Умная Дженни, отлично понимавшая цельность и прямоту характеров отца и сестры, оценивала их отношения и дружбу по-настоящему. Она знала сходство вкусов и идей, на которых лежала их дружба. Но что единственный ход к Алисе была ласка и призыв к ее милосердию — в этом Дженни не сомневалась. Написав коротенькую записку Тендлю, в шутливом тоне прося его извинения своему истерическому поведению — что так понятно в ее положении, — Дженни отдала записку матери, которая настаивала на необходимости отвезти ее лично молодому человеку.

Не столько пасторша верила в свои дипломатические таланты, сколько ей хотелось самой проверить слова адвоката и убедиться в богатстве Тендля, который жил, судя по адресу, на одной из лучших улиц. Так как и у самой Дженни теперь появилось любопытство к образу жизни поклонника, которого она согласилась перечислить в разряд женихов, то она не противоречила матери. Наскоро перекусив, пасторша отправилась в город. Дженни села за письмо к Алисе. Сначала ей казалось, что письмо это так легко и просто написать. Но прошло уже почти четверть часа, на листе красовалось трафаретное: «Милая Алиса», — и дальше ни одна мысль не складывалась у Дженни. Привычное гордо-снисходительное отношение к сестре, властный, приказной тон, которым она всегда говорила с сестрой — дурнушкой и швеей, не давал места чему-то другому, что сама Дженни понимала как ласковый тон.

Алиса продолжала ей казаться, по существу, глупым ребенком, упрямым в некоторых вещах, вроде любви к отцу и лорду Бенедикту, которых она чтила, как фетишей. Дженни вспомнила сцену в саду, когда она недостаточно почтительно, по мнению Алисы, выразилась о лорде Бенедикте. Вспомнился Дженни и весь вид Алисы, мелькнувшее отцовское выражение непреклонной воли. И она не знала, как ей пуститься в плавание с этим письмом, чтобы не сесть на мель или не разбиться о рифы всех своих дипломатических измышлений. Дженни пришло в голову, что хорошо бы вставить в письмо к Алисе кое-что из письма лорда Бенедикта, которое ей передал Мильдрей, так как, по всей вероятности, мысли лорда Бенедикта нравятся Алисе и привлекают ее. Но, переходя от порывов тишины к припадкам ярости, она нечаянно разорвала в мелкие куски письмо, а теперь ничего не могла из него вспомнить.

Наконец Дженни решила не упоминать о лорде Бенедикте, а взывать к гордости Алисы и доказать ей невозможность жизни в чужом доме в роли приживалки графини Т., тогда как родная сестра обречена ею на одиночество. Дженни так искренно поверила, что она жертва жестокости Алисы, что ей сразу стало легко начать письмо с целой серии обвинений сестре.

«Ты бросила нас с мамой на произвол судьбы и говоришь, что ты нас очень любишь. Ты даже не интересуешься, как мы живем и будем жить в этом старом, отвратительном, неуютном доме. Если ты думаешь, что для меня и мамы мыслимы те условия, которые ты нам предлагаешь, то, очевидно, ты совсем забыла о наших привычках и вкусах. Кроме того, если бы ты нас любила, ты не только не писала бы таких смехотворных распоряжений, но сказала бы отцу, что он от старости и болезни теряет всякое чувство понимания по-настоящему самых простых вещей. Ты же, Алиса, знаешь мои вкусы к роскошной жизни. Зачем же ты живешь при чужой женщине, которая может заменить тебя десятью швеями, а я могу иметь швеей только одну тебя. Ведь у меня не всегда же ты будешь сидеть дома. Скоро я выйду замуж, тогда можно будет подыскать тебе также приличного мужа. Твои вкусы так скромны, тебе так не нужен внешний блеск, что для

тебя найти партию будет нетрудно. Если ты искренна в своих словах, не оставляй нас с мамой. Ты ведь знаешь, что вся наша с мамой предыдущая жизнь прошла в неудовлетворенности. То, чего нам с нею хотелось, все не нравилось отцу, и на все он накладывал свое вето. Теперь мы наконец можем начать жить, как нам хочется. Но для этого надо, чтобы ты была дома. А ты, злая девочка, покинула нас для своих деревенских вкусов. Если бы ты заупрямилась и не пожелала возвратиться немедленно домой, нам пришлось бы обратиться в суд. И на суде выяснилась бы картина ненормальности отца, огласки чего ты, наверное, не очень хочешь. Что касается твоего письма — не его лирических мест, а той части, где ты даешь свои «распоряжения», — то я просто их не принимаю всерьез. Но об этом мы поговорим дома, когда ты вернешься из своей достаточно затянувшейся отлучки. Я кончаю письмо и еще раз напоминаю тебе, что девушка из общества, случайно попавшая в пасторские дочки, вместо того чтобы занять в свете блестящее положение, не должна жить приживалкой в чужом доме. Возвращайся скорее домой и развяжи нам с мамой руки. До скорого свидания.

Твоя Дженни».

Дженни осталась очень довольна своим письмом и, помня одну себя, полная сознания исполненного тяжелого долга, стала ждать возвращения пасторши. Через некоторое время леди Катарина возвратилась в довольно плохом расположении духа. Дом мистера Тендля оказался отличным особняком. Но самого хозяина не только не было дома, но и вся прислуга была отпущена, кроме дежурных дворника и кухарки. Мистер Тендль жил на даче, домой заглядывал редко и бывал только по утрам в конторе дяди. Все эти сведения весьма неохотно дал ей дворник. С трудом удалось пасторше узнать адрес конторы адвоката. Разочарованные мать и дочь решили отправить письмо по почте, так как Дженни категорически воспротивилась желанию матери передать письмо Тендлю лично в конторе.

И Дженни, и леди Катарина, обе были раздражены неудачей. Обе чувствовали себя одинокими и обе не знали, чем и как себя занять. Поболтав о всяких пустяках, обе отправились спать, не признаваясь друг другу, как тревожно становилось у каждой на сердце и будущее, без мужчины, казалось им мало привлекательным.

У Дженни пробегали завистливые струйки по сердцу, когда она думала, что Алиса сидит в деревне, окруженная мужским обществом, и не знает никаких забот, которые целиком снял с нее богатый опекун.

И Дженни решила бороться с этим опекуном, вырвать у него Алису, чего бы ей это ни стоило. Если не Тендль, то кто-то другой, но замуж она выйдет, и лорд Бенедикт хорошо запомнит на всю жизнь, как ему насолила Дженни.

На этих приятных мыслях Дженни успокоилась и с твердо принятым решением легла спать.

Глава 9

Второе письмо лорда Бенедикта к Дженни. Тендль в гостях у лорда Бенедикта, в деревне

Возвратившись к себе в кабинет, Флорентиец, всегда сам разбиравший свою почту, долго был занят чтением писем. Ответив на некоторые из них короткими записками, сделав на других пометки, он призадумался, глядя на портрет пастора, стоявший на полке, неподалеку от письменного стола.

— Да, друг, я тебе обещал позаботиться о твоих делах и детях, — проговорил он, обращаясь к портрету. — Я еще раз попытаюсь написать Дженни, хотя уверен, что кипящие в ней страсти, ярость и зависть уже настолько открыли двери ее сердца злу, что мне будет невозможно остановить катящийся к ней ком гадов. Думаю, что и девятый вал падения перекатится через нее. Но... во имя моего обещания тебе постараюсь вторично ей помочь.

Знавшим Флорентийца в его повседневных сношениях с людьми, видевшим его лицо всегда полным обаяния, бодрости и радостности трудно было и представить себе его лицо таким, каким оно было во время разговора с пастором на портрете. Необычайная нежность и печаль были в его глазах. На лице его лежала скорбь и печаль о пути другого человека, который сам создавал себе безвыходный круг мучений. Это прекрасное лицо, всегда такое юное, было строгим и бледным и таким постаревшим, точно мудрость целого века легла на него. Флорентиец взял бумагу и снова задумался, пристально всматриваясь вдаль.

«Дженни, — писал он, — сравните дату и час наших писем. Ваше письмо к Алисе все еще лежит перед Вами не отправленным, а я уже знаю его содержание, от первого до последнего слова. Знаю не только его содержание, но и весь хаос мыслей и чувств, в каких Вы сейчас живете. Я прошу Вас заметить дату и час, чтобы Вы не думали, что я вскрыл письмо больной Алисы. Я писал Вам, что сестра Ваша очень больна. Но Вы ни одним словом не выразили ей Вашего сочувствия. Многое я сказал Вам в первом письме. Но Вы прочли его невнимательно и разорвали в припадке ярости.

Я объяснил Вам, что злоба — не невинное занятие. Каждый раз, когда Вы сердитесь, Вы привлекаете к себе со всех сторон токи зла из эфира, которые присасываются к Вам, как пиявки. Сегодня — как и очень часто за последнее время — Вы вся покрыты уродливыми красными и черными пиявками, с самыми безобразными головками и рыльцами, какие только возможно вообразить. И все они — порождение Ваших страстей, Вашей зависти, раздражения и злобы. После того, как Вам будет казаться, что Вы уже успокоились и овладели собой, — буря в атмосфере вблизи Вас все еще будет продолжаться, по крайней мере, двое суток.

Как Вы думаете, Дженни, кто может приближаться к Вам, пока уродливые существа сосут Ваши страсти и питаются ими? Ведь эти не видимые Вам пиявки сосут и питаются Вами совершенно так же, как обычно пиявки сосут кровь человека. Всякое чистое существо очень чувствительно к смраду этих маленьких животных. И оно бежит тех, кто окружен их кольцом, кто лишен самообладания. Чистое существо, встречаясь с человеком, привыкшим жить в распущенности нервов, в раздражительных выкриках и постоянной вспыльчивости, страдает не меньше, чем встречая прокаженного. Злой же человек, обладающий одним упорством воли, мчится навстречу такому существу, с восторгом видя в нем орудие для своих целей. Он, скрывая под лицемерной маской свои истинные

побуждения, окружает свою жертву внешним блеском, заманивает богатством, иногда притворяется влюбленным или любящим. Но все это только ложь, интриги, а суть — сдавить волю несчастного, чтобы овладеть им для своих целей зла и разрушения. Узнайте, Дженни, закон вселенной, закон, которому подчинено все духовное и материальное на земле: мир сердца определяет место человека во вселенной, как сила притяжения земли заставляет его ходить вверх головой.

Духовная сила человека — это та светящаяся материя, что соткана миром его сердца. Эта материя как шар атмосферных токов окружает его. А притяжение земли ведет по ряду фактов и дел, миновать которые он не может в своем дне. Вам сейчас кажется, что Вы больны. Но это только те злые животные, которых Вы притянули к себе, теребят Вас, не дают Вам покоя. Лучше всего Вы сделаете, если приедете ко мне сюда. Я бросаю Вам несколько мыслей, для Вас совершенно новых, и еще раз — памятью Вашего отца — прошу Вас: оставьте старую привычку жить в постоянном раздражении. Стройте жизнь новую не на эгоизме и злобе, а на любви и радости.

Труд, так Вас пугающий, — это единственный путь к пониманию смысла всей земной жизни для людей. Все, без исключения, должны на земле трудиться. Если же Вы будете жить в безделье, конец может быть только один: Вы дойдете до отчаяния. Вы скоро убедитесь, если будете упорствовать в своем образе жизни, что все доброе и светлое станет Вас избегать. И по такому признаку сможете понять, насколько зло приблизилось к Вам. Спешите спастись от него! Приезжайте на этих днях сюда, быть может, все еще поправимо. Вы можете здесь встретить людей нужных и приятных Вам, людей, уже несколько связанных с Вами, от которых зависит иной поворот Вашей дальнейшей жизни.

Послушайтесь моего зова, Дженни, мы никогда не знаем, где и что нас ждет. И не часто нам дано понимать, какое кольцо людей задето нашей жизнью и деятельностью. Если в три ближайшие дня Вы, Дженни, не приедете, я буду знать, что в Ваше сердце проникнуть доброте нельзя. Я прошу Вас еще и именем сестры: имейте милосердие к ней. Она больна, навестите ее. Не ходите в суд — это бессмысленно. Дела Вы не выиграете, а Алисе причините тяжелый удар. Но так как ее чистое сердце не будет питать злобы к Вам, какие бы страдания Вы ей ни причинили, — удар падет на Вашу же голову.

Я еще не теряю надежды видеть Вас у себя и еще раз повторяю: Вы можете встретить здесь людей очень ценных, очень нужных и интересных для Вас. Вся Ваша судьба может еще повернуться к счастью и радости. Но учтите, Дженни, что “может” не значит “будет”. “Будет” — это деятельность человека, его энергия, превращающая в действие то, что быть “может”».

Запечатав письмо, Флорентиец вновь прошел к Алисе, где Наль сменил Николай, убедился в точности и аккуратности ухода и вернулся к себе. Снова присев к столу, он написал короткое, любезное письмо мистеру Тендлю, прося извинения за нанесенное ему оскорбление в его деле и приглашая провести конец недели в его деревне. Он написал еще записку лорду Амедею, прося его рано утром спуститься к нему в кабинет за письмами и поручениями в Лондон. Отнеся записку в почтовый ящик Амедея, Флорентиец возвратился к себе, улыбнулся портрету пастора, потушил свечи и перешел в спальню.

Мильдрея, спавшего очень крепко после утомительного дня, разбудил утром слуга, подавая ему почту. Первое, что бросилось Мильдрею в глаза, была записка Флорентийца, которую он лихорадочно схватил, как будто это было нечто самое ценное в жизни. Ознакомившись с содержанием письма, Мильдрей стал поспешно одеваться и через полчаса был в кабинете Флорентийца. Здесь, уже совершенно готовый, хозяин дома подал ему два письма, прося сначала завезти письмо Дженни, а затем съездить в контору

адвоката и уговорить Тендля приехать вместе с Мильдреем в деревню, о чем он просит его в своем письме.

Дженни нежилась в постели, попивая шоколад, когда ей подали письмо лорда Бенедикта. Она сразу же узнала и длинный зеленоватый конверт и характерный почерк. Сердце ее забилось, и целая туча самых смешанных мыслей и чувств охватила ее. Разорвав конверт, она уже хотела читать письмо, как заслышала шаги матери. Дженни закрыла дверь комнаты на задвижку. Пасторша, имевшая привычку врываться в комнаты без стука, не могла войти к дочери, что ее тут же озлило.

— Дженни, ты получила письмо от Мильдрея. Что он пишет? Да открой же дверь наконец! — кричала она за дверью.

— Я еще не читала письма, мама. Прошу вас, дайте мне возможность прочесть его спокойно. Я ведь не спрашивала вас, от кого и какое письмо принесли вам вчера вечером. Надеюсь, я могу требовать и от вас некоторой деликатности.

— Да что с тобой, дочка? Неужели ты не понимаешь, что Мильдрей поважнее Тендля будет. Быть может, теперь Тендлю и письма посылать не надо.

— Говорю вам, мама, оставьте меня в покое, — озлилась в свою очередь Дженни, вспомнившая слова Мильдрея: «Такие женщины, как ваша сестра, могут заставить забыть, что на свете есть еще другие женщины». Точно иглы, укололи ее снова эти слова, и она еще раз, гораздо резче, попросила мать уйти.

За ночь несколько успокоившаяся, Дженни снова впала в возбуждение. Она прочла письмо раз, два, три, и каждый раз ей казалось, что она чего-то при первом чтении не поняла. Первым побуждением было полное отрицание всего письма в целом. Второй раз ей показалось приятным быть приглашаемой лордом Бенедиктом. После третьего чтения она решила, что поедет к нему непременно и немедленно. Дженни стала одеваться, обдумывая, как сообщить матери о своем новом решении. Никогда еще ей не было так радостно думать о наступающем дне, как сейчас. Точно дни детства вернулись, когда отец возил их к деду на елку.

Сверх всякого обыкновения, Дженни вышла из своей комнаты совершенно одетой. Пасторша, привыкшая видеть дочь по утрам в халате до самого завтрака, если та никуда не выезжала, обомлела.

— Как? Ты выходишь в такую рань? В чем дело?

— Дело в том, что я еду к лорду Бенедикту навестить больную Алису.

Пасторша даже села в кресло от изумления и не могла произнести ни слова. Дженни отлично знала эти минуты молчания матери, всегда предшествовавшие порыву бешенства. Она надеялась проскользнуть мимо нее и успеть выбраться на улицу, раньше чем мать опомнится, но у самой двери та ее догнала и с визгом вцепилась ей в руку. Убедившись в бесполезности своих усилий вырваться, Дженни возвратилась в гостиную.

— Что все это значит? Как ты смеешь ехать туда без меня?

— Вас туда никто не зовет. Зовут меня. Неужели вы думаете, что всю жизнь вы будете ходить за мной по пятам? Что же это за жизнь для меня начинается? — чуть не плакала Дженни.

— Дай письмо. Там, наверное, шантаж, которого ты не понимаешь. Дай сейчас же письмо, говорю тебе.

— Письма я вам не дам. Но если вы обещаете прийти в себя, я вам его прочту. Господи, я думала, что папа деспот и тиран. Но такой тирании, как ваша, я и представить себе не могла.

Дженни вынула письмо из кармана костюма и прочла его матери. После целой тирады малолестных итальянских эпитетов по адресу лорда, всех его присных и самой Дженни леди Катарина воскликнула:

— Да неужели же ты не понимаешь, что он боится суда? Тебе лестно, что тебя приглашают в аристократический дом и обещают каких-то нужных и интересных людей. А для чего здесь вся эта галиматья приписана? Ведь это только явный расчет на то, чтобы здравомыслящий человек ничего не понял. Сама-то ты что-нибудь понимаешь?

Все радостное, легкое настроение Дженни, с которым она одевалась, улетучилось. Ее недавнее желание поехать поскорее к лорду Бенедикту стало казаться ей легкомыслием. Гнев матери снова заразил ее и вызвал в ней ужас попасть в ловушку.

— Послушай ты меня. Отправь письмо Тендлю с посыльным и жди либо ответа, либо его самого. И часа не пройдет, я уверена, как он явится.

Долго упрашивала дочь леди Катарина, и под влиянием этих уговоров все сумрачнее становилось у Дженни на сердце. Лицо ее стало мрачно, вся она точно съежилась, как будто тьма и холод окружили ее.

— Вечная ваша песня, мама, о любви ко мне. Но, Боже мой, как скучно от вашей любви, как вы заставляете меня всех подозревать в неблаговидных поступках и всех ненавидеть! Почему вы воображаете, что лорд Бенедикт боится суда? Ведь не мог же папа и сам не знать законов и давать свое имя на поругание. Почему не поверить, что я могу встретить в его доме кого-то интересного и даже нужного мне?

— Не будь наивна, Дженни. Папенька устроил свои дела отлично. Алису он обставил прекрасно, а нас выбросил, как и всю жизнь делал.

— Мама, отец первый раз в жизни поехал отдыхать, и то перед смертью. Зачем клеветать? Я не в силах больше выносить этого, — рыдала Дженни.

Пасторша, никогда не видавшая слез своей дочери, поняла, как далеко она зашла в своей несдержанности. Она бросилась к дочери, обнимала ее, целовала ее руки, умоляла о прощении и давала слово больше не возвращаться к прошлому. Она так красноречиво расписывала Дженни о ее будущем замужестве, о блеске жизни без всякого труда и забот, о неприятном и страшном лорде Бенедикте, толкующем о труде, от которого лучше держаться подальше, что Дженни утихла и позволила себя уговорить послать письмо мистеру Тендлю, а самим поехать завтракать в город.

Пока мать пошла одеваться, Дженни привела себя в порядок, согнав с лица все следы слез, но состояние ее духа оставалось очень тяжелым. Она точно потеряла что-то весьма ценное. В первый раз кто-то был свидетелем ее слез, и в первый же раз слезы раскрыли ей самой бездну страха, сомнений и неуверенности, каких она и не подозревала в себе. Мелькнувший, как обаятельное видение, образ лорда Бенедикта погас, и в ее душе стало холодно. Но зато там снова возродилось упрямое желание бороться с ним, и это желание заняло первое место в ее мыслях. Ярко вспыхнула в Дженни теперь ненависть и к Мильдрею, осмелившемуся сказать ей о прелести ее сестры. И снова Дженни бешено изорвала письмо лорда Бенедикта в мелкие кусочки.

— Дженни, — входя в комнату в городском туалете, сказала пасторша, — по какому адресу указывает Бенедикт свою контору?

Дженни вспомнила, что в письме была приписка с указанием адреса деловой конторы на случай, если бы она захотела приехать в деревню. Ей только надо бы было дать знать в контору, и ее проводили бы до самой деревни.

— Я уже изорвала письмо, не знаю, — угрюмо буркнула Дженни.

— Какое же ты неосторожное дитя, Дженни! Сколько раз я тебе говорила, что письма — документы. Писать их не нужно, а полученные надо хранить. Подумай, каким богатейшим материалом могли бы тебе послужить в жизни эти два знаменитых письма. А ты их рвешь.

Ни слова не ответила Дженни, направляясь к выходной двери, и пасторше ничего не оставалось, как идти за нею. Дойдя до первого встречного посыльного, передав ему письмо для Тендля, обе дамы отправились завтракать.

Передав письмо Флорентийца Дженни, Мильдрей поехал в юридическую контору дяди Тендля, где застал этого последнего, собиравшегося уже уезжать. Увидев входившего Мильдрея, он счел его визит за официальное посещение конторы.

— Добрый день, лорд Мильдрей. Вы, по всей вероятности, к дяде. Но он заболел, и я один сегодня справился очень скоро со всеми делами. Но я всецело к вашим услугам, если я могу заменить вам дядю.

— Нет, мистер Тендль, я как раз лично к вам. Я привез вам письмо от лорда Бенедикта с извинением за вчерашний печальный факт. Лорд Бенедикт хочет извиниться лично перед вами. Но в его доме и под его наблюдением лежит сейчас тяжело больная, которую он не может оставить без своего надзора на такой долгий срок, как поездка в Лондон и обратно. Я уполномочен им упросить вас предоставить ему эту возможность и поехать вместе со мной к нему в деревню. Прочтите, пожалуйста, это письмо, быть может, вы не откажете лорду Бенедикту в его настойчивой просьбе.

Мистер Тендль прочел письмо и весь зарделся от удовольствия.

— Я даже и не мечтал о таком счастье, чтобы погостить у лорда Бенедикта, о котором я столько слышал. Но я, право, не знаю, как мне быть с дядей, с конторой, и потом пришлось бы заехать еще домой за вещами. Я, пожалуй, приехал бы завтра.

— Это будет сложнее. Да и вы очень обрадуете лорда Бенедикта, если приедете сегодня. Я в коляске, мы заедем к вашему дяде и к вам и как раз успеем к поезду.

Мистеру Тендлю так захотелось самому поехать сегодня же, что Амедею не особенно трудно было его окончательно уговорить. Через несколько минут молодые люди уже сидели в коляске и мчались к дяде Тендля. Быстро было получено разрешение дяди, который и сам был польщен приглашением своего племянника лорда Бенедикта, еще быстрее были собраны необходимые вещи, и новые друзья примчались на вокзал в последнюю минуту. Совершенно благополучно добрались они до дома лорда Бенедикта и были встречены обаятельным хозяином, представившим Тендля своей семье. Очарованный красотой и любезностью Наль и дружелюбием Николая, Тендль сразу почувствовал себя точно в родственном доме. Он и не заметил, как пролетел вечер.

Почувствовавший себя окрепшим Сандра тоже спустился вниз и еще больше содействовал прекрасному настроению Тендля. Сначала несколько побаиваясь учености Николая и Флорентийца, Тендль вскоре забыл о робости и выказал себя не только культурным и образованным человеком, но и очень веселым и остроумным собеседником.

Когда расходились по комнатам к ночи, Флорентиец поручил Сандре завтра до завтрака проводить гостя к озеру, а днем обещал сам показать Тендлю наиболее красивые окрестности.

Оставшись один с Наль и Николаем, Флорентиец сказал, что здоровье Алисы гораздо лучше, что дня через три она сможет посидеть в кровати и затем начнет быстро поправляться. На удивленные вопросы Наль он ответил, что, собственно говоря, болезнь Алисы нельзя рассматривать как болезнь, о которой говорят доктора. Что у нее раздвоение сознания благодаря чересчур сильному нервному шоку, который дал возможность ее сознанию проникнуть в те вибрации и в ту быстроту колебаний эфирных волн, которые в ее здоровом физическом состоянии ей были недоступны.

— Такие состояния могут быть и губительны для человека, могут даже окончиться смертью. Человек, попадая в сферы высшей красоты, о которой он и не догадывался, живя на земле, не хочет возвращаться вновь на землю. Иногда же, если человек жил низменной жизнью, он может попасть в таком нервном шоке в сферу отвратительных вибраций. Тогда ему грозит возвращение в безумии или припадках какой-либо страшной болезни. Что же касается Алисы, то девочка возвращается к нам еще прекраснее, чем была. Та атмосфера, где жил ее дух эти дни, — недосягаемая для нее раньше, — будет теперь открыта для нее всегда. Она будет ее слышать, общаться с теми, кого там узнала.

— Скажи, отец, что бывает теперь со мной? Я и раньше так ясно иногда видела дядю Али, даже как будто слышала его голос. Стоило мне подумать пристально о нем, как он вставал передо мной в отдалении. Теперь же, когда я одна сидела у постели Алисы, я начинала видеть ее, но не лежащей в постели, а как бы сотканной из тончайшей светящейся паутины, летающей высоко надо мной. Она была веселой, радостной, смеялась и говорила мне: «Не бойся, Наль, я вернусь. Я могла бы уже вернуться, но мне так не хочется». Я все это принимала за фантазию и бред моего напуганного болезнью друга воображения, отец. Но после услышанного сейчас мне начинает казаться, что это могло быть действительностью, а не галлюцинацией.

— Вне всякого сомнения, ты видела реальные факты, Наль. Но для того чтобы реальные факты миров, живущих по иным, чем земля, законам и по иным частотам волн, были правильно восприняты человеком земли, нужен не только дар к этому в организме человека. Дар — как музыкальная одаренность — принадлежит избранникам. Но нужна еще такая большая чистота сердца, такие бесстрашие и бескорыстие, чтобы ничто их не могло нарушить и ничто из пролетающих мимо грязных токов и течений не могло найти себе в человеке крючочков, за которые им удалось бы зацепиться. Во всех случаях жизни, когда у человека просыпаются к действию его сверхсознательные чувства, он попадает в такие внешние обстоятельства, которые нужны именно ему, чтобы легче овладеть ими. Очень часто человек, владеющий возможностью проникать через сознательное в бессознательное творчество, не кажется людям ни возвышенным, ни особенно чистым, ни особенно ученым. Словом, по мнению людей, не обладает никакими особенно ценными, по их мнению, качествами. Этим, друзья мои, вы никогда не смущайтесь. Разберитесь и убедитесь только в одном: если перед вами фантазер, или враль, или человек, лишенный здравого смысла земли, — от таких людей никогда ничего не выслушивайте и не принимайте. Все их сны, рассказы об астральном или эфирном зрении — все это досужая чепуха от нечего делать. В твоей жизни, Наль, ты уже убедилась, что чудес нет, а есть знание и труд. Обыватель порассказал бы о твоей, Левушкиной и Николая жизни, что каждый из вас был уже несколько раз предметом чуда в своей короткой жизни. На самом же деле — просто кармические нити старших братьев, связанных вековым трудом с вами, входили несколько раз в земное взаимодействие с каждым из вас. Потому что в каждом из

вас уже созрело достаточное количество цельной верности, чтобы соединение с вами было возможным.

Флорентиец простился со своими детьми, и вскоре весь дом заснул.

Прекрасное осеннее утро следующего дня особенно ярко подчеркнуло все красоты озера и водопада, и совсем очарованный мистер Тендль не находил слов, чтобы благодарить Сандру за утреннюю прогулку до завтрака. Любя природу, Тендль оценил не только естественную ее красоту, но и те такт, ум и художественный вкус, с которыми были обработаны эти естественные красоты. Нигде не была нарушена гармония земли, и всюду была видна рука человека, помогшая еще ярче выделиться природной красоте. Беседа молодых людей вертелась сначала вокруг хозяина дома. Но постепенно Сандра, темпераменту которого надо было непременно вылиться, рассказал спутнику о смерти пастора и его болезни, о болезни Алисы и о самой Алисе. Не мог Сандра не сказать и о своей тоске по ушедшему другу, об огромном разочаровании в Дженни, так нравившейся ему когда-то.

При упоминании имени Дженни лицо Тендля стало скорбным. Даже что-то болезненное появилось на нем, и если бы Сандра не был так поглощен своими излияниями, он непременно заметил бы перемену в своем приятеле.

— Ну, Сандра, не могу сказать, чтобы ты был любезным хозяином и привел своего друга в веселое расположение духа, — раздался внезапно голос Флорентийца.

— А что, лорд Бенедикт?

— Да посмотри на нашего гостя внимательно. В твоем обществе он стал похож на Рыцаря печального образа. Тебе не следовало так увлекательно рассказывать о всех своих горестях. Тогда впечатлительная натура мистера Тендля не реагировала бы так сильно на твои речи. Не печальтесь, мистер Тендль, жизнь движет людей только внешне безжалостно. На самом же деле все ее действия несут великий смысл доброты и мудрости нам же самим. В каждом из нас живет такая чрезмерная впечатлительность, которая ставит нас оголенными перед суровыми фактами жизни. А должны мы стоять перед ними закаленными, принимая их как можно проще и легче.

— Да, лорд Бенедикт, совершенно не зная меня, вы попали в самую уязвимую точку моего характера. Я до такой степени впечатлителен, что иногда целые недели бывают потерянными для меня оттого, что кто-то сказал мне какие-то слова, не говорю уже о разочарованиях и улетающих надеждах. А уж почувствовать себя закаленным — этого я еще не испытал в жизни ни разу. Я не хочу этим сказать, чтобы я не умел мужественно встретить удары судьбы или скорби, мне их выпало на долю немало. Но мне приходилось каждый раз собирать все свое мужество и волю, чтобы продолжать нормальную жизнь и не дать заметить людям, как больно моему сердцу.

— Я угадываю, что один из тяжелых периодов вы переживаете сейчас, мой дорогой мистер Тендль, — беря молодого человека под руку, сказал Флорентиец. — И если бы мой милый друг, — продолжал он, просовывая вторую руку под локоть Сандры и улыбаясь ему, — был более внимателен к вам, а не к своим горестям, он не затронул бы болезненных струн в вас.

— Опять виноват, — приникая к Флорентийцу, печально и детски произнес Сандра. — Тысячи и тысячи раз ваше великодушие и снисходительность ко мне извиняют меня. Всем сердцем желал бы я прожить хоть один день как тактичный человек. Но до сих пор не помню ни одного такого случая.

Беседуя о встречавшихся цветах, культивированных из простых полевых цветов, на которые со свойственным ему одному тактом лорд Бенедикт незаметно перевел разговор, трое спутников дошли до дома, где текла обычная жизнь и где ждал их завтрак. Накормив гостя, хозяин дома, обещавший лично показать ему красоты парка, увел Тендля на прогулку. Сам не заметив, как это случилось, Тендль начал разговор о чтении завещания в доме пастора и о тяжелых сценах, сопутствовавших ему. Наводимый вопросами Флорентийца и поощряемый его глубоким вниманием, юноша рассказал историю своего случайного знакомства с Дженни, скачки, последующие встречи и увлечение ею. Тендль признался, что считал Дженни жертвой тирании отца, как это часто бывает в семьях больших ученых, где отец погружен в науку и хочет применить на живых людях те или иные свои научные изыскания, не считаясь с индивидуальностью человека. Флорентиец нарисовал ему истинный образ пастора, рассказал об его жизни и жизни Алисы в их собственном доме и — не касаясь Дженни — помог молодому человеку понять безобразную жизнь семьи, самой пасторши и ее разлагающее влияние на старшую дочь.

— Вам казалось, что вы должны жениться на Дженни, чтобы спасти ее, изуродованную притеснением отца. Мне хотелось бы, чтобы вы поняли всю серьезность брака. Нельзя жениться на ком-то, если не уверен, что этот кто-то действительно любит тебя. Все браки, где люди думали спасти того, кто их не любил или кого они сами недостаточно любили, кончаются крахом. Сам пастор, внутреннюю трагедию которого вы поняли, думал спасти свою жену и — при всей возвышенности и силе характера — не успел в этом.

— Мне, лорд Бенедикт, при моей повышенной чувствительности, при чрезмерной впечатлительности, отравляет сейчас существование даже не самый факт, что Дженни жестоко оскорбила меня, а то, что она, проводя со мной столько времени, ни разу не отказавшись ни от одного предложенного ей удовольствия, не поинтересовалась даже узнать, кто я такой. Я по глупости вообразил, что девушка ценила во мне человека, и был даже горд отсутствием каких-либо вопросов о моем социальном положении, считая это верхом деликатности. Конечно, можете себе представить, с каких небес я шлепнулся, оглушенный выходкой мисс Уодсворд в день чтения завещания. И все же — как это ни дико — Дженни живет в моем сердце. И боль в нем не уменьшается.

— Видите ли, в вашем сердце, бывшем так долго пустым, живет наконец «*она*», она в кавычках. Позволите ли вы мне задать вам несколько вопросов?

— Конечно, лорд Бенедикт, я безоговорочно правдиво отвечу вам. У меня нет страха перед правдой. Это бесстрашие правды много раз в жизни не только выручало, но и спасало меня.

— Качество это очень редко встречается в людях, мистер Тендль. Оно очень ценно не только потому, что охраняет самого человека от множества горестей, но и других защищает, помогая им сбрасывать с себя налет лжи. Но для того чтобы это качество могло творчески помогать людям, сам человек должен точно, бдительно распознавать, насколько отвечают истине его собственные представления о делах и людях. Знали ли вы, что та *она*, та Дженни, о которой вы мечтали как о жертве чужой тирании, зла, вспыльчива до порывов ярости и даже способна доходить до бешенства?

— Нет, лорд Бенедикт, мне даже в голову не приходило ничто подобное. Ее нервность я объяснял неудовлетворенностью. Мне казалось, что умной женщине, которой отец систематически запрещал учиться, было тесно в клетке будня. Я мечтал, что покажу Дженни весь мир в кругосветном путешествии и затем предоставлю ей возможность учиться, стать доктором.

Чуть заметная улыбка скользнула по лицу Флорентийца, когда он ответил Тендлю:

— Дженни охотно проехалась бы по некоторым столицам, чтобы выбрать себе костюмы. Хотя отсутствие вкуса и чувства меры вы должны были в ней заметить. Но поехала бы она только так и туда, где можно ехать с полным комфортом и выгодно показать свою красоту. Где же надо было бы переносить тропическую жару, пыль или неудобства — туда Дженни не поедет. Природы она не любит и жизни иной, кроме шумного города, не признает. Ей не нужна семья, не нужен муж-друг. Ей нужен удобный муж, с состоянием и титулом, так как войти в высшее общество — мечта ее жизни. Похожа ли эта Дженни на тот портрет ее, который вы себе нарисовали?

— Увы, каждому слову вашему я верю, лорд Бенедикт. И Дженни моих мечтаний вовсе не похожа на нарисованный вами портрет. Но от этого мне не легче.

— Ваша правдивость поможет вам не только освободиться от иллюзии, которую вы себе создали. Она поможет вам защитить всю свою жизнь от лжи и зла, от трагедии раскола в семье и собственной душе. Сегодня я не буду больше говорить вам о Дженни. Завтра вы увидите ее сестру Алису, которая является точной копией отца по характеру, доброте и уму. Вы сами поймете, могут ли люди этого типа кого-либо угнетать. Скажу только, что, если через два дня не произойдет ничего особенного, я вам расскажу многое о жизни вообще и о жизни Дженни в частности.

Как и предсказывал Флорентиец, в здоровье Алисы наступило сразу улучшение, и через два дня она уже спустилась вниз, похудевшая и побледневшая, но совершенно здоровая.

Для мистера Тендля эти два дня мелькнули как один час. Он не мог себе представить, что когда-то жил на свете без лорда Бенедикта и его семьи. А когда он был представлен Алисе, то стоял перед нею молча, смущенный, взволнованный.

— Почему у вас такой несчастный вид, мистер Тендль? — спросил Мильдрей. — Мы все привыкли, что возле мисс Алисы Уодсворд люди расцветают и улыбаются. И вид вашего смущения озадачивает не только меня, но и всех нас.

— Я смущен, потому что оказываюсь очень виноватым перед вами, мисс Уодсворд. Я представлял себе вас человеком упорной давящей воли, тяжелого характера. Теперь я вас вижу и понял, как я ошибался. Простите меня, я даю себе слово отныне не строить заглазных портретов людей, кто бы мне ни помогал их строить.

— Если вы рисовали себе мой портрет и теперь разочаровались к лучшему, то за что же мне вас прощать? Я очень рада, если в вашем сердце растаяла неприязнь ко мне. Самое тяжелое, мне кажется, не иметь свободным сердца и носить в нем каких-нибудь скорпионов. Если же я из скорпионов перекочую хотя бы в растительное царство в вашем сердце — я буду рада быть там хоть крапивой. Возьмите от меня розу, быть может, мы еще и подружимся.

— Ай да Алиса! Отец, это после болезни моя маленькая сестренка стала такой кокеткой?

— Что она стала кокеткой, Наль, это еще полбеды. Но что она смутила нашего милого гостя, это уж действительно нехорошо. Похоже, что у крапивки, хотя и молоденькой, листочки-то пощипывают. Изволь загладить свое неловкое кокетство и сыграй нам что-нибудь. Не только мы, но и рояль соскучился по твоим звукам, — смеялся Флорентиец.

Алиса села за рояль и стала играть Шопена. Когда раздались звуки похоронного марша, Сандра еле сдержал рыдание. Что же касается лиц игравшей Алисы и сидевших рядом с Тендлем Флорентийца и Наль, то они так поразили его необычайностью выражения, что Тендль не мог отделить ни их от музыки, ни музыки от них. Какая-то новая жизнь открывалась ему через этих людей. Он видел в них такую мощь и такую духовную

высоту, каких еще не встречал. Как и всякий культурный человек, Тендль слышал много музыки, но ему не приходилось испытывать на себе такого ее очарования.

Весь вечер Тендль оставался под впечатлением этих трех прекрасных лиц и того особого выражения, которое он в них уловил. Ему казалось очень странным, что трагическая музыка могла вызвать на лицах этих людей отпечаток мощной радости, чего-то светлого. Как же претворялось в этих сердцах понимание смерти, если похоронный марш оставлял их лица не опечаленными? Тендль совсем ушел в свои думы, когда его привел в себя голос хозяина:

— Ну, вот, мистер Тендль, завтра последний день вашей жизни с нами. Не проскучали ли вы здесь? Захотите ли приехать снова провести конец следующей недели еще раз с нами?

— Захочу ли я? Этот вопрос, лорд Бенедикт, до такой степени мне странен, ибо я, как школьник, чуть не в отчаянии, что еще только один день мне быть в вашем обществе. Я всегда любил Лондон. Откуда бы я ни возвращался — всегда я ехал точно на праздник. Сегодня же у меня такое чувство, точно во мне все перевернуто вверх дном. Здесь мой праздник, здесь я нашел что-то новое, неожиданное, очаровательное, точно всю жизнь чего-то ждал — и вот его сейчас нашел. Конечно, вы можете отнести за счет моей чрезмерной впечатлительности многое из того, что я говорю. Но какой-то мир в самом себе, какого я до сих пор не знал, какое-то новое спокойствие и принятие жизни именно такою, как она идет, этого я не знал еще никогда. И это новое родилось здесь. Мне хочется благословить мой день. Благословить добро и зло, встреченные в нем, больше всего хочется сказать вам, лорд Бенедикт, что встреча с вами и с теми, кого я встретил в вашем доме, показали мне, *чем* может быть встреча людей. Я думаю, я ответил на вопрос, захочу ли я приехать еще раз к вам. Но есть другой вопрос: смею ли? Обычно я привык чувствовать и сознавать себя выше тех людей, в массе которых мне приходится вращаться. Здесь же, в вашем доме, я ощущаю себя точно неуверенный мальчик, настолько я сознаю себя ниже всех вас. Вы кажетесь мне знающими что-то такое, о чем я и понятия не имею, несмотря на мои университеты.

На несколько минут водворилось молчание, которое нарушил мягкий голос Флорентийца. Всегда мягкий, на этот раз он был особенно мягок.

— В жизни каждого человека наступают моменты, когда он начинает по-иному оценивать факты жизни. Все мы меняемся, если движемся вперед. Но не самый тот факт важен, что мы меняемся, а *как* мы входим в изменяющее нас движение жизни. Если мы в спокойствии и самообладании встречаем внешние факты, выпадающие нам в дне, мы можем в них подслушать мудрость бьющего для нас часа жизни. Мы можем увидеть непрестанное движение всей вселенной, сознать себя ее единицей и понять, как глубоко мы связаны со всем ее движением. Самая простая логика может ввести нас в круг нового понимания единения со всем живущим и трудящимся на общее благо. Ибо в жизни природы мы не видим ничего, что шло бы во вред этому общему благу. Если вам даже кажется иногда, что природа в своих катаклизмах погубила что-то здесь и там, то это только от нашей привычки жить и мыслить в предрассудках внешней справедливости. Великой же Жизни, Ее Вечному Движению, нет дела до измышлений людей, до их справедливости.

Жизнь движется по законам целесообразности и закономерности. И люди, живущие по *этим* законам, не ищут наград и похвал, не ждут личных почестей и славы, не развивают своей деятельности в отрыве и отъединении от общей жизни вселенной. Семья для таких людей — не ячейка буржуазного счастья, личных страстей или коммерческих соображений, а ячейка идейно связанных сердец, верностью своей следующих друг за другом и трудящихся для общего блага. Такую семью вы видите перед собой, и хотя

большинство из нас никакими кровными узами не связано — мы представляем из себя одну дружную семью.

Тендль, как и все окружающие, не сводил глаз с прекрасного лица Флорентийца. Особенно привлекало оно сегодня

к себе выражением милосердия. Каждый из слушающих передумывал и переживал опять по-новому все, что говорил хозяин. Сам же Тендль, мысли которого никогда не направлялись в эту сторону, сидел точно зачарованный.

— Теперь вы понимаете, мой милый мистер Тендль, — снова заговорил Флорентиец, — что вопроса о том, смеете ли вы приехать к нам еще, быть не может. Если вас притягивает магия нашей общей любви, мы будем вас ждать на весь конец следующей недели. И тем приятнее будет мне вскоре опять увидеть вас, нового друга, так как половина из нас скоро уедет. Планы наши были несколько иными, — обводя взглядом всех присутствующих и останавливаясь особенно на побледневшем лице Сандры, продолжал он, — но ворвались некоторые бури зла, от них нам надо сейчас отойти, и борьбой с ними займутся другие наши друзья. Но вы не печальтесь, мистер Тендль, лорд Амедей и Сандра останутся здесь.

Сандра сдержал слезы, но стона сдержать не мог. Флорентиец положил ему руку на голову и продолжал:

— Кроме того, еще до нашего отъезда, вызванный мною обаятельнейший человек, существо огромных знаний, воли, доброты беспредельной и самоотверженности, приедет сюда. Зовут его Ананда. Среди его талантов есть и музыкальность редкая и голос, какой можно услышать только раз в жизни. Вы не будете одиноки. Амедей и Сандра будут жить в моем лондонском доме, где будет жить и Ананда. У вас будет там все та же наша семья.

— Я только что было почувствовал себя утопленником, но вы бросили мне якорь спасения, лорд Бенедикт. Моя небольшая ученость научила меня только одному: не имея о чем-либо достаточных знаний, не отрицать того, о чем тебе говорят. Но... чтобы кто-либо мог сравниться с вами или заменить вас... — Тендль глубоко вздохнул, печально глядя на Флорентийца. — Во всяком случае, с самой глубокой благодарностью я принимаю ваше предложение. Я не сомневаюсь, что Сандра и лорд Амедей примут меня в ту семью, куда вы меня рекомендовали.

Мильдрей встал со своего места и крепко пожал руку Тендлю.

— Мне очень хорошо знакомо одиночество, и еще больше я понимаю ваше мучительное чувство теряемого счастья, которое только что нашел и начинаешь понимать. Но счастье знать лорда Бенедикта, его друзей и семью тем и отличается от всякого иного счастья, что оно вечно. Обретенное однажды, оно не может быть ни потеряно, ни разорвано, если сам человек хочет его сохранить в своем сердце. Где бы ни был сам лорд Бенедикт, кому бы он ни поручил нас, мы будем чувствовать его мысль живущей рядом с нами, если только сохраним сами мужество и верность тем заветам, что он дал нам. Будем же вместе мужаться и стремиться стать лучше, чтобы дождаться новой встречи с ним и его семьей.

Тронутый ласковой внимательностью Мильдрея, на которого он эти дни обращал так мало внимания, Тендль горячо ответил на его пожатие.

Сандра, ожидавший, что, его возьмут в Америку, был совсем убит. Для него это было больше, чем катастрофа, и он снова вспомнил слова лорда Бенедикта: «Ты будешь всю жизнь помнить, как ты был слабее женщины». Эти слова он вспоминал часто за последнее время. Сейчас, сидя со всеми, он никого и ничего не слышал, кроме этих слов. Припомнились ему еще и слова Алисы о закрепощенном сердце, где живут скорпионы.

Юноша чувствовал себя как-то двойственно. С одной стороны, разлука с Флорентийцем разрывала его сердце и доводила почти до отчаяния. С другой, он ощущал какую-то силу и уверенность в себе, что все препятствия победит, лишь бы сохранить любовь и дружбу своего великого покровителя и друга, единственного близкого человека, которому он был предан без всяких оговорок. Сандре ни на мгновение не пришла мысль спорить с Флорентийцем, молить его изменить свое решение. Он все яснее понимал, что должен выбросить из сердца тяготящих его скорпионов, освободиться от слабости, лишней чувствительности. Он сознавал, что все это время в смысле духовного роста, он, Сандра, стоял на месте, тогда как его великий друг все шел вперед.

Сандре стало понятно, что, если он хочет, чтобы расстояние между ним и Флорентийцем не увеличивалось, он должен сам двигаться вперед, а не стоять на месте. Чем яснее он начинал усваивать свое положение, тем все справедливее казалось ему решение Флорентийца. Но... скорпион страдания все так же жалил его сердце.

Сандра опомнился только тогда, когда прекрасная рука лорда Бенедикта опустилась на его плечо. Он поднял голову и, показалось ему, утонул в море любви, лившейся из глаз Флорентийца. Молча приник юноша к своему другу, ощущая, как всегда, когда он к нему приникал, радость. Молча он поклонился всем и вышел из комнаты. Вскоре все сердечно простились с Тендлем, хозяин еще раз настойчиво повторил, что будет ждать его на следующей неделе, а Мильдрей обещал снова за ним заехать в четверг к двенадцати часам в контору. Тендль, предоставленный своим мыслям, отправился в свою комнату. Мало спал он в эту ночь, заснул под самое утро и был разбужен к первому лондонскому поезду. Он никак не ожидал увидеть кого-либо из хозяев в такой ранний час, а потому, встретив в столовой самого хозяина, лично угостившего его завтраком, был столько же поражен, сколько и обрадован.

— Я обещал вам сказать кое-что о жизни вообще, мистер Тендль, и о жизни Дженни в частности. Судя по целому рою новых мыслей, которые висят на вас, как огромная шапка, о жизни вообще я сказал вам достаточно. О жизни же Дженни — я должен предупредить вас о трех вещах. Первая — она простить себе не может, что не разглядела и упустила подходящего жениха. Второе — она решила поправить дело, и призывное письмо давно ждет вас в конторе. Третье — она и мать желают судом оспаривать завещание в целом и вырвать Алису из моих рук.

Коротко скажу: после всего, что вы сейчас знаете, вы поймете все в моих словах. Я обещал пастору сделать все для спасения Дженни от зла, которому она все время открывает в себе двери настежь благодаря раздражению и бешенству, в которых живет. Я сделал все, что мог. Я дважды ей писал, раскрывая ей глаза на ту жизнь, что она сама себе создает. Я звал ее приехать сюда и погостить у меня в те же самые дни, когда звал и вас. Я надеялся — если бы добро взяло в ней перевес над злом и Дженни хоть однажды проявила бы полную победу над матерью, которая соблазняет ее блеском богатства, — что ваша и Дженни судьба могла бы связаться. Это никогда не было бы счастьем для вас, как это еще и сейчас продолжает вам казаться, но это было бы спасением для нее, так как весь круг моих знакомых и я сам помогали бы вам строить вашу семейную жизнь.

Дженни не приехала. Она бросила кости своей судьбы в пасть зла, и нам с вами ее не спасти. Вы сказали, что хотите стать членом моей семьи. Действительно ли вы этого хотите? Или мимолетное очарование уже улетучилось?

— Напротив, лорд Бенедикт, за эту ночь улетучилось чувство одиночества. Я пристал крепко к берегу, и паруса моего брига готовы только к одному плаванию: под вашим руководством. Это по-английски: точно, серьезно, неизменно.

— В таком случае, капитан Тендль, согласны ли вы, — усмехаясь оборотам речи англичанина, сказал Флорентиец, — принять приказания вашего адмирала?

— О согласии и речи нет. Есть принять приказание адмирала.

— До нашего нового свидания в четверг — три пункта послушания: 1. Ни под каким видом не встречаться с Дженни и ничем не отвечать на ее письмо, как бы это вам ни казалось грубым и невоспитанным; 2. Рассказать дяде все пережитое здесь, хотя вы никогда не были с ним откровенны и вам это странно; 3. Отнести мое письмо одному молодому человеку, переживающему сейчас большой материальный и духовный кризис. Повозиться с ним эти дни, если бы он даже показался вам трудным, и все же помочь ему.

— И это все ваши приказания, адмирал? Да они так легки и просты, что только для очень тупых солдат могут показаться сложными. Судя по ним, я могу понять, что капитан я неважный. Но все же ответить я могу одно: буду счастлив выполнить точно все приказания. Что же касается молодого человека — постараюсь отыскать его сегодня же. И если только осмелюсь допустить мысль, что данное мне поручение трудно, — разжалую себя в рядовые. Но надеюсь явиться в четверг в том же чине к вам, ваша светлость.

— Я думаю, что подводные камни, вам, Тендль, встретятся. И вы будете несколько раз вспоминать о данном сейчас слове ненарушимого послушания, — подавая Тендлю письмо и провожая его к экипажу, сказал, прощаясь, Флорентиец.

— Если я буду вспоминать, то только для того, чтобы радоваться своему счастью новой связи с вами и получше проверить свою честь, лорд Бенедикт.

Тендль сел в коляску, лошади тронулись, и вскоре коляска исчезла из глаз Флорентийца. Но он еще долго стоял на крыльце, как бы посылая отъезжавшему свои благословения.

Глава 10

Мистер Тендль держит слово. Генри Оберсвоуд. Приезд капитана Джемса

Никогда в жизни еще не испытывал Тендль такого спокойствия и радости жить, как в этот понедельник, возвращаясь в Лондон. Все казалось ему прекрасным, он сознавал себя сильным и уверенным. Встреча с лордом Бенедиктом открывала ему новые горизонты и давала новое направление всей его жизни. Заехав на минуту домой, наскоро переодевшись, Тендль отправился в контору. Здесь он застал дядю в довольно сильном раздражении, до которого его довела пасторша, являвшаяся два раза подряд, желая видеть мистера Тендля. На ответы служащих, что мистер Тендль в деревне, она отвечала полным недоверием и наконец пробралась в кабинет к старому адвокату, подозревая, что тот прячет племянника. Пасторша пробовала начать одну из своих безобразных сцен, но адвокат так грозно приказал клерку вызвать немедленно констебля, что леди Катарина предпочла ретироваться.

Письмо Дженни посыльный принес через четверть часа по отъезде Тендля с Амедеем. Прочтя его теперь, Тендль даже не вздохнул, а с жаром набросился на дела, предварительно сказав дяде, что должен ему рассказать целую кучу вещей о своей жизни у лорда Бенедикта. Не привыкший к откровенности племянника, но очень любивший его старик был обрадован. Оба уговорились, что вечером пообедают в клубе дяди, где их разговору никто не помешает. Не успел Тендль и оглянуться, как уже было пять часов. Обычно работавший хорошо, но без особого рвения, сегодня Тендль поражал всех быстротой своих темпов.

— Тебя, племянник, подменили у лорда Бенедикта.

— Так точно, дядя, подменили. Я теперь капитан, пора держать руль крепко.

Адвокат весело смеялся шуткам племянника и даже забыл свое раздражение на пасторшу. Закрыв контору, оба отправились по своим делам, еще раз подтвердив встречу в клубе в девять часов. Не заезжая домой, Тендль отправился по адресу письма, данного лордом Бенедиктом. Это была одна из второстепенных улиц Лондона, и мистер Тендль довольно долго катил туда в наемном кэбе. Велев кучеру ждать, он в лабиринте огромного и неуютного дома, даже не особенно опрятного, разыскал своего адресата. На его стук в указанную на конверте квартиру дверь открыла маленькая, худенькая, прелестная, необычайно опрятная старушка. На ее очень красивой голове аккуратно сидел белый накрахмаленный чепец, такой же без пятнышка передник закрывал ее бедное платье, подштопанное, но безукоризненно чистое.

— Можно видеть мистера Генри Оберсвоуда? — спросил Тендль, входя в комнату, нечто среднее между столовой и кухней.

— Генри дома, но он болен. В пути он так устал, что сегодня даже не был в силах встать с постели. Если вам необходимо его видеть, я скажу ему. А то, может быть, завтра пожалуете, сэр? Он, возможно, и встанет завтра.

Мистер Тендль стоял в нерешительности. Он перенесся в дом лорда Бенедикта, вспомнил весь разговор, вспомнил слова своего адмирала и почувствовал определенную уверенность, что письмо надо передать непременно сегодня.

— Если вы разрешите мне раздеться, миссис Оберсвоуд, я попытаюсь войти к вашему сыну. Я постараюсь не расстроить его.

Старушка улыбнулась такой доброй улыбкой, все лицо ее расцвело и стало прекрасным, она с удивлением сказала:

— Как же вы могли угадать, сэр, что я его мать? Я вас раньше никогда не видела.

— У меня, миссис Оберсвоуд, уже давно нет матери. Но я так хорошо запомнил, как выглядит и проявляется материнская ласка и забота, что сразу угадал в вас мать мистера Генри, как только вы произнесли его имя.

Старушка рассмеялась, но тут же стала серьезна и печально ответила:

— Вы вспомнили о матушке, сэр, которую потеряли, а я смеюсь. Вот как я легкомысленна. Но кто может так говорить о материнской любви, тот не может иметь злого сердца и не может причинить Генри зла. Боюсь, сэр, — вдруг перешла она на шепот, — не случилось ли чего недоброго с Генри. Он уезжал такой радостный, веселый, уезжал надолго, а вернулся печальный, весь день молчит и стонет.

В глазах у старушки стояли слезы. Она смотрела на гостя с доверием, надеждой и таким тоскливым вопросом, что у молодого человека заговорило чувство опеки над слабейшим, и он весело ей сказал:

— Я привез ему письмо от одного такого доброго и сильного волшебника, что все печали вашего сына рассеются.

Сбросив плащ, мистер Тендль постучал в указанную ему дверь соседней комнаты. Войдя в нее, такую же чистую, как и первая, Тендль увидел красивого юношу, очень худого, с боль-ным и расстроенным лицом, лежавшего на постели. Большие голубые глаза пристально и далеко не приветливо впились в лицо Тендля, а руки судорожно закрыли книгу, которую он, очевидно, читал. Не дожидаясь вопросов и еще раз вспоминая слова лорда Бенедикта о трудном юноше, Тендль взял на себя инициативу знакомства.

— Я привез вам, мистер Оберсвоуд, письмо. Разрешите ничего не говорить вам, от кого оно. Я не сомневаюсь, что оно несет вам не только удовольствие, но и большую радость. Если же, прочтя его, вы пожелаете со мной поговорить — я к вашим услугам.

Тендль подал Генри оригинальный конверт Флорентийца, с его красивым, четким почерком. Наблюдая за Генри, Тендль понял, что тот не знал почерка Флорентийца и совершенно не догадывался, от кого ему подано письмо. Медленно и равнодушно взломал Генри печать лорда Бенедикта и начал читать письмо.

С первых же строк в Генри произошла метаморфоза. Лицо его вспыхнуло ярким румянцем, бессильно вытянутое тело гибко поднялось, глаза впились в буквы с такой сосредоточенностью, точно больше ничего не существовало. Мистер Тендль с глубоким интересом наблюдал своего нового знакомого. Тот, казалось, не только забыл о своем визитере, но и вообще унесся куда-то. По мере того как он читал, лицо его становилось бодрее и мужественнее. Уныние сменила улыбка, и Тендль удивился, как могли повлиять на Генри в несколько минут слова Флорентийца с такой силой, чтобы преобразить его в здорового юношу из печальной развалины, которую он увидел на кровати в первую минуту. Дочитав до конца, Генри начал читать письмо сначала. Он точно выздоравливал на глазах Тендля и продолжал расцветать, все так же не замечая своего гостя. Прочтя письмо вторично, Генри отбросил светлые волосы со своего высокого лба и сияющими глазами посмотрел на своего посетителя.

— Вы угадали, мистер Тендль, — как называет мне вас лорд Бенедикт. Ваша любезная услуга возродила меня. Я не только обрадован, я спасен. Лорд Бенедикт пишет мне, что

вы и еще один ваш друг захватите меня с собой к нему в деревню на следующей неделе в четверг. Как и где мне вас встретить?

— О, если позволите, мы встретимся с вами еще не раз до четверга. Эти дни я не буду уезжать в деревню. Я мог бы завтра в двенадцать часов заехать за вами, и мы где-нибудь позавтракаем. Я вижу, что лорд Бенедикт великий волшебник и вылечил вас быстрее, чем Силоамская купель. И вы можете завтра выехать из дома.

Лицо Генри омрачилось, он несколько минут боролся с собой и наконец сказал:

— Я был бы очень счастлив поехать с вами завтракать. Но я так нищ и оборван после моего долгого путешествия, что даже не представляю себе, как я мог бы это сделать, не конфузя вас своим видом.

— Тем больше оснований нам встретиться завтра. Совершенно недопустимо, чтобы вы ехали к лорду Бенедикту, беспокоясь за свои туалеты. Я убежден, что если бы вы явились на зов его даже в лохмотьях, то и тогда именно у этого человека вы были бы судимы не по внешности, а по радости и поспешности, с которыми бы вы явились к нему. Но я понимаю и другое: человек должен прийти к нему освобожденным от всех мелочей. Это нужно, чтобы взять от него как можно больше мудрости и уйти с новым пониманием жизни. Поэтому я предлагаю вам, минуя всякие предрассудки, согласиться на мое предложение. А предложение мое вот какое: до завтрака мы заедем к моему портному, и я насяду на него, чтобы к утру четверга он вас экипировал в полной мере. Пусть засадит за работу всю свою мастерскую, но чтобы вы были одеты к моменту отъезда. Ни о чем не говорите. Жизнь редко предлагает человеку такое счастье, как встреча с великим человеком, да еще в его собственном доме. Надо сделать все, как я уже сказал, чтобы приехать к лорду Бенедикту освобожденным от мелочей, в наибольшей творческой возможности и способности своего организма.

Лицо Генри стало очень серьезным, и он, пристально глядя в глаза мистера Тендля, спросил его:

— Вы хорошо знаете лорда Бенедикта? Я никогда еще его не видел, но от одного человека я много о нем слышал. И хотя сам этот человек был ума и духа очень высоких, для него ваш друг был авторитетом непреложным. Но я слышал о нем не как о лорде Бенедикте, а как о Флорентийце, как его звали все вокруг того человека и он сам.

— Сказать, что лорд Бенедикт мне друг, — это утверждать, что Юпитер мне брат, — рассмеялся Тендль. — Между мною и им такая зияющая пропасть, которой мне никогда не перейти. Лорд Бенедикт мой адмирал, я простой капитан и жажду ему повиноваться.

Теперь лицо Генри стало мрачнее тучи. Тендль, никак не ожидавший, что расцветший юноша может впасть снова в прежнее уныние, сразу осекся и с волнением спросил:

— У вас что-нибудь болит, мистер Генри?

— Нет, должно быть, усталость от дороги разбила мои нервы, — раздраженно ответил Генри, судорожно хватая письмо Флорентийца. — Вы не обращайте внимания, это пройдет.

— Что это пройдет, мистер Генри, я не сомневаюсь. Но надо, чтобы это прошло как можно скорее. А потому я удаляюсь, боюсь, что я вас слишком утомил. До завтра, и прошу вас ни словом не заикаться о материальной стороне дела. Я все беру на себя. Будет время — мы с вами сведем наши счеты.

Генри сохранял свой надутый вид и довольно равнодушно простился с новым знакомым. Выйдя снова в первую комнату, Тендль застал старушку за работой. Как он понял, она усердно штопала костюм своего сына. Тендль присел подле нее и просто, как будто он знал ее всю свою жизнь, сказал:

— Миссис Оберсвоуд. Я немножко доктор. Поэтому я понимаю, что вашего сына надо прежде всего хорошо подкормить. Вот здесь немного денег, которые я очень прошу вас принять. Мне их дал один человек и велел истратить на самое нужное и важное, что мне встретится в ближайшие три дня. Сегодняшний случай я считаю самым важным и даже священным.

— Нет, сэр, я хорошо знаю своего сына. Здесь дело не в еде и не в одежде, от которой у него осталось одно воспоминание. Конечно, и они — частичная причина его болезни, но не они — главное. Где главное, я знаю. Генри очень горд и самолюбив. Он, наверное, не сумел угодить синьору Ананде, который взял его к себе. Это один очень, очень большой доктор. Когда Генри учился в университете в Вене, там с ним и познакомился. Синьор Ананда такой добрый и дивный. Он выписал меня в Вену, когда Генри заразился трупным ядом. Он лечил его вместе со своим дядей. Тот ростом поменьше и не так красив, но такой же важный синьор, а доктор даже еще больше, чем сам синьор Ананда. Когда я в Вене сидела у постели сына, он вошел в комнату, поглядел на меня орлом — ну, точно все нутро у меня вычитал. Так я и присела от страха. Он же рассмеялся, погладил меня по голове, да и говорит: «Что? Испугалась, дитя Божье? Живи без страха и сомнений. Сын твой будет жить. Но не один раз он будет еще к тебе возвращаться гол и бос, а также в сильном раздражении на весь мир. Если, когда он в третий раз вернется к тебе в таком состоянии, он не встретит великой руки друга и не сумеет уцепиться за нее — тогда пой ему Requiem. Сейчас же радуйся, люби, верь до конца моим словам и всегда, как и в этот час, ничего не бойся. Если может чистота матери защитить сына, то твоя защитит». И вот в третий раз возвращается Генри. А где же эта Великая Рука? Как ее искать? — плакала горько старушка. — Уж не вы ли это, сэр?

— Это все равно, что вы спросили бы меня, не Моисей ли я, — рассмеялся Тендль. — Я не только не великая, но просто малая рука. Но что я привез письмо вашему сыну от Великой Руки и повезу в четверг вашего сына к этой Великой Руке — вот это верно.

— Неужели? Значит, дядя Ананды сказал правду? Боже мой, если бы Генри смирился наконец. Он ведь чудный мальчик, только горд, ох, как горд. И сын он нежный, а иной раз столько горя задаст сердцу! Не знаешь, как и подступиться.

— Ничего, миссис Оберсвоуд, все обойдется. Покормите получше сегодня вашего сына, а о его костюмах, пальто, белье и шляпах я позабочусь сам. До завтра. Завтра я заеду в двенадцать часов.

Напутствуемый благословениями старушки, Тендль быстро спустился с лестницы, оставив позади себя мать Генри, которая отправилась за вкусным ужином для сына. Генри, слышавший приглушенные голоса в соседней комнате, нетерпеливо ждал, пока они смолкнут. Поняв по наступившей тишине, что гость и мать вышли, он снова принялся за чтение письма. Медленно, точно вживаясь в каждое слово, читал Генри драгоценные строки.

«Мой друг, Вам кажется, что в эту минуту нет никого несчастнее Вас. Но это именно кажется Вам, потому что мысль Ваша сосредоточена только на себе самом. Допустите, что волшебное зеркало показало бы мне всю Вашу жизнь, день за днем. И не такою, какой она кажется Вам сейчас, когда многое уже забыто Вами, иное отошло, как не сбывшиеся мечты, а третье умерло, потому что Вы поднялись выше, освободясь от предрассудков, и

оно потеряло для Вас значение, как цель, которую перерос Ваш дух. Но такою, как шла Ваша жизнь в ряде будней, сжигая или создавая препятствия между Вами и окружающими, растя и возвышая Ваши честь и волю или вводя Вас в соблазн, зависть, бунт.

Что бы тогда должен был думать о Вас я — бесстрастный, посторонний наблюдатель, — зная Ананду и оценивая его труд и заботы о Вас? Ананда в нашем кругу — синоним рыцаря-защитника. Синоним доброты, дошедшей до полного божественного расцвета. Ананда — это мудрец; его мудрость не позволяет ему указывать рамки другому, ибо его собственная свобода, не зная рамок к ее достижению, привела его к полной мере сознания. Ананда — это принц среди простых смертных, сознающий себя в каждом и каждого в себе. У него нет иной цели жизни, как расстилать каждому ковер-самолет для скорейшего достижения совершенства.

Что же должен думать я о Вас, в третий раз свернувшем с пути этого человека? Правда, и Петр трижды отрекся от своего Учителя. Но он *видел, кто* был перед ним. Он клялся в каменной верности ему — и *дела* его жизни, вплоть до смерти, подтвердили ее. Ваше же поведение, хотя каждый раз Вы возвращались разбитым той бурей, что сами вызвали, и каждый раз Вы молили о прощении, не укрепляло Вас. Безмерная доброта Ананды развращала Вас. Со дна Вашей души вылезали змеи, жабы и филины слепивших Вас страстей. И Вы подавали текущему дню жизни не высокие качества мира и чести, но таили в сердце ужас сомнений, неудовлетворенности, непримиримости и неустойчивости.

Зачем я говорю Вам все это? Вам, слепцу, не видевшему солнца, в орбите которого Вы вращались. Затем, что милосердие не знает требовательности и взысканий, как это Вам сейчас кажется. Оно знает только закон пощады и радость помощи. Соберите растерянную энергию. Соберите внимание к текущему мгновению. Оставьте вечно бесплодные мысли раскаяния, перестаньте быть мальчиком-фанфароном, становитесь на ноги мужчины. Не спрашивая Вас ни о чем, я протягиваю Вам обе мои дружеские руки. Берите их и верьте не в чудеса вне Вас, а в чудо живущей в Вас самом любви, притягивающей к себе весь огонь чистого сердца встречного.

Мужайтесь. Создайте себе, с моей помощью, новый ковер-самолет, который мог бы подвезти Вас вновь к Ананде. Я протягиваю Вам обе мои руки над той пропастью, что Вы вырыли себе сами. Но если в этот раз вся моя верность не научит Вас следовать своей верностью за нами — Ваш путь света оборвется на века и века. Приезжайте ко мне с двумя моими друзьями. Положитесь во всем на подателя этого письма. Это человек большого здравого смысла. Набирайтесь сил и приезжайте с мистером Тендлем и его другом, с которым он Вас познакомит.

Передайте мой привет Вашей матушке и скажите ей, что она непременно еще раз увидит Ананду, о котором она так усердно и благодарно молится. Кстати, примите непрошеный совет: берегите мать — в ней залог Ваших будущих внешних благополучий, которые так тревожат Вас. Я Вас жду.

Флорентиец».

Прочтя письмо в третий раз, Генри прижал его к губам. Глаза его, полные слез, смотрели с детским выражением доверия и счастья куда-то вперед. Это был совсем не тот Генри, которого покинул Тендль. Это был, вероятно, тот прекрасный и любящий сын, о котором говорила его мать. Никакой гордости и себялюбия не лежало сейчас на этом тяжело страдающем лице. Генри думал о Флорентийце, о протянутых ему могучих руках, сумеет ли он ухватиться за них, и сердце его было полно и тревоги, и восторга, и радости.

Но как мог даже такой великан духа, как Флорентиец, так точно угадать все рвы и пропасти, в которые срывался Генри? Этого Генри понять не мог. Его гордость, постоянно возмущавшаяся против добровольно данного им обета послушания, сейчас утихла. Час тому назад он видел англичанина, которому этот обет казался приятным и радостным долгом любви и чести по отношению к тому, кого он любил. В голове Генри замелькали вереницы картин его жизни одна за другой. Чарующий образ Ананды теперь, издали, казался еще прекраснее. И Генри снова терял мужество и плакал, сознавая, *что* он потерял и как невозвратимо потерянное.

В соседней комнате послышалось движение. Вскоре Генри узнал шаги матери. И здесь, этой чудесной и чистой душе, сколько горя и забот он принес. Из последних сил, продавая все ценное, переселяясь все выше и выше в домах для бедноты, мать воспитывала сына в лучшей школе. Когда Генри узнал о знаменитых профессорах Вены и робко высказал желание туда уехать — на следующее утро мать подала ему пачку денег, сказав, что продала свои последние серьги и кольца. Смущенный Генри, колебавшийся между желанием учиться в Вене и остаться работать в Лондоне, чтобы поддержать мать, был поражен, когда она ему сказала:

— Ты, Генри, обо мне не думай. У нас с тобой дороги разные. Ты был мне послан на хранение, и я честно выполнила свой долг перед жизнью. Я исполняю его и теперь. Все, что могла, я для тебя сделала. Теперь ты образованный человек. Тебе не хватает последнего усовершенствования. Поезжай за ним. С этой стороны моя совесть чиста и спокойна. В чем я очень перед жизнью виновата, так это в твоей невыдержанности. Я должна была научить тебя полному самообладанию. Этого я не сумела тебе дать. И ты выходишь в жизнь, не умея владеть собою. За это все встречаемые тобою люди будут осуждать меня.

Генри вспоминал, как слезы покатились по щекам матери, как она их моментально смахнула и улыбнулась ему.

— Ничего, сынок, пусть невзгоды твои упадут на мою голову. А ты помни только, что гордость и заносчивость редко когда идут рядом с настоящим умом и с талантом. Умный и по-настоящему талантливый человек всегда скромен.

Так ярко вспомнил Генри эту сцену. Мать его была тогда совсем молодой, со светлыми пепельными волосами. А теперь ее голова седа, веселый смех почти не слышен, движения медленны. И стала она старенькой именно за эти годы, когда Генри возвращался домой, ссорясь со своим другом и Учителем. Но никогда он еще не видел мать такой убитой, как на этот раз. Всегда бодрая и его ободрявшая, в этот третий раз, когда он возвратился домой рваным и голодным... И Генри не мог отдать себе ясного отчета, что потрясло его больше: разрыв с Анандой или тот ужас, который он прочел на лице матери, когда вернулся. Теперь и то, и другое, чередуясь в его мыслях, не давало ему покоя. Слова Флорентийца: «Берегите мать» очень чувствительно задели его. Он должен был сказать себе, что только теоретически берег мать. А на практике всегда был внешне сух, стесняясь выразить чем-либо вовне свою на самом деле огромную любовь. Он, конечно, был всегда эгоистичен. В редкие, особенно счастливые моменты мира в самом себе Генри ласково рассказывал матери о том или другом из своей жизни. Обычно же почти всегда неуравновешенный, он садился за стол, возвращаясь домой, ел и пил, не спросив, как и чем заработала мать деньги на еду, шел в свою комнату учиться или уходил вновь из дома, не посвящая мать в свои дела, но очень аккуратно возвращаясь к ужину.

Все это передумывал сейчас Генри. Вспомнил, что все годы иначе как за иглой или какой другой работой он не видел своей матери. Он знал, что только ее труд и талант к шитью и рисованию по фарфору давали ему возможность жить и учиться. Но он принимал все как

естественный порядок вещей, даже не задумываясь над этим. Малопонятные слова Флорентийца разбудили в нем раскаяние. Он по-новому увидел свое поведение, и краска залила его лицо. В дверь его комнаты слегка постучали, и мать внесла большой поднос со всякими вкусными вещами. Лицо ее уже не было таким страдальческим, на нем сияла ее обычная добрая улыбка, и все ее движения были гораздо увереннее. Генри облегченно вздохнул. Его очень подавляла растерянность матери, ее страх, о котором она ничего не говорила, но который сквозил во всем. Прежде всегда бесстрашная, не боявшаяся ни за себя, ни за сына — она упала в обморок, увидев Генри вошедшим в комнату похожим на бродягу.

— Кушай, мой мальчик. Тебе надо скорее, скорее поправиться, чтобы ехать к Великой Руке, которая спасет тебя.

Она поправила ему подушку, Генри взял ее еще красивую, загрубелую от работы руку обеими своими руками, как делал это в далеком-далеком детстве, и приник к ней щекой.

— О чем вы говорите, мама, о какой Великой Руке?

— А разве ты не получил письма от Великой Руки?

— Я получил письмо от Флорентийца, которого здесь зовут почему-то лордом Бенедиктом. Он действительно великий человек. Но почему вы его так странно называете? И кто вам сказал, что он прислал мне письмо?

— Если ты будешь кушать, мальчик, я тебе кое-что расскажу, чего не говорила раньше.

Заставив Генри кушать, миссис Оберсвоуд села рядом и рассказала сыну сцену встречи с дядей Ананды во время его болезни в Вене. Рассказ этот произвел на Генри такое сильное впечатление, что мать не на шутку испугалась.

— Боже мой, мама, почему же вы раньше не сказали мне об этом? Быть может, не случилось бы так, что я в третий раз вернулся.

— Видишь ли, мой родной сыночек, сколько бы я тебе ни говорила, как бы тебя ни охраняла моя любовь, — что вся моя любовь значит по сравнению с синьором Анандой? Ведь он если не святой, то, во всяком случае, уж такой мудрец, перед которым и свечи сами зажгутся. Как же не зажечься сердцу человека от его любви? Но твое сердце, Генри, особенное. В нем не каприз живет. Но оно светится и гаснет, снова светится и снова гаснет, а устойчивого огня в нем нет. Гордость мешает тебе думать о ком бы то ни было сначала, а потом о себе. Если ты хочешь быть великим доктором, то ты хочешь не только спасать людей, но хочешь быть знаменитым и чтимым за то, что ты для людей сделаешь. Если ты хочешь учиться и стать мудрецом, ты хочешь, чтобы твоя мудрость звенела на полмира. Если ты хочешь добиться каких-то новых знаний, тебе неведомых, ты с самого же начала начнешь критиковать своих учителей, отрицать их распоряжения. А сам ты ведь еще не в состоянии знать, зачем дано то или другое приказание. С самого детства я тебе все это растолковывала, дорогой мой, любимый мальчик. Но не было у меня достаточно ума разъяснить тебе, как надо много спокойствия и самообладания человеку, чтобы он мог ясно видеть, что делается вокруг и в нем самом. Быть может, Великая Рука научит тебя теперь своим примером, как надо жить.

— Ах, мама, мама, если бы я раньше как следует видел и понимал всю вашу жизнь, мне не нужно было бы никуда ходить за живым примером мудрой и чистой жизни.

— Ну, что теперь, сынок, оглядываться назад. Пока я не имела надежды на твою встречу с Великой Рукой, я была почти в отчаянии. А сейчас вижу, как я была не права. Милосердие

великих людей не похоже на наше. Если дядя Ананды сказал тогда, что тебя спасет Великая Рука, — надо было мне знать, что слово его верно, что именно так и будет, что придет нам с тобой помощь. А я поддалась страху, чуть не пала духом. Какой же я тебе пример? Ах, Боже мой, заговорились мы с тобой. Шоколад-то весь остыл, пудинг еле теплый, а ты все такой же голодный.

Подогрев снова ужин, накормив сына, старушка долго еще сидела подле него, выслушивая его рассказ о жизни у Ананды.

Никогда раньше не посвящавший мать в свою интимную жизнь, Генри теперь вылил всю душу, не утаив от нее самых тяжелых воспоминаний и переживаний. Начав с первых дней знакомства — совершенно случайного — с Анандой, Генри закончил своим крушением в Константинополе.

Сидя однажды в дешевом кафе в Вене со своим товарищем, он вдруг услышал голос необычайно металлического тембра, обращенный к его другу:

— Марко, как ты сюда забрался?

От неожиданности оба студента, погруженные в какой-то научный разговор, вздрогнули. И вдруг Марко весь расцвел, забыл все на свете и выскочил на улицу к смотревшему на них сквозь зелень искусственного сада незнакомцу. Вернувшись обратно к столику вместе с незнакомцем, Марко назвал его Анандой и представил Генри.

— Вы не сердитесь, что я прервал ваш разговор? — спросил новый знакомый, глаза которого — огромные, темные — были настолько блестящи, что показались Генри золотыми и поразили его.

— Сердился минуту назад, но сейчас я в восторге.

— Вот как, вы так легко переходите от одного настроения к другому? И ваши мнения меняются тоже так быстро?

— Мои мнения, настроения, и вообще весь я действительно неустойчивы. Но в свое оправдание могу сказать, что еще не встречал в жизни ничего такого, что могло бы захватить меня целиком, на чем я мог бы проверить свою устойчивость. Вот если бы я знал, что могу разделить те интересы, что окружают вас, я бы вовеки не отошел ни от них, ни от вас. Видя вас первый раз в жизни, я уверен, что вы живете не так и не тем, чем живут тысячи, — совершенно неожиданно для самого себя сказал необщительный, обычно молчаливый Генри.

Марко смотрел на Генри во все глаза, рассмеялся и сказал Ананде:

— Ну, не называл ли я вас всегда, Ананда, блуждающей кометой, путающей все пути людей? Этот молчаливый британец, считающий себя — хоть и не совсем напрасно — всех талантливей и умней, не благоволящий даже разговаривать с должным уважением с людьми, вдруг выпалил вам целое объяснение в любви! Но только, милый мой Генри, здесь вам не немецкий профессор, с его методиками, строгими рамками науки и аккуратностью. Имеете память и прилежание — пожалуйста в ученики. Ананда — Учитель жизни. Чтобы за ним следовать, надо самому подыматься на высокие ступени духовного развития, а не интересоваться одной наукой да мечтами, какое место займете среди знаменитостей мира.

Уязвленный в самое чувствительное место, Генри — тот Генри, который еще не видел Ананды, — вспыхнул бы, наговорил грубостей и рассорился бы навек. Теперь же, под

пристальным взглядом, ласковым и успокаивающим, нового знакомого, он спокойно сказал:

— Вы глубоко правы, Марко. Я совершенно не достоин быть другом или, как вы говорите, учеником сэра Ананды. Но, в свою очередь, не могу понять и вас: как вы можете спокойно сидеть в Венском медицинском факультете, если знаете, что есть на свете Учитель жизни и что можно его найти и за ним следовать?

— Кто вам сказал, что я спокойно сижу в душной лягушачьей немецкой науке и не следую за Анандой? Чтобы делать выводы и заключения, надо иметь в своем знании все предпосылки и посылки хотя бы в полной логической связи. А вы, не зная меня до этого мгновения, так как вы интересовались только моей библиотекой, а мной постольку, поскольку я к ней бесплатное приложение, делаете свои выводы и создаете рогатый силлогизм. Да и какой Вам Ананда «сэр»? Вы воображаете, что выше вашей Англии и жизни нет.

Марко пылал. Стрела Генри попала в цель.

— Будет вам спорить о несуществующих вещах, дети. Ты, Марко, более виновен. Уже скоро три года, как ты дружишь со мною. Ты обещал мне, что твой трудный итальянский темперамент будет к этому времени усмирен. Но я вижу, что все еще у тебя раньше говорит язык, а потом думает голова.

— Нет, нет, Ананда, мой дорогой и светлый гений, — печально ответил Марко. — Я отлично понимаю, что не должен был раздражаться. Генри ведь не понимает, как пронзил меня.

— Если бы и понимал, то все же виноват ты, что ты поймал его стрелу. Но оставим пока этот разговор. Запомни только: никогда не надо просить у жизни того, к чему не чувствуешь себя совершенно готовым. Если что-то тебе не дается — не настаивай. Жди, мужайся, подымайся в самообладании и только тогда иди по манящей тебя дороге, когда в самом себе почувствуешь и сознаешь умение и силу владеть собой. Что же касается вас, мой новый друг, если вам захочется, Марко привезет вас ко мне завтра вечером. Я живу в окрестностях Вены, недалеко от города, и сообщение хорошее. Приезжайте отдохнуть и подышать отличным воздухом. А сейчас я похищаю у вас Марко. Не сердитесь и постарайтесь сохранить ваше доброжелательное настроение до завтра, — прибавил Ананда, пожимая руку Генри.

Такой руки еще не приходилось Генри держать в своей. Узкая, мягкая и сильная, довольно большая, но такая пропорциональная, артистическая рука Ананды, лежавшая в его руке, казалось Генри, овладела всем его существом. Прижатая ладонь Ананды точно приклеилась к его ладони, и жаль было Генри выпустить ее:

— Итак, до завтра. Я вижу, что вы приедете. Но уговор: ни разу не раздражаться до завтра и не питать ни к Марко, ни к кому-либо другому недоброжелательных чувств.

— Ну как я могу сердиться на Марко, когда он познакомил меня с вами? Я всю жизнь должен ему быть благодарен за счастье этого знакомства, — снова неожиданно для самого себя сказал Генри. Ему показалось, что Ананда на миг как бы задумался и, улыбнувшись, сказал:

— Как трудно человеку разобраться в самом себе и понять, где у него реальное желание, а где иллюзорный порыв.

Приподняв на прощание элегантным жестом шляпу, Ананда пошел к выходу, уводя с собой Марко...

Как ярко вспоминал сейчас Генри эти мгновения первого знакомства с Анандой и рассказывал о них матери. Дальше он передал ей, как какое-то новое чувство любви, совсем ему дотоле незнакомое, пробудилось в нем к этому человеку. Он еле дождался встречи с Марко на лекции. Он надел лучший костюм, особенно долго выбирал галстук, тщательно расчесывал волосы. Генри еще ни разу не ходил на свидание. Ни разу не интересовался своей внешностью, а теперь стоял перед зеркалом и старался решить вопрос, красив ли он. Впиваясь синими глазами в зеркало, он вспоминал блестящие как звезды глаза нового знакомого. Вспоминал его мощную, высокую и стройную фигуру, элегантную, легкую походку и манеры герцога — и казался себе заморышем, сереньким, невзрачным человеком. Генри чуть было не впал в мрачность и уже хотел сбросить свой новый костюм, остаться дома и не ехать с Марко. Но очарование, любопытство к какой-то иной, неизвестной ему, высшей душе и жизни заставили его победить раздражение и поспешить в университет. За все дальнейшие годы Генри не помнил такого состояния, чтобы так спешить, бояться опоздать, бояться не встретить Марко. А встретив его, все боялся, что они не сядут в омнибус, не доедут до места. Когда он наконец стоял перед Анандой среди прелестного сада, он не видел никого и ничего, кроме хозяина.

— Пожалуйста, Ананда, уймите этот Везувий из Лондона, — первое, что услышал Генри, когда здоровался с Анандой. — Это какой-то сумасшедший. Я его два года знал как чистейшего британца, и вдруг — нате пожалуйста, точно подменили парня, — разводил руками Марко. — А вы приказываете мне овладеть моим темпераментом. Мой-то хоть настоящий неаполитанский, им овладеть можно. Но когда Везувий извергает лаву в Лондоне... Вот это номер посерьезнее будет.

С несвойственным ему добродушием выслушивал Генри насмешки приятеля, а Ананда, взяв обоих юношей под руки, увел их в глубину сада, где на искусственной горе возвышалась беседка. Открывавшийся из нее вид на окрестности изумил и пленил Генри, почти никогда не покидавшего города.

— Вы мало знаете и мало любите природу? — спросил Ананда.

— До сих пор я думал, что и мало знаю, и мало люблю ее. Теперь думаю, что мог бы ее очень любить, если бы знал.

— Не думаю, чтобы человек любил только то, что он знает как факт. Любовь живет в человеке и заставляет его ценить не только то, что он знает, потому что видит. Она ведет его всегда вперед, заставляет искать себе применения. Если человек говорит, что любит науку, а не любит людей, для которых он ищет знаний, не видит в людях высших целей, куда применить свою науку, — он только гробокопатель науки. Если человек идет свою жизнь, не замечая жертв и самоотвержения тех, кто сопровождает его в этой жизни, — он не дойдет до тех высших путей, по которым идут великие люди. Если в самом человеке атрофируется нежность, доброта, по мере того как он восходит в высокие степени учености и славы, — он сам исключает себя из всех возможностей достичь радости общения с людьми, пленяющими его полнотой и размахом своей деятельности. Точно так же и любовь к матери природе. Чтобы заметить ее, ее усилия помочь каждому любить ее в себе и себя в ней — надо научиться замечать подвиг жизни своей родной матери. Научиться любить ее, чтобы во всю дальнейшую жизнь навсегда знать, что такое любовь.

Ананда перевел разговор на другую тему, но о чем он говорил с Марко, Генри не слышал. Он был точно оглушен. В его глазах вдруг встала фигура матери, и первый раз в жизни кровь бросилась ему в голову, заливая румянцем щеки, лоб, шею. В первый раз Генри

почувствовал, что он уже давно должен был стать помощником матери, а он все еще учился на ее счет.

Долго пробыли они с Марко у Ананды. Приезжали к нему и еще люди, самых разных возрастов и положений. Приходили бедняки, и со всеми одинаков был Ананда: все уходили утешенными, ободренными, успокоенными. Но о себе Генри этого сказать не мог. В нем росло чувство неудовлетворения, горечи, какого-то недоумения. Почему он, Генри, чувствует себя здесь чужим, оторванным, тогда как всем здесь так хорошо. И вместе с тем Генри и представить себе не мог, чтобы дальше жить, не имея возможности заглянуть в этот чудный уголок, не увидев Ананду. Все, что говорил и делал Ананда, все казалось ему неслыханным и невиданным. Ананда же, казалось, забыл о Генри после первых сказанных ему слов. И только прощаясь, он посмотрел пристально ему в глаза и сказал смеясь:

— У вас сейчас такое лицо, точно я приговорил вас к посту и воздержанию. Вам, вероятно, не захочется больше навестить меня.

Генри испугался. Он подумал, что Ананда в вежливой форме давал ему понять, что дальнейшее знакомство невозможно. Точно прочтя его мысли, Ананда ласково добавил:

— Мой дом здесь открыт для всех. Я буду рад видеть вас среди моих гостей. Этот мой дом — только временное пристанище. Настоящий же мой дом далеко отсюда. Но я бы не советовал вам спешить узнать мой настоящий дом. Спеша, люди часто слишком многого ждут и от самих себя, и от тех, в ком они ищут себе идеальных руководителей. Не торопитесь. Ищите в себе зова той любви, о которой я вам сказал сегодня. Этот зов вы поймете тогда, когда станете любить людей. Марко скажет вам, когда можно будет еще сюда приехать, если, как я читаю на вашем лице, вы так опечалены разлукой со мной.

— О, если бы вы знали, как невозможно для меня больше жить без вас. Невозможно и невыносимо даже день прожить.

— Ну вот, я говорил, что английский Везувий — это чистое наказание, — смеялся Марко.

— Это нехорошо, Генри, — сказал Ананда, кладя ему руку на плечо. — Я не кудесник, а такой же человек, как вы. Но тот, кто не может дня прожить в разлуке даже с самым очаровательным кудесником, — тот слаб, чтобы идти по дороге свободных. Он раб своих желаний и не найдет точек соприкосновения с теми, кто освободился от желаний. Будьте сильным и работайте вдвое прилежнее, все время думая о людях, которых будете спасать своей наукой, а не об удовольствии моего общества.

Так кончилось первое свидание Генри с пленившим его Анандой. Дальше Генри рассказал матери, как постепенно для него открылся новый мир, как он начал понимать по-иному весь смысл жизни. Самое трудное, чего Генри долго понять не мог, это было полнейшее отсутствие чего-либо личного в самом Ананде. Привыкший ставить себя в центре вселенной, Генри никак не мог оценить жизни, где не было личного. Ананда, видевший, сколько усилий от ума делал Генри, чтобы понять и ценить его жизнь, сказал ему однажды:

— Друг мой, послушайтесь моего совета. Оставьте пока мечты следовать за мной и жить моими принципами. Нельзя приказать себе идти путем вдохновения. Можно только увлекаться, гореть не жаждой добиться лично моей или чьей-то дружбы, но гореть любовью к людям и состраданием к ним. Не в том видеть радость, чтобы подражать кому-то любимому, а жить по своей собственной инициативе, по собственной манере, но так свободно и любовно, что вы непременно встретитесь в делах и действиях дня с тем, кого вы считаете себе примером и кто — на свой лад — идет в любви и сострадании к людям.

И вот тогда встреча людей, стремящихся к одной и той же цели, может стать сдвигом в их жизни. Тогда их верность одной, священной им обоим, связывающей их дружбу идее может привести к счастью раскрепощения себя от мучительных предрассудков. Соберите весь свой характер и волю, которыми вы так гордитесь как самоцелью, и переключите их на умение жить легко, просто, любовно принимая все ваши обстоятельства. Поверьте мне, что это единственный путь, по которому можно приблизиться ко мне. У человека нет другой возможности стать выше толпы, как труд его простого дня.

Но Генри не внимал ничему. Он так впился в Ананду, что все его мысли, вся жизнь сконцентрировалась на этом новом друге. Он вымолил у Ананды неотступными мольбами согласие взять его, в числе немногих, с собою в Венгрию, куда тот уезжал через несколько месяцев. С трудом согласился Ананда и поставил Генри ряд условий, главным из которых была приветливость, а затем доброжелательство к окружающим, изысканная вежливость и полная правдивость во всем. Генри должен был остаться в Вене один, пока Ананда уезжал в другие места, а затем, по его возвращении, уехать с ним в Венгрию. Для Генри, думавшего, что Ананда возьмет его в путешествие, как он взял Марко, было убийственным ударом остаться одному в Вене. Но здесь уж никакие мольбы не помогли. И Ананда очень строго дал понять Генри, что люди, не имеющие даже такой капли духовной мощи и выдержки, чтобы вынести кратковременную разлуку, не годны для жизни рядом с ним.

Генри пришлось остаться, и одиночество его с отъездом Марко было ему тяжело. Мало-помалу он стал приходить в большее равновесие и думать об условиях, поставленных Анандой. Трудно давалось Генри самое элементарное внешнее воспитание. Он отлично знал, как надо вести себя с товарищами. Но не желал ни с кем дружить, считая себя всех выше, а остальных мало интересными. Простая же приветливость и любезность, очаровавшие его так сильно в Ананде, не давались ему. Даже будучи незлым внутри, спокойным и доброжелательным, он оставался внешне угрюмым дичком. Наконец он получил известие, что Ананда возвращается на следующий день. Рад был Генри ужасно и необычайно и непривычно для него рассеян. Чтобы сократить время ожидания, Генри отправился работать в анатомический

кабинет и, к ужасу профессора и товарищей, поранил себе руку. Несмотря на все принятые тут же меры, к вечеру Генри был в сильном жару, утром никого не узнавал и даже не подозревал, что подле него сидит возвратившийся Ананда, ворвавшийся к нему как буря. Это и было то время, когда мать Генри приезжала в Вену. Долго возились с Генри и сам Ананда, и его дядя, и еще какие-то люди, из которых он запомнил только Марко, пока не убедились, что Генри вырван из лап смерти.

Болезнь произвела в душе Генри переворот, но вовсе не тот, на который надеялся Ананда. Он не стал мягче к людям, он только стал тенью Ананды, и преданность его не имела границ. Но преданность эта была ревнива, жадна, завистлива к каждому ласковому слову Ананды, которое шло другим.

— Несносна, вероятно, ревнивая и тупая женщина. Еще несноснее умная, потому что не имеет привилегий глупых. Но ревнивый ученик — это посмешище для всех. И если ты, Генри, в своем сближении со мною не видишь ничего, кроме личной дружбы, — нам с тобой не по дороге. Что я тебе говорил, то и повторяю: ты не готов в путь со мною. Все, чего я и не замечу, — для тебя будет не только препятствием, но и трагедией. Ты настаиваешь, и сам видишь, как смешно выпячиваются твои свойства среди окружающих меня свободных людей. Ты весь завернут личностью, а добраться до освобожденности тебе можно только тогда, когда все твои личные пелены развернутся и упадут. Но с себя ничего нельзя содрать от ума, насильно. Можно только любить. Так любить, чтобы победа над той или иной страстью пришла

не от умственного решения, а оттого, что сердце раскрылось. Ты же, жаждая чего-то высшего, все время путаешь понятия обывателя с понятиями мудреца. Не тот мудрец, кто сумел совершить однажды великий подвиг. А тот, кто понял, что его собственный трудовой день и есть самое великое, что дала человеку жизнь. Сколько дней в разлуке со мною ты потерял в бредовых ожиданиях и мечтах о моем возвращении. Разве ты работал для общего блага, когда плакал, раздражался и думал о своей персоне? Чего ты ждал? В пустоте проходил день за днем, не внося ничего в общую жизнь людей. Ты знаешь, что цель моей жизни — счастье и мир людей. Что ты сделал, чтобы следовать за мной по этой великой линии? Или все твои слова — это бред, вроде клятв раздражительной и нервозной бабенки, в голове и сердце

которой смятка из желаний, случайно подхваченных мыслей, ежедневных ссор, измен и компромиссов? Обдумай еще и еще раз все, что я тебе сказал, и приведи себя в равновесие. Если ты на это не способен, то не можешь ехать со мною. Я всегда предоставляю человеку полную свободу действий. Всегда хочу, чтобы он не был стеснен никакими рамками узкого послушания. Но тебе мой метод воспитания мало подходит. Тебе нужны железные рамки, иные — не менее милосердные, — но иные руки. Подожди, работай, а о тебе я не забуду, и ты встретишь эти иные руки.

Но мольбы Генри были так раздирающи, его слезы так непереносимы, что Ананда взял его с собой, хотя лицо его было печально, когда он велел Генри собираться. В Венгрии, в прекрасном старинном доме, принадлежавшем дяде Ананды и более похожем на старинный замок средневековья, чем на современный дом, Генри и немногие, приехавшие с Анандой, были размещены в отдельном крыле, далеко от центральной части дома, где жил сам Ананда и его дядя. Это уже сразу не понравилось Генри, думавшему, что он будет неотступно подле своего друга и Учителя. Скрепя сердце он подчинился строгому режиму жизни, ежедневно ожидая, что увидится с Анандой. Но Ананда был невидим. Генри же все слонялся без дела, хотя отлично видел, как остальные были заняты целыми днями, пользуясь прекрасной библиотекой, находившейся в их крыле. Наскучив наконец бездельем, Генри взял свою работу и отправился в библиотеку, уверенный, что по своей специальности, такой тончайшей отрасли медицины, он там книг не найдет. Каково же было его изумление, когда он нашел там такие драгоценные материалы, о которых ему только приходилось слышать и которые он считал для себя недостижимыми. С этого дня, увлекшись работой, Генри перестал чувствовать себя несчастным. С него точно свалился какой-то груз, он стал внимательно присматриваться к окружающим. Ему казалось очень странным, что его никто не трогал, пока он уныло и капризно молчал. Когда же теперь он сам обратился с несколькими вопросами к своим соседям — ему очень ласково ответили. Соседом слева по трапезам оказался совсем молодой человек, француз, ботаник. Несмотря на молодость, он показал в беседе очень большую эрудицию не только по своей отрасли, по медицине вообще, но и по части мозговых заболеваний, над которыми работал Генри, считая себя гением в этой области. Молодые люди разговорились и пошли вместе в парк, разбросанный по горам, прилегавшим к замку, собирать лечебные травы. Спутника Генри звали де Сануар. Казавшийся юношей, он продолжал поражать Генри своими знаниями и объяснениями. Казалось, не было предмета, которого бы он не знал, не было народа, жизнь которого была бы ему неизвестна.

— Когда же вы успели объездить весь свет — воскликнул удивленный Генри.

— Я уже дважды совершил кругосветное путешествие и собираюсь пуститься в него в третий раз, если Ананда даст разрешение.

— Да разве вы ездили или поедете на средства Ананды?

— Нет, конечно. Но вопрос ваш — вопрос обывателя, которому не ясна ни цель, ни смысл его жизни. Я же живу, вернее, стараюсь жить по тем законам любви и чести, которые могут привести меня к преддверию ученичества у Ананды. Я давно присматриваюсь к вам и не могу понять, почему вы очутились здесь, среди нас. Сейчас мне это стало ясно.

— Что же вам стало ясно, господин де Сануар? Если мне самому не ясно мое положение здесь, как же оно стало вдруг ясно вам? — впадая в прежнюю заносчивость, высокомерно и раздражительно спросил Генри.

— Видите ли, каждый человек сам определяет свой путь. И когда глаз привыкнет различать типы людей, сразу знаешь, по какому пути идет человек, в каком луче его преобладающие свойства. Вы, по-моему, попали сюда по недоразумению. Вам надо бы в оранжевый луч попасть, а вы пришли в фиолетовые краски, которых у вас всего меньше. Не думаю, чтобы вам было понятно то, что я говорю. Но так как мне никто вас не поручал, то говорить яснее я не могу. Не думайте, что у меня или у кого-либо другого есть какие-то тайны. Но просто каждый из нас имеет мужество молчать о делах, которые он считает делами своей великой чести и радости. Но я слышу гонг, призывающий нас к ужину, а мы далеко зашли. Поспешим, здесь неудобно опаздывать к столу.

— Да ведь это чуть ли не казарменная дисциплина!

— О, нет, что вы! Здесь полнейшая свобода. И вы хоть всю ночь можете заставить ждать себя с ужином или с фонарем у подъезда. Вас никто и не подумает упрекнуть, так велико здесь уважение и доверие к человеку. Но именно это-то и заставляет меня уважать порядок и покой хозяев и слуг, относящихся к нам с такой радостной любовью.

Генри промолчал и шел за своим новым знакомым по узенькой тропке, спускавшейся с горы. Красота природы, прелестные, внезапно во все стороны открывавшиеся виды мало трогали Генри. Он думал теперь о тех людях, с которыми сейчас встретится за столом.

— А скажите, пожалуйста... — Генри вдруг запнулся, не зная, как принято обращаться во Франции с малознакомыми людьми, как их называть.

— Меня зовут Поль, если вы не хотите называть меня по фамилии, — как бы угадав причину заминки Генри, сказал де Сануар. — Мы можем просто называть друг друга по именам. Здесь почти все встретились впервые, и все чувствуют себя настолько близкими и связанными одними и теми же идеалами и стремлениями, что интимное имя не звучит странно.

— Удивительно, как вы сразу сообразили, *что* именно меня остановило. Не можете ли вы мне сказать, Поль, кто все эти люди, которых привез Ананда, и кто те, кого мы застали здесь уже живущими? Меня зовут Генри, если вы желаете звать меня по имени.

Весело рассмеявшись, Поль ответил:

— Прежде всего, Генри, я очень рад, что вы заинтересовались людьми вокруг вас. Всегда становится легче жить, когда внимание отвлекается от самого себя. Затем нам необходимо идти по кратчайшей дороге, так как я слышу вторичный гонг. Через четверть часа надо сидеть за столом, а до этого успеть помыться и переодеться. Поэтому мы взберемся на этот холм, а там прямо спустимся к дому и будем вовремя готовы.

Поль назвал холмом довольно высокую гору, показавшуюся Генри не легко одолимой, что он и высказал своему спутнику.

— Это только так кажется, Генри. Вещи и дела вовсе не так страшны, когда знаешь, как за них взяться. Прыгайте за мною, — перепрыгивая довольно широкий ров, вдруг сказал Поль.

У Генри, никогда в жизни не лазившего по горам и не прыгавшего через рвы, уже болели ноги в икрах, дрожали колени, и, прыгнув, он сорвался и покатился бы вниз, если бы сильная рука француза не подхватила и не вытащила его, поставив на ноги рядом с собой.

— Я полагал, что все англичане спортсмены. Но, должно быть, и это мое предположение так же мало стоит, как и большая часть моих знаний, в которых я каждый день разочаровываюсь и наново совершенствуюсь. Спускайтесь осторожнее и лучше дайте мне руку, — прибавил он, увидя, что у Генри поскользнулась нога и из-под нее посыпались камни. Он взял одну руку Генри в свою, другую его руку положил на свое плечо, засунул свои травы в карман, обхватил Генри за талию и, подняв его, как ребенка, сбежал с ним с крутой горы.

— Ну, вот мы и дома, и скорее, чем я ожидал. До свидания, — бросил он Генри, скрываясь в дверях дома, не дав Генри ни опомниться, ни поблагодарить. Оглушенный и расстроенный, Генри был унижен в своем английском самолюбии, уязвлен своим бессилием и стоял с самым беспомощным видом посреди двора, как вдруг услышал за собой шаги и голос Ананды:

— Я удивлен, друг, что ты стоишь здесь в одиночестве. Разве ты не успел еще сойтись ни с кем из моих друзей? О, да ты совсем еще не готов к ужину. Что с тобой случилось? — зорко вглядываясь в Генри, спрашивал Ананда.

Генри молчал. Жажда увидеть Ананду, тоска по нем вместо радости свидания в эту минуту перелились в такое раздражение, на какое Генри и сам не считал себя способным по отношению к своему великому другу.

— Вы привезли меня сюда и бросили. Вы отлично знали, что я ехал сюда не для того, чтобы сидеть в обществе незнакомых мне людей. Вы даже не познакомили меня ни с кем, я был обречен все дни на полное одиночество, — повышенным тоном, забыв все на свете, кричал Генри. Когда он опомнился, он увидел, что Ананда молча смотрит на него. Что было особенного в этом взгляде? Что заставило Генри вдруг умолкнуть и прошептать:

— Простите меня, я так без вас изводился и в таком страхе снова стою перед вами, думая, что не буду видеть вас опять так часто, как того хочу.

— Бедный мальчик, я говорил тебе, что ты не готов, что предоставляемая мною свобода тебе не подходящий путь. Тебе нужны строгие рамки послушания, которые заменили бы тебе хоть до некоторой степени отсутствие воли и выдержки. Но ты не виноват, что мольбам твоим поверил я.

В глазах Ананды, в тоне его голоса было столько доброты и сострадания, что, казалось, он сам целиком вобрал в себя сердце Генри и переживал за него все его муки.

— Но теперь, в эту минуту, поправить уже ничего нельзя. Раньше трех месяцев я тебя отправить отсюда не могу. Но через три месяца ты уедешь, и никакие твои мольбы на этот раз не помогут. Я не один здесь живу. Кроме тех, кого *ты* видишь, здесь живет еще много людей, занятых очень трудными и важными работами во всех областях науки и техники, искусства и литературы. Здесь живет и мой дядя. Все эти люди — очень высоко духовно развитые сознания. Их восприятие окружающей атмосферы настолько тонко, их слух и нервы так нежны, что твое смятенное состояние тревожит их, как непрестанный крик младенца. Я не имею права нарушать их труда и жизни мир. Я надеялся, что этой печали

ни им, ни мне ты не причинишь. Увы, я наказан за чрезмерное доверие. Я должен теперь выпить чашу твоих страданий вместе с тобой. Чтобы избавить тебя от несвоевременно взятых на себя обетов, я должен принять на себя твой удар. Иначе твои обеты могут кармически отразиться на тебе. Но я должен, как и тебя, защищать и их от твоих беспокойных криков и стонов. Ступай сейчас в свою комнату. Тебе туда подадут еду. Навсегда запомни, что нельзя выходить на люди в таком состоянии неуравновешенности и отравлять встречных своими ядовитыми вибрациями. Собери свои вещи. Я переведу тебя в отдельный домик в парке. Ты будешь пока жить там один, чтобы приготовить из себя того человека, который сможет когда-то не тревожить своих снисходительных товарищей по общежитию и стать помощью своим ближним. Иди, я сам приду за тобой через два часа.

Как приговоренный, двинулся Генри в свою комнату, где бросился на постель, разрываемый отчаянием и самыми разнообразными мыслями. Если бы это было не здесь, где он чувствовал на себе светлый взгляд любви, сострадания и нежности Ананды, Генри так и не понял бы всей силы своей вины. Дома он искал бы всех способов кого-то обвинить и считать себя правым и обиженным. Здесь же взгляд Ананды, взгляд такого милосердия, какое Генри мог представить себе только у святого, пробуравил что-то новое в его гордом сердце. Ему стало понятно высокое благородство духа человека и такое забвение себя и личной обиды, когда в сердце нет обвинения для оскорбившего, а есть только пощада брату-человеку, оступившемуся на своей тропе. Раздражение и бешенство Генри, которое длилось обычно очень долго, мучая его самого и кусая других, упало.

Он встал с постели и впервые совершенно ясно сказал себе, что *он* виноват и *как* виноват. Очень вежливо отказавшись от всякой еды, настойчиво и ласково ему предложенной, Генри быстро собрал свои вещи и с сожалением оглянулся вокруг в этой прелестной комнате, которую не умел ценить и которую теперь ему приходилось покидать. Он не нашел здесь мира, внес большое беспокойство и нанес удар Ананде.

Генри сел на широкий подоконник окна, впервые разглядев, какой чудный вид открывался из него. Широкая долина, по которой протекала река, часть луга, далекий лес, уютно разбросанные по горам домики — все, все теперь пленяло его, все было жаль покинуть. В сердце Генри, в его глазах точно застыл взгляд Ананды с его божественной добротой неосуждения и сострадания. Генри готов был стать на колени и снова уверить Ананду в своей непоколебимой любви и верности. Но в него уже проникло сознание, что крик младенца не уверит никого ни в чем. Он решил подчиниться воле Ананды, ни о чем не спрашивать и не просить. Сейчас ему казалось нестерпимо глупым и смешным его поведение час назад и с самого начала. Почему он не ходил все первые дни в библиотеку? Почему не занимался? Ведь так много можно было сделать для себя в науке и обрадовать Ананду своим прилежанием и спокойствием. Генри вспомнил, как де Сануар, поразивший его знаниями, сказал, что мечтает и ищет приблизиться к преддверию ученичества у Ананды.

— Боже мой, мама, как я был виноват тогда. И потом, в следующий раз, я снова свихнулся на том же: на ревности и зависти. Ананда приблизил к себе новых людей. Теперь я понимаю, что они были достойны того, очень высоко стоящие люди. Но тогда я опять сорвался, второй раз сбесился, второй раз ушел и приехал к вам. А теперь, в третий раз, я вернулся, и еще хуже причина. Ананда велел мне стать учеником прекрасного доктора И., а я не захотел. Я стал критиковать и поведение И., и самого Ананды. И кончилось тем, что я незаметно для самого себя попал в руки злодея,

темного и страшного, от лап которого меня еле спасли доктор И. и Ананда. Ананда велел мне ехать из Константинополя обратно в Венгрию, а я не захотел. Вернее, я поехал, я хотел. Но этот темный, которому я дал власть над собой, гнался за мной по пятам. Его

друзья, пользуясь моим постоянным раздражением, соблазняли меня, уговаривали, и я раздумал ехать, куда велел Ананда. Я уже готов был отпра-

виться, куда звали меня друзья того подлого, имя которого да-Браццано, как увидел вас во сне. Мне снилось, что вы пришли ко мне, такая молодая, вся в белом, с золотыми волосами, прекрасная, и сказали: «Генри, посмотри, ведь ты стоишь в середине змеиного клубка. Пойдем скорее отсюда. Спеши, я выведу тебя». Я проснулся и вскочил в ужасе, мама. Пароход стоял где-то у пристани. Я кое-как оделся, схватил саквояж и деньги, бросил все остальное и побежал за вами на берег. Вы так быстро шли, что я еле поспевал за вами. Подведя меня к пристани, вы указали мне на какой-то пароход, готовившийся отойти, и приказали: «Прыгай скорее». Я прыгнул в отходившую шлюпку и едва успел последним выбраться из нее на палубу, как трап подняли и пароход двинулся. Я начал искать вас, совсем растерялся, не умея ответить, как я очутился на пароходе. Меня повели к капитану. И тут совершилось чудо. Капитаном оказался Джемс Ретедли, с которым я встречался у Ананды в Константинополе. Я узнал его сразу и, как мне ни было горько, назвал имя Ананды, перед которым — я помнил это отлично — капитан благоговел. Он сразу же вспомнил меня и назвал по имени. И еще раз я нашел, мама, благородного человека. Он меня обогрел, утешил, накормил и спросил только, куда я хочу ехать. Я назвал вас и Лондон. Он сказал, что поведет новый пароход в Лондон, но через месяц, а пока чтобы я переждал это время в каком-либо месте. Так как я молчал, не имея, где прожить это время, он долго испытующе смотрел на меня, видимо, хотел о чем-то спросить, но промолчал, вздохнул, покачал головой и, точно о чем-то жалея, сказал: «Я вижу, что вы несчастны. Этого для меня довольно. Я вспоминаю один из разговоров с Анандой, когда я был сам несчастен, вспоминаю и слова Ананды, которые он велел мне всегда помнить: “Никто тебе не друг, никто тебе не враг, но каждый человек тебе учитель”. И действительно, вы мне в данную минуту дали огромный урок. Я думал, что жить подле Ананды — это счастье. А увидел, что, живя подле него, можно быть несчастным и даже покинуть его. Это меня и поражает, и учит. Но об этом не время сейчас говорить.

Немного помолчав, как бы что-то обдумывая, он прибавил: «У меня есть только одна возможность вам помочь. В Ялте я сдам пароход своему помощнику, и он поведет его в Севастополь, в ремонт. Я же буду жить этот месяц в Гурзуфе. Там вас устроить не могу. Но я предлагаю вам пожить на моем пароходе и занять на нем какое-либо место по ремонтной работе. Этим путем я постараюсь доставить вас к вашей матери в Лондон. Но работать вам придется тяжело, рабочим. И иного выхода у меня для вас сейчас нет. Если вы согласны, я постараюсь провести этот план».

Я увидел перед собой, мама, человека не только одной твердой воли, но и чести. Я понял, что он поставит меня в жесткие условия, но сдержит слово и довезет до Лондона. С другой стороны, я не менее хорошо понял, что этот добрый и властный человек не задумается выбросить меня на необитаемый остров, если я в малейшей мере нарушу дисциплину в нашем уговоре. Держа слово чести сам, он требовал того же от всех. Мне выбора не было. Я принял предложение.

Не буду вам рассказывать, как я ехал и как жил. Все мои физические страдания, труд и общество людей, к которым я не привык, — все чепуха в сравнении с тем адом нравственных мучений, в которых я горел, вспоминая Ананду и все, что я потерял по собственной вине. Я постигал каждый день все больше и больше величие Ананды, его доброту и терпимость и свое непослушание и бунт. Я дал себе слово искупить все свои проступки перед ним. Я не надеялся, что кто-либо со стороны протянет мне руку помощи, но в вас я был уверен. Когда же при встрече я увидел на вашем лице ужас и отчаяние, я совсем пал духом. Мое твердое намерение осталось таким же твердым. В моем сердце все

было и есть тихо. Но во внешней манере я снова не смог измениться и стать нежным, внимательным и ласковым к вам, как я себе обещал.

Сейчас я что-то разрушил между собой и вами. Какая-то перегородка рухнула, и я могу выказывать вовне, как я обожаю и уважаю вас.

Генри притянул к себе мать и по-новому почувствовал себя ее защитником и покровителем. Долго еще говорили мать и сын, ощущая необыкновенное счастье взаимной дружбы и полного доверия. С большой неохотой расстался Генри с матерью, настоявшей на том, чтобы Генри заснул и набрался сил перед свиданием с мистером Тендлем.

На следующее утро, не успел Генри проснуться, как ему подали письмо, почерка которого он совсем не знал. Вскрыв конверт и увидев подпись: «Джемс Ретедли», Генри удивился, а прочтя письмо и подняв выпавший из него чек на крупную сумму, был и тронут, и сконфужен, и поражен. Капитан во все время пути не делал никакой разницы между Генри

и остальными служащими и матросами своего пароходного царства. Он, казалось, забыл, что знавал Генри иным, что Генри был доктором, что он мог занять на пароходе и иное положение. Генри, сначала убитый таким неожиданным для него поведением капитана, постепенно стал считать его нормальным, а к концу пути думал, что ничего иного он и не заслуживает. Свои обязанности он исполнял так, как будто каждую минуту рядом с ним стоял Ананда.

Капитан не давал Генри заметить своих наблюдений, но остро и внимательно следил за ним. И когда бы он ни посмотрел на Генри, тот работал так усердно, спокойно и выдержанно, что капитан все более жалел своего подчиненного и все сильнее удивлялся. Он не мог разобрать, была ли выдержка Генри и его спокойствие новым приобретением его воли и характера или они были присущи ему всегда. Как мог дойти Генри до разрыва с Анандой, если в его сердце такая глубина спокойствия, — все задавал себе вопрос капитан. Он решил помочь Генри всем, чем только мог. Генри, получив расчет, постарался скрыться от капитана и оставил ему только маленькую записку, благодаря за доставку в Лондон.

«Очень милый и очень уважаемый мистер Оберсвоуд, — писал капитан в письме, которое Генри сейчас читал. — Самым неожиданным образом поворачиваются пути людей. Буду лаконичен. Именем того, кто нам обоим дорог, прошу Вас принять этот чек. Это вовсе не лично моя и не лично Вам помощь. Это радость полной уверенности в Вас, в Ваших силах, в том, что Вы возвратите мне полностью всю предлагаемую Вам сейчас сумму, когда обстоятельства позволят Вам.

Мой привет Вам. С именем, нам обоим дорогим, пойдем оба вперед. У каждого из нас начинается новый поворот пути, пусть он будет назван: “Свет”. Вперед, друг. У Вас сил много. Вы достигнете желаемого.

Ваш покорный слуга, уважающий Вас друг

Джемс Ретедли».

Капитан прилагал свой адрес и звал Генри посетить его в Лондоне. Обращение и заключение письма, где дважды стояло: «уважаемый», наполнило Генри детской радостью. Он бросился к матери, обнял ее и показал письмо и чек.

— И это все не от Великой Руки, Генри? Я не верю, что Великая Рука не знает об этом, как и о мистере Тендле. Кстати, одень этот костюм. Я привела его в более или менее приличный вид.

Генри был подан вычищенный и отутюженный, совсем приличный костюм, который он считал окончательно погибшим.

— Бог мой, мамочка, да когда же вы успели все это сделать? Будет ли мне когда-нибудь прощение за вас? Ваши волосы, ставшие преждевременно седыми, мне будут вечным укором.

— Полно, сынок. Каждый человек заслужил свой путь. И неважно, как кто живет. Важно, что приходит в его день и *как* он это переносит. Что бы ни случилось со мной и с тобой, я буду тебя все больше любить, и вернее друга у тебя не будет. Будут у тебя, да и есть, друзья могущественные, богаче и умней меня. Но моя материнская верность всюду пойдет за тобой. Одевайся скорее, сынок, приедет мистер Тендль, надо суметь ему улыбнуться и показать, как ты ему благодарен, — гладя кудри сына, старалась ободрить его мать.

— Да, мама, если бы я мог научиться у вас улыбаться людям, я считал бы, что половина моей работы самовоспитания сделана. Если бы вы знали, мама, как я боюсь встречи с Великой Рукой, как вы его называете. Я так мало и плохо знаю, как надо вести себя в доме большого лорда. В Константинополе я жил у одного князя, я там видел много воспитанных людей. Но среди всех выделялись Ананда и доктор И. Я всегда восхищался ими в душе. И всегда что-то мешало мне им подражать и запоминать их манеры и поведение. Точно бунт какой-то всегда меня тревожил. Теперь мне кажется, что это чувство похоже на зависть.

Генри тяжело вздохнул, поцеловал руку матери и продолжал:

— Я даю вам слово, дорогая, что войду и буду жить в доме Флорентийца иначе, чем вел себя всюду до сих пор. Я буду смиренным учеником, просителем. Согласен быть слугой Флорентийца, лишь бы загладить хоть часть своих грехов перед Анандой. Ананда — моя рана. Это кровь моего сердца, которая каплет не переставая.

— Полно, сынок. Поставь себя на мгновение в положение синьора Ананды. Вспомни, как он добр. Ну каково ему быть чьей-то раной? Ведь твои слезы и кровь — так по нем и катятся. Он их не может не чувствовать. Оставь эти горькие мысли, думай о нем с благодарной радостью, и это — вместе с твоим трудом и любовью — скорее и легче приведет тебя к нему снова. Ободрись, постарайся быть сейчас приветливым с гостем.

— Я так хотел бы, мама, привлекать всех своим обаянием, как это делаете вы, и нравиться всем. Так бы хотел, но боюсь, что не научусь этому никогда.

Генри еще раз поцеловал мать, занялся своим туалетом и встретил мистера Тендля таким веселым, что тот даже обомлел от неожиданности. Он приготовился везти в деревню капризного и несносного юношу, гордился, что выполнит трудное приказание своего адмирала — и вдруг такая легкая встреча.

Молодые люди простились с миссис Оберсвоуд и, провожаемые ее улыбкой, поехали к портному. Без особых усилий, портной, пленившись красотой и стройностью Генри, взялся выполнить его заказ, приняв на себя закупку всего необходимого в смысле белья и галстуков.

Дни пролетели молнией, к назначенному сроку у портного все было готово, и новые друзья поехали в деревню. Не без трепета в сердце садился Генри в поезд, еще и еще раз давая себе слово привести в исполнение все то новое, о чем думал последние дни и ночи.

Глава 11

Генри у лорда Бенедикта. Приезд капитана Ретедли. Поручение лорда Бенедикта Тендлю

Видя огромное волнение Генри, не понимая его истинных причин и считая, что Генри волнуется, как и он сам в первый раз волновался, от предстоящей встречи с лордом, мистер Тендль старался нарисовать своему спутнику картину жизни семьи лорда Бенедикта. Он просто и подробно описал ему самого лорда, его красоту, ни с чем не сравнимое обаяние, описал чету графов Т. и Алису. Он так увлекся, расхваливая Наль и Алису, что Генри стало весело и он, лукаво улыбаясь, спросил:

— Которая же из дам нравится вам больше или, вернее, которая из них вам просто нравится, а в которую вы влюблены?

— Признаться, мистер Оберсвоуд, — несколько холодно ответил Тендль, — я этого вопроса себе не задавал. И если бы можно было говорить о моей влюбленности, то уж пришлось бы мне признаваться в любви к самому лорду, моему адмиралу. Знаю я его чуть-чуть, а готов хоть голову сложить за него, до того он меня обворожил.

— Вы сказали, мистер Тендль, что у лорда Бенедикт живет граф Т. Это не брат Левушки?

— Левушки? О таком я ничего не слышал и не видел. В доме лорда Бенедикта живут сейчас его два друга. Один из них, лорд Мильдрей, должен был заехать за мной и за вами, и все втроем мы должны были уехать из Лондона. Но вчера я получил от него письмо, что он в Лондон не приедет, а будет ждать нас на деревенском вокзале. Скоро вы, следовательно, познакомитесь с Мильдреем. Еще у лорда Бенедикта живет индус, по имени Сандра. Фамилия его мудреная и длинная, и хотя он мой университетский товарищ, но фамилии его я так и не знаю. Сандра — так его зовут почти все. Он выдающийся ученый, несмотря на свою молодость. Многие считают его гениальным, я судить об этом не могу. В данное время он чем-то сильно потрясен, был даже болен. Но кого не вылечит общество такого великого человека, как лорд Бенедикт!

Генри тяжело вздохнул. Вид его стал так печален, что у доброго Тендля даже под ложечкой засосало.

— Мистер Генри, мне всем сердцем хотелось бы помочь вам. Если я не могу быть вам полезен чем-нибудь существенным, то хотелось бы хоть развлечь вас. Втянуть ваше внимание в какую-либо иную область, чтобы личные страдания остались в стороне.

— Милый мистер Тендль, вы и представить себе не можете, как точно вы попали в цель. Именно все мои печали и вытекали из слишком большого интереса к собственной персоне. Если бы я умел так сердечно интересоваться людьми, как вы — хотя бы в случае со мною, — я избег бы всех скорбных часов и не подверг бы страданиям целую вереницу людей.

Сострадая товарищу, не зная, как помочь его тяжелому состоянию, мистер Тендль стал ему рассказывать о красотах парка, водопаде и оранжереях лорда Бенедикта. Незаметно друзья подъехали к станции и сразу же очутились перед ожидавшими их Сандрой и Мильдреем. После первых минут неловкости и застенчивости Генри почувствовал себя свободно и легко с новыми знакомыми. Сидя в прекрасной коляске, наслаждаясь зеленью и дивным воздухом, Генри вспомнил, как он в первый раз в жизни сидел в коляске рядом с Анандой. И сердце его сжалось так сильно, что он едва сдержал стон. Быстро мелькали встречные фермы, деревушки, часовенки, церкви. Генри перестал слушать, о чем говорили вокруг него. Он все больше волновался, чем ближе была встреча с Флорентийцем. Генри не знал, что он скажет, с чего начнет свою благодарность. Внезапно лошади остановились, и, пробужденный от своих мыслей, Генри услышал приветствия кому-то высокому, стоявшему у дороги, в белом костюме, с тростью в руках.

— Есть, адмирал, приказ выполнен. Мистер Генри Оберсвоуд доставлен, — услышал Генри веселый голос Тендля и увидел, что Сандра выскочил из экипажа и предложил красавцу незнакомцу занять его место в экипаже.

— Это лорд Бенедикт, наш дорогой хозяин, — шепнул Генри Мильдрей. — Пойдемте, я вас представлю.

Вслед за Мильдреем Генри выскочил из экипажа и почувствовал себя мальчиком лет пяти, стоя перед высоченной, стройной как статуя фигурой Флорентийца, которому едва приходился по плечо. Сняв шляпу, ощущая себя карликом перед этой мощью, Генри застенчиво смотрел в прекрасное лицо лорда Бенедикта. Сердце его колотилось, точно он бежал бегом.

— Как хорошо вы сделали, что приехали к нам отдохнуть. Вы очень бледны и утомлены. Стыдно будет нам, если вы не нагуляете среди нас румянца. Я поручу вас специально Алисе. Она обладает волшебным свойством воздействовать на темпераменты людей. Даже индусы, и те становятся ягнятами, побыв подле нее.

— Вот, извольте радоваться, — хохотал Сандра. — Я всегда являюсь козлом отпущения. С меня начинается и мной кончается. Но ведь я уже исправился, лорд Бенедикт.

— Вот увидим. Вскоре будет проба твоей новой энергии. Мистер Генри, не хотите ли пройтись со мной до дома? Это недалеко. Наши друзья доедут быстрее нас ненамного, так как мы пойдем, сокращая путь почти наполовину.

— Я буду счастлив повиноваться вашему приказанию, — тихо, едва внятно ответил Генри, сердце которого продолжало колотиться.

Махнув рукой отъезжавшим, Флорентиец взял под руку Генри и свернул на лесную тропу. Через минуту коляска скрылась, вскоре замер и стук копыт, и путники остались вдвоем среди леса, в тишине, где только чирикали птички и прыгали белки. Генри не мог больше сдерживать своего горя. Он бросился к ногам Флорентийца, обнял его колени и, рыдая, говорил:

— Я виноват. Ананда, Ананда меня не простит. Не отталкивайте меня. Я еще не могу стать в жизни таким, как это понял в своем сердце. Мать моя зовет вас Великой Рукой.

Спасите меня. Я допустил связь с темной силой, не оттолкните меня. Я боюсь, что снова не смогу сразу выполнить своих обещаний и желаний. Но я буду стараться стать достойным Вашей помощи.

— Встань, мой сын. Труден путь ученичества, очень труден каждому человеку. Не отчаивайся. Вперед не заглядывай и никогда не спеши. Теперь живи даже не так, как будто ты живешь свой последний день. А так, как будто ты живешь свой последний час. Нельзя тебе отставать от того, кого ты выбрал себе Учителем, чья жизнь и сила для тебя живой пример. Отставать от Учителя — значит закрепощаться в суевериях и предрассудках. Если ты получил задачу — спеши ее выполнить. Выполнить до конца. И если ты подойдешь к ней без всяких личных, закрепощающих рассуждений, если будешь *видеть* в приказании великий смысл — не всегда тебе еще понятной жизни — и не будешь ковыряться в своей душе, разбирая, все ли в ней готово или что-то тебе кажется еще не готовым, то выполнишь задание легко. Не на себе надо сосредотачивать внимание, а *до конца* на том, что дано выполнить. Ананде и в голову не приходило тебя огорчать, когда он предложил тебе стать учеником И. Тебе же он хотел помочь и защитить тебя от той сети зла, куда ты сам себя увлекал.

Встань, мой друг, пойдем. Если ты выдержал жизнь на пароходе, ты найдешь сил и здесь укрепить свое самообладание. Я же не только не намерен отталкивать тебя, но готов взять тебя с собой в Америку, куда мы вскоре все уедем.

Снова взял Флорентиец под руку своего страдающего нового друга и повел его, помогая ему успокоиться мощью своей любви и мужества.

— Кто сказал вам, лорд Бенедикт, об И. и о моей жизни на пароходе? Ананда мог написать вам об И., но один капитан Ретедли мог сказать вам о пароходе. Разве вы его знаете?

— Запомни хорошенько свой вопрос мне в эту минуту, в этой лесной тиши, и мой ответ тебе. На всю жизнь они будут тебе уроком. Ты жил подле Ананды и не видел, подле *кого* живешь. Ты занят был собой, а думал, что ищешь высший путь. Ты *не мог* ничего найти. Кто ищет, отягощенный страстями, тот только еще больше заблуждается. Сейчас ты пришел по моему зову и продолжаешь быть слепым. Ты даже не понял моего письма, не понял, как я велел тебе беречь мать, ибо в ней залог твоего материального благополучия. Кто же мог мне сообщить что-либо о твоей матери? Не спеши задавать вопросы. Повторяю, живи среди нас, как если бы ты жил свой последний час. Храни в сердце такой мир и доброжелательство к каждому, как те, кто умирает в доброте.

Старайся решить здесь не умственную проблему, как тебе ввести в твой день те или иные принципы. А просто любя тех, с кем тебя сейчас столкнула жизнь. Присматривайся к их нуждам, печалям, интересам. Не повторяй ошибок отъединения, в которых ты жил все время. Ты видел до сих пор только свою любовь к Ананде, но чем жил *сам* Ананда, кто был рядом с ним — тебе было все равно. Ищи здесь не новой жизни в нас, которая могла бы поддержать тебя. Ищи в самом себе умения быть добрым к нам. И первое, с чего начни: не отрицай, не суди.

Генри казалось, что нигде в мире не могло быть ни такого леса, ни таких птиц, ни такой тишины, ни такого счастья. Он шел, не сознавая действительности. В первый раз его практическая голова отказалась соображать, примерять, ощупывать что-то весомое. Он слился с природой, как будто бы рука Флорентийца помогла его сердцу раскрыться для поэзии.

— Мы сейчас придем. А вот нас встречают моя дочь и ее муж.

И Флорентиец познакомил Генри с Наль и Николаем, сказав последнему, что Генри был в Константинополе в одно время с Левушкой. Предоставив Генри заботам Николая, проводившего Генри в его комнату, Флорентиец с Наль присоединился к остальному обществу, окружавшему на террасе Алису. Вскоре туда сошли Николай и Генри, и любезный хозяин стал угощать завтраком проголодавшихся гостей.

Николай забрасывал Генри тысячей вопросов о своем брате, о его жизни, здоровье. Многим в рассказах Генри он был поражен, особенно болезнью Левушки, связанной с ударом по голове во время бури на пароходе. Лицо Николая несколько раз сильно менялось во время рассказов Генри, и он взглядывал на Флорентийца, отвечавшего ему успокоительной улыбкой.

— Генри, ты не особенно поразись, если сегодня, самое позднее завтра, встретишь здесь одного своего константинопольского знакомого, — сказал Флорентиец, вставая из-за стола.

— Я не буду задавать вопросов, лорд Бенедикт, авось мой последний час не наступит раньше, чем я встречу неожиданного друга. Признаться, раньше я немало поломал бы себе голову, кто бы это мог быть.

— Ну, а так как твоя голова очень нужна нам, то вот тебе две жертвы будущей учености, — подводя к Генри Алису и Наль, продолжал Флорентиец. Ты ведь написал знаменитую работу по мозговым заболеваниям. А обе эти дамы очень интересуются мозгом человека и желают выслушать о нем лекцию. Смотри, читай ее так, чтобы они тебя не сочли заболевшим.

Алиса и Наль повели Генри наверх, где была их классная комната, как ее в шутку прозвал Николай. Там они засели за анатомические атласы, и Генри, считавший ниже своего достоинства рассуждать даже со своими университетскими товарищами о медицинских вопросах, с места в карьер с увлечением стал объяснять элементарные вопросы своим прекрасным ученицам, находя удовольствие в своем уроке. Тем временем Флорентиец велел оседлать трех лошадей и предложил Сандре и Тендлю проехать на дальнюю ферму, с тем чтобы возвратиться к пятичасовому чаю. Сандра прыгал от восторга, а Тендль выражал свое удовольствие подкидыванием шляпы выше деревьев. Николай с Мильдреем отправились в библиотеку, где у каждого была начата большая работа.

Чем дальше читал Генри свою несложную лекцию, тем больше чувствовал вкус к этому делу, видя перед собой очаровательные женские лица. Он забыл о своем самолюбии и о том, что он высокообразованный человек. Сразу же, войдя в эту комнату, он понял, что здесь трудятся много и серьезно, учась не для школы, а для жизни. Ему вспомнилось несколько фраз, пойманных им на лету из разговоров Николая и Сандры. Глубина их мысли его поразила. Вспомнился Генри почему-то де Сануар, и он с сожалением подумал, как глупо и некультурно он вел себя у Ананды. Мысли Генри пролетели молнией, но женская аудитория казалась неутомимой и не давала ему рассеиваться. Вопросы так на него и сыпались, и он почувствовал усталость.

— Мы вас утомили, мистер Оберсвоуд, — заметила Алиса. — Вы стали очень бледны. А лорд Бенедикт приказал мне позаботиться, чтобы ваши щеки зарумянились. Пожалуй, он не одобрит, что мы так долго вас эксплуатировали с места в карьер.

— Вы сами виноваты, мистер Генри, что оказались таким увлекательным лектором, — благодаря за занятие, сказала Наль. — Пойдемте теперь в библиотеку, захватим моего мужа и лорда Амедея и выйдем навстречу нашим всадникам. Они должны непременно ехать мимо водопада, кстати, вы увидите место несравненной красоты.

С трудом оторвав от книг увлекшихся работой ученых, всей компанией направились к водопаду. Генри, видевший природу английской деревни первый раз в жизни, даже не предполагал, чтобы в двух часах езды от Лондона могло быть что-либо подобное. Он снова перестал слушать, о чем говорили вокруг, и его никто не беспокоил, предоставляя ему жить, как ему хотелось.

Генри стал думать о предстоящей ему жизни у Флорентийца. Он видел уже по первому дню, что все здесь заняты, что часы у каждого проходят в труде. Что же будет здесь делать он, даже если каждый день будет обучать свою женскую артель, то и тогда у него будет оставаться немало свободного времени. О главном, о Флорентийце и Ананде, Генри как-то не мог думать. Тут у него все тонуло, как в дымовой завесе. Он вспомнил слова Флорентийца: «Живи так, как будто ты живешь последний час». На душе у него стало легче, и он начал прислушиваться к разговору Наль с мужем.

Николай держал на ладони какое-то крупное насекомое, какого Генри никогда не видал, и объяснял жене его анатомию. Объяснял он так точно, четко и определенно, что Генри счел Николая зоологом. Сняв с руки и осторожно положив насекомое в траву, Николай сорвал несколько цветочков, каких тоже Генри никогда не видел, и стал спрашивать Наль, что она запомнила из его рассказа о них вчера. Наль очень деловито ответила свой урок, причем Генри ловил себя на мысли, что думает о ее чудесных ручках, крохотных ножках и необычайной красоте, а вовсе не о том, что она говорит. Генри так тяжело вздохнул, что даже шедшая впереди с Мильдреем Алиса услышала его вздох.

— Вы не устали, мистер Генри? Мы, быть может, слишком быстро идем?

— О, нет, леди. С некоторого времени я стал очень рассеян. Вы можете на моем живом примере увидеть и изучать расстроенную координацию действий мозговой системы, о которой я говорил вам сегодня.

— Ну нет, — вмешался Николай. — Вы, быть может, и больны, я не доктор и мало понимаю в этом деле. Но думаю, что в вашем организме самой природой все так слажено и пригнано, что гармония самого организма заставит ваш дух найти соответствующую всему сложению стройность. Я вижу по выражению вашего лица и по неровности вашей походки и движений, что в вас кипит буря. Верьте мне, лучше места, чем подле лорда Бенедикта, вы не могли найти, чтобы прийти в равновесие. Все мы здесь его друзья, а следовательно, и ваши друзья. Каждый из нас уже принял вас в свое сердце, раз вас принял в свое сердце наш отец. Не стесняйтесь жить здесь с нами, считайте нас своими братьями и сестрами, зовите нас по имени, разрешите и нам звать вас просто Генри. Каждому из нас вы дороги, дороги ваши страдания и радости, ваши скорби и достижения. Мы все страдали, учились и учимся владеть собой. И наше положение здесь равно вашему. Будьте спокойны, никто вас не наблюдает и не изучает ваших недостатков. У каждого из нас их довольно в себе, вас же нам хочется только приветствовать как гостя и друга нашего дорогого хозяина, где все мы одинаково гости.

— Я очень тронут, граф, вашей сердечностью. Ваш голос так ласков, столько в нем доброты. Но, быть может, если бы вы знали обо мне больше, вы не говорили бы так ласково.

— Нет, Генри, быть может, если бы я знал о вас больше, я был бы еще внимательнее. Не называйте меня графом, а зовите просто Николаем. И главное, не чувствуйте себя отъединенным от нас. Я очень был бы рад, если бы вы смогли увидеть, как в наших сердцах много любви к вам, и слово «чужой» среди нас совсем не у места.

Послышался лошадиный топот, и на большую дорогу выскочили из лесной просеки три всадника. Громадная лошадь несла впереди всех не менее рослого всадника, который шутя ехал на своем коне, оставив за собой двух других, выбивавшихся из сил, чтобы его догнать. Убавив шаг, лошадь, красиво играя, поднесла первого всадника к группе людей, ожидавших его у парка. Лошадь и всадник казались Генри нереальными, до того спокойно сидел человек на играющем коне. Только рука, державшая повод, держала его мощно, и конь чувствовал хозяина на своей спине, повиновался и не смел бунтовать. Никто, кроме Флорентийца, не рисковал садиться на этого скакуна. Его имя Огонь соответствовало его дикому темпераменту. Задыхающийся Сандра, смеющийся и плохо сидящий на лошади, кричал уже издали:

— Лорд Бенедикт, это похоже на игру в волка и овец. Вы приказали дать нам ящериц, а сами поехали на вихре. Я не согласен признавать себя побежденным.

— Сандра, друг, ну кто тебя учил верховой езде? Посмотри, как ты сидишь. Ты похож на беспризорного мальчишку, взобравшегося тайком на чужую лошадь, — не менее весело смеясь, отвечал Флорентиец.

— Извольте радоваться, — уж откровенно хохотал Сандра. — Николай каждый день школит меня, а я оказываюсь неучем. Это кто же из нас виноват? — подмигивая Николаю и корча комически-несчастную гримасу, спрашивал индус.

— Ну, за этот неблагодарный выпад по отношению к твоему учителю ты будешь сегодня брошен в водопад, — грозя плетью и улыбаясь, сказал Флорентиец. — Сходи с коня, уступи место Генри, неблагодарный.

Сандра, все еще смеясь, но искренно прося прощения у Николая за свою неудачную шутку и плохие успехи, сошел с коня и подвел его Генри, растерянно сказавшему:

— Я еще никогда не сидел на лошади и даже не знаю, как держать повод. Но как бы я был счастлив проехать с вами, лорд Бенедикт, несколько шагов, хотя бы это было в последний час моей жизни.

Мигом подле него очутился Николай, объясняя ему элементарные правила езды.

— Лошадь эта очень спокойная и быстроногая. Но жалкий наездник Сандра портит ей характер. Он сидеть спокойно не может и пугает коня своей суетливостью. Лорд Бенедикт поедет теперь легкой рысью, вы держитесь поодаль. Я сяду на лошадь мистера Тендля, который, наверное, согласится занять мое место подле дам, а я буду вам объяснять по пути все правила езды.

Генри храбро сел на лошадь, которая стала беспокоиться, но, Флорентиец погладил ее по шее и голове, и она перестала волноваться и понесла спокойно нового седока. Никогда еще не испытанные чувства наполняли душу Генри. Не было терзаний его обычного самолюбия, боязни перед кем-то унизиться и осрамиться. Все маленькое и мелкое куда-то улетело, он внимательно выполнял указания Николая, был окутан волной его сердечной доброты, но в то же время образ всадника впереди притягивал его мысли, точно магнит. Приехав домой и сдав лошадь, Флорентиец остановился на крыльце дома, поджидая своих спутников.

— Что, Генри, сегодняшний день мы тебе, кажется, и опомниться не даем?

— Если бы всю жизнь я мог бы быть так счастлив, чтобы жить подле вас, лорд Бенедикт, я мог бы надеяться, что стану когда-либо достойным встречи с Анандой. Проведя несколько

часов в вашем доме, я сразу понял, сколько бед я натворил уже в своей короткой жизни. Горько сознавать свою глупость. Но именно в ней-то я должен признаться.

— Хорошо уже и то, Генри, что ты стал гибче и проще за несколько проведенных среди нас часов. Когда ты научишься смеяться, перестанешь дичиться людей — ты начнешь понимать, в чем твое назначение как врача и человека. Пройди к себе, отдохни, приведи в порядок свой костюм и приходи на террасу пить чай. Приходи без стеснения, оставь застенчивость, она только признак гордого самолюбия и вовсе не походит на смирение. Мы еще с тобой поговорим, что такое истинное смирение мудрого человека. Но то состояние некоторой омертвелости, в котором ты сейчас живешь, как бы приказав себе иначе воспринимать мир и людей, — это, мой друг, не смирение. В надуманности, живя от ума, можно попадать только в предрассудки и суеверия.

Поднявшись в свою комнату, взглянув на себя в зеркало, Генри ужаснулся своему виду. Ехал он на лошади не больше двадцати минут, а не было на нем ни одной вещи, которая сидела бы на месте. Галстук на боку, воротничок вылез, кудри в хаотическом беспорядке, лоб в поту и щеки в румянце. Аккуратный Генри себя не узнавал и себе не понравился. Он постарался поскорее принять вид английского денди, благодаря судьбу, что женские глаза не видали его таким. Но за заботами о внешнем виде где-то внутри, по-новому глубоко, все вставал вопрос: что же такое смирение и как Флорентиец мог угадать, что Генри сковал себя приказом быть смиренным, что действительно, по его ощущениям, несколько походило на омертвение. Задумавшись, Генри забыл, что ему велели сойти к чаю. В дверь комнаты постучали, лорд Амедей спросил его, здоров ли он, и сказал, что внизу все ждут его пить чай.

— Что же я наделал! Ну как же теперь показаться на глаза? Заставил всех ждать. Мне и так было стеснительно сходить, а теперь уж наверное что-нибудь разобью, за что-либо задену, споткнусь или не так начну есть.

— Полноте, Генри, все так просто. Вы думайте только четко об одном: надо подойти прямо к хозяину, попросить у него извинения за невольную задержку, потом поклониться дамам, повторив свое извинение, и занять указанное вам место за столом. Наль и Алиса хозяйки снисходительные, извинят вас легко.

— Если бы вы не пришли за мной, я один ни за что не пошел бы теперь вниз.

— Вот видите, Генри, как много условных осложнений вы себе придумали. Пойдемте скорее, ведь так дорога каждая минута, проведенная подле лорда Бенедикта. Мне кажется, что лучшей жизни я не знал с самого рождения. И жизнью в этом доме я дорожу так, что готов был бы все оставить, лишь бы жить подле этого человека.

Генри только вздохнул, вспомнив еще раз Ананду, и пошел за своим провожатым. К великому облегчению для Генри, все обошлось благополучно. Подведенный Мильдреем к хозяину, Генри даже не успел пролепетать своего извинения, как Флорентиец усадил его между собой и Алисой, оставив с другой стороны от себя место свободным. На вопрос Сандры, кто же тот счастливец, что займет вакантное место, Флорентиец ответил, что пока он еще полусчастливец, потому что едет, но вскоре будет счастливцем. Все глаза поднялись на Флорентийца, и у Генри даже дух захватило от стольких пар глаз, и каких прекрасных глаз!

— На ваш общий немой вопрос, друзья мои, могу вас порадовать, что к нам едет гость. Ты, Алиса, распорядись о лишней чашке и лишнем обеденном приборе. Наш новый гость человек бывалый, много видевший, из очень хорошего общества. Кое-кому он здесь уже знаком, а кое-кто будет рад получить от него известия о близких.

— Ну, лорд Бенедикт, я думал, что, посадив нас с мистером Тендлем на ящериц и удирая от нас на Огне, вы вдоволь задали мне перцу. Теперь вижу вашу ненасытность: я должен еще сгореть в огне любопытства.

— Кайся, грешник, не в одном любопытстве, а еще и в зависти, что не сидишь рядом со мной.

— Ну уж нет. В этом не грешен. Мне сидеть с вами честь выпала единый раз, я чту ее так свято, что понимаю каждого, кому это счастье дается. Завидовать не мог бы даже тому, кто каждый день сидел бы рядом с вами. Но зато я никому не позволю чистить вашу шляпу. Бегу со всех ног утром, днем, вечером, и все ваши шляпы — моя обязанность. Вот какой я хитрый, — хохотал Сандра.

— Я-то никак не мог понять, почему у всех людей шляпы, как шляпы, а мои всегда взъерошены. А это, оказывается, в них твой индусский темперамент.

Под общий смех Флорентиец выслушал доклад слуги о приехавшем госте и велел провести его в свой кабинет.

— Ну вот, друзья, гость и здесь. Я приведу его через некоторое время сюда, а вы все непременно подождите нас, если даже мы немного задержимся.

Открыв дверь своего кабинета, Флорентиец нашел своего гостя задумчиво стоявшим у окна. На звук шагов он оглянулся и замер в таком изумлении, что не только не произнес слов обычного приветствия, но, казалось, не мог оторвать глаз от лица хозяина.

— Капитан Джемс Ретедли, — сказал, подходя, Флорентиец.

— Да, это я или, по крайней мере, то, что до сих пор звали этим нормальным именем. Но сейчас я не настаиваю на том, что я нормален, лорд Бенедикт. Я готов дать голову на отсечение, что это я вас видел в Константинополе, что это вы сказали мне помнить о вас и следовать за вами. И в то же время это невозможно. — Капитан отер лоб платком и, торопясь, продолжал: — Простите, лорд Бенедикт, я растерялся хуже мальчишки, но, поверьте, для этого много причин. И самая важная для меня и извинимая для вас, что вы, как двойник, похожи на человека моих мечтаний, которого я должен найти, о котором думаю день и ночь. Ананда обещал мне, что я его найду. И ваше сходство с тем, кого я однажды видел, так меня потрясло, что я забыл даже поздороваться.

— Нет ни одного явления в памяти человека, которое не было бы в связи с его атавистическими воспоминаниями, капитан. Если вы могли увидеть человека на расстоянии тысяч верст, то среди ваших способностей есть еще и такие, которых вы не знаете. Взгляните сюда. Не это ли человек ваших мечтаний?

И Флорентиец подвел своего гостя к стене, на которой, под парчовой занавеской, висели портреты людей в длинных белых одеждах. Капитан мгновенно узнал прекрасное лицо Флорентийца и рядом с ним Ананду и доктора И. Других лиц, не менее значительных и прекрасных, он никогда не видал.

— Да, человек моих мечтаний был именно в такой белой одежде и казался мне стоящим в огненном светящемся шаре. Боже мой, неужели я нашел мой великий Свет! Или я впадаю в безумие, — хватаясь за голову, в полном расстройстве говорил капитан.

— Не приходите так легко в отчаяние. В величайшей опасности, в смертельном урагане на море вы были храбры и боролись по-львиному в полнейшем самообладании за вверенные вам жизни. Теперь, когда надо бороться за одну свою жизнь, вы расстроены и теряете свое знаменитое самообладание, — ласково улыбаясь, взял руку своего гостя Флорентиец.

И такая радость, такая тишина вдруг влились в сердце капитана, он стал уверенным и спокойным. Сам не отдав себе отчета, что и почему он делает, капитан прильнул головой к рукам Флорентийца, сжал их в своих руках и поцеловал каждую из них, наполнявшую как бы теплым электрическим током все его существо.

— Не будем упреждать событий. Уверьтесь, что вы не в безумии, что в Константинополе дал вам зов я. И вскоре вы узнаете, что это была не первая наша встреча, что я был с вами в момент казавшейся неминуемой гибели, в ночь ужасной бури на Черном море. Пойдемте теперь со мной, я познакомлю вас с моей семьей. А письма, что вы мне привезли, вы отдадите мне потом, — тихо сказал Флорентиец, задергивая парчовую занавеску.

На лице капитана снова отразилось такое изумление, что хозяин улыбнулся, но, ничего больше не сказав, взял гостя под руку и повел его на террасу.

— Не прошло и получаса с нашей встречи, а я уже дважды так поражен, что боюсь просто осрамиться...

— И сделаться «Левушкой — лови ворон»?

— Бог мой, да ведь это значит вы — тот великий друг, обожаемый Левушкой Флорентиец, о встрече с которым для меня он так мечтал!

Флорентиец приложил палец к губам и очень тихо сказал:

— Вы только что видели, каким я бываю, когда бываю Флорентийцем. Вы по опыту знаете, *что* нужно выявить в себе человеку, чтобы встретиться с Флорентийцем. Сейчас я лорд Бенедикт и веду вас в свою семью. Она разнохарактерна, особенно сейчас. Вы можете стать ее членом так же, как и ваша жена. Но надо учиться не только полному самообладанию моряка. Надо еще уметь бдительно рассмотреть всех окружающих и найти для каждого слово такта. При вашей безукоризненной любезности вам это будет нетрудно. Но обо мне, человеке ваших мечтаний, Флорентийце, — ни слова.

На террасе терпеливо ждали гостя. Генри, как и все хозяева, поднялся со своего места, но не сразу увидел входивших, так как сидел спиной к двери. Николай и Наль здоровались с гостем у самой двери, и Генри показался знакомым звенящий повелительный голос. Он оглянулся и внезапно почувствовал, что у него земля уходит из-под ног. Приветливо здороваясь с членами семьи лорда Бенедикта, Джемс Ретедли приближался к Генри. И не успел Генри подумать, как ему себя держать, как высокая фигура капитана уже стояла перед ним.

— Какая приятная неожиданность, мистер Оберсвоуд, встретить вас здесь после константинопольской жары и пыли, — говорил капитан, пожимая Генри руку. Он посмотрел в глаза Генри, веселые искорки мелькнули в них, и он пошел знакомиться дальше, занял указанное ему место за столом. Окинув взглядом всех присутствующих, он стал отвечать на вопросы Николая и Наль, когда он был в Константинополе, давно ли оттуда.

Лукаво улыбаясь, капитан отвечал, что он познакомился в Константинополе с молодым русским, графом Т., который пленил его своими качествами характера и таланта. Что теперь он сразу понял, что видит перед собой его брата, о котором Левушка много рассказывал и не раз чрезвычайно сильно тосковал. Продолжая разговор, капитан ничем, ни одним движением мускула не выдал бушевавшей в нем бури чувств и мыслей. За безукоризненной светской выдержкой, любезностью и остроумием никто, кроме хозяина дома, не читал взволнованности капитана. Генри учился на его примере, как должен вести себя человек, в первый раз вошедший в дом, а экспансивный Сандра, плененный

элегантностью фигуры гостя, затянутой в форменный сюртук, его выправкой и стройностью, вздыхая, старался незаметно для других обтянуть на себе мешковатый костюм.

— Что, Сандра, тебе, кажется, захотелось быть моряком? — вдруг спросил лорд Бенедикт.

— Мечтаниям моим в этом направлении положен предел. С тем что я жалкий ученый, я смирился. А вот что я решительно начну моему воспитателю Амедею усерднее помогать выколачивать из меня хорошо воспитанного человека — это наверное.

— Могу вас поздравить с большой победой, капитан. Чтобы Сандра заметил человека не только внутри, но и запомнил его вовне — это надо много.

— Хотя я уже решил воспитываться, но все же осмелюсь возразить вашей светлости. Увидев впервые вашу дочь Наль, я так остолбенел от ее красоты, что обмер. Как же я не замечаю внешности?

— Ну, у Алисы какого цвета глаза?

— У Алисы? У Алисы фонари, а не глаза. Да, вот только насчет цвета... На гуре вы, Алиса, сидите по одной стороне стола со мной, и я не могу посмотреть.

Капитан, от которого лорд Бенедикт отвлек внимание общества, старался успокоиться. Он и сам не мог понять, что так особенно волнует его в этой обстановке. При вопросе хозяина о глазах Алисы, вызвавшем всеобщий смех и остроты над Сандрой, гость взглянул еще раз на уже поразившее его лицо Алисы. Сейчас ее темно-синие глаза напомнили ему цвет глаз сэра Уоми, а зардевшееся от устремленных на нее глаз личико поразило его на этот раз гораздо больше. Необычайная красота Наль вызвала в сердце капитана болезненное воспоминание об Анне. Столь разные, обе женщины заставляли его ощущать себя ниже их. Но если с первых минут знакомства капитан признал Анну женщиной земли, увлекался ею как красавицей женщиной, то перед Наль он стоял, как перед Мадонной, не признавая ее обычной женщиной. Взглянув сейчас на Алису, отметив ее тоже чрезвычайную красоту, капитан ощутил к ней братское чувство, огромное уважение к светившимся в ней доброте и чистоте, но ясно сознавал ее земным созданием, которое идет обычным человеческим путем, равным тысячам других. Все эти мысли пронеслись в нем, но бури в себе он не мог успокоить. Ему казалось, что если бы от сидевшего рядом с ним хозяина не шло к нему какое-то тепло, успокоение и мир, он не был бы в состоянии усидеть на месте от волнения.

— Не располагаете ли вы временем и не желаете ли провести с нами конец недели? — любезно спросил капитана лорд Бенедикт.

— Я крайне тронут вашим вниманием. В данную минуту я совершенно свободен, но я жду из Парижа мою невесту с ее родителями, которых я высадил по дороге со своего парохода. Невесте моей очень не хотелось ехать в Париж, но родители настаивали на приобретении всех необходимых туалетов, не желая, вернее боясь, строгого суда моих сестер и матери. Все заказано по телеграфу еще из Гурзуфа, так что времени займет мало. Но я все же думаю, что переночевать и провести завтрашний день в вашем чудесном обществе я мог бы без риска. Но...

— Нет, капитан, раньше понедельника и не ждите своих гостей. Вопрос туалетов для матерей и невест столь сложен, что ваша невеста, как бы она ни спешила, не сможет вырваться к вам раньше понедельника. Вам же до этого времени делать в Лондоне совсем нечего. Если бы вы желали, чтобы кто-нибудь справлялся, нет ли в городе для вас

экстренных сообщений, то мой человек будет в городе и завтра, и в субботу. Соглашайтесь скорее, и я веду вас гулять.

Капитан радостно взглянул на лорда Бенедикта и, смеясь, сказал:

— Когда хочется, так легко соглашаться. А мне не только хочется остаться, мне хочется повиноваться вашему желанию, чтобы иметь возможность выразить вам, какое необычайное чувство счастья испытываю я в вашем доме. Я точно был здесь в раннем детстве и приехал взрослым, так волнует меня этот дом, лорд Бенедикт, и общество в нем.

— Я рад, очень рад, капитан. Проживите же эти дни, как в родном доме. Вечером Алиса нам поиграет, и, я уверен, вы еще больше полюбите нас.

Капитан взрогнул и побледнел, вспомнив Анну, ее игру, Ананду, свое видение... Флорентиец взял его под руку и, пригласив всех желающих присоединиться к предобеденной прогулке, направился к выходу в парк. Генри, не спускавший глаз с капитана, чувствовал себя все время забытым и одиноким. Он вспомнил о матери, о их бедности, о том, что он мог бы предоставить ей в ее жизни лишений хотя бы минимальный комфорт и красоту, которые она так любит. Но до сих пор он думал только о себе одном, сам ничего не достиг и ей ничего не дал.

— А вы разве не с нами, мистер Генри? — услышал он голос Алисы и увидел, что сидит один за столом, а возле него стоят Алиса с Амедеем.

— Боже мой, что сказал бы лорд Бенедикт о моей рассеянности! День еще не кончился, а я уже сотворил две невежливости. Что же будет со мною дальше?

— Дальше все будет прекрасно. Предложите мне руку, и пойдем догонять друзей. По смеху Сандры мы сразу определим, где их искать.

— Я был бы счастлив, леди Алиса, исполнить ваше приказание, но я понятия не имею, как ведут даму. Будьте милосердны, идите с лордом Амедеем, а я пойду подле вас. Я непременно наделаю каких-либо бед, наступлю вам на платье или еще что-нибудь, — молил Генри.

Со смехом взяв неудачного кавалера под руку, через пять минут Алиса заставила его забыть всякую застенчивость. Доброта девушки, ее приветливость, маленькая, воздушная фигурка — все наводило его на мысль о ее поразительном сходстве с его красавицей матерью, которую он сравнительно недавно помнил в кольцах золотых кудрей, а не в строгом чепце.

— Отчего вы так печальны, Генри?

— Я впервые отдаю себе отчет в стольких своих неверных поступках, что поневоле впадаю в грусть.

— Ну, Генри, если впадать в грусть от своих неверных поступков, да еще начать раскаиваться в них, то тогда не хватит времени побыть веселым. Забудьте свои скорби, пока живете здесь. Расскажите нам что-либо о так понравившемся нам всем капитане. Вы его давно знаете?

— Я познакомился с ним в Константинополе у Ананды, — точно с трудом выговорил это имя Генри. Но тут же он встретил взгляд Алисы, такой добрый и ласковый. Девушка совсем так же любяще смотрела на него, как, бывало, смотрела на него мать. И до такой степени Алиса была похожа своими огромными синими глазами на миссис Оберсвоуд, что

у Генри стало легче на душе. Он перестал чувствовать себя одиноким и рассказал своим спутникам все, что знал о капитане, об Анне, о ее чудесной, волшебной игре и красоте.

— Сегодня вы будете играть нам. Я боюсь этого момента. И не один я его боюсь. Я видел, как вздрогнул Джемс Ретедли, когда лорд Бенедикт упомянул о музыке. Я уверен, что он также страдал, когда играла Анна. Сам я рыдал, в моей душе происходил ад, точно все добро и зло мира смешалось и боролось в моем сердце. Я никого и ничего не видел в потоке своих слез. Но я уверен, что нет человека, могущего спокойно вынести игру Анны или Ананды. А уж оба вместе они разрывают сердце на части, заставляя вас понимать все свое ничтожество и всю беспредельную красоту жизни и свою слабость в достижении этой красоты.

— Вы моей игры не бойтесь. Я только любительница. Я еще ученица, а не законченная пианистка. Это снисходительность лорда Бенедикта заставляет его хвалить и слушать меня.

— Да, — улыбаясь вставил Амедей. — Если вы еще только ученица, то что же будет, когда вы станете артисткой?

— Трудно сказать, лорд Мильдрей, достигну ли я полного артистического развития в музыке. Папа был пастор, а я считаю, что выше него я певцов не слыхала, если не считать лорда Бенедикта, в голосе и пении которого есть что-то особенное, чего я словами описать не могу.

Генри вспомнил голос Ананды, вспомнил, как, бывало, он играл у себя в Венгрии под аккомпанемент своего дяди, и у бедного юноши скатилась непрошеная слеза прямо на ручку Алисы.

— Генри, я видеть этого не могу, и еще больше не хочу, чтобы это видел лорд Бенедикт, — очень тихо, очень спокойно, но так повелительно сказала Алиса, что слезы юноши мгновенно остановились.

— Простите, — прошептал Генри, отирая слезу с ее руки. — Я болен и потому не владею собой.

— Вы страдаете, но никто ведь у вас не умер, ничего еще не потеряно. Мужайтесь, нельзя быть слабым в доме лорда Бенедикта. Он так велик, что тот, кто хочет быть подле него, должен найти полное самообладание. Я слышу впереди голоса, мы догоняем все общество. Будьте радостны, раз вы здесь. Верьте и поймите, что ничто не потеряно. Соберите же внимание и силы и покажите себя достойным того радушия, которое вам оказывает этот дом.

— Простите еще раз. Спасибо за поддержку. Вы так поразительно похожи на мою мать, что всякий, увидев вас вместе, принял бы вас за мать и дочь.

Голоса слышались все ближе, и совсем неожиданно для Генри они очутились перед лордом Бенедиктом, шедшим под руку с капитаном; держа цветок в свободной руке, он объяснял Тендлю сложное строение цветка.

— А ты привела в легкие и радужные чувства братца Генри, Алиса. Как это тебе, волшебница, удалось? Я-то старался разрешить эту задачу, но у меня выходил только Рыцарь печального образа. А ты поворожила — и мигом стал у тебя веселым братец Генри.

— Если бы у меня была такая сестрица, как леди Алиса, я бы, наверное, смог достигнуть чего-нибудь в жизни и не так много наделать бед, — принимая цветок от лорда Бенедикта и благодаря за него, сказал Генри.

— А разве у тебя не было близкого друга, который мог бы тебе помочь своей любовью в жизни?

— У меня есть мать, как вам, к моему удивлению, известно. Но я сумел оценить ее любовь и дружбу и вообще понял, сколь много дала мне жизнь с ней, так недавно. И только перед вами могу признаться в одной из грубейших моих ошибок всей жизни.

— Не тоскуй, мой друг. Все поправимо между матерью и сыном, если у матери беззаветная любовь в сердце и она не предъявляет требований за свой подвиг любви к сыну.

— О, лорд Бенедикт! Моя мать — это святая. Только не на иконе нарисованная, а движущаяся по самым простым делам нашего бедного дома. Вокруг нее все находят успокоение. Один я его не находил, искал там, где были слишком высокие люди, мне недоступные. За последнее время я понял и это. Ваше снисхождение ко мне дает мне надежду найти новую силу и создать матери уютный угол, где бы она могла отдохнуть.

Пары давно переменились, и возле Флорентийца оставались теперь только капитан и Генри.

— Мне рассказал капитан, как ты ехал на его пароходе, как тяжело и безропотно ты трудился, Генри, и как ты страдал. Сейчас ты говоришь убитым тоном о высоких людях. Я понимаю, что ты скорбишь об Ананде. Могу тебя порадовать. Капитан Джемс привез мне письмо от него, и в нем Ананда немало говорит о тебе. Он просит меня загладить его ошибки в отношении тебя. Но, как видишь, я и без его просьбы тебя разыскал, — ласково-ласково говорил Флорентиец.

На лице капитана в третий раз выразилось необычайное изумление. Письма, переданные ему в пути незнакомым человеком для лорда Бенедикта, лежали в его кармане. А лорд Бенедикт говорил Генри о содержании одного из них. Флорентиец все продолжал идти между двумя молодыми людьми, из которых один засиял, а другой никак не мог победить своего удивления.

— Вот видите, друзья мои, как много еще в жизни для вас непонятного, кажущегося чудесным, а на самом деле простого и ясного. Тебе, Генри, повторяю совет Ананды: Радость — непобедимая сила. А вам, капитан, скажу больше: двигайтесь вперед именно так, как начали в Константинополе. Там вы увидели, здесь нашли. Действуйте же так, чтобы уже не расставаться со мною. Завтра я поговорю с вами обоими, а теперь пора возвращаться домой к обеду. Я обещал вам вечером музыку, и каждый из вас ее боится и ждет момента сравнений с игрой Анны и Ананды. Перестаньте настраивать себя на этот лад. Если уж сейчас вы начинаете учить вперед свои нервы, как им воспринимать то или иное явление, да еще запутываете их в сеть страха и воспоминаний — вы никогда не воспримете правильно ни одного факта жизни.

Мужество, одно мужество и бесстрашие раскрывают *всего* человека, *все* его силы и таланты. Старайтесь оба найти в себе свободное, не отягченное мусором личных неудач и скорби восприятие жизни. Живя здесь, чувствуйте себя не выключенными из жизни, оторванными и охраняемыми под моим стеклянным колпаком, но включенными в мою энергию, раскрытыми к самому большому героическому напряжению.

Никакая скорбь не может сковать той абсолютной *независимой* сути, что живет в сердце человека. Живя в нашей семье сейчас, ищите каждый гармонии в себе. Здесь вам легче будет почувствовать мощь своего духа, легче прийти к радости понимания божественной красоты, в себе носимой, и ее ценности.

Лорд Бенедикт покинул молодых людей, предоставив их друг другу, и подошел к Сандре и Тендлю, старавшимся постичь тайну игры в бокс, откуда вскоре послышался жалобный хохот Сандры, поднятого лордом Бенедиктом на воздух одной рукой. Дорога домой показалась Генри и капитану очень короткой, так был каждый из них погружен в свои думы. Увидев вблизи дом, Генри шепнул капитану:

— Дорогой капитан, благодарю вас, десять тысяч раз благодарю за все.

— Вот уж, Генри, не знаю, кто кого должен благодарить. На вашем примере страдания я так много понял, что, право, мы квиты.

Незаметно мелькнуло время за обедом, и наконец все общество перешло в гостиную, где стоял рояль. У лорда Бенедикта не было обычая оставаться мужчинам в столовой после обеда в мужской компании и пить спиртные напитки. Вино подавалось легкое, и заканчивался обед всеми вместе, вопреки английскому обычаю. Помня слова хозяина во время прогулки, оба гостя старались охранить в себе мир и приготовиться к музыке без всяких предвзятых мыслей. Наль сидела рядом с капитаном, и он еще раз имел случай близко наблюдать безукоризненность ее красоты. И еще раз он сказал себе, что Наль не может быть сравнима ни с кем, даже с Анной, красота которой совершенна, как и ее бездонные глаза, огромные, палящие. Анна плоть, хотя и высшая, и утонченная, и божественно прекрасная. Наль же стихия высшая, если и пришедшая на землю жить по ее законам, то только для того, чтобы рассеивать мрак ее в своей атмосфере.

Он взглянул на Алису, которой сам хозяин помогал поднять крышку рояля. И капитану показалось, что он видит вовсе не ту Алису, которую, как ему казалось, он так хорошо рассмотрел и понял, к которой тянулось его земное сердце как к равной ему сестре по плоти и крови. Теперь у рояля сидело существо, синие глаза которого, полные доброты, сверкали такой волей, силой, вдохновением, что тоже жгли как огонь. А вся воздушная фигурка девушки жила точно не в этой комнате, а где-то далеко, кого-то видя, куда-то стремясь, и порыв ее так чувствовал капитан, что ему казалось, вот-вот Алиса поднимется и улетит. Чем-то Алиса напоминала ему совершенно не схожую с ней Лизу, когда та брала в руки скрипку и так же забывала все окружающее.

Первые же звуки ошеломили капитана. Мощь и радость лились из под пальцев Алисы, и Джемсу казалось, что звуки охватывают его со всех сторон, точно все стены, потолок, пол — все звучало, все отвечало этим волнам любви, которые посылала девушка. Капитану не плакать и рыдать хотелось, как в Константинополе. Не скорбь о потерянном ряде лет рвалась из его души. Он был счастлив, что живет, что знает в себе силу победить все препятствия и пройти в тот мир Света, где живет «человек его мечтаний». Ему чудилось, что звуки Алисы говорят о нем.

Еще и еще, уступая просьбам, играла девушка, но вот она задумалась, замолкла и заиграла какой-то ритурнель и... запела. С первыми же звуками ее голоса Генри вскочил, вытянул к ней руки и вскрикнул: «Мама!» Он пошатнулся и упал бы, если бы к нему не подоспели Николай с Амедеем, подхватившие юношу на руки. В глубоком обмороке Генри был отнесен в кабинет лорда Бенедикта, который просил всех успокоиться, объясняя обморок Генри надорванностью его нервной системы. Когда Генри очнулся, он увидел возле себя прекрасное лицо Флорентийца, который рассказал ему, улыбаясь, почему он очутился в его кабинете.

— Простите, лорд Бенедикт. Я теперь все вспомнил. Когда леди Алиса запела песню, что мне в детстве всегда певала мама, то ее голос, глаза и вся фигура до того были схожи с моей мамой, что я точно с ума сошел, все забыл и бросился к ней.

— Крепись, Генри, дружок. Гибче бери себя в руки. Зачем ты все время оплакиваешь прошлое, когда я дал тебе завет жить не только настоящим, но даже самым последним моментом его.

Отправив Генри, под наблюдением Дории и Артура, в его комнату, хозяин вернулся в гостиную. Здесь было полное спокойствие. С первой же минуты, как бросившийся тоже на помощь Генри капитан вернулся на место, Наль ласково стала спрашивать его о его невесте. Но, видя, что капитан глубоко взволнован обмороком Генри, она ему сказала:

— Если отец объяснил, что у Генри перенапряжены нервы, — вы можете быть спокойны. Да и вообще, если отец рядом с больным, о чем же можно беспокоиться? Не только больной поправится, но и каждый найдет подле отца силу, чтобы повернуть свою жизнь по-иному. Если только человек найдет в себе сил победить сомнения и поверить до конца — он останется подле отца и не лишится его дружбы на всю жизнь.

К беседующим подошла Алиса. Девушка была, видимо, расстроена, что первая же фраза ее песни так тяжело подействовала на Генри. Но, ни слова не говоря о происшествии, Алиса села по другую сторону стола и спросила капитана:

— Я много слышала об игре Анны и Ананды. Мне хотелось бы спросить вас, какое впечатление производила на вас музыка Анны и она сама? Я не смею спрашивать об Ананде. Все, что я слышала о нем, все мне кажется столь высоким, что слова, пожалуй, и передать не смогут этого величия, до которого дошел человек. Это, вероятно, все равно, что желать описать лорда Бенедикта. Но об Анне, если вам не трудно, я хотела бы слышать.

— Я как раз думал об Анне и ее игре, когда вы играли, леди Уодсворд. Не знаю, сумею ли характеризовать вам ее игру, как это сделал бы истинный знаток музыки. Но личные свои, очень острые, очень глубокие впечатления я вам передам. Начать с того, что, увидев однажды Анну, ее забыть уже нельзя. Что в ней? В ней буря, стихия. В ее звуках такая мощь захвата, что попавший в них должен быть смолот, как на мельнице. Кто был вчера просто человеком-обывателем, тот, услышав ее игру сегодня, стал сломанным пополам. И из каждого нерва, из каждой мышцы, из каждой поры мозговой ткани торчат вопросы, как иглы ежа. От ее музыки весь человек поднят, как целина. В нем обнажается дух, тлевший под покровом каких-то обветшалых представлений, которые он начинает понимать как давящие его, предвзятые и предрассудочные мысли и понятия. После этой игры человек выходит в какую-то иную, несвойственную ему раньше атмосферу.

Трагедия переоценки всего в себе совершается под ударами ее звуков. Они, если хотите, божественны, но несет их ангел печали, скорби и смерти. Нет радости ни в ней, ни в ее божественной красоте, ни в ее гениальной музыке. Анну нельзя не признать существом высшего порядка, но встреча с ней, хоть и незабвенна, все же встреча трагедии. Это эпоха, это веха для жизни человека. И долго надо заживлять раны слабому и не готовому к испытанию человеку. И... весь изменяется человек сильный, начиная применять свою энергию по-другому. Всякий, встретившийся с Анной, обречен умереть в той стадии духа, в какой он жил до тех пор. Сильный победит смерть и начнет жить в более светлой атмосфере. Но слабый будет в ужасе вспоминать о встрече и сожалеть о потерянном рае обывательского спокойствия и счастья, но, увы, вернуться к нему никогда не сможет. Анна — это удар молота, это потрясение: встает вопрос, что ты сделал для жизни? Но это не сама жизнь, не ее прославление. Это черный бриллиант печали, а не розовый, сияющий

радостью. Не знаю, понятно ли вам то, что я говорю. Подобные впечатления так трудно передавать. Кто испытал такую встречу сам — для того я слишком много сказал. А кто только умом слушает меня, для того мой образный рассказ не больше иного фантастического представления.

Ваша же игра, леди Алиса, захватывающая не менее звуков Анны, делает человека счастливым, радостным, уверенным. В ней благоговейное прославление жизни, любви. В ней свет, в ней зов к творчеству. В ней то, о чем так часто говорит доктор И.: «Нет серого дня, есть сияющий храм, который строит сам человек в своем трудовом дне».

Я приношу вам глубокую благодарность за счастье и радость, которыми вы меня наполнили. Чем-то, каким-то духовным сходством вы напомнили мне мою невесту в те моменты, когда она берет скрипку в руки. Не будучи хороша собой вообще, она преображается и становится прекрасной, когда играет или поет. И звуки ее — тоже зов счастья жить. Вы забываете обо всем, когда она играет, кроме текущей минуты блаженства и благодарности за жизнь, как и в вашей игре.

Увлеченный разговором, капитан не заметил, как возвратился Флорентиец и встал у него за спиной и как сидевшие в отдалении Николай, Сандра, Амедей и Тендль подошли к маленькой их группе. Для мистера Тендля слова капитана были точно факелом. Он внезапно понял все счастье, всю важность своей встречи с лордом Бенедиктом и его семьей. В его жизнь, обычную жизнь светского лондонца, ворвалась бомба, начиненная таким свежим и новым воздухом, какого он не предполагал существующим так близко от него.

— Иная жизнь, капитан, — раздался голос Флорентийца, — всегда уже давно живет в самом человеке, раньше чем он получает, тем или иным путем, зов или, как вы выражаетесь, удар Жизни. Нет ни одного случая, где бы этот удар Жизни шел впустую, как жестокое и ненужное страдание человеку. Жизнь, Великая мировая Жизнь, не знает ни жестокости, ни наказания. Ее законы милосердия и помощи все проходят по единственному закону вселенной: причин и следствий. Людям кажется, что в их жизнь ворвалась жестокость. Умирающий от голода считает себя несчастным, обиженным и угнетенным жизнью. А сам не помнит, как заморил голодом целую семью, имея когда-то и где-то все возможности протянуть им руку спасения.

Нет ударов как таковых, как нет убийства и бессмысленной смерти. Умирает каждый человек только тогда, когда дух его или перерос все те возможности творчества, которые были в его телесном организме, или когда весь его организм обвился закостенелыми страстями жадности, зависти, ревности, отрицания и предрассудков себялюбия. И духу его больше не остается возможности вырваться хоть из какой-либо щели в доброжелательство, разрезав свои страсти.

Все, что люди привыкли звать чудесами, чудесными встречами и спасениями, — все только собственное творчество в целом ряде вековых воплощений и трудов. У человека в каждое его земное воплощение так мало времени! Нет возможности, сохраняя здравый смысл земли, зная быстротечность ее меняющихся форм, терять мгновения в пустоте, в отсутствии творчества сердца, в мелочах быта и его предрассудках.

Нельзя жить и ждать, что суеверное представление о каком-то провидении само позаботится о решении судьбы человека и повернет руль его жизни в ту или иную сторону. А человек будет только подбирать зерна падающего ему с неба милосердия. Все милосердие, которое *может* войти в судьбу человека, это труд *его самого*. Его труд в веках, труд в единении с великими и малыми людьми, труд любви и благородства.

Честь человека, его честность, доброта и красота, которые *он* пробудил и подал в сердце встречных, а не ждал, чтобы их *ему* кто-то принес, — вот вековой труд человеческого пути, пути живого неба и живой земли. Не в далекое небо должен улетать человек, чтобы там глотнуть красоты и отдохнуть от грязи земли. Но на грязную, потную и печальную землю *он* должен пролить каплю своей творческой доброжелательности. И тогда в его труд земли непременно сойдет Мудрость живого неба, и он услышит его зов.

Тот, кто принес земле клочок своей песни торжествующей любви, из своего обагренного страданием сердца благословил свой день, тот войдет в новую атмосферу сил и знаний, где ясно увидит, что нет чудес, а есть только та или иная ступень знания.

Мягко и нежно, как ласкающая рука матери, звучал голос Флорентийца. Его прекрасное лицо казалось видением в свете мерцающих свечей и пробивавшихся лучей луны. Капитан, неотрывно глядевший на это лицо, был поглощен всецело воспоминанием о своем видении в Константинополе. Алиса снова точно переродилась, и в глазах ее сверкала такая воля, что мистер Тендль не мог в себя прийти от изумления, случайно взглянув в это новое и незнакомое ему лицо. Только у Наль и Николая были лица простые и радостные, такие радостные и светлые, точно слова Флорентийца говорили им не то, что слышали остальные, но что-то привычное им, что составляло их постоянную внутреннюю жизнь простого дня. Проводив всех своих гостей и пожелав им покойной ночи, Флорентиец вернулся в кабинет и опустился в задумчивости в кресло у открытого окна, как бы кого-то поджидая. И действительно, через некоторое время под окном остановилась стройная женская фигура, молча ожидая зова.

— Войди, Дория, я давно знаю, что ты бродишь по саду, ждешь и томишься. И если я тебя не звал, то только потому, что ты сама должна была решить свои вопросы, и я ничем не могу тебе в них помочь. Теперь ты решила все сама, отбросив суеверие, что кто-то со стороны, я или другой, могут решать и действовать за тебя. Войди же, поговорим, друг.

Войдя в комнату, Дория села в низенькое кресло у ног Флорентийца и тихо сказала:

— Как трудно мне было решить мои вопросы, дорогой Учитель и друг! Среди всех забот дня все эти годы разлуки с Анандой мысль о нем не покидала меня ни на минуту. Когда я жила подле него, мне казалось, что все так легко решается. И когда Ананда говорил мне: «Подумайте, Дория, раньше чем поступить, чтобы не упрекнуть себя в легкомыслии», — мне казалось даже странным думать о вопросах, ясных мне как день. Теперь же все прежде ясные как день вопросы остались мне такими же ясными. Но требования мои к себе возросли так, что на каждый из них я долго не имею мужества ответить, потому что в каждом из них — мне стало ясно, — как мало я сделала, как много надо сделать! И в какую бы сторону я ни поглядела, всюду вижу, как мои же качества мешают мне встать рядом с теми людьми, кто для меня идеал, святыня и единственный путь в жизни.

— Напрасно ты так угнетаешь себя, друг мой Дория, мыслями о собственной малости, недостоинстве и пр. Видишь ли, если ты хорошенько разберешься и здесь в своих чувствах, то увидишь, что они тебе ни в чем не помогли. Корень их — как это ни кажется странным, — все же гордость. Истинное смирение ничего общего с разъеданием себя не имеет. Истинно смиренный так ясно понимает свое место во вселенной. Он так свободен внутри, что никакие сравнения с чужой жизнью, с ее величием или малостью ему и в голову не приходят. Он просто идет данное текущее мгновение, не вовлекаясь в сложность и замысловатость дел, которых не понимает и не видит ясно до конца. Только тот и идет по своему творческому дню верно, кто не умствует, а действует так, как его минута дел и встреч раскрывает его сердце и вызывает его доброту к действию просто, легко, весело.

Не страдай, стараясь решить принципиально, как тебе жить, чтобы вновь встретить Ананду. Ты отдай себе отчет в другом: я ставил тебе несколько задач и давал дела и поручения. Упрекнул ли я тебя хоть раз за недостаток усердия? Я давал тебе обдумывать сложные проблемы, решить их самой, но я не предлагал тебе залезать на вершину лестницы по гнилым ступеням. А если ты строишь свой завтрашний день на слезах, сомнениях и скорби сегодняшнего, то ты никогда его не построишь на цельных и прочных ступенях. Только прожив день всей полнотой чувств и мыслей, можно попасть завтра в атмосферу полноценного существования. День же, *строящий* эту атмосферу, это день, прожитый легко, радостно, без мусора слез и скорби, вызванных всегда землей, одной землей, в забвении живого неба. Кроме того, не забывай, что чем больше совершенствуется человек, чем выше он может видеть и сознавать духовное творчество людей, тем яснее он понимает беспредельность совершенства. Но это его не угнетает, а только бодрит, заставляет гореть и мчаться там, где другой — с понятиями мелкой плоскости — останавливается в раздумье, медля и хныкая.

Проходя все это последнее время в роли слуги Наль и Алисы, ты ни разу не споткнулась о зависть, о гордость. Ничто из мелкого тебя не тревожило, и ни одной недоброжелательной мысли не вылилось из тебя. Даже ежеминутное благоговейное воспоминание об Ананде не носило горечи. Разлуку, и ту ты благословляла, потому что поняла, как многому ты научилась, потеряв своего великого друга. Почему же теперь, уже более трех недель назад получив мое распоряжение присоединиться ко всему обществу как равноправный член моей семьи, ты медлишь? Почему на твои глаза набегают слезы, на сердце лежит тяжесть, и в сознании гудит пчелиный рой жалящих мыслей?

Флорентиец нежно гладил по голове Дорию, точно вливая в нее тот особый покой и уверенность, которые испытывал каждый в своем общении с ним. Долго молчала Дория и, наконец, подняв свою склоненную голову, посмотрела в глаза Флорентийцу и просто, легко сказала:

— Я все это время понимала, что действую опять не так. Я ждала, считая, что у меня внутри что-то еще не готово, не так еще ясно и крепко. Ждала, чтобы созрело. Сию минуту я совершенно ясно поняла, что и в этом была неправа, потому что сосредоточилась мыслями на себе, а не на той задаче, что была мне дана. Какое-то стеснение, какая-то тревога меня мучили. Мне все казалось, что Ананда должен приехать, что каждую минуту он может войти, и мне было страшно этой встречи, хотелось бежать...

Давно умолк голос Дории, а рука Флорентийца все лежала на ее голове.

— Если бы ты уже могла до конца понимать дела и встречи, ты не ждала бы какого-то созревания в себе, а немедленно принялась бы за дело, какое я указал тебе, стараясь внести в него всю доброту и усердие. Ананда действительно едет и скоро, очень скоро будет здесь. Для твоей с ним встречи не важно было, найдет ли он тебя в роли слуги или леди. Было *тебе* важно встретить других людей, быть им полезной, потому что между тобой и ими лежит нелегкая карма. Ты и Генри, а еще больше — ты и Тендль, — все вековые костры, очень враждебные. И тем, что они не встретили тебя сразу, как члена моей семьи, ты задержала их на пути погашения их вековой злобы. С завтрашнего же дня ты выйдешь в столовую, раз навсегда забыв роль слуги где бы то ни было. А в понедельник утром вместе с капитаном Джемсом Ретедли ты поедешь к матери Генри в Лондон. Ты отвезешь ей мое письмо, купишь ей элегантное платье, пальто, белье и шляпу и привезешь ее сюда гостить.

Ни ей, ни тебе знать больше ничего не надо. Но если выполнишь этот урок блестяще — заплатишь Генри за скорбь, огромную скорбь, причиненную ему тобой когда-то в веках. Не удивляйся, если заметишь в нем враждебность к тебе. То отклики старой вражды

проснутся в нем, которые ты теперь можешь покрыть своей любовью. Радуйся этой встрече.

Отправив просветленную, тихую и счастливую Дорию спать, Флорентиец подошел к стене, отдернул парчовый занавес и остановился перед портретами, к которым подводил капитана Джемса. Через несколько минут над тем местом картины, где был нарисован портрет Ананды, засветилось большое пятно, точно круглое светлое окно. Быстро, как ряд молний, замелькали в нем всевозможных цветов линии, кубики, треугольники, точки, шары и другие огненные фигуры. То были мысли, которыми обменялись Ананда и Флорентиец, мысли, летевшие в эфир, не нуждаясь в ином телеграфе, кроме собственных воли и знаний самоотверженной любви, летевших для помощи людям и их спасения. Улыбнувшись светившемуся образу Ананды, отдав глубокий поклон куда-то вдаль, Флорентиец задернул занавес над снова ставшей темной картиной и прошел в свою спальню, куда никто, кроме его старого слуги и теперь еще Артура, никогда не входил...

Дни мелькнули для капитана Джемса с такой быстротой, что, когда вечером в воскресенье лорд Бенедикт попросил его подвезти на своей лошади в Лондон Дорию в довольно отдаленную часть города, он точно с неба свалился, насмешив всех вопросом, какой же завтра день. На все уверения, что завтра понедельник, что именно завтра он встретит свою невесту, капитан разводил руками и уверял, что пятница и суббота провалились на этой неделе. Для Генри дни летели не так быстро, и жизнь точно ставила ему на каждом шагу препятствия. Вспоминая в своем одиночестве после обморока Алису, ее ласковость, красоту, необычайное сходство с матерью, Генри решил сблизиться с девушкой насколько возможно. Он чувствовал в ней искреннего друга и хотел рассказать ей историю своего печального разрыва с Анандой. Он думал, что она даст ему верный совет или, по крайней мере, скажет ему, можно ли обратиться к лорду Бенедикту с целым рядом просьб и вопросов. Настроенный на этот лад, Генри уже ничего и никого не видел, все его мысли сосредоточились на Алисе. Он шел вниз, уверенный, что Алиса будет одна, что он попросит ее уделить ему время для разговора. Спускаясь с лестницы, Генри увидел, как девушка прошла одна на террасу. Сердце его забилось сильно, он поспешил туда же, но разочарование его было тем сильнее, чем напряженнее он жаждал немедленно привести в исполнение свое решение. Генри ни на миг не думал о самой Алисе, об ее дне и делах, он знал только, что ему надо получить помощь сию минуту. Все его эгоистические желания разлетелись в прах, потому что рядом с Алисой сидело новое лицо, которого Генри еще ни разу не видел.

— Позвольте вас представить еще одной дочери лорда Бенедикта, — сказала Алиса, поздоровавшись с Генри и представляя его Дории.

Довольно кисло поздоровавшись с обеими женщинами, Генри сразу же почувствовал враждебность к Дории, нарушившей его план. Ее красивые темные и проницательные глаза, мелкие белые зубы, даже ее приветливость, как и вся ее красота, — все было неприятно Генри, все вызывало раздражение и даже злобу. Не особенно вежливо отвечая Дории на ее вежливые вопросы, Генри сам себя с удивлением спрашивал, почему он так злится и раздражается на эту бесспорно красивую и любезную женщину. Какой-то род ревности, точно недовольство лордом Бенедиктом, что у него такая большая семья, что все эти люди здесь «дома», а он — пришелец-гость, которому каждую минуту могут предложить вернуться в Лондон, так как комната нужна другому гостю, шевелился где-то в глубине.

— Что, друг Генри, ты все еще не можешь сбросить с себя непрошеную гостью — болезнь? — раздался за его стулом голос Флорентийца.

От внезапности вопроса, от прозвучавшего во фразе слова «гость», которое бурлило в его душе, от появления хозяина дома за его спиной Генри вскочил, задел чашку и пролил весь кофе. Окончательно переконфуженный, облив жидкостью свой новый костюм, Генри стоял в полной растерянности, когда вошли Наль и Николай. Готовый заплакать от застенчивости и замешательства, Генри увидел подле себя Дорию с мокрой салфеткой, которая удивительно ловко вытерла его костюм и, смеясь, сказала Флорентийцу:

— К вам, лорд Бенедикт, должен быть предъявлен от мистера Оберсвоуда счет за испорченное платье. Ну можно ли входить так легко и иметь такую неслышную походку? Вы и меня-то перепугали, не то что человека, который еще не совсем здоров.

— Прости, Генри, Дория права. Ты не привык еще, что все гости в моем доме — у себя дома и не могут стесняться или раздражаться от моих привычек сразу появляться среди них. Не огорчайся пролитой чашкой в чужом доме. Ты здесь не гость, а самый милый и желанный друг. Ты член семьи. Поскольку все мы гости на земле, отгостим здесь и уходим, постольку и ты в моем доме гость. Но поскольку всех нас связывает счастье жить на общее благо, постольку мы родственные члены одной семьи. И суть вовсе не в том, кто из нас хозяин и кто гость. А в том, чтобы все мы, считая друг друга братьями, несли доброту каждому встреченному сердцу, а не раздражались, что кто-то ближе или дальше, ниже или выше.

Какое значение и смысл может иметь жизнь человека для вселенной, если проблему индивидуального совершенствования человек решает только в разрезе личного быта, наград, славы и почестей? Твоя мать, Генри, о которой ты мне говорил как о копии Алисы, по всей вероятности, ни разу в жизни не пролила ни капли яду в чье-либо существование. Ее портрет мне ясен, я его хорошо вижу. А твой отец? Кто он был?

Генри, понявший, что Флорентиец прочел все его мысли, его раздражение и враждебность, никак не мог прийти в себя и сидел, потупя глаза перед новой дымившейся чашкой кофе, что перед ним поставила Дория.

— Отец? — пробормотал Генри. — Я не знаю его и никогда не знал. Мать мне о нем сказала, что он умер до моего рождения.

— А семьи у твоей матери тоже не было? — продолжал спрашивать хозяин совершенно смущенного Генри.

— У нее семья была, и, кажется, очень богатая. Но отец ее, мой дед, был очень крутого нрава человек. Он приказывал ей выйти замуж за другого и не признавал моего отца. Знаю только, что брак матери заставил ее покинуть родной дом и скрыться. Но как-то мама мне никогда не говорила о семье, а я не спрашивал.

— И никогда не говорила тебе мать о своем брате?

— О брате — в раннем детстве, особенно, когда пела мне ту песню, что запела вчера леди Алиса, — она мне говорила. Говорила, что он дивно пел, что оба они часто певали дуэты и мечтали учиться петь. Маме хотелось, чтобы я нашел дядю, когда она умрет, и сказал ему, что на всю жизнь он оставался ее единственной привязанностью, которой она до смерти была верна. Но время шло, я учился, мама старела и менялась, и разговоры о дяде давно прекратились.

Флорентиец задумался. Вся его фигура на миг точно застыла, и все сидевшие за столом замерли, боясь прервать его молчание. Глубоко вздохнув, Флорентиец посмотрел на Алису, перевел глаза на Генри и тихо сказал:

— Различные бывают встречи. Бывают встречи счастливые. Но встречи, развязывающие сразу десятки карм, так же редки, как темные индийские изумруды. Эти встречи долго готовятся в веках. И каждый человек, попадающий в такое кольцо встреч, должен особенно тщательно следить за собой, чтобы ни малейшего доступа злой силе не открыть через себя. Берегись, Генри, раздражения. Берегись его особенно сейчас и чаще вспоминай мать, все принесшую тебе в жертву.

Ты, Алиса, в дружеской шутке назвала Генри братом. Будь же эти дни подле него и помогай ему не зализывать свои раны, а раскрывать новый талант восприятия человека и жизни как векового пути. В эти именно дни многое должно совершиться в вашей жизни. Старайтесь все прожить именно эти дни в мире и полном доверии друг к другу.

Всем, в особенности Генри, слова Флорентийца показались загадочными. Один незаметно вошедший капитан Джемс оставался совершенно спокойным, точно от человека его мечтаний он ничего не особенного и не загадочного и ждать не мог. По окончании завтрака Алиса предложила Генри и Дории небольшую прогулку, и Генри стоило большого труда победить в себе недоброжелательство и пойти, куда его звали. Взгляд Флорентийца и его улыбка показали Генри, что он снова был вывернут мыслями наизнанку. Капитана лорд Бенедикт увел в свой кабинет.

— Садитесь, Джемс, теперь я человек ваших мечтаний, Флорентиец, как вы и можете меня звать.

— Счастью моему в эту минуту нет предела. Но звать вас Флорентийцем, именем столь для меня священным, я не смею. Чем я заслужил такое неслыханное счастье — встретить вас, быть в вашем доме, говорить с вами, — я не знаю. Я сознаю, как я мал, как обычно обывательски текла моя жизнь до встречи с доктором И., как я ничего не понимал в смысле жизни, перспективы которой не подымались для меня выше плоскости земли и личных исканий на ней.

Правда, меня всегда томила бездельная жизнь окружавшей меня с детства среды. Я выбрал себе путь моряка не только потому, что любил море. Но мне казалось, что по свойственным мне качествам энергии я могу здесь приносить максимальную пользу своей родине. Всюду меня преследовала неудовлетворенность, я постоянно чего-то искал, где бы я мог найти приложение порывам своего самоотвержения и благородства. И только встретив доктора И. и Левушку, увидев сэра Уоми и Ананду, я понял, что такое человек, каковы должны быть его задачи и чего может он достичь в своих клетках из плоти и крови, если введет в них дух и свет. Точно удар грома, расколола меня встреча с Анандой, но как дивная гармония, сила успокоения и мира, собрало меня вновь в монолитную массу мое видение во время музыки, когда я увидел вас. Я почувствовал в себе такую силу, такое спокойствие уверенности и счастья, что сам себе сказал: я найду человека моих мечтаний. Я побеждал умом, теперь приду к победе любовью. Но я не надеялся, не смел мечтать, что так скоро совершится счастье встречи, до которой я не дорос, сознаю себя пигмеем и жажду только учиться жить подле вас.

— Быстрота исполнения наших заветных желаний — это не карма, мой друг. Самая встреча людей — это всегда кармический зов. Но время, место, интенсивность восприятия встречи и ее влияние на жизнь человека — это конгломерат неповторимых качеств самого человека, его такта, энергии и приспособляемости. Если бы вы не сгорели в Константинополе в одну ночь, наша встреча не могла бы состояться так скоро. Для каждого человека положена своя мера вещей. И только те подходят к Учителю в одно воплощение так, чтобы общаться с ним непосредственно самому, кто выполнил меру своих вещей, то есть кто разрушил в себе прежние представления о жизни вообще и о быте одной земли.

Пока человек полагается на чьи-то помощь и связи, пока ищет решения своих вопросов в советах более сильных по положению, он не может выскочить из орбиты скрепляющих его предрассудков, которые все держат его балансирующим между собственным тяготением к высшему миру красоты и благополучием земного быта. Кто и как проходит день, по какой орбите мчит земля человека — это не только один труд веков, это еще и весь опыт данного воплощения. Вы скоро женитесь, и женитесь по любви. Если бы вы не встретили И., если бы не двинул вас Ананда с такой сверхъестественной силой, что все в вас перевернулось вверх дном, — вы бы и остались холостым человеком, не войдя в жизнь как ячейка семьи. Создавая свою семью, помните те заветы, что я сейчас вам скажу.

Жена. Никогда и ни в чем не подавляйте ее волю, ее вкусы, ее стремления. Если будете видеть, что вкусы и склонности ее в чем-либо вульгарны, показывайте ей красоту. Но так, чтобы она никогда не заметила, что вы ее учите. Если вы сумеете раскрыть ей глаза на прекрасное, она сама изменится. Но если будете назойливо предлагать и убеждать, то в ней красота не раскроется, и в жизнь она ее внести не сможет, как бы настойчивы ни были ваши убеждения и доказательства.

Ни в какой мере не позволяйте себе вмешиваться в ее искусство, в ее творчество. Предоставляйте ей полную свободу, критикуя искренно, если спрашивают, но не позволяя себе давить, тушить порывы, если, по вашему мнению, они мало тактичны и мало соответственны быту того общества, в котором вы живете. Не талант для общества, а общество для таланта. Талант же для всей Жизни. Те, что слушают, могут подниматься от игры и таланта вашей жены только в те моменты, когда ее талант горит. А жить обывательски могут всегда. Пусть они приспосабливаются к ней, а не она к ним. Поддерживайте ее всячески, если бы даже ваш дом стали считать «оригинальным», что в Англии не похвала.

Если бы у вашей жены оказалось мало воли и с рождением детей она жаждала бы забросить искусство, если бы перед ней встала дилемма: дети или искусство? Если бы в ее мыслях, чувствах, поступках превалировала мать над художницей — разъясните ей все значение искусства в воспитании младенческой души и всей жизни детей.

Каждая семья строится заботами огромного числа невидимых вам тружеников и помощников. И те семьи, где главным элементом жизни является искусство, — всегда ячейки высшие, откуда выходят творческие силы, приближающиеся к Учителю. Если бы у вас лично не было ни одного талантливого ребенка, то у ваших внуков, рожденных от развитых и чутких к искусству ваших детей, уже будет та атмосфера гармонии, в которой они смогут развить свой талант. И в частности, у вас оно так и будет. Вы приведете ко мне вашего младшего внука и среднюю внучку — два больших таланта. В вашей жене они найдут начала новой связи, к которой ваши дети будут еще не готовы. Но ваша жена будет много страдать от чрезмерно страстной любви к детям. Такт и ваша любовь помогут вам объяснить ей, что вся любовь матери должна быть творческой энергией, очень спокойной, чтобы не давить детей, не быть им тяжелой и чтобы они могли расти, в полной мере развивая свой дух и способности.

Преданность матери, видящей подвиг в отказе от той или иной степени в искусстве ради детей, доказывает только неполноценность таланта человека как слуги своего народа, как слуги Жизни, давшей ему каплю своего вечного огня. Борьба в вопросах воспитания детей в вашем доме недопустима. Так же недопустима, как и течение по воле волн, ведущее детей по шаблонной линии обычного английского быта. Самое бдительное внимание и вы и ваша жена должны обратить на складывающиеся отношения между вашими детьми и их окружающими. Никакой замкнутости, никакой отъединенности от других детей. Приучайте их к общению со всеми прочими детьми. Создайте им жизнь так, чтобы в ней

никогда не было суеты и чтобы в их сознании навсегда легла любовь к человеку, необходимость связи с большим количеством людей.

Лучшими уроками воспитания бывают те дни, когда дети встречают разнообразие характеров среди себе подобных. Но чтобы ребенок рос в бдительном внимании ко всему окружающему — его надо учить этому с первых же сознательных дней. Развивайте внимание своих детей параллельно своей выдержке. Не забывайте, что дети, родившиеся

у вас, не только плоды плоти и крови, принадлежащие вам. Но это те драгоценные чаши, которые Жизнь дала вам на хранение, улучшение и развитие в них *их* творческого Огня. Не прилепляйтесь к ним, как улитка к раковине. Всегда думайте, что в вашем доме им пожить и отгостить суждено какое-то время только для того, чтобы созреть к собственной жизни. Ваша же жизнь ценна миру постольку, поскольку вы сумели вскрыть ее самодовлеющую красоту, не повышающуюся и не понижающуюся от внешних или внутренних связей земли.

Создавая семью, вступайте в нее освобожденным от предрассудков предвзятого устройства закрытой ячейки, где варятся в бульоне собственности те или иные качества людей. Напротив, разрушайте перегородки между собой и людьми, привлекайте встречных красотой, которую они стесняются обнаруживать в себе.

Дети не только цветы земли. Они еще и дары *ваши* всей вселенной. Через них вы, как все родители, или помогаете возвышаться человечеству, или остаетесь инертной массой, тем месивом, из которого, как из перегнившего леса, родятся через тысячи лет уголь и алмаз.

В данную минуту в сердце вашей невесты клокочет буря. Вас пугает иногда ее темперамент. Но темперамент у таланта такая же необходимость, как пар у машины. С огромным тактом, нежностью и вниманием старайтесь всегда переводить излишек ее темперамента на ее искусство.

Я очень хотел бы, чтобы вы привезли вашу невесту в мой дом. На будущей неделе мы все переедем в Лондон. Туда я жду Ананду. Я буду ждать вас и вашу невесту к себе завтракать в понедельник в двенадцать часов. Что же касается знакомства со стариками, то предоставьте это мне. В моем и моих дочерей ответном визите вам и вашей невесте я сам устрою все так, как будет лучше и удобнее графам Р. Не будем заглядывать вперед. Я вижу, что вас беспокоит еще и желание стариков ехать за вами и дочерью, а вам этого не хочется. Думаю, что и в этом я вам помогу.

Поговорив еще с капитаном о его делах и некоторых особенностях его личной жизни, Флорентиец отпустил его радостным и спокойным и присел к столу, читая какое-то письмо. Через некоторое время у окна мелькнула фигура Тендля и раздался его голос:

— Простите, лорд Бенедикт, я три раза все слышу ваш голос, точно вы зовете меня. Дважды я сходил вниз, мне казалось, что голос идет из вашей комнаты, и дважды я возвращался, не смея нарушить тишины. Тогда я решился подойти к окну, в котором увидел свет. Простите, что я помешал вам.

— Я как раз звал вас, Тендль, и собирался уже рассердиться, что вы так долго не понимаете моего призыва. Ну, давайте руку, англичанин-спортсмен, и прыгайте.

Счастливо смеясь, Тендль схватил руку Флорентийца, железную силу которой уже знал, и прыгнул в высокое окно.

— И подумать только, — счастливо смеясь, говорил Тендль, — я так ясно слышал ваш голос и все же боялся ошибиться.

— Я очень рад, что вы не заставили меня подниматься за вами. И раз уж вы здесь, мой дорогой Тендль, я объясню вам, зачем я так настойчиво вас звал. Признаюсь, поручение будет вам не из приятных, и, чтобы его выполнить точно и успешно, вам придется опять превратиться в моего капитана.

— Есть, адмирал, превратиться в капитана. Я весь внимание и слух, а уж как счастлив служить вам, лорд Бенедикт, о том и говорить не решаюсь.

— Вы хорошо знаете завещание пастора и помните, конечно, один из пунктов, приведших Дженни и пасторшу в особенную ярость. Там говорится, что большой капитал, лежащий отдельно в банке, принадлежит сестре пастора Цецилии, ушедшей в юности из дома и скрывшейся под именем Цецилии Оберсвоуд. Пастору удалось установить это имя, и несколько раз он нападал на ее след, но каждый раз она скрывалась еще тщательнее. Так он и умер, не отыскав ее.

— Но ведь Дженни мне говорила, что этой личности никогда не существовало. Что это была жестокая выдумка ее отца, чтобы лишить ее и, главным образом, мать возможности жить беззаботно, не трудясь.

— Насколько истинны слова Дженни, вы сами убедитесь. В пятницу следующей недели истекает законный срок, когда пасторша может требовать проценты с капитала Цецилии Оберсвоуд, завещанные ей, если сама владелица или ее наследники не заявят своих прав. Я отыскал Цецилию Оберсвоуд, и это не кто иной...

— Мать Генри! — вскакивая со стула, в огромном возбуждении вскричал Тендль.

— Вы угадали, Тендль.

— Бог мой, глядя на ее прекрасное лицо, форму рук, воздушную фигурку, я все время думал, кого она мне напоминает так сильно. Сейчас только повязка упала с глаз — ведь это Алиса в старости.

— И опять вы не ошиблись, Тендль. Это родная тетка Алисы и Дженни, та сестра, которую так усердно искал пастор. Теперь к делу. Вы отвезете завтра мое письмо вашему дяде, где я прошу его известить формально леди Катарину, что сестра ее мужа, которой принадлежит капитал, отыскана. И потому проценты, которые она уже просит ей выплатить, ей не принадлежат. Горькую чашу придется выпить вам, Тендль, от обеих женщин. Поскольку я знаю, мать и дочь, узнав, что вы богаты, решили женить вас на Дженни. И письма девушки, призывающие вас к ним, случайно не попали в ваши руки. Путешествуя из конторы в вашу квартиру и каждый раз натыкаясь на ваше отсутствие, они все же попадут к вам сразу целой пачкой.

— Очень тяжело, лорд Бенедикт, но ваше поручение будет выполнено. Тяжело не оно, а воспоминание о том разочаровании, что я пережил из-за Дженни. Теперь уже нет раны в моем сердце. Лично я больше не задет. Но боль за нее, стыд и горечь за собственное бессилие ей помочь увидеть жизнь и людей по-иному гложет меня.

— Не печальтесь, мой капитан. Если бы была малейшая возможность вытащить Дженни, она была бы здесь. Я все сделал для этого, как обещал ее отцу. Дело сейчас только в том, чтобы оберечь Дженни от окончательного падения, куда ее тащит несчастная мать. Можете ли дать слово, слово капитана своему адмиралу, выполнить точно все мои распоряжения, нигде не превысив данных вам полномочий, нигде от них не отступив?

Выполнить все мои поручения так, как будто вы дали мне обет беспрекословного повиновения?

— Конечно, могу. Мне очень прискорбно, что вам пришлось задать мне этот вопрос. Значит, я не сумел достаточно ясно открыть вам всей преданности сердца. Вся ваша жизнь, которую я имел счастье наблюдать, полна такого превосходства над всем окружающим, такой мудрости и понимания, что ни одному человеку и не снилось равняться с вами. Я точно знаю, что там, где будет приказано вами поступить так или иначе, — я могу увидеть и понять только частицу дела. Будьте покойны, я буду точен, лорд Бенедикт, не только из преданности вам. Но и из сознания, что ваш приказ — счастье людей, хотя бы внешне кому-то казалось иначе.

— Спасибо, Тендль. Итак, вот письмо дяде. Дядя даст вам официальную выписку из завещания, и возьмите вот эти документы. Здесь метрика Цецилии Уодсворд. Вот ее брачное свидетельство. Вот свидетельство смерти ее мужа Ричарда Ретедли, лорда Оберсвоуда. Лично вам пусть будет известно, что Ричард Ретедли родной брат гостящего у меня в данное время капитана Джемса Ретедли. Но ему и в голову не приходит, что Генри и Алиса — его родные племянники. Все эти документы, как и выписку с письмом от дяди, вы доставите в пасторский дом. Но так как пасторша и Дженни, будучи внутренне совершенно уверены в истине всего, что вы им скажете, все же сделают вид, что ничему не верят, кроме моего шарлатанства, и пожелают судиться со мной, то вам придется привезти их к дяде в контору, где буду я со всеми необходимыми свидетелями, вплоть до капитана Джемса Ретедли, лорда Оберсвоуда.

Дав еще кое-какие указания мистеру Тендлю, лорд Бенедикт просил его хранить до времени в полной тайне все его поручения.

Тендль еще раз горячо заверил его в своем полном внимании к его делу, радостно пожал протянутую ему руку, поблагодарил за гостеприимство и вдруг, по-детски заливаясь смехом, сказал:

— Я так и буду ходить по делам с вашей рукой. Я уверен, что мне все будет легко удаваться, как только я буду воображать, что держу вашу руку в своей.

Глава 12

Дория, капитан и мистер Тендль в Лондоне

Рано утром в понедельник, провожаемые всеми обитателями дома, Дория, капитан Джемс и мистер Тендль уехали в Лондон. Незадолго до их отъезда лорд Бенедикт говорил о чем-то с капитаном Ретедли, который показался всегда и все видевшей Алисе пораженным до чрезвычайности. Джемс Ретедли не задал хозяину ни одного вопроса, но Алиса перехватила его пристальный взгляд на Генри и на нее самое. Ей даже показалось, что, пожимая ее руку и поднося ее к губам на прощание, капитан особенно сердечно посмотрел на нее. И не менее сердечно, даже горячо, он обнял Генри, что — при самообладании капитана — показалось ей тоже необычайным.

— Не забудьте, я жду вас с вашей невестой в понедельник в свой лондонский дом завтракать, — были последние слова Флорентийца, когда уже трогался экипаж.

— Отец, неужели настал конец нашей волшебной жизни здесь? — спросила Наль.

— Зачем же огорчаться, друзья мои, здесь мы трудились для тех новых целей и дел, которые встретятся нам в Лондоне. ***Человек, если он хочет двигаться вперед, должен трудиться над самим собой прежде всего***. Подняв в себе дух выше и чище, он имеет новый запас сил, чтобы передать свою доброту встречаемым людям. Каждый из вас в этом тихом и гармоничном углу поднялся в своем самообладании. Увидел по-новому свои ошибки и понял, как он много растратил своих сил в прошлом тупике духа на страх, сомнения, боль и слезы, вместо того чтобы сразу протянуть из себя в мир — как мост к победе — ленту света, мира и любви из своего сердца навстречу дню.

Нельзя ничего достигнуть в жизни, если не приготовить свой дух и, соответственно ему, организм к основному величию: принимай все свои обстоятельства, что расцветающий день тебе несет, благословляя их. ***Величие духа человека начинается с полного спокойствия и самообладания***. Чтобы *мог* весь человек зазвучать как частица творящей вселенной, надо, чтобы он сам ощутил себя гармоничным целым не минутами, а чтобы в его сознание вошли глубоко *знание* и опыт, что все *его* творчество может двигаться в нем и двигать его во всем творчестве вселенной только тогда, когда *он* — гармоничное целое. Путь к этому высшему знанию всей вселенной в себе и себя в ней идет только через самый *простой* день, через *труд* в нем.

Радостно трудясь над воспитанием себя, над своей выдержкой, каждый человек решает не только единственно свою задачу, но развязывает или завязывает, помогает или ухудшает жизнь целых колец людей, хотя чаще всего он их не видит и даже не сознает всей той важности сил, которые *он* вылил из себя в день.

Каждый из вас уже давно понял преступность извержения из себя в мир бунта страстей и горечи слез. Каждый из вас понял, что способ единения с людьми в данном месте и времени — это вовсе не личная проблема собственного самоусовершенствования, а сила,

строящая *всю* жизнь, *сила* не дремлющая, как болотная вода, в данном месте, но *летящая* во всю вселенную, тревожащая или покоящая всю мировую жизнь.

Когда приходит то, что люди зовут несчастьем, надо крепко держать стяг *вечности* в руке и помнить, что все несправедливости, на которые жалуешься, все только явления собственного духа. Если сейчас не сумеешь победить *любя* вставшего препятствия, если будешь оценивать его не как *собственного* пути звено, а как заботу людей, людей таких, по твоему мнению, плохих, что надо думать об их деятельности как об искажении твоего счастья ими извне, счастья, которое тоже понимаешь на свой вкус и лад, желая, чтобы ни тебя, ни твоих близких не тревожили, и не сознаешь в себе высших сил для спокойной борьбы, — дни жизни потеряны. И снова где-то и когда-то все начинай сначала.

Вся группа людей, собравшаяся вокруг Флорентийца, слушала его в глубоком молчании. Но насколько светлели лица Николая и Наль, Алисы и Амедея, настолько же скорбными становились лица Сандры и Генри. Казалось, каждое слово чудесного, полного доброты голоса проникало им в сердце, раскрывая печальные страницы не понятой и не так воспринятой до сих пор мудрости. Взгляд Флорентийца был так полон сострадания и любви, когда он смотрел на юные лица, окружавшие его, что помимо своей воли все придвигались к нему все ближе и наконец пододвинулись вплотную, точно желая впитать в себя волшебную силу его любви.

— Вот такие моменты единения в любви, когда каждый несет из сердца только самое чистое и прекрасное, рождают в жизни новые узлы света и добра. И каждым таким узлом пользуются все невидимые помощники, чтобы построить новый канал, новую нить духовной связи и соединить видимое и осязаемое земли с невидимым и неосязаемым трудом неба.

Нет жизни земли оторванной, печальной, загрязненной, без и вне Вечности. Есть *одна* великая Жизнь, где труд *двух* миров движется по самым разнообразным временным формам. Но *жизнь* не останавливается оттого, что формы меняются и отживают. Знание делает человека счастливым не только потому, что он обрел сам свет. Но и потому, что *свет* в нем *расчищает* встречному тропинку. Как бы ни был мал Свет в человеке, Он, однажды зажегшись, никогда не позволит ему впасть в безвозвратное уныние. Унывать может только тот, в ком верности цельной нет, кто колеблется в своих пониманиях и в ком сердце разорвала безнадежность.

Если мать потеряла единственную дочь, составляющую все ее богатство, и не может больше жить, так как сердце горит факелом скорби, выжигая кровь, — эта мать не внесет в новую, невидимую ей, жизнь своей дочери ни счастья, ни облегчения. У нее нет знания, чтобы, стоя на земле, понимать, что стоишь *не* у черты земли, а стоишь у черты Вечности. Та же мать, что знает в себе и каждом лишь форму Вечности, сумеет победить личную скорбь и будет всем мужеством сердца посылать дочери помощь своей любви в улыбке, а не в слезе и стоне доставлять горечь ее новой форме.

Со смертью любимых не кончаются наши обязанности перед ними. И первейшая из них: забыть о себе и думать о них. Думать об *их* пути к совершенству и освобождению. Думать и помнить, что если мы плачем и стонем, мы взваливаем на их новую, хрупкую форму невыносимую тяжесть, под которой они сгибаются и даже могут погибнуть. Мы же склонны приписывать себе в число добродетелей усердное их оплакивание. Тогда как истинная любовь, им помогающая, — это мужество, творческая сила сердца, живущего в двух мирах, а не уныние от нарушенных привычек одной земли. Трудясь над самообладанием, над самодисциплиной, мы помогаем не только живым, но и тем, кого зовем мертвыми и кто на самом деле гораздо более живой, чем мы, закутанные в наши плотные покровы грубых тканей.

Кончив говорить, Флорентиец притянул к себе Сандру и Генри, и, ласково кивнув остальным, пошел с обоими юношами в парк спиливать отжившие ветви деревьев. Мучительное раздумье заставило Сандру спросить своего великого друга:

— Я вполне понял свои ошибки. Мне уж не кажется возможным, чтобы я мог еще раз оказаться слабее женщины. Но неужели своими слезами и тоской я мешал пастору в его новой жизни? Мешал самому любимому другу, которому так многим обязан?

— Если бы человек, духовно развитой и чистый, мог жить только в мире одной земли, как это делают люди, живущие одними интересами тела и земных благ, то ты не тревожил бы друга никакими своими проявлениями. Но так как ты вел духовную связь с пастором, связь, жившую в двух мирах, — он унес эту духовную связь, уходя с земли. И всякое нарушение гармонии в тебе, причиной которого была скорбь о нем, жалило его или окатывало потоками твоих скорбных мыслей. Стремись всеми силами выработать полное самообладание, чтобы я мог оставить тебя на попечение едущего сюда Ананды.

— Ананды! — одновременно вскрикнули оба юноши. Но крик Сандры был радостным, а крик Генри таким скорбным, что Сандра в изумлении выронил даже пилу из рук.

— А разве ты, Генри, не мечтаешь день и ночь о новой встрече с Анандой? А ты, Сандра, напоминаешь жену Лота, превратившуюся в соляной столб. Бери пилу, тщательно осматривай ветви и поставь в себе на место все импульсы. Учись тщательно наблюдать всю работу своего организма, не пропуская попусту летящих мгновений жизни. Пойдем, друг Генри, к тому высокому старому дубу. Там для нас обоих хватит работы, чтобы облегчить дереву его новую молодую жизнь и помочь сбросить лохмотья старой души.

Начав работу на старом дереве и делая вид, что вовсе не замечает, как Генри старается незаметно смахнуть одну за другой непрошеные слезы, Флорентиец ласково говорил юноше:

— Приезд Ананды не должен тебя смущать тем, что Ананда едет, а ты еще не готов к встрече. Ананда, Генри, не только частица божественной Мудрости, сошедшей на землю в человеческом теле. Это и часть божественной Доброты, воплотившейся, чтобы развязать тесьмы тугие человеческой любви. В девяносто девяти случаях из ста то, что люди называют любовью, на самом деле или их предрассудки и суеверия, или их себялюбие.

Ананда в каждом своем общении с человеком вскрывает ему самому неожиданные сюрпризы его страстей. Человек думает, что идет путем верности и милосердия, ищет путей освобождения и приносит людям помощь своею верностью. А на самом деле получается так, что встречные не только не отдыхают в его атмосфере мира и радости, но что от его верности страдает все то земное, что к нему близко. На что и кому нужна подобная верность? Путь к Учителю, как ко всякому высшему сознанию, лежит через любовное единение с людьми. И та верность, где человек даст умереть в разлуке существу, которое в нем нуждалось и его звало, только потому, что он сам выполнял какие-то свои задачи и ждал, чтобы у него наконец что-то созрело и было готово внутри, этот человек не может выполнить задачу, которую целое кольцо невидимых помощников искало и ждало случая на него возложить. И здесь случается, что готовое в духовном мире дело не может перейти в действие земли. И запись в белой книге человека, в книге его Вечной Жизни гласит: «Может не значит будет».

В твоей книге Вечной Жизни, Генри, есть всякие страницы. Есть страницы подвига, есть страницы самоотвержения, есть страницы любви, есть и те белые страницы, где живет запись: «Может не значит будет». Но страниц радости в ней нет, как нет ее и в данном твоем воплощении до сих пор. А между тем, сейчас ты пришел на землю учиться радости,

и для этого счастливого урока тебе давались тысячи предлогов и случаев. Мать твоя, смиренная избранница, полное чести, силы и чистоты существо, с детства окружала тебя радостью и любовью. А ты отвечал ей всю жизнь требовательностью, унынием и эгоизмом. Только теперь, после страшного и тяжкого, во что ты окунулся в Константинополе, когда ты сам воочию столкнулся с темной силой, ты понял ужас и величие пути человека на земле, и сердце твое, извергая струи крови, открылось для матери, открылось во всю ширь. Ты по-новому увидел мир и себя в нем.

— Только потому, — перебил Генри, — что великая любовь Флорентийца раскрыла мне глаза и помогла своим состраданием увидеть жизнь по-иному.

— Не будем говорить о причинах твоего переворота. Все люди, без исключения, переживают свои моменты перерождения. И жизнь каждому из них подает его цветок жизни и смерти. И человек берет его в руку, вдыхает аромат жизни и отворачивается от смрада и гноя уже отживших в нем частиц. А *как* это бывает — у каждого по-своему, по-особому, по индивидуально неповторимому пути. Послезавтра сюда приедет твоя мать. Ее привезет Дория, а капитан Джемс всячески поможет ей.

— О, Господи, только этого недоставало, чтобы капитан Джемс в вашем доме встретился с моей матерью! — простонал Генри.

— Что же так пугает тебя, если капитан увидит твою до сих пор обворожительно красивую мать?

— Я и сам не знаю, что такое есть в капитане, что меня и очаровывает, и отталкивает, и возмущает. Быть может, здесь виновно одно воспоминание юности. Однажды я принес газету-объявление, выходящую раз в месяц в Лондоне, завернув в нее цветы, которые мама велела мне купить. Со свойственной маме аккуратностью, она вынула цветы и стала расправлять газету, раньше чем ее сложить. На заглавном листе большими буквами было напечатано объявление, что лорд Самуэль Ретедли, барон Оберсвоуд извещает жену своего сына Ричарда Ретедли об оставленном на ее имя крупном капитале. Что, если в течение двух лет жена не явится в банк за капиталом, он будет отдан на сохранение ее брату до самой его смерти. Я не помню ничего больше, но мама упала в обморок, единственный раз в жизни, и с большим трудом, после двух недель болезни, вернулась к обычной жизни. Когда я услышал фамилию Ретедли в Константинополе — точно змея меня укусила. Но потом, сопоставив высокое общественное положение капитана и бедность, в какой мы жили, я успокоился насчет возможности каких-либо отношений между Цецилией Оберсвоуд и лордами Англии. Случайных совпадений в фамилиях немало бродит по свету. Но сейчас я так сильно дорожу спокойствием матери, так хотел бы избежать для нее всяких волнений, что, даже уверенный в полном незнакомстве ее с капитаном, не хотел бы произнесения перед нею его фамилии, не только их свидания.

— Видишь ли, Генри, любовь к матери, которая сейчас в тебе проснулась, не должна принимать уродливых форм. А всякая форма любви, где есть страх, непременно будет безобразной. Что значит ее обморок, какие воспоминания пробудила в ней твоя газета, что прочла она между строк объявления, если она тебе сама не сказала, не должно касаться тебя. И твоя истинная любовь, твое истинное уважение к ней могут выразиться только в твоем почтительном молчании к каким-то страницам неведомой тебе ее жизни. Если ты на деле любишь мать, то твой единственный жизненный урок, твоя единственная помощь ей — полное спокойствие и вера в высокую честь матери. Жди ее приезда сюда как величайшей ее и твоей радости. Жди, не попусту проводя время в разных истерических выпадах, а действуй так, как будто бы возле тебя стояла самая любимая тень твоего друга и Учителя Ананды.

— Как и чем мне выразить вам, не лорд Бенедикт, а величайший и милосерднейший друг Флорентиец, что только подле вас я мог уяснить себе до конца все свои ошибки? И этого мало. Быть может, и в других местах я мог бы их уяснить. Но только в атмосфере вашей любви я смог найти в себе смирение и любовь, чтобы мирно и спокойно начали расти во мне силы уверенности в победе над ними. От вас льется такая доброта и мужество, такое чистое сострадание, в котором нет осуждения, — бросился на колени Генри, приникая к руке Флорентийца.

— Встань, Генри, перестань думать о моих достоинствах, а неси в дело дневного труда то, что из моего живого примера тебя увлекает и убеждает. Я сказал тебе только, что сюда приедет твоя мать. Приедет ли с ней капитан и в качестве кого он сюда приедет, о том ты узнаешь сам. Если ты внимательно читал мое письмо, то помнишь, что в нем я говорил тебе, что надо беречь мать, так как в ней залог твоих материальных благ, которыми ты так дорожишь. Ты не так понял мои слова, но в ближайшем будущем поймешь. Иди сейчас к Алисе и продолжай свои занятия с обеими ученицами. Налегай теперь на естественные науки, помня, что физика очень будет нужна Наль. Иди, забудь о своих делах и думай о предстоящем труде, считая его самым важным в эту минуту.

Генри отправился в дом и старался унять в себе целое море взбудораженных вопросов, но, завидя Алису, сразу почувствовал стыд за свое раздражение под тихим и глубоким взглядом девушки, точно читавшей его внутреннюю разлаженность...

Мирная жизнь деревни, в которой прожил Тендль, точно сразу оборвалась для него, когда въехали в Лондон. Простившись с Тендлем, капитан довез Дорию до дома Генри и, нерешительно стоя перед нею, спросил:

— Если бы я зашел к миссис Оберсвоуд вместе с вами, было ли бы это очень некстати?

— Я думаю, лорд Ретедли, что это могло бы испугать ее. Разрешите мне приготовить ее. Если вы оставите мне ваш адрес, я вас извещу о ходе событий, а также, когда и как нам встретиться.

Несмотря на очень решительный тон Дории, капитану, очевидно, было очень трудно поверить в ее правоту. На лице его мелькало то недоверие, то недовольство своею нерешительностью.

— Вас беспокоит, лорд Ретедли, что я, быть может, не сумею быть достаточно ласковой и тактичной к вдове вашего брата. Конечно, если бы я действовала от себя, — улыбнулась Дория, — по одному своему пониманию, я бы, наверное, не сумела выполнить возложенного на меня поручения. Но я везу ей письмо лорда Бенедикта, с одной стороны, и я крепко держу в сердце ту невидимую связь, которую наш великий друг, как неотступную мысль о нем, вливает в сознание тех счастливцев, которым дает свои поручения. Поэтому вы можете быть спокойны. Я всеми силами мысли держусь за его великую руку и буду действовать так, как будто бы он рядом со мной. Что же касается вашего участия в моем поручении, то оно ведь сводится к помощи мне в смысле выезда из Лондона до деревни. Если оба мы хотим не нарушить ни в чем закона беспрекословного повиновения, то каждому из нас надо выполнить свою часть порученного нам труда со всей тщательностью и вниманием, на какие мы способны, но не поддаваться личным порывам и впечатлениям.

Разговор этот происходил на темной и грязной лестнице, по которой оба собеседника взбирались к жилищу Генри. Насколько была бодра Дория, легко идя ступень за ступенью, настолько же мрачен и скорбен был капитан, которого пробирала дрожь отвращения и муки.

— Подумать только, годы жила несчастная женщина в этой нищете из-за предвзятости взглядов и ошибки моего родного брата и деда. А я и не подозревал об этом, вел рассеянную жизнь и тратил попусту десятки тысяч, — с болью и горечью говорил капитан, остановившись на площадке пятого этажа и закуривая сигару, чтобы избавить себя и свою даму от запаха грязных ведер с отбросами, пережаренного лука и каких-то еще ароматов, свойственных бедноте, оставляемых ею везде от плохо вымытого белья и грязного платья.

— Вы вольны, лорд Ретедли, поступить как сочтете нужным. Я думаю, мы уже у цели. Но если вы действительно тронуты героической жизнью леди Оберсвоуд, то вы не захотите доставить ей лишнего горя принимать вас здесь.

— Вот именно, все, чего хочу, — это вырвать ее немедленно отсюда.

— Ну, одними вашими силами этого не сделать. Если бы дело было так просто, лорду Бенедикту не надо было бы вмешиваться. Верьте, что его сила сделает тот сдвиг, который ничто не могло совершить за всю жизнь леди Цецилии. Я дам вам знать немедленно обо всем. Наконец, ночевать я буду непременно в городском доме лорда Бенедикта, и, если вам очень захочется узнать о сегодняшнем дне, вы можете в одиннадцатом часу приехать туда ко мне, и я вам все расскажу.

Расставшись со своим спутником, Дория постучала в дверь. Ей немедленно открыла уже знакомая нам старушка в белоснежном чепце. Пораженная ее красотой и огромными синими глазами, Дория так смешалась, что только молча смотрела на нее. Очаровательно улыбнувшись, хозяйка дома сказала мелодичным и добрым голосом:

— Вы, вероятно, заблудились, леди. Дело в том, что такой же номер квартиры, как мой, есть в доме с улицы, и иногда, спутав номер дома, люди попадают ко мне. Вам надо спуститься вниз и повернуть за угол.

Оправившись, Дория с удивлением слушала голос Алисы, такой же молодой и мягкий.

— Нет, я думаю, что попала именно по назначению. Ведь я вижу перед собой леди Цецилию Оберсвоуд? — Получив удивленный и утвердительный ответ, Дория продолжала: — Я привезла вам письмо, и мне приказано сказать вам, чтобы вы вспомнили слова, сказанные вам однажды дядей Ананды во время болезни Генри в Вене. Это письмо вам посылает тот, кого вы называете Великой Рукой.

Стоявшая перед Дорией маленькая фигурка выражала все признаки смущения и робко протянула руку за подаваемым ей письмом.

— Войдите, пожалуйста, — не глядя на письмо, сказала она, открывая дверь в комнату Генри, куда весело заглядывали солнечные лучи и где чистота поразила Дорию, как поражала всех. Усадив Дорию в кресло, она села у другого конца стола, ясно говорившего своим красным деревом и инкрустацией из перламутра и черепахи о лучших временах жизни, и вынула письмо из кармана белоснежного передника.

Первый же взгляд на адрес заставил ее вскрикнуть, откинуться с совершенно белым лицом на спинку стула и выронить письмо из рук. В одно мгновение Дория была подле нее, подняла письмо, поднесла к ее носу ароматическую соль и натерла виски и затылок бесчувственной женщины жидкостью из флакона, данного ей Флорентийцем, предупредившим, что письмо может вызвать огромное волнение матери Генри. Через несколько минут леди Оберсвоуд пошевелилась и с трудом вздохнула. Желая облегчить ей голову, Дория сняла с нее чепец, считая его необычайно грузным. Каково же было ее удивление, когда из-под легкого чепца выпали две громадные косы, сохранившие

чудесный пепельный цвет. Бледное личико с закрытыми глазами без чепца показалось Дории совсем молодым, обрамленным сединой, точно нимбом у самого лица.

Приготовив лекарство, также данное Флорентийцем, Дория натерла вторично виски, затылок и лоб больной и стала ждать первой возможности влить ей лекарство в рот. Ждать пришлось недолго. Леди Оберсвоуд открыла глаза и должна была сейчас же проглотить капли, ловко поданные Дорией. Откинув косы на спину, через очень короткий промежуток времени, мать Генри вскрыла твердой рукой конверт, на котором стояло «*Леди Цецилии Ричард Ретедли, баронессе Оберсвоуд, от Флорентийца*».

«В эту минуту, когда Вы читаете письмо, того, кто искал Вас всю жизнь и ушел с земли огорченным, потому что не мог разыскать Вас, — Вашего дорогого брата и друга Вашей молодости, — уже нет в живых».

Стон прервал чтение письма на минуту, но подошедшей Дории тихий мужественный голос сказал:

— Не беспокойтесь, я уже владею собой. Это была только спазма сердца, но раз она меня не убила, — я все приму дальше совершенно спокойно. — И леди Оберсвоуд продолжала читать:

«Ваша жизнь, проведенная в полном отрешении от всего личного, далеко не кончена. Ваш брат, о котором Вы думали, как о блестящем певце и ученом, был — увы — пастором, против всех своих желаний и склонностей. Но ученым он был по призванию, достиг крупных результатов на одном из своих любимых поприщ. Он оставил дочь, которой Вы очень нужны. Я говорю: «дочь», хотя у пастора их было две. Но почему не говорю сейчас о второй, об этом скажу лично. Пастор оставил Вам капитал. Вы можете получить его только через меня, так как его подлинное завещание у меня.

Не думайте о себе, не думайте о прожитой, скрываясь, жизни. Действуйте сейчас для сына и племянницы, жизнь которых можете облегчить. Мой друг Дория отправлена к Вам моим послом. Я ей рассказал все, как надо Вас обмундировать и привезти ко мне в деревню, где Вас ждут новые обязанности любви к брату, которого Вы так жестоко покинули и перед которым Вам надо оправдаться не слезами раскаяния и сожаления, но деятельностью и новым трудом для его дочери и Вашего сына. Сказать Вам надо так много, объяснить еще больше, и в письме этого сделать нельзя.

Примите младшего брата Вашего мужа, капитана Джемса Ретедли, которого Вы не знаете. Примите как друга и брата и не переносите великого оскорбления, нанесенного Вам тестем и его семьей, на ни в чем не повинного, хорошего человека. Он поможет Вам добраться до моей деревни, а Дория сделает все для Вас необходимое по части туалетов. Доверьтесь ей, не тратьте сил на мысли мелкие, думайте о сути, об огромном Вашем долге перед покинутым Вами так сурово и внезапно, обожавшим Вас братом. Теперь надо так созреть силой духа и сердца, чтобы воздать должное дочери Вашего брата и отдать ей всю недоданную любовь брату и вынянчить ее первенца. Приезжайте как можно скорее, со всем свойственным Вам мужеством».

Прочтя письмо, леди Ричард Ретедли закрыла глаза своей маленькой ручкой, рабочей и все же прекрасной. Дория не прерывала ее молчания, всем сердцем сострадая скорби, которая отражалась во всей фигуре женщины. Встав с кресла, леди Цецилия подобрала косы, обвила ими голову и хотела снова надвинуть свой чепец.

— Леди Оберсвоуд, лорд Бенедикт, как вы, по всей вероятности, будете звать его официально, тот, кто пишет вам под именем Флорентийца, интимно просил передать вам его просьбу не надевать больше чепца, а переменить весь туалет и приехать к нему в

деревню, как леди Ричард Ретедли подобает. Разрешите мне взять на себя заботы обо всем необходимом. Посылая меня, лорд Бенедикт был уверен, что я сумею все сделать как надо. Я сегодня же привезу вам все, вплоть до чулок и туфель, а завтра утром я приеду за вами в десять часов утра с лордом Джемсом Ретедли, чтобы отвезти вас в деревню.

— Пусть будет так, как желает Флорентиец. Мне не приходило в голову посмотреть на вещи так, как говорит он. Но если он прав — а он не может быть неправ, — я должна понять, что совершила перед братом преступление. Делайте как вам поручено, я не доставлю вам огорчения, леди Дория.

— Если я смею просить вас, леди Ретедли, зовите меня просто Дория, как меня зовет вся семья лорда Бенедикта и ваша племянница в том числе. Если бы я была болтушкой, то целый воз похвал выложила бы ее и вашей красоте. Воздерживаясь от этого порока, я поеду по делам. Вернусь скоро, так как капитан был так любезен, что оставил мне свой экипаж.

Дория уехала, и леди Цецилия снова села в кресло и стала второй раз читать так взволновавшее ее письмо.

Третий человек, выехавший вместе с Дорией и капитаном из деревни, мистер Тендль, был наиболее взволнован возложенной на него задачей. Заехав домой, он узнал от слуги, что уже более недели его ждут письма, которые путешествовали из конторы домой и из дома в контору, и снова обратно, каждый раз появляясь после отъезда мистера Тендля. Наконец дядя приказал оставить их на квартире молодого человека и не пересылать больше в контору. Слуга опустил их в специальный ящик, закрытый на ключ самим хозяином, носившим этот ключ при себе. Только что он их туда опустил, как явилась пасторша, настойчиво требуя свидания с мистером Тендлем. Никакие уверения слуги, что мистер Тендль в деревне, не подействовали. Пасторша требовала письма обратно, кричала, что хозяин скрывается в доме и, как бомба, ворвалась в комнаты. Совместными с кухаркой усилиями слуге удалось убедить расходившуюся даму, что их хозяина действительно нет в Лондоне.

— Подайте мои письма. Мы ему писали столько раз, а он и не отвечает, — кричала пасторша.

— Письма приносили из конторы, я их отправлял обратно, думал, так хозяин их скорее получит. Несколько раз рассыльный их носил туда-сюда и каждый раз хозяина чуть-чуть не заставал. Сегодня их высокое лордство, дядя-адвокат, приказали оставить письма дома, ну я их и опустил в ящик.

— Какой лорд? Разве он лорд? — орала пасторша.

— Так точно, они лорд, и, как умрут, все — и деньги, и титул — поступит нашему хозяину. А письма — баста, опустил я их в ящик.

— То есть как это опустили? Вы их выкинули в мусор? — взбесилась пасторша.

— В какой мусор? В ящик спустил, говорят вам.

Чем бы кончился этот диалог, неизвестно, если бы кухарка не догадалась указать на привинченный к стене и запертый на ключ ящик для писем. На все требования пасторши подать ключ возмущенный слуга пригрозил констеблем, если дама сейчас же не покинет дома. Передавая весь этот рассказ, слуга был так комичен в своем возмущении и оскорбленном достоинстве, что Тендль, далеко не смешливо настроенный, покатывался со смеху. Отпустив слугу, он вынул целую пачку писем, из которых несколько были

надписаны почерком Дженни. Перечтя письма, Тендль тяжело вздохнул. Как бы он был счастлив еще так недавно, держа в руках такие письма Дженни! И как сейчас он видел и понимал их только как листки предательства, лжи и измены. Тендлю некогда было горевать, надо было действовать по поручению лорда Бенедикта. И он знал и горячую привязанность к нему дяди, и его горячий характер, а также его пунктуальность в делах. Примчавшись в контору, передав дяде письмо лорда Бенедикта и его распоряжения, Тендль долго обсуждал с дядей юридическую сторону завещания. Составив акт и написав официальное извещение пасторше и Дженни, адвокат послал своего племянника в пасторский дом.

Дженни, так долго ждавшая Тендля, переходила от одного настроения к другому, но все ее настроения походили на сейсмографические показания. Девушке было невыносимо сознаться самой себе в своих ошибках, и она предпочитала взваливать на мать все свои беды и неудачи. Пасторша переносила все капризы и обвинения дочери и уверяла ее, что ничто в ее карьере и жизни не потеряно. Что она получила письмо из Константинополя от одного старинного друга, с которым пастор запрещал ей общаться под угрозой немедленного развода, что теперь этот друг посылает к ней в Лондон двух очень богатых молодых людей. Из письма этого она узнала очень хорошие для себя новости. Там говорится, что если она пожелает выполнить одно маленькое разумное поручение, то может быть богата всю жизнь. В письме есть и намеки, что молодые люди не женаты, а у нее две незамужние дочери. Пасторша убеждала Дженни не сушить свою красоту, развлекаться, одеваться и ждать молодых людей.

Именно эту беседу нарушил своим появлением Тендль, которого впустила девушка, не найдя нужным даже доложить о нем. «Господи!» — внутренно воскликнул Тендль, входя в комнату и ничем вовне не обнаруживая своего потрясения. Обе дамы лежали на диванах в халатах не первой свежести, растрепанные, очевидно с утра еще не причесавшиеся, и перед каждой из них стояла тарелка с какими-то объедками.

На чрезвычайно вежливый, официальный поклон Тендля пасторша нашлась скорее Дженни, вскочила с дивана и стала объяснять молодому человеку, что Дженни больна, что она очень тяжело переживает отсутствие Алисы и смерть отца, и не менее горько ей, что в минуту скорби она обидела его, Тендля. Выручennая матерью, Дженни сделала несчастное лицо, закуталась в шаль и разбитым голосом спросила, получил ли Тендль ее письмо.

— Я получил все ваши шесть писем сразу, мисс Уодсворд, так что не знаю, о котором из них вы говорите сейчас.

Пасторша хотела было ускользнуть из комнаты, но Тендль ее удержал, сказав, что дело, по которому он пришел, касается их обеих и не терпит отлагательства.

— Ну что же, Дженни, говорила я тебе, что именно так и будет, что именно этими словами и начнет мистер Тендль, — перебила молодого человека пасторша, опускаясь в кресло рядом с Дженни.

Дженни протянула руку мистеру Тендлю и пригласила сесть поближе к ней. Она сказала, что из-за сильных головных болей последнего времени плохо слышит. Пожав протянутую ему ручку, но отнюдь не поднося ее к губам, как предполагала Дженни, Тендль сел на указанное ему место и продолжал тем же официальным тоном, каким начал:

— Я сейчас являюсь к вам послом от двух инстанций. Первая — это мой дядя, адвокат, который просит передать вам, леди Катарина, вот это извещение, что требуемые вами

проценты с капитала, оставленного вашим мужем его сестре Цецилии, не могут быть вам уплачены.

— То есть как не могут быть мне уплачены? Как это понимать? — одновременно вскричали пасторша и Дженни, чрезвычайно взволнованные.

— Встретилось препятствие к выдаче их вам, так как сестра пастора, леди Цецилия, предъявила свои права.

— Сестра пастора? Да это миф, которым он меня пугал, когда я требовала, чтобы он не изображал из себя бедного человека, а жил, как позволяли ему его средства. Никогда не существовало такой женщины, и имени ее не произносилось в семье никем, кроме моего чудака мужа.

— Этот капитал никогда не принадлежал пастору. Он поступил к нему от родни мужа леди Цецилии, от лордов Ретедли, баронов Оберсвоуд. Из завещания вы обе узнаете, что этот капитал должен быть через десять лет в распоряжении лорда Бенедикта, который употребит его на благотворительные цели, по своему личному усмотрению.

Снова пасторша перебила Тендля, доказывая ему, что муж ее был ненормальным человеком, что лорду Бенедикту она не верит ни на йоту, что отыскать подставное лицо вместо сестры пастора труда не составляет, но что надо еще, чтобы было фамильное сходство.

— Мы подаем в суд. Мне это надоело, — закончила она, на границе бешенства. — Отобрать у меня девчонку, отобрать деньги и вообразить, что можно без труда так обирать людей, ваш лорд Бенедикт окружил себя шайкой мошенников...

— Сударыня! — резко перебил Тендль. — Мой дядя, которого вы уже однажды оскорбили, которого дважды оскорбила ваша дочь, и я имеем высокую честь быть друзьями и преданными слугами лорда Бенедикта. Не советую вам в моем присутствии оскорблять это глубоко чтимое нами лицо. Или вы будете вести себя как обязаны вести себя культурные и воспитанные люди, или я уйду и не стану больше говорить с вами о деле нигде и никак.

— Мама, прошу вас, успокойтесь и, главное, сядьте. Вы мне действуете на нервы, — капризно сказала Дженни. — Мистер Тендль, простите нас. Вы и представить себе не можете, как и сколько мы страдаем из-за отсутствия в доме Алисы и из-за ее и папиной блажи. Объясните мне, пожалуйста, что и как теперь делать. Ведь не могла же у меня чудом объявиться тетка, которую отец искал бесплодно всю жизнь.

— У вас, мисс Дженни, не только отыскалась тетка, но и двоюродный брат.

— Мы непременно будем судиться! — снова закричала пасторша.

— Суд будет вам только во вред, так как у вас нет ни малейших оснований оспаривать волю пастора или его завещание. Все, что он завещал, все сделано очень правильно юридически. Вот, позвольте вам вручить оповещение от дяди. Вы обе вызываетесь в судебную контору вашего округа, где будут все адвокаты, лорд Бенедикт, Цецилия Ричард Ретедли, баронесса Оберсвоуд, ее сын Генри Ретедли, барон Оберсвоуд, ваша дочь Алиса и много других свидетелей, в том числе брат Ричарда Ретедли, капитан Джемс Ретедли, и где будет передан капитал владелице.

— Это мы еще посмотрим! Можно вручить тогда, когда никто не протестует, — бесилась пасторша.

— Я уже говорил вам, суд будет не в вашу пользу, и все судебные, и очень большие, издержки придется платить вам.

— У меня нет основания верить вашим предсказаниям. Вы не пифия, и ваши любезные предсказания могут быть еще ошибочны. Можете быть спокойны, вместе с вашими досточтимыми дядями, тетями и лордами, провозвестниками чести, что мои друзья, не менее влиятельные, уже едут меня защищать из Константинополя. Так и передайте своему господину, которого так чтите и слушаетесь.

— Вы, мисс Дженни, разделяете мнение и убеждения в этом деле вашей матушки?

Дженни, поняв, в какой просак она снова попала, предполагая, что Тендль явился просить ее руки, окончательно его возненавидела, сразу сбросила с себя личину болеющей кошечки и, встав во весь рост перед молодым человеком, язвительно закричала:

— Я не только разделяю ее убеждения в этом деле. Я иду дальше. Я уверена, что нам удастся достойно наказать всю эту компанию «дельцов», совращающих младенцев, облапошивающих их недальновидных отцов и обогащающихся за счет невинных людей. Мы их поймаем наконец в капкан, где, вероятно, найдется местечко и для такого усердного слуги, как вы.

Произнося свою тираду, Дженни была необыкновенно безобразна. Ее обычно бледное лицо покрылось багровыми пятнами, рот скривился на сторону, глаза метали молнии. У Тендля мелькнула мысль, что она когда-нибудь сойдет с ума. Выслушав всю приятную отповедь, Тендль поклонился, сказав на прощание Дженни:

— Я спросил вас об этом только потому, что мне было передано письмо лордом Бенедиктом для вас, но под условием: если бы вы оказались в ином настроении с вашей матерью, я должен бы был передать вам письмо, и, может быть, вы поехали бы со мной в деревню к лорду Бенедикту. Если же вы в единомыслии с матерью, письма вам не передавать. Честь имею кланяться.

Тендль хотел выйти из комнаты, но Дженни очутилась раньше него у двери и, став спиной к ней, все с тем же безобразным лицом сказала, шипя от злобы:

— Письмо — документ. Я вас не выпущу отсюда до тех пор, пока вы мне его не дадите. Ваши уверения в каких-то условиях — для меня сущее «тьфу». Письмо, или так и будете сидеть здесь с нами!

Даже пасторша пыталась уговорить дочь образумиться, но Дженни уже потеряла всякое самообладание, всякое здравое понимание протекающей минуты. Как ни был хладнокровен Тендль, но в первую минуту даже он растерялся и молча стоял перед девушкой, совершенно не понимая, как ему быть. Несколько минут прошло в напряженном молчании, во время которых Тендль всей силой мысли взывал к своему адмиралу, моля о помощи, не зная, как ему быть. Вдруг с Дженни произошло нечто совершенно необычное. Она точно осела книзу, закрыла лицо руками и в страхе закричала: «Нет, нет, лорд Бенедикт, я только пошутила, я сию минуту выпущу вашего поверенного, только не входите сюда и не смотрите так строго!». Пораженные пасторша и Тендль смотрели во все стороны, не понимая, с кем говорит Дженни, так как в комнате никого, кроме них, не было. Дженни опустила руки, и Тендль увидел перед собой лицо действительно больного человека. Казалось, Дженни мгновенно пережила нечто такое страшное, от чего постарела и похудела на глазах. Пасторша бросилась к Дженни, но Дженни жестом не то отвращения, не то отчаяния отстранила ее от себя и подошла, с трудом переставляя ноги, к дивану. Со стоном девушка повалилась на него, и в ее болезни

Тендль теперь уже не сомневался. Он уже готов был предложить свои услуги и бежать за доктором, решив, что у Дженни начинается горячка, как услышал ее слова:

— Уходите, пожалуйста, мистер Тендль. Я не могу больше выносить вашего вида. Мне чудится над вашей головой голова вашего лорда Бенедикта с его ужасными глазами. Прошу вас, уходите скорее, только не забудьте здесь этого ужасного второго этажа вашей головы.

Совершенно разбитый голос Дженни звучал слабо. Тендль с удивлением слушал ее бред и невольно посмотрел на пасторшу, желая спросить ее совета, послушаться ли Дженни или бежать за доктором. Он подумал, что Дженни сходит с ума. Взгляд пасторши поразил его не менее самой Дженни. Она, точно ощетинившаяся кошка, готова была броситься на Тендля и вместе с тем не двигалась, точно приклеенная к полу.

— Уходите же, умоляю вас, как можно скорее, я задыхаюсь, — снова раздался голос Дженни.

Совершенно подавленный всем пережитым, Тендль ушел из пасторского дома, не будучи в состоянии привести свой мозг в порядок. Бедному Тендлю было очень тяжело. Он перебирал в своей памяти всех, к кому бы он мог сейчас пойти. Он мог бы пойти к Дории и, наверное, нашел бы подле нее относительный покой. Но Дория была загружена поручениями выше головы, и он не смел ее обременять еще собою. Он мог бы отыскать капитана, который дал ему разрешение беспокоить его в любое время, но он знал, что капитан встречает свою невесту, и Тендль вовсе не хотел разбивать его диаметрально противоположное настроение. «Сам себе помогай», — подумал Тендль. Но так как все же никого из посторонних людей он видеть сейчас не мог, а к своему горячему дяде показаться в таком расстройстве не мог тоже — он вспомнил, что Артур должен был приехать высаживать цветы на могиле своего господина и друга. «Самое подходящее место и общество, чтобы вентилировать мозги и приходить в равновесие», — решил Тендль и, переменив направление и аллюр, почувствовал себя капитаном своего адмирала и двинулся к могиле пастора.

Покинув Дорию на лестнице у квартиры Генри и дав распоряжение кучеру быть к ее услугам до самого вечера, капитан в первом встречном кебе поехал к себе домой. Здесь он застал в большом волнении своих мать и сестру, так как накануне вечером на имя капитана пришла телеграмма с извещением, что его невеста и ее родители приезжают в Лондон в три часа, а капитана несколько дней уже не было дома. Обе женщины накинулись на него с выговорами, хотя и в сдержанном тоне, что надо же было их предупредить заранее, что в доме надо было сделать приготовления к приему его будущей жены, что жених должен сидеть дома и ждать оповещения, а не пропадать, как вырвавшийся на волю школьник.

Все было снабжено улыбочками и нежными ужимками, цену которым капитан давно разгадал. Поморщившись, он спросил с удивлением, какое отношение к их дому имеет приезд его невесты и ее родителей, помещение для которых давно заказано в отеле. Затем, указав, что до трех часов еще достаточно времени, капитан хотел пройти к себе, но мать задержала его. После некоторого туманного введения, леди Ретедли высказала желание сама патронировать свою будущую невестку и ее родителей среди лондонского общества, где новички — она произнесла это слово с некоторым презрением — могут повредить себе и даже всем Ретедли в общественном мнении. Капитан весело рассмеялся, представив себе гордую чету графов Р., патронируемых его матерью, женщиной доброй, но несносной и мало тактичной.

— Вы, мамаша, понятия не имеете о русских князьях и графах. Русские вообще народ независимый и очень оригинальный. Их характеры и понимания лишены нашей кастовой узости. А уж если они считают себя аристократами в своем государстве, то им решительно безразлично мнение чужого общества о них. И граф и графиня — люди высоко образованные и чрезвычайно воспитанные. Круг их интересов очень широк, и уж если кому-нибудь придется подтягиваться, то это вам и сестре, чтобы не попасть впросак и суметь ответить на их вопросы или поддержать с ними разговор. Кроме того, у графов Р. так много друзей и приятелей среди наивысшей аристократии, куда вы не вхожи до сих пор и о чем вы всю жизнь промечтали. Что же касается самой моей невесты, то это гениально одаренная музыкальными способностями особа. И как почти все таланты, характера довольно строптивого. Не советую вам залезать с вашими советами и наставлениями, если желаете провести в мире с ней и ее семьей то короткое время, которое они проведут здесь.

Капитан говорил очень спокойно и вежливо, но тон его для матери был совершенно нов. Во все свои прежние, короткие и редкие наезды в Лондон капитан бывал очень снисходителен к своим родным, никогда не спрашивал, как тратились его деньги, и мать с сестрой привыкли не ограничивать своих расходов. В этот же приезд капитан отдал своему банкиру приказание ввести в рамки неограниченные расходы своей семьи. Он объявил матери, что они должны жить только на свои капиталы, завещанные им отцом и дедом. Обе дамы тратили средства сына и брата и растили проценты на свои капиталы.

— Я не понимаю тебя, сын мой. Конечно, ты женишься, и твои потребности увеличиваются. Но все же, куда вам двоим такая уйма денег?

— Надо полагать, мамаша, что нам двоим надо не меньше, чем вам двоим. А между тем, эту уйму денег, как вы выражаетесь, вы успели истратить до последнего фунта за эту зиму. Если бы у меня не было еще запасного капитала, в хорошем бы я положении был перед свадьбой. Мой банкир давно предупреждал меня, что вы играете и ввели в искушение даже сестру. Но чтобы не остановиться, видя, что все проценты уже прожиты вами, и желать коснуться моего капитала — этого я не понимаю! Живите на свои капиталы и, если такова ваша воля и вкус, спускайте их в карманы проходимцев. Мои же деньги, результат честных трудов деда, отца и моих, для вас больше не существуют.

— Но ведь ты же знаешь, что Ревекка еще не замужем, что она числится одной из самых завидных невест, и ее капитал должен целиком составить ее приданое.

— Ревекке скоро тридцать пять лет, вряд ли теперь ей придется выйти замуж. Надо было меньше выбирать и иметь лучше характер, тогда можно было бы надеяться на брак. Теперь же, каковы бы ни были ваши возражения и недовольство, — мои распоряжения вам известны, и говорить больше об этом не будем. Я очень счастлив, что сумел сохранить неприкосновенным капитал брата, хотя обе вы так настойчиво его требовали.

— Ты положительно напоминаешь мне мою бабушку с ее желтыми глазами. Ее рассуждения были тоже всегда фантасмагоричны. Ты все еще воображаешь, что пропавшая без вести жена Ричарда объявится, — насмехалась совершенно раздраженная мать.

— Все возможно. А главное, вы прекрасно знали, что брат Ричард был женат, что жена его в положении, а отцу и деду сказали, что Ричард спутался с девчонкой. Вы ведь знали, что она из хорошей семьи. Я был слишком мал, чтобы понимать что-либо в этой истории. Но теперь думаю, что вы сами очень чего-то здесь боялись, оклеветали, оскорбили и выгнали жену сына после его внезапной смерти, когда она пришла к вам.

Леди Ретедли хотела что-то возразить, но капитан простился с нею и, сказав, что должен приготовиться встретить невесту, вышел из комнаты.

— Как тебе это нравится? Нашего Джемса точно подменили, — обратилась мать к дочери, подслушивавшей весь разговор.

— Это ужасно. У нас была доверенность, мы могли взять весь капитал.

— Да что ты понимаешь! Капитал, капитал! В том-то и штука, что на капитал у меня доверенности не было. А из процентов этот мошенник банкир дал мне только половину, уверяя, что остальные перевел Джемсу в Константинополь. И куда ему столько денег — не пойму.

— Я вот понимаю только, что ваши планы не состоялись. Вы хотели везти невесту Джемса к своим портным и портнихам и кстати, по одному счету, обновить и наши туалеты. Теперь же как мы покажемся в старье перед светом! Вы, мама, стали так неосторожно играть, что в вечер спускаете по десять тысяч.

— Уж не нравоучения ли ты собираешься мне читать?

Слово за слово, между прекрасными дамами разгорелась война, и, когда час спустя капитан выходил из дома, он все еще слышал взаимные упреки двух повышенных голосов.

— И где были мои глаза? Почему я раньше думал, что мои мать и сестра самые отличные женщины? — печально думал капитан, садясь в экипаж, чтобы ехать на вокзал. Взволнованный предстоящим свиданием с Лизой, которую он любил самой чистой любовью всем своим существом, огорченный печальной судьбой Цецилии и Генри, весь перевернутый с самой встречи с Анандой и И. и оживший подле Флорентийца, капитан вспоминал сейчас его заветы о создаваемой семье. Мысли его повернулись к Флорентийцу. На сердце у него стало легче. Вспомнил он, что и понедельник, когда он привезет к нему Лизу, не за горами; он стал совсем весел и, улыбаясь, подкатил к пристани. Пароход уже подходил, и у капитана не было времени сосредоточиться, так как множество знакомых, вопросы, поздравления по поводу его неожиданной женитьбы на русской сыпались на него со всех сторон.

Первое, что увидел капитан, было милое, но очень бледное и похудевшее лицо Лизы, стоявшей у самой палубы. Девушка не сразу увидела его в толпе, и глаза ее, печальные и потухшие, равнодушно скользили по берегу. Капитан поднял руку с букетом красных роз и махнул им несколько раз над головой. Лиза тотчас же заметила его движение, улыбнулась, глаза ее просияли, и лицо стало таким прекрасным, как в те мгновения, когда она собиралась играть. За нею стояли ее родители, тоже увидевшие теперь капитана и посылавшие ему улыбки и приветствия. Все они показались капитану изменившимися к лучшему в их парижских костюмах. В первый раз он испытал нетерпение, и ему показалось очень нудным, что так долго не выбрасывают пароходных мостков. Пользуясь своим капитанским чином, задолго до разрешения всей публике сходить, капитан уже стоял рядом с Лизой. Капитан радостно смотрел на свою невесту и, поднося ее узкие и длинные пальчики к губам, вспоминал слова Флорентийца, сказанные о его будущей жене. С трудом овладев собою, он приветствовал своих будущих тестя и тещу, едва успевая отвечать на их вопросы. Лиза же, стоя под руку с женихом и держа его цветы в свободной руке, сияя глазами, молча смотрела на него.

Отвезя свою будущую родню в отель, капитан сказал, что заказал на веранде ранний обед, с тем чтобы после него показать им Лондон, которого его невеста совсем не видела, а старики видели очень давно. Капитана тяготила невозможность переговорить с Лизой с

глазу на глаз. В его новом душевном состоянии ему хотелось посвятить свою невесту хотя бы отчасти в свой духовный мир, в полном созвучии и отклике на который он не сомневался, а также рассказать ей о Флорентийце, о его приглашении к завтраку в понедельник. Радушные и веселые старики так любили свою дочь, что уже не отделяли капитана в своих сердцах от дочери. При всей их культуре, они не понимали, что эпоха их жизни и жизни капитана и Лизы совершенно разны, что отцы и дети только тогда могут быть в полной гармонии, когда отцы живут своею собственной полной жизнью, а не пытаются жизнью детей заполнить отсутствие собственного интереса к жизни.

Все же капитан сказал своей невесте, что завтра в два часа он заедет за нею, чтобы показать сначала ей одной их будущее жилище. Затем они вернутся за родителями, сделают все вместе визит его матери и сестре и тогда уже поедут снова в тот маленький особняк, который капитан отделал заново для себя и жены. Не особенно довольные таким проектом, привыкшие за время путешествия быть все время вместе, старики, однако, почувствовали, что надо привыкать оставаться без дочери.

После осмотра Лондона капитан отвез графов Р. снова в отель и, к общему удивлению, откланялся. Лизе он шепнул, что завтра объяснит ей многое. Взгляд капитана был так серьезен и любящ, его поцелуй руки так горяч и искренен, что Лиза, сияя улыбкой радости, проводила его спокойно и сейчас же ушла к себе, сказав, что у нее болит голова. На самом же деле под ее шалью было толстое письмо капитана, которое он, как дневник, писал девушке каждую ночь, гостя у лорда Бенедикта. Туда он вложил еще и маленькую приписку нежной любви, прося ее вникнуть в его слова, так как многого, что он будет ей говорить, она не поймет, если не вдумается в дневник, ибо многое из его будущих речей будет продолжением дневника. В письме было полное описание Флорентийца, его семьи, а также самое важное из пережитого в Константинополе, кроме видения капитана.

Покинув Лизу, капитан поехал к Дории, в дом лорда Бенедикта. Дом был совсем приготовлен к возвращению хозяев и поразил капитана необычайностью своего убранства, какой-то новой для него гармоничностью, уютом и особенно тонким изяществом. Дория, которую до сих пор капитан видел только мельком и на которую мало обращал внимания, удивила его не меньше дома. В первый раз он разглядел, что Дория очень красива. Удивила его и та объективность, с которой она подробно рассказала ему о леди Цецилии, прибавив, что завтра сама леди Ретедли решила ехать с первым поездом в семь утра и, если капитану это почему-либо неудобно, она может обойтись и без него. Но леди Цецилия готова принять брата своего мужа. Капитан улыбнулся, напомнил Дории ее же слова о доле каждого в поручении лорда Бенедикта и сказал, что устроил так свои дела, чтобы быть свободным все утро, что довезет их до самой станции, усадит в экипаж, а сам со встречным поездом вернется в Лондон.

Условившись на том, что капитан будет ждать Дорию у подъезда леди Цецилии в шесть часов, он собрался уходить. Перед самым его уходом слуга подал Дории несколько писем. Разобрав их, она подала одно капитану, на конверте которого была пометка: «Прошу прочесть тотчас же». Письмо было от Флорентийца, и лорд Бенедикт писал:

«Мой друг. Прошу Вас, не спешите огорчать свою будущую родню, графов Р., известием о Вашем скором отъезде в Америку. Дайте им привыкнуть к мысли о жизни с дочерью, создающей свою собственную семью, где им нет того первого места, к которому они привыкли. И если доверяете мне до конца, предоставьте мне подготовить их к возвращению в Россию, что, я думаю, сумею сделать безболезненно для них и для Вас.

Чтобы Вам быть вполне тактичным перед стариками, передайте им мое здесь прилагаемое приглашение посетить меня вместе с дочерью в понедельник. Не разочаровывайтесь, пожалуйста, графиня, наверное, будет себя еще плохо чувствовать от чрезмерного

путешествия по Парижу, граф не покинет ее одну, хотя страстно будет желать ехать, — и Вы получите возможность пробыть вдвоем с будущей женой у нас.

Чтобы не стать камнем преткновения между женой и ее родными, с одной стороны, и чтобы жить полной и свободной жизнью, Вам самому и Вашей жене надо собрать сейчас весь свой такт и все свои дары приспособлений. Не старайтесь оградить себя от чьего-то нажима, но подымайтесь выше в своей любви к независимости не только собственной, а также Вашей жены. Не предрешайте вопроса, как избавиться от интимного вмешательства кого-то в Вашу жизнь с женой. Но ставьте себя и ее перед всеми в таком внутреннем единении, чтобы никому и в голову не могло прийти рассуждать о ваших взаимоотношениях.

Что касается леди Цецилии, предоставьте все мне. Когда, где и в чем будет нужна Ваша помощь — я Вас позову. О Флорентийце как о человеке Ваших мечтаний — никому ни слова. Здесь завет молчания».

Прочитав письмо, капитан сказал Дории, что ответа не пошлет и подтверждает, что будет ждать ее у дома леди Ретедли.

Возвратившись домой, капитан еще и еще раз перечитал письмо Флорентийца. Он еще раз вспомнил весь разговор с ним в деревне и лег спать несколько обеспокоенный, не слишком ли много он сказал Лизе в своем письме.

Глава 13

Леди Цецилия Ретедли в деревне у лорда Бенедикта

Как было условлено накануне, в назначенный час Дория и капитан Джемс встретились у подъезда леди Цецилии. Обменявшись приветствиями, они молча стали взбираться по уже знакомой им лестнице. Капитан чем выше шел, тем все более робел. Судя по всему виду дома и по тем редким людям, которые спускались им навстречу из своих квартир в

оборванных и грязных платьях, капитан ожидал найти в матери Генри нечто подобное тому, что сейчас видел. Но он твердо говорил себе, что идет к вдове своего брата, обиженной женщине, незаслуженно оскорбленной всей его семьей и его собственной матерью.

В его сердце раскрывалось такое огромное сострадание, что он принимал всякую форму, в какой бы ни встретил вдову брата. Он старался быть спокойным, он знал свой долг сейчас и хотел его выполнить. Но, помимо его воли, что-то вызывало в нем дрожь в руках. Он думал о целой жизни героических усилий женщины и готовился увидеть развалину, физически и нравственно изможденного человека. В свою очередь, Дория, хотя и была уверена, что женщины с сердцем и мужеством леди Цецилии не подвержены истерикам, все же опасалась повторения обморока и спазма сердца.

На легкий стук Дории в дверь послышались шаги, и изумлению капитана и его дамы не было предела. Перед ними стояла совершенно готовая к отъезду леди Цецилия в элегантном шелковом костюме, прелестной небольшой черной шляпе, с шалью и ридикюлем в руках. Изящество фигуры, скрытой до сих пор старым платьем и передником, отлично причесанные волосы и новая для Дории манера держаться приковали ее к месту. Леди Цецилия теперь казалась моложе и выше и так напоминала Алису, что не назвать их сестрами было бы невозможно даже для тех, кто видел бы их впервые. Капитан, готовившийся увидеть богатый, но нелепо напяленный наряд, ждавший остатков убожества и вульгарности в своей невестке, был так поражен, что ему стало стыдно за свои мысли покровительства и снисхождения, с которыми он сюда поднимался. Видя, что ее гости не входят, леди Цецилия открыла дверь во всю ширь, улыбнулась и сказала:

— Войдите, пожалуйста. Я приготовила вам легкий завтрак, проглотить который займет у вас пять минут времени. Мы успеем к поезду, все готово.

Оторопевшие Дория и капитан поздоровались с хозяйкой, не давшей им времени вымолвить ни слова и усадившей их за небольшой стол, покрытый белоснежной скатертью. Точно по волшебству перед каждым из них очутился дымящийся шоколад и пудинг.

— Боже мой, только в детстве, дома, я ел такой чудесный пудинг, как ваш, леди Цецилия.

— Быть может, это не единственное из воспоминаний детства, которые вы здесь встретите, лорд Джемс. Если вы обратите внимание на вашу чашку, то узнаете и ее. Мой муж дорожил ею и говорил, что это ваш подарок.

Капитан осторожно поднял свою чашку и тотчас же признал в ней свой подарок старшему брату в один из дней его рождения. Сердце у него сжалось, молнией мелькнули тысячи воспоминаний, и он еще раз пристально посмотрел на свою невестку. Это была несомненная красавица. На ее лице, немолодом, бледном, не было ни одной морщинки, только кожа ее была желтее обычного, напоминая легкий загар или слоновую кость. Дория увидела, как изменилось лицо капитана и как задрожали его губы. Ей стало страшно, выдержит ли леди Цецилия такое большое волнение, и она стала торопить капитана, уверяя, что они могут опоздать к поезду.

Через несколько минут все уже сидели в коляске, а затем и в поезде. Каждый чувствовал так много, что все предпочитали вести самый незначительный разговор. Объясняли леди Цецилии станции и знакомили ее с семьей лорда Бенедикта и с теми людьми, которых она встретит в его доме. Благополучно добравшись до места назначения, капитан усадил

обеих дам в коляску лорда Бенедикта, проверил их вещи и, сердечно простившись с ними, возвратился к часу дня в Лондон, как и предполагал.

Леди Цецилия, расставшись накануне с Дорией, не пожелала примерить при ней ни одного из привезенных костюмов и платьев, сказав, что выберет что-нибудь в дорогу сама и приладит, если будет надобно. Остальное возьмет в деревню в чемодане и там, с помощью Дории, постарается пригнать по фигуре. Дория не спорила, так как не хотела ничем отнимать сил у леди Цецилии, сил, которых, как она полагала, будет надо немало для предстоящих испытаний. Увидев леди Цецилию одетой так артистически и именно в те вещи, какие она наметила для ее первого появления в деревне, Дория была удовлетворена и успокоена, поняв в этом верный признак большого самообладания.

Сейчас, выехав впервые за город, впервые за двадцать пять лет сев в коляску, леди Цецилия думала не о капризе судьбы, выносящей ее на поверхность из той клетки труда и одиночества, где она считала себя навек похороненной. Она думала все о том же, все о тех же словах лорда Бенедикта в письме, о ее вине перед братом, перед любимым и нежным существом, которого она сделала более несчастным, лишив его своих забот и любви. Вся ее воля сейчас, вся любовь и надежды собирались вокруг племянницы, желая ей и ее будущим детям отдать то, чего она лишила своего обожаемого брата.

Леди Цецилия не думала о том, чего ее лишили люди. Она не ощущала себя именинницей, которую жизнь вознаграждает по достоинствам. Она думала только об Алисе, об этой новой жизни, которой она может быть полезна. За Генри, с того момента как он уехал к лорду Бенедикту, леди Цецилия перестала волноваться. О встрече с капитаном Джемсом, который сохранился в ее памяти подростком, она мало думала, как вообще мало думала о прошлом, об обидах и скорбях, перенесенных от семьи мужа. Она все и всем простила, но себе простить не могла лишних страданий брата. Вся под влиянием этой мысли, леди Цецилия жаждала скорее увидеть Алису и претворить в дело свою энергию любви.

Чем ближе подвигались путницы к дому лорда Бенедикта, тем более волновалась леди Цецилия. Теперь мысли ее повернулись к сыну. Как ни тесно было дружеское сближение матери и сына за последние дни, все же в наболевшем сердце матери оставались трещинки от прежних отношений. Теперь, не зная, что Генри еще в полном неведении о своем родстве с Алисой и капитаном, не зная также, что приезд ее был неожиданностью для Генри, она задумывалась, как примет ее новый внешний вид ее сын и как перенесут его потрясенные нервы ее появление «в свете» вместе с ним. Ей не суждено было решить этого вопроса, так как едва экипаж завернул в аллею парка, как навстречу ему вышли юноша и девушка, смеясь и болтая и, очевидно, никак не ожидая коляски. Внезапно, точно выстрел, раздался крик: «Мама!» — и, прежде чем леди Цецилия успела что-либо сообразить, она уже была в объятиях сына, прыгнувшего на подножку коляски с ее стороны.

Дория остановила коляску, уступив свое место Генри, глаза которого были влажны, и предоставила матери и сыну доехать до подъезда дома, где она уже видела высокую фигуру Флорентийца. Когда экипаж остановился, никто не успел открыть его дверцы раньше самого хозяина. Подав руку своей гостье и высадив ее из коляски, хозяин ввел ее на террасу, где уже ждал накрытый стол. Усадив леди Цецилию, совсем бледную, на диван, лорд Бенедикт подал ей маленькую коробочку, прося скушать конфету, которая освежит ее после долгого пути.

Не смея ослушаться, леди Цецилия сняла перчатку и невольно поглядела на прекрасную руку, державшую перед ней открытую коробочку. Глаза ее поднялись вверх на огромную фигуру хозяина и утонули в море ласки, лившейся из его глаз.

— Смелее, леди Оберсвоуд, уверяю вас, все более нежели благополучно в вашей и ваших близких жизни, хотя я и напугал вас вашей виной перед пастором.

Леди Цецилия почувствовала себя сразу же увереннее и проще среди всего невиданного ею десятки лет великолепия и простора и ответила своим музыкальным голосом:

— Такая великая и благодетельная рука, как ваша, лорд Бенедикт, не могла никого напугать. Человек может быть не готовым принять весть, которую она дает, или, может быть, чересчур низменным, чтобы понять мудрость и свое спасение, подаваемые ею. Но напуганным он быть не может, если вообще он способен видеть Свет.

Не успела она закончить своих слов, как на ступенях террасы показались Дория и Алиса.

— Что это? Сплю я? Или мое воображение показывает мне мираж, чем я буду через двадцать лет? — закрыв глаза рукой, остановившись на ступеньках, тихо говорила Алиса. — Лорд Бенедикт, я просто боюсь открыть глаза. У меня, вероятно, жар и галлюцинация.

— Успокойся, друг мой, тебе не так легко теперь заболеть после твоей долгой болезни, — рассмеялся Флорентиец. — Открой глаза и посмотри хорошенько на сестру твоего отца, ту любимую его сестру Цецилию, которую он искал до самой смерти, да так и не нашел. Теперь она перед тобой, и если бы нашлись желающие не признать ее — фамильное сходство с тобой убедительнее всяких отрицаний.

Алиса, при всей своей мужественности, не была в силах двинуться с места, пораженная неожиданностью. Леди же Цецилия и не менее Алисы пораженный Генри сочли ее молчание и неподвижность за нежелание признать ее родней.

— Мама, дорогая, милая, не огорчайся. Если Алиса не хочет признать вас, я буду так любить вас, так заботиться о вас, что вы забудете, как отвергли вас сейчас.

— Да вы совсем с ума сошли, Генри, — закричала Алиса, бросаясь к леди Цецилии. — Тетя, тетя и еще раз тетя, всей душой желанная! Если папа искал вас и не нашел, то та, о ком он говорил как о единственной своей счастливой за всю жизнь встрече, отыскана лордом Бенедиктом не для драм и скорби, а для общего нашего счастья и любви. Папа, обожаемый папа все надеялся отдать вам свою любовь, вознаградить вас за ваши страдания, о которых постоянно думал. Он не успел. Но здесь, этот дом, бывший дом его возрождения, счастья и смерти, этот дом вернет вам не только племянницу, но и внуков, и друзей, и бодрость жить в радости. Тетя, не плачьте, я не могу этого видеть. Обнимите меня, принимая в моем лице всю любовь, которою любил вас папа.

Успокоив дрожавшую леди Цецилию, Алиса и Генри проводили ее в приготовленную ей комнату. Потрясенный непосильным трудом всей жизни организм бедной женщины едва справился к вечеру, при помощи целебных трав лорда Бенедикта, со всей путаницей новых дел, людей, происшествий, свалившихся сразу. На следующее утро первым лицом, постучавшимся к леди Цецилии, была Алиса. Личико ее, вчера такое бледное, сияло сегодня всей прелестью юности и свежести. Ласково, нежно поднимая тетку с постели, на которой она давно сидела задумавшись, Алиса попросила ее примерить принесенное платье, которое они с Дорией выбрали ей на сегодня, желая видеть ее в полном смысле красоткой.

— В таком случае, племяннице моей надо становиться спиной к публике, чтобы лица ее никто не видел рядом с моим, иного средства нет, и никакие костюмы мне не помогут.

Раскритиковав прическу тетки, которая по старой моде и по долголетней привычке сложила волосы тугими жгутами, Алиса занялась ее головой, болтая обо всем, не давая тетке задумываться о тревоживших ее вопросах.

— Вот что, тетя. Как бы вы ни были встревожены, раз вы попали в дом лорда Бенедикта, вы можете быть уверены, что вы уже не в кольце бед. Не стоит думать все об одном и том же тяжелом, потому что минуты бегут, а человек все сидит в печали и не видит того радостного, что эта летящая минута несет.

— Да, дитя, ты совершенно права. Но в течение всей моей жизни не было дня, когда бы я не помнила, не любила и не благословляла двух людей: твоего отца и моего сына. И ни того, ни другого я не умела сделать счастливыми.

— Не смею спорить, тетя, о том, чего еще не знаю в своем опыте, то есть о сыне. Но боюсь, что вы очень ошибаетесь, и все счастье, главное счастье Генри, именно в том и состоит, что у него были вы. Что же касается второго, то у меня до самого последнего времени только и было во всем мире три человека: отец, мать и сестра. Я их любила всем сердцем, как могла и умела... И ни одного из них не сделала счастливым. Это было трагедией моей жизни, раной, которая вечно кровоточила. И только здесь, подле великого друга, моего второго отца, лорда Бенедикта, я поняла и смысл своего страдания и цену всей жизни, а не только своей личной. Думаю, что лорд Бенедикт разъяснит вам все то, что было до сих пор от вас скрыто. И вы найдете здесь радость в себе, чтобы помочь целому кольцу людей вновь сойти на землю.

Леди Цецилия, тронутая любовью, звучавшей в словах племянницы, далеко не все поняла, о чем та говорила, но вопросов ей задать не пришлось, так как в дверь стучал Генри, нетерпеливо требуя, чтобы его впустили. После многих восторгов по поводу нового внешнего вида матери, многих удивлений о сходстве ее с Алисой Генри никак не мог понять, почему он сразу же не открыл их сходства. Все вместе спустились вниз, где леди Ретедли познакомилась с остальными членами семьи, которых не могла видеть вчера из-за своего недомогания. Красота Наль произвела такое сильное впечатление на леди Цецилию, что она даже оробела.

— Я вижу, леди Ретедли, моя красотка дочь пленила вас.

— Да, лорд Бенедикт. Должна признаться, что не только красота вашей дочери, но и еще что-то пленяет и страшит. Мне все кажется, что я не достойна здесь быть, — краснея до волос, сказала леди Цецилия. — Быть может, это результат моего слишком долгого одиночества, слишком долгой привычки скрываться. Я, вероятно, отвыкла от людей. Хотя, — прибавила она смеясь, ласково глядя на хмурившегося Сандру и добрейшего Амедея, — вот юного вашего друга, как он ни строго на меня смотрит, и лорда Мильдрея я вовсе не боюсь.

— Браво, леди Оберсвоуд! Вы попали не в бровь, а в глаз нашему ученому Сандре. Он считает себя первым другом вашего покойного брата и потому, ввиду важности события вашего приезда, считает неудобным быть естественно веселым и напускает на нас всю пыль учености.

— Пощадите, лорд Бенедикт, — взмолился расхохотавшийся Сандра. — Неужели вся моя ученость — одна пыль? Бог мой, я готов до конца дней дать обет не хмуриться от радости, только бы не носить мантии и парика книжной мудрости.

Быстро отдав кое-какие приказания, осведомившись, чем будет занят каждый из членов его семьи, отменив кое-что в порядке дня, лорд Бенедикт сказал, что объявляет свое право

хозяина показать гостье дом и парк, на что уйдет все утро до самого завтрака, когда он уступает право развлекать гостью всем остальным.

Первой комнатой, которую увидела леди Цецилия, был кабинет Флорентийца. Усадив ее здесь в кресло, хозяин подал ей великолепный портрет пастора, написанный красками Амедеем и передававший всю новую живую жизнь лорда Уодсворда. Невольно поток слез хлынул из глаз сестры.

— Боже мой, я все хранила в памяти лицо юноши с пламенными глазами. Ни разу я не подумала, что брат мой уже старик, седой, как и я. И ни разу не мелькнула у меня мысль, что немало морщин и седин прибавила этому лицу я.

— Плакать не свойственно вам, леди Оберсвоуд. Ведь вы так полны желанием перевести в дело всю эту энергию любви, которой вы лишили брата при его жизни. Выслушайте меня, но сначала ответьте мне на два вопроса. Во-первых, чувствуете ли вы себя в силах слушать, спокойно обдумывать и еще спокойнее решать? И во-вторых, верите ли вы мне так, чтобы ни в одном моем слове не усомниться? Подумайте, раньше чем дать ответ. Это очень важный момент вашей жизни. Он не менее важен и для целого кольца людей, часть которых вы знаете, часть совсем не знаете и не помните в данной жизни, но с которыми, тем не менее, вы тесно связаны.

Когда я спрашиваю вас, верите ли вы мне, то это значит не только вера в мою честь и доброжелательство. Но вера и в мои знания не одной данной, а и всех жизней человека, всех его кармических связей, всех его творческих возможностей и искупления в данное сейчас. Я вижу, что вы меня не совсем понимаете. Первое, что вам надо узнать, — это вечность жизни каждого существа, сходящего на землю. Земля — мир форм, где идеи, энергия, мысль, все, чем живет человек, непременно претворяется в форму. Все неосязаемое, невидимое, все самое высокое, чем живет человек на земле — пока он на ней живет, — все непременно и непрестанно претворяется им в форму, если он живет полезным членом своего общества. Всякий болтающий попусту, воздвигающий на словах памятники человечеству и не умеющий ни зашить дыру в платье своему другу, ни вылить свою любовь миром в самое простое дело обычного трудового дня, — только бесполезный нарост на человечестве.

Земля — мир действенных форм, мир труда. Здесь каждый человек должен проходить свой урок дня так, чтобы не требовать чего-то от людей, а нести им свою помощь. Вы были матерью, которая всю жизнь помогала сыну. Вы были слишком снисходительны, не упрекали сына за лень, невнимательность, невыдержанность и эгоизм. Вам казалось, что жизнь сама научит его великому искусству самообладания. В этом вы были неправы. Но это вопрос второстепенный в сравнении со всем тем, что вам надо понять и решить сейчас. Чудес нет. Все, что кажется чудом одному, — самое простое знание для другого. Мне, как и многим другим, удалось пройти в моих знаниях дальше тех людей, чьи мысли и сердца не были так пытливы. Из того, что открыто мне, я могу сказать вам сейчас не так много. Но и это немногое покажется вам чудом.

Человек живет в форме земной не раз и не сто раз, а столько, сколько требует его вечная эволюция к вечному и непрестанному совершенству. Этот путь у каждого свой, особый, индивидуально неповторимый. И тот, кто понял, что нет Бога иного, чем в себе носимый огонь творчества, что пока живешь на земле, все, чем можешь двигаться вперед, это только твой собственный текущий день, — тот не прозевал в пустоте того момента формы, то есть земной своей жизни, в которой живет свое сейчас.

Вы, не зная никаких философий мира, умели презреть все условное и раскрыть самое драгоценное в себе, чтобы вложить его в деятельность. Так или иначе, вы поняли законы

жизни. Вы отнесли свой дар любви не в ящик условно построенной жизни, но передали его как чистую, верную любовь всем тем, кто встречался вам на пути. Одного человека только вы обделили любовью, с одним человеком вы складывали отношения по условным законам земли, выключив их из орбиты вечности, — с вашим братом. Не будем говорить о том, как много страдали вы, как много от такой вашей тактики страдал он, — перейдем к сути дела. К вопросу: можно ли отдать человеку тот долг любви и забот, в котором перед ним остался навек, как говорят люди, если этот человек разлучен с тобой смертью? Я уже сказал вам, что человек живет много раз. Есть такие, особо возвышенные, души, над которыми реет и любовь, и помощь, и заботы такого большого кольца людей — невидимых людям земли помощников, — которые складывают им, вперед учтя все возможности наилучших условий для их развития, новый путь на земле, готовя им заранее место воплощения. Если дух человека чист, велик и самоотвержен, нужен земле как помощь и мудрость, то те его друзья, которых религия зовет святыми и ангелами, а мы зовем владыками карм и невидимыми помощниками, подбирают ему семью, где он и воплотится.

Сейчас вашему брату такое кольцо его друзей подобрало будущую семью. Оно же привело вас ко мне, так как эта семья будет ему создаваться в моем доме, с моей помощью. Будущая семья вашего брата — это Алиса и лорд Амедей. Их первенец будет не кто иной, как ваш брат. Вам предоставляется возможность отдать весь остаток сил и жизни не только первому ребенку Алисы и Мильдрея, но и всем их детям. Хотите ли вы этого, леди Цецилия? Если вы этого хотите, вы должны духовно собраться, должны, в полном самообладании, дать два обета. Первый — обет полного и беспрекословного повиновения мне, так как только им одним вы можете выразить свою полную верность взятой на себя задаче. Второй — вы должны дать обет полного целомудрия и безбрачия.

Вы рассмеялись, так невероятно показалось вам выйти замуж сейчас, после чистой и долгой жизни в одиночестве. И тем не менее, обет этот должен быть вами произнесен, так как за каждым поворотом жизненной дороги человека его ждут *его* испытания. Я писал вам, что у вас есть еще племянница, старшая дочь пастора, Дженни. Дженни и ее мать всю жизнь терзали пастора склонностью ко злу. Пока он был жив, он защищал их своей чистотой от полного окружения злыми. Теперь, увы, они широко раскрыли свои сердца и мысли злу, целому их ужасному кольцу, и спасти их сейчас уже никто не может.

В их головах зреют всякие адские замыслы, как отнять ваш и Алисы капиталы и дом. Начнут они с суда и официальных каверз, а кончат соблазнами вам и Алисе блестяще — по их мнению — выйти замуж. Я вполне уверен в вас. Но не от меня зависит выбор ваших обетов Вечности. Их ставят вам те, кто выше меня, но выбор *ваш* совершенно свободен. Никто, ничем, никак вас стеснить не может. Вы можете не спешить дать мне ответ. Если он будет отрицательным, на вашем внешнем благополучии он никак не отразится.

Леди Цецилия встала со своего места, подошла к креслу Флорентийца и опустилась на колени:

— Мне нечего выбирать, Великий друг Флорентиец. Я ничего не знала и не знаю. Но из того, что вы мне сказали, я принимаю все до конца. Я не знаю, кто вы, но сердце мое назвало вас Великой Рукой. Таковы вы для меня в эту минуту, таковым останетесь и впредь. Перед алтарем Бога живого я произнесла один только обет верности — верности мужу. Я его сдержала легко и просто. Перед лицом того же Бога, которому служу, как умею, я даю вам те два обета, о которых вы сказали. Я буду повиноваться радостно всему, что будет вам угодно мне приказать. Я не вступлю в новый брак ни с кем, хотя бы кто-то говорил мне, что я этим спасу его жизнь. Я хочу отдать труд и жизнь не только брату, но и всем детям Алисы, и всем тем, кого вы еще укажете мне. Я пойду всюду, так и туда, как вы укажете мне.

— Встань, друг, встань, новая душа, готовая к жизни самоотверженного сострадания. Не важно быть выдержанным и спокойным, когда все благополучно. Растет дух человека только в борьбе и грозах, в страданиях выковывая выдержку. Помни, друг и сестра, только одно отныне: Радость — сила непобедимая. Нам предстоит небольшая борьба с темными силами. Наше участие в ней будет небольшое, мы уедем и оставим всю главную борьбу на великого мудреца Ананду, которого ты чтишь. Пойдем отсюда. Храни все, что я сказал, в тайне и возьми этот браслет, что оставил тебе пастор. На нем из зеленых камней составлена надпись: «Любя побеждай».

Флорентиец обнял леди Цецилию, надел ей на руку чудесной работы браслет, который она поцеловала, как бы еще раз подтверждая свои обеты, и они вместе прошли в парк, где нашли на одной из уединенных скамеек печального и задумчивого Генри.

— Что же ты сидишь здесь один, Генри? — спросил Флорентиец.

— Ваши приказания я выполнил, лорд Бенедикт. Я обошел весь парк и, признаться, огорчился, не найдя в нем вас и мамы. Мне так хотелось побыть с вами и с ней, что я чуть не плакал. Зато теперь я так счастлив.

Голос Генри, всегда раньше резкий и сухой, звучал нежно и ласково. Взгляд его, открытый, смотревший прямо в глаза Флорентийцу, изумил леди Цецилию.

— Боже мой, Генри, где ты взял этот голос и этот взгляд? У меня даже сердце забилось. Ты сказал эти слова точь- в-точь, как мой брат Эндрью, твой дядя. Ты — типичный, вылитый Ретедли, но сейчас твой взгляд, твой голос были живым воплощением моего брата.

— Ретедли? — в полном изумлении сказал Генри. — Ты, мама, спутала имя от волнений последних дней, что я тебе принес.

— Нет, Генри, настало время тебе узнать, что ты — Ретедли. Сын Ричарда Ретедли, барона Оберсвоуд. Я тебе не могла сказать об этом раньше, так как отец твой, умирая, взял с меня слово, что я не вернусь в дом его отца до тех пор, пока дед будет жив. Дед умер очень скоро, через несколько дней после смерти твоего отца, не оставив завещания, как думали. Я пришла в дом к его матери, но меня там не приняли, оскорбили ужасно, сказав, что я не жена, а девок на свете много. Теперь выяснилось, что дед оставил мне весь капитал, которого он лишил Ричарда после ссоры с ним, но мать, зная все это, скрыла это от меня. Я была не в силах вынести оскорбление, я действительно вышла замуж за твоего отца против воли его родных. Я бежала ночью из родного дома с твоим отцом, но венчали нас, как венчают всех англичан, и ты — родной и законный сын Ричарда Ретедли.

Не дав опомниться онемевшему от изумления Генри, леди Цецилия продолжала:

— Это еще не все. У моего брата, о котором я думала как о великом и счастливом певце и который был пастором, оказывается, было две дочери. Одну из них мы знаем, Алису, нам предстоит узнать еще вторую — Дженни.

— Приди в себя, Генри, друг, — пожимая руку Генри и улыбаясь, сказал Флорентиец. — Тебе предстоит еще такая масса новых положений, что прежде всего я советую: подружись поближе с Алисой. Она все тебе расскажет о своей семье и об отце, а как тебе стать почтительным племянником лорда Джемса, думаю, этому тебя теперь не учить.

Навстречу трем собеседникам шли остальные члены общества, приглашая в дом к завтраку.

Леди Цецилия, как все цельные натуры, раз приняв решение, уже не знала никаких колебаний. Она ясно понимала свой дальнейший путь, и какие бы трудности ни предстояли ей, она знала, куда и к чему ей идти, и была спокойна.

Дни мелькнули — пора было ехать в Лондон. Лорд Бенедикт предложил леди Цецилии и Генри поселиться в его лондонском доме, чтобы не возиться с квартирами и обиходом и иметь, по возможности, больше времени быть подле него во все время сложых нотариальных дел по получению капитала.

На минуту леди Цецилия как бы запнулась, раньше чем дать свое согласие, но, вспомнив свои обеты, радостно улыбнулась и с благодарностью приняла предложение за себя и сына.

Вполне благополучно и весело совершился переезд всей семьи в Лондон. Каждый с благодарностью сознавал, сколько новых сил он вырастил в себе за это время жизни в доме Флорентийца, и любовь к нему единила их в еще большей дружбе между собою.

Глава 14

Джемс Ретедли и Лиза у лорда Бенедикта

Встретившись с Лизой, с одинаковым нетерпением ждавшей возможности поговорить без помехи родителей со своим женихом, капитан повез невесту в свой маленький коттедж, как он выражался. Маленький коттедж оказался прелестным, правда одноэтажным, но поместительным и уютным старинным особняком. Когда-то он составлял холостяцкую квартиру деда, желавшего отдать ее внуку Ричарду. Но после ссоры, вполне сознавая свою ошибку, упрямый дед все же завещал дом Джемсу, которому в то время было всего двенадцать лет. Дом так и стоял много лет заколоченным.

Когда капитан впервые вошел в него, на него пахнуло такой стариной, о которой сейчас и думать забыли в Англии, поддаваясь моде. Дед собрал в этом доме все самое лучшее, чем владели его предки из мебели, хрусталя, скульптуры и фарфора. Не только кусочек старой Англии, но много венецианских кружев и стекла, несколько исключительной художественной ценности картин и ковров, музейных столов и гобеленов нашел здесь капитан. Дом был на холме, окружен садом, и улица спускалась вниз, проходя мимо зелени садов. Правда, от центра дом был далеко, но капитан не сомневался, что Лизе он понравится, и решил поселиться в нем с женой.

Отделав заново некоторые из комнат, подновив другие в их старинном стиле, капитан был очень рад, что его родным не приходило в голову проведать дом ни разу за столько лет, хотя ключи были в их распоряжении. Леди Ретедли была поражена, когда узнала, что сын предполагает поселиться с женой в дедовском особняке.

— Да разве там есть что-либо ценное? Ведь дедушка говорил мне, что этот дом пустой.

— Ценное, мамаша, понятие растяжимое. На ваш и Ревекки вкус там, быть может, и нет ничего ценного. На мой и, надеюсь, моей будущей жены — там будет уютно и красиво, а главное, радостно.

Крайне недовольная, что не только ее покровительство будущим родственникам отклонено, но даже сам сын не спрашивает ни мнения, ни советов матери, леди Ретедли замолчала, всем своим видом выражая негодование и порицание. Однако, уверенная, что сына ее околдовала жадная невеста, благородная леди решила быть разумной и политичной, выказывая как можно больше внимания сыну, но всячески язвя и коля будущую родню и особенно невестку.

Капитан ни словом не обмолвился Лизе, как выглядит их будущее жилище. И девушка, хотя и знала своего жениха как натуру художественную, все делавшую красивым, к чему бы ни прикоснулись его ловкие руки, но ждала самого обычного трафарета, приличного дома. Она заранее обрекла себя на печальную участь дамы света, хотя сердце ее бунтовало и протестовало против той пустой и бессодержательной жизни, какую ей приходилось наблюдать в своей среде.

Дилемма любви к человеку и любви к искусству беспокоила Лизу. Здесь могло быть большое поле для размолвок и взаимных разочарований. Сердце Лизы часто болело, когда она думала о будущей замужней жизни. Но она не высказала Джемсу ни разу своих сомнений, и все они гасли, когда она видела его твердо смотревшие желтые глаза или замирала под его поцелуем.

В этом настроении и сейчас ехала Лиза с женихом. Но, как только он открыл входную дверь и Лиза очутилась в большом холле, с деревянным потолком, с огромными, старинными балками, с высокими, деревянными же панелями, потемневшими от времени, с колоссальным камином, где весело трещал огонь, где было много цветов в старинных вазах, — у нее вырвался крик восторга и, забыв все на свете, она бросилась на шею жениху.

Чем дальше шла Лиза со своим будущим мужем, тем яснее становилось ей, что он поймет все ее сердце, что у нее не будет тайн, что их не разделит ревнивой полосой ее искусство.

— Ну, теперь мы входим в твое святая святых, — сказал капитан, подводя Лизу к небольшой двери, которую скрывал редкий ковер. — Не знаю, угадал ли я. Понравится ли тебе этот уголок моей родины? Но я вложил в него всю любовь, все понимание художественного вкуса, на какое я способен.

Капитан открыл дверь, но ставни комнаты, куда они вошли, были закрыты, и Лиза не могла видеть ясно того, что ее окружало. Как только капитан открыл ставни и солнце ворвалось в комнату, Лиза увидела, что стоит в небольшой комнате, из которой идут двери направо и налево. По самой середине комнаты, на тяжелом, старинном постаменте, стояла белая фигура Будды, державшего в вытянутой руке чашу. Глаза фигуры смотрели прямо перед собой, точно приветствуя вошедших и прося подать ему в чашу все самое высокое, самое чистое со дна души. Пол был застлан светлыми японскими циновками очаровательной работы и тонов, и такими же циновками были затянуты стены. По углам и у стен стояло несколько низких диванов, небольших низких восточных столов с

инкрустацией из перламутра и таких же табуретов. Лиза смотрела в лицо встретившего ее Будды, которое сияло божественной добротой и состраданием, и по лицу ее катились слезы.

— Как мог ты знать, что я так глубоко чту Будду? Я ведь никогда никому не говорила, как преклоняюсь перед ним. Как я всегда мечтала иметь белого Будду! — прошептала она.

— Перестань плакать, дорогая. Я нашел это сокровище в одном из ящиков подвала, как и эти циновки. Я увидел в Будде символ величия человека, который хочет идти путем талантов и возможностей, что живут в нем. Я подумал, что если оба мы будем видеть перед собой эту чашу и нести в нее мир и пощаду — наша жизнь не будет пуста и бесцельна. И мир, и пощада будут литься из его чаши обратно в наш день через наши сердца.

Ты будешь трудиться и совершенствоваться в искусстве, будешь очаровывать сердца людей музыкой. А я буду трудиться, как умею и могу, в своем сером дне. И оба мы, видя перед собой эту эмблему милосердия, будем нести чашу любви и единить вокруг себя людей в красоте и чести. Не бойся меня, не бойся жизни вообще и не бойся жизни со мной. Перед этим великаном духа я обещаю тебе оберегать твою свободу и создать тебе дом, где бы тебе жилось легко, просто, весело. Но пойдем, дорогая, дальше. Это преддверие, твой же храм дальше.

Они прошли в комнату налево. Окна выходили в сад, и все в ней, от ковра, стен, люстр, занавесей, было белое. Посреди комнаты стоял рояль, покрытый белой старинной парчой, и в небольшом шкафу из саксонского фарфора и стекла стояла скрипка в старинном футляре.

— Скрипку эту я нашел в одном из стенных шкафов, всю покрытую пылью и паутиной, обернутую целыми стопами бумаги. Я разворачивал ее чуть ли не час, пока добрался до футляра. При ней была записка, написанная женской рукой, где говорилось, что тот, кто эту скрипку отыщет, может считать себя ее владельцем. Не будучи осведомлен в достоинстве скрипок, я вызвал знакомого мастера, которой сказал, что скрипке этой и цены нет.

Дольше Лиза выдержать искушения не могла и через минуту, забыв все на свете, кроме своей любви и великого облика Будды, заиграла свою фантазию. Почти пустая комната, с узкими белыми диванами, вся наполнилась звуками. Скрипка, точно человек, то плакала, то торжествовала, и голос ее напомнил капитану другой город, другой музыкальный зал, Ананду с его виолончелью и... человека его мечтаний, чудесно воплотившегося из мечты в действительность.

Капитан закрыл лицо руками. Мысли его улетели к Флорентийцу. Он вспоминал слово за словом их разговор в деревне, вспомнил картину в кабинете, где видел И. и Ананду в обществе еще кого-то, кого он не знал, и твердо, ясно понял, что без этих людей для него больше жизни нет. Звуки кончились. Капитан открыл глаза и увидел Лизу преображенную, Лизу моментов вдохновения. Но Лиза еще не видела ни его, ни земли вокруг себя. Она прижимала скрипку, как икону, к своей груди, и лицо ее носило выражение не то клятвы, не то молитвы.

— О чем ты думаешь, Лиза? — подходя к ней и обнимая ее, спросил капитан.

— Я молюсь, чтобы мы с тобой, под благословением этой статуи, что ты поставил здесь, прошли чистыми и добрыми тот кусок жизни, что нам дано пройти вместе, Джемс. Я молюсь, чтобы мы встретили в нашей жизни такого наставника, который помог бы нам

славить жизнь, украшать ее людям, как мы оба хотим этого сейчас, чтобы мы умели в жизни не плакать о себе и не забывать о других.

— У нас уже есть такой друг, Лиза, друг таких обаяний и совершенства, что только личное твое знакомство с ним может дать тебе о нем представление. Все слова бледны и бессильны, чтобы его описать. В понедельник мы с тобой поедем к нему завтракать. Ты ни о чем не беспокойся, все устроится так, что мы поедем вдвоем, и все, что только ты сможешь понять в доме друга, лорда Бенедикта, все проникнет в тебя навеки. Я уверен, что там ты найдешь тот духовный путь, ту творческую красоту, которые ищешь.

Уложив скрипку в футляр, скрипку, цену которой Лиза поняла с первых же звуков, она поставила ее снова в чудесный шкаф.

— И надо же было твоему деду собрать столько сокровищ в одном доме! Глаза разбегаются, я даже упомнить всего не могу, что здесь видела.

— Пойдем теперь обратно, посмотрим еще раз на божественного мудреца, — взяв Лизу под руку и уводя ее из музыкального зала, сказал капитан.

Они подошли к статуе. Теперь Лизе казалось еще более прекрасным лицо Будды. Казалось, сейчас уста откроются, и он заговорит. Ей представился мир с его войнами, преступлениями, местью, жадностью, борьбой. Представилась смерть, о которой царский сын, будущий нищий и, наконец, Будда не должен был ничего знать. Представилась жизнь его юности в садах удовольствий, где он не видел старых лиц, не знал о старости и болезни, — и вот он выбрал сам себе удел санньясина и стоит здесь, вечный и милосердный, провозглашая миру свободу и пощаду.

Лиза и Джемс тесно прильнули друг к другу. Они точно венчались сейчас здесь, давая обет верности и любви перед этой дивной эмблемой и видя в ней для себя единственный чистый путь к чистой и честной жизни.

— Направо, Лиза, твоя спальня. Мы не войдем в нее сейчас. Мы войдем туда как муж и жена, чтобы никогда не переступать ее порога в ссоре или раздражении. Пусть великий образ этого искателя божественной истины будет нам тем источником доброты и мудрости, где мы будем находить силы для каждого следующего дня.

Сойдя вниз и посмотрев на часы, они увидели, что пропустили все обещанные сроки возврата, и помчались к графам Р. Старики хотели было начать с выговора, но, увидев, как преображены счастьем лица молодых людей, весело рассмеялись и изменили только план своих действий. Сначала — визит к леди Ретедли, потом — осмотр дома.

Визит к будущей свекрови, которого так боялась Лиза, теперь уже не казался ей страшным, но стал казаться просто формальностью, тем более что она отлично чувствовала суть отношений сына, матери и сестры. О сестре она меньше всего думала, так как капитан говорил ей иногда в юмористическом тоне о Ревекке, об ее ожиданиях заморского принца, так и не явившегося по сей час за соблазнительной невестой.

Леди Ретедли попробовала встретить покровительственно своих будущих родственников, но наткнулась на такую стену высокой гордости, кроме того, граф так засыпал ее именами своих высоких друзей из высочайшей аристократии, которые будут на свадебном обеде его дочери, что леди Ретедли, и не мечтавшая о таком обществе для себя и Ревекки, сразу изменила тон. По свойственной ей бестактности, она пересолила и здесь, что не особенно было по вкусу графине Р.

Всегда любя музыку, вращаясь в кругу выдающихся людей всю свою молодость, графиня Р. не переносила мещанских по духу семей. Мать будущего зятя произвела на нее отталкивающее впечатление, и она радовалась такту и любви капитана, устроившего Лизе совершенно отдельный дом. Теперь ей не терпелось увидеть поскорее этот дом и вырваться из атмосферы банальности леди Ретедли. Перед самым отъездом едва не разыгралась неприятная сцена. Ревекка, узнав, что брат везет своих будущих родственников смотреть новый дом, захлопала в ладоши и запрыгала, как восьмилетнее дитя, выражая страстное желание за себя и мать присоединиться к графам Р. У тех вытянулись физиономии, но капитан категорически заявил, что ни мать, ни сестра не войдут в его новый дом до свадьбы. Когда будет первый прием гостей молодыми у себя, приедут и они, но не раньше. Если не было охоты видеть, как он перестраивал дом, — они увидят его только в полном блеске, когда хозяин и хозяйка будут уже в нем жить. Тон капитана, тот новый тон, к которому ни мать, ни сестра никак не могли привыкнуть, был очень любезен, но категоричен. Пришлось покориться, сдерживая внутри злость и любезно улыбаясь внешне.

Лиза торжествовала. Она везла своих родителей к себе в дом, совершенно ясно чувствуя себя хозяйкой нового жилища. Не сговариваясь друг с другом, оба решили про себя не вводить никого в Лизин уголок, а после ряда комнат, через другую дверь, ввести родителей прямо в музыкальный зал и этим закончить осмотр дома. Старики были восхищены и домом, и садом, и обстановкой. Графиня-мать радовалась уединению дома, но отец находил, что для молодых людей было бы лучше жить ближе к центру. Возвратившись в отель, выработали программу дня на завтра, и оба старика были чрезвычайно польщены предстоящим визитом к лорду Бенедикту, о котором они уже успели услышать как о новом чуде лондонского общества.

Следующий день пролетел для Лизы и Джемса так быстро, что они едва успели урвать время, чтобы несколько минут постоять у статуи белого Будды, без которого, как казалось теперь Лизе, она уже жить не может. В воскресный вечер, после подробного обсуждения во что и как все Р. оденутся, чтобы быть безукоризненными в доме лорда Бенедикта, причем капитан делал дамам такие юмористические наставления, что все весело смеялись и, в свою очередь, добродушно язвили его, графиня несколько раз пожаловалась на легкую головную боль. Но так как у графини вообще всю жизнь было плохое здоровье, то никто не увидел в этом ничего, кроме простой мигрени. Весело расставшись с женихом, все разошлись по своим комнатам. И так же весело, легко, радостно вскочила Лиза с постели на следующий день. Она спала всю ночь очень крепко, проснулась с сознанием какого-то небывалого счастья, уверенности в себе и в первый раз почувствовала себя по-новому взрослой, по-новому самостоятельной и готовой к жизни.

«О, я в силах все победить! Я знаю сейчас, какое величие жизнь человека и какими чудесами она полна. О, мой белый Будда, как многим я тебе обязана, — думала Лиза, — те минуты, что я простояла у твоей чаши, великий мудрец, раскрыли мне, что в жизни не может быть такого явления, как смерть. Ты не умер, ты — Вечность. А значит и всякий, за Тобой идущий, тоже Вечность. И моя скрипка тоже частица Вечности».

Лиза была уже совсем готова, но не хотела идти к родителям, так необычайно светло она себя чувствовала. Всеми мыслями она прильнула к чаше Будды и несла в нее свою скрипку и свою любовь, молясь, чтобы светлое состояние духа, в каком она находилась сейчас, никогда не омрачалось для ее искусства и любви. Ничто ей сейчас не казалось страшным. Она поняла, что жизнь вечна, что тот день, который она живет сегодня, — это минута творчества. И творчество вечно, значит, и эта минута, в огне творчества прожитая, не может быть не чем иным, как мгновением вечного творчества, Вечной Жизнью.

— Как хотелось бы мне, — шептала Лиза, — приносить мои звуки людям такими чистыми, такими любовными и утешающими, как будто бы я вынула их из чаши Будды.

Стуком в дверь были прерваны ее грезы. Стучал граф, взволнованный и раздосадованный. У графини к утру поднялся жар, кашель, насморк, и о поездке их к лорду Бенедикту нечего было и думать. Лиза тотчас же прошла к матери, очень огорченной своей неожиданной болезнью и еще больше раздосадованной невозможностью поехать к очень ее интересовавшему лорду. Привыкнув видеть в Лизе девочку, которой не полагается быть самостоятельной и которая не может ехать никуда без отца или матери, графиня принялась уговаривать дочь ехать с отцом и оставить ее одну. Граф, не стеснявшийся в России покидать свою жену на очень долгое время, здесь не расставался с нею ни на шаг. Он категорически заявил, что они не поедут, что лорду Бенедикту будет извещение о болезни графини, а дети посидят тоже дома.

— Это совершенно невозможно, папа. Лорд Бенедикт ближайший друг Джемса, которым он очень дорожит и которого чтит не меньше, чем мог бы чтить отца. Я знаю, что вся семья лорда переехала из деревни раньше времени, чтобы познакомиться со мной. Я знаю, что на этом завтраке, даваемом в честь меня и Джемса, будут присутствовать люди, от которых будет зависеть многое в судьбе Джемса. Мама не больна, а только нездорова, и мы возвратимся скоро. Если вы, папа, не хотите ехать, мы поедем с Джемсом вдвоем. Ехать нам необходимо, и мне немного странно, как вы, решаясь отдавать меня замуж, не решаетесь предоставить мне самостоятельности в таком маленьком деле, как завтрак.

Оба супруга были так поражены решительностью Лизы и ее желанием, выраженным в такой категорической форме, что даже не нашлись, что ответить, но оба были явно недовольны ее самостоятельностью. Графиня точно от сна очнулась и стала впервые понимать, что у дочери есть уже своя жизнь, где ей места быть не может. Каждый из троих таил свои мысли, и, будучи слишком воспитанными людьми, чтобы говорить неприятности, все держали себя внешне спокойно, но у стариков горечь заливала все остальное. Как бы то ни было, в назначенный час Лиза и капитан Ретедли входили в дом лорда Бенедикта.

Лиза была приготовлена капитаном, кто и что ее ожидало в доме и семье Бенедикта. Но она растерялась не только от первого же взгляда хозяина, но и каждое новое лицо, с которым он ее знакомил, заставляло ее все больше смущаться. Застенчивость, свойственная ей всегда, на этот раз дошла до такого предела, что ей самой становилось уже невыносимым ее скованное состояние. И именно в тот миг, когда она дошла до изнеможения, она почувствовала на себе

взгляд лорда Бенедикта, который встал со своего места и, опустившись в кресло рядом с нею, спросил о здоровье матери. Слово за слово разговор перешел на Лондон, на музыку, и через десять минут от стеснительной застенчивости Лизы не осталось и следа. А все окружающие ее лица, казавшиеся ей такими особенными, теперь стали простыми и достижимыми. Вначале, пораженная целым кольцом красавиц, Лиза законфузилась своей внешности. На самом же деле, в своем светло- сером костюме с отделкой цвета резеды, с бледным личиком, на котором горели глаза отмеченного темпераментом и талантом существа, вдохновляемая любовью и счастьем разделенной привязанности, Лиза была не только мила, но не могла остаться незамеченной в любом кругу красавиц. Тонкая фигурка и полные грации движения делали весь ее облик гармоничным и исключительно изящным. Ее голос, металлический и вибрирующий массой разнообразных интонаций и оттенков, приятного тембра, решительный, довершал цельность впечатления. От той девочки, которую И. и Левушка встретили в пути еще так сравнительно недавно, и следа не осталось.

Флорентиец спросил Лизу, не певица ли она, она засмеялась — точно колокольчик зазвенел — и сказала, что, к большому огорчению отца, она и певица, и скрипачка, но и то, и другое еще только в любительской фазе.

— О, тогда у вас есть здесь соперница. Моя приемная дочь тоже певица, но не скрипачка, а пианистка, и тоже любительница. Если бы вы захотели доставить нам удовольствие, вы не отказали бы нам сыграть что-либо с Алисой. Мы все давно не слышали скрипки и были бы вам благодарны за час отдыха в музыке.

— Играть я так люблю, что рада каждому случаю, когда могу коснуться скрипки. Но сегодня у меня так много «но», что я едва ли решусь играть.

— Ну, а если я угадаю все ваши «но» до самого последнего — согласитесь ли вы тогда играть?

— Это так невероятно, чтобы вы могли угадать все до единого, лорд Бенедикт, что я даже не решаюсь принять такое условие.

— Первое ваше «но», что вы давно по-настоящему не занимались. Второе, что вашей скрипки здесь нет, а моя понравится ли вам — вы не знаете. Третье — вы только что держали скрипку, перл старинного мастера, подаренную вам влюбленным в вас человеком. Четвертое — у Будды...

— О, ради всего святого, — вскрикнула вскочившая с места Лиза, — я не знаю, что вы хотели сказать, — задыхаясь, продолжала она, — но слово, которое вы начали, привело меня в восторг и ужас одновременно.

— Если бы я не был прерван столь внезапно, я бы сумел дойти до вашего пятого и шестого сомнений, — улыбался Флорентиец.

— Нет, нет, я вижу, что мне уж лучше согласиться играть. Я еще не знаю, найдем ли мы контакт с мисс Алисой и знаю ли я вещи, которые знает она, но, пожалуйста, дальше не угадывайте.

Лиза старалась овладеть собой. Ей была тяжела вспышка перед лордом Бенедиктом, особенно в присутствии жениха, так образцово владевшего собой всегда. Лиза даже не решалась посмотреть в его сторону, как вдруг увидела его перед собой.

— Если вы желаете играть на вашей старинной скрипке — я привезу ее вам, Лиза, сию минуту. — Голос капитана был так нежен, ласков и любящ, каким Лиза еще ни разу его не слыхала.

— Не беспокойтесь, капитан, — вмешался Флорентиец. — У меня есть здесь скрипка Ананды, которую он оставил мне на хранение. Я думаю, чистые руки вашей невесты достойны прикоснуться к такой драгоценности. А вам, — продолжал он, повернувшись к Лизе, — прикосновение к смычку и грифу, которых касались руки великого мудреца и музыканта, поможет выполнить то четвертое «но», которое вы не дали мне высказать.

Слуга вошел звать завтракать, чем дал Лизе немного овладеть собой от изумления, восторга, детской радости и робости, которые внушал ей красавец хозяин. Подав ей руку, лорд Бенедикт повел ее к столу. Положительно все в этом доме ее поражало своей необычайностью. Хотя у себя дома Лиза была приучена к прекрасной сервировке и красиво накрытому столу, всегда украшенному цветами, так как дед — большой любитель фарфора и цветов — сам составлял букеты, но в доме лорда Бенедикта она не знала, кому и чему отдавать предпочтение. Лизе казалось, что все вокруг нереально, что Наль — это сказочная принцесса ее собственного сна, что вот она проснется — и Наль не станет.

Алиса представлялась ей феей, а Николай и сам лорд Бенедикт — заколдованными царевичами. Пока она шла в столовую, она раза два сильно оперлась на руку хозяина, точно желая проверить самое себя. И оба раза чэдное и чуднуе чувство спокойствия, почти блаженства, разливалось по всему ее существу.

Все страхи Лизы, ее застенчивость и робость постепенно исчезали. Сидя подле ласкового хозяина, видя против себя своего жениха, Лиза думала, что за всю жизнь она, пожалуй, не была так счастлива, как сейчас. Какое-то величавое спокойствие, еще не испытанное ею равновесие и вместе с тем вся полнота сознания себя творчески целым существом по-новому освещали ей жизнь.

— Жизнь — это не отрезок качеств и сил, включенных в человеке из всей вселенной, — услышала она слова лорда Бенедикта. — Жизнь человека на земле — это та частица вселенной, которую *он мог* вобрать в себя, в себе *творчески* обработать, очистить страданиями и вылить обратно во вселенную, чтобы помочь ей двигаться вперед.

Наша гостья будет нам играть сегодня. Мы будем слушать. Но если ее дух не будет гореть огнем неугасимой любви к ее искусству, мы останемся холодными наблюдателями. Мы будем разбирать ее тон, ее руки, лицо, ее мимику. Мы будем видеть только ее, и наши глаза не проникнут в закрытое царство радости того общения в красоте, которое одно только и ценно и необходимо людям. Если Фидий оставил нам свое имя, которое не затмил ни один скульптор, то это только потому, что, творя фигуру для земли, он не о земле думал, а нес свое небо скорбящей земле. Наша гостья все еще стеснена нашим обществом. Но, я уверен, как только пальцы ее коснутся заветной скрипки — она забудет о нас и понесет свое счастливое небо в наши сердца.

Флорентиец ласково и ободряюще смотрел на смущенную Лизу.

— Если бы подле вас, лорд Бенедикт, я не испытывала совсем неизвестных мне до сих пор чувств, я бы не могла, по всей вероятности, издать ни звука после ваших слов об искусстве. Но сейчас, подле вас, в меня вливаются и уверенность, и дерзновение. Я не боюсь больше играть перед вами, а наоборот, мне кажется, что только сегодня я начну играть не по-ученически. Быть может, это слишком дерзновенно так говорить, но так чувствует моя душа в эту минуту.

Завтрак кончился, все встали вслед за хозяином. Если бы Лизу спросили, что она ела и пила и был ли вообще завтрак, она вряд ли сумела бы ответить на этот вопрос. Для нее существовали какие-то отдельные минуты, отдельные слова лорда Бенедикта и лицо человека, в которого она была влюблена. Все остальное тонуло в том огне желания играть и в такой — еще никогда не испытанной — жажде творчества, которые ей открылись сегодня и сжигали ее своим огнем. Лорд Бенедикт подвел Лизу прямо к роялю, куда подозвал и Алису. Пока девушки сговаривались, что им сыграть, он принес футляр из своего кабинета. И футляр, и несший его человек были необычны. Футляр был квадратный, из очень светлого, пожелтевшего от времени дерева. Небольшим старинным ключом лорд Бенедикт открыл его. Раньше чем поднять крышку, он посмотрел на Лизу, говоря:

— Я еще раз повторяю вам, Лиза, что скрипка эта принадлежит теперь моему другу, большому мудрецу Ананде. Это не только мудрец, это принц среди обычных людей. Это чистая доброта и такая сила любви, перед которой и Везувий утихает. Соберите всю вашу любовь, такую сейчас чистую и счастливую. Играя на этой скрипке, несите в чашу Будды ваши звуки, и пусть они из нее прольются обратно миром и силой всем скорбящим на земле.

Он открыл ящик и подал Лизе большую старинную и удивительно пропорциональную скрипку. Дрожа от радости, Лиза взяла инструмент, попробовала строй, удивляясь, что он точен и, переглянувшись с Алисой, стала ждать первых звуков сонаты. В это короткое мгновение у Лизы мелькнули десятки мыслей и сомнений, что и кого она найдет в пианистке. Взглянуть на Алису она уже не могла. Все ее силы перешли в руки, которые казались ей легкими, свободными, точно их зарядили электрическим током. Алиса, под устремленным на нее взглядом Флорентийца, преобразилась более обычного, и ее первые звуки, неожиданно для Лизы глубокие и мощные, заставили ее выпрямиться, вздрогнуть, и когда она ударила по струнам смычком, ей самой показалось, что она зацепила все сердца присутствовавших.

Часть за частью шла соната, и вдруг Лизе показалось, что за ее спиной растет какая-то новая сила, которая ей помогает. Руки ее стали еще легче, звук сильнее, сама скрипка одухотвореннее, и не мозг, не память ведут ее пальцы, а из самого сердца идет к ним ток. Почти не сознавая, где она и кто подле нее, Лиза кончила сонату.

— Теперь, Лиза, попробуйте сыграть нам свою фантазию, — попросил лорд Бенедикт.

Все так же мало сознавая действительность, Лиза стала играть свою фантазию, ту песнь торжествующей Любви, которую играла в новом доме капитана, вдохновясь образом Будды. Сейчас ей казалось, что она слышит какой-то новый оттенок в струнах, точно они шепчут ей: «Ты играй для земли, для людей. Ты не думай о себе, но думай о людях, для радости которых должна жить твоя песня. Играй только тогда, когда сердце чисто». Сила, помогавшая ей сейчас играть, слилась с ее руками, сердцем, окутав всю ее атмосферой счастья. И Лиза кончила свою фантазию таким порывом страсти, что даже физически почувствовала изнеможение.

Когда она пришла в себя, ее потянуло оглянуться. Ее взгляд встретился с незаметно вошедшим в комнату новым гостем. Посреди комнаты стоял Ананда. Все глаза были прикованы к этой античной фигуре, к этим глазам, испускавшим лучи. Все были поражены бесшумно проникшим к ним неизвестным гостем, и только Флорентиец и Николай без всякого удивления радостно подходили к нему с разных концов огромной комнаты. Флорентиец заключил гостя в свои могучие объятия, и тот, казавшийся за мгновение таким высоким, показался вдруг не особенно большим рядом с колоссальным ростом хозяина. После первых приветствий лорд Бенедикт представил всем присутствующим своего нового гостя, назвав его своим другом Сандрой Кон-Анандой.

Первыми познакомились с ним обе юные музыкантши. Взяв руку Лизы в обе свои руки, Ананда оглядел комнату, как бы кого-то ища.

— Ты, конечно, ищешь другую половину яблока, — лукаво усмехаясь, сказал Флорентиец. — Вот он, храбрец капитан, спрятался за моей спиной. — И Флорентиец выдвинул Джемса, лицо которого было таким растроганным и взволнованным, каким Лиза не считала даже возможным его увидеть.

Ананда взял руку капитана, положил ее на руку Лизы, которую держал в своей, и сказал Джемсу своим особенным, неподражаемо ласковым, металлическим тоном:

— Когда я говорил вам об этой минуте в Константинополе, она казалась вам немыслимой фантазией. Теперь я спокойно соединяю вас с этой чистой душой, зная, что в ней для вас сохранится огонь радостной любви до конца ее и ваших дней. Все остальное, друг, неважно. Сейчас важна только задача новой семьи, в которой так нуждаются и так ждут чистого места для своего воплощения чудесные, высокие души. Помните об этом, и вы выполните то, что обещали мне в Константинополе. А я буду всегда помнить, кому обязан

так многим, кто вернул мне украденное кольцо дяди. Вы же, дорогая, — обратился Ананда к Лизе, — выполните только один мой завет: всегда, везде *утверждайте* и научите своих детей понимать свою современность, приняв ее, и никогда не отрицать.

Искусство поможет вам воспитать своих детей. Оно будет им второй матерью. Не верьте тем, кто будет говорить вам, что искусство и семья несовместимы. Не делить надо свою любовь между семьей и искусством, но сливать их воедино, отражая в себе всю вселенную, как единую вечную Любовь, в которой семья и труд для нее, общественный труд и искусство с его трудом — все лишь аспекты этой Единой Любви, живущей в нас. Играйте. Играйте всюду и везде, как можно больше. Играйте большим толпам народа, сбросив с себя предрассудок: «Выступать на подмостках». Но играйте всегда даром, отдавая все деньги от ваших песен беднякам.

Ананда повернулся к Алисе, слушавшей его с тем вниманием, что граничит с благоговением.

— Вам, мой друг, также дано утешать людей музыкой. Вы будете еще молоды, когда будете выступать сами вместе со своими детьми. Откиньте робость, идите с той непреклонной волей, которую передал вам отец. Ничего и никогда не бойтесь. Я еще буду с вами говорить.

— А вот я тебе, Ананда, у самой двери изловил эту парочку беглецов, — со смехом подвел Флорентиец Генри и его мать к Ананде.

— Неужели же, Генри, ты был бы способен еще раз бежать от меня?

— Простите нас, — тихо сказала леди Цецилия и — чего никто не мог ожидать — опустилась на колени перед Анандой. — Мы оба так виноваты перед вами. Не сын виноват, но мать, не сумевшая воспитать в нем самообладания, — поднятая Анандой, склонясь к нему на плечо, продолжала леди Цецилия.

— Полноте, дорогая. Генри славный малый. Если в нем раньше слишком бурлили страсти, то сейчас он уже так вырос в своей чести и цельности за время жизни у нашего друга и Учителя Флорентийца, что о прежнем сумбурном мальчике и помина нет. Генри, мой добрый сынок, твои испытания зрелого, честного сердца только еще начинаются, а не кончились, как ты думаешь, — с неподражаемой добротой говорил Ананда. — Много тебе предстоит испытать. Но ты не один, у тебя не только Флорентиец и я. У тебя еще целое кольцо людей-друзей здесь, и каждое сердце всех тех людей, кого ты видишь в этой комнате, — все сердца, связаны с тобой многими веками труда и любви.

Правда, до сих пор ты доставлял нам всем немало забот и беспокойств. Но сейчас в тебе уже созрело мужество отдать самому себе отчет в своих поступках. Созревай же дальше, друг, вскоре тебе представится случай проявить героизм сердца и всю правдивость его.

Дальше Ананда, радостно и счастливо приветствуемый Николаем и Наль, сказал ей:

— Вы знаете меня давно заочно, как и я вас. Теперь нам довелось встретиться и уже никогда не забыть, где, как и когда мы встретились. Ваш дядя Али и тот, кого вы теперь зовете отцом, — мой великий друг Флорентиец — мои извечные наставники. Я всем сердцем приму всех ваших детей в свои ученики. И хотел бы для вас только одного, чтобы вы, готовя к жизни детей, были сами бесстрашны за их судьбу. Нет сильнее талисмана и защиты для детей, чем бесстрашная любовь матери.

Окруженный всеми присутствующими, Ананда прошел в кабинет Флорентийца, где сказал Амедею, Сандре и Тендлю, каждому в отдельности, по несколько слов. Он сказал

их так тихо, что никто из остальных их не слышал, но лица всех троих засияли, что ясно видели все.

Через некоторое время, когда Ананда рассказал, что неожиданно для него получил известие от своего дяди о новых каверзах Браццано и приказ выехать немедленно в Лондон, лорд Бенедикт отпустил всех своих гостей, чтобы переговорить с Анандой наедине и дать ему отдохнуть. Прощаясь с Лизой и капитаном, Флорентиец ласково напомнил обоим об их новой жизни и новой психике, в которой они должны вести свои дни и особенно встречать каждый расцветающий день.

— Я буду завтра у вас, Лиза, вместе с Алисой, Наль и Николаем. Я знаю необычайное хлебосольство и самолюбие в этом вопросе вашего отца и потому даю вам право «по секрету» выдать наш завтрашний визит. Вы же, Джемс, не беспокойтесь ни о чем. Я помогу вам миновать угрозу помпезного обручения и венчания, точно так же, как и угрозу путешествия родителей за вами в Америку. Будьте счастливы, в добрый путь.

Оставшись вдвоем с Анандой, лорд Бенедикт передал гостю, что в дело о завещании пастора уже вмешались друзья Браццано, которых прислал к пасторше один из друзей ее юности и непосредственный друг Браццано из Константинополя.

— Не только те, кто уже прислан, — отвечал Ананда. — Но на одном со мною пароходе приехали еще двое. Эта парочка получила точное задание: похитить Алису. Пасторша в переписке со своим другом ясно характеризовала своих дочерей, со свойственной ей откровенностью. Для адских замыслов Браццано нужна девственница чистейшего сердца. Я не был узнан этими негодяями. Полагая, что я не понимаю языка, они откровенно болтали и о плане женитьбы на обеих сестрах двух присланных юнцов, и об увозе Алисы немедленно после венчания. Подкупить они, конечно, могут пол-Лондона. Я не составил пока плана действий и приму все ваши приказания. Нет ли надежды спасти пасторшу и ее дочь от ужаса, в который они лезут?

— Я испробовал все средства, Ананда. Им сейчас спасения нет. И мать, и дочь так устойчиво и давно раскрыли сердце злу, что в данную минуту на всех их страстях висят прочные приманки, навешанные константинопольскими друзьями. Их жажда роскоши, их желание блестящей жизни — все использовано и разожжено до пламени. Пока обе несчастные не дойдут до дна, ни одна из них не опомнится. Но я думаю, что дно пасторши ближе и мы с тобой еще сможем попытаться вырвать ее у шайки злодеев. Что же касается дочери, то там слишком глубоко лежит связь с Браццано. Свои путы она сама затянула, отвергнув дважды мой зов.

— От тех же пароходных спутников я узнал, что план составлен так, чтобы взять Дженни как бесплатное приложение к Алисе, которая и составляет всю цель. Несчастная Дженни, — прошептал Ананда.

— Да, весь план нашел пламенного слугу в пасторше. Она пойдет на все, чтобы вырвать Алису из моих рук. Нам с тобой, Ананда, предстоит встреча в судебной конторе с нею, Дженни и с теми двумя молокососами, которые сейчас уже, конечно, в полном распоряжении вновь присланных им союзников. Не может быть и речи о малейшей угрозе Алисе. Но тех, кого я тебе здесь оставлю — Сандру, Тендля, — тебе, Ананда, придется защищать, так же как и бедного адвоката. На них падет все бешенство и злоба врагов. Мой дорогой друг и брат, — обнимая Ананду, продолжал Флорентиец, — который раз в этой жизни ты принимаешь на себя тяжесть борьбы со злом, тяжесть за чужие грехи и поступки, развязывая путы страшных карм людей. Да будут благословенны дни твои! Да будут вечным светом и спасением пути твоего труда для людей!

Точно сноп солнечного света лился от Флорентийца и окутывал Ананду со всех сторон.

— Немало мучительных минут придется тебе пережить здесь еще раз, мой друг, в новой фазе борьбы с шайкой Браццано. Твоя божественная доброта, путем которой ты идешь в служении людям, заставила тебя пожалеть негодяя. Ты полагал, что у гада вырваны ядовитые клыки, он дал слово чести оставить темный путь. Ты поверил. Ты забыл, что нет чести у бесчестного. Ты его пожалел, применив меру личного восприятия момента. Но ты упустил из вида, что закон мировой пощады требовал полного уничтожения гада. Снова и снова ты принял в свои силы муку погибшего сердца, мой светлый друг. И теперь, не смея ослушаться выше меня идущих, я принужден предоставить тебе одному борьбу со сплотившейся вновь шайкой. Да к тому же подкидываю тебе еще двух юных и неопытных моих приятелей. Они мужественны и бесстрашны, но не закалены в воле и послушании.

— Великий мой наставник, — с сияющим лицом ответил Ананда. — Я сам выбрал путь доброты, я сам выбрал путь помощи строптивым, не умеющим воспитывать в себе дисциплину и мудрость послушания иначе, как путем самостоятельного развития опыта и воли на ряде ошибок и падений. Я сам выбрал тот путь, где почти каждый ученик приносил мне скорбь обратных ударов. Но я их принимал как радость, и почти во всех случаях люди находили путь освобождения и любви. Во всех же тех случаях, где я не мог победить их любовью, твоя могучая рука, Учитель, приходила мне на помощь. Ни разу я не был оставлен тобой, и даже в более мелких случаях, вроде Генри и Дории, и здесь твои такт и мудрость помогали мне. Если я не понял, как должен был поступить с Браццано, — я знаю, что сейчас ты дашь мне точный план, и где я не пойму до конца твоих приказаний, я буду им радостно повиноваться. А потому я совершенно уверен теперь в полной и точной победе над злом, хотя бы вся видимость говорила обратное.

— Будь еще раз благословен, мой друг и сын Ананда! Да будешь ты живым примером света всем твоим встречным! Кстати, тебя ждет Дория, не осмелившаяся войти в зал, куда — я ей сказал — войдешь ты.

— Дория, не осмеливающаяся войти в ту комнату, где нахожусь я? — воскликнул, смеясь своим металлическим смехом, Ананда. — Да это какая-то иная, не моя Дория. Та, строптивица моя, не задумывалась отчитывать меня за все дела, хоть ни капли в них не понимала.

— О, Ананда, ради всего святого, не продолжайте, — бросилась Дория к ногам Ананды через дверь, которую ей открыл Флорентиец. — Я все теперь поняла. Все мои поступки и слова заставляют меня краснеть и страдать, и жаждать поступить теперь так, чтобы искупить свое поведение перед вами, — рыдала Дория. — Не отталкивайте меня теперь.

— Мой бедный дружок, мой милый и дорогой строптивец, мой любимый, доверившийся мне и усомнившийся ученичок, — поднимая Дорию, необычайно ласково говорил Ананда. — Не будем разбирать, что было в прошлом темного и печального. Поблагодарим небо, что оно послало нам помощь в могучей руке Флорентийца, в его любви и такте. Теперь, когда ты так кротко, чисто и верно выполнила все его задачи, когда ты сама поняла, как много ты потеряла, нарушив свой обет беспрекословного послушания, не будем тратить времени на разбор прошлого. Его нет больше. А возвращая его в собственной душе, ты попусту тратишь время, ибо в раскаянии нет творчества сердца, и мгновение твоей вечности, твое летящее сейчас, летит пустым. Ободрись, мужайся. Нам с тобой предстоит много дел. Я читаю в тебе, как ты жаждешь просить меня не отправлять тебя в Америку, а оставить подле себя. Прежнюю Дорию я не смог бы убедить и остановить. Она набрала бы задач сверх сил, не послушала бы моих советов, ринулась бы в бой невооруженной и снова была бы вынуждена выбыть из строя. Теперешняя же Дория молчит, ни о чем не молит и даже считает себя недостойной быть подле меня. Успокойся,

друг. Я буду просить Флорентийца оставить тебя мне. Я надеюсь, что он даст свое согласие. Если же нет — мы подчинимся его решению легко, просто, весело. Пойдем со мной. Мне нужен секретарь, я думаю, ты выполнишь часть запущенной мною работы.

Сияя счастьем, глубоко тронутая и дважды покоренная величием доброты Ананды, который не допустил и намека на упрек, Дория пошла за Анандой в приготовленные для него комнаты. Как только они вышли, хозяин снова появился в кабинете, и через несколько минут туда уже входили мистер Тендль со старым адвокатом. Оба юриста изложили лорду Бенедикту все новые изломы в деле завещания пастора, которые внесли пасторша и Дженни за последнее время. Кроме протеста и официально поданного заявления, что сестры Цецилии у пастора никогда не было, а потому пасторша требует скрытый от нее мужем капитал, она и Дженни подали второе заявление, доказывая, что пастор был ненормален, поэтому они требуют Алису обратно домой. На послезавтра назначен вызов в судебную контору всех заинтересованных в завещании лиц, а через несколько дней состоится судебный разбор нового заявления пасторши. Старый адвокат кипел возмущением и говорил, что использовал все средства, стараясь убедить пасторшу в незаконности ее поведения. Но что какой-то молодой человек, которого она рекомендовала как жениха Дженни, уверял ее в противном, называя себя юристом. Сегодня утром этот молодой человек являлся к нему в контору снова и всячески старался его подкупить, за что и был изгнан с позором. Успокоив обоих юристов, дав им указания держаться спокойно, говорить и поступать, руководствуясь одной истиной, лорд Бенедикт отпустил своих деловых гостей.

Присев к столу, он написал два письма и вызвал слугу отправить их. Сам же поднялся наверх, где сказал Николаю, что выедет сейчас из дома и вернется поздно вечером. Николаю же поручает весь дом и усталого гостя Ананду. Он отдал Николаю самое строгое распоряжение, чтобы никто из домашних никуда не выходил и никого не принимал к себе, пока он не возвратится домой.

— Тебя я знаю, друг Николай. В твоей верности ни трещинки, ни пятнышка не сыщешь. Но в эти дни может встретиться многое, в смысле обмана. Если бы Алисе были письма или кем-либо привезенное известие, что мать, умирая, желает с ней проститься, — предупреди девушку, что все это будет обман.

До поздней ночи не возвращался Флорентиец домой, и все обитатели его дома, сгруппировавшись вокруг Ананды, терпеливо и спокойно ждали его. Только один человек не находил себе места, волновался и трепетал, сам не понимая, что с ним происходит, и это был Генри. То его бросало в жар, то он дрожал, точно в ознобе лихорадки, хватаясь за голову и за сердце.

— Что с тобой происходит, Генри? — спросил его наконец Ананда, когда состояние юноши дошло почти до потери сознания.

— Я сам не знаю, что со мною. Я весь в беспокойстве и волнении, точно что-то грозит мне, внутри у меня все дрожит, и я не в силах сдержать раздражения.

— Пойди со мной в мою комнату. Мы скоро вернемся, Николай, но если я понадоблюсь тебе экстренно, пошли за мной Дорию.

— Теперь, мой мальчик, — вводя Генри в свою комнату и закрывая дверь, сказал Ананда, — тебе приходится переносить плоды зла, неосторожно сотканного тобой. Когда ты пошел против меня в Константинополе, ты начал открывать в себе дорогу злу. Не потому зло могло коснуться тебя, что оно было сильнее тебя, но только потому, что оно нашло себе грот, где могло угнездиться в твоем сердце. Страсти и гордость затемнили твою

интуицию, и ты взял от Браццано письмо. Яд его злой гипнотической воли — будь ты чист и верен — не мог бы отравить тебя. Во взволнованную твою душу он пролился страхом, самомнением, отрицанием. Мои усилия любви спасли тебя от гибели. И. помог мне. Он защитил тебя образом увиденной тобой матери, ее чистой любовью, ввел тебя на пароход капитана Джемса, а Флорентиец несет тебя на своей могучей силе воли от преследующих тебя друзей Браццано.

Сейчас они здесь, в Лондоне. Их эманации вьются вокруг тебя, так как они узнали, где ты живешь, и караулят тебя со всех сторон дома. Чем защититься тебе, друг? Если *ты сам* не найдешь в себе полного бесстрашия сейчас, если уверенность твоя не перейдет в радость верности Флорентийцу и всем друзьям, окружающим тебя своим светом, если *ты* не увидишь счастья в том, как тебя спасла Жизнь от адских сетей мошенников, — никто из нас не сможет помочь тебе. Вся твоя психика должна перевернуться. Не ты и лично твое, извне к тебе идущее счастье или несчастье составляют смысл жизни твоей. А тот мир, тот свет, те поддержка и твердость, что ты выльешь из себя в твой труд для людей, — вот твой смысл жизни. Украшая старость матери, молодость которой ты не раз отравлял, рыцарски защищая Алису, в любви которой ты понял величие и силу чистой женской любви, ты можешь теперь, в эти дни, стать снова моим учеником, которому уже будут по плечу большие задачи труда.

Ты еще не знаешь второй своей кузины, Дженни. Но по опыту с Браццано знаешь, как легко человек попадает в сеть злых, если он раздражителен. Дженни не только перманентно раздражена и зла. Она еще и постоянно возбуждена настоящим астральным костром — своею матерью. Друг друга питая, обе привлекают к себе всю шайку наших врагов. Если ты готов, вынеся опыт бездны страдания, повторить обет беспрекословного повиновения. Если в сердце твоем нет раздвоения и ты ясно видишь, что для тебя есть только один путь: идти так, как видит и ведет тебя твой Учитель, — я могу принять твой обет и вести тебя дальше. Но на несколько лет ты уедешь с Флорентийцем, видя в нем такого же Учителя и друга, как я. Разлука внешняя не будет существовать для тебя, если радость и спокойствие знания поселятся в тебе.

Генри, за несколько минут до разговора дрожавший, почувствовал такое глубокое успокоение, какого еще не испытывал за годы жизни.

— Благодарю вас, Ананда, Учитель и друг. Я понял все, что вы мне сказали. Я знаю, что мне делать, я спокоен. Я больше не тот шалый, в вас влюбленный мальчик, который причинил вам столько горя, вернее, беспокойств вам и горя себе. Я созрел и могу теперь, непоколебимо и добровольно, произнести обет беспрекословного послушания.

Ананда подошел к Генри, положил ему обе руки на голову и посмотрел ему прямо в глаза. Карие с золотом звезды Ананды, казалось Генри, пронизывали его до самых сокровенных частиц существа. Генри точно таял под этим взглядом, точно растворялась и растапливалась в жидкий огонь вся кровь в его жилах.

«Еще мгновение — и я умру, умру счастливый», — мелькнуло в уме Генри.

— Подожди меня здесь, сын мой, — услышал Генри голос Ананды, показавшийся ему измененным. Он несколько раз глубоко вздохнул, оглядел комнату, в которой был один, и бессильно опустился в кресло. Слабость его прошла быстро, он снова почувствовал себя сильным и радостным. В комнате открылась другая дверь, которой Генри не заметил. На пороге стоял преображенный Ананда, Ананда, сиявший, как шар света, в белой одежде с золотым шитьем, и протягивая к нему руки.

С криком счастья бросился Генри к Ананде и был введен в белую комнату Флорентийца. Ананда подвел его к белому мраморному столу, поднял его крышку, и изумленному взору Генри представилась высокая зеленая чаша, в которой горел огонь. Ананда взял тонкую палочку со стола, как показалось Генри, из аметиста и розовых камней с золотом, опустил ее конец в чашу, что-то напевая на непонятном ему языке, — и огонь ярко вспыхнул, выбросив несколько пламенных лент, из которых одна крепко пристала к палочке и горела на ней.

Ананда коснулся темени Генри этим огнем, и по всему его телу прошло содрогание. Несколько раз прикасался Ананда огнем палочки, прикладывая ее между глаз Генри, у горла, у сердца, у селезенки и пупка, между плеч, и каждый раз пламя чаши бурно вспыхивало, а все тело Генри содрогалось. Подняв обе руки высоко над головой Генри, Ананда все так же протяжно напевал непонятные Генри слова. Генри умом не понимал смысла произносимых слов, но сердце его, ликовавшее, освобожденное, проникало в весь смысл творимого действия. Он сознавал безграничную и вечную Жизнь без форм, без времени, без пространства, к которой его присоединил Ананда.

Пламя, горевшее теперь уже на всей палочке, которую Ананда все еще держал в руке, бежало по всему его телу, по всей его белой одежде, играя всеми тонами и переливами фиолетового тона. Даже чаша, которую Генри видел вначале зеленой, теперь была фиолетовой. Очарованный, счастливый, Генри всем существом понимал, что Ананда поет сейчас песню торжествующей Любви. И он отвечал Ананде, сливаясь с ним в благоговейном Гимне Вечности. Повернувшись к коленопреклоненному Генри, Ананда снова положил палочку ему на темя и сказал своим дивным голосом:

— Можешь ли и хочешь ли, сын мой, идти в вечной верности с братьями Милосердия, в единении вечном с их трудом и путями?

— Если я достоин этого счастья — хочу, — отвечал Генри.

— Можешь ли и хочешь ли приносить труд дня не иначе, как в героическом напряжении?

— Жить иначе я уже не могу. Жить без борьбы и труда за свет и истину для меня больше невозможно.

— Иди же в храм творчества отцов твоих, Учителей, и там оставь все условное — и Жизнь возвратит тебе твои таланты, что ты забыл в веках. Повторяй за мной, сын мой, те немногие формулы, что отныне станут тебе основанием дня:

Я иду всей верностью моей за верностью Учителя моего. Иду, в беспрекословном и радостном повиновении, так, как видит и ведет меня мой Учитель.

Иду, мча песнь торжествующей любви.

Иду, любя и радуясь, утверждая силу победы моей радостью.

Иду, забыв навек об унынии и отрицании.

Иду, неся бесстрашие и мир всему встречному.

Иду, в чести и бескорыстии мой день труда, и то не мои личные качества, но аспекты живой Вечности, во мне живущей.

Ананда поднял Генри, взял обе его руки в свои и положил их на чашу. Блаженство, мир, гармония, неизреченный покой охватили Генри, точно сама божественная сила коснулась его. Радость хлынула волной из всего его очищенного существа, пламя вспыхнуло, точно

перелетело из чаши на голову Ананды, где сложилось в пятиконечную звезду, упало каскадом, как плащом покрыло Ананду и Генри, почти ослепив его.

Когда Генри пришел в себя, он увидел жертвенник закрытым, себя все еще стоящим возле него, а Ананду в его обычном платье, державшим руку на его плече.

— Мужайся, сын мой, помни эту минуту твоего посвящения, но не суди по ней, что именно так совершаются все посвящения. Шире раскрой глаза духа и пойми: сколько людей — столько и путей. Путь посвящения всюду. И на поле сражения. И у постели больного. И в труде у станка. И всюду, где трудятся радостно, — всюду лежит путь к посвящению. Где звенит чистый смех, его тоже находят. Но где живут страх и уныние — там к нему не подойдут. Встречай радостно все испытания, ибо знаешь, что все, с чем ты встречаешься в жизни, — все пути отцов твоих, Учителей, к Вечному во встречных твоих.

Обняв трепещущего и счастливого Генри, Ананда повел его снова в музыкальный зал, где Алиса садилась за рояль. Как нельзя больше ответило сердцу Генри общее молчание под мощные и торжественные звуки рояля.

— Ананда, спой нам что-нибудь, — попросил Николай.

— Петь я буду не сегодня. Сегодня Алиса будет аккомпанировать моей виолончели, и наша музыка сегодня будет только для Генри. А ты, Генри, вспомни зал в Константинополе, темноволосую, прекрасную музыкантшу и... себя. И все, что вынесешь из нашей музыки сейчас, вернее, из нашей звучащей любви к тебе, — пусть это будет только твоей тайной.

И полились звуки человеческого голоса виолончели Ананды. Не только Генри и леди Цецилия были захвачены ими — вся группа людей, точно скованная, боялась шевельнуться. Для Генри была существенная разница в игре Ананды с Алисой и в его игре с Анной. Генри думал, что Анну Ананда все время вводил в какое-то гармоническое русло, из которого она каждую минуту могла выпасть. Он как бы направлял ее борющийся дух, помогая ей выйти из борьбы со своими страстями. Он нес ей мир и успокоение, а она все рвалась в новую и новую фазу борьбы, жалуясь на страдания и скорби. В ней жил протест, незаметный в труде дня, но вырывавшийся огнем в музыке. Там играл Ананда-примиритель. Здесь же шло в звуках славословие Жизни, шла радость душ, принимающих момент своей жизни таким, каков он есть сейчас. Здесь раскрывались все силы творчества сердец, равновесие которых не мешало подыматься духу во всю высоту, доступную человеческим силам.

Генри понял разницу творивших там и тут людей. Он понял самого себя там и здесь, он закончил сегодня одну ступень жизни и начал другую. Вглядываясь в сияющее лицо Алисы, он думал о сказанных ему Анандой словах, как он должен рыцарски защищать Алису. Где и против кого и чего он должен ее защищать, Генри не знал. Но что защищать ее он будет всюду — это Генри знал точно.

Улыбаясь своей обычной ласковой улыбкой, в комнату вошел Флорентиец. Поговорив со всеми, он сказал, что сам проводит Ананду в его комнату. Напомнив Наль, Николаю и Алисе, что завтра в двенадцать часов они поедут к графам Р., он, смеясь, рекомендовал дамам подумать о своих туалетах. Ибо, наверное, граф не преминет воспользоваться возможностью посуетиться лишний раз и позовет кое-кого из своих приятелей.

Оставшись вдвоем с Анандой, Флорентиец долго еще говорил с ним и, между прочим, упомянул, что послезавтра из Парижа и Вены приедут два друга Ананды...

Утро следующего дня промчалось для Лизы не только в большой суете, но едва не довело ее до ссоры с любимой матерью. Всегда спокойная и ненадоедливая мать, графиня Р. в это утро была неузнаваема по своей суетливости и напряженной раздражительности. Узнав от дочери, что у лорда Бенедикта обе дочери красавицы, графиня трепетала, как бы ее Лиза не попала в дурнушки. Два раза она заставляла Лизу переменить туалет и все не была довольна ее видом. Наконец, найдя, что один туалет был слишком шикарен для дома, второй уж слишком прост, графиня пожелала, чтобы Лиза надела еще одно платье — последнюю парижскую модель.

— Мама, да поймите же, не тряпки будут видеть глаза этих людей. Они так смотрят, точно в сердце заглядывают.

— Это ведь одна из твоих фантазий, Лизок. Ты им играй на скрипке, но одеть тебя предоставь мне.

Кончилось тем, что Лиза заупрямилась, надела простое белое платье и нитку жемчуга на шею, чем привела в отчаяние мать, нашедшую ее просто провинциалкой. Но Лиза осталась глуха ко всем убеждениям. Не будучи в силах выносить скучнейшей суеты, с которой одевалась сегодня сама графиня, точно замуж выходила она, Лиза ушла к себе, подумала о дивном белом Будде в своем новом доме, о словах Флорентийца, сказанных ей об ее таланте и музыке, и, нежно вынув свою скрипку из футляра, воспела на ней свой день сегодня, и свою любовь, и свое счастье...

Стук в дверь оторвал ее от грез, гости уже входили в гостиную, ее звал Джемс.

С преображенным музыкой лицом, в полноте любви и счастья, Лиза удивила графиню, когда вышла к гостям. С первых же слов лорда Бенедикта, ласково здоровавшегося с ее дочерью, у графини отлегло от сердца. Лиза, стоявшая перед высоким гостем, не была провинциальной девушкой. Одухотворенность и благородство пронизывали ее всю. Вечная забота отца, под влиянием тетки боровшегося с оригинальностью художественной натуры дочери, заразила до некоторой степени и мать, которой хотелось самой протоптать дорожку в жизнь Лизе по своему пониманию счастливой жизни.

Сейчас графиня удивленно наблюдала дочь, такую светскую, самостоятельную и... такую смиренную и глубоко почтительную перед лордом Бенедиктом. Какая-то новая, еще неизвестная горечь наполнила сердце бедной матери. За всю жизнь она не видела своей девочки такой обожающей кого-то, как читала сейчас это обожание в каждом взгляде и слове, с которыми обращалась Лиза к лорду Бенедикту.

— Как вы себя сегодня чувствуете, графиня? — услышала она вопрос лорда и покраснела, как институтка, которую поймали на тайной мысли.

— Из-за вечной мигрени я очень рассеянна, лорд Бенедикт. Благодарю вас, сегодня мне гораздо лучше. Очаровательные фрукты и цветы, что вы мне прислали, волшебным образом подействовали на меня.

— Я думаю, что вид вашей дочери, ее присутствие, такой счастливой, подле вас должно придавать вам не только силу здоровья во сто раз больше, чем мои цветы, но и пробуждать в вас все новую энергию и желание жить. Будущая ее семья может стать для вас новым центром труда и любви. Внуки, ее дети...

— Дети Лизы, — рассмеялась графиня, перебивая Флорентийца, — я даже и не думала еще об этой стороне жизни. Лиза еще такое дитя, что думать о ее будущем ребенке было бы так же смешно, как о ребенке вашей Наль. Наль прелестна, слов нет. Но ведь ей не более пятнадцати лет. Личико совсем детское. Лизе хотя и семнадцать лет, но все же о

детях нечего и думать. Впрочем, — прибавила грузная графиня, — Лиза вся в меня. А у меня очень долго не было детей. Надеюсь, ее жизнь не осложнится сразу пеленками и прочей прелестью детской.

— Очень жаль, что Лиза своим появлением на свет так надолго оставила в памяти матери самые неэстетические воспоминания. Глядя на нее сейчас, я готов был бы держать пари, что Лиза была спокойным и мирным, никогда не плакавшим ребенком, не доставлявшим своим многочисленным нянькам никаких хлопот. По всем вероятиям, и ей жизнь пошлет спокойных детей. А разве вы сами теперь были бы довольны одинокой жизнью в Гурзуфе? — пытливо глядел на графиню лорд Бенедикт, точно до дна проникая в ее затаенные мысли.

Графиня покраснела под этим взглядом, чем-то возмутилась и несколько раздраженно ответила:

— Я не собираюсь проводить одинокой зимы в Гурзуфе. Я уже их много там провела, благодаря своему слабому здоровью. Дети собираются совершить свое свадебное путешествие в Америку. Джемс поведет туда новый пароход. Не могу же я отпустить туда дочь одну.

— Насколько я знаю, — рассмеялся лорд Бенедикт, — по всем законам всех государств, выдавая дочерей замуж, родители теряют над ними все свои юридические права. Все права переходят мужьям, и дочери перестают быть одни, так как получают владыку в муже. Разве вас сопровождала маменька в вашем свадебном путешествии по Испании?

Графиня поразилась. Когда же и кто мог сказать ему об ее свадебном путешествии? Ах эта Лиза! Когда она успела разболтать? И в ее памяти замелькали картины давно прошедшего счастья. Как любил ее граф, как носил буквально на руках, выполняя все ее капризы, как она властвовала над ним, ревновала без причины и лишала его самых невинных удовольствий, как вообще держала его в ежовых рукавицах, пока граф не устал от частых сцен ее мнимых болезней. А дальше родилась Лиза, болезни стали не мнимыми, граф перенес всю любовь на ребенка. Дальше клином вонзилась сестра, дальше пришло много страдания, много нового понимания жизни, какая-то мудрость, и теперь вдруг сразу внуки и... старость.

Графиня все думала, забыв обо всех. А между тем, входили все новые люди, с которыми она машинально здоровалась, трафаретно улыбаясь, что-то отвечала. Но внутри у нее шел другой ритм, там устойчиво работала новая буровая машина, раскапывая все глубже давно слежалые пласты воспоминаний. Графиня точно раздвоилась. Одна рылась в прошлом, отыскивая все новые подвалы в памяти, другая впервые четко поняла, что центр жизни в их семье больше не она. Лиза царила здесь. Лиза привлекала все к себе. Лиза вела весь разговор. Лиза была камертоном жизни, и нота его была вовсе не та, которую старалась всю жизнь ей внушить графиня. Графиня сидела все на том же месте, вела какой-то тонный разговор с важными тонко пахнувшими лордами, подкинутыми ей мужем. А сам он то и дело возвращался к Лизе и Джемсу, не отходившим от лорда Бенедикта, весело перекидывался с ними словами и улыбками, целовал тонкую ручку Лизы и говорил:

— До чего же я счастлив, лорд Бенедикт, что вы одобряете мою дочурку. Для меня и моего отца это было единственное солнце, помогавшее нам жить честными людьми. Я готов обожать вас до конца моих дней за ласку к Лизе и Джемсу, которого мое сердце усыновило.

— Милый граф, поистине могу сказать вам: за ваши чувства и слова сегодня вы будете самым счастливым дедушкой, какого видел весь ваш род.

— Ну, если так, лорд Бенедикт, ловлю вас на слове, не откажите же позавтракать с нами и выпить радостный тост. Кстати, вот нас зовут кушать.

Лорд Бенедикт подал Лизе руку, граф подошел к Наль, Джемс — к Алисе, старая графиня оперлась на руку одного из очень высоких лордов, окончательно разочарованная, чувствуя себя заброшенной и ненужной и все так же приветливо-аристократично разговаривая со своим соседом. Если бы школа внешней выдержки ее двух кавалеров не ставила ее в шоры, графиня, вероятно, не выдержала бы своего разлада внутри и убежала бы плакать. Напрягая волю, сидела она образцом вежливости, но сама сознавала, что довольно капли — и чаша ее переполнится.

— Графиня, во Флоренции есть обычай, — услышала она голос лорда Бенедикта. — На обручении жениха и невесты, где они оба меняются самыми дорогими для них сокровищами, мать невесты меняется стаканом с вином с будущим посаженым отцом молодой. Ваш муж и дочь просили меня взять на себя эту высокую честь в день их бракосочетания. Не откажите мне в просьбе выполнить этот обряд моей родины. Примите от меня этот небольшой стакан в подарок и подарите мне свой, выпив мое вино, я же выпью ваше.

Подойдя к графине, лорд Бенедикт глубоко заглянул ей в глаза и подал стакан. Задержав на миг ее руку в своей, он пожал ее. Какая-то волна радости и успокоения проникла в сердце бедной женщины. А когда она пригубила вино лорда Бенедикта — ей стало легко, силы ее удвоились и вся горечь отлетела.

— Мужайтесь, друг. Ведь вы долго и давно думали и искали встречи с мудрецом. Мужайтесь теперь, не будьте эгоистичны, забудьте о себе и думайте только обо всех тех, кому вы недодали любви — о дочери и муже. И вы можете встретить мудреца, — шепнул он ей, чокаясь еще раз стаканами.

— Какая замечательная вещь, — сказал сосед графини.

На столе перед нею стоял стакан зеленого стекла, как показалось ей, и в него было врезано, как бы вдавлено, несколько белых лилий с желтыми тычинками. Прелесть тончайшей работы, кое-где сверкавшие бриллианты заинтересовали весь стол, и стакан переходил из рук в руки. Когда очередь дошла до графа, он развел руками и сказал, обращаясь к лорду Бенедикту:

— Надо быть волшебником, чтобы иметь возможность подарить подобную вещь. Ведь это не стекло. Это тончайше вырезанный изумруд. Только старая Флоренция могла обладать подобными сокровищами и подобными мастерами. Нам с женой остается только отдать вам наши благодарные сердца, так как никакими осязаемыми сокровищами мы не могли бы сравняться с вами.

Он встал и низко поклонился Флорентийцу. Через некоторое время, когда подали шампанское, граф снова встал и объявил, что сегодня совершается обручение его дочери и лорда Джемса Ретедли, барона Оберсвоуда.

Для графини это было сюрпризом. Ей никто не счел нужным сказать. В ее первоначальном состоянии духа это было бы непереносимым ударом, той последней каплей горечи, которая была бы ей не по силам. Но сейчас она приняла это известие просто и даже радостно, как самую естественную вещь. Графиня не знала, что объявленное сейчас ее мужем обручение было не меньше сюрпризом и для Лизы, и для Джемса. А когда лорд Бенедикт подошел к Лизе поздравить ее, он надел ей на палец чудесный перстень с изумрудом, сказав, что она может передать его только тому, кого больше всех на свете любит, и что, по обычаю его страны, жених и невеста обмениваются

самыми дорогими сокровищами. Он смутил этим не только Лизу, но и капитана, не подготовившегося к этой случайности.

— Что же, друг Джемс, вы так смущены? Ведь в вашем кармане лежит тот медальон, что вам дал для вашей будущей жены Ананда. Почему же это сокровище не отдать Лизе сейчас?

— Я получил его, чтобы отдать после свадьбы.

— Я беру на себя эту подробность, — улыбнулся Флорентиец. — Трудно сказать, когда совершается истинный брак людей.

Лиза поднесла к губам только что подаренный ей перстень и, глядя на Флорентийца, сказала:

— Скрипку свою я посвятила Будде. Жизнь свою я посвящаю вам, лорд Бенедикт, а все труды, любовь, душу, мысли и сердце я сливаю с Джемсом, чтобы вместе с ним идти за вами.

Она надела жениху кольцо, а он подал ей медальон Ананды, увидев который Лиза невольно вскрикнула от восхищения.

Завтрак пришел к концу. Еще раз сказав графу и графине несколько слов, лорд Бенедикт и его семья условились о встрече в доме лорда Бенедикта в ближайшие дни и отправились домой, где их радостно встретили все остававшиеся дома.

Глава 15

Дженни и ее жених. Свадьба Дженни

Уже несколько недель у Дженни голова шла кругом от массы противоречивых чувств и мыслей, в которых она жила, а также и новых людей, с которыми ей пришлось познакомиться. Сказать, что Дженни утвердилась прочно в позиции матери, что она верила в победу над лордом Бенедиктом, она никак не могла. Вспоминая письма, полученные ею от Флорентийца, думая, что он был другом ее отца, что он друг и опекун Алисы, Дженни чувствовала, как сжимается ее сердце, сожалела о своих неразумных поступках. Она тосковала. Но, попадая в злобный поток раздражения матери, она не могла

заглушить зависти и унижения, которые грызли ее при воспоминаниях об Алисе и Наль, о Николае и Тендле.

Новые друзья матери, присланные к ней из Константинополя старым поклонником, показались Дженни очень приятными и воспитанными. Они сразу выказали себя бурными поклонниками красоты Дженни и соперничали друг с другом в ухаживании за нею. Они так окутали ее сетями забот и баловства, от самых мелких ее потребностей до самых богатых подношений; так заботились об ее туалетах, возили ее в самые модные и шумные места, что у Дженни положительно не хватало времени серьезно разобраться в чем-либо. Она к вечеру так уставала от развлечений и ухаживаний, что валилась с ног и засыпала, едва успев положить голову на подушку.

Как-то само собой, точно помимо воли и понимания самой Дженни, она стала считаться невестой одного из молодых людей. Второй же, и раньше нередко задававший вопросы об Алисе, теперь все настойчивее спрашивал Дженни о сестре. Почему ни в одном из самых модных и шикарных мест не видно Алисы? Почему Дженни не вызовет сестру к себе на свидание? Разве Дженни не любит Алису?

Привыкнув царить среди своих адъютантов, Дженни не имела ни малейшего желания впускать Алису в маленький, влюбленный в нее до безумия — как она полагала — кружок. И вместе с тем не знала, что и как отвечать, всячески стараясь, чтобы поклонники вовсе не увидели Алису. В этой ежедневной суете Дженни больше всего старалась забыть о судебной конторе, решив, что это еще очень нескоро будет. И вдруг, как снег на голову, ей и матери вручены повестки с вызовом в это отвратительное место через два дня. Сияющая пасторша, помахивая своей повесткой, вошла в комнату к Дженни, едва та проснулась, и своей обычной итальянской скороговоркой затрещала:

— Сейчас я получила письмо. Еще два друга из Константинополя приехали. Сегодня вечером они будут у нас. Пожалуйста, постарайся быть прелестной. Это очень и очень богатые, даже богатейшие люди и, как говорит твой жених, чрезвычайно влиятельные. Им ничто и никто не страшен. Теперь-то попляшет у нас лорд Бенедикт. Вот тебе твоя повестка. Послезавтра разбор дела о завещании. Развенчаем подложную Цецилию. Ври в своем завещании, что хочешь, а сходство фамильное подавай. Это единственное неопровержимое доказательство. А пастора-то нет, с кем же сверять сходство? — хохотала пасторша.

— Не понимаю, мама, почему вы так носитесь с этим сходством? Ведь если на нем основываться, то меня и Алису никак сестрами признать невозможно, — ответила Дженни, не желая вдаваться в вопрос по существу и ища возможности обдумать про себя, как себя держать, что предпринять, с кем посоветоваться.

— Сходство вовсе не одна я выдумала, милая моя. А наши друзья тоже уверяют, что сходство очень важный аргумент. Кстати, ты ведь понимаешь, что друг твоего будущего мужа рассчитывает жениться на Алисе. У меня с ним это уже обдумано. Так как лорд-великан не отпускает девчонку ни на шаг, а молодому человеку, естественно, хочется поскорее увидеть свою новую невесту, то я решила поехать с ним сама сегодня и передать Алисе письмо. Быть может, нам же и удастся привезти ее домой.

— Мама, неужели вы забыли, как мы с вами к полу приклеиваемся, когда лорд Бенедикт только посмотрит на нас? Оставьте лучше ваши затеи до судебного разбирательства. ваши друзья не знают силы лорда Бенедикта.

Что-то исказило лицо пасторши, которая начала было поносить лорда Бенедикта. С легким стоном она опустилась на стул.

— Опять боль в моем позвоночнике, Дженни, — плаксивым тоном пожаловалась пасторша. — Уже раз я пролежала два дня со своей спиной. Кажется, опять у меня рецидив.

— Потому что вы все злитесь и создаете суматоху в доме, от которой у меня голова кружится. Идите, пожалуйста, лягте. Сами говорите, что вечером приедут ваши друзья. Благодарю покорно, провести вечер одной в компании четырех чужих мужчин, — раздражилась Дженни.

— Какие же чужие, Дженни? Ведь один из них скоро будет тебе мужем, другой — зятем, а остальные их ближайшие друзья, даже родственники.

— Родственники или нет — это вам известно. А что мужем мне еще никто не стал, и станет ли кто-то зятем, неизвестно, — с ненавистью произнесла Дженни.

— Что только с тобою делается, Дженни? Я тебя совсем не узнаю и перестаю понимать. Если так вести себя с человеком, как ты ведешь себя, столько от него принимать, вплоть до самых интимных забот, то уж, значит, непременно выходить замуж.

— Оставьте, пожалуйста, — резко закричала Дженни. — Вы так опутали меня своими друзьями, что я теперь ни в чем не могу разобраться. Дайте мне покой, или я заболею, как и вы, и никто из нас в эту чудесную контору не поедет.

Пасторша хотела что-то сказать, но боль согнула ее, и из глаз ее полились слезы. Она тихо ответила Дженни:

— Только один кумир был у меня — ты, Дженни. И только одного я ненавидела — отца твоего. Вот он ушел. Я мечтала, что мой кумир и я будем счастливы. Сейчас я боюсь, что ты все наше счастье разобьешь.

— Я ли его разбиваю, или вы его не умеете слепить, я не знаю. Но повторяю вам, что вы можете свести меня с ума. Дайте мне побыть одной и подумать.

Горько на сердце бывало у пасторши не раз за последнее время. Все ее усилия доставить дочери максимум удовольствий и обеспечить ее жизнь не встречали не только ласкового слова со стороны дочери, но часто вызывали грубое порицание и холодность. Казалось ей теперь, что при жизни мужа он точно защищал ее от раздражительности Дженни. Пастор не разрешал дочери никогда повышать голоса в общении с матерью. Строгость его, непреклонную в этом пункте, Дженни так хорошо знала, что никогда и не пробовала нарушить вето отца. Теперь пасторша не могла понять перемены в Дженни, как раньше не разгадывала причины ее выдержанности, приписывая дочерней любви страх перед волей отца. И горечь сердца вызывала в пасторше острую ненависть к Алисе и тяжелую злобу к ушедшему пастору.

Оставшись одна, Дженни несколько раз перечитала судебную повестку. Маленький клочок бумаги с холодными официальными словами превращался для Дженни в целый ряд живых, неприятных фигур семьи лорда Бенедикта и его самого. Но ярче всех вставала одна фигура, фигура так ее поразившая на похоронах отца, фигура, сестры-золушки, сестры-дурнушки, превратившейся неизвестно какими чарами в принцессу Алису. Окруженная суетой и людьми с утра до ночи, Дженни чувствовала себя одинокой. И в эту минуту, серьезность которой она хорошо сознавала, ей не с кем было посоветоваться.

О, что бы теперь дала Дженни, чтобы держать в руке зеленый конверт лорда Бенедикта! Как могло случиться, что три раза он ее звал, говорил, что еще не поздно все поправить, — и три раза Дженни изорвала письмо. Ей пришла в голову мысль поскорее одеться и

помчаться к лорду Бенедикту, сказать ему, что лично она снимает свое заявление, что она верит его высокой чести, что молит его помочь ей вырваться из сетей заблуждений, которые ее опутывают. Дженни уже хотела встать и привести свой план в исполнение. Но вошла горничная, передала букет цветов от жениха и письмо с извещением, что через час он за нею заедет, чтобы отправиться к портнихе мерить подвенечное платье.

Какой-то ужас вдруг охватил Дженни. Она написала жениху коротенькую записку, прося извинить ее сегодня, она и мать обе внезапно заболели и не могут никого принять. Дженни отправила письмо, но чувствовала себя точно в клетке, лишенной свободы жить и действовать как хочется ей самой. Человека, которого ей предстояло назвать своим мужем, она не знала. Только за несколько последних дней она сделала открытие, что он ее стесняет, что незаметно для себя она стала точно подчиненной ему. Самовластная Дженни уже не смогла спорить, когда ей предлагалась какая-то программа действий, глаза жениха, как будто и ласковые, смотрели на нее пристально, требовательно. И не одно это тревожило Дженни. Каждое прикосновение жениха было ей неприятно, точно какая-то чужая воля вливалась в нее. Дженни бунтовала внутри, но оставалась спокойной вовне, не имея сил возражать. Стоило ей остаться одной, и сейчас же гнет его власти сваливался, Дженни становилась сама собой.

Оставшись одна, Дженни надела свой старый халат, отбросив роскошный, подаренный ей женихом, и в первый раз за долгий промежуток времени стала думать об отце. Ей казалось, что тень его шепчет ей ласковые слова, что он одобряет ее решение пойти к лорду Бенедикту, что надо спешить. Слезы застлали глаза Дженни, она снова встала с решением ехать к лорду Бенедикту. Не успела девушка встать с места, как в дверь ее сильно постучали, и голос ее жениха властно требовал, чтобы Дженни вышла к нему. Защищенная запертой дверью, возмущенная неделикатностью молодого человека, Дженни вспылила и резко попросила оставить ее в покое.

— Как могу я оставить вас в покое, когда рядом умирает ваша мать?

Перепуганная Дженни бросилась открыть дверь и тотчас же в ужасе отступила. Рядом с ее женихом стоял высокий, незнакомый ей мужчина, смотревший на нее жесткими, черными глазами, пылавшими, точно угли. «Я тебя научу слушаться», — казалось Дженни, говорили эти ужасные глаза. Ужас Дженни перешел в неподвижность, оторвать глаз она не могла и только тогда двинулась с места, когда снова услышала голос жениха:

— Я напугал вас, дорогая, простите, простите. Но я боялся, что вы не откроете мне сразу дверь, а маме вашей действительно нездоровится. Это мой дядя. Он знает несколько восточных средств и может помочь вашей матери. Проводите нас к ней, я уверен, что ей станет лучше.

Ничего не соображая, кроме: «Слушайся, слушайся», которое ей говорили глаза, Дженни ввела обоих мужчин в комнату пасторши. Леди Катарина лежала на диване, страданий она не испытывала, но разогнуться не могла. После представления пасторше своего дяди, только что приехавшего так счастливо из Константинополя, чтобы немедленно ей помочь, жених предложил Дженни, нежно пожав ее ручку, все же одеться и выехать с ним на примерку подвенечного платья. Свадьба их должна состояться непременно завтра, как того требуют прибывшие новые друзья и дядя. У Дженни не было сил протестовать. Ее удивила леди Катарина, весело разговаривавшая с дядей жениха, показавшимся ей лично таким отвратительным.

— Поезжайте, поезжайте, дети. Мне лучше уже от одного присутствия синьора Бонды. Ты пойми, Дженничка, это друг самого близкого мне человека на всем свете, моего друга

детства и юности. Я сразу же воскресла, — трещала пасторша, несколько распрямившаяся, но все же еще очень и очень сгибаясь.

Мистер Бонда значительно поглядел на племянника и сказал неприятным, тонким тенорком, слишком высоким и писклявым для его упитанной фигуры:

— Армандо, ты так испуган внезапной болезнью невесты и ее матери, что даже забыл им меня представить по всем правилам восточной вежливости. — Синьор Бонда улыбался. Быть может, на Востоке эта улыбка и могла считаться необычайно вежливой и ласковой, но у лондонской девушки дрожь отвращения прошла по спине. Ей показалось, что змея приближается к ней, когда мистер Бонда бесцеремонно взял обе ее руки и поцеловал одну за другой. Дженни внезапно побледнела, ей стало дурно, тошно, она хотела убежать в свою комнату, но черные глаза, острые, бегающие, точно шарили в ее душе и мешали ей двинуться с места.

— Скоро, скоро, милая моя, вы станете Дженни Седелани, а не Дженни Уодсворд, и я буду иметь право более нежного привета моей племяннице. Пока же примите от меня маленький подарок. Это ожерелье голубого восточного жемчуга в оправе из агата. Пусть оно будет вам рулем жизни. Ни днем, ни ночью не снимайте его. Ваш жених Армандо застегнет его на вас, и ничья рука, кроме моей, не сможет его расстегнуть, — все так же ласково улыбаясь, говорил синьор Бонда. Он ловко надел на шею Дженни, безмолвно перед ним стоявшей, свой роскошный подарок, а Армандо застегнул тайный замочек, так ловко скрытый среди жемчуга, агатов и бриллиантов, что отыскать его было невозможно. Когда ожерелье заиграло всеми цветами радуги на белоснежной шейке Дженни, необычайно выгодно выделяя ее бледность, рыжие волосы и темные глаза с тонкими темными бровями, пасторша в полном восторге закричала:

— О, Дженни, дитятко мое, ни одна красавица мира не выстоит против тебя. Что за бриллианты, что за жемчуг! Алиса лопнет от зависти, увидев тебя в этом ожерелье.

— Ничего, мамаша, — ответил синьор Бонда, отходя от Дженни и приблизившись снова к дивану леди Катарины. Он фамильярно похлопал старую даму по плечу, издал коротенький смешок и продолжал: — И для второй вашей дочери подарочек не хуже найдем. Только привозите ее скорее домой.

Армандо увлек свою бессловесную невесту обратно в ее комнату и здесь сказал ей властно, как не привыкла слышать Дженни:

— Одевайтесь скорее, у нас мало времени. От портнихи мы поедем к моему дяде, который к тому времени уже возвратится домой. Вы там познакомитесь с его другом, приехавшим с ним из Константинополя. Это дядя моего друга Анри Дордье — Мартин Дордье. Но он такой весельчак и острослов, что иначе, как веселый Дордье или Марто, его никто не зовет. Мы все его зовем мосье Марто, так зовите его и вы, и не изображайте, пожалуйста, из себя мадонну, если он будет несколько волен в словах. Он бывает волен и в движениях, но этого я ему не позволю, можете быть спокойны. Ну, скорее же, Дженни, и, пожалуйста, без похоронного лица. — Армандо пожал руку невесте, закрыл дверь ее комнаты и уже из-за двери прибавил: — Оденьтесь в черный шелковый костюм, ту шляпу с белым пером, что я принес вам вчера, и никаких больше украшений, которыми вы любите обвешиваться. Мы будем завтракать среди изысканной публики, даю вам пятнадцать минут времени.

Армандо вышел в зал, и лицо его из спокойного, с каким он говорил с Дженни, превратилось в самое расстроенное. Все его манеры выказывали большое волнение, и он с

беспокойством смотрел на дверь комнаты пасторши, где слышались смех и веселый разговор. Через несколько минут в дверях зала показался синьор Бонда.

— Ну-с, мой названый племянничек, как же вы выполнили приказание магистра? — язвительно усмехаясь, сказал он своим пискливым голосом.

— Легко передавать приказания, мой названый дядюшка. Надо было узнать сначала, кто такой старый осел адвокат, а тогда посылать его подкупать. Это идеально честный идиот, маньяк английской чести. Над ним я не властен, так как его чистота так смердит, что дышать трудно. А его молодой племянник, тот и вовсе мне недоступен, ни за одну его страсть я уцепиться не мог. Я не сомневаюсь, что этот лорд Бенедикт инспирирован Анандой. Сегодня Анри узнал, что Ананда уже в Лондоне. Каким образом могло случиться, что магистр, посылая вас сюда, не знал, что Ананда уехал в Лондон? Ведь он всех нас уверил, что Ананда останется в Константинополе еще на целый год. Теперь мы можем все дело проиграть. Без да-Браццано с ним бороться нелегко.

— Ну, ты еще молод, чтобы порицать распоряжения магистра. Делай что говорят. Там увидим.

— Как бы не так! Я вам не солдат, а вы мне не командир. Довольно и того, что вы мне навязали в жены эту красотку, вечно понурую и хмурую, да еще вульгарнейшую мамашу.

— Не будем ссориться, племянничек. Как только получим Алису, мигом освободим тебя от твоей мертвенно-бледной жены. Так и быть, дурищу мамашу беру на себя. А вот тебе флакончик. Влей незаметно одну-две капли в вино Дженни, и на щечках ее расцветут розы, язычок развяжется, и, пожалуй, будешь ею доволен. Не задерживайся долго, приезжайте прямо в отель ко мне.

Бонда ушел снова к пасторше, а Армандо хотел пройти к Дженни, но не прошел и двух шагов по коридору, как настиг Дженни у выходных дверей.

— Вот это я люблю. Прошло только четырнадцать минут, а вы уже не только одеты, но даже и у выходных дверей.

Все надежды ускользнуть незамеченной разлетелись в прах. Оставшись одна в комнате, Дженни пыталась сорвать ожерелье, которое немедленно прозвала собачьим ошейником и возненавидела сразу же, хотя не могла не заметить, как оно к ней шло, подчеркивая ее красоту. Она пыталась разорвать его обеими руками, но ожерелье, точно железное, не поддавалось никаким усилиям. Дженни пришла в бешенство, в полном отчаянии бросилась в кресло и вдруг, как в самые горестные минуты в детстве, когда у нее что-либо не выходило, закричала: «Папа, папа, помоги мне!» Ей померещилось, что отец где-то близко, ей стало спокойнее, она сбросила халат и мигом оделась. Машинально она оделась, как приказал жених, а в голове стучала только одна мысль: проскользнуть скорее, вырваться из дому к лорду Бенедикту. Дженни не могла ответить себе, почему она считала, что там она найдет спасение. Но мысль эта ясно вела ее вон из дому. На несколько мгновений опоздала Дженни. Если бы не порыв бешенства, отнявший время, Дженни успела бы проскользнуть и... кто знает, как сложилась бы ее дальнейшая жизнь, как бы связались и развязались судьбы целого кольца людей. Мгновение, одно кратчайшее мгновение упустила Дженни — и неумолимая рука захватила ее, чтобы уже больше не разжаться над своей жертвой.

Армандо понял, что едва не упустил из рук главный козырь в затеянной игре. Не показав вида Дженни, что он разгадал ее тайну и желание убежать, он глубоко затаил раздражение и поклялся отомстить будущей супруге за ее сегодняшнюю выходку. Очень вежливо и галантно вел себя Армандо всю дорогу, ни одним словом не выдав своего недовольства

ею. У портнихи для Дженни тоже были сюрпризы. Во-первых, Армандо потребовал, чтобы платье — вопреки английской моде — было без шлейфа, объясняя, что венчание будет происходить только у нотариуса. Во-вторых, пристально поглядев на невесту, он просил не опоздать прислать платье в дом невесты завтра, не позднее четырех часов, так как в шесть надо быть у нотариуса.

Для Дженни, еще вовсе не назначавшей дня свадьбы, узнать, что помимо ее воли смели ею распорядиться, что завтра ее венчают, было таким издевательством, что она яростно схватила ворот платья и хотела его разорвать, но случайно пальцы ее коснулись ожерелья, и, точно сломанные пружины, разжались ее руки. Глаза ее встретились с глазами Армандо, где она прочла такой сарказм и презрение, что в бессильной ярости весь гнев вылила на прелестную сумку из перламутра и бирюзы, подаренную ей женихом. Точно нечаянно уронив ее на пол, Дженни всей тяжестью тела обеими ногами раздавила ее, разыграв комедию, что она споткнулась.

— Какая жалость, моя дорогая, — соболезнуя неприятности невесты и подымая обломки вещи, говорил Армандо. — Это была настоящая восточная вещь. Я не сомневаюсь, что в числе свадебных подарков мой дядя подарит вам нечто менее хрупкое, вроде вашего ожерелья.

Он нежно коснулся ручки своей невесты и бросил в горящий камин обломки своего подарка.

— Ах, что вы сделали! — закричала портниха. — Ведь можно же починить эту чудесную вещь.

— Нет, мадам, этой неудачей завершается целый период жизни мисс Уодсворд. Завтра вступит в жизненный поток новое существо, моя жена, синьора Седелани. Ну, а для моей жены найдутся более прочные вещи, чем перламутр. Бирюза эта — тоже амулет восточной любви. Раз он оказался слабым, мы найдем более действенный. Как вам нравится это ожерелье?

— Оно поразительно. Оно необычайно идет мисс Дженни. Но оно делает ее какой-то демонической. Я никогда еще не видела вашей невесты прекраснее, чем сегодня. Но... я не хотела бы, чтобы моя дочь выглядела так накануне своей свадьбы.

— Девушки — странный народ, мадам. Они считают обязательным иметь трагический вид, идя к венцу.

— Быть может, и так, — вздыхая, сказала портниха. — Но теперь, если надо поспеть к определенному сроку, попрошу вас покинуть примерочную и пройти в приемную, я буду снимать туалет с мисс Дженни.

Точно нехотя, вышел Армандо Седелани из комнаты, бросив на ходу своей невесте напоминание, что их ждут и надо торопиться.

— Мисс Дженни, — наклоняясь к бледной и печальной девушке, прошептала портниха. — Что с вами? Ободритесь. Вы ведь в Англии, а не на Востоке. Если вам не нравится этот человек, что заставляет вас выходить за него?

— Можете ли вы разрезать или разорвать это проклятое ожерелье? Если можете — я спасена.

— Что же тут мудреного? Ведь не проволоками же оно спаяно.

— Боюсь, что хуже, чем проволоками. Я пробовала его разорвать и ничего не могла сделать.

Все более изумляясь, портниха взяла самые большие ножницы и подошла к Дженни. Как только она ими коснулась ожерелья и зажала между лезвиями тонкую, как бы платиновую оправу, обе женщины, слегка вскрикнув, отскочили друг от друга. Портниха почувствовала толчок и ожог, а Дженни схватилась за сердце и упала в кресло, возле которого стояла.

— Господи, в жизни ничего подобного не видала и не испытала, — перекрестилась в ужасе портниха. — Это не ожерелье, а канат для каторжника.

— Скоро ли вы готовы, Дженни? Мы опоздаем из-за вашей медлительности, — стучал в дверь Армандо.

— Да ведь женщина не солдат, синьор Седелани. Надо же одеться мисс Дженни, как подобает красавице, вашей невесте, — возмутилась портниха.

Крупные слезы катились из глаз Дженни, и она едва могла одеться с помощью опытных рук портнихи.

— Вы его не любите. Неужели у вас нет друзей, кто бы мог помочь вам?

— Поздно! Теперь только я поняла, кто был истинным другом мне и о чем меня предупреждали.

Едва Дженни успела привести себя в порядок, как в дверь снова постучали. Когда Дженни вышла в приемную, она была так слаба и бледна, что портниха предложила ей стакан вина.

— Это было бы как нельзя кстати, — сказал Армандо.

Он сам взял из рук портнихи вино, прибавил в него немного воды и, как ей показалось, каких-то капель и подал Дженни.

Как только она выпила вино, странная реакция произошла с девушкой. На щеках ее заиграл румянец, губы стали пунцовыми, глаза засверкали, точно агаты с бриллиантами в ее ожерелье.

— Вы так прекрасны, мисс Дженни, что я уверен, все головы будут поворачиваться в вашу сторону в течение всего завтрака. Но поедемте скорее, мы сильно опаздываем.

Молчавшая до сих пор Дженни вдруг обрела дар слова и кокетливый смех, чем несказанно удивила портниху. В настроении Дженни произошла разительная перемена. Она любовалась собой, проходя мимо зеркал, ее занимало впечатление, которое она производила на соседей по столу, а те, кто окружал ее за столом, казались ей очень милыми и любезными людьми.

Синьор Бонда, произведший на нее такое отталкивающее впечатление, теперь казался ей очень внимательным и добрым. Он рассказывал ей о своих несметных богатствах, которые все перейдут к ее мужу и к ней, так как у него нет собственных детей. Только его острые глаза все как бы говорили ей: «Будь послушна, будь послушна». Но сейчас Дженни было весело. Богатство, туалеты, драгоценности и «свет», о котором так мечтала Дженни, — наконец-то все открывается перед ней. И говорившие назойливо о послушании глаза, так приказательно и упорно смотревшие, — уже казались ей маленькой подробностью, на которую не стоит тратить внимания. Окончив завтрак, синьор Бонда

пригласил Дженни с женихом и обоих Дордье в свои комнаты, где был сервирован кофе по-восточному. Усадив Дженни на диван и подав ей чашку кофе, синьор Бонда завел с нею разговор об Алисе.

Ловко выспросив все о лорде Бенедикте, он предложил Дженни написать сестре записку, известить ее об опасной болезни матери и о своей печали, что завтра ее свадьба, а сестра даже не знает ее будущего мужа. Пусть Алиса приедет с подателем письма, а завтра после венчания вернется домой. Дженни, весело смеясь, подшучивала над заочным женихом Алисы, Анри Дордье, который никак не ждет, какого невзрачного утенка ему приготовили в жены. Анри вздыхал и отвечал ей в тон, говоря, что близкое родство с нею вознаградит его за многое. Когда письмо было готово, синьор Бонда спрятал его в свой карман и сказал, что он лично поедет к Алисе и привезет ее к Дженни.

Расставшись с веселой компанией, поглотившей огромное количество вина и тяжелой, жирной пищи, остро приправленной, Дженни и ее жених возвратились в дом пасторши. Теперь Дженни казалось естественным, что жених обнимает ее за талию и, близко склоняясь, заглядывает ей в глаза. Мысль о завтрашней свадьбе ее нисколько не беспокоила, и даже вопросы пасторши, почему же так спешат со свадьбой, когда она больна и не может сопровождать дочь, показались ей сейчас не стоящими внимания.

— Мы завтра будем «венчаться» у нотариуса, мамаша. А уж если вам кажется необходимым церковный обряд, мы можем отложить его до вашего выздоровления. Но мой дядя находит, что церковный обряд вообще дело устарелое и ненужное.

Пасторша в сомнении покачала головой, но не решилась спорить с авторитетом синьора Бонды, присланным к ней самим да-Браццано. Все воспоминания ее юной любви вставали сейчас в ее сердце, которое одного Браццано, пожалуй, и помнило за всю долгую жизнь. Время шло довольно приятно, все ожидали с минуты на минуту Алису. Но становилось поздно, а ее все не было. Наконец раздался стук молотка, но, увы, вместо Алисы явился довольно раздосадованный и злой один Бонда.

— Почему вы мне не сказали, что это какая-то крепость, а не дом?

— Какая крепость? Это один из самых изысканно обставленных домов. Там такие картины, такой фарфор...

— Я не об обстановке говорю. Я говорю о целых баррикадах вокруг дома, через которые не проберешься. Я даже письма передать не мог, не только что увидеть Алису, — рычал Бонда, накидываясь на Дженни.

— Я же вам предлагала, что поеду сама и привезу сестру. Мы с мамой там были не раз и никаких баррикад не видели. Я еще раз предлагаю вам поехать за Алисой.

— Сидите дома и ложитесь пораньше спать, чтобы завтра быть пленительной для молодого мужа, — силясь улыбнуться, ответил Бонда Дженни. — Не такие баррикады брали, как какой-то дурак Бенедикт.

Вскоре гости простились и уехали, а мать с дочерью остались в одиночестве.

— Ну, вот и дождались мы, драгоценный мой ангелочек, любимая моя Дженничка, великого дня твоей свадьбы.

Как только гости ушли, Дженни опять начала теребить свое ожерелье.

— Дженни, дорогая, что это ты делаешь? — с ужасом закричала пасторша, мгновенно перейдя из размягченного тона в самые раздражительные интонации, как только заметила, чем занималась ее дочь перед зеркалом.

— Чем кричать или говорить глупости о каких-то великих днях, вы бы лучше помогли мне снять этот собачий ошейник, — не менее раздраженно закричала Дженни.

— Боже мой! Да что же это с тобой делается? Где ты берешь такие выражения? Чем ты можешь быть сейчас недовольна? Ведь как в сказке: на ковре-самолете прилетел жених и, как из волшебного ящика, выпрыгнул дядюшка, чтобы озолотить тебя. А ты все только фыркаешь. Право, когда жил отец, у тебя характер был лучше. А сейчас я даже не знаю, как с тобой ладить.

— Ничего. Через пять минут заснете, а еще через пять — захрапите на весь дом, и не только свои заботы забудете, а и обо всех на свете помнить перестанете. А будет ли мил или отвратителен ваш храп мне, об этом вы всю жизнь мало беспокоились. Об одном прошу: спите и храпите сколько влезет, но в мои дела и поведение не вмешивайтесь. Иначе я вас завтра же брошу.

С этим ласковым и почтительным репримандом нежная дочь ушла в свою комнату провести свою последнюю девичью ночь. Кое-как сбросив с себя платье, Дженни снова надела свой старый халат, сшитый со вкусом любящей рукой Алисы. Ни на одном стуле, кресле, кушетке не находила себе места Дженни. Точно гонимая каким-то вихрем, она бросалась из одного угла в другой и вышла наконец в зал. Полная тишина царила в доме. Точно все умерло. Дженни поразила эта необычайная тишина, которую всегда нарушал могучий храп пасторши. На миг она даже забеспокоилась, подумав, не слишком ли груба она была с матерью. Но эгоистические мысли о самой себе утопили сейчас же и этот благородный порыв. Темный зал, освещенный одной свечой, которую держала в руке Дженни, ее не пугал. Наоборот, ей была приятна эта тьма, не раздражавшая ее мучительно натянутых нервов. Дженни все искала, чем бы ей заняться. Машинально глаза ее упали на стол, и она заметила на нем золотой портсигар с монограммой жениха. Должно быть, куря папироску в ожидании невесты, он забыл свой портсигар. Будучи уверена, что портсигар принадлежит ее жениху, Дженни открыла его, достала папироску и закурила. Папироса была маленькая и очень тонкая. Приятный аромат, мало похожий на обычный табак, удивил Дженни, подумавшую, что и папиросы на Востоке не похожи на английские.

Чем дальше курила Дженни, тем сильнее менялось ее настроение, ей стало весело. Все, за минуту печалившее и раздражавшее, стало казаться пустяками. В голове у нее зашумело, как после хорошего стакана вина, которое за последнее время Дженни научилась пить. В крови она чувствовала приятное волнение. Ей стало жарко. Она сбросила халат, встала с места и увидела свое отражение в большом зеркале.

Дженни стало скучно в темноте. Она зажгла большие канделябры возле зеркала и увидела себя в одной рубашке, с расширенными глазами, пылающими щеками и улыбающимся лицом. Дженни понравилась себе в этом необычайном для нее виде. Ей захотелось еще больше света. Она зажгла все свечи на всех столах, но и этого ей показалось мало. Она встала на высокий стул и специальной свечой на палке зажгла обе люстры. Теперь комната пылала, и в ней пылало все существо Дженни. Она снова подошла к старинному зеркалу, распустила волосы и стала любоваться собой. Ожерелье под огнем сотни свечей переливало всеми цветами радуги, и жемчуг, который был голубым, как отлично знала Дженни, казался сейчас огненным.

Дженни изгибалась во все стороны, фигура ее отражалась в другом зеркале, пышные рыжие волосы казались огненным плащом и бросали вокруг нее красное пламя. Ей

пришло в голову, что она, собственно, не знает себя и никогда не видала себя голой. Дженни, воспитанной в чистоте, которую разливал вокруг себя пастор, и в голову не приходила до сих пор мысль о своей наготе. Теперь же в пылавшем зале, с огнем, пылавшим в ее крови, Дженни стала осторожно спускать сорочку с плеч. Обнажив безукоризненные руки и грудь, Дженни замерла от восторга. Она все ниже спускала свой единственный покров. Вот открылся живот, бедра, вот сорочка упала к ее ногам. Дженни стояла зачарованная своей красотой. Она отбросила прочь кусок батиста и кружев, мешавших ей любоваться своими маленькими ножками.

— Как я прекрасна! Подумать только, что я не знала, как я хороша, — тихо смеясь, говорила Дженни. — Разве не счастливец тот, кто будет обладать этими сокровищами... — продолжала она разговаривать сама с собой, влюбленно рассматривая всю прелесть своего тела. — Да разве возможно, чтобы кому-то одному доставалась такая красота? Многим, многим должно украсить жизнь такое чудесное тело. Чего стоит рядом со мной Алиса? Или эта дурнушка Наль? Как будут они обе убиты в конторе! И самому лорду Бенедикту вряд ли устоять против таких женских чар. О, вот теперь начнется настоящая жизнь.

Мало-помалу, продвигаясь к зеркалу и отступая назад, Дженни начала выделывать какие-то па. Сама не зная, что она делает, Дженни стала танцевать самый бесстыжий танец, какой не пришел бы в голову и опытной соблазнительнице. Дженни стало так весело, что ее громкий смех несколько раз долетал до ушей горько и тихо плакавшей матери.

Много раз плакала в своей жизни пасторша. Но каждый раз ее слезы были вызваны бешенством. Теперь она плакала слезами стареющей женщины, отверженной матери и совершенно одинокого существа. Сейчас пасторша поняла, что муж, которого она ненавидела, был единственным существом, жалевшим ее, единственным, относившимся к ней милосердно. Испытав, чем в последнее время платит ей Дженни за все ее жертвы и любовь, пасторша плакала в полном отчаянии, понимая, что у нее нет ничего, за что она могла бы ухватиться в жизни. Страшный призрак полного одиночества и смерти впервые встал перед ней. Прожитая бестолково жизнь уже позади, и ничего, кроме тьмы, никакого призыва жизни, который создала бы ее собственная любовь, впереди... Когда среди ее тихих рыданий к ней ворвался еще раз раскатистый хохот Дженни, на пасторшу напал суеверный ужас. Кое-как, с трудом передвигая ноги, с заплаканным лицом, согнувшись, с растрепанными волосами, не имея сил сдержать катившиеся слезы, она направилась в зал, откуда все еще слышались раскаты смеха Дженни. Не в силах ничего сообразить, леди Катарина открыла дверь и, ослепленная ярким светом, в ужасе остановилась на пороге, прикованная бесстыжими движениями голой Дженни, ее ужасным смехом и возбужденным видом. Несчастная мать решила, что Дженни сошла с ума. Дженни же, не сразу заметившая мать, внезапно увидела фигуру в зеркале, решила, что видит привидение, и завопила: «Ведьма, ведьма!»

Перепуганная сверхъестественным явлением в зеркале, забыв, что у нее есть мать, забыв все, кроме своей пьяной вакханалии от своей красоты и жажды жизни, Дженни бросилась нагой из зала, едва не сбив с ног с трудом отодвинувшуюся пасторшу, вбежала в свою комнату и вскочила в постель.

— Это мне явилась ведьма старости, чтобы я не зевала и не пропускала даром дней. Ну уж нет! Могла и не являться. Ни одного дня без наслаждений и денег не проведу, — думала Дженни, постепенно успокаиваясь. Утомленная своим долгим танцем, Дженни стала засыпать, вступая в новый день, где суждено было закончить свое существование мисс Дженни Уодсворд и вступить в жизнь синьоре Седелани.

Долго стояла пасторша на одном месте. Ей казалось, что теперь совершилось самое страшное и непоправимое из всех несчастий ее жизни. Дженни — сумасшедшая! Ее

гордость, ее жизнь, ее будущее — Дженни — безумная! Отчаяние высушило слезы, отчаяние в один миг переставило в ее сердце все ценности на другие места. Что стоили теперь все богатства мира, если ее дитя не может ими пользоваться? Не имея сил потушить все еще пылавшие свечи, с такой заботливостью приготовленные ею для завтрашнего дня, пасторша прислушалась к тишине, боясь снова услышать смех безумной Дженни, и поплелась в свою комнату. Бездна ее горя сейчас ей открылась ясно. Вот почему Дженни была так груба с ней все последнее время. Дженни уже давно, значит, была ненормальна, а она, мать, не понимала своего дитяти. Что ей вся вселенная, что ей все живое во всем мире, если ее дорогая дочь, ее плоть и кровь, не с нею, не может теперь понимать, в чем прелесть жизни.

— О, Браццано, Браццано! Ты соблазнил меня и бросил. Ты велел мне немедленно выйти за Эндрью замуж, скрыв от него свою беременность. Я послушалась, все исполнила так ловко, а ты меня обманул. Обещал ты вернуться и не вернулся. Обещал помочь в самое трудное время — где же твоя помощь?

В этих мыслях провела пасторша остаток ночи и все раннее утро, забыв сказать прислуге убрать чадившие свечи, кое-где еще продолжавшие тлеть.

Когда горничная вошла утром убрать зал, она была так поражена видом оплывших свечей и закапанным полом, что немедленно отправилась к пасторше с докладом. К ее большому удивлению, пасторша не обратила никакого внимания на ее слова, но, досадливо махнув рукой, велела позвать дворника, все вычистить и вставить новые свечи. Сама она, совершенно разбитая духовно и телесно, лежала как мертвая на своей кушетке, ожидая себе смертного приговора: звуков из комнаты Дженни.

Но там было все безмятежно спокойно. Часы шли, а из комнаты дочери все так же не было звуков, и волнение пасторши дошло до предела. Раздался стук в наружную дверь, посыльный принес Дженни ежедневный подарок: утренний букет цветов от жениха, букет сегодня особенно роскошный, и два письма: одно Дженни, второе матери. Передав горничной цветы и письмо, пасторша послала ее будить Дженни, а сама, не смея войти, спряталась за дверью, чтобы все видеть и слышать.

— Кто тут? — в ответ на стук раздался сонный голос Дженни. Узнав, что ей письмо и цветы, Дженни лениво поднялась с постели и впустила горничную. Взяв у нее букет, она бросила его на пол и сказала девушке:

— Принесите поскорее вина, в горле пересохло.

Услыхав такое необычайное требование дочери, пасторша стала еще печальнее. Все подтверждало ненормальность Дженни. Вернувшись в свою комнату, пасторша села в кресло и раскрыла свое письмо. Взглянув прежде всего на подпись, она увидела, что письмо было от Бонды. Еще вчера она была бы рада получить его письмо. Но последняя ночь унесла всю ее энергию и жизнерадостность. Она равнодушно держала письмо, не читая его, и все прислушивалась, чем одарит ее жизнь из комнаты дочери. Той пасторши, бодрой, свежей женщины, которая несколько месяцев тому назад стояла в зале, представляя лорду Бенедикту своих дочерей, соперничая с ними в красоте, и помину не было. Одна ночь проложила мрачные и глубокие морщины на лице, провела серебром по волосам, сморщила кожу на шее. Не пасторша, а жалкая тень ее, болезненно желтая, с распухшими, красными глазами, сидела в кресле.

— Мама, что с вами? Почему вы сидите неодетая? — вдруг услышала пасторша и увидела Дженни в роскошном халате жениха перед собой. Лицо ее было очень бледно, глаза тусклы, вся она была вялая и ленивая. Положительно это была какая-то новая, незнакомая

матери Дженни. У прежней, всегдашней Дженни был повышенный тон, в движениях сверкали энергия и темперамент. У Дженни же сегодняшней был вид утомленный, ко всему она была равнодушна, медленно тянула слова, точно подтверждала ночные мысли пасторши, что все великолепие мира уже не заинтересует Дженни. Пасторша хотела узнать, помнит ли Дженни что-либо из своего поведения ночью и знает ли она, что мать видела ее позорные выходки у зеркала, но спросить боялась.

— Я что-то плохо спала и видела дурные сны, — вяло цедила Дженни слова. — Кроме того, это ожерелье так неудобно, оно давит своей тяжестью. Как глупо делать тайные замки. Должно быть, много глупостей вообще проделывается на Востоке, если судить по моему жениху и его дяде. От кого вам письмо?

— От синьора Бонда, но я еще не успела его прочесть.

— Ну читайте. Я тоже еще не успела прочесть своего. Надеюсь, что хоть сегодня до венчания не увижу ваших протеже.

— Дженничка, деточка, неужели тебе не нравится твой жених? Ведь он такой красавец! И ведь ты еще свободна, ты же можешь отложить свадьбу, можешь и совсем порвать.

— Ха, ха, ха! Вот как вы теперь запели! То дыхнуть было невозможно без ваших наставлений, как привлекать и не упустить Армандо, а теперь заговорили об освобождении. Поздно, мамаша. Когда дочке нацепили ошейник — нечего заманивать свободами. Сами толкали в ловушку, а теперь желаете умыть руки в чистой водичке и соблюсти невинность. Эх вы! Хотя бы теперь проявили каплю любви к ребенку, любви, которой хвастались и прикрывались всю жизнь.

Все эти ужасные слова Дженни говорила вялым тоном, точно автоматически двигающая губами безжизненная кукла, и оттого они казались пасторше еще страшнее. Дженни тяжело встала с кушетки, перешла в зал, где и осталась, велев подать себе туда завтрак. Пасторша, вдвойне убитая и видом Дженни и ее словами, сидела, чутко прислушиваясь, что происходит в зале. Но там ничего особенного не происходило, кроме того, что Дженни велела настежь открыть окна. Пасторша стала читать письмо Бонды.

«Милейшая и любезнейшая леди Катарина! Наш общий друг князь да-Браццано напоминает Вам о клятве Вашей юности, данной Вами ему на веки вечные. Вы клялись на его драгоценном черном бриллианте быть ему верной и послушной во всем, покоряться всем его приказаниям. До смерти Вашего мужа он предоставлял Вам жить, как Вам хотелось. Теперь он требует: оставьте Вашу старшую дочь в покое, у нее будут руководители, которые пополнят ее воспитание. Вы сами отлично знаете, кто отец этой Вашей дочери, и если не подчинитесь тем требованиям, что ставит Вам через меня да-Браццано, обе Ваши дочери узнают истину. Вторую Вашу дочь, единственное дитя пастора, Браццано требует в жены для Анри Дордье. Не входя в обсуждение вопросов, как могло случиться, что Вы выпустили младшую дочь из рук, Браццано дал нам задачу привезти ее к нему в Константинополь. По обдуманному нами плану, из судебной конторы мы увезем ее, если понадобится, силой, для чего у нас уже подобраны люди. Ваша же роль в этом деле должна заключаться в том, чтобы ожерелье, которое я Вам передам сегодня, Вы накинули ей на шею, когда будете ее обнимать в судебной конторе, до начала разбора дела. Остальное все предоставьте нам. Помните только: одной рукой, на которую я Вам надену браслет Браццано, крепко обнимите девочку, а второй, как бы гладя головку, накиньте ожерелье. Я привезу Вам лекарство, чтобы Вы завтра были совсем здоровой. А сегодня оставайтесь дома, свадебная церемония будет скромной и короткой, и все обойдется без Вас. Я и жених будем у Вас к четырем часам.

С почтением Тебальдо Бонда».

Ужас пасторши перешел в какой-то духовный и физический паралич. Уныние, которое владело ею все утро, страх, отчаяние и страшное разочарование в человеке, о котором она сохранила какие-то иллюзии юности, разбили ее совершенно. Это страшное письмо, которое вчера она старалась бы сжечь, сегодня оставляло ее равнодушной. Не все ли равно, как сейчас будут думать о ней? Ведь Дженни безумна, она даже не поймет того, что говорится в письме. А от нее отнимают единственную ниточку тепла жизни, даже безумную Дженни.

Сколько прошло времени, пасторша не знала. Не знала она и того, что Дженни снова выкурила тоненькую папироску и совершенно ожила, точно переродилась. Пасторша поразилась, когда Дженни вошла к ней в ярко-зеленом платье, с румянцем на щеках, с блестящими глазами, мурлыкая какую-то песенку. Дженни не была музыкальна, песенка звучала фальшиво. Но не это поразило пасторшу, а выражение лица дочери, что-то от той вакханки, которую она видела ночью. Пасторша подобрала письмо и закрыла лицо рукой, точно боясь увидеть снова ночной танец дочери.

— Да что делается с вами, мама? Вы все еще не одеты, не причесаны. Ведь уже скоро три часа, а в четыре приедут гости. Надо же, чтобы вы не внушили ужаса родственнику Анри. Он весельчак, но думается, что даже он умрет от тоски, увидев вас в таком безобразном виде.

— Я думаю, мне совсем не придется ни выйти к гостям, ни выехать на твое венчание. Я должна буду лечь в постель, я совсем больна и чувствую себя, как столетняя старуха. Твой обряд будет только нотариальной записью, по последней моде. Ну, а это не требует никаких светских приличий. Распишетесь вы оба, распишутся ваши свидетели — вот вы муж и жена. По всей вероятности, твой муж и его родственники не пожелают вернуться к бедной больной матери. Ты уже будешь носить другое имя и в твоем теперешнем настроении вряд ли захочешь вообще навещать меня. Живи, детка, как тебе хочется и нравится.

До того необычен и тих был голос пасторши, что Дженни остановилась и слушала мать, как невероятную историю, которую ей кто-то рассказывал. Весь вид матери, убитой, осунувшейся, вид неожиданно старой женщины, поразил Дженни.

— Вас, право, подменили, мама. Дайте-ка сюда письмо. В чем дело? Кто вам пишет?

Дженни хотела взять письмо с колен матери, но та зажала его в руке и сунула в карман.

— Письмо это касается только меня, Дженни. А уж давно ты мне дала понять, что я для тебя не существую. Мои горести, как и моя любовь, тебя тяготят не первый день.

— Да что это за несносная манера, — топнула ногой Дженни, и все ее ожерелье заиграло огнем, точно весь гнев Дженни в него пролился. — И это называется днем свадьбы! Вы бы отходную мне еще почитали. Ну и капризничайте сколько влезет, обойдемся и без вас. Подумать только. Состряпали собственными руками всю эту свадьбу, а теперь стараетесь скрыться в кусты.

— Дженни, ради Бога, умилосердись!

— Да что вы мне суете теперь вашего Бога! О каком милосердии вы говорите? Вы, что ли, были милосердны? К кому? К отцу? К Алисе? Ко мне? Милосердия захотели! Жните что сеяли.

Круто повернувшись на каблуках, Дженни вышла из комнаты и стала отдавать приказания о чае, весь десерт и закуску к которому обещал привезти с собой жених. Через минуту Дженни забыла о матери и любовалась собой в зеркале. Она подошла к столу, взяла в руки золотой портсигар. При дневном свете инициалы из черных бриллиантов, которые понравились Дженни, ярко сверкнули, и она разобрала буквы: Т.Б.

Дженни усмехнулась.

— А я-то думала, что покурила папирос жениха. Надо будет самой сказать, этот крокодил сразу заметит, что двух не хватает.

Вспоминая шарящие глаза Бонды, Дженни ощутила какую-то неприятную тошноту в горле. Но дальше ей думать ни о чем не пришлось, так как в переднюю входили четверо мужчин, весело смеясь остротам веселого Марто. Пока все веселились в зале, пока рассматривали принесенное подвенечное платье, пасторша все сидела одна, не выходя из круга своего отчаяния. Почему-то она вспомнила, как была у лорда Бенедикта, как он подарил ей ожерелье из опалов и бриллиантов, такие же серьги и брошку. Особенно она полюбила эту брошку, часто ею любовалась и носила. Она протянула руку к своему туалету, взяла брошь, поднесла ее ко лбу и прошептала:

— Милосердия, милосердия, милосердия. Вы отняли у меня одну дочь, теперь он отнимает другую? В нем милосердия нет. Неужели же и в вас нет пощады для грешницы? Я обманула мужа, я обманула дочерей. Пусть я погибну, молю милосердия для моих дочерей.

Неожиданно ей стало легче. Холодные камни точно вбирали в себя жар ее тела. Она стала дышать свободнее, смогла выпрямиться, встала с кресла и закрыла свою дверь на задвижку. Она вернулась снова в кресло, все крепко прижимая к себе любимую брошь. Какая-то уверенность влилась в нее. Мысль стала работать спокойнее, и она стала думать, что сейчас делать, что можно немедленно предпринять.

Не отдавая себе отчета, почему она это делает, она зажгла свечу и сожгла письмо Бонды. Ей стало еще спокойнее. Положив обе руки на брошку, леди Катарина стала думать, как ужасно она поступила, дав когда-то страшную клятву Браццано, клятву, дававшую ему право на всю ее жизнь и смерть. Она обратилась мыслью к лорду Бенедикту и стала упорно просить его спасти теперь Алису от ужасных людей. Не отдавать второй дочери людям, цену которым она поняла до конца в эту ужасную ночь. «Зачем, зачем я повторяла за ним какие-то бессмысленные слова, целовала какой-то черный камень», — все передумывала дни далекого прошлого леди Катарина. Теперь только, всеми брошенная, когда ей сказали, что и на свадьбе любимой дочери она не нужна, когда во всем мире она не видела ни одного близкого себе человека, она стала отдавать себе отчет, кого и что она потеряла в пасторе. И, в новом порыве отчаяния прижимая брошь к своим губам, чтобы не дать вырваться рыданиям, она мысленно говорила лорду Бенедикту:

— Вы были его другом. Не может быть, чтобы вы были злы или мстительны. Спасите, спасите дитя пастора! Алиса истинно его дочь. Я понесу кару за свою неправедную жизнь, но спасите Алису.

Ничего не соображая от скорби, не отдавая себе отчета, что мольба ее не может быть услышана тем, кого она молит, она опустилась на колени, прижалась лицом к подаренному ей лордом Бенедиктом ожерелью и все продолжала молить его с таким жаром и верой, с какими ни разу в жизни не молилась Богу. В ее истерзанном сердце, в смятенном мозгу все смешалось в какой-то бред. Она перестала понимать, где кончалась

действительность и где начиналась ее фантазия. Ей почудилось, что ей прямо в ухо идет какой-то утешающий голос, ободряющий, милосердный:

— Не в одно это мгновение, но во все остающиеся дни вспоминай мужа и моли его о помощи. Храни чистые камни, что даны тебе милосердной рукой. Пойми, что такое милосердие доброты, и не отчаивайся. Все, что прибегает с мольбой к милосердию, все найдет в нем пощаду. Перестань плакать. Мужайся. Действуй так, как будто рядом с тобой стоит твой муж и видит, и знает, как ты поступаешь. Не прикасайся к вещам и лекарствам, что тебе дадут. Брось их в камин и, когда останешься одна, жди указаний, как поступать дальше.

Так явно, казалось леди Катарине, она слышит шепот, что она ободрилась, встала гораздо прямее и начала приводить себя в порядок.

В доме слышался раскатистый смех, несколько голосов говорили одновременно, по коридору и передней несколько раз пробегали. Долетали слова о подвенечном платье, о том, что пора ехать, но о пасторше никто не вспоминал. Наконец кто-то подошел к ее двери и постучал, сразу нажав ручку. Убедившись, что дверь заперта, Бонда нетерпеливо закричал:

— Мамаша, открывайте скорее, я вам передам, что обещал.

Пасторша, ухо которой отлично различало интонации нетрезвых людей, поняла, что Бонда уже не на первом взводе. Сидя в кресле, она ответила:

— Подняться и открыть вам дверь я не могу. Оставьте все у моих дверей. Я остаюсь дома совершенно одна, никто ваших вещей не тронет. Как только боли меня отпустят, я попытаюсь выйти и взять их.

За дверью раздался наглый хохот Бонды, и он саркастически сказал:

— А разве вы не хотите поглядеть на красавицу невесту и благословить ее к венцу?

— Вы мне очень ясно объяснили, синьор Бонда, что нынче брак церковный не в моде. А для записи у нотариуса Дженни ни в каком благословении не нуждается.

— Ну ладно. Кладу на стул лекарство и сверток. Когда развернете, найдете записку, как принимать лекарство и как обращаться с вещами. Не забудьте моих наставлений. Да, кстати, Дженни сегодня не вернется к вам. Мы все вместе приедем завтра в контору, а вы приедете туда одна. Это мне удобнее по многим соображениям.

И Бонда, не поинтересовавшись, как проведет ночь в доме пасторша одна, больная, отпустившая всю прислугу по его же настоянию на всю эту ночь, присоединился ко всей веселой компании, и вскоре шумная квартира опустела. На сердце леди Катарины было не только тяжело. Ей казалось, что вместо сердца у нее в груди лежит кусок льда. Все ее существо содрогалось от отчаяния, одиночества, отверженности. Ее лелеянная мечта: свадьба Дженни, свадьба, о шуме и блеске которой она мечтала годы, будет происходить в какой-то нотариальной конторе. И ее девочка, как девка, проведет ночь в гостинице. Та же обожаемая девочка даже не подошла к двери сказать последнего девичьего прости.

Сколько времени сидела в оцепенении пасторша, она сказать бы не могла. Постепенно мысли ее стали возвращаться к завтрашнему дню, к завещанию пастора, к самому пастору и к другу его последних дней, лорду Бенедикту. Она подумала, что, плача и моля этого лорда о помощи, она заснула, и ей приснились слова милосердия. Она решила последовать совету своего сна. К собственному удивлению, она довольно легко встала и подошла к двери. Волна страха и нерешительности пробежала по ней, она прислушалась

— всюду царила тишина. Леди Катарина отошла от двери, подожгла дрова в камине и только тогда открыла дверь комнаты. Ей казалось, когда она взяла каминными щипцами пакет, что все ее существо раздирается на две части: в одно ухо кто-то шепчет: «Бросай скорее в камин», а в другое: «Не смей!»

Спеша, боясь уронить зловещий пакет и ослушаться утешавшего ее во сне голоса, она бросила в самую середину разгоревшихся дров свою ношу. Пламень не сразу охватил плотную бумагу пакета. Леди Катарина бросила в камин и лекарства. Не прошло и нескольких минут, как пакет с лекарствами загорелся, зашипел, как фейерверк, и пламя его стало переливаться всеми цветами радуги по дровам. Зрелище было так необычно и красиво, что пасторша не могла отвести глаз. Вдруг пламя охватило пакет с вещами, долго сопротивлявшийся огню, в комнате раздался взрыв, второй взрыв, еще сильнее, из камина повалил дым.

Насмерть перепуганная, леди Катарина бросилась с криком вон из комнаты, считая, что начался пожар и рушится крыша. Не успела она выскочить в коридор, как в передней послышался сильный стук в наружную дверь. Ничего не соображая, как в безумии, она бросилась к двери, распахнула ее и... очутилась перед высокой фигурой лорда Бенедикта.

— Скорее, скорее, — сказал он, накидывая ей на плечи плащ. — Крепче закройте дверь дома и садитесь в мою коляску.

Захлопнув своей могучей рукой наружную дверь и повернув что-то в замке, лорд Бенедикт усадил пасторшу в карету, сел рядом и крикнул кучеру: «Домой!»

Леди Катарина, только два дня тому назад поносившая лорда Бенедикта, сейчас, утопая в каком-то мягком и теплом плаще, который согревал ее, дрожавшую с головы до ног, вдруг почувствовала себя так, как должен чувствовать себя человек, вытащенный из горящего дома. Слезы лились по ее щекам, она не смела взглянуть на своего спасителя, ей думалось, что она встретит тот пристальный и грозный взгляд, что приковывал ее к месту.

— Ободритесь, бедняжка, леди Катарина. Именем и любовью вашего мужа я действую сейчас. Он все простил вам за одно мгновение вашей любви к Алисе, за один полный, до конца пережитый миг самопожертвования.

Пасторша, страшившаяся даже поглядеть на лорда Бенедикта, все забыла, пораженная и очарованная интонацией прозвучавшего голоса. Сердце ее, истерзанное до последнего предела человеческого страдания, ожидавшее строгого выговора и наставлений, раскрылось и вылило все самое лучшее, что таилось на самой его глубине.

— Милосердие Великой Матери Жизни не похоже на милосердие людей, леди Катарина, — продолжал все тот же ласковый голос, доброта и утешение которого расплавляли все горы зла и печали, в которые заковала себя пасторша. — Вы проведете эту ночь в моем доме, если пожелаете. Но, если окажете мне честь принять мое гостеприимство, вам придется подчиниться некоторым условиям. Условия эти не будут тяжелы, но вы только тогда их примете, если сами добровольно пожелаете им подчиниться. Если же вы их принять не пожелаете, вы можете возвратиться в свой дом в любую минуту.

— Сжальтесь, лорд Бенедикт, не отправляйте меня домой. У меня нет больше дома, я у Дженни не смогла вымолить ни слова сострадания в ужасный миг жизни. И те, кто туда может вернуться за мной, ничего, кроме смерти, принести не могут. Я согласна вытерпеть все, я уже фактически умерла, я потеряла все самое драгоценное в жизни: мою Дженни и ее любовь. Я не дорожу больше жизнью. Мне такими страшными кажутся теперь мои ошибки прошлого, что лично мне уже нет спасения. Сейчас мое отношение к Алисе я воспринимаю как ряд ошибок, почти преступлений. И я понять даже не могу теперь,

каким образом сложилось мое жестокое отношение к бедной девочке, такой труженице, так меня любившей. Я не в силах проследить теперь, когда началось мое неверное поведение и каким образом я встала на такую ужасную дорогу. Приказывайте, лорд Бенедикт, ничто мне не страшно, кроме возвращения в свой дом и встречи с Бондой.

Голос пасторши дрожал и прерывался. Видно было, что это существо, до бездны отчаяния дошедшее, хватается за лорда Бенедикта, видя в нем единственный, чудом посланный якорь спасения.

— Мы приехали, леди Катарина. Закутайтесь в плащ, нас никто пока не увидит. Без него вам трудно будет дышать в атмосфере моего дома. Вы сейчас Алисы не увидите, а завтра ни одним словом ей не обмолвитесь о пережитом вами за эти дни. Я провожу вас в комнату, где вы будете в полной безопасности и куда к вам никто из ваших преследователей не сможет проникнуть.

Лорд Бенедикт помог своей спутнице выйти из экипажа и через ход из сада провел ее прямо наверх. Здесь в небольшой прекрасной комнате горел огонь, было тепло, уютно, мирно. Флорентиец усадил в глубокое кресло у камина леди Катарину и приказал вошедшему слуге позвать Дорию. Вошедшей через несколько минут девушке он сказал:

— Дория, мой друг. Я привез жену моего умершего друга, лорда Уодсворда. Она больна, а ты любила пастора. Во имя любви к еще не так давно беседовавшему с большой любовью с тобой пастору проведи эту ночь с больной. Вот тебе лекарство, которое дай сейчас. Прикажи приготовить ванну и после ванны и ужина дай второе лекарство. Уложив спать леди Катарину, останься при ней, пока я не подымусь сюда сам. Повторяю вам, леди Катарина, ничего не бойтесь. Как только вы примете лекарство, вам станет лучше, вы перестанете дрожать. Ни о чем не думайте, спите спокойно. Завтра я все скажу вам, как вам действовать. Вы ведь сами чувствуете, что вам гораздо лучше, что ваша спина больше не болит.

Лорд Бенедикт спустился вниз, чем обрадовал соскучившуюся без него семью, и весело попросил его накормить. После ужина, собрав всех в своем кабинете, он напомнил им о завтрашнем визите в судебную контору. Николай и Наль должны остаться дома. Шайка темных бандитов, преследовавших Левушку еще в К., связалась с Константинополем, но там потеряла след. Сейчас, неверно оповещенная, она прислала гонцов в Лондон, где ищет его снова. Но о самом Николае и Наль они и не догадываются. Им и не надо видеть беглецов. Но шайка многолюдна. Пустой дом тоже будет небезопасен, злодеи будут пытаться ворваться в него. Сегодня в ночь приедут сэр Ут-Уоми и дядя Ананды. Кто-нибудь из них останется дома вместе с теми людьми, что с ними приедут. Они охранят Наль и Николая.

Ананда повезет одного из важных и необходимых свидетелей в отдельной карете в контору, а все остальные поедут с самим лордом Бенедиктом и сэром Уоми. В конторе каждому будет указано место, но Генри, Алиса и леди Цецилия не должны покидать руки сэра Уоми и его, не отходить от них ни на шаг. Простившись со всеми своими домочадцами, каждый из которых был взволнован на свой лад, Флорентиец вместе с Анандой поднялись наверх к Дории и леди Катарине.

Пасторша уже крепко спала, сверх обыкновения не наполняя комнату своим могучим храпом. Подойдя к ее постели, Ананда взял одну ее руку, Флорентиец взял ее вторую руку, положив на ее лоб свою вторую руку. Он тихо и внятно сказал:

— Вашу ужасную клятву, данную в юности злодею, не понимая ее смысла, я разрываю.

По всему телу пасторши прошла судорога. Из ее рта вырвался стон и вышла слюна, окрашенная кровью. Но глаз она не открыла, казалось, даже не проснулась.

— Ваша измена светлой силе покрыта сегодня вашей мольбой к Милосердию и порывом самоотверженной любви, которые вы нашли в своем сердце. Любовь, что вы пролили вашей младшей дочери, которую вы преследовали много лет, и мольба о ее спасении дала вам помощь и прощение Тех, кого умолил ваш муж спасти вас.

Твердо стойте теперь на своем новом пути, который сумели вымолить. Забудьте все, что когда-либо вы обещали Браццано или Бонде. Помните только то, что надо спасти Алису, что вы хотите спасти ее и что спасение ее и ваше зависит от вашей верности в исполнении того, что будет говорить вам Ананда.

Спите мирно и бесстрашно. Ничья воля, ничья рука не могут вас коснуться в моем доме или где бы то ни было, если подле вас я или Ананда.

Передав Дории распоряжение не покидать леди Катарину ни ночью, ни утром и найти среди своего гардероба какое-либо приличное платье и шляпу для пасторши, оба друга спустились снова вниз и стали ждать приезда сэра Уоми и дяди Ананды в кабинете.

Как только Дженни, одевшись в подвенечное платье, украсив голову прелестным веночком флердоранжа и приколов жениху и шаферам такие же букетики к петлицам, покинула дом, где родилась, ее бурное настроение упало. Будучи с утра возбуждена ядовитой папиросой Бонды, выпив за завтраком несколько бокалов вина, Дженни все же была не так пьяна, как сопровождавшие ее мужчины. Их языки развязались до сальных шуточек и намеков, что девушка, так еще недавно не слыхавшая ни одного пошлого анекдота, стала испытывать нечто вроде страха. Она много бы дала, чтобы иметь подле себя свою мать.

— Почему мама не села в мою карету? — спросила она жениха.

Хохоча и отпуская малопонятные Дженни каламбуры, ей ответил веселый Марто. Кривляясь и подмигивая, он уверял Дженни, что Бонда везет ее в своей карете. Что там им не скучно, а будет еще веселее. Весь путь ее жених, не стесняясь присутствия товарищей, обнимал и прижимал к себе Дженни, пытаясь поцеловать ее в губы, от чего бедная Дженни всеми силами отбивалась, что служило немалой потехой остальным и самому жениху.

— Тебе придется, вероятно, сегодня звать друзей на помощь, Армандо, — нагло хохоча, безобразничал Мартин Дордье. — Можешь на меня рассчитывать, — под аккомпанемент дружного пьяного хохота остальных завершил он свои выходки.

Экипаж остановился, и чья-то рука раздраженно рванула дверцу. У кареты стоял хмурый Бонда и зло смотрел на веселую компанию своими шарящими глазами.

— Что вы все с цепи сорвались, что ли? — шипя от злобы, крикнул он, просовывая голову внутрь кареты. — Ведь не банду озорников я привез к знаменитому нотариусу, которая должна осрамить себя и меня. Я вам обещал веселенькую ночь в гостинице. А вы и подождать не можете и ведете себя, как пьяные матросы. Да и вы, барышня из хорошей семьи и приличного общества, хороши. Не умеете себя вести в карете средь бела дня. Вам здесь не спальня. Вот проучит вас Браццано раз-другой плеткой — мигом научитесь быть воспитанной. Живо вылезайте и примите вид культурных людей, а не разнузданных животных.

Не дожидаясь ответа от опешивших приятелей, Бонда повернулся спиной к карете, вошел в калитку и пошел через палисадник к видневшемуся в глубине дому, где немедленно ударил молотком, висевшим у входной двери. Только когда Бонда вошел уже в калитку, сидевшие в карете, и больше всех Дженни, стали приходить в себя от изумления, от бешенства.

— Не обращайте внимания, милая моя женушка. Манера выражаться этого джентльмена чрезвычайно оригинальна. Но человек он неплохой. Друг он верный, и вы будете иметь не раз возможность убедиться в истине моих слов.

Дженни, бешенство которой достигло своего апогея, глаза пылали как угли, не могла выговорить ни слова громко. У нее вырвался хриплый шепот:

— Идя венчаться с вами, я клянусь ему отомстить.

Дженни была так страшна, лицо ее, искаженное и перекошенное судорогой, так ужасно, что не только жених, но и все мужчины сразу отрезвели.

— Дженни, овладейте собой, выкурите папироску. Нельзя же показаться людям в подвенечном платье с этаким лицом, — суя Дженни в губы дымившуюся папироску, снова сказал Армандо. — Неужели и у вашей сестры такой же характер? — вырвался у него вопрос.

Дженни ответить ничего не успела. К воротам бежал слуга, чтобы пропустить карету во двор. Нотариус, полагая, что невеста затрудняется пройти через палисадник из-за своего туалета, приказал открыть карете ворота. Это дало возможность Дженни овладеть собой. Папироса, возбуждающий яд которой привел девушку в веселое настроение духа, и яд оскорбления, ненависти и мести, бунтовавший в ее собственной крови, слились в такую упорную и злую волю, что Дженни вошла в дом нотариуса внешне совершенно спокойной. Она сумела скрыть даже от глаз Бонды паливший ее внутри огонь. Уроки лицемерия, преподанные ей пасторшей, помогли Дженни в данную минуту. Любезнейшим образом она улыбалась нотариусу и клеркам и разыграла роль счастливой невесты, одурачив даже Бонду. Старый пройдоха был удивлен поведением Дженни и не замедлил похвалить себя за тонкое искусство перевоспитывать людей. Он решил, что главным лекарством для Дженни оказался страх плетки, и поздравил себя еще раз с тонкой сообразительностью за умение воспитывать девиц.

Когда были соблюдены все формальности и весь кодекс покупаемых за деньги приличий, с шампанским от лица нотариуса, Дженни с женихом, пока Бонда задержался, расплачиваясь, уселись в двухместную карету Бонды, предоставив ему занять место в общей карете. Жених, злившийся не меньше невесты на своего мнимого дядюшку, зная, что в отеле их уже ждут со свадебным обедом, где — стараниями Мартина — будут несколько его приятелей с дамами, и в каком бы настроении ни явился Бонда, он не осмелится сделать сцены, поддержал Дженни и уселся в карету Бонды. Бешенство Дженни, ее ненависть к Бонде и все ее поведение показали Армандо, что он найдет в жене верного союзника в своих жизненных подвигах, если и не найдет верной и преданной жены, что представлялось ему не столь существенным.

В отеле они действительно застали большое общество, шумно их приветствовавшее. Дженни овладела собой окончательно, сразу взяла тон влюбленной жены, очаровательной кошечки и любезной хозяйки, конфузящейся новой, непривычной роли. Привлекая к себе общее внимание своей красотой, Дженни решила играть сегодня первую скрипку и не уступать ни в чем Бонде, но... прикинуться очень внимательной и покорной племянницей. Бонда спрятал временно свое раздражение, которое грызло его с самого момента отъезда

из дома невесты, играл роль счастливейшего дядюшки и старался вести великосветский разговор и иметь самый беспечный вид. Но в душе у него было беспокойно. Мысли его вертелись вокруг пасторши, которой он не надел браслета сам, как ему было приказано. Он говорил себе, что, кажется, свалял дурака, не привезя пасторшу сюда. Было бы спокойнее за завтрашний день. Но Бонда боялся, что невыдержанная женщина оскорбится, в какое общество он ввел в первый же день новой жизни дочь, и поднимется скандал. Бонда обвел взглядом стол, и зловещая улыбка искривила его губы. Общество как раз подходящее пасторской дочке. Испитые, поблекшие и подкрашенные лица. Много видел Бонда падших людей, но редко приходилось ему наблюдать лица такие беспокойные, с полным отсутствием намека на счастье и удовлетворение. Они ели и пили жадно, стремясь изобразить из себя людей общества, знающих его передовую и аристократическую жизнь. На самом же деле Бонда читал их убожество мыслей, жажду личных богатств и наслаждений. Он отлично понимал, что весельчак Марто собрал нынче кучку людей, которая ни перед чем не остановится, если труды будут хорошо оплачены. А денег у него было пока много, компания снабдила его в достаточной мере для успешности дела, в котором был заинтересован сам магистр их ордена. И Бонда еще раз самодовольно улыбнулся, чувствуя себя своего рода царьком.

Обед шел своим чередом, по мере возлияния Бахусу преображаясь в оргию. Одна Дженни старалась пить как можно меньше и удерживала в границах приличия своего мужа. Опьяненный новыми, сегодня ему открывшимися качествами Дженни, Армандо был ей пока послушен. В нем даже просыпалось какое-то уважение и джентльменство к ней. И несколько раз пытавшийся снова приняться за грязные каламбуры Мартин встречал такой мрачный и бешеный взгляд обоих новобрачных, что прикусил наконец язык, недоумевая, какая муха укусила Армандо. К концу обеда Бонда устал от бестолкового и глупого веселья своих гостей. Ему захотелось остаться одному и попить вволю своего любимого вина, которое было слишком дорого, чтобы угощать им такую ватагу, да и любил Бонда пьянствовать в одиночку, на свободе обдумывая планы дел и делишек, которые ему поручались.

Сам не понимая почему, но сегодня Бонда чувствовал себя особенно плохо. У него трещала голова, и его всегда непреклонная воля не собиралась в нем в силу, а мысли его рассеивались. Нет-нет, да и мелькнет в его мозгу образ пасторши, как будто от больной, старой и закостенелой в зле и раздражении женщины можно было ждать чего-либо по-серьезному опасного. Сам себе удивляясь, Бонда мысленно пожимал плечами и гнал прочь навязчивый образ, считая, что злоба пасторши за одиночество, на которое он ее обрек, вьется подле него. Наконец ему удалось отправить в танцевальный зал всех гостей и новобрачных, а самому перейти в свои комнаты. Тут он удобно расселся в кресло и обставился бутылками любимого вина.

Бутылка исчезала за бутылкой, сигара за сигарой, Бонда дошел до высшей точки своего скотского наслаждения и стал дремать, все еще потягивая изредка рубиновую влагу. Поглотив еще бутылку, он положил ноги на решетку камина и сладко заснул. Тот, кто увидел бы это лицо в момент сна, решил бы, что глаза обманывают его, что перед ним призрак в человеческой форме, что в земной жизни ходить, дышать и действовать такие твари не могут. Совершенно зелено-бледный лоб, фиолетовые щеки и распухший красный нос, черноватые губы, из которых текла слюна, заливая чудесную сорочку с бриллиантовыми запонками, скрюченные, узловатые, безобразные руки, с толстыми жилками, как бывает у столетних старцев, с огромными плоскими ногтями. Скотское выражение, лишенное всякого человеческого соображения. Раздвинутые губы обнажали черные, испорченные зубы и кривились в такую злобную усмешку, от которой содрогнулся бы и разбойник, если бы пришел грабить сонного Бонду.

Вдруг мирный сон злодея прервался. Он почувствовал ужасную боль в сердце, в позвоночнике, в горле, вскочил, резко крикнул, с ошалелыми глазами, бегающими, ничего не понимающими, стал осматривать комнату. Ничего Бонда сообразить не мог. Весь хмель выбила из него внезапно прорезавшая его боль. Но понять, где он, что с ним, почему он проснулся, он никак не мог. Вдруг его прорезала вторая волна боли. Несчастный не мог даже крикнуть, как-то дико замычал, согнулся, точно его сложили пополам. Он почти лишился чувств. Нескоро оправился Бонда от вторично ударившей его боли. Минуя всякие законы логики, он вспомнил, как такими же необъяснимыми болями был болен в Константинополе Браццано, при котором он тогда играл роль доктора. Ужасная мысль мелькнула в его голове, сковав его страхом. Холодный пот покрыл его лоб, глаза расширились от ужаса. «Ананда», — мучило его одно это слово, лишая воли, не давая сил разогнуться. Осмотревшись, он увидал на столе свой портсигар и с большой осторожностью, не меняя положения, дотянулся до него. Дрожащими руками он закурил. Уже давно на его притупленную нервную систему папиросы с препаратом опия перестали оказывать ту зловещую реакцию, которой подверглась Дженни. Но все же, покурив, Бонда стал менее похож на призрак страха. Он был серый, пьяный от угара папиросы и выпитого вина, и цвет его лица изменился из багрово-фиолетового в пепельный.

Бонда стал смелее, попробовал чуть шевельнуться, это ему легко удалось. Постепенно он распрямился, встал с кресла и удивленно сам себя спрашивал, чего, собственно, он так испугался. Уже готовясь потянуться, сказав себе, что он просто слишком увеличил порцию вина сегодня, он собрался весело перейти в спальню, как вдруг снова почувствовал боль, и на этот раз такую сильную, что еле устоял на ногах.

В глазах у него помутнело, он снова вспомнил Браццано и теперь уже не сомневался, что ему пришлось встретиться с превосходящей его силой добра. Но в чем, где сейчас центр борьбы? Через чье отречение и измену пришли к нему эти страшные удары? Кто предал его и Браццано? Кто изменил клятве на жизнь и смерть? Чье предательство чуть не убило его сейчас? Долго стоял Бонда, боясь двинуться с места. Он искал в своем воспаленном мозгу того, кто стал ему смертным врагом в эту минуту. Его внезапно осенило, что никто, кроме пасторши, не мог навлечь на него такого ужаса, грозящего ему не только потерей расположения всех начальников, но и гибелью.

Бонда не сразу понял свою огромную ошибку и легкомыслие по отношению к леди Катарине. Когда он представил себе, что благодаря его лекарству она могла добраться до лорда Бенедикта и там его предать, быть может, даже отдать его вещи, предназначенные Браццано для нее и Алисы, — Бонде сделалось так дурно, что он с трудом дошел до дивана и повалился на него в отчаянии. Он снова выкурил папиросу, выпил стакан воды и принялся обдумывать свое положение. Ему было ясно, что прежде всего он должен проникнуть в дом пасторши и выяснить степень ее виновности. Он прошел в свою спальню, вынул из одного из чемоданчиков пачку отмычек. Желая иметь надежного спутника, он решил взять с собой Анри и Армандо.

Бонда накинул плащ, надвинул глубоко на лоб шляпу и выглянул в коридор. В гостинице уже все засыпало, музыканты расходились по домам, кое-где еще двигалась прислуга. Теперь Бонда пожалел, что, изображая из себя царька, приказал поместить свою свиту так далеко от себя. Ему надо было пойти в следующий этаж да там дойти до конца длинного коридора. Добравшись до комнаты Армандо, он остановился в полном изумлении. Дверь была открыта настежь, и комната спешно приводилась в порядок. На вопрос Бонды, что это значит, он получил самый неопределенный ответ, что молодые выехали час тому назад.

Взбешенный и обеспокоенный, Бонда отправился в контору отеля и также узнал, что новобрачные переехали в другой корпус, где гораздо тише. Но сейчас пройти туда нельзя,

так как на ночь там закрываются ворота. Но что племянник просил сообщить дядюшке, что в назначенное время он с женой приедет прямо в контору. Бонда не решился будить Анри, справедливо полагая, что и он, и Мартин спят после выпивки так, что толку от них не будет, даже если ему удастся их разбудить.

Послав кому-то проклятие за отсутствие дисциплины и расхлябанность, Бонда вышел на улицу, удивив швейцара таким поздним выходом в туманную ночь. Несмотря на большое количество лет своей работы с Браццано, Бонда не мог похвастать, что закалился в бесстрашии. Кроме того, он любил только пить в одиночку. Работать же он любил всегда с подручными. Если бы он не боялся так Браццано и всех других директоров, жестокость которых он отлично знал, он, пожалуй, и не пошел бы во мрак спящего города. Но один страх леденил его сердце, а другой — двигал его ногами.

Бонда наткнулся на кеб, растолкал спящего кучера и велел ему везти себя к пасторскому дому. С большим трудом он отыскал парадное крыльцо и стал стучать в дверь так, что и пастор с погоста поднялся бы, не только живая пасторша. Но ничто не помогало. Ощупав руками замочную скважину, Бонда хотел вставить в нее отмычку, но как только прикоснулся к ней, почувствовал сильнейший удар по руке.

— Кто здесь? — крикнул он в страхе. Но в тишине ночи ему ответило только похрапывание вновь заснувшего кучера. Бонда принялся шарить руками по входной двери, осторожно передвигая ноги. Он никого не ухватил, ни на кого не наткнулся. Боясь обхода ночного полисмена, Бонда вторично отыскал замочное отверстие, быстро ткнул туда отмычку, но повернуть ее снова не смог: он получил еще раз сильный удар в руку, и на этот раз он уже не смог ее поднять. Рука висела как мертвая. С большим трудом ему удалось левой рукой поднять оброненные отмычки. Ступеньки, казалось ему, уползали из-под его ног, он едва смог на них сесть, чтобы обдумать свое положение. Что пасторша не просто бежала, а была уведена каким-то сильным врагом — это Бонда понял сразу. Но где искать этого врага, как отвоевать пасторшу, чтобы завтра держать ее подле себя и вырвать с ее помощью Алису? Туман стал рассеиваться, забрезжил рассвет. Бонда решил ехать к дому лорда Бенедикта и попытать там счастья. Рука его стала оживать, он растолкал кучера и покатил снова по пустынным улицам.

Подъехав к противоположной стороне улицы, на которой жил лорд Бенедикт, Бонда вышел из кеба, велел кучеру ждать его на углу и прошелся несколько раз мимо дома, не решаясь перейти улицу и вспоминая свою первую неудачную попытку пробраться в дом с письмом к Алисе.

Наконец, набравшись храбрости, он сошел с тротуара на мостовую, успел сделать несколько шагов, как из-за угла вылетела карета, запряженная прекрасными лошадьми, едва не сбила его с ног и остановилась у подъезда дома.

Злополучный путник, еле увернувшийся от смерти, был обдан с головы до ног густой осенней грязью, и все, что он увидел, были две мужские фигуры, входившие в освещенную дверь дома.

Дверь захлопнулась, через минуту распахнулись ворота, куда въехала коляска, и снова настала тишина.

Бонда, бешеный, мокрый, измученный, еле владел собой, чтобы не избить соню-кучера, снова покачивавшегося на своих козлах.

С трудом проскочил Бонда незамеченным в свои комнаты, так как в гостинице уже начиналась утренняя жизнь вечно что-то убиравшей прислуги. С отвращением срывал с

себя Бонда мокрую и грязную одежду. Он жадно выпил несколько стаканов вина и отправился в спальню.

Так кончилась для него ночь накануне борьбы, для которой его сюда прислали и которую Браццано изобразил ему как легкий и приятный фарс.

Глава 16

Судебная контора. Мартин и князь Санжер

После туманной и дождливой ночи неожиданно проглянуло солнышко и высушило грязные и мокрые улицы. У проснувшейся пасторши, спавшей каким-то необычным для нее сном, было радостно и легко на сердце. Ее не давила леденящая тоска, которая стала ее верным спутником с самой смерти пастора и которую она тщательно скрывала от Дженни.

Не сразу сообразила леди Катарина, где она. И только когда Дория распахнула окно в сад и в комнату ворвались лучи солнца, аромат цветов и щебетанье птиц, она поняла, где она, и вспомнила все пережитое прошедшей ночи. К ее удивлению, все эти воспоминания не вызвали в ней сейчас того страха и отчаяния, в каких она жила последнее время. Ни поведение Бонды, ни клятва, которой ее связал Браццано, не смутили ее души, точно между нею и им встала какая-то заградительная стена.

Совершив свой туалет и одевшись с помощью Дории в скромный и элегантный черный костюм и черную шляпу с траурным крепом, леди Катарина совершенно четко в первый раз поняла, что она носит траур, который они с Дженни сбрасывали уже много раз, что она вдова и что она уже немолодая женщина. Ее вчерашние страшные морщины и повисшие щеки несколько сгладились за ночь, она не была так страшна, как вчера, когда сидела у камина. Ее рыжие волосы переплелись с сединой, отчего потеряли свою

кричащую яркость. И в этой смягченной раме лицо ее выиграло, пасторша все еще была своеобразно красива.

— Ну, вот мы и кончили завтракать, леди Катарина, перейдемте в соседнюю комнату, скоро к вам придет Ананда.

— «Ананда, Ананда», — как бы силясь что-то вспомнить, повторила за Дорией пасторша. — Кто это — Ананда? Это имя мне что-то говорит, и вместе с тем никакой образ не связывается в моей памяти с этим именем.

— Ананда — это очень большой друг лорда Бенедикта. Он поедет с вами в судебную контору, да вот и он сам.

Приветливо поздоровавшись с обеими женщинами, Ананда передал Дории просьбу лорда Бенедикта пройти к леди Цецилии, где она найдет Алису и его самого. При упоминании имени леди Цецилии пасторша вскрикнула, пошатнулась и села на стул, не имея сил удержаться на ногах.

— Что вас так испугало? — спросил Ананда.

— Нет, ничего, я просто так измучена всевозможными горестями за последнее время, что имя, произнесенное вами и не имеющее, конечно, никакого отношения ко мне, вызвало во мне одно очень тяжелое воспоминание.

— Не знаю, право, насколько такая добрейшая и смиренная душа, как сестра вашего мужа, могла доставить кому-либо тяжесть и скорбь. Но что ее встреча с вами, как и ваша встреча с Алисой, очень важны для вас — в этом нет сомнения.

— Значит, мой муж был прав, отыскивая сестру? Значит, она в действительности у него была?

— Почему же вы не верили вашему мужу? Ведь еще в Венеции, когда вы были невестой, ваш муж рассказывал вам о печальном исчезновении из дома его сестры.

— Да, да, он говорил мне. Но... но... Браццано мне объяснил, что у Эндрью Уодсворда никогда сестры не было, что это психический заскок, некоторого рода ненормальность.

Лицо пасторши выражало полное недоумение, она смотрела в прекрасное лицо собеседника, точно прося о помощи разобраться в истине.

— Вам ведь, леди Катарина, немало горя в жизни причинили любовь и доверие к Браццано. По всей вероятности, вы не раз имели возможность убедиться в его жестокости и лжи по отношению к вам, равно как и к вашим дочерям. Пусть же встреча с сестрой вашего мужа и вашим родным племянником Генри будет для вас рубиконом в жизни. Воочию убедившись во лжи Браццано, отрекитесь от него и всей его шайки во главе с Бондой.

— Если бы вы только знали, мистер Ананда, как разрывается на части мое сердце! Я больше ни минуты не могу жить подле этих гнусных людей. Но ведь я сама их призвала и своими собственными руками отдала им свое любимое дитя. Как же мне теперь жить? Как вырвать у них Дженни?

— Раньше чем думать, как вырвать к себе дочь, надо самой утвердиться на какой-то нравственной платформе, где бы цельность мысли и чувства могла привести к творчеству ваш организм. За двумя зайцами погонитесь — без всего останетесь. Соберите все силы вашей любви, чтобы помочь нам спасти сейчас Алису. Найдите в себе не раскаяние, что

вы были неверной женой, плохой матерью, а радость, что можете возвратить вашему мужу часть верности, передав его дочери Алисе запоздалую помощь и заботы.

Дженни — вам это лучше всех известно — имеет живого отца, который ни перед чем не остановится, чтобы доказать свои права на нее. Если вы сами не понимали, что Дженни унаследовала немало отцовских качеств, то за последнее время вы должны были в этом убедиться. Чувствуете ли вы еще в себе мучительную связь с Браццано?

— Нет, нет! На мне точно пуды тяжести лежали, как вериги, давила меня ужасная клятва Браццано. Но как только я провела ночь в доме лорда Бенедикта, с меня все скатилось, точно мне развязали крылья, мне легко, я перестала бояться его.

— Если это так, то вам надо сейчас думать не о борьбе с Браццано, а о защите Алисы. И первым вашим делом должна быть ваша радостная встреча с леди Цецилией, ваше признание ее полноправной владелицей капитала, переданного ей по завещанию вашим мужем.

— Бедная моя голова, мистер Ананда. Я, конечно, всецело не намерена защищать ложь Браццано, цели которого я и до сих пор не понимаю. Но как же я могу ее признать, если я никогда ее не видела?

— Важно ваше желание не спорить против очевидности. Важны ваша верность и стойкость, если вы сами убедитесь, что леди Цецилия не может не быть вашей родственницей. Важно, чтобы в вас не было половинчатости и сомнений. Остальное предоставьте нам.

Ананда встал и предложил леди Катарине спуститься вниз, где он познакомит ее с леди Цецилией и еще кое с кем. Они прошли по ярко залитой солнцем боковой лестнице вниз, и леди Катарина, ослепленная бившими ей прямо в глаза солнечными лучами, не сразу могла разглядеть, кто стоял перед ней в тени комнаты. Но одну фигуру она увидела ясно, фигуру дочери в траурном платье. «Алиса», — крикнула мать, протягивая к ней обе руки.

— Я здесь, мамочка, — услышала она сзади себя голос дочери. Повернувшись назад и очутившись между двумя Алисами, пасторша закрыла рукой глаза и прошептала:

— Матерь Божья, да что же это такое? Уж не чары ли?

— Успокойтесь, леди Катарина, — сказал лорд Бенедикт. — Леди Цецилия в самом деле разительно похожа на вашу дочь, но все же только через двадцать лет Алиса будет видеть себя такою в зеркале.

Пасторша почувствовала, что лорд Бенедикт взял ее под руку. Она благодарно взглянула на него и сама удивилась, как ей стало легко и непривычно радостно на сердце и какая сильная привязанность рождалась в ней к этому человеку, так недавно казавшемуся ей всех страшнее.

— Позвольте познакомить вас, — продолжал лорд Бенедикт, — с вашей родственницей, леди Цецилией Уодсворд, по мужу — леди Ричард Ретедли, баронессой Оберсвоуд. Это ее сын Генри, ваш племянник. Это брат мужа леди Ретедли, капитан Джемс Ретедли. Остальных вы всех знаете.

Лорд Бенедикт, продолжая держать под руку пасторшу, подошел снова к леди Цецилии, взял и ее под руку и усадил обеих женщин в кресла по обе стороны от себя.

— Вы все еще не можете опомниться от изумления, леди Катарина, что фамильное сходство может до такой степени переходить из рода в род. Я думаю, что любая

экспертиза не нуждалась бы ни в чем, кроме сопоставления рядом этих двух лиц, — прибавил он, уступая свое место Алисе.

Поговорив о чем-то с Анандой, лорд Бенедикт вышел из комнаты.

— Алиса, простишь ли ты мне когда-нибудь все мои грехи перед тобой? — взяв ручку дочери и глядя в ее прелестное лицо, тихо сказала мать.

— Мама, дорогая, — опускаясь перед ней на колени и прижимая ее руки к своим губам, отвечала Алиса. — Вы так страдали, что волосы ваши поседели, лицо осунулось, а меня не было с вами, чтобы за вами ухаживать и вас защищать. Боже мой, кто измерит мои грехи дочери, покинувшей мать в беде!

Из глаз Алисы готовы даже были брызнуть слезы. Она, не отрываясь, смотрела на новое для нее, страдальческое и постаревшее, но такое тихое, без всегдашнего раздражения лицо матери.

— Где же были мои глаза, дочка, что я не видела, как ты прекрасна? В чем спало мое сердце, что не слышало звука твоей любви? И подумать только, что я должна была сделать через час, — в ужасе говорила пасторша.

— Встань, друг Алиса, — раздался голос лорда Бенедикта. — Я хочу познакомить вас всех с моими друзьями, сегодня в ночь приехавшими к нам. Вот это сэр Ут-Уоми, которого некоторые из вас уже знают. А это дядя Ананды, князь Санжер. Оба эти друга принимают близкое участие в судьбах всех вас, собравшихся здесь сейчас. Ободритесь, друзья. Перестаньте плакать. В данную минуту нет иных возможностей провести в жизнь завещание пастора, как только в мужестве собрать все свои силы, спокойствие и радость любви к нему. Ни в какие мрачные или трагические моменты жизни нельзя забывать самого главного: радости, что вы еще живы, что вы можете кому-то помочь, через свое тело пронеся человеку атмосферу мира и защиты. Каждый из вас сейчас вступает в новую ступень жизни. А в этот миг каждому из вас предстоит встретиться со злом. Не с абстрактным злом в образе сатаны, о котором вам рассказывали бабушки. А с тем обычным злом, которое ходит среди нас на двух ногах, таких же, как ваши, и ткет сеть лжи, раздражения, предательства и лицемерия. Какие главные ваши силы в этой встрече? Полное бесстрашие, такт и самообладание. Но эти силы не качества — результаты вашей воспитанности. Это *аспекты* той *живой любви*, что вы носите в себе. Идите бороться и побеждать любя. Сострадание к лжецам и обманщикам, точно такое, как и ко всем страдающим добрым людям, никогда *не* слезы. Сострадать — значит прежде всего мужаться. Так мужаться, чтобы бесстрашное, чистое сердце *могло* свободно лить свою любовь. А любовь, пощада и защита — это далеко не всегда ласковое, потакающее слово. Это и укор, и поднятие чужой мысли через себя в более высокую и широкую сферу, это и удар любящей руки, если она *видит*, как падает дух человека, чтобы трамплином своей силы подкинуть огня в снижающийся дух и энергию человека. Это и награда за текущий день, прожитый в чистоте и творчестве. Сейчас мы поедем в судебную контору. Вас, леди Катарина, повезет в карете мой друг Ананда вместе с Дорией. Прошу вас, не отпускайте руки Ананды ни на миг. Вот вам браслет, он защитит вас от каверз Бонды, когда вы будете подписываться под заявлением у адвоката. Остальные все знают, как им себя вести, и поедут со мной и сэром Ут-Уоми. Через четверть часа мы двинемся в путь.

Леди Катарина, Алиса и Цецилия с Генри, а также Джемс Ретедли соединились вокруг Ананды, как бы видя в нем свой общий центр. Остальные разбились на кучки вокруг князя Санжера, сэра Ут-Уоми и лорда Бенедикта.

Проснулась и Дженни в то же светлое утро, но проснулась от стука в дверь. На вопрос сонного Армандо, в чем дело, голос слуги отвечал, что дядя просит племянника немедленно прийти к нему по очень важному делу, совершенно неотложному. Чертыхнувшись, Армандо все же стал сейчас же одеваться, так как хорошо знал, что Бонда не будет его беспокоить без серьезных на то оснований. Ему было досадно отрываться от молодой жены, в которой он нашел больше, нежели ожидал. Со вчерашнего обеда он заключил с Дженни безмолвный союз, поняв и оценив ее хитрость, ум и коварное притворство. Он не сомневался, что Дженни его не любит, но будет заодно с ним сейчас, ненавидя Бонду ненавистью тигрицы, что связывает ее с союзником-мужем крепче любви.

Молодожены, перекидываясь шутками на счет Бонды, лениво подымались и, полуодетые, принялись за шоколад. Но первое супружеское утро не суждено было Дженни и Армандо провести в мире и тишине. Не успели они усесться за шоколад, как к ним ворвался Бонда, совсем вне себя.

— На каком основании вы переехали сюда? Что это за самоволие? Вы ждете, вероятно, чтобы я вас поучил послушанию, — принялся орать Бонда, подражая поведению Браццано. Глаза Дженни засверкали, но это была уже не та Дженни, бешеная, не владеющая собой, которая сидела в карете день назад. Она пожала руку мужа, утихомиривая его гнев, весело засмеялась и сказала:

— Неужели вам, дядюшка, охота быть смешным? Посмотрите на себя в зеркало, какой у вас вид. Точно вы всю ночь бродили в тумане по грязи.

И Дженни, все продолжая смеяться, показала Бонде на грязные пятна его плаща. Бонда, по рассеянности схвативший грязный плащ вместо приготовленного ему слугой чистого, подозрительно и зло посмотрел на Дженни.

— У вас все глупости на уме. Где бы я ни бродил ночь — это никого не касается. А вот где бродит ваша маменька — это совершенно неизвестно.

Дженни, на самом деле обеспокоенная словами Бонды, не показала внешне ни признака своего волнения.

— Что же тут удивительного, если маме стало скучно в своем одиночестве и она уехала к кому-либо из своих друзей.

— Скажите пожалуйста! Любящая мамаша соскучилась без своего любимого детища! Быть может, она отправилась к лорду Бенедикту, желая повидать свое брошенное детище?

— Да возможность проникнуть маме в дом лорда Бенедикта совершенно равна возможности для вас сделаться статуей мадонны, — хохотала Дженни.

Бонда, на самом деле успокоенный таким категорическим заявлением Дженни, все же старался выказать преувеличенное беспокойство.

— Не понимаю вас, дядюшка, — брезгливо морщась от запаха винного перегара, распространяемого Бондой, говорила Дженни. — Чего вы волнуетесь? Мама так ненавидит всех Бенедиктов, что вытащит от них Алису из одной мести. Ну, а я знаю достаточно мамин характер. Если уж она что-либо решит — умрет, а до конца дойдет. Здесь же и для нее и для меня — ее идола — вопрос жизни и смерти.

На лице Дженни было выражение такой беспощадной вражды и яростной ненависти, что жестокий Бонда и тот внутренне усмехнулся и поздравил себя с верным союзником, в которого он успел превратить упрямую и своевольную Дженни. — И вы уверены,

очаровательная племянница, что ваша маменька будет точна и во времени и в исполнении моих указаний?

— Думаю, что она будет там раньше вас, а особенно нас, если вы будете продолжать мешать нам одеваться, — все так же мрачно отвечала Дженни.

— Ухожу, через полчаса зайду за вами. Мы поедем все четверо: я и Анри, и вы оба. А веселый Марто займется иным, не менее веселым делом, — нагло хохоча, прибавил Бонда.

— Неужели же вы не оставили, дядюшка, своей вздорной мысли о нападении на особняк лорда Бенедикта? — досадливо морщась, спросил Армандо.

— Я тебе не обязан давать отчет в своих действиях, мой милый. И в мои распоряжения не лезь.

— Мой муж совершенно прав. Стремиться проникнуть в дом лорда Бенедикта средь бела дня против его воли — это просто смешное предприятие. Да и что вам там может быть нужно, раз Алиса будет в конторе?

— Вот если бы вы и ваша маменька были женщинами тактичными, то я не нуждался бы в разыгрывании комедии нападения на пустой дом. А просто одна из вас могла бы оставить там кое-что, что мне необходимо туда подкинуть.

— Ну, а вы, я повторяю, если не будете тактичны и не покинете нас сию же минуту — мы опоздаем, — зло огрызнулась Дженни. — И не возьму в толк, почему непременно всем нам ехать вместе? Если что-либо помешает нам — вы будете вовремя. И наоборот, если вы задерживаетесь, мы поспеем вовремя.

— Ни вы, ни я, никто врозь. Все вместе будем в конторе, таков мой приказ. Вы теперь без мужа неправомочны. А ваша маменька, конечно, без вас не решится действовать никак и будет нас ждать, сколько бы мы ни опоздали.

Много мыслей мелькало в голове Дженни. Ее собственное поведение по отношению к матери сейчас ей казалось не только чересчур жестоким, но и небезопасным. Дженни перебирала в уме знакомых матери и решала, куда бы могла пойти пасторша, чтобы избежать одинокой ночи в пустом доме. Нечто похожее на жалость и раскаяние мелькнуло в ее эгоистической душе. Подгоняемая мужем, Дженни одевалась, совсем забыв о трауре и о том человеке, завещание которого она ехала оспаривать. Дженни надела серый костюм с апельсиновой отделкой, что вовсе не шло к ее рыжим волосам и делало ее бледнее и старше. Но страсть к ярким цветам победила все протесты Армандо, советовавшего жене одеться в черное. Наконец вся компания уселась в карету и покатила. Армандо, посмотрев на лица своих спутников при дневном свете, был потрясен их помятыми щеками, тусклыми глазами и выражением вялости в фигурах. Переведя взгляд на Дженни, он даже отодвинулся, так она была неинтересна в ошейнике из апельсинового рюша и в спускавшихся со шляпы лентах, широких и еще более ярких. Обладая природным вкусом, Армандо дал себе слово забрать в руки свою супругу в этом отношении. Не проехала коляска и полдороги, как что-то случилось с одной из лошадей. Длительная задержка вывела из себя Бонду. Он предлагал пойти пешком до первого кеба, но Дженни не желала мокнуть под дождем, сменившим утреннее солнце. Опоздав на полчаса, они явились в контору. Если при выезде из отеля злосчастные участники поездки не имели привлекательного вида, то сейчас, когда солнце снова сменило дождь и его лучами была залита большая комната старого адвоката, они показались всем их ожидавшим более чем неприятными.

По совету лорда Бенедикта, старый адвокат, возмущенный таким нарушением порядка и приличий, все же сдержал свой вспыльчивый характер и не сделал замечания неаккуратным клиентам. Более других воспитанный, Армандо принес извинения адвокату, объяснив их опоздание падением лошади. Анри, совершенно равнодушный до сих пор, впился глазами в свою будущую жену, пораженный ее красотой. Привыкнув слышать, что Алиса дурнушка, он искал другой подходящей женской фигуры, боясь, что красавица, стоявшая рядом с высоченным красавцем, окажется не Алисой. Дженни тоже впилась глазами в Алису, необычайно интересную в ее простом траурном платье. Ее злоба снова вспыхнула, она раскаивалась, что не надела черного платья, и еле ответила презрительным кивком на ласковый привет Алисы. Она оглядывалась во все стороны с удивлением, не видя матери.

Бонда, такой грубый, властный и самонадеянный минуту назад, выглядел не то оробевшим, не то связанным, как только вошел в комнату и встретился взглядом с лордом Бенедиктом. Он вспомнил свою беспомощность перед дверью пасторского дома, ему почудилась опасность именно от этого великана, которого Браццано рисовал ему ничтожным английским глупцом.

— Разрешите, лорд Бенедикт, начать, — обратился старый адвокат, одетый в мантию, парик и шапочку, к Флорентийцу, кланяясь ему как главному лицу.

— Я протестую, — заявил Бонда. — Нельзя начинать дело о завещании, когда здесь нет главного заинтересованного лица, жены пастора.

— Вы ошибаетесь, — вежливо ответил ему адвокат. — Леди Катарина Уодсворд давно здесь. И только ее любезности вы обязаны тем, что мы всех вас ждем. Она сказала нам, что ее дочь Дженни вчера вышла замуж, и фактически, по сути дела, она уже не имеет права голоса в сегодняшнем решении, но...

— Если она не имеет, — перебил его Бонда, — по весьма умным английским законам, то муж ее, мой племянник, их имеет. И от его имени я протестую.

— Во-первых, вашему племяннику не нужен опекун, потому что он совершеннолетний и может говорить сам за себя. Во-вторых, в той части, которая будет разбираться сегодня, завещание касается дочерей лорда Уодсворда только до их замужества. Такова воля завещателя. И дочь его Дженни, вышедшая замуж, не имеет права голоса в признании наследницей леди Ретедли, урожденной Цецилии Уодсворд. Повторяю, мы ждали вас только по желанию леди Катарины и Алисы Уодсворд. А так как последняя несовершеннолетняя, то с согласия и любезности лорда Бенедикта, ее опекуна.

— Я здесь не вижу моей матери, если мои глаза вообще что-нибудь видят, — иронически заметила взбешенная Дженни, пораженная в самое сердце сыгранной с нею шуткой Бонды, который уверил ее, что сила ее влияния в решении вопроса о завещании удвоится именно с момента ее выхода замуж.

Бонда, очевидно, сам не ожидал такого оборота дела, поспешив связать Дженни с Армандо узами нерасторжимого английского брака.

— Я здесь, Дженни, — послышался слабый голос, очень мало похожий на могучий голос пасторши. И к столу адвоката подошла, поддерживаемая Анандой и Дорией, тень того, кого Дженни привыкла звать матерью.

У Дженни и всех ее спутников вырвались восклицания испуга. Дженни, увидев вместо матери седое привидение леди Катарины, не смогла удержать дрожи страха и раскаяния. Ища выхода этим чувствам, она обрушилась всей силой ненависти на лорда Бенедикта,

считая его причиной такой перемены в матери. А Бонда и оба его приятеля, увидев Ананду, почувствовали, как земля плохо держит их ноги. Когда адвокат задал вопрос пасторше, признает ли она леди Цецилию единственной наследницей капитала, завещанного пастором, и отказывается ли она от процентов с него, леди Катарина ответила, что против очевидности спорить не может.

— Да неужели же вы, мама, не видите, как вас здесь одурачили без нас? На что вы похожи? Где вы были все это время? Вы, верно, провели ночь в аду. Какую еще леди Цецилию вам подсунули эти люди?

Дженни была уже так одержима раздражением, что никакие старания мужа привести ее в себя не помогали. Адвокат попросил мистера Тендля пригласить из соседней комнаты сестру пастора Уодсворда и ее сына Генри. Через минуту в комнату вошла леди Цецилия Уодсворд под руку с сэром Ут-Уоми, а рядом шли Генри и капитан Джемс Ретедли. Бонда тяжело опустился на стул, как только увидел входившего сэра Уоми. А Дженни застыла в безмолвном изумлении, когда увидела двух Алис, разного возраста, стоявших рядом.

— Я повторяю свой вопрос, леди Катарина Уодсворд, признаете ли вы леди Цецилию Ретедли за то самое лицо, которому ваш муж завещал капитал? Отказываетесь ли вы от процентов, на которые изъявили свои права?

— Признаю и отказываюсь, — тихо и внятно произнесла пасторша.

— Опекун несовершеннолетней Алисы Уодсворд, лорд Бенедикт, признаете ли вы и ваша подопечная леди Цецилию Ретедли родной сестрой пастора и согласны ли на вручение ей немедленно всего завещанного ей капитала?

— Я признаю леди Цецилию своей родной теткой и прошу вручить ей давно принадлежащий ей капитал, — ответила Алиса.

— Я же как опекун Алисы Уодсворд даю вам юридическое право на немедленное вручение леди Цецилии всего капитала.

В совершенном бешенстве Бонда бросился к пасторше, желая схватить ее за руку, но тотчас же отлетел в сторону, едва устояв на ногах, споткнувшись о табуретку клерка, которую тот отодвинул, вставая из-за конторки. Но Бонда отлично понял, что табуретка была ни при чем, а именно толчок от Ананды, когда он хотел схватить руку пасторши, желая накинуть на ее руку ожерелье для Алисы, заставил его покачнуться и он зацепился за табуретку. Помня, как печально кончилась для Брацциано его борьба с сэром Уоми в Константинополе, Бонда не решился дальше действовать сам. Он сунул свое запасное ожерелье в руки Дженни и приказал ей, стараясь говорить как можно тише, подойти к Алисе, приласкать девушку и ловко набросить ей ожерелье на шею. Дженни, зная цену висевшего на ее собственной шее собачьего ошейника Бонды, ненавидя сестру всей силой своей злобы, очень хотела выполнить его приказание.

— Алиса, подойди, пожалуйста, ко мне. Мне надо тебе кое-что сказать, да и хочется обнять тебя. Мы так давно с тобой не видались.

Пасторша выказала явные признаки беспокойства, видя, что Дженни сделала несколько шагов по направлению к Алисе. Но лорд Бенедикт продолжал держать Алису под руку, та не трогалась с места, и пасторша успокоилась, даже улыбнулась Алисе. — Я очень рада, милая Дженни, что ты желаешь со мной поговорить. Но я не считаю уместным беседовать с тобой здесь. Ты можешь посетить меня в доме моего опекуна, и мы с тобой проведем там времени столько, сколько ты захочешь.

Дженни сделала еще несколько шагов к Алисе, но на лице ее была уже не торжествующая злоба, а страх.

— Подойдите сюда и перестаньте так бояться этих стоящих за вашей спиной людей, — сказал лорд Бенедикт. — Здесь, в моем присутствии, никто из них ничего сделать вам не может.

Дженни послушно подошла к Алисе, но смотрела на лорда Бенедикта.

— Действуйте же, — крикнул ей в бешенстве Бонда. Он хотел сам подбежать к Дженни, но сэр Ут-Уоми стоял на его пути. Армандо и Анри тоже попытались приблизиться к Дженни, но взгляд Ананды не давал им возможности двинуться с места.

— Протяните мне обе ваши руки, несчастная Дженни, — снова раздался голос Флорентийца. — Держите в них ту отвратительную вещь, что дал вам Бонда, делая из вас одну из самых злобных и гнусных предательниц.

Когда Дженни протянула руки, в которых сверкало ожерелье Бонды, Флорентиец коснулся его палочкой. Оно свернулось, точно горящая бумага, бесшумно разорвалось пополам и упало на пол, превратившись в порошок. Бонда, Армандо, Анри — все издали крик ужаса.

— Вы видите, Дженни, чего стоят уверения ваших приятелей и чего стоит самая их власть, — снова сказал лорд Бенедикт.

Несчастная Дженни схватила обеими руками ожерелье на своей шее, стала его рвать, терзая во все стороны, натирая полосы на своей нежной шее. Лицо ее выражало постепенно все стадии: злобу, бешенство, ненависть, отчаяние. Бонда и Армандо, оба хотели броситься на несчастную, и выражение их лиц и фигур достаточно ярко передавало их чувства и намерения. Но взгляд Флорентийца пригвоздил их к месту, всего в шаге от бесновавшейся Дженни.

— Сейчас вы убеждаетесь, Дженни, как ничтожна для силы света власть тьмы и зла. И тем не менее вас она держит в плену и владеет вами как жалкой рабой. Одно мгновение любви и самоотвержения вашей матери помогло ей перешагнуть тот ужасный рубикон, за которым гибнете вы. Перестаньте терзать этот страшный ошейник. Его сила в вашей злобе. Если бы вы еще минуту назад, когда вам этот злодей подал то, что теперь лежит кучкой зла, серой золой, пожалели ни в чем не повинную сестру — я мог бы еще спасти вас. Теперь же только во имя любви и чистоты того человека, в доме которого вы выросли и которого звали отцом...

Слова лорда Бенедикта были прерваны диким хохотом Бонды и раздирающими рыданиями пасторши. От прикосновения руки Ананды рыдания стихли. А хохот уродливо раскрывшего свой полный испорченных зубов рот Бонды внезапно оборвался, издав какой-то свист, как испорченная клавиша старой фисгармонии. Во внезапно наступившей тишине лорд Бенедикт продолжал:

— Защита пастора, его мольбы ко мне о вашем спасении — все рушится перед стеной вашей собственной злобы, зависти и раздражения. Все, что во имя того чудесного человека, которого вы звали отцом, я могу еще сделать для вас, — это не оставить вас навеки рабой в руках этих людей. Я могу дать вам возможность и надежду вырваться из сетей зла, если когда-нибудь сердце ваше откроется для любви и доброты. Повернитесь ко мне спиной.

Когда Дженни повернулась, лорд Бенедикт вложил в руку Алисы свою палочку и сказал ей:

— Хочешь ли, Алиса, помочь сестре и открыть ей путь в твой дом тогда, когда отчаяние раскроет в ее сердце любовь и она воззовет к милосердию?

Алиса ответила утвердительно. Тогда лорд Бенедикт взял ее руку с палочкой в обе свои и коснулся ею ожерелья на шее Дженни. Дженни громко вскрикнула, вздрогнула, и в тот же миг ее ожерелье лежало на полу, точно куски битого стекла.

— Повернитесь лицом ко мне и подойдите ближе, Дженни.

Дженни почти вплотную подошла к Алисе. Лорд Бенедикт, все так же держа руку Алисы в своих, велел ей коснуться концом палочки груди Дженни и медленно, глядя ей в глаза, сказал:

— Любовь сестры и любовь пастора защищают вас от вечной гибели. Помните о Свете в пути каждого человека даже в самые мрачные минуты жизни. Помните, что жизнь — это доброта и милосердие. Достигают в жизни истинных результатов только ими. Нет для человека безнадежности, милосердие не знает пределов, и у пощады нет отказа. Ничья злая, жадная, наглая рука никогда не положит на вас ярма. У этой руки вы рабой не будете. И всякая злоба будет иметь в вас сообщницу и рабыню только тогда, когда вы сами выберете себе ее в спутницы, подпуская в свои дела дня и привлекая ее своим раздражением, предательством и ложью. Идите. Вы выбрали себе путь сами, добровольно, трижды оттолкнув руку помощи, что я протягивал вам. Вы связали себя гораздо более крепко канатами с вашими сообщниками, чем это ожерелье, которому вы приписывали магическую силу. Магической же силой было ваше злое сердце. Идите, защищенная от вечного порабощения. Но помочь себе вы можете только сами, привлекая подобное себе. Перестаньте бояться гадов, вертящихся вокруг вас. Они в близком будущем сами задохнутся в кольце собственного зла. Но вся ваша жизнь станет адом, если вы не поймете, что постоянная фальшь вашего поведения и ваша ненависть или полное равнодушие к людям делают вас рабой собственных страстей.

Дженни стояла, безмолвно глядя в лицо лорда Бенедикта.

— И все же, я ненавижу Алису, ненавижу даже мать, изменившую мне для вас и... ненавижу вас. Не верю ни в какую вашу силу. Просто ваши штуки сильнее, чем фокусы Бонды. Но Бонда не самый главный член в своей акционерной компании, а простой исполнитель, как и ваши клерки, вроде мистера Тендля, — со злобным сарказмом заключила свою тираду Дженни, поглядев на горестно слушавшего ее Тендля. — Вы не сомневаетесь, конечно, — минуту помолчав, снова запальчиво продолжала Дженни, — что я не могу очутиться нигде и никак в роли прислужницы, исполняющей чужую волю. Вроде моей сестрицы и всех этих безвольных людей, окружающих вас в эту минуту. Я сама буду иметь штат своих слуг.

Снова хохот Бонды прервал Дженни, но от одного жеста руки лорда Бенедикта он прервался, и сам Бонда скорчился.

— Еще одна пощада вам, Дженни, во имя любви и прощения пастора: оскорбленный и так презрительно вами разглядываемый Тендль будет той рукой, которая когда-то вас спасет и приведет к Алисе. О том, чьей слугой вам придется быть и какой ужас ждет вас, куда вы попадете, Дженни, в этом вы очень скоро убедитесь сами. Помните только, что закон пощады вас защитит тогда, когда вы начнете творить любя, а не ненавидя, как делаете это сейчас.

Лорд Бенедикт повернулся к Бонде и его спутникам:

— Чтобы вы не могли опровергнуть или забыть, как вы склонялись перед силой добра, идите все прочь отсюда, непрестанно кланяясь в пояс. И до темной ночи изображайте китайских болванчиков. Бойтесь новой встречи со мной или с кем-либо из тех, кто близок мне. Что же касается подговоренной вами банды, то ей проникнуть в дом не удалось, конечно. И за желание проникнуть в мою личную комнату ваш, Бонда, вами подкупленный пьяница Мартин уже дорого поплатился. А чтобы вам не нарушать больше нигде тишины — говорить иначе как шепотом не смейте.

Внезапно Дженни и трое ее спутников стали кланяться в пояс. Их борьба и желание побороть сгибавшую их спины силу выражались в такой комической форме, что Генри, за ним Тендль, все клерки, наконец сам старый адвокат и капитан — все покатывались со смеху. Алиса и леди Цецилия в ужасе закрыли лица руками. Дория успокаивала бившуюся в истерике пасторшу. В одно из мгновений, когда он стоял разогнувшись и думал, что внимание Ананды ослаблено, Бонда бросил темную веревку, как бросают лассо, на шею пасторше. Но веревка, не коснувшись шеи пасторши, была поймана рукой Ананды и отброшена им обратно Бонде, охватив его шею, руки, талию. Бонда вскрикнул, упал, точно так же терзая на себе веревку, как терзала недавно здесь же Дженни свое ожерелье.

— Иди, злодей, в этом украшении. И пусть оно давит тебя, как прообраз всего зла и лжи, что ты натворил в жизни. Один Браццано теперь только сможет снять с тебя ее. И то потому, что чистая душа дала ему слезу своего милосердия и поцелуй любви. Вот эта капля чистого милосердия и сможет тебе помочь. Но сумел ли ты выслужиться у Браццано так, чтобы он захотел тебе помочь, — это уже твой вопрос.

— У лорда Бенедикта нам пощады не ждать, — взмолилась рыдающая Дженни. Она протянула руки к сэру Уоми. — Пощадите нас вы. Не делайте меня и людей этих посмешищем в первый день моей замужней жизни. Я... я... вас ненавидеть не могу. Мне смотреть в ваши глаза страшно, точно в них я читаю ужас своей судьбы. Но... я преклоняюсь перед вами, я молю вас, помогите мне.

— Скажите, бедняжка, можете ли вы вспомнить хотя бы одно существо, которому вы помогли в жизни? — спросил сэр Уоми. Его голос, и всегда ласковый и нежный, походил на звуки мелодичной арфы. — Знаете ли вы, что человек — это арфа Бога, на струнах которой славится вся мировая Жизнь? Знаете ли вы, что слезы и скорби людей — это пыльца Господня, превращающая человека в чудесный цветок? Знаете ли вы, что каждая встреча людей — это любовно двигающиеся крылья, чтобы собирать эту пыльцу Господню в чашу сердца и переливать ее как силу любви, как отклик радости на скорбящую землю? Пусть сегодня в чаше моего сердца смешается яд вашей злобы и слез с моим состраданием. И пусть ужас той минуты, когда жалкое существо назовет вас дочерью, вступит в мое сердце и в нем найдет утешение. Идите. Я взял на себя — во имя безмолвных просьб вашей матери, сестры и тетки — ваше наказание. Но я сам освободить вас не могу от него. Мой брат и Учитель, Флорентиец, молю тебя, разреши мне принять участие в борьбе Ананды и пощади еще один раз этих несчастных, — низко кланяясь лорду Бенедикту, сказал сэр Уоми.

— Да будет как ты желаешь, мой друг и брат, — возвращая ему поклон, ответил Флорентиец. — Но если хоть один раз еще кто-либо из ваших приятелей, Дженни, осмелится коснуться Алисы или вашей матери, то и вы и они иначе как на четвереньках передвигаться не сможете до конца ваших дней. Ступайте. Ты же, злодей, — обратился он к Бонде, — молчи сегодня весь день. И говорить будешь только шепотом. Сними свою веревку и брось ее в камин.

Отерев пот, градом катившийся с их лиц, Дженни и ее спутники поспешили покинуть контору.

Выполнив все необходимые формальности, поддерживая чрезвычайно потрясенных Алису и леди Цецилию и почти лишившуюся чувств пасторшу, все обитатели дома лорда Бенедикта возвратились к себе.

За эти несколько часов их отсутствия всегда тихий и спокойный дом превратился в лагерь, осаждаемый со всех сторон самыми разнообразными назойливыми элементами. Не прошло и получаса с момента отъезда лорда Бенедикта, как к главному входу его особняка подкатили три большие кареты, полные замаскированных людей. У некоторых ряженых были в руках музыкальные инструменты, кое-кто пел песни — вообще картина из карнавала была разыграна внешне так удачно, что полисмены не остановили шумную компанию, решив, что высший свет развлекается столь оригинальным образом. Не уменьшая шума, веселая компания стала стучать в двери подъезда не только дверным молотком, но и палками, и кулаками, барабанить в окна холла, выказывая свое нетерпение. Одновременно у черного входа и боковой двери лестницы собралось несколько нищих, якобы привлеченных звуками веселого праздника, в надежде получить милостыню от богатого пиршества.

Князь Санжер приказал слугам оставаться на своих местах, не открывая ни одной двери. Амедея и Сандру он поставил в холле у самых дверей и дал им в руки пульверизаторы, сказав, что если снаружи будут уж очень безобразничать, Амедей должен брызнуть в замочную скважину, а Сандра — приоткрыть незаметный снаружи глазок между резьбой двери и брызнуть несколько раз. Смеясь, он объяснил, что для жизни и здоровья жидкость абсолютно безвредна, но запах ее невыносимо неприятный. Кроме того, картоны и бумага расползутся и руки людей почернеют. Это перепугает безобразников.

Артура князь Санжер поставил у боковой двери, дав ему такой же пульверизатор, а у черного хода велел просто задвинуть болты на железной двери и закрыть ставни. Сам он стал рядом с Артуром, точно чего-то выжидая.

Среди группы нищих у этой двери особенно выделялся нищенствующий монах; то моля о корке хлеба, то кощунствуя и хохоча, он потешал всеми антраша сброд вокруг себя. Подговаривая своих оборванцев шуметь как можно больше, он стал перелезать через железный забор сада. Мигом толстый прут был вырван из каменного фундамента принесенными с собой инструментами, и оборванец в рясе очутился в саду, с трудом пролезши в узкое отверстие в заборе. Приказав своим соумышленникам орать еще громче, он стал красться по стене к кабинету лорда Бенедикта, очевидно будучи очень хорошо осведомлен о расположении дома. Князь Санжер велел Артуру побрызгать ближайших к двери бродяг и повторить маневр, когда их сменят задние ряды у узкой двери. Сам же он пошел в кабинет Флорентийца, подошел к окну и укрылся за портьерой. Его тонкий слух различал сквозь толстые стены легкий шорох крадущихся шагов бродяги, подбиравшегося к окну. Сквозь небольшую щелку между портьерой и окном князь Санжер видел, как бродяга прильнул к стеклу окна, убедился, что в комнате никого нет, и через миг в руке его сверкнул алмаз, которым он стал вырезать стекло. Быстро и ловко справившись с этой задачей, он легко влез в комнату. Прислушиваясь, бродяга осматривал прекрасную комнату и, очевидно, ориентировался в ее расположении. Он снял с ног грязные туфли, пересек комнату и подошел к двери, ведущей в соседнее помещение. Вытащив из кармана связку отмычек, он приготовился уже сунуть одну из них в скважину замка, как вдруг тихий и властный голос пригвоздил его к месту:

— Остановись, несчастный, положи свою грязную связку в камин и стой там на железе, если не желаешь, чтобы тебя сейчас же раздавила плита, которая на тебя спускается.

Вскинув глаза вверх, бродяга едва успел отскочить от шедшей прямо на него тяжелой железной доски. Вскрикнув, он хотел броситься на стоявшую посреди комнаты невысокую стройную фигуру. Но схватился за горло, как будто бы его что-то душило, и поспешно направил свои шаги к камину. Там он сел на медную предкаминную решетку, не имея сил держаться на ногах.

Бродяга попытался спрятать свою связку отмычек в карман, но огненный взгляд темных глаз незнакомца жег его. Весь дрожа, он послушно положил связку в камин. Все еще не теряя окончательно самообладания, бормоча какие-то заклятия, бродяга стал шарить у себя на груди и вытащил дрожащими руками из-под рясы какой-то треугольник, направив его острием во все так же спокойно стоявшего посреди комнаты князя Санжера. Держа свой треугольник, в котором что-то сверкало, бродяга почувствовал себя увереннее и осмелился взглянуть на своего визави. Он был огорошен, увидев, что незнакомец добродушно смеется. Бешенство вырвалось десятком грязных ругательств из уст Мартина, ибо это был он, взявший на себя предводительство всей банды, и теперь он вызывающе заорал:

— Ты что смеешься? Верно, не чуешь, что пришел твой последний час. Мой камень мигом свалит тебя с ног, хотя ты и разоделся в роскошный костюм. Ну, вались, говорю! — И злодей вытянул свою руку по направлению к стоявшему князю.

Лицо князя стало серьезно и даже сурово.

— Если еще одну минуту ты помедлишь свалиться, — снова закричал Мартин, — я свистну и позову сюда моих товарищей. Тогда тебе несдобровать.

— Попробуй, — тихо ответил ему князь, едва подняв кисть руки и махнув ею на Мартина. Тот не устоял на ногах и сел на медный лист у камина, с трудом дыша и покрывшись потом.

— Куда ты осмелился проникнуть, несчастный? И что ты взял на себя? Что руководило тобой, когда ты соглашался осквернить эти комнаты?

— Бонда обещал мне целое состояние, если я отобью кусок зеленой чаши с мраморного стола в той комнате, — весь дрожа, ответил Мартин. — О, не приближайтесь, только не приближайтесь! — в ужасе закричал он, увидев, что князь сделал шаг по направлению к нему.

— Тебе есть еще время раскаяться. Ты еще можешь понять весь ужас того, что ты делаешь сейчас и в каком потоке грязи ты живешь. Сложи всю дребедень, которой тебя наградил Бонда, в камин, обещай мне трудиться честно, и я спасу тебя от всей твоей страшной шайки. Я дам тебе возможность стать снова человеком и почувствовать радость освобожденной и чистой жизни.

— Как бы не так! Силенки-то не хватает одолеть мой камень, так поешь овечкой. Держись крепче.

И злодей попытался снова вытянуть руку со своим треугольником. И снова тот же мягкий жест кисти князя заставил его отдернуть с проклятием руку.

— В последний раз я тебе предлагаю, хочешь ли ты начать чистую, новую жизнь? Ты убедился сейчас, что все злодейство бессильно против любви, ее знаний и силы. Взгляни внимательно в свое сердце. Что ты там видишь? Что там есть, кроме лжи, предательства, измены? Просмотри свою жизнь. С тех пор как ты предал мать, ограбил сестер, бросил женщину с ребенком в нужде и голоде, было ли счастье в твоей жизни? Радовался ли ты

хоть раз? Неужели жизнь в вечном страхе прельщает тебя? Сегодня ты пришел грабить и кощунствовать. Завтра пошлют убивать, тоже пойдешь?

Бродяга молчал, опустив голову, и угрюмо смотрел на пол. Ни один мускул его лица не говорил о сожалении, о погубленной жизни. Недоумение об осведомленности собеседника о фактах его прошлой жизни, тупое упорство, жестокость и хитрость мелькали на его лице, он как-то фыркнул и дерзко сказал:

— Ладно, вижу, что ты, брат, из нашей же компании и сумел раньше меня залезть сюда. Я согласен поделиться с тобой всем, что раздобудем здесь и от Бонды. Но все, что я унесу с мраморного стола в той комнате, — все только мое. Я должен сам убить Ананду, он насолил немало нашему дорогому Браццано. Мартин не докончил своего торга. Санжер медленно поднял вверх руку и так же медленно и внятно заговорил:

— Милосердие не знает наказаний. Запомни: все, что совершается с человеком, он творит себе сам. Как бы безмерно грешен ни был человек, мгновение его самоотверженной до конца любви выносит его из кольца всех его преступлений и ошибок и сливает его со светлыми силами. Стоило тебе воззвать к Любви — и она вырвала бы тебя из когтей смерти во зле. Но ты уже не можешь воскреснуть в Любви. В тебе омертвела частица Жизни, что дается каждому. Сознание твое потухло, и жить тебе на земле дольше не к чему. Твое сердце больше не способно к творчеству. Оно может думать только о себе одном, только о своих скотских инстинктах. Человек, живущий только одними личными страстями зла, не нужен всей жизни вселенной, а потому не нужен и земле. Чтобы тебе оказать последнее милосердие, приказываю тебе: все, что на тебе надето чужого, все украденные тобой у твоих же товарищей драгоценности сложи в камин. Иди отсюда. Ты слышишь, что твои сообщники убегают. Спеши. Если тебя здесь застанет хозяин дома, тебе придется плохо. Ступай домой, кое-как доползешь. Там расскажешь все тем жестоким, кто тебя сюда послал, и забудешь навсегда об этом доме. Помнить будешь только, что жить в мерзости нельзя. В тоске и страхе, ничем не удовлетворяясь, влачи дни, пока не смилостивится над тобой смерть.

Как дикий зверь, срывал с себя Мартин какие-то мешочки, драгоценности, коробочки и бросал все это в камин.

— Возьми на камине горящую свечу и подожги собственной рукой все свои яды и наговоренные талисманы, жалкий пьяница и мелкий воришка.

Послушно, с большим трудом Мартин исполнил приказание. Пламя разгоралось туго, вспыхивало и почти угасало. Наконец Санжер бросил в огонь какую-то коробочку, раздался треск, от которого перепуганный Мартин бросился к окошку. Он все силы напрягал, чтобы вылезти из окна, в которое так легко влез. И все же не мог перебросить своего тела из комнаты. Он завизжал от ужаса и стал молить о помощи.

— Ступай, я сказал. Надень свои грязные туфли и уходи. Язвы на твоем теле, что уже кровоточат, — это не мое наказание тебе, а результат ядов, что ты, по невежественности, носил на себе слишком долго. Твои сообщники сделали из тебя живой ходячий шкаф, где хранили свои сокровища. А ты по глупости разорил свой организм, и теперь спасения тебе нет.

Перепуганный, обессиленный и до последней степени расстроенный, Мартин вылез из окна, с трудом пролез в сделанное им отверстие в заборе и, шатаясь как пьяный, потащился прочь. Странные, давно забытые мысли бродили в мозгу Мартина. Ни с того ни с сего он стал вдруг вспоминать свое детство, мать, как она его любила и ласкала и как

он, подучиваемый угрюмым соседом, старался ей всегда дерзить и отвечать грубостью на ее ласки и заботы.

Мартин не понимал, почему сосед радовался, когда он расстраивал мать. Но вкусные пирожки и конфеты, которыми сосед его одаривал за каждую ссору с матерью, побуждали его искать все новые предлоги причинить горе матери. Почему именно сейчас думал Мартин о своем одиночестве, о том, что во всем мире у него нет сердца, которое бы его любило, Мартин и сам не знал. Всю свою жизнь он издевался над любовью. Никогда не вспоминал, что у него есть где-то сын, а сейчас он дорого бы дал, чтобы иметь возможность назвать какое-то живое существо сыном.

Все путалось в голове несчастного. Он еле соображал, как ему найти дорогу в отвратительную харчевню, где несколько часов назад он оставил свое платье и весело кривлялся и кощунствовал, переодеваясь в рясу. Теперь хохот пьяных матросов, преграждавших ему дорогу и спрашивавших, где он так нализался средь бела дня, докучал ему и отравлял и без того тяжелый путь. Еле живой добрался Мартин до своей гостиницы, мечтая о тишине, одиночестве и постели. Больше всего он боялся сейчас встречи с Бондой или острыми глазами Дженни. Он даже не отдавал себе отчета, почему он их боится. Но мечтал об одном — как бы проскользнуть незамеченным.

Благополучно достигнув своей комнаты, он решил, что Бонда с приятелями еще не вернулись, бросился к вину, всегда ожидавшему его на столе, и повалился на постель с единственной мечтой: заснуть покрепче и ни о чем не думать. Мартину и в голову не приходило, что Бонда сидит в своих комнатах в бешенстве, один, всеми брошенный, не имея сил выговорить ни слова. А Дженни с Армандо и Анри, изнуренные, огорошенные и еще более озлобленные, сидят в комнатах молодых, в ожидании обеда и каких-либо известий именно от Мартина.

Единственной мыслью Дженни в конце ее первого дня супружеской жизни была месть изменившей матери и мысль о мести сестре, которую она окончательно теперь ненавидела.

Больше ни о чем не думала Дженни. Только бы уничтожить, разорвать силу лорда Бенедикта, не позволявшую ей добраться до Алисы!

Что же касается того милосердного, кому она сама призналась, что ненавидеть его не может, — она о нем сейчас прочно забыла. Она унесла с собой из конторы ужасающий страх перед грозным лордом Бенедиктом и не менее жгучую к нему ненависть.

Глава 17

Мать и дочь. Джемс и Ананда. Ананда и пасторша. Дальнейшие жизненные планы Николая и Дории

На следующий день жизнь в доме лорда Бенедикта пошла своим обычным ходом, если не считать тяжелой болезни пасторши, за которой ухаживали Алиса с Дорией и которую лечил Ананда под руководством своего дяди, князя Санжера. Леди Катарина никого не узнавала, и в ее расстроенном мозгу все время мелькала тень пастора, побеждавшего в борьбе с Браццано, о чем пасторша говорила в бреду. Лорд Бенедикт зашел к Алисе, нежно обнял ее, потрясенную сценами в судебной конторе, и объяснил ей, что бред ее матери отнюдь не отражает истины, что через несколько дней мать ее будет здорова.

— Тебе же, Алиса, надо очень и очень подумать обо всем, что за последнее время тебе пришлось пережить, увидеть и наблюдать. Ты знаешь свой великий урок, что предназначено тебе выполнить в это воплощение. Но я тебе уже говорил, что «может» не значит «будет». Только бестрепетные сердца могут выполнить предназначенное им. Бестрепетность ученика, его бесстрашие — это только его верность Учителю. Если *всей* своей верностью он идет за Учителем, он не спрашивает объяснений, он идет так, как видит и ведет его Учитель. Сейчас так сплелись судьбы и кармы большого кольца людей, что ты имеешь возможность видеть меня каждую минуту, можешь прибежать ко мне и взять мою руку. Но не всю жизнь ты будешь подле меня. Обдумай, хватит ли у тебя сил пройти весь путь в разлуке со мной так, как будто бы я всегда стою рядом с тобой и во всех делах жизни ты держишь мою руку.

— Не продолжайте, мой друг, мой отец, мой наставник, — опускаясь на колени и приникая к руке Флорентийца, сказала Алиса. — Нет иной жизни для меня, как жизнь в вечной верности вам, в единении с вашим трудом и путями. Я не ищу ни наград, ни похвал, я знаю, как трудно жить каждому человеку на земле в его закрепощении страстями и личными привязанностями. Я пойду всюду так, как ваша любовь поведет меня и пойдет по земле через меня. Я буду стараться в полном самообладании, в такте проносить каждой достойной душе ваши помощь и мир. Я знаю, как скромно мое место во вселенной. Я полна смирения и радости и хочу быть усердной в тех скромных трудах и задачах, что вы мне поручаете.

— Встань, дитя, и выслушай меня. Сейчас я поеду к родителям Лизы, чтобы уговорить их не делать выставки из брака их дочери, а просто и тихо обвенчать ее с капитаном. И вторая моя задача — убедить стариков возвратиться на родину, предоставив детям одним уехать с нами в Америку. Наль не переносит моря, а в своем положении сейчас будет переносить его много хуже. Лиза, привыкшая к морю, войдет на пароход, уже неся в себе плод будущего ребенка, и на этот раз тоже будет немало страдать от моря. Дория будет неотлучно при твоей матери, которую мы оставим здесь на попечении Ананды и Санжера. И Наль, и Лиза свалятся в пути на одни твои слабые руки. Леди Цецилия тоже будет плоха в пути, но за ней будет ухаживать Генри. В этот момент ты одна, самостоятельно, можешь решить вопрос: хочешь ли так тяжело прожить все дни пути, в уходе за двумя тяжело страдающими женщинами? Хочешь ли и дальше помогать Лизе, беременность которой будет чрезвычайно тяжела не только ей, но и всем окружающим? Лиза будет очень раздражительна, тебе будет доставаться от ее несправедливости, но... перед тем, кого она вынесет в жизнь, ты, дитя, виновата. Когда-то давно-давно тебя любил, надеясь стать твоим мужем, этот будущий человек, а ты осмеяла его и отвергла. Он отомстил тебе, предал, и ты пошла на казнь. Теперь тебе предоставляется возможность своей добротой и милосердием помочь ему заслужить твое прощение. Но мало простить человека за его грех перед тобой. Надо помочь создаться той семье, куда он придет. Надо вперед развязать всю карму, чтобы он пришел свободным и чтобы именно твое сердце — творчеством доброты — создало ему радостный земной приют, где ему должно житься легко, просто, весело.

— Какое счастье! Какое счастье быть полезной Наль и Лизе и еще искупить и свой грех в труде для них. О, если бы папа еще жил, как бы он радовался в эту минуту, — вся сияя, ответила Алиса.

— Дитя мое, как бы ты ни была тверда в решении своих вопросов в эту минуту, подумай еще раз, раньше чем ответишь мне. Пока ты будешь ухаживать за твоими подругами, пока у обеих женщин не родятся их первенцы, и далее, первое время, когда они родятся, вся внешняя жизнь, наука, искусство, театры — все будет закрыто для тебя. Ты будешь главной осью домашних серых забот. Но матери будут страдать для собственных детей, а ты...

— А я без страданий буду наслаждаться счастьем жить, нянча сразу двоих детей. Зачем нам говорить больше об этом, мой Учитель. Я иду. Вы подле нас всех в эту минуту. Какое счастье может быть выше жизни подле вас! Лишь бы жить в той чистоте, которая не мешала бы вам лить ваше милосердие через наши грубые тела. Там, где не можете действовать вы, потому что атмосфера слишком низка для вас, пусть там верность наша поможет вам действовать через нас так, как вы видите. Я знаю, что Лиза вспыльчива и неустойчива, раздражительна и требовательна. Но я знаю и то, что там, где живет истинный талант, там живет и громадная трудоспособность. Она научится владеть собой, потому что научится входить на вершину вдохновения. Неорганизованное, неустойчивое существо никогда не может носить в себе истинного таланта. Или же оно должно рано умереть, так как гений разорит всякого, кто не может добиться полного самообладания и стать достойным — в гармонии — своего дара. Если Лизе суждено жить в высоком искусстве, она научится самообладанию. Я же буду счастлива быть ей пробным камнем любви в ее труде победы над собой. Зная вас — это так легко.

— Спасибо, друг Алиса, поистине, редко бывает счастлив ведущий иметь подле себя такое сокровище, иметь живую чашу мира и любви. Будь благословенна. Иди, любимая и любящая, и храни в мире всех тех, кто тебе встречается. Никогда и ничего не бойся. Ты живешь, чтобы радостью защищать тех, кто встретится тебе. Флорентиец обнял Алису, отпустил ее и уехал к родителям Лизы, где назначил свидание Джемсу.

Не успел он войти в гостиную графов Р., как сразу заметил полный разлад между отцами и детьми. И первые же слова графини была жалоба лорду Бенедикту на детей. Графиня утверждала, что дети несомненно жаловались в письмах деду на помпезное бракосочетание в двух церквах, которое затевали родители, считая, что брак будет действительным только в том случае, если будут соблюдены все религиозные формальности обеих религий. А граф считал к тому же, что Лизе необходимо завязать узел знакомств и связей, опираясь на высокие связи деда и отца. И начать их самое удобное за свадебным пиром.

В своем письме дед, так редко вмешивавшийся в семейные дела сына, категорически потребовал, чтобы свадьба его внучки была как можно тише и скромнее. И чтобы родители возвратились в Гурзуф, предоставив новобрачным самостоятельно попутешествовать и пожить так, как они сами найдут для себя нужным.

— Ну представьте себе, лорд Бенедикт, как я могу отпустить свою несовершеннолетнюю дочь одну в путешествие? Да еще Джемс придумал эту дикую поездку в Америку. Кроме того, каково это пережить, что Лиза писала деду потихоньку от меня. Значит, она тяготится нами. И променяла нас сразу же на жениха.

— У нас уже был с вами однажды разговор на эту приблизительно тему. Я не буду повторяться, графиня. Мне кажется, что вы хорошо вспомнили сейчас, что я вам говорил тогда. Сейчас скажу только одно: не могу поверить, чтобы Лиза или капитан прибегали к

каким-либо тайным от вас путям. Оба они так высоко честны и благородны, что найдут в самих себе силы защищать свои мнения в прямом разговоре. Я опускаю вашу реплику, кого и как и на кого променяла в своей любви Лиза. Это недостойно вас. И вам самой, я думаю, тяжело, что в вас живут такие мысли. Поговорим о мнении вашего тестя. Мне думается, что он глубоко прав. Для кого вы затеваете всю эту шумиху? Если признаетесь честно — только для самой себя и мужа. Вам хочется теперь сделать все так, как вы желали, чтобы оно было сделано когда-то для вас на вашей сравнительно тихой и небогатой свадьбе. Вся эта внешняя, базарная суета, графиня, что она имеет общего с любовью? Вы говорите, что не можете допустить, чтобы дочь жила и ездила по белу свету одна. Допустим, минуя всякий здравый смысл, что она живет и ездит где-то совершенно одна. О ком вы думаете, когда говорите это и беспокоитесь об этом? О ней или о себе? Чем можете вы ей помочь, если придет беда? Вы так в самообладании тверды, чтобы при любой панике внушить ей мир и спокойствие? Вы можете удержать ее своим бесстрашием от любого необдуманного шага? Я думаю, что вы очень добры, великодушны, благородны. Но вся ваша жизнь прожита в порывах и изломах. Часто ли вы умели удержаться от залпа слов, которыми вы оглушали ваших близких? Если у Лизы слабое здоровье, то всеми бурями своей несдержанности вы способствовали ее неустойчивости. Об этом не раз говорил вам дед наедине, так пламенно защищавший вас на людях, так рыцарски служивший вам всю жизнь. Отчего же сейчас вам не принять его совета, совета огромной мудрости? Кроме всего этого, на пароходе Джемса поеду я со всей своей семьей. А моими дочерьми вы ведь искренно восхищаетесь. Неужели, если Лизе понадобится помощь, уход или еще что-либо, мы оставим ее без внимания?

Графиня молчала, опустив глаза вниз, но видно было, что каждое слово гостя попадало в больное место. Ни на одно предположение лорда Бенедикта она не могла ответить отрицательно. И тем не менее стала возмущаться его словами. Но чем дальше он говорил своим ласковым голосом, тем резче менялось ее настроение, и она начала отдавать себе отчет, как много вреда, вероятно, она причинила всем любимым ею людям своею неустойчивостью, как тяжело легла на собственную дочь ее неуравновешенность.

— После письма отца, — заговорил граф, — я отказываюсь от своих первоначальных намерений. Отец, никогда мне ничего не запрещавший, даже в таких серьезных делах, как женитьба, дружба, предприятия, где он далеко не всегда был согласен со мной, сейчас просит меня категорически не омрачать жизни единственной дочери и послушаться голоса любви и чести. Ваш голос, лорд Бенедикт, и есть голос любви и чести, голос мудрости. Присоединенный к голосу моего отца, он заставляет меня послушаться сегодня, хотя еще вчера я спорил бы и возмущался. Отец мой стар. Вы мне на многое раскрыли глаза. Я тоже не был достойным воспитателем моей дочери, как и не был хорошим сыном моему отцу. Но он — он был всегда мне примером рыцарской воспитанности. И я всегда знал, что неподкупные честь и правдивость — это мой отец. Если я прожил честным человеком свою жизнь до сих пор, то только потому, что всегда видел его живой пример подле себя. А когда его не видел, помнил и носил его образ в сердце. Я вернусь в Гурзуф сейчас же после самой тихой свадьбы Лизы, а графине предоставляю поступить, как она сама решит и захочет.

Голос графа, сначала печальный и дрожащий, становился все тверже, и, когда он кончил говорить, лицо его стало светлым и совершенно спокойным.

— Иди в жизнь, Лизок, — сказал он, подойдя к дочери и обнимая ее. — Мне тебя не учить, как тебе быть женой и матерью. Я сам мало думал о тебе в этих ролях, мне ты все казалась малолетней. Одно я знаю твердо, что честью ты вся в деда. Если будешь проста и не мелочна в буднях — всем украсишь жизнь. Цени счастье, что выходишь замуж за того, кого любишь. Мы с мамой, наверное, сумеем доказать тебе, что любим не себя, а тебя.

Граф нежно поцеловал обе руки дочери и, задержав их в своих, тихо прибавил:

— Теперь, когда кончилось твое детство, я должен тебе признаться. Если бы не твой дедушка, никогда бы я не согласился, чтобы ты училась играть на скрипке. Не суди меня строго. Я, когда стану дедом, постараюсь перенести в себе твоим детям образ их прадеда. Играй и пой, Лизок. Я знаю, как смягчается сердце, когда ты играешь.

— Я очень прошу вас, граф, посетить с семейством мой дом завтра вечером. Ко мне приехал мой друг, певец, каких мало. И голос его, однажды услышанный, вовек не забудется. Я надеюсь, графиня, вы не откажетесь приехать с Лизой завтра вечером, а Джемса и просить об этом не надо: певец, о котором я говорю, его большой друг, индус, Сандра Кон- Ананда. Я убежден, что ваше сердце музыкантши и женщины не раз дрогнет завтра от его смычка и голоса.

Лорд Бенедикт простился и уехал. Графиня, сдерживавшая при нем свои слезы, не владела больше собой. Ее рыдания, горькие, отчаянные, поразили Лизу. По ее знаку граф и Джемс вышли из комнаты. Лиза села рядом с матерью, обняла ее и тесно к ней прижалась, подождала, пока первая волна горя матери вылилась, и потом прошептала ей на ухо:

— О чем ты плачешь, мама? Ведь в эту минуту мы с тобой не мать и дочь, а две любящие друг друга женщины. Если ты плачешь о том, что не сумела меня воспитать лучше, то знай, что мне лучшей матери, чем ты, никогда не могло встретиться. Ты научила меня жить свободной и в себе искать смысла жизни, а не скучать в одиночестве, ища пустых дружб и развлечений, находя всю прелесть не в природе, а в суете. И за это ты для меня первая драгоценная дружба в жизни. Ты не мешала мне читать все, что я хотела, ты не мешала мне играть, как и сколько я хотела, ты всегда понимала мои увлечения, ты одна знала, как я любила Джемса. Теперь я сделаю тебе, первой моей подруге, признание. Из него ты увидишь всю силу моего доверия и любви к тебе. Ты знаешь, ты видела мой уголок в том доме, что Джемс приготовил нам. Дед часто рассказывал нам с тобой о своих путешествиях по Востоку, о Будде и его жизни. Он научил меня любить этого великого мудреца. И можешь понять, как я была поражена, когда увидела в своих будущих комнатах дивную статую Будды. Я точно на молитве стояла перед ним и дала обет, что все, что я буду играть, я буду лить в его чашу, для меня святую. Мы каждый день ездили с Джемсом, чтобы побыть несколько времени у этой статуи. И каждый раз я чувствовала, как день за днем все крепла моя верность обету перед Ним, как все сильнее становилось мое бесстрашие, как я подхожу все ближе к Нему, как вижу в Нем моего покровителя и друга. Когда я играю в том доме, мое сердце так раскрывается, точно я играю прямо перед Ним, неся Его милосердие и собирая все слезы слушающих меня в Его чашу. Я знаю, мама, что то, что я тебе скажу сейчас, тебя поразит. Но и ты прими мое признание не как мать, а как подруга, первая, любимая. Вчера мы приехали к моему Будде, и так сказочно прелестно была убрана Его комната. И цветов таких я не видела никогда еще. Джемс был поражен не меньше меня. Это не он украсил комнату цветами и только сказал: «Это Ананда нас благословил на брак». Я не знала, кто такой Ананда по своей внутренней сущности, и Джемс рассказал мне, что Ананда мудрец, что он необычайно добр и сила его любви к людям равна почти святости. Мы придвинулись ближе к Будде, и я увидела в его чаше письмо и футляр. На письме было написано: «Моим друзьям в великий день их свадьбы». И вот самое письмо, слушай, мама:

«В границах тела человека живет его великая Любовь. Пронесите эту Любовь в чистоте плотского соединения и создайте новые тела, где бы Любовь, живая и деятельная, могла трудиться, единя людей в красоте.

Брак не только таинство, когда чья-то рука соединила людей перед внешним престолом. Но тогда, когда люди слились воедино, чтя друг в друге Любовь. Наденьте, Лиза, тот

браслет, что я положил Вам в чашу великого Мудреца. На нем написано: “Иди в вечной верности и бесстрашии и любя побеждай”. Примите эти врезанные в браслет слова как путеводную нить и отдайте не только тело и мысли Вашему мужу. Но слейте *всю жизнь* в себе с его *жизнью* в нем и вступайте в новую стадию земного счастья, где нет разделения между трудящейся, видимой Вам землей и трудящимся, невидимым Вам небом. Таинство брака есть таинство зачатия новой жизни. Настало время сойти в Ваше тело той душе, что через Вас станет вновь человеком земли.

Этот Ваш первенец будет Вашим благословением, большой Вам помощью и миром. Вы же станьте сегодня матерью, радуясь и приветствуя его всем сердцем, воспевая ему песнь торжествующей любви.

Ваш друг Ананда».

Лиза умолкла и через минуту шепнула матери:

— И таинство совершилось.

И она показала матери скрытый под рукавом платья браслет.

Графиня была так взволнована словами Лизы, так глубоко потрясена совершенно необычной формой брака дочери, что сидела молча, с удивлением разглядывая такое родное, близкое, привычное лицо Лизы, в котором сейчас она не узнавала дочери. Она видела новое, восторженное и преображенное лицо иной, незнакомой ей женщины.

«Так вот какою бывает Лиза», — мелькало в уме графини. Она все смотрела и смотрела в это новое лицо и вдруг сразу поняла, что Лиза, сидящая перед нею, впервые понята ею по-настоящему. Ясно стало графине, что это не только цельная, любящая женщина, но что это мать, хранящая в себе залог новой жизни.

Пока Лиза показывала ей браслет, очень похожий на тот медальон, что ей дал Джемс, голова графини упорно работала. Ей казалось, что она в первый раз поняла смысл своей прожитой жизни. Если бы Лиза не признала ее достойной своей полной откровенности, не сказала бы ей, что самое ценное — свободу своей духовной жизни — она нашла при помощи матери, то — говорила себе графиня — ей нечем было бы вспомнить сейчас свою жизнь. Только в эту минуту она поняла ответственность матери перед жизнью, перед всем миром, а не только перед узкой ячейкой собственной семьи. Графиня думала, что Лиза вышла белым лебедем из их семьи малоталантливых людей, и вспомнила теперь не раз говоренные ей слова деда:

«Неужели вы не видите, что Лиза истинный талант, а не салонная развлекательница, что ей нельзя навязывать ничего из предрассудков и суеверий, а надо все усилия приложить, чтобы в ней было как можно меньше непримиримости, предвзятости, женской субъективности и условной морали, чтобы ее талант мог развиваться в чистом и свободном сердце».

Тогда этих слов не понимала графиня. Она не раз ревновала дочь к деду, друживших очень и души друг в друге не чаявших. Теперь графиня видела, как высока была ее девочка в своей чистоте, как мало она считалась с этикетом внешних правил и приличий, которых ни за что не нарушила бы сама графиня. Долго сидели обнявшись мать и дочь, и слов им не было нужно. Говорили их души, говорили радостно, хотя обе женщины шли в разном направлении, и каждая понимала, что идет свой путь вечности, что данная жизнь, от рождения до смерти, только маленький кусочек счастья жизни вечной.

Каждая из них давала безмолвный обет отдать все силы, чтобы хранить будущую новую жизнь и стараться победить в себе какие-то тяжелые черты, чтобы не омрачать ими в будущем семьи.

— Мама, все, чего бы я хотела, — заслужить от своих детей те доверие и дружбу, с которыми я ухожу из твоего дома.

В дверь постучали, вошел Джемс, проводивший графа в русскую церковь, вернее, в то, что при посольстве играло ее роль. Графиня протянула ему свою свободную руку и обняла Джемса, усадив его рядом с собою. По ее и Лизы лицам он понял, о чем говорили мать и дочь, и ласково ответил на поцелуй графини.

— Будьте счастливы, мои дорогие. Если у вас будут сомнения — пишите деду. Это сердце никогда и никому не подало плохого совета. Впрочем, тот, кто венчал вас своими цветами у ног Будды, вероятно, не оставит вас и дальше.

Сегодня вам обоим надо побыть вместе. Вы еще и не видались толком. Поезжайте к себе домой и приезжайте к обеду, который я закажу попозже.

Проводив детей, графиня ушла к себе в комнату, не велев никого принимать. Она твердо решила не говорить ничего мужу, щепетильность которого в вопросах хорошего тона знала отлично. Сумев сейчас сама перешагнуть через все впитанные с детства предрассудки, удивляясь себе, что не испытывает никакой боли от поступка дочери, а считает его в порядке вещей, она стала думать о лорде Бенедикте, о том, как бы он отнесся к поступку Лизы и к поведению ее самой.

Граф вернулся довольно поздно, рассказал, что послезавтра в двенадцать часов будет свадьба Лизы, и он решил не звать никого, кроме лорда Бенедикта и его семьи. Графиня была очень рада, хотела о чем-то рассказать мужу, как вдруг два человека с трудом внесли огромную, роскошную корзину цветов, с инициалами Лизы и Джемса.

— Батюшки, да это целый свадебный поезд! — воскликнул граф, наклоняясь к корзине и указывая на скрытые среди цветов роскошные футляры с обозначением имен Лизы и Джемса. — Похоже на то, что каждый член семьи Бенедикта поставил здесь свой подарок. Я и не знал, что таков английский обычай.

— Давай-ка и мы с тобой порадуем наших детей и порадуемся сами. Ты одеваешься быстрее — заказывай самый пышный обед, прикажи осветить зал как можно светлее, а я пойду надеть самый роскошный туалет.

— Вот неожиданный сюрприз от тебя, графинюшка, — весело смеялся граф. — Годами от тебя не добьешься появления в пышном туалете, а тут извольте радоваться. Ты ли это? Что сей сон значит?

Графиня, казалось, сбросила с плеч двадцать лет. Глаза ее сияли, она подошла к мужу, положила ему руки на плечи и радостно посмотрела ему в глаза.

— Я только сегодня поняла, оценила, что у нас будут внуки, что жизни нашей еще не конец, что мы еще будем нужны и полезны.

Горячо поцеловав мужа, графиня убежала в свою комнату, напомнив ему ту, далекого прошлого, женщину, которую он так страстно любил. Сбитый с толку, ничего не понимая, граф приписал настроение жены очередному капризу, но, любя повеселиться по всякому поводу, был рад вдвое сегодняшнему предлогу.

Быстро закипело у него дело. Забегали слуги, запылали свечи, на столе заиграл хрусталь. Не успела графиня выйти в зал в своем очаровательном туалете, как в него вошли Наль, Алиса и Николай. Принося тысячу извинений, что они думали попасть уже после обеда и провести в доме графа Р. скромный вечер, а попали на званый обед, гости хотели тот же час возвратиться домой. Их, конечно, не отпустили, говоря, что торжество придумала графиня, а самих виновников торжества даже и дома еще нет.

Графиня была счастлива, что самые близкие сейчас Лизе и Джемсу люди так удачно, невзначай, пришли праздновать истинную Лизину свадьбу. Она увела к себе в гостиную гостей, втайне беспокоясь, что Лиза приедет в простом платье, а близкие гостьи так изумительно и нарядно одеты. В эту минуту вошли Лиза и Джемс, и графине суждено было еще раз сегодня удивиться.

Не ее обычная Лиза стояла перед ней, а опять новая, молодая женщина. В платье из дорогой зеленой парчи, на которой были вытканы серебряные лилии с золотыми листьями и тычинками, в чудесном веночке на голове из бриллиантовых мелких лилий, с листьями из изумрудов, Лиза потрясла мать выражением большой серьезности, спокойствия и непередаваемой радости, которая лилась из нее.

— Я приветствую вас, Лиза, от имени моего отца, — сказал, здороваясь, Николай. — Вот его письмо к вам. А вам, капитан, лорд Бенедикт просил передать эти два портрета. — Николай подал ему зеленую коробку, на которой был изображен белый павлин.

Не будучи в силах удержаться, капитан открыл коробку и увидел в ней два портрета, вложенных в одну общую небольшую складную рамку. Два чудесных лица, лорда Бенедикта и Ананды, глядели на него из рамок, переплетающихся лилий и фиалок. Капитан вскрикнул от радости и удивления, и пока все сгруппировались вокруг него, рассматривая и восхищаясь его подарком, Лиза читала в стороне письмо Флорентийца:

«Друг, сестра и будущая ученица. Нет у человека сокровища, ценнее мира в сердце. В эти важнейшие минуты Вашей жизни думайте не только о себе и окружающих Вас, но и обо всех в этот час несущих в себе залог будущей жизни. Думайте не только о счастливых и любимых, как Вы сами, но и обо всех брошенных, плачущих и не имеющих ни угла, ни труда, ни денег. Думайте обо всех, не знающих, как им справиться с нищетой и вынести в мир священную новую жизнь, бьющуюся в них.

Первый же раз, как будете играть публично, отдайте весь сбор покинутым матерям. И всю свою жизнь никогда не бросьте камень осуждения в девушку-мать. Но постарайтесь пригреть и утешить каждую из встреченных Вами. Лилии, что я подал Вам сегодня в чаше великого Будды, примите как дар моего уважения Вашей чистоте и любви. Храните чистоту отношений с мужем и детьми и раскрывайте все шире сознание, все выше ищите источников вдохновения, и Вы придете к тому моменту самообладания, когда сможете вступить в путь ученичества.

Тот, кто слышит в искусстве голос сияющего Бога, тот уже носит в себе знание вечности Жизни. Поняв однажды Жизнь как вечное милосердие, нельзя быть несчастным.

В Ваш счастливый день, в счастливой любви, помните о несчастном дне и несчастной любви других. Ищите знания, чтобы понять, что несчастья нет как такового. Все: все чудеса и все несчастья — носит в себе сам человек. Когда человеку открывается знание, он становится спокойным, ибо Мудрость оживает в нем. Не ищите чудес, их нет. Ищите знания — оно есть. И все, что люди зовут чудесами, — все только та или иная степень знания.

Ваш вечный друг Флорентиец».

Чувство особенной радости, какое-то еще не испытанное сознание большого и светлого счастья наполнило Лизу. Она спрятала драгоценное письмо на груди и подошла к матери, державшей чудесную рамку с портретами.

— Я думала, что красивее лорда Бенедикта не может быть мужчины, — говорила графиня. — Теперь я не знаю, кому отдать предпочтение. Быть может, этот незнакомец и не так классически прекрасен, как лорд Бенедикт. Но в его лице есть что-то особенное, какая-то пленительная, светящаяся доброта, перед которой даже трудно устоять на ногах. Хочется пасть ниц. Но возможно, что это только иллюзия на портрете, а в жизни этого нет.

— Недолго ждать, чтобы решить этот вопрос. Завтра вы его увидите, — сказал Николай. — Во всяком случае, стоит вам посмотреть на сияющего Джемса, и вы, графиня, убедитесь, что живой облик Ананды превосходит его портрет. Джемс, по-моему, молится на Ананду и употребляет все усилия воли, чтобы сейчас не выхватить из ваших рук портреты своих обожаемых друзей.

Графиня возвратила портреты капитану, не обратив внимания на чудесный рисунок рамки, где Лиза тотчас заметила тождественность его с рисунком ее головного убора, в переплетавшимися лилиями и фиалками на медальоне и браслете.

— Джемс, фиалка и лилия должны стать нашими цветами. Выберем их как путь к самообладанию. Ах, если бы научиться никогда не раздражаться и никого не судить! Как легко было бы тогда жить на свете, как просто общаться с людьми, потому что больше всего меня тяготит моя раздражительность и требовательность к людям.

— Чем больше ты будешь понимать, чего достигли эти люди, — тем яснее будет тебе, куда и как направлять мысли, когда будешь неустойчива. Любя так, как мы любим друг друга, надо помнить только, с кем, где и для чего мы живем. В своей любви мы не забудем тех, кто сделал нас такими счастливыми. И в свою очередь, в своем счастье не забудем тех несчастных, которые будут встречаться нам.

Граф пришел звать всех обедать, извиняясь, что экстренный обед может и не ответить своему назначению, особенно в части вегетарианского меню. Но видно было, что он в своей сфере, что любовь угощать людей в своем доме не последнее удовольствие графа и что обед будет на славу.

Весело летел обед, за которым Лиза много и тепло говорила с Алисой, впервые оценив большую музыкальность и вокальную образованность новой подруги. Сегодня Алиса особенно сильно действовала на Лизу своей простой добротой, простой сердечностью. Лизе казалось, что Алиса совершенно забыла, что она молода и прекрасна, что ее игра увлекает сердца людей, что ей надо жить тоже личной жизнью. Лизе казалось, что Алиса жила только ее, Лизиными, интересами, счастьем, только ее игрой, ее интересами ближайшего будущего. Лиза не представляла себе, как бы она могла забыть о себе, о своем счастье, о своей любви хотя бы на миг.

— Вы, Алиса, все еще говорите Лизе «вы», — вмешался в их разговор Джемс, сидевший рядом с Лизой. — Как это возможно, при вашей любви к людям вообще и ко мне и Лизе в частности?

— Ты или вы, какое это имеет значение, дядюшка? Кроме того, Лиза, благодаря вашей милости, попала мне в тетки. Должна же я оказывать ей двойное почтение, — смеялась Алиса.

— Это не по-русски, дочка, — поддержал капитана граф. — Раз у мужа племянница — ты должна в ней любить его самого. Изволь пить с Алисой брудершафт, и я примажусь к этому делу.

— Как много вам придется выпить брудершафтов, папа! У Алисы есть еще кузен Генри и тетя Цецилия. А дальше и еще найдутся родные. И обед пролетел, и вечер пролетел, и гости уехали, а Лизе все казалось, что пролетело одно мгновение. Когда Джемс подошел к ней проститься до завтра, ей и жаль было его отпускать, и хотелось побыть одной, чтобы подумать о массе всего пережитого за такое короткое время.

— Думай, дорогая, о белом Будде и о письме Ананды. Мы будем врозь сегодня, но в мыслях я буду весь с тобой. И всю остальную мою жизнь каждая разлука с тобой будет только внешней. Где бы я ни был — ты будешь рядом.

Простившись, Джемс уехал в очаровательный тихий домик, чтобы провести ночь подле белого Будды.

Войдя в маленькую комнату, где еле виднелась статуя мудреца, подножие которой, как и вся комната, все еще были убраны цветами, наполнявшими все вокруг своим ароматом, Джемс сел на низенький диван напротив статуи и в полумраке вглядывался в божественное лицо царевича, оставившего все в поисках истины.

Впервые Джемс был один в этой комнате после своей фактической свадьбы. Как он и обещал Лизе, мысли его были с нею.

Джемс вспомнил все их давнее знакомство и такой короткий по времени, но напряженный по чувству роман. Ему казалось чудом все совершившееся. Сколько лет своей жизни он прожил, ни разу не подумав о женитьбе и даже гордясь репутацией безнадежного холостяка, которая прочно за ним утвердилась. И вдруг девушка, едва вышедшая из детских лет, стала его женой, частью его собственной жизни. Глаза его привыкли к темноте, и он различал гирлянду цветов, брошенных рукой Ананды в чашу, вместе с письмом и браслетом Лизе. Цветы спускались из чаши почти до полу, и капитану казалось, что каждая чашечка цветка — кусочек его собственного сердца, разорванного на клочки, чтобы легче впитать в себя горе и радость земли и нести их в чашу Мудреца.

Мудрец сумел раскрыть земле Свет и указать путь, как освободиться от страстей простому человеку. Капитан думал, что, не чисто прожив до сих пор жизнь, он только и делал, что указывал всем путь, как закрепощать себя в страстях. В эту ночь он сознавал себя на рубиконе. Ему вспомнилась страшная ночь бури, бесстрашие Левушки, сунувшего ему со смехом конфету в рот в момент наивысшей опасности и грозящей смерти. Вспоминал он и необычный вид моря и столкнувшиеся в нем два водяных столба в том месте, где минуту назад был его пароход, и странное выражение на лице И., выражение гармонии, мира и тихой радости, с которым он смотрел на этот ужас водяных гор.

«Человек должен жить так, — прозвучали в его памяти слова И., — чтобы от него лились эманации мира и отдыха каждому, кто его встречает. Вовсе не задача простого человека стать или пыжиться стать святым. Но задача — непременная, обязательная задача каждого человека — прожить свое простое, будничное сегодня так, чтобы внести в свое и чужое существование каплю мира и радости».

И снова он стал думать, внес ли он за всю свою жизнь хоть десятку людей каплю мира и радости? Капитан смотрел в лицо Мудреца, сумевшего, не ища популярности, стать не только известным всему миру, но и Богом для половины мира. Жизнь казалась капитану прожитой бесцельно и бессмысленно. Если бы сейчас ему предстояло кончить свою земную фазу жизни, с чем бы он ушел с земли? Добра, что он сделал людям, и в кулачке,

пожалуй, не зажмешь, а радости и того меньше. Как же теперь начинать новую жизнь? Чем руководствоваться в семейной жизни?

Не раз передумывал капитан разговор с Флорентийцем в его кабинете в деревне. И сейчас, как и каждый раз, когда он думал об этих замечательных словах, ему казалось, что он не в силах выполнить и сотой доли их. Он уже склонен был прийти в уныние, как услышал легкий стук в наружную дверь. Капитан прислушался, убедился, что стук повторился так же негромко, но настойчиво, спустился вниз, чтобы не беспокоить семьи старого слуги, единственных обитателей дома. Открыв дверь, капитан был изумлен, увидев на пороге своего дома высокую фигуру в плаще, в которой тотчас же признал Ананду.

— Вы, капитан, конечно, меня не ждали. Да и я, признаться, сам не знал час назад, что зайду к вам. Я бродил по утихшему городу с дядей, и он указал мне, что в вашем доме есть свет. И тут же, смеясь, прибавил, что в вашей душе не чернильная, но довольно серенькая тьма. Ананда засмеялся своим особенным металлическим смехом, и капитан вспомнил, как Левушка называл смех Ананды звоном мечей.

— А так как дядя мой большой прозорливец, то он послал меня к вам вас развлечь и рассеять мглу вашего духа, совершенно неосновательную.

Капитан хотел провести своего позднего гостя к себе в кабинет, но Ананда, пристально поглядев на него, сказал:

— Зачем нам в этот миг, когда я пришел, минуя все условности, условный этикет и условный свет? Пойдем туда, где вы только что были, и попробуем побыть в том мире и свете, которыми наполнена атмосфера великого Мудреца.

— Как здесь хорошо, капитан, — вновь сказал Ананда, когда оба они сели на низенький диванчик, где несколько времени назад сидел Джемс Ретедли один. — Какая счастливая идея пришла вам на ум, капитан, украсить тайную комнату жены этой прекрасной статуей. Я не сомневаюсь, что ваш дед, собравший в этом маленьком доме несколько редких сокровищ, был большим и мудрым человеком.

— Не знаю. Для меня было полным сюрпризом найти Будду и старинную скрипку, не говоря обо всем прочем. Я был еще мал и не мог понять ссоры брата и деда. А также и о Будде я не слыхал разговоров в родном доме. Но то, что я нашел здесь Будду после того, как я нашел вас и... человека моих мечтаний, Флорентийца, — это помогло мне постичь величие Того, у чьих ног мы с вами сейчас.

— Мой дорогой друг, взгляните на эти вдохновенные черты, на эту доброту, льющуюся потоками. Путь этого принца-мудреца пусть даст каждому человеку возможность понять все величие жизни каждой человеческой души. Ни в одном мгновении земной жизни в человеке не должно звучать только одно его животное, плотское «я». Если хоть один раз человек дошел до знания вечности жизни, если он один раз ощутил себя в мантии этой вечности, он уже ни разу не выйдет из нее, ни разу не сможет жить в душных объятиях одних плотских, земных интересов. Перспектива, открываемая знанием, открывается каждому, как художнику чувство перспективы, вовсе не сразу. Вовсе не потому, что человек захотел узнать то или иное из духовного мира. Книга духовного знания не лежит вовне — она в сердце человека. И читать ее может только тот, кто учится жить свой каждый новый день, в который он вступил, все повышая свое творчество. Нельзя сказать себе: я хочу совершенствоваться. Или: я всю жизнь презирал среднее, брал только то, что мог поставить на пьедестал. И думать, что желание совершенствоваться или желание жить среди великих может

привести к чему-либо высокому. Это только умствование, не имеющее в себе ничего творческого, здорового, могучего, что могло бы привести к Истине. Действие, действие и действие — вот путь труда земли. Для чего вы разбираетесь в вашем прошлом, которого не существует и которое вы один воссоздаете в ваших мыслях? Что дает вам право в эту ночь, последнюю перед объявленным всем браком, сидеть в унынии и отрицании, вместо силы, радости, утверждения всего лучшего, до чего дорос ваш дух? Смотрите на этого божественно доброго мудреца. За ним шли толпы учеников и последователей, и он им не ставил препон и законов. Он говорил одно: «Не отрицай». И если видел шедшего за ним и отрицавшего свою современность, он говорил ему: «Иди, друг, от меня. Научись жить, не отрицая, и тогда возвращайся». Вы начинаете новую жизнь. Не мудрствуйте.

Знайте твердо только одно: надо *сегодня* приготовить *себя*, чтобы завтра возле вас человек смог отдохнуть, а не задыхаться. Надо *сегодня самому* отойти ко сну счастливым, зная, что сердце *ваше жило* в Вечном, высоко чтя огонь сердца встречного. Нельзя искать счастья жить ни в чем ином, кроме сил той Вечности, что *звучит в собственном сердце*. Человеку, воспитанному кое-как суетливыми и суетными родителями, не знавшими даже о смысле ином, кроме благ земных, невозможно сразу перескочить в атмосферу гармонии и мудрости. Но каждый может, любя ближнего, думать о величии Света *в нем* самом и нести *свой* поклон Свету во встречном. Я взял на себя вас, вашу жену и вашу семью, потому что вы — не зная и не догадываясь — оказали мне величайшую услугу, возвратив мне кольцо дяди. Я пришел к вам сегодня, чтобы сказать вам, что у вас есть верный друг и хранитель жизни, во все минуты разлада в себе зовите мое имя, и где бы я ни был, я всюду услышу вас. Вы можете и не услышать моего ответа, но я непременно услышу вас, и ответ мой придет к вам как *действие* фактов вашей жизни, как развязка вашей внутренней драмы. Вы напрасно страдаете о тех или иных обстоятельствах вашей личной жизни. Для вас искусство жить на земле лежит в одном: достичь полной верности. У каждого человека *своя* задача жизни. И иногда земная жизнь дается только для того, чтобы человек выработал какое-то одно качество. Ваша задача: цельность. Цельность в мыслях и чувствах, в верности. Вам надо достичь гармонии как таковой, то есть

силы равновесия духа и устойчивости его, когда весь организм, психический, физический и духовный, может начать творить.

Ананда подошел к самой статуе Будды, взял руки капитана в свои и положил их на чашу святого.

— Этими руками да прольется помощь из чаши Твоей на землю. Да помнит это сердце, как Твое дыхание мира и доброты, любви и сострадания, забыв о себе, лилось на землю радостью. Да идет по земле это плотское сердце, в плотном теле перенося радость и уверенность каждому. Радуя и ободряя встречных, да растет это сердце в бесстрашии и верности Тебе, Твоим мудрости и миру. Капитану казалось, что слова Ананды бегут по всему его телу, как электрический ток. Волна спокойствия и уверенности точно смыла с него налет грязи и печали. Капитан почувствовал себя включенным в какую-то новую силу, которой еще никогда в себе не ощущал. Ананда положил руки на плечи капитана, своими глазами-звездами обласкал его и молча вышел из комнаты.

— До вечера, — сказал он в передней Джемсу и вышел из дома на улицу, где уже начинался рассвет.

Оставшись один, Джемс снова прошел в комнату отшельника и сел на тот же диван, где провел с ним несколько часов Ананда. Теперь Джемс уже не спрашивал себя, зачем такие люди, как Ананда и И., лорд Бенедикт и сэр Уоми, живут в гуще людей, их грехов и их страстей. Он много раз вспоминал, как Ананда и И. удивлялись его и Левушки недоумению, когда он их причислял к существам высшего порядка, обладающим какими-

то чудесными силами, добытыми сверхъестественным путем. Они, смеясь, отвечали капитану, что для любого ботаника управление пароходом капитана было бы чудом до тех пор, пока он не обучился бы его искусству. Когда знание открывает глаза, всякое волшебство исчезает... В образе Будды перед ним сияла жизнь обычного человека. Этот человек не звал к авторитету, не внушал никому фанатизма веры. Он просто учил любя побеждать, искать в себе мир и понять бесценную, дивную свободу, в себе самом носимую. Капитан подошел к самой чаше святого, прислонился к ней головой и прошептал:

— Идти за Твоею мудростью хочу. Буду стараться видеть ее во всем, что встречу в дне. Я знаю свое место во вселенной, знаю, что я не обладаю должной духовной высотой, чтобы быть подле высоких всю мою жизнь. Но встречи с ними я не забуду и постараюсь начинать и кончать мой скромный день у чаши Твоей.

Он еще раз взглянул в прекрасное лицо Будды и тихо вышел из дома, где уже просыпались немногочисленные слуги.

Весь день вся семья Р., как и сам капитан, считали минуты, когда наконец им придется ехать к лорду Бенедикту. В семье же самого лорда все были заняты своими текущими делами и мало думали о вечернем приеме.

Алиса сменила Дорию у постели больной матери, которая была уже в полном сознании, но по ужасу и смятению, которые наполняли ее, была близка к безумию. На все старания Алисы ее успокоить леди Катарина твердила только одно:

— Если бы ты знала все, Алиса, ты бы не только ласки своей мне не давала, но не захотела бы даже войти в ту комнату, где я живу. Я, я одна погубила Дженни и испортила половину жизни тебе. Что мне делать? Куда мне кинуться? Как помочь Дженни?

— Мама, милая, любимая мама. Какую жизнь вы мне испортили? Я была счастлива, я любила вас, и папу, и Дженни, и охотно делала, радостно и просто, что вы хотели, и жалею, что не умела сделать больше. Теперь я знаю только одно: если папа не судил вас, а учил вас уважать — он и сейчас повторил бы нам с Дженни ту же свою волю, чтобы мы чтили вас. Мамочка, перестаньте дрожать и бояться. В доме лорда Бенедикта нет места страху. Здесь каждому защита.

Не успела Алиса произнести этих слов, как в комнату вошел Ананда. Он точно внес с собой весеннее солнце, так светел, весел и радостен был он.

— Вы, я вижу, Алиса, чем-то опечалены. А вот и разгадка, — продолжал Ананда, садясь у постели больной и всматриваясь в ее заплаканное лицо. — О чем же плакать, мой добрый друг, — так нежно сказал Ананда, такая всепрощающая доброта была в его голосе, что леди Катарина схватила его руку, приникла к ней, и ее раздирающее рыдание раздалось в комнате, раня сердце Алисы. Встав на колени, Алиса приникла к другой руке Ананды и с такой мольбой посмотрела в его глаза, точно хотела отдать всю себя за мир и спокойствие матери.

— Встань, дитя. Не отчаивайся, не считай себя бессильной в иные моменты жизни, когда стоишь перед скорбью и отчаянием человека и думаешь, что не можешь ему помочь. Нет таких моментов, где бы чистая любовь и истинное сострадание были бессильны, не услышаны теми, к кому *ты* их направляешь, и оставлены без ответа. Правда, не всегда твои чистые силы проявляются мгновенной помощью встречному вовне. Факты внешнего благополучия, единственное, что ценят люди как помощь, далеко не всегда составляют истинную любовь. Но каждое мгновение, когда *ты* вылила помощь любви, как самую простую доброту, *ты* ввела своего встречного в единственный путь чистой жизни на

земле: в путь единения в мужестве, красоте и бесстрашии. Разбив в сердце и мыслях страдальца предвзятое представление, что жизнь вооружилась против него, что его грехам нет прощения, что, будучи грешным, он не может уже выйти на путь Света и нести этот Свет другим, — *ты* разбиваешь перегородки авторитетов и предрассудков и создаешь ему новые борозды, куда потечет его мысль с этого мгновения. Никогда не отчаивайся и силу понимай во внутренней работе твоего собственного духа. И чем выше будут твои бескорыстие и радость, когда будешь принимать в свое сердце своего встречного скорбь, чем увереннее *ты* будешь нести свою любовь к милосердию своего Учителя — тем увереннее повернутся факты серого дня встреченного тобою страдальца. И тем скорее, проще, легче сойдет с него очарование скорби. Посадив девушку рядом с собой, Ананда положил свою руку на голову все еще рыдавшей пасторши и тихо ей сказал:

— Разве вы льете эти слезы сейчас о дочерях? Ведь вы плачете о муже, о том, что вы его не поняли, не оценили вовремя его чести и доброты и не доверились ему. Вникните в тот голос совести, что так раздирающе кричит в вас сейчас. Ведь вы плачете о себе.

Под влиянием легкого прикосновения руки Ананды леди Катарина затихла. У нее хватило сил приподняться и посмотреть в лицо того, кто пришел коснуться ее гнойных ран, так как леди Катарина вдруг представила себе, что чистому взору Ананды она должна представляться чем-то вроде прокаженной. Эта мысль мелькнула в ее уме на секунду, но голос говорившего увлек ее за собой целиком.

— Думайте о Дженни. Непременно думайте как о любимой дочери, осуждению которой нет места в вашем сердце. Но не думайте, что перед вечностью имеет какую-либо цену

то сострадание, где вы плачете, мечетесь, бурлите негодованием или какими бы то ни было страстями, хотя бы в ваших мыслях вы им придавали ореол священности. Труд, спокойствие, восприятие ваших отношений как результата *знания*, что великая встреча с каждым есть бескорыстие вашей любви, — вот будет ваше *деятельное* сострадание, в которое *может* проникнуть энергия мировой любви Вечного. Поймите раз и навсегда: *вам* надо жить в любви, в труде для Дженни. Если перестанете плакать, вы сможете соединиться с нею через какое-то количество лет, чтобы помочь ей раскрепоститься от предрассудков зависти, которые и бросили

ее сейчас во власть тьмы. Не станете ведь вы отрицать, что всей своей жизнью с Дженни до сих пор вы каждый день своим раздражением и ложью складывали ей ту непроницаемую стену, за которой она сидит сейчас. Вы камень за камнем складывали эту стену вокруг дочери; так теперь, по камушку, только вы одна можете ее разобрать. Вашими орудиями труда могут быть только спокойствие и мир. Как вы были лишены самообладания, так теперь можете начать свою работу любви и раскрепощения дочери только тогда, когда научитесь не повышать голоса ни при каких обстоятельствах. И не только удерживать поток слов и думать о каждом слове, которое произносите, но еще и ясно сознавать, что творимое вами раздражение *в этой* комнате мчится гораздо сильнее электричества грозы в эфир вселенной. Вы абсолютно здоровы. Вставайте, начинайте трудиться, если действительно любите Дженни и хотите ей служить. Как раньше всю жизнь вы выливали мусор своей души и грязнили им вселенную, так теперь вы должны выработать в себе новые привычки, и первые из них: научиться радоваться, научиться смеяться и не осуждать. Начните с самого простого и смиренного труда. Всю жизнь вы были ленивы и только и делали, что изображали из себя леди. Теперь снимите все хозяйственные заботы с Дории, которая должна взять сейчас иное дело. Учитесь в самых серых днях и делах общаться с людьми и вырабатывайте выдержку. Забудьте свои классовые предрассудки и обращайтесь с каждым слугой и торговцем так, как будто перед вами в каждом из них стою я и вы говорите со мною. И я увижу, насколько вы искренни,

когда говорите, что чтите меня, — улыбаясь закончил Ананда. Не дожидаясь ответа пасторши, он покинул комнату, оставив мать и дочь в самом разном настроении духа.

Глаза Алисы, сиявшие не меньше глаз самого Ананды, выражали ее полное понимание глубочайшего смысла слов Ананды. В поведении матери, ей предписанном, она сознавала почти единственную возможность для леди Катарины выработать самообладание, какую-либо воспитанность. И вместе с тем она ни минуты не сомневалась, какое разочарование, даже отчаяние должна чувствовать сейчас ее мать, всю жизнь ненавидевшая хозяйство, порядок и тот упорный, мелкий труд, который с ним связан. Ее голова и сердце уже работали, как бы показать матери заманчивые стороны в этой работе, которой можно отблагодарить лорда Бенедикта за все сделанное для их семьи.

В душе леди Катарины образовалась какая-то пустота. Она поняла, что в данную минуту, в том состоянии смятения, в каком она живет, она ни на что не годна. Слова Ананды проникли ей в сердце. Там уже не было сейчас лжи. Пасторша призналась себе, что слезы ее были слезами поздних сожалений. Теперь только она видела фигуру мужа такою, какой она рисовалась всем. Браццано больше не занимал никакого места ни в ее сердце, ни в мыслях. Муж и Алиса представлялись ее духовным глазам новыми людьми, к которым в ней просыпалось и новое чувство. В ней рождалась новая сила жить, поддерживаемая этими новыми непривычными образами, которая пускала ростки в самой глубине сердца. Одно только знала твердо леди Катарина, что не будет протестовать против назначенного ей Анандой труда. Но как взяться за него, она так же мало знала, как любой дровосек о тонкостях скульптуры.

Мать и дочь встретились взглядом. Ни слова не сказала каждая из них, но обе поняли, что о старой жизни леди Катарины и речи быть не может. Всегда возмущавшаяся, когда муж указывал ей на необходимость труда, сейчас пасторша думала только о своей неопытности и полной неприспособленности к предстоявшей ей задаче. В прежнее время она и не подумала бы послушаться и встать с постели. При малейшем нездоровье она оберегала себя до чрезвычайности. Теперь же, чувствуя себя совсем разбитой и без сил, она немедленно стала одеваться. Помощь Алисы, казалось, давала ей новую силу. Она видела теперь в дочери не девочку-подростка на побегушках, швею, необходимую в доме, но подругу, в сердечном участии которой не сомневалась.

— Мама, вы не думайте, что все это хозяйство так сложно. Во-первых, вам самой не придется бегать по рынку или стоять у кастрюль. Здесь есть отличный повар и экономка. Вам надо будет только вести весь дом в смысле расхода денег и заказов всего того, что лорд Бенедикт будет считать нужным для его дома. Обычно он сам отдавал Дории краткие и точные распоряжения.

— Ах, детка, я так боюсь лорда Бенедикта! Ничего, кроме благодеяний, я от него не вижу. Но когда попадаю в его присутствие — я точно в крепости. Я знаю, что я защищена от всего, и все же, когда я о нем думаю, меня пронизывает страх. Я, как карлик перед великаном, все вспоминаю, как его глаза приклеивали мои ноги к полу. Ну как я войду к нему за распоряжениями? Если бы ты знала, как у меня сжимается сердце. Я знаю, что надо начать жить по-новому. И не могу себе представить, как свести счета за месяц. Сколько раз твой отец просил меня об этом, начинал мне тетради, показывал, пытался помочь, а я только хохотала и вырывала листы из заведенных тетрадей. И ничего я не умею.

— Я буду помогать вам, дорогая. Да и Дория не оставит вас, пока не обучит всему. — Алиса помогла матери расчесать ее густые прекрасные волосы, такие теперь серые вместо прежнего огня бронзы, и, заглянув матери в глаза, сказала: — Если вы любите сейчас папу, мамочка, то вы непременно все сумеете. Ведь не только для Дженни, но и для

спокойствия папы вам надо в работе найти оправдание перед ним. Мы вместе будем трудиться. Сейчас мне надо идти играть. Я знаю, что скоро вернется Дория, которая сейчас сводит счета с экономкой. Попробуйте прислушаться к их труду, а может быть, вам это и не покажется трудным.

Поцеловав мать, Алиса спустилась вниз. Леди Катарина все же не решилась вмешаться в труд Дории без ее приглашения. Да и чувствовала она себя такой слабой, что с трудом дошла до кресла. В первый раз в жизни она подумала, что, кроме пустых романов на родном языке, она ничего не читала, что даже и на родном языке она не очень-то грамотна, а по-английски пишет с грубыми ошибками. Она подошла к полке с книгами и взяла первый попавшийся ей том Шекспира. Открыв «Гамлета», которого она, к стыду своему, никогда не читала, она принялась за чтение, поджидая Дорию.

Между тем, в кабинете лорда Бенедикта шел разговор между самим хозяином, его вновь прибывшими друзьями и Анандой. О чем именно шел разговор, никто из обитателей дома не знал. Через некоторое время лорд Бенедикт позвонил и приказал вошедшему слуге позвать Николая и Дорию. Когда они оба вошли в кабинет, они увидели, что все собравшиеся там были в длинных белых одеждах, похожих на индусское одеяние.

— Мой друг, — обратился сэр Уоми к Николаю. — Я видел Али и привез тебе от него письмо и этот хитон. Он просит тебя выполнить все его указания, которые ты найдешь в письме, а также принять в свой дом в Америке одного из его друзей, которого ты несколько знаешь. Помнишь ли ты того немого, который жил в горах, где ты впервые встретил Али? Речь идет о нем.

— Я не только прекрасно помню молчаливого, любезного хозяина сакли, но до сих пор помню впечатление, оставленное им у меня. Мне чудилось, что молчальник не был нем, так продолжаю я думать и сейчас. Но это все равно, в каком бы виде ни желал Али поселить его в моем доме, радость Наль и моя будет огромна, и все, что пошлет нам жизнь, мы разделим с ним. Одно только — и это известно вам, сэр Уоми — ни у меня, ни у Наль нет ничего. Мы в доме нашего друга и отца Флорентийца пришельцы. Но все, что нам дается в этом доме, мы все разделим с гостем Али.

— Считай, Николай, что в Америке я буду твоим гостем, — сказал Флорентиец. — И разговаривай как хозяин и глава.

— Можешь ли ты, — продолжал сэр Уоми, — дать приют не только немому, который теперь отлично научился говорить, но и помочь целой группе людей, которая вместе с ним приедет к тебе от Али? Желаешь ли ты, в смысле личной твоей помощи, помочь им организовать маленькое ядро, отделение твоей будущей общины? Желаешь ли ты стать во главе этих людей и приготовить нечто вроде небольшого культурного поселка, куда через шесть-семь лет могли бы приехать уже в большом количестве люди? Обдумай ответ. Надо приготовить такую высококультурную ячейку, где бы приехавшие вновь люди нашли сразу возможность влиться в коммунальное начало, в раскрепощение от давящей дух собственности. И где труд над обработкой земли был бы облегчен до максимума. Чтобы каждый из членов твоей новой общины мог свободно работать в той профессии, которую выберет себе по любви к этой форме труда, отдавая минимум времени для труда на содержание общины.

— Если бы я думал много часов, я не мог бы придумать слов, в которые вылилась бы моя радость от этого предложения, сэр Уоми. Одно могло бы меня смущать: если бы я был менее смиренным и колебался в моей верности Али, я думал бы, достоин ли я этой чести. Но я знаю, что иду так, как видит и ведет меня мой Учитель.

— У меня также будет к тебе просьба, — сказал князь Санжер. — Я хотел бы теперь же послать с тобой двух учеников, высокообразованных инженеров-механиков. Я дал им большое задание для технической разработки новых летательных машин. Ты сам крупный математик, так что в этой части они будут обеспечены помощью. Я просил бы тебя, если ты захочешь мне помочь, создать им все условия для научной работы, а через несколько времени я пришлю к тебе еще партию рабочих, которых тоже прошу принять в члены твоей новой общины. И сам я через год-другой приеду к тебе на некоторое время, так как очень интересуюсь будущим развитием механики в этой области.

— Вообще, Николай, если ты не отказываешься взять на себя эту нелегкую задачу организации уголка жизни на новых началах, на новом понимании, что такое «воспитанный человек», как говорит об этом твой последний труд, то Флорентиец, едущий с вами, тебе во всем поможет, — снова сказал сэр Уоми. — Чтобы организовать музыкальную сторону жизни, у тебя будет Алиса, а для целей воспитательных тебе будет ревностным помощником Наль. Через некоторое время к тебе приедут Сандра и Амедей, которому придется изучать строительное дело. Сандра же, со своей всепоглощающей памятью, изучит в короткое время все, что будет необходимо для агрономии. Сейчас они с тобой не поедут, так как на первых порах ты должен иметь в каждом человеке абсолютно выдержанных людей и опредeнную трудящуюся единицу. Это пока все, что я могу тебе сказать. Далее Али будет сноситься непосредственно с тобой и Флорентийцем. Он решил подойти очень близко к этому делу и будет уделять тебе столько времени и забот, сколько ты будешь в них нуждаться. Что же касается выбора места и времени, когда ты сможешь принять людей, о которых я и Санжер тебя просили, это уже твое и твоего помощника Флорентийца дело. Но помни, друг, что именно ты должен стать главою нового дела и взять на себя всю ответственность за него.

Сэр Уоми подал Николаю два объемистых письма, с крупным, четким почерком, в котором он сейчас же узнал дорогой ему почерк Али, и два больших пакета, один из которых предназначался для Наль.

— Теперь, друг Дория, дело пойдет о тебе, — сказал князь Санжер. — Твое бескорыстие и деятельная энергия всего последнего времени, без всяких твоих просьб и настаиваний, как ты любила это делать прежде, убедили нас, что

для тебя настало время действовать в большем масштабе. Тебе дается поручение, оставаясь подле Ананды, выполнить самостоятельно несколько дел в борьбе с Браццано и его сподвижниками. Браццано, не имея понятия, чье имя скрыто за псевдонимом Бенедикт, решил, что здесь не нужны большие силы, и прислал тех, кто мог ему служить для обольщения пасторши и Дженни. Зная хорошо леди мать, Браццано от нее выведал все, что ему было нужно, об ее дочерях. Но расчет его был сделан легкомысленно, в чем убедились все, им сюда присланные. Мы уедем отсюда лишь после того, как проводим Флорентийца и всех, кого он решит с собой взять. Ты же останешься с Анандой здесь, и на твоем попечении останется пасторша. Я знаю, как тебе будет трудна эта ноша, колебания и страх которой будут тебе все время мешать и нарушать в тебе самой устойчивость и гармонию. Но, видишь ли, нет такого места во вселенной, где мог бы уединиться человек, желающий жить для общего блага. Нельзя спрятаться от суеты и страстей встречающихся людей. Нельзя искать личного успокоения и мира в какой-либо внешней отъединенности и тишине. Но должно и можно так стойко стоять среди бурь толпы, приходящих к тебе, можно так ясно видеть всегда и в каждом единственную силу — *жизнь*, чтобы гармония твоя не нарушалась. Этого достигает человек тогда, когда интересы его поднялись выше его собственной личности, когда он не живет иначе, как влившись каждым дыханием в жизнь вселенной. Закаляйся подле пасторши, которая своей скорбью, суетой, слезами и постоянным качанием маятника вверх и вниз стоит

целой толпы. Не думай, как мелки или ужасны ее переживания, а думай только, как тебе научиться такой стойкости, чтобы и она утихала подле тебя.

Ласковость, какая-то особенная величавая вежливость исходила от всей фигуры Санжера. Он посмотрел на Дорию, еще раз ласково ей улыбнулся и продолжал:

— Теперь, когда ты, друг, на опыте поняла, как тяжело ложится нарушенный учеником обет на его водителя, ты останешься подле Ананды, чтобы стать для него в его деле тем верным помощником, на которого он сможет положиться как на точного и немедленного исполнителя его указаний. Будь мужественна до конца. Не все время ты должна быть неотлучно при Ананде. Ученик в наибольшей степени помогает Учителю не тогда, когда живет и действует подле него, в непосредственном общении и физической близости. А тогда, когда он созрел к полному самообладанию и может быть послан один в гущу людей, в толщу их страстей и скорбей. И в эти периоды разлуки с Анандой ты, не обладающая ни сверхсознательным слухом, ни зрением, всегда будешь иметь весть от своего Учителя, весть точную, переданную непосредственно от него. Ты смотришь удивленно, и все твое существо выражает один вопрос: «Как?» Более чем просто. Нужно — и муравей гонцом будет. Никогда не обращай внимания на то, *кто* подал тебе весть. Всецело разбирайся в том, *какая* пришла к тебе весть. Первая из задач твоего самовоспитания сейчас — гнать от себя тоску, иногда тебя посещающую. Гони ее, не умом понимая, что в ней нет творчества и что ты заражаешь для каждого встречного весь тот день, в который он встретился с тобой и неизбежно проглотил частицу волнения и подавленности из твоей атмосферы. Гони ее любя, понимай, какая огромная сила льется из тебя, если в чаше сердца твоего не застряла ни одна соринка скорби людской и *ты* их вылила в чашу Ананды. Только если *в твоем* сердце мир и тишина — только тогда сможешь перебросить все собранное за день человеческое горе в чашу Учителя. Только *в этом* случае *твой* огонь Вечного не зачадит и не мигнет, заваленный страстями людей. Не мигнет, а соприкоснется с пламенем Ананды, и его доброта освежит страдающих и пошлет им помощь. Вбирая в себя мутную волну земного дня, проходи его в наибольшей простоте, в наибольшем мире. Старайся не поддаваться влиянию предрассудков сострадания, требующего сочувственных слез, поцелуев, объятий. Но живи в истинном сострадании, то есть стой в мужестве и бесстрашии и неси огонь сердца так легко и просто, как идет каждый, имеющий *знание вечной жизни и ее движения*. Тогда поклон твой огню встречного будет непрерывным током в тебе труда Ананды.

Обняв Дорию, князь Санжер увел ее в свои комнаты. Ананда вышел с Николаем, чтобы переговорить с Алисой о вечерней музыке.

Лорд Бенедикт и сэр Уоми вызвали к себе Сандру и Амедея.

Глава 18

Вечер у лорда Бенедикта. Свадьба Лизы и капитана

Наконец-то дождалась Лиза того мгновения, когда можно было уединиться в своей комнате под предлогом отдохнуть и поупражняться на скрипке. Весь день графиня волновалась, спорила с мужем и дочерью о всяких пустяках предстоящей завтра свадьбы Лизы. Лиза хотела венчаться в платье, подаренном ей Флорентийцем, не хотела ни установленной веками фаты, ни цветов флердоранжа. Граф, убедившись, что ему не придется праздновать свадьбы дочери с шумом и блеском, склонился к наибольшей простоте и соглашался с Лизой. Но мать, для которой во всем поведении Лизы было так много неожиданного и непонятного, расстраивалась, повторяла много раз: «Все не по-людски» — и требовала, чтобы был соблюден весь внешний декорум. Для чего же затратили тысячу рублей на подвенечное платье? Для чего везли сюда драгоценное кружево, фату прабабушки? Видя, что каждую минуту может разразиться сцена, угадывая ее внутреннюю причину, Лиза улыбнулась матери, говоря:

— Меньше всего, мама-подруга, я хотела бы огорчить тебя в последний день нашей совместной жизни. Если тебе будет приятно видеть меня снежным комом — я рада им быть эти несколько часов моего венчания.

Успокоив обоих родителей, она ушла к себе, сказав, что сегодня она непременно наденет платье лорда Бенедикта, к которому питает особое пристрастие. Спорить об этом — по тону Лизы мать поняла — было бесполезно. Оставшись одна, графиня снова стала думать о тысяче вопросов, которые все сводились к одной мысли: как же она воспитала дочь, если могло случиться то, что теперь произошло? Чья же здесь вина? Насколько глубока ее вина? И есть ли вина, если она загладится так скоро, завтра, церковью?

Одеваясь в одно из своих лучших платьев, графиня не могла не заметить, что сегодня она была особенно моложава, что волосы ее легли легкими волнами, что парижское платье обрисовывает по-новому ее прекрасно сохранившуюся фигуру. «Скоро и всему конец. Скоро вообще уже не придется одеваться и выбирать туалетов себе и дочери». Ее мысли сделали какой-то вольт, пробежали по семье лорда Бенедикта и вернулись к собственной семье. Какая огромная разница была между обеими семьями! Но в чем она? Перед духовным взором графини мелькнуло слово: «Труд». По словам самого лорда Бенедикта и Николая графиня составила себе представление, что все они постоянно чем-то заняты. Ее муж и Лиза тоже постоянно чем-то заняты. У одного было всегда большое хозяйство, которое он постоянно улучшал, но графиню хозяйство никогда не интересовало. У Лизы был божок: музыка. В ней она непрерывно совершенствовалась и иногда трудилась, как чернорабочий, как смеясь говаривала графиня. В музыке Лиза жила, по ней тосковала. Графиня же находила, что такой труд — рабство, а не наслаждение. И сейчас, все еще слыша вдали рулады Лизы, графиня стала волноваться и послала сказать дочери, что пора одеваться.

Осмотрев туалет дочери, которая вышла из своей комнаты только тогда, когда ей сказали, что приехал жених, графиня не удержалась, чтобы не сказать, что для своих лет Лиза

одета слишком «по-взрослому». На вызванный ее замечанием хохот она сначала смутилась, потом подумала рассердиться, но кончила тем, что сердечно обняла дочь и присоединилась к общему смеху. Что касается самой графини, то в этот вечер ее трудно было принять за мать Лизы. Даже Джемс был удивлен, какими чарами наградил ее туалет и что именно так изменило ее. Через несколько минут все уже сидели в карете, скрывая друг от друга свое волнение, и через двадцать пять минут пути входили в холл дома лорда Бенедикта. Едва они сбросили плащи и шали, как навстречу им вышел Николай, а вдали уже виднелась высокая фигура хозяина, шедшего им навстречу. Лорд Бенедикт, подав графине руку, провел все общество прямо в музыкальный зал, где собрались все его домашние и новые друзья.

Бывавшие во всех классах общества, привыкшие чувствовать себя везде желанными и важными гостями, здесь граф и графиня Р. чувствовали себя застенчивыми и стеснялись. Лорд Бенедикт, шутя и смеясь, знакомил их со своими вновь приехавшими друзьями. Казалось, каждый из представляемых был безукоризненно вежлив и приветлив, а у графини и ее мужа было ощущение, точно к ним заглянули в самое сердце, раскрыв его до дна и подсмотрев все затаенные мысли.

— Начнем с музыки, — обратился к Алисе и Лизе лорд Бенедикт. — Мы лучше всего познакомимся и освоимся друг с другом, когда звуки вырвут нас из условной и привычной каждому из нас манеры воспринимать всякое свидание как этикетом дозволенный ряд слов и действий. Сегодня такой важный день в жизни Лизы и Джемса, что хочется поздравить их, молодых и чистых, мужа и жену, в обстановке не шаблона. Хочется сегодня создать им род такого моста в новую жизнь, где бы духовная сила диктовала все внешнее. В этот вечер пусть музыка раскроет в каждом из нас всю любовь и доброжелательство к человеку. И всю любовь мы выльем сегодня на наших молодых новобрачных.

Графиня с удивлением взглянула на лорда Бенедикта, и щеки ее залил яркий румянец. Граф тоже был удивлен, но решил, что жених и невеста по английской моде накануне свадьбы называются мужем и женой. Лиза и Джемс тоже взглянули друг на друга, и взгляд каждого из них выражал беспредельную преданность. Они, казалось, не замечали, что составляют центр внимания всей группы, наоборот, принимали всеобщее внимание и слова хозяина как нечто естественное, от них неотъемлемое, что не может ни их стеснять, ни конфузить.

Ананда подошел к ним, взял скрипку из рук Джемса и отнес ее к роялю, где уже стояла Алиса.

— Если уж играть при вас, то можно играть только до вас, — сказала, беря инструмент в руки, Лиза. — Я еще не слыхала вашей игры, но думаю, что после вас рука моя была бы не в силах поднять смычка. — Моя и ваша песнь любви будут разны, конечно, — ответил Ананда. — Но будет в них и нечто общее: они будут торжествующими. Играйте сейчас, стоя перед вашим Буддой, — прибавил он так тихо, что слышала только одна Лиза, — и вы проникнете в ту вершину счастья, где творящий встречает Творца.

Ананда взял Джемса под руку и увел его в дальний угол комнаты, где сидел князь Санжер, и усадил капитана между собой и дядей. Лорд Бенедикт сидел тоже в отдалении от рояля, между супругами Р. Остальные члены семьи разбрелись по огромной, малоосвещенной комнате, и в круге яркого света у рояля остались две девушки. Белое платье с черными кружевами, в знак траура, на Алисе и зеленая с серебром лилий парча на Лизе, ее роскошный, сверкающий веночек на голове, ее страстное лицо и порывистые движения — как все в них было разно! Ничем не убранная голова Алисы казалась тоже сверкающей от

ореола ее волос, горевших под светом. Генри, сидевший рядом с матерью, шепнул ей: «Мама, я хорошо помню вас такой, как сейчас стоит Алиса».

Звуки скрипки и рояля сразу и неожиданно зазвенели. Никто не успел приготовиться к тому, что так неожиданно нарушится молчание. Когда графиня подняла голову и посмотрела на дочь, она едва удержала возглас. Уже несколько раз за последние дни она видела свою дочь какой-то преображенной. Мать считала, что любовь сделала Лизу почти красавицей. Но это лицо, которое она видела сейчас, — это был кто-то иной, но не ее гурзуфская Лиза. Рука, правда, все та же, Лизина прекрасная рука. Но как она водила смычком! Никогда прежде у Лизы не было этой уверенности удара, этой легкости и гибкости. Лиза сейчас играла шутя. Она жила где-то не здесь. Губы ее сжимались и внезапно раскрывались в улыбку, голова и фигура эластично распрямлялись и чуть склонялись. Нет положительно графиня никогда не видела в Лизе подобного преображения. «Да она Бога воспевает», — мелькнуло в ее уме. И в первый раз увидела мать, что дочь не божка себе сотворила из музыки, но что Бог в ней, в ее сердце, Бог всей жизни Лизы была музыка, что рядом с этим Богом не стояло ничто и никто, что без музыки немыслима сама Лиза, как немыслимы лучи без солнца. Что играла Лиза, как аккомпанировала ей Алиса — графиня не знала. Она не понимала сейчас и не воспринимала музыкальных фраз как таковых, она слышала только песнь Лизиного сердца. И мать думала, где, когда и как могла эта девочка так понять жизнь, чтобы переносить в струны крик, мольбу и раны собственного сердца. Лиза опустила скрипку. Глаза ее, как у слепой, оставались несколько мгновений устремленными в одну точку. Наконец она вздохнула, положила скрипку на рояль таким тяжелым жестом, как будто она весила пуд, и тихо сказала:

— Больше сегодня играть не могу.

Ананда подошел к ней, усадил ее на свое место и вернулся к роялю.

— Ну, Алиса, друг, теперь моя очередь, — беря виолончель, сказал он. — Не так давно я играл эти вещи в Константинополе, и там за инструментом сидела брюнетка. Кое- кто здесь ее знает, а кое-кто и игру ее слыхал. Надо отдать ей справедливость, выше нее я пианистки не знаю.

— Ты, Ананда, особенно ободряешь Алису, — рассмеялся лорд Бенедикт. — Я и без твоего введения вижу, как у Алисы трясется сердце от страха.

— О, если бы одна десятая женщин мира была так мало знакома со страхом, как Алиса, в мире не было бы места ни тьме, ни злу, — ответил Ананда. — И что еще важнее в неустрашимой Алисе, что музыкальность ее вросла во все ее существо. Гармония в ней, как строй гаммы, чиста и не может переносить фальши. Ее гармония не знает соревнования, не может расстроиться от рядом звучащих фальшивых нот. И ни один порыв, кроме чистой любви, не может в нее вмешаться. Там, где Алиса, там каждому легко, если в его страстях нет зла. Злое задохнется и не сможет причинить зла ни ей, ни втянуть ее в свой порыв. Счастливец тот, кто создаст с нею семью.

— Ну, Ананда, если ты продолжишь свою философию, то уж не розы, а, пожалуй, пионы зардеют на щеках Алисы, — раздался голос Санжера. — Вы не смущайтесь, Алиса, когда Ананда готовится играть, колесо его жизни сразу поднимает его так высоко в сферы эфира, что обычная речь и обычная жизнь перестают ему быть понятны. Он видит небо в алмазах и несет его горькой земле. Я уверен, что сегодня и вас он увлечет за собой.

Голос князя, ласковый, негромкий, но такой четкий, что во всех углах слышалось каждое слово, умолк в наставшей тишине, и раздались первые звуки рояля. Когда играла Лиза,

графиня не слышала пианистки. Она была полна только дочерью и слушала только скрипку. Теперь ее удивило, что рояль пел так радостно и так мощно. Но мысль графини внезапно прервалась, в комнате раздались новые звуки... И все встрепенулось, все вздрогнуло. То был человеческий голос, которым пела виолончель.

«Так вот что такое музыка, где творящий встречает Творца», — подумала Лиза. По лицу ее катились слезы, руки сжаты, глаза не отрывались от лица Ананды. Сидевший рядом с нею Джемс, несколько минут назад утопавший в любви, что воспевала Лиза, понимавший, казалось, что вся жизнь звенит в ее струнах, сейчас забыл, что он уже слышал музыку. Ему казалось, что он и жить только тогда начал, когда запела виолончель Ананды. Опять, как в Константинополе, он услышал всю борьбу, все страсти и скорби людей. Все слезы и жалобы земли жили в смычке Ананды. Но какая разница в их отображении была там и здесь! Здесь все покрывалось пеленой радости, утешения, умиротворения. Здесь за роялем сияли преображенные черты Алисы, почти лишенные грубого плотского понимания. Здесь мчались волны человеческого вдохновения, как и там. Но здесь песня показывала, куда может дойти человеческая сила самоотверженной любви. Там же — в ней высказывались все личные желания, все порывы страсти и мечты, где жизнь понималась как личное восприятие дня, как ценность текущего мгновения постольку, поскольку собственное «Я» в нем заинтересовано.

Все это мелькало в памяти Джемса. Он посмотрел на Флорентийца, человека его мечтаний, ставшего теперь человеком из плоти и крови. И пожалуй, увиденный человек во плоти и крови был выше всего того, что мог себе представить Джемс в своих мечтах. В данную минуту лицо Флорентийца, и всегда прекрасное, было выше всякой человеческой красоты, которую удалось Джемсу видеть за всю свою жизнь. Необычайные зеленые глаза глядели с такой лаской и состраданием перед собой, точно он посылал песни Ананды куда-то вдаль, стараясь охватить ими все большее и большее количество людей. Джемс увидел слезы Лизы,

понял все ее напряжение духа и сердца, понял, что и Лизе открылось новое понимание музыки. Графиня сидела, закрыв лицо веером, и по ее вздрагивающим плечам Джемс понял, в какую бездну заглянула графиня, считавшая до сих пор, что центр и смысл жизни — ее собственная семья. Очевидно, и для нее наступал перелом в оценке пережитой и наступающей жизни. Граф, на которого взглянул Джемс, поразил его своим видом. Лицо его было бледно, точно он был болен. Глаза смотрели, не отрываясь, на Ананду. Он был похож на подсудимого, признающего свою вину за не так прожитую жизнь. Звуки все лились, и состояние Джемса менялось. Ему представилось, что он стоит у чаши Будды, где Ананда брал его руки в свои. Ему становилось

все легче, точно с его жизни скатывалось какое-то бремя. И он понял, что в сердце его так легко и тихо потому, что больше над ним не властно ничто внешнее. В нем совершался духовный переворот. Песнь Ананды как будто вытащила его из футляра тела, где он живет временно в данную минуту, и показала ему ту жизнь его духа, его Вечности, где нет ни времени, ни пространства.

Он понял, что в тех высоких силах, о которых поет Ананда, время кончилось. И каждый *может* попадать в сферу этих высоких путей не потому, что он стал святым или совершенным, но потому, что осознал в *себе* Начало всех Начал и *может* на одно мгновение покинуть все то условное, что необходимо победить. Капитан понял, что, только победив *свое* условное, человек *может* прийти к тому пути, по которому простой человек доходит до величия Ананды, Флорентийца и других не менее, а может быть более высоко идущих и творящих людей, о которых он, капитан, ничего не знает. Ананда кончил играть, отложил виолончель в сторону, оглядел всех своими сияющими глазами и подошел к Алисе, продолжавшей сидеть у инструмента. Он поклонился ей, благодаря за

редко прекрасное сопровождение, и подал ей несколько нотных тетрадок, указывая, что он будет петь. Он точно не замечал впечатления, произведенного его игрой. Не замечал не потому, что так требовала его высшая воспитанность, но потому, что он творил сейчас не только для тех, кто его окружал, но видел кого-то еще, кого не мог видеть Джемс и все те, кто жил порывами и планами одной земли.

Ананда запел. И еще больше потянулись к нему фигуры людей. Леди Цецилия встала и обняла Генри, который тоже не мог больше сидеть. Глаза его смотрели не только на Ананду, но и на Алису. Леди же Цецилия впилась глазами в Алису. Она знала песнь, знала, что со второго куплета должна вступить Алиса, и боялась, что девушка разрушит очарование того мира, куда увел всех певец. Голос Ананды покорил в ней все мысли, в ней проснулось одно желание молиться. И каково же было ее удивление, когда она услышала переплетающимися два голоса. Она даже не сообразила, когда же вступил женский голос. Она слышала сейчас не музыкальные фразы столь знакомой ей песни, что певала в юности с братом, а только гимн счастья, гимн славословия Жизни.

И еще одно существо, невидимое гостям, слушало музыку Ананды. Услыхав вдали звуки, пасторша спустилась с лестницы и пошла на них. Она остановилась у двери в зал как раз тогда, когда стал играть Ананда. Немузыкальная от природы, ненавидевшая музыку и пение больше из постоянного раздражения на мужа, чем по существу, пасторша сейчас не понимала, что с нею творится. Ей определенно казалось, что это не звуки инструмента, а какое-то обличительное обращение лично к ней. Ей чудился в звуках повелительный приказ пересмотреть всю свою жизнь. «Дженни, Дженни, дитя мое, что же я наделала? Я ведь тебя всем сердцем любила. Всей душой хотела, чтобы ты была счастлива».

Когда же Ананда запел любимую песню пастора и голос Алисы присоединился к нему, бедная женщина опустилась на колени, уткнулась лицом в подушку дивана, чтобы заглушить свои рыдания. Вдруг чья-то рука нежно коснулась ее плеча, и по всему ее телу разлилось успокоение.

— Встаньте, друг, — сказал ей незнакомый ласковый голос. — Сядьте рядом со мной и постарайтесь вникнуть в то, что я скажу вам.

Князь Санжер помог обессиленной женщине встать, провел рукой по ее растрепавшимся волосам и усадил на диван у окна, в которое лился мерцающий свет луны. При этом свете сразу успокоившаяся леди Катарина увидела стройного человека, манеры которого и величавость говорили ей, что перед нею не только человек высшего света, но что человек этот привык повелевать и вряд ли ему можно не повиноваться. В неверном свете месяца она не могла решить, сколько было лет незнакомцу. Она понимала только одно, что он не пришел сюда ее судить, как судила ее лившаяся песня Ананды.

— О, нет, песня не судит вас. Песня зовет вас, зовет к новой жизни и энергии. Сколько бы ни жил человек, он может всегда еще и еще развиваться. Еще и еще раскрываются в нем новые силы, которых он не замечал в себе вчера и думал, что их вовсе в нем нет. Вы думаете сейчас, что вы погубили вашу дочь тогда, когда отдали ее Бонде и компании. Нет, мой друг, вы погубили ее тогда, когда зачали ее во лжи, когда родили во лжи, когда каждый день обливали раздражением ее колыбель, ее детство, ее юность и, наконец, когда свели ее с женихом, присланным вам тем, кто вас в юности обманул и бросил. Что защищало вас и Дженни от полной гибели до сих пор? Кто охранял вас каждый день от несчастья упасть туда, где вы обе очутились сейчас? Два существа: муж и Алиса. И обоих их вы презирали и мучили, как только могли, всю жизнь. Вы плачете сейчас. Вас озарило понимание красоты и любви. Песня, что так часто пели близкие вам люди, внесла сейчас в ваше сердце жажду принять участие в какой-то иной жизни. В жизни, где и вы могли бы

соединиться с людьми в сфере красоты и преданности, искупить вину перед Алисой, оставленной вам еще Жизнью.

— О, синьор, я сейчас молю Бога только о Дженни, потому что я знаю, что Алиса не может попасться на заманчивую удочку удовольствий и богатства. Алиса не потому живет у лорда Бенедикта, что он выбрал несправедливо. Но потому, что она такая добрая и кроткая, такая труженица, что ей должна была встретиться такая обстановка, где бы ее вознаградили за все. Но Дженни, Дженни! Что будет с Дженни? Неужели я не могу ей теперь помочь? Пусть все падет на меня одну. Я понимаю мой грех перед мужем. Понимаю все, что делала не так. Я хочу теперь идти к Бонде и дать ему какие угодно обещания, только пусть он отпустит Дженни.

Пасторша смотрела в ласковое лицо незнакомца, и ей показалось, что на нем мелькнула улыбка.

— Если бы вы, друг, дали тысячу обещаний Бонде, это не помогло бы сейчас ничему. Ваш Бонда, как и Браццано, бессильны были бы над Дженни, если бы в самой себе Дженни не носила тех мук ада зависти и злобы, которые жгут ее. Все, чем вы можете помочь Дженни, это ваш труд над самой собою. Каждая вспышка раздражения, которую вы победите в себе, — ваша помощь дочери. Вы хотите защитить ее. Как можете вы быть полезной ей, если не владеете сами ни одной своей мыслью так, чтобы она шла четко, ясно, цельно, до конца охватывая предмет, о котором вы думаете? Вы вообразили себе, что дочь будет спасена, если вы будете подле нее. Но чем, живя подле нее, вы ее охраните? Сотней перемен в день в вашем настроении? Сотней поцелуев и объятий? Еще сотней неразумных необдуманных слов и предложений? Вам все хочется получить совет, который был бы очень умен и, выполнив который, вы бы встали на дорогу новой жизни, новых пониманий и новых дел. Все новые дела, новые по более высокой ступени духовного совершенства в них, совершаются не от чьих-то советов, а от той новой энергии, что идет из человека. Если вы даже не можете удержаться от слез, то что же вы можете делать для пользы других? Чтобы быть полезным кому-то, нужна вся чистая воля человека и такая его любовь, где он должен забыть о себе и действовать, действовать, действовать, ясно видя перед собой только тех, для кого он хочет трудиться. Видеть же, как надо правильно действовать, могут только те глаза, что потеряли способность плакать. Каждый, кто плачет при ударах жизни, разрушает своею неустойчивостью всю атмосферу вокруг себя. Разрушить ее легко, но воссоздать спокойствие в себе и вокруг себя очень трудно. И даже тогда, когда сам плачущий уже успокоился, — он долго еще вычеркнут из списка сил, творящих день вселенной. Каждый, кто с ним встречается, попадает в разбухшее от его раздражения эфирное пространство. Не только помочь никому нельзя, если ты час назад раздражился или кого-либо раздражил, что совершенно тождественно, но человек является носителем заразы, действующей не менее молниеносно, чем чума. Поймите меня. Поймите, что надо сначала воспитать себя, научиться выдержке, и тогда уже начинать свои обязанности истинной матери. Беда ваша не в том, что вы были плохой воспитательницей. Но в том, что, когда подоспел момент выказать на деле свою любовь к Дженни, вы ни одного часа не могли провести в равновесии, совершенно так же, как прожили в неустойчивости всю жизнь. Мужайтесь сейчас. Пойдите к себе наверх и вместо того чтобы плакать от песен, прочтите эту небольшую повесть. В ней говорится о жизни двух сестер и их дочерей. Многое станет вам ясно из этой простой истории, и ко многому вы найдете в себе силы, хотя сейчас вам и кажется, что вокруг вас все безнадежно и беспросветно.

Он помог пасторше встать, угостил ее маленькой ароматной конфетой из своей коробочки-табакерки и подал ей небольшую книгу. Еле двигавшаяся от слабости леди Катарина по мере отдаления от незнакомца чувствовала на себе его твердый взгляд и

ощущала его ласку. Конфета таяла у нее во рту, шаги ее становились тверже, а когда она вошла в свою комнату, из которой вышла час назад совершенной развалиной, ей показалось, что она совершила большое и радостное путешествие, которое ее вылечило. Обновленная, она села читать книгу, оказавшуюся итальянской.

Тем временем внизу продолжал петь Ананда. Теперь он пел один, песню за песней. И чем дальше он пел, тем светлее и счастливее становились лица слушателей. Слезы на их лицах исчезли, из всех углов на певца были устремлены глаза, в восторге внимавших ему людей. Почти все уже стояли на ногах, кое-кто придвинулся к певцу. Только по бледным щекам Генри все еще катились слезы. Юноша вновь переживал свой разрыв с Анандой и не мог найти себе извинений в неразумном поведении. Его лицо выражало муку и тоску о предстоящей ему разлуке с певцом, которого он обожал. Когда же Ананда запел по-русски и зазвучали дивные слова:

Я только странник на земле. Среди труда, борьбы и боли Избранник я счастливой доли:
Моей святыне, красоте, Пою я песнь любви и воли, —

граф и графиня, Лиза и Джемс, а за ними все остальные, знавшие и не знавшие этот язык, собрались тесным кругом возле певца.

Последняя нота замерла, водворилась тишина, точно в храме, и каждый боялся нарушить благоговейное молчание другого.

— Благодарю, Ананда, — подходя к певцу и обнимая его, сказал лорд Бенедикт. — Ты унес нас из всех привычных ограничивающих рамок своими песнями. Каждый из нас увидел яснее путь труда на благо людей. Кого еще вчера не занимали мысли об общем благе и труде для него — тот сегодня распахал в себе новое поле духа. Каждый из нас благодаря тебе почувствовал, как много в жизни он еще не доделал, как много времени потерял даром. И ни один из нас не уйдет отсюда, не дав себе слова впредь не терять ни мгновения в пустоте.

— О, Флорентиец, когда ты говоришь: «мы» и ставишь себя на одну равную ступень с нами — хочется не петь, но кричать и прыгать от счастья. Только по бесконечной своей доброте ты забываешь, что никто из нас не может принести на твой алтарь ничего, кроме благодарности, ничего, чем бы он мог вдохновить тебя. Ты же, вышедший из рядов обычных людей, поднявшийся выше всего того, что может постичь простой человек, ты остался таким же добрым и милосердным, каким был в те далекие времена, когда начинал свой путь Света. Если все те, кто сейчас стоит вокруг тебя, смогут унести сегодня крупицу радости от моих песен — они будут обязаны ею тебе. Ты был той первой вестью новой жизни, новых пониманий и нового Света на пути, которая увлекла меня красотой. Ты подал мне свою могучую великую руку и раскрыл передо мной Свет Вечности. Я возвращаю тебе стократ твое слово благодарности, Учитель.

Из всех присутствовавших в комнате только несколько лиц поняли смысл слов Ананды. По лицам остальных было видно, что они считали обмен фразами хозяина и гостя как бы неизбежным этикетом восточной вежливости. Графиня, благодаря певца, сказала ему:

— Все, что я поняла сегодня, — это то, что я вовсе не понимала, какую великую ценность представляет из себя человек и чего он может достигнуть, если всецело, до конца отдаст свою жизнь чему-либо одному. Свою жизнь я прожила в постоянных компромиссах и теперь вижу, что именно поэтому ничего не достигла.

— А я, — сказал граф, — пережил за эти часы не одну, а несколько жизней. Мне казалось, что я странствую за вашим голосом по всем землям и народам. И всюду вижу их неудовлетворенность. И я вспоминал сто раз слова моего отца: «Однажды ты пожалеешь, что так бездеятельно прожил свою жизнь». Вот это «однажды» совершилось сегодня. Мало того, я исцелился от постоянных забот о величии своей персоны. Я понял, что пришел на землю и уйду с нее голым. Я обещаю, глядя в ваши глаза, начать трудиться для моего народа, как и чем сумею.

— Мне не выразить вам словами, как это сделал папа, всего того, что мне открылось через вашу музыку и песни, — сказала рядом с отцом стоявшая Лиза. — Но с этой минуты я знаю одно: можно всяким путем открыть человеку, что он живет не на одной земле. Кто поет так, как вы, тот ведет людей так же мощно, как Будда или иной святой. Не знаю, понятно ли я выражаюсь, слов у меня не хватает. Но вся моя жизнь, до ваших песен сегодня и после них, — для меня рубикон.

Каждый из присутствующих благодарил Ананду на свой лад, и каждый стремился объяснить, как стал он богат от песен. Один Генри шепнул: — Все стали богаты, один я стал еще более нищ. Я все потерял сегодня, так как понял, что вернуться к вам сейчас не могу, а разлука с вами для меня более чем нищета.

— Бедный мой мальчик, — ответил ему Ананда, отводя его немного в сторону, — ты все так же остаешься настойчивым в своих желаниях. Каждое из твоих страстных желаний возбуждает весь твой организм, выводит тебя из равновесия, и ты ничего не видишь ясно из того, чем ты окружен. Давно ли ты сознавал, что тебя спас Флорентиец. Давно ли ты убедился, что только его духовная мощь могла вытащить тебя из мешка смятения и тоски, в который ты себя засадил. Разве все эти уроки ничему тебя не научили? Неужели расточаемая тебе любовь не вызвала в тебе ответной благодарности?

— О, Ананда, вы слишком плохо обо мне думаете. Я не только ценю и преклоняюсь перед Флорентийцем, не только благодарен ему. Я знаю, что, быть может, только подле него одного я смогу найти силы, чтобы стать вас достойным. Я благоговею перед мудростью Флорентийца, но мое счастье, единственное, которого желаю в жизни, — быть подле вас. Все силы и время, прожитое в разлуке с вами, я употреблю на выработку самообладания. Я знаю, что у каждого человека свои препятствия и задачи воплощения. Я хорошо понимаю теперь, что мне ничто не откроется, пока мой характер не станет ровным, пока я сам не сброшу с себя угрюмости. Ах, если бы я мог стать таким же веселым смельчаком, как Левушка!

Их разговор прервал хозяин, предложивший всем пройти в столовую. Вечер закончился легким ужином, который пролетел для гостей как одна минута. Князь Санжер и сэр Уоми поражали семейство Р. своими познаниями и путешествиями. Граф и капитан, которым казалось, что они видели необычайно много стран, народов и их обычаев, почувствовали, что они ничего не знают, когда сэр Уоми стал рассказывать об Индии, ее таинственных, заветных уголках и религиозных сектах. О народах ее, не покидавших мысли о свободе.

Остроумнейший юмор князя Санжера, его тончайшие наблюдения над человеком, его разнообразнейшие характеристики и особенности, подмеченные в самых разнообразных народах, познания в науке и технике заставили всех смеяться и задуматься, как в одной голове могла умещаться такая универсальная образованность. Никому не хотелось уходить из этого дома, где каждый получил сегодня столько за один вечер. Пришлось самому хозяину напомнить, что завтра уже началось, а в двенадцать часов будет свадьба Лизы в русской церкви.

С трудом отрываясь от семьи лорда Бенедикта и всех его пленительных друзей, графы Р. и капитан уехали домой. И снова четыре самых близких друг другу человека сидели в карете, и никто из них не произнес ни одного слова, возвращаясь в отель. Только прощаясь, графиня сказала:

— Спасибо, Джемс. Сегодня я нашла разгадку, что такое жизнь. Ваши друзья без слов доказали мне, что я уже выполнила свою роль подле дочери. Дальше пока я не могу быть ей полезна. Поезжайте путешествовать одни. Лиза — ваша теперь. Я не сомневаюсь, что вы будете ей отличным другом и учителем в ее новой жизни, а ваши друзья не оставят вас обоих.

Сердечно обняв Джемса, она быстро прошла в свою комнату, чтобы скрыть набегавшие слезы. Графине хотелось остаться одной, чтобы разобраться хоть немного в сумбуре своих переживаний, но Лиза не дала ей сосредоточиться на себе одной.

— Мамочка, моя любимая подруга, не плачь эту ночь, последнюю ночь, пока мы еще вместе. Мы только что видели настоящих людей. Можешь ли ты себе представить, чтобы кто-нибудь из них плакал, расставаясь? Наша с тобой разлука будет так коротка. И каждой из нас так много надо сделать до нового свидания. Пойдем ко мне. Помоги мне сама снять мое платье, как ты иногда это делаешь. И вернемся сюда к папе, он так был печален, когда мы ехали домой.

— Я не печален, дитя, — входя сказал граф, слышавший слова дочери. — Я очень решителен. Все, что я еще успею, я сделаю, чтобы не упрекнуть себя, что я прожил зря, не быв никому полезен. Я предлагаю тебе, моя дорогая девочка, пойди одна к себе и ляг скорее спать. Нехорошо, если завтра ты не будешь свежее розы. Засни крепко, будь мужественна, входя в новый круг жизни, и предоставь нам с мамой провести вместе эту решающую многое в нашей жизни ночь. Нам уже не раз в жизни приходилось находить помощь и утешение друг в друге. От всей души желаю тебе найти в муже истинную и долговечную дружбу. Мало, деточка, в браке любить мужа и семью. Нужны еще огромный такт и радость, чтобы не быть никому в тягость своей любовью и требовательностью за эту любовь.

Он обнял дочь, проводил ее до ее комнаты, поцеловал обе ее руки и вернулся к жене.

— Утро вечера мудренее, дорогая. Выпей микстуры, и попробуем мирно заснуть. Давай думать сейчас и до самого момента разлуки с Лизой только о ее счастье, о ее жизни и радости. Если и для тебя вопрос о возвращении в Гурзуф решен — мы поедем туда не в могилу, не доживать бесполезную жизнь. Но поедем счастливые, от многого освободясь, и начнем трудиться для чужих детей. Ты давно хотела завести ясли. Я все собирался выстроить больницу. Теперь попробуем оба перенести мечты в дело. — Несколькими словами ласки и шутливыми замечаниями граф привел в равновесие свою усталую и тоскующую жену. Вскоре их комнаты погрузились во мрак, но как спали эти три сердца, сросшиеся в долгой совместной жизни, и спали ли они — о том знали их подушки.

Пытки разлуки терзали сердце каждого из них, хотя безнадежности ни в одном из них не было. Если бы, оставшись одни, старые супруги хотели объяснить самим себе, что произошло в сердце каждого из них и почему там утихла несносная, мутная, похожая на зубную боль, то ни один из них сказать ничего не мог бы.

Графиня, считавшая, что возврат в Гурзуф без дочери — это обречение на смерть, вдруг стала радостно думать, как она заведет ясли, определяла для них место, мечтала о саде и цветниках. Дочь стала не больным ее местом, а только одним из главных слагаемых красоты жизни. Каким образом, когда именно начался и произошел в ее мыслях

переворот, она не отдавала себе отчета. Она только точно знала, что лорд Бенедикт, его пример постоянной деятельности, забот и внимания к людям открыл ей ее инертность и постоянные мысли о себе одной и своих близких. В ней проснулось новое желание найти что-либо глубокое и общее с теми интересами, которыми жил этот человек. Ей захотелось теперь трудиться, и трудиться бескорыстно для других, чтобы завоевать его внимание и дружбу, которыми она начинала дорожить.

У графа стало спокойнее на сердце с того самого мгновения, как он прочел письмо отца. Он сразу решил возвратиться в Гурзуф и предоставить дочери свободу складывать самостоятельно свою жизнь. И чем больше он наблюдал и слушал лорда Бенедикта и его друзей, тем больше удивлялся. За долгую жизнь с отцом, которого очень любил и уважал, он многое, очень многое вспоминал теперь из слов отца. Иногда лорд Бенедикт высказывал мысли, которые не раз и не два, а неоднократно подавал ему отец. Но тогда, когда говорил отец — говорил и поступал, как говорил, — графу казалось, что отец его единственный чудак в своем роде. А теперь, когда те же мысли граф нет-нет да улавливал в речах лорда Бенедикта, — он видел для себя обязательную программу живой деятельности.

Ему уже не терпелось как можно скорее возвратиться домой, не теряя времени попусту. Так еще недавно казалось столь важным завоевание светских связей, а сейчас стало важнее всего поскорее построить больницу, чтобы внести от себя маленькую лепту для облегчения людских страданий.

В этом настроении и желании трудиться на общее благо встали оба супруга, примиренные, спокойные, почти счастливые. И первый взгляд, которым они обменялись, сказал им утром, что лица их постарели, но души помолодели, и они нашли друг в друге то, чего не находили до сих пор: друга и товарища по труду.

Оба почувствовали, что связь их стала крепче, что верность друг другу выросла. Всю жизнь оба видели звено своей взаимной связи только в дочери. Казалось, исчезни дочь — и все погибло. Сейчас дочь уходила, а связь только начиналась.

Легко встала графиня и пошла будить дочь. Но Лиза уже сидела у окна, и лицо ее было печально. Вошедшая с улыбкой мать, поглядев пристально на дочь, сказала:

— Посмотри на меня, дочурка. Разве так выглядят несчастные матери, оплакивающие покидающую их дочь? Я совершенно спокойна. Я радостно провожаю тебя в новую жизнь. Не буду тебе говорить сейчас, почему во мне произошел такой переворот. Когда ты вернешься в Гурзуф погостить к нам — я тебе все расскажу, а может быть, поймешь и без слов. Знай только: тебе нечего разрываться в своей любви надвое. Смело иди за мужем и завоевывай себе вселенную, чаруя всех игрой. Тебе есть у кого учиться и жить, и играть. Мы же с папой оба поняли, что нам надо учиться жить в своем родном Гурзуфе по-новому. Пойдем, моя дорогая детка, выпьем в последний раз кофе, и надо спешить одеваться.

Лицо Лизы просветлело и, как всегда в минуты счастья, необычайно похорошело. Легко прошел завтрак, которого она так боялась, и еще легче, даже весело, началось одевание к венцу.

Граф не допустил парикмахера к дочери и сам убрал ее голову. Обладая неизвестно откуда взявшимся парикмахерским талантом, граф всю жизнь сам причесывал жену, когда хотел, чтобы она была особенно хороша и элегантна.

Голова Лизы, убранная его руками в драгоценнейшую фату и не виданные им никогда белые цветы, присланные Джемсом, была чудом изящества.

— Где мог взять Джемс нечто подобное? — говорил он, прикладывая цветы. — Это, несомненно, цветы живые, но, пожалуй, он за ними ездил на луну, — бормотал он, осматривая дочь. — Почему же ты, жена, не говоришь, что все не по-людски? Ведь это не невестин веночек из флердоранжа, а нечто из воздуха и света.

За обсуждением этого вопроса застал их лорд Бенедикт, воскликнув:

— Как, графиня, вы еще не одеты? Простите, Джемс мне сказал, что по русскому обычаю невесту в церковь везет посаженый отец. Вот я и приехал за моей названой дочерью. Шафера, подруги и жених уже отправились в церковь.

Переконфуженные графиня в халате и граф в блузе, которую он надел для исполнения своих парикмахерских обязанностей, убежали смеясь к себе, уверяя, что будут готовы в одну минуту.

Оставшись вдвоем с невестой, лорд Бенедикт подвел ее к окну и, указывая на шумливую толпу сновавших взад и вперед людей и экипажей, сказал:

— Вот, Лиза, море жизней человеческих, среди которого вы поплывете. Путь искусства один из самых трудных на земле. Немногие в силах очистить так свои души, чтобы увидеть в себе того Бога, которого они должны перелить как творческий огонь в то, что делают. Ремесленники всегда ищут обвинить кого-то в своих неудачах. Истинный художник понимает свои удачи и неудачи как уроки собственного развития. Он понимает, что все удачи, похвалы и слава не могли помочь ему перенести на землю те великие образы, звуки и краски, что он видел и слышал в своих мечтах. Лично ваш путь создан для людей, для толпы, всегда среди суеты. Весь ваш путь пройдет во всегдашней суете, и она для вас всегда и везде найдется. Не ищите мест уединения и отдохновения. Не думайте, что дух художника-мыслителя — а истинный художник всегда таков — зависит от его физического или материального благополучия. Не соки тела и земных благ питают дух творящего. Только проникая в великую тайну Любви, можно постичь человеку, как раскрывается в его духе тот или иной аспект этой Любви, в нем живущей. Любовь — пламя. Чем больше отдал — тем ярче и выше пламя. Любовь не угасает в человеке-творце. Но чтобы понять, *что* такое *любовь*, надо до конца любить вам то искусство, которому вы служите. Тогда только, когда забыл о себе и отдался ему, — только тогда художник может понять, в чем черпают люди-творцы свои силы. Тогда только человек переступает грань ремесла и проникает в подлинное творчество, в интуицию. Велико счастье такого человека. Он не из земли пьет свои силы для труда, а, обновясь в труде вдохновения, принимает участие в делах и скорбях земли. Запомните эту нашу беседу. И каждый раз, когда будете творить и учиться, — учитесь отдавать текущей минуте труда весь свой дух, все свое сердце, всю любовь. Если будут моменты, когда не сможете играть так, чтобы бросать звуки в чистую чашу Будды, — отложите труд до того мгновения, когда придете в равновесие. Но если будете думать, что равновесие человека зависит от внешних причин, — никогда не двинетесь к творчеству. Чтобы найти к нему путь, надо найти путь к раскрепощению себя от страстей и авторитетов. А чтобы выработать этот путь, найдя его — надо выработать самообладание. Ищите полного самообладания и дойдете до новой встречи со мной, о которой мечтаете.

Вошли родители, и через несколько минут лорд Бенедикт вез в своей карете невесту к венцу, а сзади — нарушая древний русский обычай — ехали отец и мать. Неожиданно для графа, заказавшего только освещение и убранство церкви, вся лестница, вестибюль и внешний фасад здания оказались разукрашенными роскошными гирляндами и кадками цветов и деревьев.

У входа в церковь, куда ввел Лизу лорд Бенедикт, встретил ее Джемс и повел к алтарю.

Кроме родных Джемса и ближайших его и графа друзей, а также семьи лорда Бенедикта, никто не был приглашен, но церковь оказалась полна народа. Многие из светских людей полюбопытствовали взглянуть на свадьбу, которая, очевидно, по новой моде, совершалась без особых приглашений. Кое-кто знал об участии лорда Бенедикта в церемонии и, желая увидеть его поближе, явился на бракосочетание, иные же просто рады были поглазеть на даровое зрелище.

Когда лорд Бенедикт вел невесту — ее туалет вызывал всеобщее восхищение. Но переводя взоры на жениха, за которого все его принимали, люди не могли удержаться от замечаний:

— Бог мой, вот так жених! Да он малютку на ладони унесет! Батюшки, где это откопали русские такого красавца!

Возгласы сыпались на мнимого жениха со всех сторон, и искорки юмора в его глазах одни только выдавали, что он их понимает.

Лиза была как в чаду. Ее тонкая, узкая рука, лежавшая на руке посаженого отца, дрожала первый раз в жизни. Ей казалось, что лорд Бенедикт ведет ее в какое-то недосягаемое величие, что это величие вмешалось в ее простую жизнь именно через него и ведет он ее именно для того, чтобы вывести ее на тот путь, о котором говорил ей у окна.

Лиза точно неслась вверх. Она забыла, куда, для чего приехала, и опомнилась только на верхней площадке, когда Флорентиец, взяв ее левую руку своей левой рукой, слегка пожал ее и шепнул:

— Будь целомудренной женой и неси ту жизнь, что бьется в тебе в этот час, как самый святой залог верности мужу и семье. Не пытка и не сети семья. Но место твоего служения миру. Иди, моя рука с тобою. Прими жену, — уступая место Джемсу, сказал ему тихо Флорентиец. — И веди ее так же свято, как вел корабль свой в страшную ночь бури на Черном море. Там рука моя спасла всех, доверивших тебе свои жизни. Будь так же чист в семье, и рука моя будет всегда с тобою.

Обряд совершался, певчие, собранные стараниями подружек и шаферов, пели, а Лизу все не покидало чувство отрешенности от земли и пребывания где-то в мире грез, как часто бывало в детстве и в моменты ее игры.

Лиза опомнилась оттого, что кто-то властно сжал ее руку, и увидела перед собой чудесное лицо дяди Ананды — князя Санжера. Он улыбался ей, поздравляя:

— Мужество в жене и ее спокойствие — это два качества, на которых зиждется семья. Найдя их, вы сможете сделать счастливыми всех, кто войдет в ваш дом. Возвратясь из церкви, поищите у ног Будды мой вам привет.

Сэр Уоми подал Лизе маленький футляр.

— Это мой привет вашему первенцу. Я рад поздравить вас обоих в эту минуту. Чем яснее будут вам недостатки друг друга, тем священнее берегите каждый в своем сердце тот прекрасный портрет друг друга, что там запечатлен сегодня. Стремитесь в жизни не поправлять друг друга, а воспитать в себе такую деликатность и выдержку, чтобы не показать другому, как тяжел его недостаток.

Потянулась вереница поздравлений, которых Лиза уже не понимала. Она шла за Джемсом, увлекавшим ее к выходу, и наконец очутилась с ним вдвоем в карете. В правой руке Лизы был букет из таких же цветов, какие были приколоты к ее фате. Поздравляя ее, букет ей

подал Ананда, и в его петлице, и в руках подружек, и в петлицах шаферов и жениха — у всех были те же цветы. Левую руку Лизы крепко охватывала рука жениха.

— Мы с тобой, жена, сейчас точно на выставке. Все прохожие глазеют на нас. Впереди едут лорд Бенедикт и его красавцы-друзья, сзади красавицы-подружки и шаферы, и поневоле всем хочется взглянуть на ту невесту, которую сопровождает такой кортеж красоты. Ах, если бы мы с тобой, малютка жена, сумели не забыть на всю нашу жизнь, что нас вывела из церкви не только физическая, ни с чем не сравнимая красота, но и та духовная мощь, которая росла из самых простых, обычных человеческих сердец. И дошла до той высоты, что стала уже у грани сверхчеловеческого. В эту самую минуту дадим перед лицом этих людей друг другу один обет: каждое утро мы будем встречаться у ног, у чаши твоего любимого Мудреца, давая ему обет взаимной верности его заветам пощады и милосердия. Будем стараться жить наши серые дни, неся Его мир в сердце. И, кончая день, будем снова заходить к Нему, чтобы дать себе отчет, как мы прожили свой день. Никогда не ляжем спать в недовольстве друг другом или кем-либо. И будем уходить от нашего Мудреца только тогда, когда найдем в сердце Его всепрощающую любовь, чтобы заснуть в мире, в мудрости понимания, прожили мы день правдиво или нет, чистыми были наши сердца или нет. И если мы обидели кого-то, потому что не сумели удержать горького, ранящего слова, то постараемся приготовиться к следующему дню так, чтобы доставить побольше радости людям.

Карета остановилась у маленького дома новобрачных, где все спутники свадебного кортежа выстроились в две шеренги и, смеясь и шутя, забрасывали молодых цветами, пока они проходили через холл собственного дома.

Увлеченные друг другом, молодые Ретедли не заметили, как их по дороге обогнали экипажи, как они очутились в хвосте кортежа, а потому их удивлению не было конца. Под сыплющийся град цветов молодые дошли до столовой, где у их приборов им бросили по цветку Ананда и лорд Бенедикт, опустившиеся тут же рядом с ними на красивые старинные стулья, откопанные Джемсом где-то на чердаке. В самом конце обеда лорд Бенедикт предложил молодым поехать в его деревню и провести там последние три дня отпуска Джемса. Так как молодые были в восторге от его предложения, то пришлось им спешно переодеваться в простые костюмы и ехать на вокзал.

Всей большой компанией, к огромному неудовольствию родных Джемса, которым не только не удалось играть какой-либо роли во время церемонии и обеда, но даже и дома капитана они не могли осмотреть, молодых проводили на вокзал, и вскоре их счастливые лица скрылись в тумане. Когда замолк стук колес, говор и свистки, графиня почувствовала, что в сердце ее пусто. Слезы покатились градом, застилая перед нею весь мир.

— Не плачьте, графиня, — услышала она голос лорда Бенедикта и поразилась его нежности. — Одно дитя вы проводили к самостоятельной жизни. Но разве это все, что вы можете еще сделать для сотен людей? Поедемте ко мне. Мой друг Амедей сейчас начал изучать строительное дело. Он художник и архитектор-любитель, но талант и вкус у него большие. А Сандра только по внешности рассеян. Он и Николай прекрасные математики. Все втроем они сделают вам любые планы, чертежи и расчеты. И если бы вы с мужем захотели украсить родные места прекрасными зданиями — вы могли бы увезти с собой уже готовые здания на бумаге. А я разбил бы вам вокруг них сады, в чем меня считают специалистом.

— О, лорд Бенедикт! Кто мог бы подать свою помощь людям с таким тактом и добротой, как это делаете вы? Недостаточно счастья провести с вами этот вечер, который из

печального становится радостным, — он станет для нас еще и священным, так как кладет начало нашей новой трудовой жизни, о которой мы с мужем неотступно думаем.

Через некоторое время все провожавшие вернулись в гостеприимный особняк лорда Бенедикта, и в его кабинете, за чашками чая, обсуждался план больницы и яслей.

Каждый принимал участие в этом обсуждении, и нередко взрывы смеха и юмора приветствовали чьи-либо предложения. И чаще всего попадал впросак бедный Сандра.

Глава 19

Жизнь Дженни и ее попытки к свиданию с матерью и сестрой. Письма Дженни и чувства, вызванные ими в матери и сестре

Вернувшись домой после ужасных часов, проведенных в конторе адвоката, пораженная, разбитая, сознавшая, что все ее планы овладеть матерью и сестрой рушатся, Дженни была совершенно больна. Два дня она пролежала в постели, почти не открывая глаз. Она еле отвечала тоже не совсем здоровому мужу и изнывала от тоски, бешеной злобы и недоумения. Завлекательные картины богатства, блеска и величия, которыми соблазняли ее мать, Армандо и Бонда, — во что они вылились в самом начале новой жизни! Слова сэра Уоми, которых она никак не могла понять, ее расстраивали. Снисхождение, оказанное ей лордом Бенедиктом, которое она переживала как самое большое унижение, ненависть к нему, к матери, к Алисе — все вызывало в ней такую жажду мести, что Дженни чувствовала во всем теле точно кипящий яд, переливавшийся в ее крови. Первый раз в жизни она не могла ничем выразить вовне своего бешенства. Все, что в ней кипело, так в ней и оставалось. Ни швырять что-либо, ни кричать у нее не было сил. Точно отравленная, Дженни молчала и думала все об одном и том же: как отомстить, как завоевать власть над лордом Бенедиктом и его друзьями.

Разбитая до болезни, Дженни все же думала только о борьбе. Она упорно стремилась отыскать лазейку, чтобы найти себе союзника в лагере противника. Ей думалось, что простодушный сэр Уоми, казавшийся ей человеком очень добрым и недальновидным, как раз подойдет для этой цели. Она мечтала завоевать его помощь, прикинувшись раскаивающейся и желающей примириться с матерью и сестрой. Что же касается этих

последних, то Дженни так привыкла видеть их у себя в повиновении, что не сомневалась победить их ласковыми письмами.

— Удалось бы только увидеться с ними, — думала Дженни. — Я заставлю этого синеглазого простака помочь мне добиться с ними свидания.

На третий день ее решение действовать созрело. Она, к удивлению мужа, поднялась с постели, стала пить шоколад и даже спросила о Бонде и Мартине.

— Бонда говорит все шепотом и согнулся, как восьмидесятилетний старик, без надежды выпрямиться. Он мог бы, конечно, оправиться, но этот идиот Мартин, мало того, что ничего не сделал из порученного ему, еще и потерял все лекарства, которые носил на себе. И Бонда, не взявший иного запаса лекарства, обречен на ожидание, пока само время не вылечит его. Что же касается самого Мартина, то он, очевидно, сошел с ума. Он вызвал вчера вечером к себе Бонду и Анри и исповедовался перед ними в своих грехах, — ядовито хохотал Армандо. — Что произошо в кабинете лорда Бенедикта, куда ему удалось проникнуть, никто не знает. Но на всем теле Мартина какие-то кровавые и кровоточащие раны и язвы, должно быть, его там пытали.

Дженни вздрогнула и с ужасом, расширенными глазами смотрела на мужа. К ее страху и ненависти к великану прибавился еще страх физических страданий. Увидя ужас на лице жены, Армандо криво усмехнулся и продолжал:

— Когда Бонда ушел, проклиная Мартина за то, что тот не принес ему какой-то вещи, специально необходимой Браццано, Мартин заклинал Анри убежать от нас. Он объяснил ему свои раны вовсе не результатом ударов плетки лорда Бенедикта, а теми лекарствами, что Бонда заставлял его носить на себе в большом количестве и которые разъели его организм. Анри вызвал врача, тот объявил, что болезнь Мартина неизлечима и что смерть его близка.

Ужас Дженни усилился до последней степени. Мартина она терпеть не могла и в эту минуту нисколько его не жалела. Но видела в его смерти ужасающую силу врагов.

— Бонда говорит, что нам надо уезжать отсюда. Хотя встреча нам от Браццано, когда мы явимся без Алисы, будет не лучше, чем встреча Мартину от Бонды, когда он явился без нужных вещей.

— Что ты хочешь этим сказать? Разве вы на службе у Браццано? Кто этот Браццано?

— Я думал, ты догадливее, Дженни. Самое простое тебе обратиться за разъяснениями к собственной матушке. Там получишь самые исчерпывающие сведения. Уж она-то может тебе все объяснить о нем, — саркастически улыбался Армандо.

— Мама? Чепуха какая! При чем тут мама, никогда не уезжавшая из Лондона дальше морских купаний, — и Браццано, живущий в Константинополе?

— Мама-то твоя итальянка. Она вышла замуж за твоего отца в Италии. А там у нее мог быть романчик с Браццано, с каким-нибудь фиаско в конце.

— Знаешь ли, не меряй на свой аршин. Мама, конечно, вспыльчива, но в ее честности перед отцом я не сомневаюсь. Если бы ты знал отца, ты понял бы, что бесчестное существо не могло жить рядом с ним.

— Хохот Армандо стал еще громче и наглее.

— А ты-то, женушка, очень честна? Я бы мог, конечно, нарушить запрет Браццано и кое-что рассказать тебе. Но мне жаль лишить тебя приятности сюрприза, а себя удовольствия наблюдать твою физиономию при этом сюрпризе.

Холодная дрожь пробежала по спине Дженни. Она никогда не думала, что физиономия ее мужа может быть так отвратительна. Что-то сатанинское мелькнуло на этом красивом лице. Дженни поняла, что, если она поскользнется — от него пощады ей не будет. Три дня назад она считала, что сумеет иметь друга в этом любовнике. Сейчас ей казалось, что он злодей, каких мало, и если бы пришлось спасать свою шкуру — утопил бы ее без всяких размышлений.

— Что ты так на меня уставилась? Не воображала ли ты найти во мне Рыцаря печального образа, вроде твоего мнимого папаши-пастора? Лучше пораскинь мозгами и подумай, как бы тебе заманить сюда Алису. Лишь бы заманить. А уж умчать красотку, поверь, сумеем. Пожалуй, даже тебя оставим мамаше на утешение, только предоставь нам сестрицу. Неужели же ты так глупа и бездарна, что не можешь найти путей и возможности добиться свидания с сестрой и матерью? Ты можешь наделать этому лорду массу неприятностей. Подай заявление, что он держит насильственно в своем доме твоих родных и отказывает им в свидании с тобою. Пока пойдет суд да дело, немало беспокойств причинят ему судьи и адвокаты, которых подкупить ничего не стоит.

Хуже бича ударили Дженни слова мужа. Так вот какая ей цена в глазах человека, женой которого она стала три дня назад! Она являлась только средством изловить Алису. Зачем им нужна сестра? В чем здесь дело? Дженни не могла больше выносить глумливого голоса мужа и встала, чтобы уйти к себе в будуар.

— Обдумай все, что я тебе сказал. Я слов на ветер не бросаю.

Уйдя в будуар, Дженни заперла дверь на задвижку и упала на диван в изнеможении. Она задыхалась. Сообразить, что такое с ней произошло, почему разговор с мужем так ее перепугал, — она не могла. Но мгла тяжелых предчувствий давила ее с такой тяжестью, что у нее дрожало все тело и стучали зубы.

Дженни машинально взяла папиросу, что стало уже ее привычкой. Мало-помалу она стала приходить в себя. По мере того как папироса становилась короче, настроение Дженни, еще не привыкшей к наркотику, который ей всюду старался расставить муж в виде очаровательных тонких папирос, становилось ровнее и веселее. Страх ее прошел, она вернулась к обдумыванию своего плана. Случайно слова мужа совпали с ее собственным желанием добиться свидания с матерью и сестрой. Теперь она окончательно утвердилась в своем мнении, что сэр Уоми парень простоватый и что следует действовать именно через него. Все, что было в судебной конторе, Дженни уже прочно забыла сейчас, наркотик делал свое дело, она чувствовала себя сильной, изворотливой, хитрой и такой прозорливой, что ничьи глаза, казалось ей, не могли прочесть ее истинных мыслей. Дженни села писать письмо сэру Уоми.

«Одновременно с этим письмом, уважаемый сэр Уоми, я пишу моей матери и сестре, так жестоко бросившим меня на произвол судьбы. Не подумайте, что я жалуюсь Вам на них. О нет. Для этого я их слишком много люблю. Но я знаю также, что эти дорогие мне существа необыкновенно бесхарактерны и поймать их в сферу своего влияния ничего не стоит.

Так оно и случилось сейчас. Обе бедняжки попали на удочку лорда Бенедикта и изображают из себя рыбок на крючке. Ваши слова сочувствия, сказанные мне в конторе, дают мне смелость обратиться к Вам за помощью.

Лорд Бенедикт, его зять Николай и Сандра, каждый из которых мог бы мне помочь в моем законном желании повидаться с матерью и сестрой, такие жестокие и бессердечные люди, что для них мои страдания безразличны. Мне кажется, что только Вы один наделены сердечной теплотой и участием к мучениям людей. А потому Вы поймете, какой разбитой и несчастной чувствую я себя сейчас. Выброшенная из тихого и уютного дома моего отца, где я привыкла видеть дорогие лица сестры и матери, где всю жизнь царило патриархальное целомудрие, я чувствую себя точно в чужой стране. А между тем все самое дорогое живет в получасе езды от меня.

Помогите мне увидеться с моими родными. Пусть Алиса с мамой приедут ко мне. Я не в силах войти в этот ужасный дом, где живет такое насилие надо мной и ими.

Со свойственной добрякам чуткостью Вы поймете меня. Ваш образ врезался мне в память, и, если наша симпатия взаимна, я бы очень хотела увидеться с Вами. Тогда я имела бы бульшую возможность рассказать Вам об ужасном поведении лорда Бенедикта по отношению ко мне и, вероятно, Ваша помощь была бы активнее.

Не откажите сообщить мне по прилагаемому адресу, получили ли мои письма мать и сестра. Я даже в этом не доверяю лорду Бенедикту».

Подписавши письмо своими девичьей и замужней —фамилиями, Дженни осталась очень довольна своим талантом и принялась за письмо к пасторше.

«Моя дорогая мама, хотя Вы так ужасно изменили мне и бросили меня одну среди чужих людей, тем не менее я верю, что Вы меня любите и действовали только под влиянием чужой злой воли.

Мне непонятно все же, почему Вы не едете ко мне с Алисой. Неужели Вам даже неинтересно взглянуть на мою замужнюю жизнь? Ведь Вы так много рассказывали мне о великолепии и богатстве Ваших друзей, среди которых я живу. Пока, правда, я еще не купаюсь в золотой ванне, но часто слышу имя Браццано, который, по рассказам мужа, действительно очень богат и знатен. Возле него будто бы и начнется моя настоящая великолепная жизнь.

В этом письме я не буду задавать Вам вопросов. При личном свидании Вы мне расскажете о Браццано. Я очень удивлена, что узнала о друге Вашей юности из чужих уст.

Ах, мама, мама, если бы отец был жив, он потребовал бы от Вас, чтобы Вы навещали меня с Алисой, а не бросили так одну на произвол судьбы, как Вы это делаете обе сейчас. Но все же я прощаю Вам все несправедливости. Я уверена, что лорд Бенедикт держит Вас обеих взаперти и не пускает даже ко мне. Но ведь и отец был строг и следил за Вашим поведением. Однако Вы умели посещать Ваших друзей, вовсе не угодных ему.

Вырвитесь, пожалуйста, и навестите меня. Вы понимаете, что я не могу приехать к Вам, раз Вы живете в доме человека, которого я ненавижу. Если уж моя просьба так мало значит для Вас — я прошу Вас исполнить мою просьбу не только для меня одной, но прошу Вас еще и именем Вашего друга Браццано — приезжайте. Если он Ваш истинный друг, значит, он и мой друг, как Вы мне всегда говорили о людях.

До свидания, дорогая мамочка. Приезжайте с Алисой в музей. Я напишу ей, расскажу подробно, куда и когда. Там мы с Вами решим, как нам быть дальше. Обо всем этом просит Ваша Дженни».

И этим письмом Дженни осталась довольна. Она похвалила себя за тонкость проявленного в нем такта. Самым трудным казалось ей письмо к Алисе. Долго перебирала

она в мыслях, в какой стилистической форме обратиться к сестре. Особенно стеснительным казалось ей то обстоятельство, что Алиса, конечно, раньше чем ответить ей, побежит к своему лорду Бенедикту и покажет ему письмо. Наконец Дженни решила обратиться к сестре в тоне старшей замужней сестры и умудренной опытом наставницы.

«Моя дорогая сестренка, моя милая упрямица Алиса, ты все еще продолжаешь смотреть на мир и людей своими детскими глазами, тогда как мне пришлось окунуться в самую гущу жизни. Немудрено поэтому, что мои глаза не могут теперь смотреть так наивно на мир и так идеализировать людей, как это делаешь ты, дорогой, доверчивый ребенок.

Я пишу маме, что не могу навестить ее и тебя в том, очень мне неприятном доме, где вы обе сейчас живете. А повидаться с вами обеими мне, конечно, необходимо. Я не виню тебя в твоем чудовищном эгоизме. Если бы у папы не сделался приступ его мозговой болезни перед смертью, то, конечно, ни его, ни тебя не удалось бы заманить к себе твоему «благодетелю», как ты выражаешься. Но, по моему пониманию, как и по пониманию каждого взрослого человека, лорду Бенедикту принадлежит несколько иной эпитет в нашем деле, как, вероятно, и во многих других. Впрочем, это все тебе разъяснит суд. Мне же с тобой необходимо переговорить как старшей сестре по поводу твоего замужества. Двоюродный брат моего мужа, красавец, которого ты не могла не заметить в конторе, мечтает с тобой встретиться уже давно, чтобы высказать тебе свои чувства.

Подумай, какое счастье свалилось на нас обеих! Мы уедем вместе и не будем испытывать одиночества. Я знаю твой привязчивый характер, знаю, как ты всегда меня обожала и без меня скучала, и хорошо представляю себе, как ты сейчас страдаешь от вынужденной разлуки со мной. Я потому-то и не браню тебя за самовольный уход из дома отца и эгоизм, что совершенно уверена, что тебя держат взаперти в этом скучнейшем доме Бенедикта. Воображаю, сколько старых тряпок заставила тебя перешивать милейшая графиня. И почему они заставляют тебя ходить в черном? Как глупо! Это уже старо и немодно — выставлять напоказ свой траур.

Но если я буду обсуждать все эти вопросы, о которых хотела бы с тобой поговорить, то я никогда не кончу письма. Давай сговоримся так: приходи через три дня. Я беру такой долгий срок только потому, что представляю себе, сколько придется тебе хитрить и лгать, чтобы вырваться потихоньку в музей у Тр-го сквера. В восточном отделении, у мумий, мы встретимся. Там мы и решим, куда поедем поболтать. Приходи к двенадцати часам, без опоздания и не в черном. Жду тебя,

твоя Дженни».

Пока шла такая сумбурная и мрачная полоса в жизни Дженни, в особняке лорда Бенедикта зарастали раны пасторши, обновляемой потоками любви Алисы, Дории, Ананды и постоянным участием не только хозяина, но и его гостей.

Неожиданно для пасторши она нашла друзей и помощников в переданных ей Дорией хозяйственных делах в лице леди Цецилии и Генри. Генри, хотя и ничего не понимал в хозяйственных делах, но преуморительно уверял пасторшу, что ему необходимо обучиться как можно скорее всем тонкостям домоводства. В Америке, так как он ничего толком не умеет, ему придется быть мажордомом, иначе ему скажут, что он не годен в том обществе, где каждый должен вносить свой труд для всех.

Смеясь и шутя, Генри помог тетке выучиться считать на счетах и терпеливо приучал ее держать в порядке счета, ключи и записи. Леди Цецилия с удивлением смотрела на своего сына, в котором теперь трудно было узнать ее спесивого Генри. С каждым днем даже облик юноши менялся, и улыбка перестала быть редкостью на его лице. Нередко он и

Алиса заставляли леди Катарину писать по-английски, чего та не терпела раньше, но теперь старалась изо всех сил, так что вызывала даже умиление своих строгих учителей. За таким занятием в один из дождливых дней застал их Ананда и позвал Алису к лорду Бенедикту.

Когда Алиса вошла в кабинет своего дорогого опекуна, куда для нее входить было счастьем, она увидела не только его, но и сэра Уоми и князя Санжера. Лица всех троих собеседников, встретивших ее, как и всегда, ласково, были приветливы, но девушка сразу почувствовала какую-то особенную серьезность в их настроении. Алиса не могла бы объяснить, почему у нее сжалось сердце, почему предчувствие чего-то горестного, не то печального, не то страшного, заставило ее остановиться у порога в нерешительности. Легко, по-юношески, поднялся ей навстречу князь Санжер, изысканно вежливо ей поклонился и, взяв ее руки в свои, сказал ей своим тихим, музыкальным голосом:

— Зачем же, детка, ты вперед волнуешься? Разве может быть для тебя что-либо страшное в беседе с Флорентийцем? Сейчас он для тебя не лорд Бенедикт, но ближайший друг твоего отца и еще больший друг тебе. Ты не потеряла отца, а только нашла второго. И как бы ни шла твоя работа дня, ты все время трудишься вместе с ним, хотя бы оба вы внешне были заняты совсем разным трудом. Если сейчас мы все захотели переговорить с тобой, друг, то только потому, что ты сама, чистотой твоего сердца, пришла к новой ступени знания. Видишь ли, в ученичестве не стоят на месте. Вернее, те, кто добивается общения с нами и говорит об этом очень много, а иногда отдает как бы служению общему благу, исканию нас и труда с нами и всю жизнь, для всех видимую, — часто так и остается в своем зачаточном состоянии исканий. Хотя и самому человеку и его окружающим кажется, что они движутся за своими Учителями и разделяют их труд. Ты, как очень немногие из большого числа людей, которым мы постоянно даем зов, идешь сама за нами, идешь каждый день, не ища дела по выбору, которое бы нравилось, но принимая все, куда надо нести свой мир и любовь. Теперь настал тот момент, когда ты чистой любовью можешь помочь матери и сестре. И в зависимости от того, о ком ты будешь думать, о себе или о них, ты продвинешь в их жизнь — жизнь огромной скорби — новую возможность радоваться. А также и сама пройдешь дальше и выше в возможности разделить труд Флорентийца. Успокойся и выслушай твоего друга. Впервые страх сжал твое мужественное сердце, и я надеюсь, что в жизни больше ты не узнаешь этого чувства.

Он подвел Алису к Флорентийцу и усадил на кресло рядом с ним. Маленькая фигурка Алисы казалась ребенком по сравнению с величественной фигурой красавца опекуна. Теперь страха не было в ее сердце, но волнение и ожидание чего-то необычного, огромного, чего она не понимала, но что едва можно было вынести, наполняло ее целиком.

— Алиса, — сказал ей Флорентиец, — перед Вечностью, у которой мы все стоим, нет ни отцов, ни детей, ни матерей, ни сестер, ни братьев по крови. И когда я буду тебе говорить о дорогих и близких тебе людях, ты помни только одно: все эти люди только единицы вселенной, идущие по своей мировой эволюции. И каждая из них, неся в себе искру живой Жизни, стоит там, где дух ее *мог* пройти тяжкий путь освобождения и приблизиться к той или иной точке совершенства. Тебе, если хочешь ближе идти за мной, надо не судить их, не огорчаться их судьбой, не страдать лично за себя, то есть не воспринимать лично их судьбу. Но тебе надо помнить, что каждый жил, живет и будет жить только так, как *смог* понять *жизнь*, как смог ощутить *ее*, живою, в себе и как смог открыть свое сердце для творчества *в ней*, хотя бы одному *ее* аспекту. Никого нельзя поднять к более высокой ступени. Можно предоставить каждому только все возможности подыматься выше, служа ему живым примером. Но если он не найдет в самом себе любви — он не поймет и встречи с высшим существом и будет жаловаться, что ему не подали достаточно любви и

внимания, хотя сам стоит возле них и не видит протянутых ему рук. И того, что *он* не мог, по неустойчивости и засоренности своего сердца, увидеть подаваемой ему любовной помощи, он не понимает. Отсюда его недовольство, нарекания и жалобы. Один из примеров такой жизни перед тобой пройдет сейчас. Ты хорошо помнишь свою семейную жизнь. Как ни была ты юна, когда умер твой отец, ты была ему другом, помощью и опорой уже много лет твоей жизни. Было ли у тебя детство, Алиса? Ты едва стала подрастать, как тебе пришлось понять ад и муку сердца отца. Как ты ни любила его, ты ни разу не судила мать, хотя знала, что мука отца шла от нее. Сейчас ты узнаешь причины скорби и размолвок твоих домашних. Мать твоя вышла замуж за твоего отца, любя другого человека и нося плод его любви под сердцем. Отец твой, поняв все с первых же дней свадьбы, никогда, ни одним словом не обмолвился о том, что все знал и понял. Он дождался твоего появления на свет и оставил навсегда спальню жены под предлогом тяжелой болезни. Человек, отец Дженни, бросивший твою мать и заставивший ее выйти за твоего отца, уже тогда был потерянным существом, вором, грабителем, искавшим всюду подобных себе и имевшим свои грязные связи во всех частях света. За годы жизни твоего отца он не осмеливался вспоминать о твоей матери, так как знал, что отец твой кремень чести и справедливости. В его расчеты не входило бороться за свою дочь, он отлично все знал о жизни Дженни и леди Катарины. Но вот пришось злодею потерпеть фиаско, и понадобилось ему, для гнуснейших целей, чистое существо. Настолько чистое, чтобы ни один из соблазнов жизни не мог себе свить гнезда в сердце этого существа. Тогда мысль негодяя потянулась к дому пастора, к тебе, Алиса. И вся гнусная панорама брака Дженни была разыграна только для того, чтобы получить любыми способами тебя. Отца уже нет, Алиса. Вместо него я подле тебя.

— Я благодарю небо тысячи раз, что папы нет в живых и он не страдает от всего этого ужаса, — бросилась на колени перед Флорентийцем Алиса. — Пусть папа идет спокойно, как можно выше, чтобы ни одна из тревог земли не касалась и не беспокоила его мудрой жизни. Я здесь осталась вместо него, отец Флорентиец. Я молю тебя, помоги мне стоять в полном самообладании и спокойствии, чтобы сила твоя могла проходить через меня нерасплесканной и передавалась вся твоя помощь моим дорогим несчастным маме и Дженни.

— Так, дочь моя. Я и не ждал от тебя другого. Но еще одно ждет тебя испытание. Ты слышала, тебе Николай рассказывал о Левушке и Браццано. Браццано — отец Дженни.

Бедная Алиса, смотревшая неотрывно в глаза Флорентийца, прошептала:

— И ты, отец Флорентиец, пустил в свой дом меня, дочь женщины, знавшей Браццано! Будь же мне вечным примером милосердия, которому нет предела и отказа. Помоги дважды утвердиться моему самообладанию, чтобы маме и сестре легче было бороться и победить.

Флорентиец положил на голову Алисы свою правую руку, сэр Уоми и Санжер положили сверх его руки свои правые руки.

— Мой путь да сплетется с орбитой твоей, и вся Любовь в тебе да заплетется в сеть защитную с Любовью моею вокруг тебя, — сказал сэр Уоми.

— Твоя жизнь да станет отныне красотой, и обряд зла да не сможет подойти к тебе. Все заклинания зла да распадутся возле тебя, ибо сеть моя защитная оберегает тебя, — произнес Санжер.

— Аминь. Свет на пути пройдет беспрепятственно через твой канал. Иди, друг, и жди меня через час у твоей матери, — сказал Флорентиец.

Алиса вышла из кабинета такой радостной, такой легкой, какой давно уже себя не чувствовала. Ей не хотелось сейчас никого видеть, она быстро прошла к себе в комнату и села у портрета отца. Прижав к себе дорогое лицо, она думала только об одном: стать достойной своего отца и создать в своей жизни такую семью, где была бы невозможна ложь. Сейчас в сердце ее, где с детства всегда жило страдание, жегшее ее, как раскаленный гвоздь, было спокойно. Слова Флорентийца осветили ей всю сущность отношений людей перед Вечностью. И еще понятнее стало, как она, дочь, станет матерью тому, кто был ей отцом.

— Если бы только я сумела быть достойной всего того доверия, какое мне оказано. Я буду день за днем все крепче думать, как воля моих великих друзей льется через меня. Отец, отец! Я не представляла себе, что можно подниматься на такую высоту чести и милосердия к человеку, в которых прожил ты. Сейчас я пойду к моей матери и снесу ей все твое прощение, всю твою помощь.

Так думала Алиса, чувствуя в себе непобедимую силу и уверенность. Ни минуты она не колебалась и не страшилась смутиться при встрече с матерью. Не об ее позоре она думала, а о реальной ей помощи, которую могла оказать.

Алиса переодела платье. Ей казалось невозможным выйти из комнаты в том, в чем она приняла благословение чудесных рук своих великих друзей. Благоговейно сняв свое черное платье, сама не отдавая себе отчета почему, она надела одно из лучших своих платьев, белое с черным, и пошла к леди Катарине.

Там она застала только Ананду, который передавал ее матери новый итальянский журнал, рекомендуя обратить внимание на некоторые статьи. Алиса, знавшая, как ненавидела леди Катарина всякое чтение, была удивлена искренним ее интересом к книге. И вид матери сегодня изумил ее.

— Что с тобой сегодня, Алисок? Ты чем-нибудь особенно обрадована? — в свою очередь спросила мать, пораженная видом дочери.

— Я так нарядна, мама, что даже поразила вас. А я только что хотела вас спросить, почему вы так прекрасно выглядите сегодня. Вы просто красавица, хотя и поседели.

— Как я виновата перед тобой, доченька, я даже не видела, как ты красива и какое сердце живет в тебе.

— О сердце Алисы слава идет. О ручках и смехе сказки плывут. Голос Алисы — сам ангел поет. А щечки Алисы, что розы цветут, — внезапно пропел Ананда, подставляя имя Алисы в народную английскую песню.

Голос Ананды, и всегда поражавший Алису гибкостью и тонкостью фразы, сегодня особенно сильно проник ей в сердце. Как много надо было ей еще трудиться, чтобы достичь хоть половины той выразительности, что так легко лилась из уст Ананды. Юмор, с которым глядел на нее певец, заставил веселее смеяться мать и дочь. Под звуки этого смеха, не замеченный смеявшимися, вошел Флорентиец.

— Вот это хорошо, Ананда, что ты развлекаешь свою больную. Как вы себя чувствуете, леди Катарина?

— Если бы мне сказали неделю назад, что я смогу так весело смеяться, как я это делала сейчас, — я бы не поверила. А вот теперь мне не хочется грустить, так сегодня на меня действует красота моей дочери. Я понять не могу, в чем дело. Я ли слепа была до сих пор, Алиса ли так изумительно похорошела?

— Быть может, в вашем сердце нашлось больше места для Алисы, и в этом все дело, вся разгадка, — сказал Ананда.

— Вряд ли. Если бы красота Алисы шла параллельно тому месту, которое моя милая дочь начинает занимать в моем сердце, — Алисе пришлось бы затмить всех красавиц мира. Нет, что-то сегодня есть в ней особенное, но что — я не знаю.

— Надеюсь, что когда-нибудь вы это узнаете. А сейчас я пришел к вам поговорить о Дженни, — сказал Флорентиец.

Леди Катарина вздрогнула и побледнела.

— Счастлива ли Дженни, по-вашему, леди Катарина? Можете ли вы представить себе ее жизнь в эту минуту?

— Дженни не может быть счастлива, лорд Бенедикт. Она обманута теми, кто подле нее сейчас, и... мною. Я хотела бежать к моей старшей дочери, чтобы спасти ее. Но в вашем доме поняла, какая это невыполнимая по трудности для меня сейчас задача. Поняла, что сначала мне надо воспитать самое себя, что я и стараюсь делать.

— Верите ли вы тому, что говорит о себе сама Дженни?

— Нет, лорд Бенедикт. Я слишком хорошо знаю Дженни, знаю, что она никому сейчас не скажет правды о себе, мне же особенно.

— Почему же особенно, леди Катарина?

— Дженни не прощает мне моего бегства к вам, лорд Бенедикт. Но не это страшно мне. Мне страшно за Дженни в тот момент, когда она узнает... ужасную истину. Я не боюсь ее проклятий себе, я их отмолю. Я боюсь, что гордая моя дочь не сможет пережить...

— Не плачьте, леди Катарина, выслушайте меня. Скоро, гораздо скорее, чем вы думаете, я и почти весь мой дом уедем в Америку. С вами останутся Ананда, сэр Уоми, Дория, Сандра, Амедей и Тендль. Все эти друзья будут все время с вами и помогут вам отбиться от десятка нападений на вас со стороны Дженни и ее приятелей. Ни Дженни, ни ее спутники не будут знать, что Алиса уехала с нами. Желая иметь в вас лишний предлог для соблазна и страданий Алисы, они будут ловить вас как приманку. Если вы не будете тверды, если в ваших мыслях и сердце не будет всецело жить дочь и одна мысль: спасти Дженни, — вы не двинетесь с места и ничего не сделаете для истинной помощи вашей бедной дочери. Поймите меня, как должна понять мать, глубоко и по-настоящему думающая о всей жизни своей дочери. Дело вовсе не в том, чтобы вы сейчас, сию минуту летели к Дженни и старались ей что-то облегчить. Вместо облегчения вы принесете ей только сумбур в ее и без того печальную жизнь. Держите перед своим духовным взором *всю* жизнь Дженни. Копите в себе новые силы, чтобы вырасти и иметь возможность помочь дочери в тот миг, когда она сама захочет мира

с вами и нами, вместо борьбы и власти над нами, которых ищет сейчас. Если мать не обладает тактом, она никогда не построит прочного моста из своего сердца ни к одному человеку, особенно же к своим детям. Как бы любвеобильны вы ни были, найти путь к единению в красоте человеку бестактному невозможно. Всю жизнь трудился пастор, чтобы вы смогли ввести в жизнь это маленькое словечко: «такт». Есть старики, которым дается специальное долголетие, чтобы они поняли это свойство Любви, чтобы научились распознавать во встречном *его* момент духовной зрелости, а не лезли к людям со своими пониманиями, спорами, жалобами

и нравоучениями, считая, что раз *им* что-либо кажется таким — значит, оно так и есть на самом деле, и надо лететь и выкладывать из своей кастрюли все, что там кипит. Обдумывайте каждое слово. Всегда распознавайте все то, что окружает вас, и помните крепко, что есть положения, где лучше всего молчать. Кажущаяся внешняя инертность человека, всем видимая, часто бывает самой активной помощью тому, кто на вашу же инертность жалуется. В молчании человек строит в себе крепость мира и любви, вокруг которой собирается высокая стена невидимых защитников. Образ страдающего, который носит в своей крепости человек, видят все невидимые защитники, и ни один из них не оставит страдальца, за которого вы молите, без своей посильной помощи. Те же люди, что бегают по дню в сумбуре своих страстей и торопливо, суетно, во внешней энергии несут всем кажущуюся помощь, — те стоят на месте в смысле истинной помощи людям и приносят им даже вред, вместо пользы. Ибо истинная помощь — это мужество, быть может иногда и суровое слово, которое не понравится встречному, а вовсе не поглаживание по головке слезливого человека. И чтобы иметь силу выказать это мужество и пролить его в путь встречного, надо вырасти в своем духе, в своем бесстрашии и такте. Я вижу, что мои слова не вызывают в вас бунта, как это бывало раньше. Запомните, мой друг, все то, что я вам сказал. Я не сомневаюсь, что Дженни вскоре будет вам писать. Постарайтесь сами разобраться в фальши ее письма. А то, чем вас лично могла бы ранить Дженни в своем письме, — то уже для вас не существует. Вы развязаны мною и Анандой от ваших ужасных уз с Браццано. И единственный из людей, кто имел бы право судить ваше поведение, — ваш муж, он давно простил вам все.

— Но Алиса, Алиса? — прошептала пасторша.

— Алиса? Алиса вам не судья. Она тот маленький талисман, который для вас припасло Милосердие.

Флорентиец простился с пасторшей и спустился вниз. Ананда еще некоторое время побыл с обеими женщинами, выказал каждой из них много сердечного участия и утешал мать, скорбевшую от предстоящей разлуки с Алисой. Пасторше казалось, что теперь жизнь наказывает ее за нелюбовь в прошлом к Алисе и разлучает ее с дочерью именно тогда, когда она сумела оценить и полюбить ее. Ананда терпеливо выслушивал ее жалобы и просил вдуматься в слова Флорентийца и думать не о себе, а о своей главнейшей задаче: жизни Дженни.

Когда Ананда ушел, пасторша прижала к себе Алису и молча плакала. Алиса не нарушала молчания, но в сердце своем она несла такое ликование любви, что мать утихла и сказала:

— Если бы я могла перенять у тебя хоть малую часть самообладания, дочурка, я бы скорее вернула Дженни домой.

— Ах, мамочка, всегда кажется, что если бы мы обладали тем-то и тем-то, то могли бы сделать много. А на самом деле мы только и можем что-либо сделать в своих собственных обстоятельствах, именно в тех, что окружают нас, а не в тех, в которых живут другие. Вы говорите о моем самообладании. Но если бы мои обстоятельства были иными, если бы с детства жизнь не учила меня владеть собой, — разве нашла бы я тот поток счастья, в котором живу сейчас?

Вошедший слуга подал им письма, среди которых обе нашли письма от Дженни. Лицо Алисы стало только розовым, когда она взяла письмо сестры, но лицо матери так побледнело и изменилось, что Алиса потянулась за каплями.

— Не беспокойся, детка. Хуже того, что я пережила, уже ничего быть не может. Что бы ни писала мне Дженни — да будет она благословенна. Я все принимаю от нее без упрека и

даю тебе слово: вечно помнить только о спасении Дженни и делать все для этой цели. И ничего предпринимать без совета и разрешения синьора Ананды я не буду. Когда письма Дженни были прочтены, мать и дочь переглянулись. По щекам леди Катарины катились слезы, и рука ее молча протянулась с письмом к Алисе. Алиса взяла письмо, поцеловала дрожавшую руку матери и вложила в нее свое письмо. И снова встретились взгляды женщин, и они обняли друг друга.

— Нет такой силы, мамочка, которая могла бы заставить вас теперь пойти к Дженни; у нее сейчас, как у слепой, нет ни одной точечки света. И она даже не представляет себе, как может легко и дивно жить человек на земле. Давайте, дорогая, сожжем эти письма. Быть может, их яд сгорит и самой Дженни будет легче, ничто не будет жестко держать в себе кусочек ее злобы к нам.

— Я хотела бы высосать, Алиса, весь яд из каждой буквы. Лишь бы Дженни было легче. Если бы мой поцелуй мог перелететь к ней, я бы согласилась обменяться с ней всей половиной крови, только бы облегчить ее положение сейчас.

— Все ваше порывистое самоотвержение, — сказал незаметно вошедший сэр Уоми, — сейчас вредит не только вам одной, леди Катарина, но и Алисе и Дженни. — Он ласково вынул письма из ее рук, бросил их в камин и вернулся к горестно поникшей пасторше. — Не только вы, но никто из нас в эти несчастные дни не может помочь Дженни. Она всем своим поведением призывает к себе своего настоящего отца, и он не оставляет ее без своего влияния и помощи. Он надеется найти в Дженни верного себе помощника. Но он не учел, что его дочь выросла в доме пастора, чьи безукоризненные честь и любовь оставили в организме Дженни и в ее памяти ничем не смываемые следы. Я вошел в помощники Ананде и принял на себя ответ за вечную жизнь Дженни. Не бойтесь за нее. Живите, а не ждите чего-то. Работайте, следите за собой, чтобы быть в нашем светлом кольце сотрудников. Поняли ли вы меня ясно и хотите ли вступить сейчас же на путь спасения дочери?

— Да, я хочу, хочу всеми силами сердца. Но мне так страшно. Я ведь всю жизнь жила только порывами сердца, совершенно не умея подчиняться требованиям ума. Как мне взяться за дело? Я не научилась даже еще спокойно переносить малейшую неудачу, не то что думать по-серьезному. Я дала вам, сэр Уоми, обещание и сорвусь, наверное, в первый же час.

— Важно отдать твердо самому себе отчет, чего именно ты хочешь, леди Катарина. Важно не быть пустым или шатким внутри, когда ты начинаешь свой новый творческий день. Важно кончать свой день, утверждаясь все сильнее в верности тому, что ты избрал себе как жизненный путь. Кончая его, совершенно четко отдать себе отчет, в чем ты был тверд, в чем отступил от светлой идеи, для которой живешь и трудишься. Важно — жить каждый день, трудясь так

легко и честно, как будто бы это был твой последний день жизни. Если человек носит в себе понимание, что все внешнее — это изменяющаяся оболочка, что важна не она, а важна никому не видимая сила в человеке, его убежденность, вера и верность, — никакого героизма не понадобится. Любовь поведет человека весело и радостно. Где же место слезам и жалобам для верной жены или любящей матери?

Любящему, верному и преданному существу только счастье быть полезным своим близким в их несчастье и вынести на своих плечах их скорби. Плачут о себе. Любя близких, побеждают скорбь и радуются быть им полезными. Вдумайтесь хорошенько в мои слова. Только тот, кто во главу угла ставит себя, свои достоинства, свои таланты и достижения, — только тот не может войти в круг жизни светлого братства людей,

представители которого окружают вас сейчас. Совсем неважно, как вы прожили свою жизнь до сих пор, чем вы жили, что составляло ваши интересы. Еще менее важно, как о вас судят ваши знакомые и приятели. Кто сам не испытал, как страдание переворачивает всего человека, как в одно мгновение он может перейти рубикон и очутиться на совершенно иной ступени жизни, в иных пониманиях, где отпадут даже многие прежние понятия, — тот остается только отрицателем чудес оживотворения аспектов *жизни* в человеке. Все же истинные изменения в людях происходят всегда мгновенно. Мгновенно именно потому, что раскрывается новый аспект Любви в сердце скорее сверкнувшей молнии. Если люди неустойчивы, в них их внутреннее преображение, совершающееся в одну минуту, сопровождается таким длительным и нудным периодом умирания старой личности, что они смешивают этот период муки с блаженным мигом счастья самого их преображения. Если в вас живет одна мысль: стать силой Любви, чтобы приобщиться к нашему труду и спасти дочь, вы спросите себя только об одном. Верите ли вы мне и Ананде *до конца*? Верите ли вы нашей чести, любви, самоотверженному милосердию? Верите ли вы нашей верности *тем, кто* выше нас по своему совершенству, *кто* руководит нами и за чьей верностью следуем мы своей верной преданностью и ненарушимым, добровольным послушанием?

— Сэр Уоми, когда-то неразумное, никого, кроме себя, не любившее существо, влюбленное и злое, я дала клятву, страшную, на жизнь и на смерть, Браццано. Сейчас я научи-

лась впервые любить. Впервые открылись глаза моего сердца. И первый, кого я благословляю, кто стал для меня светом и законом, — пастор. Ему теперь клянусь в верности. Его благословляю. За вами и Анандой иду сейчас. Кроме пути за вами — у меня нет иного. Не рабское послушание я отдаю вам. Мое единственное счастье — быть в послушании у вас. Вот моя мольба.

Пасторша опустилась на колени перед сэром Уоми. В этот момент вошел Ананда. Сэр Уоми поднял леди Катарину, лицо которой сияло и в глазах застыли слезы, положил свои руки на ее голову, а Ананда взял в свои обе руки пасторши и соединил их с руками Алисы, говоря:

— В семье новой, нянча внуков, вы кончите свои дни. Помните этот час. Готовьтесь не к жертве, не к борьбе, но к единственной вашей задаче: любить и быть верной своему делу любви *до конца*. Не в ярости любовного распятия вы можете спасти Дженни. Но в высшем самообладании. А высшее самообладание — это ровность духа при *всех* внешних случайностях. Не мудрствуйте. Исполняйте то, что мы будем вам говорить. Но помните, что, исполняя половину, вы примерзнете к месту и движение *жизни* пройдет мимо вас. Действуя вполовину, ни шагу к истинному совершенству вы не сделаете, хотя бы весь день трудились как белка в колесе. И ни одно сердце не расцветет и не успокоится подле вас, если ваш дух мигает. Радуйтесь или плачьте не потому, что сегодня что-то было вам на плюс или минус. Но несите в сердце конечную цель — то Вечное, в чем единственно только и могут жить люди светлой Общины.

Оба великих друга, сэр Уоми и Ананда, сели возле пасторши и Алисы, и сэр Уоми сказал, что тоже получил письмо от Дженни, но что о нем и говорить не стоит. Оно показывает, насколько Дженни далека от правдивости и от всякого истинного понимания людей и вещей. Насколько было бы невозможно договориться с ней сейчас даже о самых простых делах, не только о делах того огромного значения, что стоят перед каждым из членов семьи пастора.

— Алиса уедет, но подле вас останется Дория, леди Катарина. И я остаюсь с вами, Ананда и Санжер. Все мы вам близки, и ваши дела, ваша жизнь дороги нам. Быть может, впервые

в жизни вы поймете, что не только кровно близкие люди освещают земную жизнь, придают ей глубину и смысл. Не бойтесь нас. Не думайте, что наше превосходство в каких-либо знаниях и силах дает нам право считать себя выше

кого-то. Чем больше знает человек, тем лучше он понимает каждое встречное страдание. Не нам вас судить, нам только вам помочь. А вам? Вам только понять, что когда-то каждый из нас был самым простым, обычным человеком и шел по такому же простому трудовому дню, как идете вы сейчас. Если вы это поймете, если поверите, что все, чего мы достигли, было достигнуто нами только потому, что Любовь учила нас самообладанию, — вы найдете тот же путь.

Но найдете его по-своему, так, как укажет вам ваше смиренное и раскрытое сердце. Когда человек достигает мудрости — первое, что он находит в себе, — смирение и ровность. Бунт в себе и всякое ревнивое трепыхание страстей, всякое желание постоянно объясняться с людьми и объяснять им себя — все улетает из человека, как и страх всяких грядущих событий. Вам надо отвыкнуть выделять дни, как жалкие отрывки: «вчера», «сегодня», «завтра». Все ваши дни — вереница мгновений *вечности*, где надо видеть всегда *конечную* цель. Как млечный путь, не имеющий для вас ни начала ни конца, когда вы смотрите в сверкающее огнями небо, так и вереница дней не ограничивается стадиями наших чувств и сил, но все напряжение их, цельное до конца, и создает наши дни, наши страдания и радости, наше движение вперед. Сейчас вы видите вереницу таких дней тяжких у Дженни. Разве это все, что она *может* сделать в жизни? Вы хотите броситься ей на помощь. Разве вы в силах повернуть течение фактов жизни Дженни, если они *созданы ею*, а не вами? У вас есть общие с нею дела, где вы взаимно губили или спасали друг друга. Но и в этих делах ваша доля спасительной помощи вашей дочери может дойти до нее только в том случае, если ваше самообладание будет так велико и стойко, что ни страха, ни слез, ни мыслей о себе у вас уже не будет. Не представляйте себе, что это так далеко и недостижимо, что, пожалуй, вы успеете умереть, не достигнув подобного самообладания. Если вы будете в состоянии помнить, что каждый час вашей жизни, прожитый в мыслях о помощи дочери, строит ей спасительный мост только тогда, когда вы мужественны, — вы будете крепнуть день ото дня. И будете жить так долго, как это будет нужно для всего дела вашей и Дженни жизней. Об Алисе и о разлуке с ней не думайте. Всякая разлука только до тех пор мучительна, пока у человека не созреет сила духа настолько, чтобы посылать творческий ток любви своему любимому с такой энергией, которая сплетала бы в любую минуту в одну общую сеть преданность обоих. Эта мощь духа так же развивается, как всякая иная способность человека. Не загромождайте день всякими сверхсильными задачами. Живите *просто*. Так просто, как будто в прошлом не было ничего. И каждый расцветающий день — вновь строящаяся жизнь. И о будущем не терзайтесь. Его нет. Его *вы* ткете своим настоящим. Поэтому каждую текущую минуту живите во всей полноте чувств и мыслей, раз и навсегда изгнав сомнение.

Сэр Уоми и Ананда увели с собой Алису, посоветовав леди Катарине не отвечать ничего на письмо Дженни. Оставшись одна, пасторша взяла в руки прекрасный портрет Дженни. И мысли ее никак не соглашались признать, что нет больше Дженни Уодсворд, а живет Дженни Седелани. Леди Катарина, считая себя главной причиной несчастья Дженни, не могла примириться, что ничем не может помочь в данную минуту дочери. И в то же время понимала, что Дженни сейчас ненавидит ее, как только одна злопамятная Дженни умела ненавидеть. И будет ненавидеть ее еще больше, как только узнает истину своего рождения. В этих печальных мыслях застала ее Дория. Поняв сразу настроение пасторши, она сказала, что леди Цецилия нездорова, а Генри надо ехать на вокзал встречать молодых Ретедли, которых едет встречать вся семья Бенедикта. Пасторша немедленно предложила свои услуги.

— Но ведь вы сами нездоровы. Вы очень бледны и измучены.

— Нет, я совершенно здорова. Мне доставит огромную радость хоть как-нибудь отблагодарить милых родственников, перед которыми я так виновата. — И леди Катарина поспешила к леди Цецилии. Генри, колебавшийся оставить мать, был тронут появлением тетки и спокойно уехал на вокзал. Радостно, шумно, весело были встречены Лиза и капитан. Друзья проводили их до дома, где их ждали счастливые родители. Случай и здесь послал Дженни каплю горечи. Выходя из магазина, она увидела Алису в коляске с лордом Бенедиктом, Лизой и капитаном и за ними целую вереницу экипажей с веселыми людьми. И без того мрачная, Дженни, вернулась мрачнее тучи домой и закатила мужу такую сцену, которая не содействовала ее семейному счастью.

Глава 20

Последние дни лорда Бенедикта и его друзей в Лондоне. Тендль. Смерть и исповедь Мартина. Еще раз музыка. Прощальные беседы с остающимися

На следующий день по возвращении из деревни капитан приступил к своим служебным обязанностям и начал осмотр своего парохода, готовясь к дальнему плаванию. Вечером, оставив Лизу у ее родителей, капитан приехал к лорду Бенедикту, чтобы получить у него указания, сколько и каких кают записать для него. Покончив с делами, лорд Бенедикт спросил Джемса, что его беспокоит и почему у него далеко не сияющий вид.

Капитан улыбнулся и ответил, что хорошо знает, как невозможно скрыть от Флорентийца свои мысли. Но в данном случае все его беспокойство относится к морю, к непрестанным бурям и нескольким катастрофам, происшедшим за последние дни в океане. Воспоминание о последней, пережитой на Черном море буре вставало в воображении храброго капитана и страшило его, ответственного за столько драгоценных жизней, которые он повезет.

— Я и сам не понимаю, почему во мне такое смятение. Правда, последняя буря перещеголяла все, когда-либо испытанное. Правда и то, что никогда в жизни мне еще не приходилось везти так много близких и дорогих людей. Но все же я не понимаю, почему именно этот рейс заставляет меня так волноваться.

— Очевидно, у вас нет уверенности, что если я подле вас, то ничего не может случиться с вами. Если бы в вашем сердце жила *полная* верность тому, кого вы назвали человеком

ваших мечтаний, — в вашем сердце не мог бы жить страх и не могло бы быть даже мысли беспокойства за всех нас и вообще о будущих днях, Джемс. Вы были бы заняты только одним: готовить судно к плаванию в полном самообладании и спокойствии. Надо, чтобы никакой мусор духа, никакие даже самые мелкие личные волнения не нарушали состояния того самообладания, в котором только и может быть выполнено удачно дело человека. Такое *цельное* внимание, *цельное* самообладание составляет необходимость творчества всякого обычного человека. Но вы, Джемс, хотите ведь дальше идти? Вы хотите выйти из обихода мирного и добросовестного обывателя. Вы хотите — как вы мне говорили — идти за мной. Где же та радость, которая льется из вашего сердца, если вами понят путь? Друг мой, если вы вступили на путь *жизни*, надо откинуть предрассудок заботливости, выражающийся в страхе и волнении за кого-то. Как бы вы ни уверяли себя и других, что плачете, тревожитесь, сомневаетесь и страдаете о других, — вы все это переживаете в форме личного страдания только потому, что думаете о себе. Если честно разберетесь, то поймете, что в глубине вашего страдания о людях лежит мука о себе. Если же вы на самом деле будете думать о людях — вы будете всегда незыблемо стоять в верности, то есть в полной памяти о Вечности людей, о *их* единственной цели и счастье: труде для Вечного. И сейчас не о временных наших формах думайте, но развивайте всю отвагу, всю силу Любви, всю *вечную память*, чтобы готовить каждый день свое судно к отплытию в полной радости. Человек иногда говорит: «Злое предчувствие давит меня. Я знаю, что погибну». На самом же деле он ничего не знает. Но дух его слаб и короток для тех испытаний, которые он сам, всей своей вековой деятельностью, вызвал к жизни. Если бы он держал перед глазами духа ясное величие своего вечного пути — он победил бы, несомненно, и на этот раз.

Флорентиец подошел к капитану, положил ему руки на плечи и посмотрел в его глаза с такой лаской и нежностью, что тот почувствовал, как в него проникло точно тепло солнечного луча, захватив в свой Свет все его сердце. И в этом Свете растворилось все волнение Джемса.

— Иди, мой сын. И эту радость, что ощущаешь сейчас, неси во все дела и встречи. Со свойственным тебе тактом, ты не будешь тем гонцом, что кричит на базаре. Ты не будешь навязывать никому своей веры, назойливо объявляя ее единственной истиной. Но уверенность твоего сердца, уверенность от знания, что я с тобой, а следовательно, ты в защитном кольце, передастся каждому, кого ты посадишь на свой корабль. Иди и помни, что моя сеть защитная вокруг тебя. И судно твое дойдет благополучно, хотя бы вокруг него шли бури и катастрофы. Нести свой день труда надо в радости.

Преображенным вышел капитан из кабинета своего великого друга, и ему показалось, что с него спали какие-то неудобно давившие его латы.

В это время сидевшая в комнате матери Алиса старалась успокоить бедную леди Катарину, все еще очень тяжело переживавшую безобразную свадьбу Дженни и ее теперешнюю жизнь. Стоило ей что-либо услышать о свадьбе или жизни Лизы, как моментально в ее памяти вставали картины последних девичьих дней Дженни, ее свадьбы и сцены в судебной конторе. И все существо пасторши наполнялось горечью от сравнения этих двух молодых женских жизней. Услыхав, что у лорда Бенедикта сидит Джемс, пасторша снова заплакала, прильнув к Алисе.

— Детка моя, неужели же жизнь не наградит тебя в двойном размере за все те муки, что выпали Дженни?

— Зачем же мне двойные удачи, мамочка? Единственно, чего бы я хотела, — стать достойной всего того счастья, что свалилось на меня сейчас. Мне иногда кажется, что я не так достойна всех удач, что мне как из рога изобилия сыплются, как вам хочется это

видеть. Вне всяких сомнений, более достойный человек сумел бы на моем месте развить гораздо шире свою энергию.

К ним вошел сияющий капитан, и разговор их прервался. Ласково поздоровавшись, он передал Алисе просьбу Флорентийца спуститься к нему, если она свободна, в девять часов, а пока прислать к нему Сандру, которого он, Джемс, не мог нигде найти.

— Если Алиса свободна? Но я думаю, что если бы Алисе надо было спешить к Господу Богу, то и тогда она отложила бы свое свидание и побежала бы к лорду Бенедикту. Беги, дитя, ищи скорее Сандру. Куда бы это он мог запропаститься?

— Уж я знаю, где искать Сандру, если он пропал, — смеялась Алиса. — Ему взбрело на ум, что он нашел новую звезду в своих математических вычислениях. Потихоньку от всех он соорудил себе астрономический кабинет в левой башне, на чердаке. Наверное, и сейчас там колдует. Бедняга еле-еле владеет собой, так ему тяжело, что он не едет с нами.

— Как я его понимаю! Я бы на его месте тосковал не меньше. Хотя отлично знаю, что навязываться или напрашиваться силком ни на какие, даже простые дела, нельзя. Нельзя выбирать себе дела или судьбу, стоя подле Учителя.

Алиса убежала искать Сандру и нашла его, как и предполагала, в новоявленной обсерватории. Сандра был так увлечен своими наблюдениями, что не только не заметил появления Алисы, но и не слыхал ее оклика. Только когда девушка притронулась к его плечу, Сандра в испуге вскочил и никак не мог понять, что перед ним стоит Алиса.

— Да как же вы могли сюда войти? Ведь я запер дверь на ключ. И как вы могли знать, что я здесь?

— Немудрено войти в открытую дверь, это раз. Еще менее мудрено узнать, что у вас здесь... мастерская, — сказала Алиса, осматривая чердак. — Вы ведь таскали сюда все мимо меня через галерею в вашу обсерваторию, которую правильнее было бы назвать щелью колдуна. Это что за орудия пыток? — указывая на какие-то стойки, выведенные в слуховое окно, смеясь спрашивала Алиса.

— Щель колдуна! Извольте радоваться, — огрызнулся было Сандра. Но, осмотрев свое помещение, которое сейчас осветила Алиса, заваленное ящиками, трубами, чертежами, — присоединился к смеху Алисы.

— Я не сомневаюсь, милая дама, что вы явились к колдуну заказать ему свой гороскоп. Оставайтесь же в старых девах и не мечтайте о дамском чепце, — хохотал Сандра.

— Я не сомневаюсь, что ваше прозрение в мое будущее равно вашему звездному предвидению. Идите-ка лучше к лорду Бенедикту и кайтесь, что испортили часть чердака в его доме.

— Побойтесь вы Бога, Алиса! Неужели же вы разболтали о моей мастерской лорду Бенедикту? Что же это будет теперь? На скачках он сказал, что у меня повыросли четыре ноги, что же он скажет теперь?

— Уж, наверное, скажет, что вы завели себе четыре глаза в подмогу. Идите же скорее, он вас зовет. Вдруг он поднимется сюда?

Сандра схватил девушку за руку, выбежал с нею из узкого чердака и захлопнул дверь.

— Только этого еще недоставало, чтобы вы все подняли меня на смех, — смущенно говорил бедный ученый, спускаясь с Алисой вниз.

— Сандра, да на кого вы похожи? Неужели можно идти к лорду Бенедикту в этой грязной блузе? А руки? Да вы весь точно в саже.

— Бог мой, Алиса, что же мне делать? Не может же...

Перед Алисой и Сандрой выросла мощная фигура Флорентийца.

— В моем доме пара заговорщиков? Где же это вы оба были? Почему ты, Алиса, похожа на полосатую зебру? Да и ты хорош! Ты, Сандра, кузнечное дело изучаешь с Алисой?

Лорд Бенедикт весело смеялся над своими растерянными юными друзьями. Алиса с удивлением увидела на своем платье темные полосы. Очевидно, на чердаке все было в саже и пыли, которых не заметила девушка при плохом освещении, и вся выпачкалась.

— Ну, признавайся, друг, что ты там начудил в башне?

— Да я только сковал там закрепы и не предполагал, что будет так много сажи.

— Хорошо, что ты нас не спалил, — продолжал улыбаться Флорентиец. — Если бы ты мне сказал, что башня тебе нужна для обсерватории, я бы тебе предложил заниматься в правой башне, где у Николая и Наль отличная мастерская. Ну полно, не смущайся. Беги в свою комнату и приводи себя в порядок. После ужина ты зайдешь ко мне. Я побеседую пока с Алисой.

Флорентиец прошел с Алисой в музыкальный зал. Здесь горела только одна лампа. Зал тонул в полумраке, и лорд Бенедикт сел у окна, усадив девушку рядом с собой.

— Чувствуешь ли ты, дитя, как особенно чиста в этой комнате атмосфера?

— Каждый раз, как я вхожу сюда, я как-то особенно радуюсь. Мне становится легче жить, как будто бы на меня сваливается новое счастье. Но с тех пор, как здесь играл и пел Ананда, эта комната стала для меня храмом. В ней я поняла однажды, после того как вы в ней пели, *что* представляет собой песня. Но ваша песня была так величественна, так недосягаемо, божественно высока, что она не вызвала во мне ничего, кроме экстаза молитвы и преклонения. У меня даже не мелькнуло дерзновение надежды когда-либо достичь возможности приблизиться к этому совершенству. Когда же стал играть и петь Ананда, я тоже преклонилась перед его искусством. Но я сразу почувствовала, что эта музыка может быть достигнута человеком. И теперь, входя сюда, я попадаю точно в храм моих мечтаний. Я как будто бы понимаю, что в моем земном пути мне придется трудиться в музыке не как в личной радости, но как в предназначенном мне пути служения. Не подумайте, что я хочу сказать, что надеюсь играть и петь, как Ананда. Я знаю только, что предел того, чего *можно* достичь, отдавая все свое бескорыстие любви искусству, указан Анандой.

— Это так, Алиса. Но в этой твоей жизни перед тобой стоят несколько сложных задач. И ни об одной из них нельзя сказать, которая же из них главная. Семья, глубочайший смысл которой и задачи ты знаешь. Музыка, значение которой ты постигла. Сестра и мать, для спасения которых перед тобой проходит все дно их несчастья, — все одинаково важно для той роли общественной деятельности и служения людям, для которых ты попала в мой дом и встретилась здесь с группой людей, предназначенных строить общину нового типа единения людей. Ты уже видишь две семьи, семью Наль и семью Лизы. Перед тобой проходят путь две будущие матери. И тебе надо наблюдать их постепенный рост, их ошибки, волнения, разлад, восторги и счастье. Только тогда ты войдешь в круг материнских дел и обязанностей, когда освоишься с ними на чужом, близком примере. Ты поймешь всю их важность, ответственность и сумеешь сама нести их легко, весело,

просто. Но когда же ты *сможешь*, друг мой, быть настолько внутренне свободной, чтобы создать легкую и радостную жизнь семье, где бы люди, глубоко и широко психически одаренные, могли развиваться без помехи, в полной освобожденности? Когда ты будешь в состоянии стать во главе такой семьи, которая перевернула бы быт всех тех уродливых и затхлых семей, которые погибают в удушливых парах собственных страстей, называя их любовью? Чудовищное насилие, навязывание всем и каждому своих представлений и своих понятий. Выбирание детям компании по своему вкусу, а не по необходимому росту их дарований — все это называется в семьях обывателей словами любовь, забота, опека. Только тогда ты *станешь* истинной матерью-воспитательницей, когда выбросишь три понятия из своего жизненного пути. Первое — *страх*, второе — *личное восприятие* текущей жизни и третье — *скорбь*. Подумай, что такое *страх*. Это самое сложное из всех человеческих ощущений. Оно никогда не живет в человеке одно, но всегда окружено целым роем гадов, не менее разлагающих самое ценное в духовном мире

человека, чем самый страх. Страх заражает не только самого человека, он наполняет вокруг него всю атмосферу тончайшими вибрациями, каждая из которых ядовитее яда кобры. Тот, кто заполнен страхом, — подавлен как активное, разумное и свободно мыслящее существо. Мысль только тогда может литься, правильно улавливая озарения интуиции, когда все существо человека действует гармонично, в равновесии всех сил его организма. Только тогда ты *попадаешь* — через сознательное — в то сверхсознательное, где живет божественная часть твоего творящего существа. Если же мысль твоя в каменном башмаке страха — тебе невозможно оторваться от животной, одной животной части

организма. Твой дух не раскрывается. Люди, воображающие себя духовно озаренными, а на самом деле только изредка сбрасывающие с себя башмаки страха, самые жалкие из всех заблуждающихся. Их вечные слезы и стоны о любимых — на самом деле только жалкие обрывки эгоизма и плотских привязанностей к текущей форме, без всяких порывов истинного самоотвержения. Люди, подгоняемые по земле страхом, — это не полноценные человеческие существа. Строить великие вещи, создавать жизнь как ее строители они не могут. Они живут только в мире текущих форм, а все, что способно *создавать*, живет *в двух* мирах: в мире трудящейся земли и трудящегося неба. Дух таких строителей переносит на землю сияние тех форм Вечного, которые они видели, запечатлели в своей памяти и вынесли в своем творчестве для счастья и движения вперед современных им людей. Второе понятие, от которого тебе надо освободить свой дух, — *личное восприятие жизни*. Что это значит? Как тебе, Алиса, молодому существу, призванному жить полной жизнью, существу, которое в каждую летящую минуту должно отдавать *всю* полноту чувств и мыслей каждому делу до конца, как тебе понимать эту освобожденность от давления своего низшего «я», принадлежащего одной земле? Все, мой друг, в человеке живущее, так крепко спаяно одно с другим, что нельзя вырвать из себя какого-то одного чувства, чтобы весь организм не ответил эхом тому или иному движению духа. Если ты сегодня, в эту минуту, поддалась страху — *весь* твой организм заболел. Если ты двинулась в радости и героическом чувстве — ты вплела в весь свой организм те залоги победы, которые через некоторое время войдут в действие всей твоей жизни. Если ты победила *страх*, потому что *зна-*

ешь в себе божественный храм сердца, — ты уже сдала первый урок, сделала первый шаг к жизни *в вечном*. Если же ты *живешь* в Вечном, ты *знаешь*, что для тебя нет таких мгновений разъединения, когда твоя земная жизнь в данной форме может идти сама по себе, вне Вечности, в тебе живущей. И ты идешь каждое мгновение земной жизни, неся эту Вечность всем делам и людям. Каждая минута земной жизни для

тебя — только мгновение текущей Вечности. Когда ты твердо знаешь этот закон мировой Жизни — для тебя нет условных чувств и страстей, условных сравнений своей судьбы с судьбами других людей, а следовательно, нет зависти, ревности и суждений, идущих от одной плотской любви. Исчезают понятия: мой дом, моя семья, мои дети, мои друзья и т. д. У тебя есть только радость сознавать, что все живущее на земле идет, как и ты, в своих *вечных* задачах. Отсюда уже само собой вытекает то третье понятие, что так мучит и тяготит каждый летящий момент жизни человека. И не только тяготит, но и не дает ему возможности увидеть *всю* свою Жизнь, то есть жизнь в двух мирах. Я говорю о *скорби*. Тебе известно древнейшее из изречений: «Глаза, которые плачут, не способны видеть ясно». Если ты знаешь бесстрашие не от ума, а от раскрывшегося для любви сердца — ты знаешь путь Вечного. А если ты знаешь путь Вечного — ты знаешь, что твоя земная жизнь есть труд двух миров. И ты уже не выбираешь, что *тебе* выгоднее и удобнее, ты творишь *всей* полнотой сердца свой трудовой день, принимая радостно все *свои* обстоятельства как именно те, в которых тебе короче, легче и проще изжить это протекающее мгновение. Ты видишь в нем *свое служение* Жизни, в той форме, в том месте и времени, в которых *она* нуждается для счастья людей. Не личное твое «я», но то, что идет через тебя, составляет твою задачу творчества в дне. Раз ты приняла эти два положения, отсюда логически вытекает вывод, как простое следствие: нет скорби. Если видишь страдания человека — не плачь о нем, ибо слезами помощи не подашь. Помощь — это твое ясное *видение* Вечности в человеке. Ясное понимание, в каком месте *своей* эволюции Вечного движения Жизни стоит данный человек. Только тогда, когда ты сама стоишь перед встречным в полном самообладании и мужестве, ты можешь увидеть — скрытое за слезами его условной скорби — вечное счастье человека. Можешь увидеть и понять его счастье подобрать звено, выпавшее из

ужасной, связывающей человека цепи его прежних страстей и преступлений. Ты сможешь увидеть, что для человека настал момент подобрать, радостно изжить и вынести на своих плечах не только это звено, но и всех тех людей, кто помогал сковывать эту давящую цепь своими взаимными оскорблениями, огорчениями, ссорами, предательством и изменой. Всякая скорбь, в которой люди плачут, — это скорбь невежественности, скорбь о себе, от личного восприятия данного факта. Запомни же, дорогая, что скорбь — это мысли о себе. Это связь в условной форме, в забвении о вечной жизни человека. В забвении о его сияющей свободе, которую ничто не может связать, в забвении о его внутреннем Свете, которого ничто не может затемнить, кроме самого человека. Чтобы тебе, дорогая дочь моя, выполнить задачу этого воплощения, тебе надо найти так много радости и любви, чтобы войти на ступень выше, где эти понятия уже не живут в психике людей. Не удручайся, что тебе еще так далеко до этой ступени. Ты к ней ближе, чем думаешь. Иди теперь, сбрось это платье и приходи ужинать. Я уже слышу гонг Артура. Кстати, завтра мы поедем на могилу твоего отца. Скажи об этом Артуру и матери. Вели садовнику срезать все лучшие цветы. Это будет наш прощальный визит отцу. Мы зайдем и в твой дом, где поселим семью родственников Дории.

Алиса едва успела переодеться и вошла в столовую последней.

— Я тебя нигде не могла найти, Алиса. Мы с Николаем задумали попросить тебя поиграть нам после ужина, — сказала Наль.

— Прекрасная идея, — поддержал Ананда. — Я буду очень рад принять участие в музыке. Я получил новые ноты от Анны. Она с увлечением пишет мне о новом концерте для виолончели композитора Б. Вы, Алиса, не откажетесь разобрать его со мною?

— Боюсь, что не сумею сыграть сразу так, как вам нужно. Но если вы мне дадите час времени, я проиграю партитуру одна — тогда у меня будет больше смелости и уверенности не испортить вам вещи.

Наль протестовала, Сандра, которого разрывало два желания — и к лорду Бенедикту идти, и услышать новый концерт, — ратовал за предоставление Алисе времени для просмотра; Амедей, которому надо было съездить куда-то на час, присоединился к просьбам Сандры. Хозяин дома примирил всех, предложив послать коляску за Лизой и Джемсом, а также за стариками Р. и дать возможность всем услышать новое произведение. На этом решении все разошлись после ужина. К Ананде и Алисе, отправившимся репетировать, присоединились сэр Уоми и Санжер, а Флорентиец и Сандра ушли в кабинет хозяина.

— Тебе все еще кажется великим горем разлука со мною, Сандра? Ты не можешь переварить спокойно мысли, что Генри едет со мной, а ты остаешься?

Сандра глубоко вздохнул и не сразу ответил:

— Сказать, что я по-прежнему воспринимаю разлуку с вами, дорогой Учитель, как катастрофу, — я не могу. Я теперь знаю, что должен так многому научиться в два года, что дни и ночи буду занят. С другой стороны, Генри так работает над собой, так переносит свою разлуку с Анандой, столько рыцарства в его поведении по отношению к тетке, матери и Алисе, что я давно перестал считать себя более достойным вашего общества. Я стараюсь выполнить и даже перевыполнить программу, данную мне вами.

— Поэтому ты и решил потихоньку смастерить себе обсерваторию, — улыбнулся лорд Бенедикт.

— Нет, я не так наивен, чтобы думать, что от вашего взора можно было что-либо скрыть, — рассмеялся Сандра. — Я просто надеялся, что успею больше сделать прежде, нежели ваш взор меня откроет. Я не воспользовался лабораторией Николая не из соревнования, а потому что отшлифовал сам себе новые стекла, за которые только сейчас могу поручиться, что они хороши. Моя кустарщина только внешне безобразна, но трубы мои, по-новому мною рассчитанные, теперь уже испытанные, — хороши. Кроме того, Николая и мой методы совершенно различны. Если оба мы правы — мы новое светило найдем. Я говорю обо всем вкратце, потому что знаю, как вы все понимаете с полуслова. Что касается моей скорби о разлуке с вами, мой друг, мой отец, хотя я вам сказал, что это больше для меня не катастрофа, но... быть второй раз слабее женщины для меня теперь уже невозможно. Сейчас я живу в работе и всегда ощущаю вас настолько близко, точно вы рядом со мной. Если бы я проводил вас месяц назад, я плакал бы день и ночь, долго был бы болен, не мог бы трудиться, и скорби моей не было бы конца. Теперь я нашел вас в труде. Стоит мне начать заниматься и подумать: «Для Общины», — все мои мысли перестают быть тяжело движущимися жерновами. Я вижу вас рядом с собой, я советуюсь с вами, мне даже чудится, что я слышу, как и что вы мне советуете. Иллюзия, до смешного яркая, жила даже на моем чердаке, который злючка Алиса прозвала щелью колдуна. Иллюзия вашего тихого голоса — не такого, каков он на самом деле, а как-то странно, не то внутри меня, не то откуда-то издали звучащего, но звучащего настолько полно, что я радуюсь общению с вами точно так же, как радуюсь сейчас. Резюме мое: нет для моего духа разлуки с вами. Ну а тело — тело будет жить трудом, надеждой стать достойным вас и благодарностью за то, что вы оставили меня подле Ананды. Разлука с вами, любимый отец и друг, — это для меня тот пробный камень, на котором я должен закалить свою волю. Я так наивен во всех жизненных делах, что если бы не Амедей, всегда меня выручающий своими заботами, я забывал бы о самых элементарных вещах, ходил бы в лохмотьях и т. д. Я должен научиться быть полезным еще и Амедею, который — я ни на минуту в этом не сомневаюсь — страдает больше моего, разлучаясь и с вами, и с Алисой.

— Сандра, бедный и вместе с тем богач Сандра. Твоя радостность, твоя легкость, с которыми ты принял огромный труд, что я на тебя взвалил. Та простота, с которой ты

подошел к задаче, что я тебе поставил. То, что ты ни разу ни в чем не отрицал тех обстоятельств жизни, что вставали перед тобой, провели тебя к мудрости дальше, чем могли бы тебя провести годы ученичества, если бы ты умничал и ждал, пока внутри тебя что-то созреет для активных дел, среди людей, указанных тебе. Я не могу открыть тебе сейчас той счастливой кармы со всеми людьми, которыми ты сейчас окружен. Но я могу поздравить тебя, что последние сучья между тобой и Генри, между тобой и Амедеем ты вынул сегодня. Видишь ли, друг мой, есть много людей, ищущих всю жизнь Бога и дел Его. Всю жизнь они мечтают об Учителе, о пути с ним и жизни подле него. А когда, тем или иным путем, заботами невидимых трудящихся неба, они подходят к тропе, на которой могут встретить Учителя, они начинают отрицать эту тропу, видят в ней прежде всего земную форму, не видя Вечности, куда по ней можно прийти. И выходит, что им важна была не весть, которая до них дошла, а муравей, что ее принес. Внимание их концентрируется на муравье и на их собственном духовном умничанье, которое равно убожеству. В тебе нет мелочности. Ты видишь

величие Жизни во всех путях и формах. И с данного момента, когда ты полностью принял свой урок разлуки со мной без слез, без отрицания, без слабости, когда ты в полном мужестве и верности начал трудиться для общины, ты выполнишь свою задачу раньше, и раньше двух лет начнешь строить с нами общину. В твоих печалях не последнее место занимает Дженни, Сандра. У тебя чешутся руки помочь ей. Здесь ты должен призвать себе на помощь всю твою ученическую верность мне. Я запрещаю тебе входить в какие бы то ни было сношения с Дженни, как и со всей ее компанией. В данную минуту ни ты, ни Алиса, ни я, ни Ананда ей помочь не сможем. Я жду, что Дженни, не подозревающая, что мы уезжаем и увозим с собой Алису, непременно сделает нападение и на тебя и на Тендля, считая вас обоих совершенными простофилями, и будет писать вам душераздирающие письма. Не верь ни одному слову в них. Дженни полна не скорбью, а злобой. Не печаль разлуки, не мука отверженной, как она будет тебе писать, а зависть и терзания ревности разрывают ее. Дженни думает только о мести. Итак — мое вето любви лежит на тебе по отношению к Дженни. Иди теперь, благодарю тебя за верную службу, надеюсь, что отныне ты уже всегда будешь все ближе, крепче и бесстрашнее идти за верностью моею.

Флорентиец обнял юношу, проводил его до двери, у которой его уже ждал мистер Тендль, чрезвычайно взволнованный. Флорентиец впустил его в кабинет и сказал Сандре:

— Попроси Ананду не начинать музыки, пока я не приду.

— Ну что, мой бравый капитан?

— Ох, адмирал, я еще никогда не был в таком смятении за всю мою жизнь, — ответил Тендль, тяжело опускаясь в кресло и опуская голову на руки. — Мартин умер полчаса назад. И вот этот ужасный пакет он просил передать тому человеку, которого встретил в вашем кабинете в тот день, когда залез сюда через окно. Я так и не мог добиться от него, кто же был этот человек.

— Это был я, — сказал незаметно для Тендля вошедший и остановившийся за ним князь Санжер.

Тендль, нервы которого были натянуты до последней степени, сильно вздрогнул от неожиданности.

— Я понимаю, как вы должны быть расстроены, если так долго пробыли с несчастным Мартином и несли в руках плод его многочисленных преступлений, — продолжал он,

указывая на сверток, который Тендль положил на стол. — Возьмите мою конфету, она подкрепит вас лучше всяких успокоительных капель.

Тендль машинально взял в рот конфету. Он не мог собрать своих мыслей и не знал, с чего начинать свой рассказ.

— Итак, капитан, поручение мое превысило ваши силы? — спросил Флорентиец.

— О нет, адмирал. То ли конфета князя обладает какими-то волшебными свойствами, то ли пакет Мартина внушал мне такое отвращение, — только я уже владею собой и могу рассказать все толком. В тот день, как вы мне приказали, я отправился к Мартину. Я нашел его совершенно запущенным, брошенным, больным. Я нанял ему отдельную палату в одной из частных лечебниц, пригласил к нему сиделку и поручил его наблюдениям нескольких врачей. Каждый из них интересовался болезнью пациента, охотно брал деньги

за визиты, но все их лечение сводилось только к этим визитам. Наконец один из них сказал мне, что надежды на спасение больного нет никакой. Но при хорошем воздухе, питании и уходе можно надеяться на возврат памяти и речи на несколько недолгих дней. Я послушался врача, перевез Мартина в тихий дом на окраине, и там он три дня назад заговорил. — Тендль немного помолчал, несколько раз глубоко вздохнул, как бы желая выдохнуть из себя что-то тягостное. — Я не помню, чтобы когда-либо в жизни я был так несчастен, как я был эти дни. Мартин сознавал, что он умирает, и весь первый день его речь была сплошным проклятием Браццано и Бонде, до седьмого их поколения. Влетело здесь и Дженни, о которой он говорил такие чудовищные вещи, которые можно объяснить только его безумием и которых я не решаюсь повторять. В середине второго дня в больном произошел перелом. Ему стало чудиться, что он видит того человека, с которым встретился в этой комнате. Вместо проклятий, он стал взывать к милосердию и молил подарить ему фиалку. Он клялся, что никогда не крал кольца, что кольцо с фиалками из аметистов, за которым Браццано гонялся по всему свету, украл подкупленный лакей. Но что затем кольцо было передано одному из агентов Браццано и исчезло у этого агента самым загадочным образом, когда он возвращался уже домой в Константинополь. Судьба этого кольца, с которым Браццано связывал часть

своей власти над вами, князь Санжер, никому не известна. Много еще непонятных и безумных вещей говорил Мартин. В своих воображаемых беседах с вами он вел и свою исповедь. Я не мог себе вообразить, что жизнь человекообразного существа может пройти в подобного рода разврате и падениях. Я пытался остановить его, убедить, что никого,

кроме меня, в комнате нет. Он приходил в буйство, швырял в меня чем попало и укорял, что я мешаю ему очиститься в последней исповеди хоть настолько, чтобы Браццано не мог беспокоить его дух, вызывая его после смерти и заставляя повиноваться и служить его грязным целям. Он кричал, что вы, князь Санжер, обещали ему спасение и защиту, если он откажется от злой жизни и возвратит часть уворованного добра тем невинным, кого он сделал нищими. Вот в этом ужасном пакете, как он уверял вас в своей зрительной галлюцинации, вы найдете документы его сестры, матери, жены, сына, которых он пустил по миру за их нежелание разделить его разбойничью жизнь. Он уверял, что здесь его шкатулка, полная драгоценных камней, с которыми он хотел бежать от своей шайки, ожидая удобного случая. Он просил вас разделить эти сокровища между обворованной им своей семьей и — ужасно выговорить! — между детьми женщины, которую он обманул, бросил и довел до виселицы, взвалив на нее свое преступление и подкупив судью и стражу. У меня нет сил передать вам весь ужасный синодик Мартина, я запомнил только число жертв, им погубленных на виселице, в каторге и тюрьме, — это цифра 140, которую он повторял мне несколько раз, вернее твердил ее вашему воображаемому образу.

Беспрерывный разговор с вами, исповедь, с немыслимыми подробностями издевательства над своими жертвами, продолжалась почти до вечера. Только часа два тому назад он утих, стал благодарить вас за милосердие. Но к Браццано ненависть его осталась такой же жгучей, и несчастную Дженни он проклинал, навязывая ей чудовищное родство. Не веря ни одному слову из всего того, что Мартин говорил о Дженни, я все же в полном ужасе от компании, куда попала несчастная девушка. Независимо от слов Мартина, вспоминая сцены в конторе, я мучаюсь бессилием помочь Дженни. Я ничего не знаю о ее жизни сейчас. Но на днях я случайно зашел в музей повидать своего приятеля, который там работает. Проходя через Египетский отдел, я вдруг увидел Дженни, которая не видела

меня. О, Господи, я, должно быть, не забуду этого лица, пока моя память будет работать. Большего отчаяния, большей скорби на женском лице ни один художник еще не изобразил. Только у дверей рая отверженное существо могло бы так смотреть, ожидая, не выйдет ли из его дверей какой-нибудь спаситель.

— Да, дорогой Тендль, — сказал Санжер, — Дженни действительно ждала. Но ждала она не спасителя, а жертву себе, свою невинную сестру, которую приказал украсть и привезти для гнусных целей Браццано. И что Браццано отец Дженни, к сожалению, это единственная правда, которую сказал вам умерший злодей. В его исповеди все пропитано ложью, в которой он привык жить. Многое, гораздо более ужасное, он скрыл, а многое исказил так, что и следов не найти, если бы пришлось отыскивать жертв его подлости по его указаниям. К счастью, некоторых из них мне уже удалось отыскать. Я встретил сына Мартина и помог всей его разоренной семье, отчаянно нищенствовавшей, снова стать на ноги. Теперь вопрос только в передаче им части содержимого этого пакета да отыскать детей невинно повешенной женщины. Это была венгерская цыганка красоты редкой. Я беру на себя это нелегкое дело. Что же касается Дженни, то с вами, конечно, поговорит ваш верный друг Флорентиец. Я же должен немедленно выехать в город.

Санжер поспешно вышел из кабинета, обменявшись многозначительным взглядом с Флорентийцем.

— Кто этот Флорентиец, адмирал, и почему бы он был мне другом, да еще верным?

— Это я, мой капитан, а потому не удивительно, что я вам верный друг. Я действительно родом из Флоренции. Когда-то, очень давно, у меня были основания скрывать свое имя. Я слыл под прозвищем, которое с годами стало моим именем. Так я и остался Флорентийцем. Но об этом мы поговорим когда-нибудь еще. Сейчас я хотел бы объяснить вам, что Санжер вовсе не жесток к Дженни, как вам это показалось. Помните ли вы наш первый разговор в деревне? Я говорил вам о такте человека. О понимании, куда, как, когда *можно* идти, неся свою помощь. Сегодня вам надо понять, как *нельзя* врываться в чужую жизнь, предлагая свою помощь, если *сам* не обладаешь достаточными знаниями, помимо отваги и храбрости. Если бы вы бросились сейчас на помощь Дженни, не зная даже, как защититься от гипноза такого мелкого злодея, как Бонда с его племянни-

ками, — результат был бы один: у Бонды был бы лишний слуга на роли Мартина. Для него это была бы большая находка, для Дженни лишний лакей, без чести и совести, которых она лишила бы вас при помощи своего отца. Ну а для вас — решите сами, мой капитан, в каком положении нашел бы я вас, когда явился бы вас выручать. Если вы желаете и дальше быть моим сотрудником, моим капитаном, то вот вам мой приказ: не входить ни в какие разговоры,

свидания и переписку с Дженни. Вы должны оберегать Алису и не допускать к ней, пока мы в Лондоне, никого из компании Дженни, не только ее самое. Если вы искренне сострадаете Дженни и дорожите ее возможностью быть когда-то вырванной из кольца зла,

куда она сейчас прочно попала, хотите в действительности, а не на словах помочь вечному спасению Дженни, — ни шагу дальше тех границ, что я ставлю вам сейчас. Я сказал Дженни при вас, что именно тот, кого она так оскорбила, сможет быть ей спасителем и своей рукой приведет ее в дом сестры. Но «сможет» не значит «будет». Чтобы это совершилось, надо, чтобы у вас были силы. Чтобы вы обладали таким знанием, такой верностью и самообладанием, чтобы не дрогнуть в ту минуту, когда понадобится ваше сострадание до конца. Только тогда вы будете в состоянии подать руку помощи Дженни, когда в вашем сердце не будет места слезам жалости. То есть когда вы, сострадая Дженни, будете мужественно видеть не одно текущее на земле ее существование, но будете видеть и вечно держать в памяти *всю* ее жизнь. Когда вы научитесь понимать, что представляет из себя *весь* труд ее жизни, когда вы будете точно знать и ясно видеть, как идет жизнь человека в его орбите земли и в его орбите неба. Мертвого, отдыхающего неба, Тендль, не существует. И вообще не существует в мире не творящих, праздно лежащих точек. Земля под паром — и та не отдыхает, творя и готовясь энергично к новом периоду плодородия. Вы, человек, видите многие миллионы движущихся двуногих созданий. Но потому-то вы и видите среди них так много праздношатающихся, что это еще не люди-творцы и строители на общее благо, а это только еще готовящиеся к стадии человеческой полусознательные существа, изживающие низшую стадию своей личности. Многое вам надо понять. Много знаний приобрести. Хотите ли? Вы дали мне обет идти за мной во всей своей верности. День за днем ваша верность должна все крепнуть.

День за днем должно возрастать ваше бесстрашие, чтобы вы могли идти все ближе и выше и дальше за мною. Я не стою на месте. Я следую неустанно за Теми, Кто подал мне руку своего сострадания и любви. Моя верность движется за их верностью, как *их* верность движется за вечным движением Великих Сущностей. И в этом вечном и неустанном движении к Совершенству — весь закон всей вселенной. Если сердце ваше радуется влиться в это вечное трудовое кольцо, если мысль ваша счастлива знать Свет, повторите мне свой обет добровольного послушания и идите всей вашей верностью за мной до конца.

— Есть, адмирал, повторяю радостно, легко мой вам обет послушания. Счастлив, где не понимаю, беспрекословно выполнять указанное вами. Где же буду понимать — рад служить вдвое.

— Итак, мой друг, вот вам мои первые указания: ни одного слова в ответ на письма Дженни. Ни одного свидания с нею, хотя бы она обращалась к вашей чести джентльмена и просила помощи как женщина. Закаляйте волю. Смотрите без осуждения на все зигзаги в ее поведении и шлите ей то сострадание, которое может предотвратить хотя бы одну каплю ее лишних мучений, то есть, смотря на нее в ее сегодняшнем бесчестии, раскрывайте шире сердце. Собственной вашей любовью стройте ей мост. И на этом мосту, по его чистым доскам, которые вы сложите сами одну за другой, Дженни сможет когда-нибудь ухватить вашу мужественную руку и перейти из отчаяния и безнадежной гибели в счастливый дом Алисы. Это пока все, что я даю вам в урок. Теперь пойдемте слушать музыку, нас ждут.

Флорентиец пожал обе протянутые ему руки Тендля и вышел вместе с ним в музыкальный зал. Зал был ярко освещен и сиял, точно торжественный храм. Вся семья была уже в сборе. Граф и графиня Р., Лиза и капитан устремились навстречу входившему Флорентийцу, благодаря за неожиданную радость музыкального сюрприза.

— Я счастлив доставить себе удовольствие — увидеть всех вас моими гостями. Но все же и вы, и я обязаны сегодняшней радостью Ананде, который нас, конечно, приведет в восторг.

Всем хотелось быть поближе к Флорентийцу, и потому возле него образовалось нечто вроде амфитеатра. Всех, кому суждено было расстаться с ним вскоре, Флорентиец усадил ближе к себе. Тех же, кто ехал с ним в Америку, он отослал к сэру Уоми, занявшему место в глубине комнаты. И на этот раз, как только смычок Ананды коснулся струн, все головы поднялись, все глаза впились в музыканта, чтобы не оторваться от его сияющего лица до последнего звука. И снова увел Ананда слушателей из царства форм и времени. И снова каждый присутствующий забыл все условное, раскрыв настежь двери своего сердца и разбив все перегородки между собой и своим окружением.

Одно великое, божественное выливалось из сердец слушателей, и, казалось, нет отдельного дыхания каждого, есть что-то Единое, нераздельно слитое и спаянное в монолитный шар чарующими звуками Ананды. Только когда замер последний звук, люди ощутили себя снова людьми земли, точно с усилием влезая в привычный телесный футляр. Но Ананда не дал людям долгой передышки. Он запел, сам себе аккомпанируя на рояле.

Алиса, так недавно говорившая Флорентийцу, что в песнях Ананды поняла человеческие возможности, теперь поняла, что не каждый бескорыстный и преданный искусству человек может достичь того совершенства, что достиг Ананда. Она была потрясена. Так, казалось ей, Ананда не пел еще ни разу. Алисе чудилось, что это не были звуки человека. Это была стихия, нечто не от земли летящее, но на землю слетающее из какого-то другого мира.

Языка, на котором пел Ананда, Алиса не понимала. Даже приблизительного смысла слов не различала, мозг ее точно перестал работать. Ей казалось, что она рассталась с телом. Все вокруг нее заиграло чудесными яркими красками. Алиса видела не Ананду, каким его знала, но огромный, переливающийся всеми тонами перламутра шар, казавшийся ей прозрачным. Неописуемой красоты бабочки, как огненные, летали вокруг шара, создавая иллюзию колеблющегося воздуха.

Звуки казались ей пестрыми лентами, они сплетались в геометрические фигуры, а руки Ананды сыпали снопы искр и света на клавиши. Алисе стало казаться, что она сделалась еще легче, что она куда-то поднимается вверх, кружится среди всего этого сияющего шара и огней, и вдруг она увидела рядом с собой отца.

— Алиса, мгновение — и кончена земная жизнь. И нет возможности перенести на землю ничего из вновь постигаемого. Помни об этом. Помни, что те, кто может через искусство пронести человеческое сердце и сознание в мир сверхсознательного, где ты сейчас находишься, — это не люди, а самоотверженные частицы божественной Мудрости. Они соглашаются нести человеческую форму, чтобы проложить людям путь Света. Надо за ними идти. Им надо служить, чтобы на своем грубом теле выносить Их энергию в те грязные, суетные и страстные места, где Им самим идти уже невозможно. Помни. Храни чистоту и входи смело всюду, куда Они тебя посылают. Но ни под каким видом не ходи туда, где Ими для тебя положен запрет.

Песня кончилась. Алиса точно тяжело упала. Она оглянулась вокруг и увидела, что сидит в кресле, что возле нее сидит сэр Уоми и держит ее руку.

— Молчи, дитя. То, что ты видела и слышала, только для тебя одной, только твое. Ты видела, как огонь творчества раскрывает двери духу. Тот, кто однажды это видел, когда-то сможет сам проникнуть в эту сферу творчества. Ни слова никому, — сказал сэр Уоми.

— Друзья мои, — поднялся с места Флорентиец. — Сегодня Ананда дал нам прощальный концерт. Через самое короткое время капитан Ретедли увезет нас в Америку. Пусть эти

священные мгновения счастья жить вне всяких условностей, которые мы пережили сейчас, когда у каждого из нас, в той или иной форме, родилась новая творческая энергия, новое понимание, как надо жить освобожденными и радостными, останутся навек в памяти у каждого из нас. Вдали, вспоминая друг друга, будем помнить именно эти минуты единения в красоте. Будем благословлять Ананду. Он помог нам раскрыть в себе все наши высшие силы Любви. И, благословляя его, перенесем наше счастье жить, поняв возможность подниматься в такой высокий путь Света, нашим страдающим ближним. Прими, Ананда, дорогой друг и брат, в моем поклоне нашу общую тебе благодарность. Когда тебе аккомпанирует человек земли, обычного человеческого уровня и развития, ты шлешь земле песни очищения для человеческих страстей. Люди тогда слышат в твоих песнях всю скорбь земли и всю ее радость. Они понимают, чего может достигнуть человек, творя для своих братьев тропу к пути красоты. Сегодня ты не взял никого из спутников земли, чтобы разделить твои песни. Ты подал нам всю гармонию твоего существа, всю Мудрость, живую, растворенную в твоей доброте и сострадании. Ты принес нам живое небо на скорбную, заплаканную землю и показал нам

сияющий его кусочек. За одно мгновение твоей песни мы утвердились в добре. Каждый из нас по-своему понял, как он далек от совершенства. Но каждый не отчаялся его достичь, а только сознал в себе силы такта и радости. Силу творить творить как может и умеет. Но без слез, без раздражения, без тупого упорства и упрямства, а, наоборот, откинув личное самолюбие и расчеты, легко и бескорыстно. С этого момента каждый из нас уже не может и не будет жить одной землей. Но всегда будет знать, что в нем и с ним живет и трудится живое небо. Будь благословен, Ананда. Привет и поклон твоему огню, пусть он горит также ярко всю вечность, чтобы всякий встретивший тебя омылся радостью в твоей атмосфере.

Не дав Ананде ответить на его речь, Флорентиец обнял его и стал прощаться со своими гостями, говоря, что неотложные дела отзывают его.

Все поспешили разойтись по домам и комнатам, чтобы пережить еще раз все наедине, что каждый в этот вечер понял. Лица прощавшихся с Анандой, выражали благоговение и благодарность. Но слов никто не говорил, боясь нарушить очарование внутреннего счастья, с которым каждый уходил. Уходя и понимая, что это последний вечер, проведенный вместе в музыке, никто не уносил трещины тоски в сердце. Для каждого уже не было «последнего» мгновения. В каждом билась огромная энергия, знание Вечного не как принципа и идеи, но как радостного, чистого труда. Условность понимания личного бескорыстия отпала. Вместо нее родилось ощущение в себе *ожившего* аспекта Жизни, в себе носимой.

Возвратясь к себе в кабинет, Флорентиец послал Артура за Амедеем. После разговора с лордом Бенедиктом в деревне, Амедей почти все свое свободное время посвящал архитектуре и инженерному делу. Незаметно ни для кого, но очень внимательно руководимый Флорентийцем, Амедей до неузнаваемости изменился не только внутренне, но и внешне. Прежде рассеянный добряк, не умеющий никого привлечь к труду, а наоборот, портивший всех своей добротой, теперь Амедей стал вникать пристально в дела людей, поняв, что без урока практической деятельности ему не построить той семьи, где могла бы жить и выполнить свою задачу Алиса. Умный и наблюдательный от природы, он поражался жизнью лорда Бенедикта. Он не был в силах даже охватить всей разнообразной деятельности своего друга — хозяина дома.

Огромная переписка, постоянное пополнение библиотеки, внимание, от которого ничто не могло укрыться, и неизменная ровная сила любви и доброты к каждому потрясали Амедея. Ни разу не пришлось ему услышать раздраженной ноты в голосе лорда Бенедикта, когда голос этот бывал грозным. Сегодня Амедей, видевший, с каким

преклонением Ананда всегда говорил с Флорентийцем, был поражен величайшим смирением, звучавшим в голосе Флорентийца, когда он благодарил Ананду за песни.

Так смиренен был поклон Флорентийца, как будто самому Богу, а не Ананде кланялся Флорентиец. В душе и сердце Амедея, не умевшего делать ничего наполовину, все еще не заживала маленькая ранка, откуда — так ему казалось — все еще капали капельки крови. В великом сознании счастья всей своей жизни он обожал Алису, ставя ее на пьедестал, и... всегда думал, что ему рядом с нею на этом пьедестале места нет. Если бы не вера в безошибочность знаний своего великого друга, он уже десять раз просил бы Флорентийца освободить его от брака с Алисой. Обожая девушку, он чувствовал себя возле нее легко и просто только тогда, когда сознавал себя ее братом, защитником и другом. Как только он начинал думать об Алисе как о будущей жене, он терял всякую бодрость, становился робким, молчаливым, казался себе не умнее вороны, мечтающей о павлиньих перьях.

В результате своих мук Амедей стал избегать Алису и всякой возможности быть с ней наедине. Девушка, казалось, сначала не замечала его поведения, но затем он стал ловить на себе ее взгляды, где блестели искорки юмора, такого особенно острого у девушки. За последнее время он стал подмечать печаль, вопрос и даже тревогу в ее чудесных глазах, когда она смотрела на него. Сегодня, когда Алиса играла с Анандой, он, по обыкновению, внимательно следил за нею и восторгался всем в ней, сливая ее и музыку воедино и забывая обо всем. Но он не терял ощущения плотных форм, он отлично сознавал все окружающее, знал, что перед ним сидит Алиса, которую он обожает и без которой для него нет не только радости, но и жизни вообще.

Что же случилось, когда Ананда запел один? Почему он, Амедей, забыл об Алисе? Забыл о своем личном счастье. Забыл о времени, равенстве и неравенстве кого-то кому-то. Он *знал* теперь, четко и ясно, что *жизнь* — это и есть та полная свобода от возможности страдать и бояться. Что жизнь земли полноценна только тогда, когда в свободном сердце звенит тот звук, который летит из него, собирая все вокруг себя в одно неразрывное кольцо радости. И таков звук, летящий из уст Ананды.

Так сегодня *зазвенело* понимание в сознании Амедея, *что* такое Любовь. Любовь не требует, не нуждается, чтобы ей давали. Она сама *отдает*. И живет она только потому, что отдает. Иначе она потухла бы под неиспользованным маслом, что горит в ее костре, поддерживая ее огонь. Амедею казалось, что не Ананда сидел у рояля, а горел там костер, не Флорентиец сидел, окруженный людьми, а костер, от которого шли огромные ленты во все стороны, как бы насквозь проникая всех его окружающих людей. От сэра Уоми тоже шел костер пламени, и все они подымались, как столбы огня, к самому потолку, там соединялись и двигались, как гигантские пламенеющие цветы.

Амедей вспоминал эту чудившуюся ему картину, и становилось ему легко. Закрылась его кровоточившая рана, и раскрылось его духу новое счастье жить — он понял свое место не только на земле, но и во всей вселенной. Он вспомнил слова Флорентийца, что мир в сердце человека настает тогда, когда он поймет свое место во вселенной...

К нему постучали, и Артур передал ему просьбу Флорентийца спуститься к нему. Уже идя по лестнице, Амедей почувствовал себя как-то по-новому. В первый раз ему было так легко и просто войти в комнату Флорентийца. Ему казалось, что он все воспринимает по-новому: и ночь, и Артура, и Сандру, встретившегося и улыбнувшегося ему, — все казалось ему не таким, как вчера. Когда Амедей вошел, Флорентиец стоял один посреди комнаты в своей белой, вышитой золотом одежде. Еще никогда не видел его Амедей таким прекрасным.

— Что, мой друг, сегодня даже среди ночи ты видишь сияющие небеса? Вот что значит освободиться от одной ранки, которую бередит личное страдание. Присядь здесь, Амедей, рядом со мной. В эту минуту ты уже сам понимаешь, почему я так долго не говорил с тобой. Еще вчера я должен бы был истратить тысячу слов и, возможно, ни в чем бы тебя не убедил. Нельзя поднять человека в иную ступень духовного развития, хотя бы ты силился ему показать Мудрость, в нем самом и рядом с ним сидящую. Когда же эта Мудрость, у каждого по-своему, по самым разнообразным причинам, шевельнется в человеке — он в одно мгновение может очутиться не только на другой ступени сознания, но перелететь в другое кольцо той золотой цепи, что опоясывает всех людей как сила и энергия вселенной, ежеминутно творящая и бросающая земле свои искры. Могущий их видеть и слышать их звон подбирает их в свой труд. И люди называют их гениями, озаренными и т. д. Дело же не в их гениальности, а только в ожившей частице, в шевельнувшемся в них аспекте Мудрости, в знании ими полной, *до конца*, освобожденности в каком-то своем труде. Твое сердце внезапно раскрылось. Ты забыл о себе. Ананда помог вырваться твоей

доброте на свободу. И она объяснила тебе, что Жизнь — это Свет в пути человека. Свет этот не гаснет, не зажигается, не мигает и не подавляется ничем только тогда, когда ты его не разрываешь мыслями о себе, сомнениями и страхом. Ты видел сегодня красные ленты любви, как целые пламенные канаты, связывающие людей между собой. Они были видны тебе и невидимы другим, потому что ты уже способен связать себя с людьми преданностью *цельной*, без требования от них благодарности или возмездия. Это твой путь — путь любви, милосердия и доброты. Сейчас ты идешь за мной, так как тебе надо учиться огромному такту, уверенности в себе и умению руководить людьми раньше, чем ты построишь дом и семью для Алисы и тех, кто должен найти приют в вашем доме. Сначала постигни такт, пойми, *как* нести доброту и милосердие, а потом уже неси их людям. Сегодня мне уже не надо тебе говорить о том, чтобы ты изменил свое поведение по отношению к Алисе. В тебе уже нет горечи и гордости, откуда и капала кровавая жидкость. Ты считал ее раной смирения, а на самом деле то была ранка твоей гордости. Сегодня тебе стало ясно, что весь смысл жизни — слиться в любви с теми, кто, как и ты, идет по земле. Ты увидел, что только слившись в любви с людьми, можно подняться выше в своем духе и встретить горячую любовь тех, кто прошел дальше нас в своем совершенстве. Идти путем доброты, любви и самоотречения — это вовсе не значит потерять здравый смысл земли и забыть о себе в том смысле, как это понимал Диоген, на самом деле не забывавший о себе ни на миг. Твоя роль — роль не только будущего мужа Алисы. Ты еще и строитель общины, и носитель новой идеи общественной жизни, и воспитатель тем, кого ты в это воплощение считал выше себя и кто придет к тебе в качестве детей. Для всех этих ролей необходимо полное самооблада-

ние. Вдумайся, что такое полное самообладание? Это такая освобожденность от страстей, когда ни одна искра брошенного тебе кем-то раздражения не может возбудить в тебе ответной страсти, ответного раздражения. В твоем свободном от зла сердце страстям ничего не остается, как угаснуть. Масло твоего костра любви и доброты заливает все искры, которыми люди забрасывают тебя. Это те чудеса земли, что люди носят в себе... Мы уедем через два дня. Найди путь высказать Алисе свою глубокую любовь и радость. Бедное дитя, так много в жизни видевшее измены и предательства, молча страдает, полагая, что она мало нравится тебе. Не особенно яркое счастье для жены думать, что муж на тебе женился, выполняя чей-то заказ. Я вижу, как ты поражен, что у Алисы могла явиться такая странная мысль. Вот тебе и первый урок такта, который надо развязать. Не принимай никакого участия в борьбе Дженни и ее приятелей. Все время нашей разлуки будь подле Ананды. А первые дни, пока здесь Санжер, будь подле него. Он великий знаток технических и механических наук. Я надеюсь, что свидимся раньше двух лет. Будь здоров, мой сын. Мужайся и работай, как будто я всегда рядом с тобой. Просыпаясь

утром, становись как бы на дневное дежурство у Вечности. Отходя ко сну — Ей же сдавай свое дежурство. Если будешь твердо думать, что я рядом с тобой, мы будем дежурить всегда вместе. Отдавай каждому делу *все* внимание, каждой встрече *всю* полноту чувств и мыслей. И день за днем ты будешь крепить нашу связь. Сердечно обняв Амедея, Флорентиец отпустил его и сел к своему письменному столу. Давно уже спал весь дом, а в комнате хозяина все еще шла работа. Там, склонясь над картой, что-то обсуждали с Флорентийцем сэр Уоми и Санжер, а Ананда записывал их решения на листах бумаги, кучка которых все вырастала. Так застал их рассвет.

Глава 21

Дженни и ее свидание с сэром Уоми. Ее разочарование и последнее решение перед отъездом из Лондона

После напряженного ожидания Алисы и матери в зале музея, где Дженни надеялась так легко завладеть обеими и где, как ей казалось, она все так безошибочно рассчитала, Дженни позвала на совет Бонду и мужа.

Бонда, употреблявший все средства, чтобы вернуть себе голос, не мог ничего поделать и продолжал хрипеть, с большим трудом издавая и этот хриплый шепот. И чем больше он бесился, тем труднее было ему говорить.

С тех пор как Дженни увидела его бессилие помочь самому себе, она перестала бояться Бонду. Ее презрение к нему теперь заменило прежний страх. Особенно же то, что Бонда не доверял ни одному из своих племянников и обращался к Дженни с просьбами о помощи в разных его делах, где отсутствие голоса не давало ему возможности объясняться с людьми, а плохое знание языка мешало переписке, ставило его в какое-то заискивающее и несколько подчиненное положение по отношению к Дженни.

Боясь Браццано, приказаний которого — и самых главных — он не выполнил, Бонда не забывал, что Дженни была его дочерью, и стремился ее задобрить. Хотя он и не пленялся Дженни, но сумел оценить ее хитрость и злобу, понял, что врагом ему она будет беспощадным, и решил сделать все, чтобы оказаться ей полезным, а если удастся, то и необходимым. Поэтому, получив записку Дженни с просьбой зайти к ней вечером на следующий день по важному делу, Бонда обрадовался, злорадно хохотал наедине и решил разыграть перед Дженни роль преданного друга и верного помощника. Бонда стал обдумывать план своего дальнейшего поведения и готовить именно те крючки приманок, на которые — он полагал — рыбка всего скорее клюнет. Что же делала эти два дня Дженни? Почему отложила совет со своими друзьями, вместо немедленного действия с ними заодно?

Дженни все еще не считала себя разбитой. Она устремила свое внимание на голубоглазого простака, как окрестила сэра Уоми. Ей пришло в голову, что он мог и не получить ее письма, что отвратительный хозяин дома мог не отдать ему, если почта попала ему в руки. Дженни решила еще раз писать добряку — с усмешкой давала она это прозвище сэру

Уоми — и разыграть перед ним оскорбленную женщину, надеявшуюся на джентльменство и помощь, а получившую сухость и даже невежливость.

«Я даже не знаю, как мне теперь думать о Вас, сэр Уоми, — писала Дженни. — Если бы хоть на одну минуту я могла допустить мысль, что Вы получили мое письмо и не ответили мне, — я бы, разумеется, не писала Вам. Я считала бы, что мужчина, молодой кавалер, каким должен быть каждый англичанин, не ответивший даже на письмо, недостоин внимания. Но, так как я писала в Ваш дом одновременно с Вами матери и сестре и от них также не получила ответа, я поняла, что ни Вы, ни они моих писем не получили. Мне не хочется повторяться. Я приступаю к главному: мне надо увидеться с Вами. Увидеться мне надо не только для меня одной, но и для пользы и безопасности моих матери и сестры.

Мать моя всю жизнь была неумна и безалаберна. А сестра еще настолько неосмысленный подросток, что ее сумбурности удивляться не приходится.

Я надеюсь, что Вы поможете мне их спасти из тех страшных лап лорда Бенедикта, куда они попали по своей неосмотрительности. Частью, конечно, по вине моего отца. Несчастный мой отец предал Алису лорду Бенедикту, а мать мою он сам насильственно увез из ее дома. Вы, конечно, ничего этого знать не можете, как и еще многого другого из поведения Вашего хозяина, на что я Вам постараюсь открыть глаза».

В этом месте рука Дженни слегка дрогнула. Она вспомнила о трех письмах, давно полученных ею от лорда Бенедикта, вспомнила, что она их даже не прочла толком, но знала, что в них было милосердие к ней, вспомнила его слова в конторе, и у Дженни даже поднялось сердцебиение. Но она не дала себе воли, жадно схватила папироску, всегда услужливо приготовленную ей, затянулась несколько раз, прогнала назойливый зов совести, усмехнулась так нагло и зло, что сам Брацциано остался бы доволен, и продолжала письмо.

«Не стоит нам с Вами тратить ни сил, ни энергии на перечисление на бумаге чужих грехов. Лучше нам встретиться, хорошо понять друг друга и разгромить армию врага, раньше чем он успеет собраться с силами. Для меня, конечно, самое противное — явиться в дом лорда Бенедикта. Но если Вам это удобнее или, по Вашим соображениям, мне полезно для освобождения моих дорогих заключенных побыть самой в его доме, — я, разумеется, приеду и туда, победив свое отвращение к воздуху, которым наполнен этот дом».

Подписавшись «другом», Дженни осталась довольна своим письмом, вызвала посыльного, приказала немедленно отправиться по адресу и без ответа не возвращаться. Покончив с письмом, Дженни оделась и отправилась по своим делам, как она сказала мужу. На самом же деле она решила издали понаблюдать за особняком лорда Бенедикта, так как ей смертельно скучно было ждать ответа. Но понаблюдать Дженни не удалось. В воротах отеля на нее налетел Бонда, державший в руках телеграмму. Лицо его было так мрачно и бледно, что Дженни поняла серьезность дела, для которого он звал ее к себе. Введя к себе гостью, Бонда молча протянул ей телеграмму. «Мартин скончался. Пересылаю письмо. Тендль», — прочла Дженни.

— Каким образом мог ускользнуть от нас этот прохвост, — хрипел Бонда. — Неужели же если я был болен и не мог лично присмотреть за ним, то ни один из моих племянников не догадался этого сделать. Я в отчаянии, Дженни, — прибеднялся Бонда, стараясь ближе втянуть Дженни в дело и сделать скорее своей сообщницей. — Прочтите это проклятое письмо. Там будет и для вас кое-что не особенно приятное. Но вы на это не обращайте внимания. Вникните только в суть: Мартин изменил нам перед смертью. Вы еще очень

мало знаете, поэтому не можете оценить всей неприятности этого факта. Но факт тот — и вы это запомните, — что человеком можно пользоваться для своих личных целей не только тогда, когда он жив, но и тогда, когда он умер. Но этот мерзавец нашел себе защитника, и теперь никто из нас не может его достать пока. Но это только пока. Если достанем Алису — наше дело в шляпе. Хорошо было бы, если бы вы нашли кого-нибудь, кто был бы неглуп и смог бы пробраться в дом лорда Бенедикта. Если бы только он сумел набросить вашей сестре вещицу на шею, все было бы в порядке, — пронизывая глазами Дженни, которых она теперь вовсе не боялась, хрипел Бонда.

— Ваши вещицы на шею, кажется, мало стуят перед теми заклятиями, которые знает лорд Бенедикт, — нагло хохотала Дженни.

Глаза Бонды метнули искры бешенства, что очень повеселило Дженни, но все же она поняла, что сила Бонды над нею еще огромна, так как она почувствовала, точно он ее ударил прямо в грудь. Робости Дженни не показала, но хохот ее прервался. В свою очередь, Бонда овладел собой, он вспомнил главную задачу и сказал, усмехаясь:

— Та штучка, что у меня есть сейчас для Алисы, похитрее вашей должна быть, — и пока Дженни раздумывала, сказать ли Бонде сейчас о своих планах, он подал ей письмо.

Взяв в руки письмо, Дженни поразилась его внешним видом. Очевидно, оно писалось много дней, было все измято и запачкано чернилами, какими-то рыжими кляксами, точно писавшая его рука кровоточила.

«Пишу тебе, проклятый Бонда, это письмо, потому что хочу рассчитаться с тобой перед смертью. Если бы не встреча с тобой и не подлый обман, которым ты меня заманил, я бы не лежал сейчас, умирая. Даже рассчитаться с вами, моими душегубами, я не имею сил вчистую. Вы бросили меня как собаку, когда я заболел. И если бы меня не подобрали те, кого вы зовете своими врагами, я так и не знал бы, что такое жизнь в добре и свете, над которыми кощунствовал вместе с вами».

В письме следовал пропуск в несколько строк, очевидно писавший устал и сделал перерыв, и дальше, несколько измененным почерком, продолжал:

«Теперь я не торжествую, что сделал всем вам последнюю пакость и освободил мой дух от вашего мерзкого влияния. Я понял что-то большее, чего вам не понять и о чем с вами и говорить невозможно. Но лично тебе, Бонда, и трижды проклятому Браццано я не прощаю подлости, с которой вы меня сгубили. Все, что вы заставляли меня красть, я крал, себя не забывая. И здесь мы квиты. Но то, что вы украли у меня семью, мое сердце, — этого я не прощаю и вознаграждаю себя так, как вам этого не узнать. Знайте только, что здесь я отомщен. Можешь передать Браццано, что его прелестной дочке, которой вы все помогаете потерять человеческий образ, я тоже в этом усердно помогаю и буду помогать еще усерднее из-за гроба».

Снова следовал перерыв, и через несколько строк, уже более слабым и менее разборчивым почерком, шло:

«В итоге жизни знаю только одно: вы все погибнете скоро. Ваша же подружка, дочка Браццано, испив с вами всю чашу мерзостей, все же от вас сбежит. Смотрите за ней хорошенько, не то она вас всех подведет. Если ты, Бонда, будешь умирать, как умираю я, то с меня будет довольно. Но думаю, что ничья милосердная рука тебя, душегуба, не подберет. Браццано проклинаю, дочь его проклинаю и с этим ухожу. Вы сделали меня кровоточивым, ну а я все ваши тайны отдал тем, кого вы считаете врагами. Попробуйте теперь с ними посражаться.

Может быть, ад меня пожрет через несколько часов, но каждый из вас не будет знать ни минуты покоя — так я проклинаю вас за все муки, которым вы меня подвергли.

Тот, кто был когда-то человеком и назывался Мартин».

— Зачем вы дали мне читать этот бред сумасшедшего? О какой дочери Браццано он говорит?

Бонда ядовито усмехнулся, и, казалось, его улыбка говорила: «А я думал, что вы умнее и проницательнее», но словами он только сказал:

— Я дал вам прочесть эту галиматью, чтобы вы поняли, что ни на кого, кроме меня и Браццано, нельзя полагаться. Даже муж ваш — и тот ненадежен. Если вы сумеете привязать его к себе, тогда, пожалуй, еще можно говорить о каком-либо доверии. Но... я бы вам советовал не доверяться ему ни в каких серьезных делах. Что касается Алисы, то здесь лучше всего завести дружбу с кем-либо из живущих в доме Бенедикта. Мне кажется, что Тендль — фигура самая подходящая. Его можно обворожить и добиться тайного свидания с Алисой. А нам только этого и нужно.

— Добиться свидания с Алисой легче, чем вы думаете, дядюшка. И может быть, это скоро совершится. Подождите до завтрашнего вечера, тогда я вам, может быть, и скажу что-нибудь приятное по этому поводу. Теперь же мне надо идти. Но почему вас так тревожит смерть Мартина? Я вас еще ни разу не видела в таком мраке.

— Вскоре вы о многом будете думать иначе. Сейчас могу вам сказать одно: не радостна будет наша встреча с Браццано, если явимся к нему без Алисы, да еще и без Мартина.

Расставшись с Бондой, Дженни мало думала о нем и его мрачности. Она совершенно забыла о письме Мартина и о нем самом, а думала только об ответе на свое письмо и о свидании с сэром Уоми, которого теперь ждала вдвое нетерпеливее. Мысли ее вертелись уже среди комнат дома лорда Бенедикта, она уже представляла себе, как найдет в них Алису и привезет ее к Браццано. Почему Браццано так добивается Алисы? Уж не дочь ли она ему? Дженни даже остановилась на месте, мысль показалась ей такой глупой: Алиса была так похожа на пастора. Но о самой себе Дженни ни на миг не допускала подозрений, хотя что-то кольнуло ее в сердце остро и мучительно. Дженни вернулась к себе, где нашла посыльного с письмом. Обрадовавшись, приняв свое собственное письмо, которое ей подал посыльный, за ответ сэра Уоми, разочарованная Дженни зло закричала:

— Что это значит?

— Джентльмен, которому адресовано письмо, уехал на пристань и вернется только к трем часам, как мне сказал его слуга.

— Ну так вам надо было сидеть и ждать ответа. Я велела вам без ответа не являться. Отправляйтесь обратно, ждите до трех часов и привезите немедленно ответ! — уже совершенно раздраженно кричала Дженни. Было около двух часов. Дженни подумала, не проехать ли ей самой на пристань и постараться невзначай встретиться с голубоглазым. Но до пристани было далеко, и очаровывать кавалера на улице ей показалось и трудным и нудным. Дженни знала до тонкости все очарование своей кожи и волос в комнате и знала, что на улице она гораздо менее интересна. Она решила отправиться к модному портному и выбрать себе элегантное черное платье, вроде того, в котором она видела последний раз Алису.

Выполнив свое желание, Дженни зашла в кафе, чтобы подольше не возвращаться домой, чтобы ответ сэра Уоми уже ждал ее там. Сидя за чашкой шоколада, которого ей совсем не

хотелось, Дженни в первый раз почувствовала себя одинокой. Когда она писала об этом в письмах, она подбирала только слова пожалостливее, но в душе ее одиночества никакого не было. Теперь же, наблюдая пары и дружные семьи, Дженни вдруг задала себе вопрос: «Что же дальше?» Сколько она ни спрашивала мужа, так толком она и не могла добиться ответа, куда они едут. Сначала он ей говорил, что они поедут в Константинополь, потом несколько раз упоминал какие-то незначительные австрийские городки, куда они поедут повидаться с Браццано, который лечится на каком-то курорте.

На Дженни накатило знакомое ей раздражение до бешенства, злобы на мать. Мать, уверявшая ее всю жизнь в своей любви, опять стала казаться ей виновницей всех ее несчастий. Дикая ненависть вспыхнула в Дженни к пасторше. Ей думалось, что первой задачей она должна себе поставить месть пасторше, бросившей ее в самое тяжелое время. Но Дженни сдержала себя и решила не менять плана намеченных действий. Выйдя из кафе, она пошла пешком, чтобы дать себе время успокоиться. Дома ее ждал короткий ответ на телеграфном бланке:

«Сэр Уоми будет рад принять синьору Седелани завтра в два часа дня». Дальше был указан адрес дома лорда Бенедикта и подпись секретаря, которую Дженни не удосужилась даже прочесть. Снова Дженни охватило раздражение. Приученная вечными похвалами матери и верившая, что перед ее чарами никто не устоит, если она приложит желание кого-то очаровать, Дженни считала, что сэру Уоми следовало самому поспешить к ней или, по крайней мере, самому написать, а не через секретаря назначить ей свидание.

«Подумать только, какими министрами держат себя эти господа из Бенедиктовой лачуги», — зло раздумывала Дженни. У нее мелькнула было мысль посоветоваться с Бондой и сказать ему, что она собирается завтра побывать в особняке лорда Бенедикта и повидать Алису. Но злорадное желание поторжествовать над Бондой и показать ему, насколько она хитрее и дальновиднее его, удержало ее. Бонда же, очевидно, что-то подозревал, так как явился невзначай вечером, приглашая молодых отобедать с ним в шикарном ресторане. Глаза его пронизывали Дженни насквозь и шарили по всем столам. Но молодая женщина, еще так недавно в доме пастора разбрасывавшая свои письма и вещи по всей комнате, была теперь необычайно аккуратна, так как не раз убеждалась, что все ее платья и бумаги кем-то просматриваются. Она внутренне посмеялась над беспокойством Бонды, согласилась, желая посидеть среди нарядной публики и слушая легкую музыку, скоротать время до завтра.

Кроме безделья и ухаживаний за своим телом, которое Дженни начинала обожать, в руках ее можно было видеть только модные романы, которыми снабжал ее муж, усердно развивая жену в смысле страстности и чувственности. Если бы пастор мог увидеть сейчас ту девушку, над воспитанием которой он так много трудился, стараясь пробудить в ней интерес к науке и работу мысли, он был бы поражен теперешней жизнью Дженни. Для нее не существовало ничего, кроме ее собственной особы и забот, как бы добиться всюду первенствующего положения. Причем сама Дженни не особенно ясно себе представляла, в чем заключается это первенствующее положение.

Она считала главным, что давало первенство лорду Бенедикту, его богатство. Завоевание богатства поставила себе целью Дженни. Но прежде всего — наказать мать и Алису, не имевших права на ту роскошную жизнь, какую сейчас вели. Дженни тряслась от ненависти, представляя себе, как Алиса купается в роскоши, а роскошь принадлежит только прекрасной Дженни, а не дурнушке Алисе.

— Вы давно имели какие-нибудь сведения о вашей сестре? — расслышала Дженни хрип Бонды во время музыкальной паузы в роскошной зале ресторана, где они все делали вид мирно обедающих. На самом же деле в душе каждого, особенно в душе Анри Дордье,

узнавшего сегодня о смерти его дядюшки, веселого Мартина, было тяжело и даже мрачно. Анри выразил желание похоронить Мартина, но Бонда гневно ответил, что надо было раньше позаботиться о больном дяде, а не развратничать и развлекаться до тех пор, пока больница похоронила безумного бродягу. Бонда скрыл истину от Анри, о чем просил и Дженни. Он сказал только, что Мартин упал на улице без сознания, был подобран властями города и он, Бонда, с большим трудом узнал о его смерти через своих агентов. Сейчас, за ярко освещенным столом, среди разукрашенных женщин, красавец Анри мог бы уловить на себе не один восхищенный женский взгляд. Его бледное лицо с прекрасным овалом, стройная, высокая фигура — все так обманчиво скрывало чудовищную духовную нищету юноши. Обычно жадный к деньгам, роскоши и успеху у женщин, он сам искал и любил выбирать тех из них, кто мог осыпать его подарками. Но сегодня Анри точно не замечал ничего. Его глаза, очень красивые, серые, с густыми черными ресничками, смотрели сосредоточенно, даже зло. Обычно он старался быть любезным кавалером Дженни, не прочь был вызвать ревность в Армандо. Но сегодня он несколько раз зло посмотрел на разряженную в яркое фиолетовое платье Дженни. Она была действительно очень хороша. Рыжая голова переливалась всеми оттенками яркой меди и золота, нежная атласная кожа привлекала взоры не меньше волос, но Анри все в ней было сегодня противно.

«Вот тебе и финал», — все думал он о Мартине, который не раз бывал к нему добр. Вечно пьяный и вечно занятый делами Бонды, в редкие минуты трезвости или нездоровья Мартин становился печальным, грустно смотрел на Анри и говорил:

— И у меня был сын. Он был бы твоих лет, но я его потерял.

Но мгновения эти бывали коротки, как молния, Мартин принимался вновь хохотать и кощунствовать и в пьяном азарте орал: «На нет и суда нет!» Сейчас перед Анри вставало печальное лицо Мартина. Он дорого бы дал, чтобы вырваться из этой пошлой музыки и освещенного зала и побродить одному по темным и безлюдным улицам.

«Конец Мартину, — думал Анри. — А что видел Мартин? Подневольный труд у Бонды и Браццано. Неужели он был нищим, и все богатство, добывавшееся его руками, лежит в карманах Бонды и Браццано? И потечет дальше этой смазливой врунье». — Этим прекрасным эпитетом он раз и навсегда окрестил Дженни после того, как убедился в ее обмане относительно Алисы, нарисованной ему дурнушкой. Анри, увидев Алису, был поражен ее красотой и не мог ее забыть. Он готов был на большой риск, лишь бы добыть Алису, в которой видел свою будущую жену.

Дженни и Бонда, ни на минуту не сомневавшиеся, что Алисы он не увидит не только в качестве жены, но даже родственницы, поджигали влюбленность Анри, каждый по-своему преследуя свои цели. Мысленно сравнивая сейчас Алису и полунагую Дженни, Анри остро раздражался на Дженни и Армандо, публично разыгрывавших молодых влюбленных. Нотка раздвоения, какого-то необъяснимого недовольства, упрека себе все сильнее звучала в Анри, все упрямее вызывая образ Мартина.

— Алиса и мать сидят в крепости у лорда Бенедикта, но это не мешает им мне писать, — нагло лгала Дженни.

— Значит, вы совершенно уверены, что они обе в Лондоне? — снова спросил Бонда.

— Сегодня я получила телеграмму из особняка лорда Бенедикта, — нарочно громче необходимого ответила Дженни, чтобы привлечь внимание Анри, который казался ей рассеянным, но который на самом деле чутко прислушивался к разговору своих соседей.

— И что же говорит вам телеграмма? — недоверчиво спросил Бонда.

— Об этом я вам скажу завтра вечером, как уже имела удовольствие вам доложить, — смеялась Дженни.

— Странно, очень странно, — помолчав, задумчиво сказал Бонда. — Мой агент уверял меня, что сам видел, как ваша мать в четыре часа сегодня уехала с вещами в сопровождении молодой леди и джентльмена из особняка лорда Бенедикта.

— Ну что же, быть может, она одумалась и возвратилась домой, — внешне беспечно сказала Дженни, не показывая вида, что известие ее взволновало.

— Нет, домой она не поехала. В доме пастора я был сам. Там все так же наглухо закрыто со всех сторон.

— Очевидно, маме понадобилось что-нибудь из вещей, и она с Алисой и Сандрой ездила в дом, а затем снова вернулась. Ваш агент был, верно, недостаточно внимателен и не проследил ее возвращения, — Дженни рада была случаю уколоть Бонду.

Но Бонда даже не заметил ее укола и сказал Анри:

— Теперь Мартина нет. Рассчитывать не на кого. Тебе придется завтра понаблюдать за твоей невестой. Я не хочу верить сплетням, но мне говорили, что лорд Бенедикт собирается всех нас перехитрить и сам женится на Алисе, увезя ее отсюда. Мы не можем допустить их отъезда.

Бонда рассчитал свою стрелу правильно. Возмутившись было таким недостойным поручением, как наблюдение за особняком Бенедикта, Анри, услышав продолжение фразы, представив себе молодого богатого красавца, каким видел лорда Бенедикта, зажегся ревностью, легко поверил истине слов Бонды и решил взяться за дело. В расчеты Дженни вовсе не входило быть выслеженной Анри. Она озлилась, готова была резко отчитать Бонду, но вместо этого, хитро прищурив глаза, сказала:

— Пока жених будет топтаться у особняка, его невеста проведет со мною несколько приятных часов в музее и кафе. Не будет ли лучше явиться ему невзначай в любимое кафе Алисы и доставить нас в карете ко мне в отель? Около трех часов завтра мы будем с Алисой в кафе у Б-ского моста.

— Почему же вы мне ничего об этом не сказали? — прохрипел Бонда.

— Я уже вам объяснила, что пригласила вас к себе на совет. Нельзя делать большое дело, докладывая о нем всему свету. Я предполагала шепнуть об этом Анри до обеда. Но он все время так мрачен, что я отложила свое сообщение до возвращения домой. А вышло все иначе.

Когда хочется верить, верят самым невероятным вещам. А когда уверяет красивая женщина с огромным апломбом, верится легче. Анри развеселился, забыл о Мартине, и Дженни показалась ему приятной и родственной. Бонда, расстроенный своей болезнью, смертью Мартина и еще целой вереницей неудач, которые он тщательно скрывал от всех близких, несмотря на то что имел основания не особенно доверять Дженни, все же легче вздохнул. Он хотел было предложить, что сам приедет с Анри, чтобы вернее подцепить птичку, но подумал, что иногда самые великие желания совершаются неожиданно, только не надо мешать.

Он решил передать дорогой талисман, который Браццано велел ему особенно бережно хранить, предназначенный для особо важной цели, не Дженни, а Анри. Но Дженни, как бы предугадывая его мысль, сказала:

— К завтрашнему свиданию я должна быть подкована особенно крепко. Вы мне говорили об одной вещице для Алисы. Мне ее необходимо иметь уже сегодня, чтобы освоиться с нею и примериться, как ее набросить.

Бонде не хотелось отдавать в руки Дженни драгоценности, которой так много значения придавал Браццано. Бонда не мог примириться с мыслью, что уже один драгоценный камень разбит силой сэра Уоми, и в то же время он боялся испортить своим упрямством так блестяще начавшееся дело.

В несравненно лучшем настроении вся компания возвратилась домой. Все решили разойтись по своим комнатам после того, как полюбуются прекрасным бриллиантом с розовым отливом на тонкой золотой цепочке, о котором Бонда им рассказал и который принес из своей комнаты. Подавая его Дженни, он сказал:

— Камень этот Браццано долго сам носил. — Он криво усмехнулся, увидев, что Дженни приложила камень к своей груди. — Вам он не идет. Рыжим не к лицу розовые и красные тона. Но... быть может, взаимная симпатия с Браццано сделает камень и вам приятным.

Адское выражение на своей и без того неприятной физиономии Бонда постарался скрыть, делая вид, что он что-то потерял, и нагибаясь к полу. Но зоркий глаз Дженни подметил злобную молнию жестокого дядюшки. Дженни заранее решила оставить Бонду в дураках, она крепко зажала талисман в руке как залог своей силы и власти над Бондой. Случайно она подняла руку с талисманом против лица Бонды, и была сама огорошена эффектом своего движения.

— Тише, — изо всех сил прохрипел Бонда. — Я сказал вам, что вещь эта силы необычайной. Никогда не подымайте этой вещи против лица человека. Вы можете его убить, и сами останетесь искалеченной.

— Вот как, — сказала Дженни, опуская руку. И отпрянувший Бонда оправился и перестал задыхаться. — Вам надо было объяснить мне это раньше, и я не причинила бы вам этой неприятности. Каких еще движений я делать не должна, чтобы не ранить Алису, а только заставить ее повиноваться?

— Для Алисы достаточно просто накинуть на шею камень, и она пойдет за вами как овечка. Но если вы наткнетесь на одного из опытных приятелей Бенедикта, то держите камень все время высоко в руке. Можете обмотать цепочку несколько раз вокруг руки, вроде браслета. Но ни в коем случае не выставляйте его напоказ, если увидите самого лорда Бенедикта. Эта вещь, разумеется, не чета вашему ожерелью, но в борьбу с этим фокусником не вступайте.

— Это хорошо, что вы мне все объяснили. Я буду осторожна.

Радости Дженни не было предела. Несмотря на то что она держала камень зажатым в руке, она почувствовала, как у нее увеличивались силы, дерзость и воля.

— Карамба! — ругался Бонда. — Кто мог думать, что в ваших руках этот талисман будет таким зловещим? Он был долго у меня и не проявлял своих свойств. Очевидно, на самом деле настанет дружба между вами и Браццано.

— Довольно, дядюшка, — как бы невзначай поднимая руку, сказала Дженни. И эффект розового камня снова поразил Дженни. — Я вам запрещаю упоминать при мне имя Браццано иначе как с моего разрешения. — Она все еще держала руку против глаз Бонды.

— Повинуюсь, — весь белый, дрожа, ответил Бонда. — Опустите скорее камень, вы меня убьете.

Дженни, внешне очень наивно, но внутренне торжествуя, какая власть свалилась ей нежданно-негаданно, опустила руку. Зевнув, она равнодушно сказала:

— Я устала, хочу спать. — Она снова слегка подняла руку и, подержав ее против каждого из трех мужчин, прибавила: — Дядюшка, идите спать. До пяти часов вечера не являйтесь ко мне. Ты, Армандо, переночуешь в гостиной, ты тоже к пяти часам завтра явишься ко мне. А вы, Анри, будете ждать у кафе с трех до пяти, а до этого времени будете сидеть дома. Если до пяти часов я вас не вызову у кафе, поезжайте домой, это будет значить, что Алиса уже здесь. Все трое молча поклонились ей, принимая ее приказания, а Дженни ушла к себе в спальню. Дженни была неопытна и не знала, что свое приказание надо было еще закрепить над каждым, кому приказывала, подняв над ним высоко камень.

Как только она вышла, все трое мужчин точно проснулись. Бешенство каждого из них, их возмущение не знало пределов. Оба молодых человека накинулись на Бонду, понося его и спрашивая, давно ли он рехнулся, отдав Дженни камень какого-то владычества над ними и собой. Их крики и брань были так ужасны, что Дженни, только что расположившаяся позвонить горничной, перепугалась не на шутку. Ей почудилось, что мужчины сговариваются ее убить. Ужас пробежал по ней. Она схватила камень в руку, снова почувствовала дерзость и силу повелевать, распахнула дверь, в которую уже стучали кулаки разъяренного Армандо, и поднесла камень к самым его глазам. Армандо отпрянул, пошатнулся и робко произнес:

— Не сердись, Дженни. Я ухожу. До завтра.

Ни слова не говоря, Дженни направила камень в самые глаза Бонды, в руках которого заметила здоровенную плеть.

— Вон, негодяй! — не своим голосом крикнула Дженни. — Ты у меня еще на коленях попросишь прощения!

Бонда завертелся, точно его жарили на сковородке, и упал на колени.

— А вы, Анри, хотите того же? — поднимая камень в уровень лица юноши, спросила Дженни.

— Я буду завтра дома, потом буду ждать в карете, — ответил Анри, и все трое покинули Дженни, причем из дрожащей руки Бонды выпала его плеть, которую он даже не смог подобрать.

Оставшись одна, Дженни подбросила дров в камин, подняла каминными щипцами плеть с ковра и с выражением величайшего омерзения на лице швырнула ее во вспыхнувшее пламя. Торжествуя смотрела Дженни на тлевшие ремни, расхохоталась, когда кожа стала скручиваться и лопаться, и пошла к себе в спальню, первый раз в своей замужней жизни оставшись одна. Сбросив свое нарядное платье, Дженни почувствовала себя такой разбитой и усталой, что заснула тотчас же, как только легла.

Ночь мелькнула для Дженни так быстро, что утром, проснувшись и увидев, что уже одиннадцатый час, Дженни мгновенно позвонила и приказала подать себе завтрак в постель. Обдумывая свой день, Дженни прежде всего справилась, прислано ли платье от портного. Успокоившись, что платье прислано, Дженни приказала горничной развесить его тут же в спальне и, завтракая, рассматривала его. Платье казалось ей чересчур скромным, но, вспоминая эффектность Алисы в простом черном платье, Дженни решила непременно надеть свой новый туалет.

Молодая женщина так долго занималась собой, массажем тела, ванной, так тщательно примеряла новую шляпу, прилаживая к ней прическу, что не была готова к часу дня. Раздражившись и в тысячный раз посылая брань мерзкой девчонке Алисе за то, что некому помочь ей как следует одеться, Дженни сократила самолюбование перед всеми зеркалами и приказала позвать кеб. Как это ни было странно для самой Дженни, она никак не могла представить себе лица простака Уоми и не знала, с чего начать с ним разговор.

Сидя в коляске, она решила взять тон избалованного ребенка, но на половине дороги передумала. Вспомнив, что должна говорить о своей сестре-подростке, которую у нее насильно отняли, решила сделать вид огорченной и брошенной жертвы. Дженни обмотала свой заветный камень вокруг руки, сходя у подъезда дома крепко прижала его к сердцу, призывая все его чары себе на помощь. Она помнила, что надо избегать лорда Бенедикта, и, входя в холл, быстрым взглядом обежала все помещение. Увидев, что, кроме одного слуги, никого в холле нет, она успокоилась и сказала, что ей надо видеть сэра Уоми. Слуга, взглянув на часы, сказал:

— Вас ждут уже двенадцать минут. Через сорок минут сэр Уоми будет занят другими делами.

С этими словами слуга открыл дверь соседней комнаты, где за столом сидел сэр Уоми, а Ананда стоя показывал ему какой-то чертеж.

— Синьора Седелани, — сказал слуга, пропуская Дженни в комнату. Все это очень неприятно поразило Дженни. Официальность приема, то, что слуге было сказано ее имя, какая-то чинность и точность во всем и то, что сэр Уоми был не один, — все раздражило Дженни. И несмотря на то что она прижимала к себе камень, она чувствовала себя смущенной и очень неуверенной. Кроме того, она узнала исключительно неприятную ей комнату, тот кабинет лорда Бенедикта, где ее ноги так приклеивались к полу, что она не могла двинуться с места под взглядом хозяина дома.

Четыре глаза посмотрели на ее растерянную фигуру, и у Дженни похолодели руки. Ей вдруг почудилась вся нелепица ее поведения, показалось, что оба собеседника прочли ее затаенные мысли, которые она так хорошо замаскировала.

— В начале четвертого, Ананда, — сказал сэр Уоми собеседнику, и тот, поклонившись ему и еще раз взглянув на Дженни, как ей почудилось, сочувственно, вышел из комнаты.

— Я очень прошу извинить меня за опоздание, — сказала Дженни, опускаясь в предложенное ей кресло у стола, хотя ей и в голову не приходило до этой минуты начать с извинения.

— Я так и думал, что туалет у дамы всегда на первом месте, — пристально глядя в лицо Дженни, спокойно сказал сэр Уоми.

И опять Дженни почудилось, что он угадывает ее мысли. Но гостья овладела собой, улыбнулась, как бы нечаянно подняла руку так, что камень сверкнул прямо в глаза сэру Уоми. Не успела она проделать этот маневр, как лицо сэра Уоми преобразилось. Точно гневная волна промчалась по этому прекрасному лицу, такому доброму и очаровательно спокойному за миг. Глаза сэра Уоми сверкнули, он чуть приподнял руку, и рука Дженни упала на ее колени как парализованная.

Не связав воедино этих двух движений, его и своей руки, Дженни решила, что она еще мало знает свойства чудесного камня и что простачок уже готов к обработке. Преспокойно поправив браслет на руке, Дженни развязно сказала:

— Я вам уже писала, в какого рода помощи от вас я нуждаюсь. Мне надо увезти отсюда мою сестру Алису и мою мать. Обе они пишут мне, что томятся здесь и просят взять их отсюда, где живут в заключении.

Усмешка пробежала по лицу сэра Уоми, и глаза засветились юмором. Дженни по-своему истолковала игру лица своего кавалера и, не дав ему вымолвить ни слова, продолжала:

— Я так и знала, что вы мне поможете. Я не могу в точности вспомнить, что именно вы говорили мне в тот ужасный час в судебной конторе. Да, признаться, и тогда не поняла, о чем именно вы говорили. Но мой инстинкт мне подсказал, что я найду в вас помощника. Я хочу видеть Алису сейчас же, — закончила Дженни, снова подымая свой камень в уровень лица сэра Уоми.

Эффект на этот раз был для Дженни самый неожиданный. Сэр Уоми только слегка шевельнул пальцем, а рука Дженни отлетела прямо на ее голову и, точно силой мяча, сбила с нее шляпу.

Озадаченная, сконфуженная и обозлившаяся Дженни готова была сорваться с места и швырнуть в сэра Уоми своей новой шляпой, с таким трудом и искусством прилаженной дома. Но руки ее точно деревяшки лежали на ее коленях, вся она застыла от неожиданности и удивления и не могла выговорить ни слова.

«Проклятый камень, — думала Дженни. — Наверное, Бонда знал, какие штуки он вытворяет, и нарочно мне ничего не сказал. Ну уж покажу я ему. Дай только домой вернуться». Сэр Уоми молча смотрел на обезображенное злобой лицо Дженни.

— Жаль, что в этой комнате сейчас перед вами нет зеркала. Вы могли бы запомнить, что, идя на свидание по делу, нельзя допускать себя до такого свирепого вида. Это раз. Второе: кто сказал вам, что Алиса и ваша мать здесь? Ни та, ни другая в данную минуту здесь не живут.

— То есть как? Какой еще мошеннический трюк прибавил ваш хозяин? — теряя всякий контроль над собой, закричала Дженни.

Как она ни старалась поднять свою руку, чтобы в третий раз направить луч камня в глаза сэра Уоми, кроме бесплодных усилий, от которых даже лоб ее покрылся испариной, она сделать ничего не могла.

— Я приказал вам сидеть неподвижно, — сказал сэр Уоми, и голос его поразил ее своей печалью. — Я это сделал, чтобы защитить вас от вашего собственного безумия, несчастная женщина. Если бы еще и третий раз вы дерзнули направить в меня ваше ничтожное оружие, которое вам выдали как всепокоряющий талисман, вы упали бы мертвая, так как мне пришлось бы коснуться вас, а прикосновение большой чистой силы, привесив себе эту погремушку, вы выдержать бы не могли. Вам нечего проклинать того, кто дал вам этот камень. Над ним — слугой зла — он всесилен. Над вашей сестрой он был бы бессилен, так как чистота ее безупречна. Она не почувствовала бы его силы, но и не повредила бы вам. Встреча со мною, повторяю, будет смертельна для вас, если еще один раз вы поднимете камень против меня. И не только против меня, но и против кого бы то ни было, кто живет в этом доме. Запомните это хорошо. Теперь к делу. Вы сами знаете, в какой лжи, в каком сплошном обмане вы сейчас живете. Ваши оба письма — вот они. Возьмите их с собой. Быть может, когда-нибудь вы их перечитаете и найдете ума и такта действовать иначе. Ваша сестра плывет вторые сутки по океану с семьей лорда Бенедикта. А ваша мать живет в окрестностях Лондона, так как ее здоровье требует значительных забот. Вам самой лучше всех известно, как здравомыслящ был пастор. Не менее этого вам известна его доброта. А какова его честь — об этом вы будете вспоминать всю жизнь. Вы

сказали, что не поняли моих слов в конторе. Бедняжка Дженни! К сожалению, я ничего не могу сделать теперь для вас — ни помочь вам, ни защитить вас. Если бы вы, войдя сюда, принесли хоть каплю любви в сердце, хоть крошечку доброты, я мог бы ухватиться за них и раздуть их в пламя. Но вы пришли сюда с замыслом зла и предательства. Вы жаждали обратить меня, как Бонду, в раба и слугу. Вы надели камень Браццано на себя и, повелевая теми, кто в зависимости от него, стали сами его

рабой. Скоро ваша жизнь будет внешне блестяща. Но... рана вашего сердца будет глубже, чем все ваше внешнее великолепие. Ступайте домой. Защищайтесь от Бонды и его слуг вашим камнем, чтобы не быть битой ими. Но все же помните, что всякий укротитель львов живет с дикими зверями, он ненавидим ими и они ждут момента, чтобы его растерзать. До тех пор пока в своем сердце вы не найдете любви к сестре

и матери, пока вместо проклятий им вы не пошлете им мольбы о своем спасении, — не призывайте напрасно моего имени. Не пишите мне, это будет бесполезно. Только выполнив на земле свою первую задачу — любовь к человеку, — каждый из людей может беспрепятственно найти дорогу к нам. Урок вашей жизни: искупить предательство перед сестрой. И сколько бы вы истерически ни кричали, что вы

любите сестру, сколько бы ни старались в этом кого-то убедить, — мне ваша искренняя любовь, как и ваше лицемерие, будут всегда видны. Даже тогда, когда вам самой будет казаться, что вы ее любите, и тогда вы будете думать о себе, а не о ней. До тех пор я буду видеть в вашем сердце лицемерие, а не любовь, пока вы смиренно не поймете своего долга и не скажете себе: «Мне надо быть подле сестры, чего бы мне это ни стоило и чем бы это мне или ей ни угрожало». Только тогда вы на самом деле забудете о себе. Ваша любовь перестанет быть соображениями практических выгод или страха земли. И вы сами откроете себе узенькую тропку к высокому пути, к тому пути, где люди ценят свободу не как зависимость или независимость от земных условностей, но как широчайшее раскрепощение самого себя, внутри, от власти осязаемых ценностей. Тогда в вас проснется творчество вашего собственного духа. Тогда и только тогда вы можете звать меня, можете искать моей помощи. И где бы вы ни были, в каких бы условиях ужаса и отчаяния вы ни находились, я услышу вас. И помощь моя будет вам дана... Но не воображайте суеверно, что помощь, посланная Великой Жизнью, — это случайная счастливая лотерея. Всякую помощь надо заслужить и быть ее достойным. Если вы цените только низменные блага, вроде денег, богатства, драгоценностей и внешнего положения, связанного с ними, а вопросы духа для вас излишнее бесплатное приложение — ваши усилия приобрести истинное знание, которое присуще только высокой жизни, будут всегда кончаться разочарованиями. Обо всем, что вы сами выбрали, с чем вам теперь придется столкнуться именно потому, что вы связали себя с ним, на-

дев на себя камень Браццано, в эти короткие минуты вам сказать невозможно. Одно могу сказать вам: не прижимайте так сильно к себе ваш камень. Он предназначался не вам, но вы его теперь снять уже не сможете. Если бы я захотел вас освободить от него, то он потерял бы всякую силу, но вы стали бы беззащитны против ваших ужасных спутников. От их бешенства и даже истязаний вас защищает сейчас только он. Не бойтесь их попыток снять его с вас. Им это не под силу. Чтобы защитить вас от Браццано, я кладу запрет на ваш ужасный браслет, и никто, кроме меня или моего посла, не сможет снять его с вас. Но это, как я вам уже сказал, может случиться только тогда, когда в вас самой произойдет духовное прозрение. Идите. Вам дана возможность найти путь спасения. Но сейчас вся вы в такой лжи и лицемерии, в такой тьме и зле, что видеть ничего не можете, кроме внешних форм.

— Вы сказали, — зло глядя на сэра Уоми, скороговоркой, точно боясь что-то забыть, говорила Дженни, — что внешний блеск, мечты о богатстве — это все желания суеты и

зла. Позвольте вас спросить: почему же вы сами не живете в шалаше, в грязи, а принимаете меня в комнате, которая одна стоит, вероятно, несколько сот фунтов? Почему все, кто окружает вас, живут богачами, а не нищенствуют?

— Вы не поймете этого сейчас, если бы я излагал вам много часов подряд объяснения к вашим вопросам. Можно жить среди самых прекрасных вещей и даже не замечать их. И можно иметь самые ничтожные вещи, умышленно окружив себя ими и раздав свои прекрасные вещи, и все думать только о роскоши, которую покинул или которой не имел. Еще раз повторяю: все, что я был в силах для вас сделать, я уже сделал, все же ваши вопросы и слова — это результат ваших яда и злобы. Удержите их при себе. Мой вам последний совет: не ездите сейчас к Браццано. Он еще достаточно силен, чтобы иметь возможность заставить вас страдать. Но своей прежней силы он себе не вернет и через некоторое время погибнет. Если хотите спасти себя и мужа от бешенства злодея, уезжайте в Рим, где у вашего мужа есть маленький домик. Там оба вы можете начать трудиться, а вы с помощью вашего браслета можете найти себе и многих даровитых слуг. При их содействии вы сможете добыть себе и богатство, и блеск, но все же злодейства Браццано не коснутся вас. И сам он не сможет достать вас в Риме.

Дженни вся дрожала от бешенства. Ярость ее была тем больше, что она напрягала все усилия, чтобы сорвать браслет с руки и направить блеск камня в глаза сэра Уоми, а вместо этого пальцы ее еле касались тонкой цепочки камня, и выговорить она не могла ни слова.

— Послушайтесь моего совета, Дженни, и поезжайте в Рим. Все, что возможно, будет сделано с моей стороны, чтобы защитить вас и помочь вам. Если же поедете к Браццано, пеняйте на себя.

Сэр Уоми встал с места и направился к двери, которую раскрыл. Поклонившись Дженни, он тихо сказал:

— Отговорите Бонду приезжать в этот дом. Если вы не послушаетесь и этого моего совета — вы уедете из Лондона без Бонды, что для вас будет еще хуже. На вас одной сорвет весь свой гнев Браццано.

Дженни молча вышла из комнаты. Кипя бешенством, страдая от бессилия и ненависти, она села в свой кеб, и чем дальше она отъезжала, тем злее кипели ее мысли.

Подъезжая к своему отелю, она приняла два решения. Первое — отправить самого Бонду немедленно в особняк лорда Бенедикта за теми драгоценностями, которых там не добыл Мартин. Второе — как только Бонда добудет сокровища, за которыми его и послал Браццано в Лондон, ехать к Браццано и соединиться с ним.

Конец второй части